UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00301390 1

*Presented to the*
LIBRARY *of the*
UNIVERSITY OF TORONTO
*by*

ESTATE OF THE LATE

JOHN B. C. WATKINS

# И. А. ГОНЧАРОВЪ.

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

# СОЧИНЕНІЙ

# И. А. ГОНЧАРОВА.

Съ портретомъ автора, гравированнымъ академикомъ И. П. Пожалостинымъ и факсимиле.

## ТОМЪ ПЯТЫЙ.

Изданіе четвертое.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ ГЛАЗУНОВА.
1912.

*Собственность Глазунова.*

PG
3337
G6
1912
t. 5

1003988

ТИПОГРАФІЯ ГЛАЗУНОВА, КАЗАНСКАЯ № 8.

# ОБРЫВЪ.

РОМАНЪ

ВЪ ПЯТИ ЧАСТЯХЪ.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

Часть третья:


| | | стр. |
|---|---|---|
| Глава | I | 3 |
| » | II | 8 |
| » | III | 28 |
| » | IV | 38 |
| » | V | 45 |
| » | VI | 54 |
| » | VII | 62 |
| » | VIII | 69 |
| » | IX | 81 |
| » | X | 89 |
| » | XI | 100 |
| » | XII | 104 |
| » | XIII | 113 |
| » | XIV | 125 |
| » | XV | 137 |
| » | XVI | 149 |
| » | XVII | 162 |
| » | XVIII | 166 |
| » | XIX | 180 |
| » | XX | 186 |
| » | XXI | 195 |
| » | XXII | 204 |
| » | XXIII | 209 |


Часть четвертая:


| | | стр. |
|---|---|---|
| Глава | I | 217 |
| » | II | 228 |
| » | III | 234 |
| » | IV | 239 |
| » | V | 249 |
| » | VI | 262 |

стр.
Глава VII . . . . . 273
» VIII . . . . . 281
» IX . . . . . 292
» X . . . . . 310
» XI . . . . . 316
» XII . . . . . 323
» XIII . . . . . 341
» XIV . . . . . 345

Часть пятая:

стр.
Глава I . . . . . 357
» II . . . . . 362
» III . . . . . 366
» IV . . . . . 373
» V . . . . . 381
» VI . . . . . 392
» VII . . . . . 404
» VIII . . . . . 419
» IX . . . . . 422
X . . . . . 430
» XI . . . . . 439
» XII . . . . . 452
» XIII . . . . . 460
» XIV . . . . . 464
» XV . . . . . 471
» XVI . . . . . 480
» XVII . . . . . 488
» XVIII . . . . . 491
» XIX . . . . . 502
» XX . . . . . 507
» XXI . . . . . 515
» XXII . . . . . 523
» XXIII . . . . . 528
» XXIV . . . . . 537
» XXV . . . . . 541

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

## I.

Райскій считалъ себя не новѣйшимъ, т.-е. не молодымъ, но отнюдь не отсталымъ человѣкомъ. Онъ открыто заявлялъ, что, вѣря въ прогрессъ, даже досадуя на его „черепашій“ шагъ, самъ онъ не спѣшилъ укладывать себя всего въ какое-нибудь, едва обозначившееся десятилѣтіе, дешево отрекаясь и отъ завѣщанныхъ исторіею, добытыхъ наукой, и еще болѣе отъ выработанныхъ собственной жизнію убѣжденій, наблюденій и опытовъ, въ виду едва занявшейся зари quasi-новыхъ идей, болѣе или менѣе блестящихъ или остроумныхъ гипотезъ, на которыя бросается жадная юность.

Онъ ссылался на свои лѣта, говоря, что для него наступила пора выжиданій и осторожности: тамъ, гдѣ не увлекала его фантазія, онъ терпѣливо шелъ за вѣкомъ.

Его занималъ общій ходъ и развитіе идей, побѣды науки, но онъ выжидалъ результатовъ, не дѣлая pas de géants, не спѣша креститься въ новую вѣру, предлагающую всевозможныя умозрѣнія и часто невозможные опыты.

Онъ привѣтствовалъ смѣлые шаги искусства, рукоплескалъ новымъ откровеніямъ и открытіямъ, видоизмѣняющимъ, но не ломающимъ жизнь, праздновалъ естественное, но не насильственное рожденіе новыхъ ея требованій, какъ праздновалъ весну съ новой зеленью, не провожая безплодной и неблагодарной враждой отходящаго порядка и отживающихъ началъ, вѣря въ ихъ историческую неизбѣж-

ность и неопровержимую, преемственную связь съ „новой весенней зеленью“, какъ бы она нова и ярко-зелена ни была.

Отъ этого, бросая въ горячемъ спорѣ бомбу въ лагерь неуступчивой старины, въ деспотизмъ своеволія, жадность плантаторовъ, отыскивая въ людяхъ людей, исповѣдуя и проповѣдуя человѣчность, онъ добродушно и снисходительно воевалъ съ бабушкой, видя, что подъ старыми, заученными правилами таился здравый смыслъ и житейская мудрость и лежали сѣмена тѣхъ началъ, что̀ безусловно присвоивала себѣ новая жизнь, но что̀ было только завалено уродливыми формами и наростами въ старой.

Открытіе въ Вѣрѣ смѣлости ума, свободы духа, жажды чего-то новаго—сначала изумило, потомъ ослѣпило двойной силой красоты—внѣшней и внутренней, а наконецъ отчасти напугало его, послѣ отреченія ея отъ „мудрости“.— Не мудрая дѣва! сказала она и вздрогнула.

— Мудреная, рѣшилъ онъ и задумался надъ этимъ.

Да, это не простодушный ребенокъ, какъ Марѳинька, и не „барышня“. Ей тѣсно и неловко въ этой устарѣвшей, искусственной формѣ, въ которую такъ долго отливался складъ ума, нравы, образованіе и все воспитаніе дѣвушки до замужества.

Она чувствовала условную ложь этой формы и отдѣлалась отъ нея, добиваясь правды. Въ ней много именно того, чего онъ напрасно искалъ въ Наташѣ, въ Бѣловодовой: спирта, задатковъ самобытности, своеобразія ума, характера—всѣхъ тѣхъ силъ, изъ которыхъ должна сложиться самостоятельная, настоящая женщина, и дать направленіе своей и чужой жизни, многимъ жизнямъ, освѣтить и согрѣть цѣлый кругъ, куда поставитъ ее судьба.

Она пока младенецъ, но съ титанической силой: надо только, чтобъ сила эта правильно развилась и разумно направилась.

Онъ положилъ бы всю свою силу, чтобы помочь ей найти искомое, бросилъ бы сѣмена своихъ знаній, опытовъ и наблюденій на такую благодарную и богатую почву: это не миражъ, опять это подвигъ очеловѣчиванія, долгъ, къ которому мы всѣ призваны и безъ котораго немыслимъ никакой прогрессъ.

Но какія капитальныя препятствія встрѣтились ему? Одно,—она отталкиваетъ его, прячется, уходитъ въ свои права, за свою дѣвическую стѣну, стало-быть... не хочетъ. А между тѣмъ она не довольна своимъ положеніемъ, рвется изъ него, стало-быть, нуждается въ другомъ воздухѣ, другой пищѣ, другихъ людяхъ. Кто же ей дастъ новую пищу и воздухъ? Гдѣ люди?

Онъ по родству—близкое ей лицо: онъ одинъ и случайно, и по праву, можетъ и долженъ быть для нея этимъ авторитетомъ. И бабушка писала, что назначаетъ ему эту роль.

Вѣра умна, но онъ опытнѣе ея и знаетъ жизнь. Онъ можетъ остеречь ее отъ грубыхъ ошибокъ, научить распознавать ложь и истину, онъ будетъ работать, какъ мыслитель и какъ художникъ; этой жаждѣ свободы дастъ пищу: идеи добра, правды, и какъ художникъ вызоветъ въ ней внутреннюю красоту на свѣтъ! Онъ угадалъ бы ея судьбу, ея урокъ жизни и... и... вмѣстѣ бы исполнилъ его!

Вотъ чего ему все хочется: „вмѣстѣ!“ Отъ этого желанія онъ не можетъ отдѣлаться, стало-быть, не можетъ дѣйствовать безкорыстно: и это есть второе препятствіе.

Третье препятствіе еще, правда, въ туманѣ, гадательное, но есть уже въ виду, и оно самое капитальное: это—пока подозрѣніе, что кто-нибудь уже предупредилъ его, кому-нибудь она ввѣрила угадывать свою судьбу, исполнять урокъ жизни „вмѣстѣ“.

— Вотъ что скверно: это хуже всего! говорилъ онъ и рѣшалъ, что ему даже, не дожидаясь объясненія и подтвержденія догадки объ этомъ третьемъ препятствіи, о „двойникѣ“, слѣдуетъ бѣжать безъ оглядки, а не набиваться ей на дружбу.

Простительно какому-нибудь Викентьеву напустить на себя обманъ, а ему ли, прожженному опытами, не знать, что всѣ любовныя мечты, слезы, всѣ нѣжныя чувства— суть только цвѣты, подъ которыми прячутся нимфа и сатиръ!..

Послѣдствія всего этого извѣстны, все это исчезаетъ, не оставляя по себѣ слѣда, если нимфа и сатиръ не превращаются въ людей, т. е. въ мужа и жену, или въ друзей на всю жизнь.

— Нимфа моя не хочетъ избрать меня сатиромъ, заключилъ онъ со вздохомъ:—слѣдовательно нѣтъ надежды и на метаморфозу въ мужа и жену, на счастье, на долгій путь! А съ красотой ея я справлюсь: мнѣ она все равно, что ничего...

Утромъ онъ чувствовалъ себя всегда бодрѣе и мужественнѣе для всякой борьбы: утро приноситъ съ собою силу, цѣлый запасъ надеждъ, мыслей и намѣреній на весь день: человѣкъ упорнѣе налегаетъ на трудъ, мужественнѣе несетъ тяжесть жизни.

И Райскій развлекался отъ мысли о Вѣрѣ, съ утра его манили въ разныя стороны летучія мысли, свѣжесть утра, встрѣчи въ домашнемъ гнѣздѣ, новыя лица, поле, газета, новая книга, или глава изъ собственнаго романа. Вечеромъ только начинаетъ все прожитое днемъ сжиматься въ одинъ узелъ, и у кого сознательно, и у кого безсознательно, подводится итогъ „злобѣ дня“.

Вотъ тутъ Райскій повѣрялъ себя, что̀ улетало изъ накопившагося въ день запаса мыслей, желаній, ощущеній,

встрѣчъ и лицъ. Оказывалось, что улетало все—и съ нимъ оставалась только Вѣра. Онъ съ досадой вертѣлся въ постели и засыпалъ—все съ одной мыслью и просыпался съ нею же.

— Нужна дѣятельность, рѣшилъ онъ—и за неимѣніемъ „дѣла" бросался въ „миражи:" ѣздилъ съ бабушкой на сѣнокосъ, въ овсы, ходилъ по полямъ, посѣщалъ съ Марѳинькой деревню, вникалъ въ нужды мужиковъ, и развлекался также: былъ за Волгой, въ Колчинѣ, у матери Викентьева, ѣздилъ съ Маркомъ удить рыбу, оба поругались опять и надоѣли одинъ другому, ходилъ на охоту—и въ самомъ дѣлѣ развлекся.

„Вотъ и хорошо! поработаю еще надъ собой и исполню данное Вѣрѣ обѣщаніе", — думалъ онъ и не видалъ ее дня по три.

Ей носили кофе въ ея комнату: онъ иногда не обѣдалъ дома, и все шло какъ нельзя лучше.

Онъ даже замѣтилъ гдѣ-то въ слободѣ хорошенькую женскую головку и мимоѣздомъ однажды поклонился ей, она засмѣялась и спряталась. Онъ узналъ, что она дочь какого-то смотрителя, онъ и не добирался—смотрителя чего, такъ какъ у насъ смотрителей множество.

Онъ замѣтилъ только, что этотъ смотритель не смотрѣлъ за своей дочерью, потому что головка, какъ онъ увидѣлъ потомъ, улыбалась и другимъ прохожимъ.

Онъ послалъ ей рукой поцѣлуй и получилъ въ отвѣтъ милый поклонъ. Раза два онъ уже подъѣзжалъ верхомъ къ ея окну и заговорилъ съ ней, доложивъ ей, какъ она хороша, какъ онъ по уши влюбленъ въ нее.

— Да вы все вре-те! протяжно говорила она:—такъ я вамъ и повѣрила! Мужчины извѣстно—подлецы!

— Будто всѣ?

— Извѣстное дѣло—мужчины! Сколько у меня перебывало—знаю я ихъ! Не надуете! Проваливайте!

Долго развлекала его эта, опытомъ добытая, „мудрость“ мѣщанки.

Чтобы уже довершить надъ собой побѣду, о которой онъ, надо правду сказать, хлопоталъ изъ всѣхъ силъ, не спрашивая себя только, что̀ кроется подъ этимъ рвеніемъ: искреннее ли намѣреніе оставить Вѣру въ покоѣ и уѣхать, или угодить ей, принести „жертву“, быть „великодушнымъ“,—онъ обѣщалъ бабушкѣ поѣхать съ ней съ визитами, и даже согласился появиться среди ея городскихъ гостей, которые пріѣдутъ въ воскресенье „на пирогъ“.

## II.

Въ воскресенье онъ засталъ много народу въ парадной гостиной Татьяны Марковны. Все сіяло тамъ. Чехлы съ мебели, обитой малиновымъ штофомъ, были сняты; фамильнымъ портретамъ Яковъ протеръ мокрой тряпкой глаза—и они смотрѣли острѣе, нежели въ будни. Полы натерли воскомъ.

Яковъ былъ въ черномъ фракѣ и бѣломъ галстухѣ, а Егорка, Петрушка и новый, только-что изъ деревни взятый въ лакеи Степка, не умѣвшій стоять прямо на ногахъ, одѣты были въ старые, не по росту каждому, ливрейные фраки, отъ которыхъ несло затхлостью кладовой. Ровно въ полдень въ залѣ и гостиной накурили шипучимъ куревомъ, съ запахомъ какого-то сладкаго соуса.

Сама Бережкова, въ шелковомъ платьѣ, въ чепцѣ на затылкѣ и въ шали, сидѣла на диванѣ. Около нея, полукружіемъ, въ креслахъ, по порядку сидѣли гости.

На первомъ мѣстѣ Нилъ Андреевичъ Тычковъ, во фракѣ, со звѣздой, важный старикъ, съ сросшимися бровями, съ

большимъ расплывшимся лицомъ, съ подбородкомъ, глубоко уходившимъ въ галстухъ, съ величавой благосклонностью въ рѣчи, съ чувствомъ достоинства въ каждомъ движеніи.

Потомъ неизмѣнно скромный и вѣжливый Титъ Никонычъ, тоже во фракѣ, со взглядомъ обожанія къ бабушкѣ, съ улыбкой ко всѣмъ; священникъ, въ шелковой рясѣ и съ вышитымъ широкимъ поясомъ, совѣтники Палаты, гарнизонный полковникъ, толстый, коротенькій, съ налившимся кровью лицомъ и глазами, такъ что, глядя на него, дѣлалось „за человѣка страшно"; двѣ-три барыни изъ города, нѣсколько шепчущихся въ углу молодыхъ чиновниковъ и нѣсколько неподросшихъ дѣвицъ, знакомыхъ Марѳиньки, робко смотрящихъ, крѣпко жмущихъ другъ у друга красныя, вспотѣвшія отъ робости руки, и безпрестанно краснѣющихъ.

Наконецъ какой-то ближайшій къ городу помѣщикъ, съ тремя сыновьями-подростками, пріѣхавшій съ визитами въ городъ. Эти сыновья—гордость и счастье отца, напоминали собой негодовалыхъ собакъ крупной породы, у которыхъ ужъ лапы и голова выросли, а тѣло еще не сложилось, уши болтаются на лбу и хвостишко не доросъ до полу. Скачутъ они вездѣ безъ толку и сами не сладятъ съ длинными, не по росту, безобразными лапами; не узнаютъ своихъ отъ чужихъ, лаютъ на родного отца и готовы сжевать брошенную мочалку или ухо родного брата, если попадется въ зубы.

Отецъ всѣмъ вмѣстѣ и каждому порознь изъ гостей рекомендовалъ этихъ четырнадцатилѣтнихъ чадъ, млѣя отъ будущихъ своихъ надеждъ, разсказывалъ подробности о ихъ рожденіи и воспитаніи, какія у кого способности, про остроту, проказы, и просилъ проэкзаменовать ихъ, поговорить съ ними по-французски.

Ихъ, какъ малолѣтнихъ, усадили-было въ укромный

уголокъ, и они, съ юными и глупыми физіономіями, смотрѣли полуразиня ротъ на всѣхъ, какъ молодые желтоносые воронята, которые, сидя въ гнѣздѣ, безпрестанно раскрываютъ рты, въ ожиданіи корма.

Ноги не умѣщались подъ стуломъ, а хватали на середину комнаты, путались между собой и мѣшали ходить. Имъ велѣно быть скромными, говорить тихо, а изъ утробы четырнадцатилѣтняго птенца, вмѣсто шопота, раздавался громовый басъ; велѣлъ отецъ сидѣть чинно, держать ручки на брюшкѣ, а на этихъ, еще тоненькихъ „ручкахъ“ ужъ отросли громадные, угловатые кулаки.

Не знали, бѣдные, куда дѣться, какъ сжаться, краснѣли, пыхтѣли и потѣли, пока Татьяна Марковна, частію изъ жалости, частію оттого, что отъ нихъ въ комнатѣ было и тѣсно, и душно, и „пахло севрюгой“, какъ тихонько выразилась она Марѳинькѣ, не выпустила ихъ въ садъ, гдѣ они, почувствовавъ себя на свободѣ, начали бѣгать и скакать, только прутья отъ кустовъ полетѣли въ стороны, въ ожиданіи, пока позовутъ завтракать.

Райскій вошелъ въ гостиную послѣ всѣхъ, когда ужъ скушали пирогъ и приступили къ какому-то соусу. Онъ почувствовалъ себя въ томъ положеніи, въ какомъ чувствуетъ себя пріѣзжій актеръ, первый разъ являясь на провинціальную сцену, предшествуемый толками и слухами. Все вдругъ смолкло и перестало жевать и все устремило вниманіе на него.

— Внукъ мой, отъ племянницы моей, покойной Сонички! сказала Татьяна Марковна, рекомендуя его, хотя всѣ очень хорошо знали, кто онъ такой.

Кое-кто привсталъ и поклонился, Нилъ Андреичъ благосклонно смотрѣлъ, ожидая, что онъ подойдетъ къ нему, барыни жеманно начали передергиваться и мелькомъ взглядывать въ зеркало.

Молодые чиновники въ углу, завтракавшіе стоя, съ тарелками въ рукахъ, переступили съ ноги на ногу; дѣвицы неистово покраснѣли и стиснули другъ другу, какъ въ большой опасности, руки, четырнадцатилѣтніе птенцы, присмирѣвшіе въ ожиданіи корма, вдругъ вытянули отъ стѣны до оконъ и быстро съ шумомъ повезли назадъ свои скороспѣлыя ноги и выронили изъ рукъ картузы.

Райскій сдѣлалъ всѣмъ полупоклонъ и сѣлъ подлѣ бабушки, прямо на диванъ. Общее движеніе.

— Экъ, плюхнулъ куда! шепнулъ одинъ молодой чиновникъ другому: — а его превосходительство глядитъ на него...

— Вотъ Нилъ Андреичъ, сказала бабушка: — давно желалъ тебя видѣть... онъ—*его превосходительство*—не забудь, шепнула она.

— Кто эта барынька: какіе славные зубы и пышная грудь? тихо спросилъ Райскій бабушку.

— Стыдъ, стыдъ, Борисъ Павлычъ: горю! шептала она. — Вотъ, Нилъ Андреичъ, сказала она:—Борюшка давно желалъ представиться вамъ...

Райскій открылъ-было ротъ, чтобъ возразить, но Татьяна Марковна наступила ему на ногу.

— Что же не удостоили посѣтить старика: я добрымъ людямъ радъ! произнесъ добродушно Нилъ Андреичъ. — Да вѣдь съ нами скучно, не любятъ насъ нынѣшніе: такъ ли? Вы вѣдь изъ новыхъ? Скажите-ка правду.

— Я не раздѣляю людей ни на новыхъ, ни на старыхъ, сказалъ Райскій, принимаясь за пирогъ.

— А ты погоди ѣсть, поговори съ нимъ, шептала бабушка:—успѣешь!

— Я буду и ѣсть, и говорить, отвѣчалъ вслухъ Райскій. Бабушка сконфузилась и сердито отвернула плечо.

— Не мѣшайте ему, матушка, сказалъ Нилъ Андре-

ичъ: — на здоровье, народъ молодой! Такъ какъ же вы понимаете людей, батюшка? обратился онъ къ Райскому:— это любопытно!

— А смотря по тому, какое они впечатлѣніе на меня дѣлаютъ, такъ и принимаю!

— Похвально! Люблю за правду! Ну, какъ вы, напримѣръ, меня понимаете?

— Я васъ боюсь.

Нилъ Андреичъ съ удовольствіемъ засмѣялся.

— Чего же, скажите? Я позволяю говорить откровенно! сказалъ онъ.

— Чего боюсь? вотъ видите...

— „Ваше превосходительство", подсказала бабушка, но Райскій не слушалъ.

— Вы, говорятъ, журите всѣхъ: кому-то голову намылили, что у обѣдни не былъ, бабушка сказывала...

Татьяна Марковна такъ и не вспомнилась. Она даже сняла чепецъ и положила подлѣ себя: ей вдругъ стало жарко.

— Что ты, что ты, Борисъ Павлычъ — на меня!... останавливала она.

— Не мѣшайте, не мѣшайте, матушка! Слава Богу, что вы сказали про меня: я люблю, когда обо мнѣ правду говорятъ! вмѣшался Нилъ Андреичъ.

Но бабушка была ужъ сама не своя: она не рада была, что затѣяла позвать гостей.

— Точно, журю: помнишь? сказалъ онъ, обратясь къ дверямъ, гдѣ толпились чиновники.

— Точно такъ, ваше превосходительство! проворно отвѣчалъ одинъ, выставивъ ногу впередъ и заложивъ руки назадъ:—меня однажды...

— А за что?

— Былъ одѣтъ пестро...

— Да, въ воскресенье пожаловалъ ко мнѣ отъ обѣдни: за это спасибо — да ужъ одолжилъ! Вмѣсто фрака, какой-то сюртучекъ на отлетѣ...

— Не этакій ли, что̀ на мнѣ? спросилъ Райскій.

— Да, почти: панталоны клѣтчатые, жилетъ полосатый—шутъ шутомъ!

— А тебя журилъ? обратился онъ къ другому.

— Былъ грѣхъ, ваше превосходительство, говорилъ тотъ, скромно склоняя и гладя рукой голову.

— А за что?

— За папеньку тогда...

— Да, вздумалъ отца корить: у старика слабость — пьетъ. А онъ его усовѣщевать, отца-то! Деньги у него отобралъ! Вотъ и пожурилъ: и что жъ, спросите ихъ: благодарны мнѣ же!

Чиновники, при этой похвалѣ, отъ удовольствія переступили съ ноги на ногу и облизали языкомъ губы.

— Я спрашиваю васъ: къ добру или къ худу! А послушаешь: „Все старое не хорошо, и сами старики глупы, пора ихъ долой!“ продолжалъ Тычковъ:—дай волю, они бы и того... готовы насъ всѣхъ заживо похоронить, а сами сѣли бы на наше мѣсто, — вотъ вѣдь къ чему все клонится! Какъ это по-французски есть и поговорка такая, Наталья Ивановна? обратился онъ къ одной барынѣ.

— Ote-toi de là pour que je m'y mette... сказала она.

— Ну, да, вотъ чего имъ хочется, этимъ умникамъ въ кургузыхъ одѣяніяхъ! А какъ эти одѣянія называются по-французски, Наталья Ивановна? спросилъ онъ, обратясь опять къ барынѣ и поглядывая на жакетку Райскаго.

— Я не знаю! сказала она съ притворной скромностью.

— Ой, знаешь, матушка! лукаво замѣтилъ Нилъ Андреичъ, погрозя пальцемъ:—только при всѣхъ стыдишься сказать. За это хвалю!

— Такъ изволите видѣть: лишь замѣчу въ молодомъ человѣкѣ этакую прыть, продолжалъ онъ, обращаясь къ Райскому: — дескать „я самъ уменъ, никого и знать не хочу“—и пожурю, и пожурю, не прогнѣвайтесь!

— Точно что не къ добру это все новое ведетъ,—сказалъ помѣщикъ:—вотъ хоть бы венгерцы и поляки бунтуютъ: отчего это? Все вотъ отъ этихъ новыхъ правилъ!

— Вы думаете? спросилъ Райскій.

— Да-съ, я такъ полагаю: желалъ бы знать ваше мнѣніе... сказалъ помѣщикъ, подсаживаясь поближе къ Райскому: — мы вѣкъ свой въ деревнѣ, ничего не знаемъ, поэтому и лестно послушать просвѣщеннаго человѣка...

Райскій съ ироніей поклонился слегка.

— А то прочитаешь въ газетахъ, напримѣръ, вотъ хоть бы вчера читалъ я, что шведскій король посѣтилъ городъ Христіанію: и не знаешь, что̀ этому за причина?

— А вамъ это интересно знать?

— Зачѣмъ же пишутъ объ этомъ, если королю не было особой причины посѣтить Христіанію?...

— Не было ли тамъ большого пожара: этого не пишутъ? спросилъ Райскій.

Помѣщикъ, Иванъ Петровичъ, сдѣлалъ большіе глаза.

— Нѣтъ, о пожарѣ не пишутъ, а сказано только, что „его величество посѣтилъ народное собраніе“.

Титъ Никонычъ и совѣтникъ Палаты переглянулись и усмѣхнулись. Послѣ этого замолчали.

— Еще я хотѣлъ спросить вотъ что-съ, началъ тотъ же гость:—теперь во Франціи воцарился Наполеонъ...

— Такъ что же?

— Вѣдь онъ насильно воцарился...

— Какъ насильно: его выбрали...

— Да что это за выборы! Говорятъ, подсылали солдатъ принуждать, подкупали... Помилуйте, какіе это выборы: курамъ на смѣхъ!

— Если отчасти и насильно, такъ что же съ нимъ дѣлать? съ любопытствомъ спросилъ Райскій, заинтересовавшись этимъ деревенскимъ политикомъ.

— Какъ же это терпятъ всѣ, не вооружатся противъ него?

— Попробуй! перебилъ Нилъ Андреичъ:—ну-ка: какъ?

— Собрать бы со всѣхъ государствъ арміи, да и пойти, какъ на покойнаго Бонапарта... Тогда былъ священный союзъ...

— Вы бы представили планъ кампаніи, замѣтилъ Райскій:—можетъ-быть, и приняли бы...

— Куда мнѣ! скромно возразилъ гость:—я только такъ, изъ любопытства... Вотъ теперь я хотѣлъ спросить еще васъ... продолжалъ онъ, обращаясь къ Райскому.

— Почему же меня?

— Вы столичный житель, тамъ живете у источника, такъ сказать... не то, что мы, деревенскіе... Я хотѣлъ спросить: теперь турки издревле притѣсняютъ христіанъ, жгутъ, рѣжутъ, а женщинъ того...

— Ну, смотри, Иванъ Петровичъ, ты договоришься до чего-нибудь... вонъ ужъ, Настасья Петровна покраснѣла... вмѣшался Нилъ Андреичъ.

— Что̀ вы, ваше превосходительство... отъ чего мнѣ краснѣть? Я и не слыхала, что̀ говорятъ... сказала бойко одна барыня, жеманно поправляя шаль.

— Плутовка! говорилъ Нилъ Андреичъ, грозя ей пальцемъ:—что, батюшка, обратился онъ къ священнику:—не жаловалась ли она вамъ на исповѣди на мужа, что онъ...

— Ахъ, что вы, ваше превосходительство! торопливо перебила дама.

— То-то, то-то! Ну, что жъ, Иванъ Петровичъ: какъ тамъ турки женщинъ притѣсняютъ? Что̀ ты прочиталъ

объ этомъ: вонъ Настасья Петровна хочетъ знать? Только смотри, не махни въ Турцію, Настасья Петровна!

Иванъ Петровичъ съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда кончитъ Нилъ Андреичъ, и опять обратился къ Райскому, къ которому, какъ съ ножемъ, приступалъ съ вопросами.

— Такъ я вотъ хотѣлъ спросить васъ: отчего это не уймутъ турокъ?...

— Женщины-то за нихъ очень заступаются! шутилъ благосклонно Нилъ Андреичъ:—вонъ она—первая...

Онъ указалъ на ту же барыню.

— Ахъ, Татьяна Марковна... что это его превосходительство для праздника нынче?...

Она притворно конфузилась.

— Я вотъ хотѣлъ спросить васъ, отчего это всѣ не возстанутъ на турокъ, приставалъ Иванъ Петровичъ къ Райскому:—и не освободятъ Гроба Господня?

— Я, признаюсь вамъ, мало думалъ объ этомъ, сказалъ Райскій:—но теперь обращу особенное вниманіе, и если вы мнѣ сообщите ваши соображенія, то я всячески готовъ содѣйствовать къ разрѣшенію восточнаго вопроса...

— Вотъ позвольте къ слову спросить, живо возразилъ гость:—вы изволили сказать *„восточный вопросъ“*, и въ газетахъ помянутно пишутъ *восточный вопросъ:* какой это *восточный вопросъ?*

— Да вотъ тотъ самый, что вы мнѣ сдѣлали сейчасъ о туркахъ.

— Такъ... задумчиво сказалъ онъ.—Да вопроса никакого нѣтъ!

— Теперь все „вопросы“ пошли! сиплымъ голосомъ вмѣшался полнокровный полковникъ:—изъ Петербурга я получилъ письмо отъ нашего полкового адъютанта: и тотъ пишетъ, что теперь всѣхъ занимаетъ „вопросъ“ о перемѣнѣ формы въ арміи...

Замолчали.

— Или, напримѣръ, Ирландія! началъ Иванъ Петровичъ съ новымъ одушевленіемъ, помолчавъ: — пишутъ страна бѣдная, ѣсть нечего, картофель одинъ, и тотъ часто не годится для пищи...

— Ну-съ, такъ что же?

— Ирландія въ подданствѣ у Англіи, а Англія страна богатая: такихъ помѣщиковъ, какъ тамъ, нигдѣ нѣтъ. Отчего теперича у нихъ не взять хоть половину хлѣба, скота, да и не отдать туда, въ Ирландію?

— Что̀ это, братъ, ты проповѣдуешь: бунтъ? вдругъ сказалъ Нилъ Андреичъ.

— Какой бунтъ, ваше превосходительство... Я только изъ любопытства.

— Ну, если въ Вяткѣ или Перми голодъ, а у тебя возьмутъ половину хлѣба даромъ, да туда?...

— Какъ это можно! Мы—совсѣмъ другое дѣло...

— Ну, какъ услышатъ тебя мужики? напиралъ Нилъ Андреичъ:—а? тогда что?

— Ну, не дай Боже! сказалъ помѣщикъ.

— Сохрани Боже! сказала и Татьяна Марковна.

— Они и теперь, еще ничего не видя, навострили уши! продолжалъ Нилъ Андреичъ.

— А что? съ испугомъ продолжала Бережкова.

— Да вонъ, о волѣ иногда заговариваютъ. Губернаторъ получилъ донесеніе, что въ селѣ у Мамыщева не покойно...

— Сохрани Богъ! сказали опять и помѣщикъ, и Татьяна Марковна.

— Правду, правду говоритъ его превосходительство! замѣтилъ помѣщикъ.—Дай только волю, дай только имъ свободу, ну и пошли въ кабакъ, да за балалайку: нарѣжется и претъ мимо тебя и шапки не ломаетъ!

— Начинается-то не съ мужиковъ, говорилъ Нилъ Андреичъ, косясь на Райскаго: — а потомъ зло, какъ эпидемія, разольется повсюду. Сначала молодецъ ко всенощной перестанетъ ходить: „скучно дескать“, а потомъ найдетъ, что по начальству въ праздникъ ѣздить лишнее: это, говоритъ, „холопство“, а послѣ въ неприличной одеждѣ на службу явится, да еще бороду отроститъ (онъ опять покосился на Райскаго)—и дальше, и дальше.— и дай волю, онъ тебѣ втихомолку доложитъ потомъ, что и Бога-то въ небѣ нѣтъ, что и молиться-то некому!...

Въ залѣ сдѣлалось общее движеніе.

— Да, да, это правда: былъ у сосѣда такой учитель, да еще подивитесь, батюшка, изъ семинаріи! сказалъ помѣщикъ, обратясь къ священнику.—Смирно такъ шло все сначала: шепталъ, шепталъ, кто его знаетъ что, старшимъ дѣтямъ—только однажды дѣвочка, сестра ихъ, матери и проговорись: „Бога, говоритъ, нѣтъ, Никита Сергѣичъ отъ кого-то слышалъ“. Его къ допросу: „какъ Бога нѣтъ: какъ такъ?“ Отецъ къ архіерею ѣздилъ: перебрали тогда всю семинарію...

— Да, помню, сказалъ священникъ: — нашли запрещенныя книги.

— Ну, вотъ видите!

— Скажите на милость, обратился опять Иванъ Петровичъ къ Райскому:—отчего это все волнуются народы?

— Какіе народы?

— Да вотъ хоть бы индѣйцы: вѣдь это канальи все, не христіане, сволочь, ходятъ голые, и пьяницы горькіе, а страна, говорятъ, богатѣйшая, ананасы, какъ огурцы, растутъ... Чего имъ еще надо?

Райскій молчалъ. На него находила уже хандра.

„Какой гнусный порокъ, эта славянская добродѣтель, гостепріимство!“ подумалъ онъ: — „какихъ уродовъ не встрѣтишь у бабушки!“

И прочіе молчали, отъ лѣни говорить послѣ сытнаго завтрака. Говорилъ за всѣхъ Иванъ Петровичъ.

— А вотъ теперь Амуръ тамъ взяли у китайцевъ; тоже страна богатая—чай у насъ будетъ свой, некупленный: выгодно и пріятно... началъ онъ опять свое.

— Ну, братъ, Иванъ Петровичъ: всю воду въ рѣшетѣ не переносишь... замѣтилъ Тычковъ.

— Я только изъ любопытства хотѣлъ съ ними наговориться, они въ столицѣ живутъ... Теперь опять пишутъ, что римскій папа...

Въ это время изъ зала съ шумомъ появилась Полина Карповна, въ кисейномъ платьѣ, съ широкими рукавами, такъ что ея полныя, бѣлыя руки видны были почти до плечъ. За ней шелъ кадетъ.

— Какая жара! Bon*jur*, bon*jur*—говорила она, кивая на всѣ стороны, и сѣла на диванъ подлѣ Райскаго.

— Тутъ намъ тѣсно! сказалъ Райскій и пересѣлъ на стулъ рядомъ.

— Non, non, ne vous dérangez pas, удерживала она, но не удержала. — Какая скука! успѣла она шепнуть ему:—у васъ такъ много гостей, а я хотѣла бы видѣть васъ одного...

— Зачѣмъ? спросилъ онъ вслухъ:—дѣло есть?

— Да, дѣло! съ улыбкой и шопотомъ старалась она говорить.

— Какое-же?

— А портретъ?

— Портретъ, какой портретъ?

— А мой! Вы обѣщали рисовать: забыли?—ingrat!

— А! Далила Карповна! протяжно воскликнулъ Нилъ Андреичъ:—здравствуйте, какъ поживаете?

— Здравствуйте! сухо сказала она, стараясь отвернуться отъ него.

*

— Что жъ не подарите меня нѣжнымъ взглядомъ? Дайте полюбоваться лебединой шейкой...

Въ толпѣ у дверей послышался смѣхъ, дамы тоже улыбались.

— Грубіянъ: сейчасъ глупость скажетъ!... шептала она Райскому.

— Что брезгаешь старымъ, а какъ посватаюсь? Чѣмъ не женихъ—или старъ? „Генеральша будете...“

— Не „льщусь“ этой почестью... сказала она, не глядя на него.—„Bonjur, Наталья Ивановна: гдѣ вы купили такую миленькую шляпку: у M-me Pichet?

— Это мужъ изъ Москвы выписалъ, сказала Наталья Ивановна, робко взглянувъ на Райскаго:—сюрпризъ...

— Очень, очень мило!

— Да взгляните же на меня: право посватаюсь, приставалъ Нилъ Андреичъ:—мнѣ нужна хозяйка въ домѣ, скромная, не кокетка, не баловница, не охотница до нарядовъ... чтобы на другого мужчину, кромѣ меня, и глазомъ не повела... Ну, а вы у насъ вѣдь примѣръ...

Полина Карповна будто не слыхала, она обмахивалась вѣеромъ и старалась заговорить съ Райскимъ.

— Вы у насъ, продолжалъ неумолимый Нилъ Андреичъ: — образецъ матерямъ и дочерямъ: въ церкви стоите, съ образа глазъ не отводите, по сторонамъ не взглянете, молодыхъ мужчинъ не замѣчаете...

Смѣхъ у дверей раздался громче, и дамы гримасничали, чтобъ скрыть улыбку.

Татьяна Марковна постаралась-было замять атаку Нила Андреича на ея гостью.

— Пирога скушайте, Полина Карповна—я вамъ положу! сказала она.

— Merci, merci, нѣтъ, я только-что завтракала!

Но это не помогло. Нилъ Андреичъ возобновилъ нападеніе.

— А одѣваетесь монахиней: на показъ плечъ и рукъ не выставляете... ведете себя сообразно вашимъ почтеннымъ лѣтамъ... говорилъ онъ.

— Что это вы ко мнѣ привязались! сказала Полина Карповна:—est-il bête. grossier? обратилась она къ Райскому.

— Да, да „парлеву франсе...“ перебилъ Тычковъ: — жениться. сударыня. хочу. вотъ и привязался: а мы съ вами пара!

— Едва ли вамъ найдется кто подъ пару! отозвалась Крицкая, не глядя на него.

— А какъ же не пара, позвольте-ка: я былъ еще коллежскимъ ассесоромъ, когда вы выходили замужъ за покойнаго Ивана Егорыча. А этому будетъ...

— Какая жара—on étouffe ici: allons au jardin! Мишель. дайте мантилью!... обратилась она къ кадету.

Въ эту минуту показалась Вѣра.

Всѣ встали, окружили ее, и разговоръ принялъ другое направленіе. Райскому надоѣла вся эта сцена и эти люди, онъ собирался уже уйти, но съ приходомъ Вѣры у него заговорила такая сильная „дружба“. что онъ остался, какъ пригвожденный къ стулу.

Вѣра мелькомъ оглядѣла общество, кое-гдѣ сказала двѣ-три фразы, пожала руки нѣкоторымъ дѣвицамъ, которыя уперли глаза въ ея платье и перелинку, равнодушно улыбнулась дамамъ и сѣла на стулъ у печки.

Чиновники охорашивались. Нилъ Андреичъ съ удовольствіемъ чмокнулъ ее въ руку, дѣвицы не спускали съ нея глазъ.

Марѳинька не сидѣла на мѣстѣ: она то нальетъ вина кому-нибудь, то поподчуетъ закуской, или старается занять разговоромъ своихъ пріятельницъ.

— Вѣра Васильевна! сказалъ Нилъ Андреичъ:—заступитесь вы, красавица моя, за меня!

— Развѣ васъ обижаютъ?

— Какъ же не обижаютъ! Далила... нѣтъ — Пелагея Карповна.

— Impertinent! громкимъ шопотомъ сказала Крицкая, поднимаясь съ мѣста и направляясь къ двери.

— Куда, Полина Карповна: а пирога? Марошька, удержи! Полина Карповна! останавливала Татьяна Марковна.

— Нѣтъ, нѣтъ, Татьяна Марковна: я всегда рада и благодарна вамъ, уже въ залѣ говорила Крицкая:—но съ такимъ грубіяномъ никогда не буду, ни у васъ, нигдѣ... Если бъ покойный мужъ былъ живъ, онъ бы не смѣлъ...

— Ну, не сердитесь на старика: — онъ не отъ злого сердца; онъ почтенный такой...

— Нѣтъ, нѣтъ: про*шю*, пустите—я пріѣду въ другой разъ, безъ него...

Она уѣхала въ слезахъ, глубоко обиженная.

Въ гостиной всѣ были въ веселомъ расположеніи духа, и Нилъ Андреичъ, съ величавою улыбкой, принималъ общій смѣхъ одобренія. Не смѣялся только Райскій, да Вѣра. Какъ ни комична была Полина Карповна, грубость нравовъ этой толпы и выходка возмутили его. Онъ угрюмо молчалъ, покачивая ногой.

— Что̀, прогнѣвалась, уѣхала? говорилъ Нилъ Андреичъ, когда Татьяна Марковна, видимо озабоченная этой сценой, воротилась и молча сѣла на свое мѣсто.

— Ничего, скушаетъ на здоровье! продолжалъ старикъ:—не ходи раздѣтая при людяхъ: здѣсь не баня!

Дамы потупили глаза, дѣвицы сильно покраснѣли и свирѣпо стиснули другъ другу руки.

— Да не вертись по сторонамъ въ церкви, не таскай за собой молодыхъ ребятъ. . Что, Иванъ Иванычъ: ты,

бывало, у ней безвыходно жилъ! Какъ теперь: все еще ходишь! строго спросилъ онъ у какого-то юноши.

— Отсталъ давно, ваше превосходительство: надоѣло комплименты говорить.

— То-то отсталъ! Какой примѣръ для молодыхъ женщинъ и дѣвицъ? А вѣдь ей давно за сорокъ! Ходитъ въ розовомъ, бантики да ленточки... Какъ не пожурить! Видите ли, обратился онъ къ Райскому: — что я страшенъ только для порока, а вы боитесь меня! Кто это вамъ наговорилъ на меня страхи!

— Кто? Да Маркъ, сказалъ Райскій.

Общее движеніе. Нѣкоторые вздрогнули.

— Какой такой Маркъ? нахмуривъ брови, спросилъ Тычковъ.

— Маркъ Волоховъ, вотъ что̀ присланъ сюда на житье.

— Это̀ тотъ разбойникъ? Да развѣ вы знаетесь съ нимъ?

— Мы пріятели.

— Пріятели? съ изумленіемъ произнесъ старикъ и посвисталъ.—Татьяна Марковна, что̀ я слышу?

— Не вѣрьте ему, Нилъ Андреичъ: онъ самъ не знаетъ, что̀ говоритъ... начала бабушка.—Какой онъ тебѣ пріятель...

— Что̀ вы, бабушка! Да не онъ ли у меня ужиналъ и ночевалъ? Не вы ли велѣли ему постлать мягкую постель...

— Борисъ Павлычъ! помилосердуй, помолчи! неистово шептала бабушка.

Но было уже поздно. Тычковъ вскинулъ изумленныя очи на Татьяну Марковну, дамы глядѣли на нее съ состраданіемъ, мужчины разинули рты, дѣвицы прижались другъ къ другу.

У Вѣры отъ улыбки задрожалъ подбородокъ. Она съ наслажденіемъ глядѣла на всѣхъ, и дружескимъ взглядомъ

благодарила Райскаго за это нечаянное наслажденіе, а Марѳинька спряталась за бабушку.

— Что̀ я слышу! съ изумленіемъ произнесъ Нилъ Андреичъ:—и вы впустили этого Варраву подъ свой кровъ!

— Не я, Нилъ Андреичъ, а Борюшка привелъ его ночью. Я и не знала, кто тамъ у него спитъ!

— Такъ вы съ нимъ по ночамъ шатаетесь! обратился онъ къ Райскому.—А знаете ли вы, что онъ подозрительный человѣкъ, врагъ правительства, отверженецъ церкви и общества?

— Какой ужасъ! сказали дамы.

— Онъ-то и отрекомендовалъ вамъ меня? допрашивалъ Нилъ Андреичъ.

— Да, онъ.

— Что же. онъ меня звѣремъ изобразилъ: что я глотаю людей?...

— Нѣтъ, не глотаете. а позволяете себѣ по какому-то праву оскорблять ихъ.

— И вы повѣрили?

— До нынѣшняго дня—нѣтъ.

— А нынче?

— А нынче вѣрю.

Общій ужасъ и изумленіе. Нѣкоторые чиновники тихонько вышли въ залу и оттуда слушали, что̀ будетъ дальше.

— Что̀ такъ, съ изумленіемъ и высокомѣрно спросилъ Тычковъ, нахмуривъ брови.—Почему?

— А потому, что вы сейчасъ оскорбили женщину.

— Слышите, Татьяна Марковна!

— Борюшка! Борисъ Павлычъ! унимала она.

— Эту... эту старую модницу, прельстительницу, вѣтреницу... говорилъ Нилъ Андреичъ.

— Что вамъ за дѣло до нея? и кто вамъ далъ право быть судьей чужихъ пороковъ?

— А вы, молодой человѣкъ, по какому праву смѣете мнѣ дѣлать выговоры? Вы знаете-ли, что я пятьдесятъ лѣтъ на службѣ и ни одинъ министръ не сдѣлалъ мнѣ ни малѣйшаго замѣчанія?...

— По какому праву? А по такому, что вы оскорбили женщину въ моемъ домѣ, и если бъ я допустилъ это, то былъ бы жалкая дрянь. Вы этого не понимаете, тѣмъ хуже для васъ!...

— Если вы принимаете у себя такую женщину, про которую весь городъ знаетъ, что она легкомысленна, вѣтрена, не по лѣтамъ молодится, не исполняетъ обязанностей въ отношеніи къ семейству...

— Ну, такъ что же?

— А то, что и вы, вотъ и Татьяна Марковна, стоите того, чтобъ пожурить васъ обоихъ. Да, да, давно я хотѣлъ сказать вамъ, матушка... вы ее принимаете у себя...

— Ну, вѣтреность, легкомысліе, кокетство еще не важныя преступленія, сказалъ Райскій: — а вотъ про васъ тоже весь городъ знаетъ, что вы взятками награбили кучу денегъ, да обобрали и заперли въ сумасшедшій домъ родную племянницу,—однакоже, и бабушка, и я пустили васъ, а вѣдь это важнѣе кокетства! Вотъ за это пожурите насъ!

Сцена невообразимаго ужаса между присутствующими! Дамы встали и кучей направились въ залу, не простясь съ хозяйкой; за ними толпой, какъ овцы, бросились дѣвицы, и всѣ уѣхали. Бабушка указала Марѳинькѣ и Вѣрѣ дверь.

Марѳинька ушла, а Вѣра осталась.

Нилъ Андреичъ поблѣднѣлъ.

— Кто, кто передалъ *тебѣ* эти слухи, говори! Этотъ разбойникъ Маркъ? Сейчасъ ѣду къ губернатору. Татьяна Марковна, или мы не знакомы съ вами, или чтобъ нога этого молодца (онъ указалъ на Райскаго) у васъ въ домѣ

никогда не была! Не то я упеку и его, и весъ домъ, и васъ, въ двадцать четыре часа, куда воронъ костей не занашивалъ...

Тычковъ задыхался отъ злости и не зналъ самъ, что̀ говорилъ.

— Кто, кто ему это сказалъ, я хочу знать? Кто... говори!... хрипѣлъ онъ.

Татьяна Марковна вдругъ встала съ мѣста.

— Полно тебѣ вздоръ молоть, Нилъ Андреичъ! Смотри, ты багровый совсѣмъ сталъ: того и гляди, лопнешь отъ злости. Выпей лучше воды! Какой секретъ, кто сказалъ? Да я сказала, и сказала правду! прибавила она.—Весь городъ это знаетъ.

— Татьяна Марковна! какъ!... заревѣлъ-было Нилъ Андреичъ.

— Меня шестьдесятъ-пять лѣтъ Татьяной Марковной зовутъ. Ну, что̀ — „какъ?“ И по дѣломъ тебѣ! Что ты лаешься на всѣхъ: напалъ, въ самомъ дѣлѣ, въ чужомъ домѣ на женщину — хозяинъ остановилъ тебя — не подворянски поступаешь!...

— Да какъ вы мнѣ смѣете это говорить! заревѣлъ опять Тычковъ.

Райскій бросился-было къ нему, но бабушка остановила его такимъ повелительнымъ жестомъ, что онъ окаменѣлъ и ждалъ, что̀ будетъ.

Она вдругъ выпрямилась, надѣла чепецъ и, завернувшись въ шаль, подступила къ Нилу Андреичу.

Райскій съ удивленіемъ глядѣлъ на бабушку. Она, а не Нилъ Андреичъ, приковала его вниманіе къ себѣ. Она вдругъ выросла въ фигуру, полную величія, такъ что даже и на него напала робость.

— Ты кто? сказала она:—ничтожный приказный, parvenu—и ты смѣешь кричать на женщину, и еще на стол-

бовую дворянку! Зазнался: урока хочешь! Я дамъ тебѣ одинъ разъ навсегда: будешь помнить! Ты забылъ, что, бывало, въ молодости, когда ты приносилъ бумаги изъ Палаты къ моему отцу, ты при мнѣ сѣсть не смѣлъ и по праздникамъ получалъ не разъ изъ моихъ рукъ подарки. Да если бъ ты еще былъ честенъ, такъ никто бы тебя и не корилъ этимъ, а ты наворовалъ денегъ—внукъ мой правду сказалъ—и тутъ, по слабости, терпѣли тебя, и молчать бы тебѣ, да каяться подъ конецъ за темную жизнь. А ты не унимаешься, раздулся отъ гордости, а гордость—пьяный порокъ, наводитъ забвеніе. Отрезвись же, встань и поклонись: передъ тобою стоитъ Татьяна Марковна Бережкова! Вотъ, видишь, здѣсь мой внукъ, Борисъ Павлычъ Райскій: не удержи я его, онъ сбросилъ бы тебя съ крыльца, но я не хочу, чтобъ онъ маралъ о тебя руки—съ тебя довольно и лакеевъ! У меня есть защитникъ, а найди ты себѣ!—Люди! крикнула она, хлопнувъ въ ладони, выпрямившись во весь ростъ и сверкая глазами.

Она походила на портретъ одной изъ величавыхъ женщинъ въ ея родѣ, висѣвшій тутъ же на стѣнѣ.

Тычковъ ворочалъ одурѣлыми глазами.

— Я въ Петербургъ напишу... городъ въ опасности... торопливо говорилъ онъ, поспѣшно уходя и сторбившись подъ ея сверкающимъ взглядомъ, не смѣя оглянуться назадъ.

Онъ ушелъ, а Татьяна Марковна все еще стояла въ своей позѣ, съ глазами, сверкающими гнѣвомъ, передергивая на себѣ, отъ волненія, шаль. Райскій очнулся отъ изумленія и робко подошелъ къ ней, какъ будто не узнавая ее, видя въ ней не бабушку, а другую, незнакомую ему до тѣхъ поръ женщину.

— Напрасно вы требовали должной вамъ дани, поклона, отъ этого пня, сказалъ онъ: — онъ не понялъ вашего

величія. Примите отъ меня этотъ поклонъ, не какъ бабушка отъ внука, а какъ женщина отъ мужчины. Я удивляюсь Татьянѣ Марковнѣ, лучшей изъ женщинъ, и кланяюсь ея женскому достоинству!

Онъ поцѣловалъ у ней руку.

— Принимаю, Борисъ Павлычъ, твой поклонъ, какъ большую честь—и не даромъ принимаю—я его заслуживаю. А вотъ и тебѣ, за твой честный поступокъ, мой поцѣлуй—не отъ бабушки, а отъ женщины...

Она поцѣловала въ щеку.

Въ эту же минуту кто-то поцѣловалъ его въ другую щеку.

— А это отъ другой женщины! тихо сказала Вѣра, цѣлуя его, и быстро ускользнула въ дверь.

— Ахъ! страстно сдѣлалъ Райскій, протягивая вслѣдъ ей руку.

— Мы съ ней не сговаривались, а обѣ поняли тебя. Мы съ нею мало говоримъ, а похожи другъ на друга! сказала Татьяна Марковна.

— Бабушка! вы необыкновенная женщина! сказалъ Райскій, глядя на нее съ восторгомъ, какъ будто въ первый только разъ увидѣлъ ее.

— А ты уродъ, только хорошій уродъ! заключила она, сильно трепля его по плечу.—Поди же, съѣзди къ губернатору и разскажи по правдѣ, какъ было дѣло, чтобъ тотъ не наплелъ вздору, а я поѣду къ Полинѣ Карповнѣ и попрошу у ней извиненія.

## III.

Нила Андреича почти сняли съ дрожекъ, когда онъ воротился домой. Экономка его терла ему виски уксусомъ, на животъ поставила горчичники и „ругательски ругала“ Татьяну Марковну.

Но домашнія средства не успокоили старика. Онъ ждалъ, что завтра завернетъ къ нему губернаторъ, узнать, какъ было дѣло, и выразить участіе, а онъ предложитъ ему выслать Райскаго изъ города, какъ безпокойнаго человѣка, а Бережкову обязать подпиской не принимать у себя Волохова.

Но прошло три дня: ни губернаторъ, ни вице-губернаторъ, ни совѣтники не завернули къ нему. Начать жалобу самому, раскапывать старыя воспоминанія—онъ почему-то не счелъ удобнымъ.

Прежній губернаторъ, старикъ Пафнутьевъ, при которомъ даже дамы не садились въ гостяхъ, прежде нежели онъ не сядетъ самъ, взыскалъ бы съ виновныхъ за одно неуваженіе къ рангу: но нынѣшній губернаторъ къ этому равнодушенъ. Онъ даже не замѣчаетъ, какъ одѣваются у него чиновники, самъ ходитъ въ старомъ сюртукѣ и заботится только, чтобъ „въ Петербургъ никакихъ исторій не доходило“..

Ждалъ Нилъ Андреичъ Тычковъ, что зайдетъ кто-нибудь изъ его бывшихъ подчиненныхъ, молодыхъ чиновниковъ, чтобъ разспросить, что дѣлается въ непріятельскомъ лагерѣ. Но никто не являлся.

Онъ снизошелъ до того, что самъ, будто гуляя, зашелъ дома въ два и получилъ отказъ. Лакеи смотрѣли на него какъ-то любопытно.

„Плохо дѣло“, думалъ онъ и засѣлъ дома.

Въ воскресенье онъ послалъ за докторомъ, который лечилъ и въ губернаторскомъ домѣ, и въ Малиновкѣ.

Докторъ старался не смотрѣть на Нила Андреича, а если смотрѣлъ, то также, какъ и лакеи, „любопытно“. Онъ торопился, и когда Тычковъ предложилъ ему позавтракать, онъ сказалъ, что званъ на „фриштикъ“ къ Бережковой, у которой будетъ и его превосходительство, и

всѣ, и что онъ видѣлъ, какъ архіерей прямо изъ собора уже поѣхалъ къ ней, и потому спѣшитъ... И уѣхалъ, прописавъ Нилу Андреевичу діэту и покой.

— Суета суетъ! произнесъ, вздохнувъ всѣмъ животомъ своимъ, Тычковъ и поникнулъ головой.

Онъ понялъ, что авторитетъ его провалился навсегда, что онъ былъ послѣдній могиканъ, послѣдній изъ генераловъ Тычковыхъ!

И другіе, прежніе его подчиненные, еще недавно облизывавшіеся отъ его похвалы, вдругъ будто прозрѣли и поняли „правду" въ поступкѣ Райскаго, краснѣя за напрасность своего долговременнаго поклоненія фальшивому пугалѣ-авторитету. Они всѣ перебывали съ визитомъ у Райскаго.

Въ краткомъ очеркѣ изобразилъ и его Райскій въ программѣ своего романа, и самъ не зналъ,—зачѣмъ.

— Подъ руку попался, какъ Онѣгинъ! говорилъ онъ, дописывая послѣднюю строку и не предвидя ему болѣе роли между своими героями.

Райскій дня три былъ подъ вліяніемъ воскреснаго завтрака. Внезапное превращеніе Татьяны Марковны изъ бабушки и гостепріимной хозяйки въ львицу, поразило его.

Ея сверкающіе глаза, гордая поза, честность, прямота, здравый смыслъ, вдругъ прорвавшіеся сквозь предразсудки и лѣнивыя привычки—не выходили у него изъ головы.

Онъ натянулъ холстъ и сдѣлалъ удачный очеркъ ея фигуры, съ намѣреніемъ уловить на полотно ея позу, гнѣвъ, величавость, и поставить въ галлерею фамильныхъ портретовъ.

Онъ, если можно, полюбилъ ее еще больше. Она тоже ласковѣе прежняго поглядывала на него, хотя видно было, что внутренно она не мало озабочена была сама своей „прытью", какъ говорила она, и старалась молча перера-

ботать въ себѣ это „противорѣчіе съ собой“, какъ называлъ Райскій.

Уважать человѣка сорока лѣтъ, называть его „серьезнымъ“, „почтеннымъ“, побаиваться его суда, пугать имъ другихъ — и вдругъ въ одну минуту выгнать его вонъ! Она не раскаивалась въ своемъ поступкѣ, находя его справедливымъ, но задумывалась прежде всего о томъ, что сорокъ лѣтъ она добровольно терпѣла ложь, и что внукъ ея... былъ... правъ.

Этого она ни за что не скажетъ ему: молодъ онъ, пожалуй, зазнается, а она покажетъ ему вниманіе иначе, по-своему, не ставя себя въ затруднительное положеніе передъ внукомъ и не давая ему торжества.

Вотъ отчего она ласковѣе смотрѣла на Райскаго и про себя уважала его больше прежняго.

Но все же ей было неловко — не отъ одного только внутренняго „противорѣчія съ собой“, а просто отъ того, что вышла исторія у ней въ домѣ, что выгнала человѣка стараго, почтен... нѣтъ серьезнаго“, „со звѣздой“...

Она вздыхала, но воротить прежняго не желала, а хотѣла бы только, чтобъ это событіе отодвинулось лѣтъ за десять назадъ, превратилось бы какимъ-нибудь чудомъ въ давно прошедшее и забылось совсѣмъ.

Внезапный поцѣлуй Вѣры взволновалъ Райскаго больше всего. Онъ чуть не заплакалъ отъ умиленія и основалъ-было на немъ дальнія надежды, полагая, что простой случай, неприготовленная сцена, гдѣ онъ нечаянно высказался просто, со стороны честности и приличія, поведутъ къ тому, чего онъ добивался медленнымъ и труднымъ путемъ—къ сближенію.

Но онъ ошибся. Поцѣлуй не повелъ ни къ какому сближенію. Это была такая же неожиданная искра сочувствія

Вѣры къ его поступку, какъ неожиданъ былъ самъ поступокъ. Блеснула какая-то молніи въ ней и погасла.

Конечно, молнію эту вызвала хорошая черта, но она и не сомнѣвалась въ достоинствѣ его характера, она только не хотѣла сближенія тѣснѣе, какъ онъ желалъ, и не давала ему никакихъ другихъ, кромѣ самыхъ ограниченныхъ правъ, на свое вниманіе.

Онъ держалъ крѣпко слово: не ходилъ къ ней, видѣлся съ ней только за обѣдомъ, мало говорилъ и вовсе не преслѣдовалъ.

— Поговорю съ ней раза два, окончательно разрѣшу себѣ задачу, какъ было и съ Бѣловодовой, и съ Марѳинькой, и по обыкновенію разочаруюсь—потомъ уѣду! рѣшилъ онъ.

— Егоръ! сказалъ онъ:—принеси и осмотри чемоданъ, цѣлъ ли замокъ и ремни: я недолго здѣсь останусь.

Въ домѣ было тихо, вотъ ужъ и двѣ недѣли прошли со времени пари съ Маркомъ, а Борисъ Павлычъ не влюбленъ, не бѣснуется, не дѣлаетъ глупостей, и въ теченіе дня рѣшительно забываетъ о Вѣрѣ, только вечеромъ и утромъ она является въ головѣ, какъ по зову.

Онъ старался, и успѣвалъ, не показывать ей, что еще занятъ ею. Ему даже хотѣлось бы стереть и память объ увлеченіи, которое онъ неосторожно и смѣшно высказалъ.

— Вотъ ужъ до чего я дошелъ: стыжусь своего идола—значитъ побѣда близка! радовался онъ про себя, хотя ловилъ и уличалъ себя въ томъ, что припоминаетъ малѣйшую подробность о ней, видитъ, не глядя, какъ она войдетъ, что̀ скажетъ, почему молчитъ, какъ взглянетъ.

— Все это пустое, миражъ, миражъ! говорилъ онъ:—анализъ коснулся впечатлѣнія—и его нѣтъ!

Онъ занялся портретомъ Татьяны Марковны и программой романа, которая приняла значительный объемъ. Онъ набросалъ первую встрѣчу съ Вѣрой, свое впечатлѣніе,

вставилъ туда, въ видѣ аксессуаровъ, всѣ лица, пейзажи Волги, фотографію съ своего имѣнія — и мало-по-малу оживлялся. Его „миражъ“ сталъ облекаться въ плоть. Передъ нимъ носилась тайна созданія.

Онъ сталъ веселъ, развязенъ, и раза два гулялъ съ Вѣрой, какъ съ посторонней, милой, умной собесѣдницей, и сыпалъ передъ ней, безъ умысла и желанія добиваться чего-нибудь весь свой запасъ мыслей, знаній, анекдотовъ, бурно игралъ фантазіей, разливался въ шуткахъ, или въ задумчивыхъ догадкахъ развивалъ свое міросозерцаніе,— словомъ, жилъ тихою, но пріятною жизнью, ничего не требуя, ничего ей не навязывая.

Онъ съ удовольствіемъ замѣтилъ, что она перестала бояться его, довѣрялась ему, не запиралась отъ него на ключъ, не уходила изъ сада, видя, что онъ, пробывъ съ ней нѣсколько минутъ, уходилъ самъ; просила смѣло у него книгъ, и даже приходила за ними сама къ нему въ комнату, а онъ, давая требуемую книгу, не удерживалъ ее, не напрашивался въ „руководители мысли“, не спрашивалъ о прочитанномъ, а она сама иногда говорила ему о своемъ впечатлѣніи.

Они послѣобѣденные часы нерѣдко просиживали вдвоемъ у бабушки—и Вѣра не скучала, слушая его, даже иногда улыбалась его шуткамъ. А иногда случалось, что она, вдругъ не дослушавъ конца страницы, не кончивъ разговора, слегка извинялась и уходила—неизвѣстно куда, и возвращалась черезъ часъ, черезъ два, или вовсе не возвращалась къ нему—онъ не спрашивалъ.

Его отвлекали, кромѣ его труда, нѣкоторыя знакомства въ городѣ, которыя онъ успѣлъ сдѣлать. Иногда онъ обѣдывалъ у губернатора, даже былъ съ Марѳинькой и съ Вѣрой на загородномъ лѣтнемъ праздникѣ у откупщика, но, къ сожалѣнію Татьяны Марковны, не плѣнился его

дочерью, сухо отвѣтивъ на ея вопросы о ней, что она „барышня“.

Вѣра была невозмутимо равнодушна къ нему: вотъ въ чемъ онъ убѣдился и чему покорялся, по необходимости. Хотя онъ сдѣлалъ успѣхи въ ея довѣріи и дружбѣ, но эта дружба была еще отрицательная, и довѣріе ея состояло только въ томъ, что она не боялась больше неприличнаго шпіонства его за собой.

У ней сильно задрожалъ отъ улыбки подбородокъ, когда онъ самъ остроумно сравнилъ себя съ выздоровѣвшимъ сумасшедшимъ, котораго уже не боятся оставлять одного, не запираютъ оконъ въ его комнатѣ, даютъ ему ножъ и вилку за обѣдомъ, даже позволяютъ самому бриться, — но все еще у всѣхъ въ домѣ памятны недавнія сцены неистовства, и потому внутренно никто не поручится, что въ одно прекрасное утро онъ не выскочитъ изъ окна, или не перерѣжетъ себѣ горла.

Дружба ея не дошла еще до того, чтобъ она повѣрила ему, если не тайны свои, такъ хоть обратилась бы къ его мнѣнію, къ авторитету его опытности въ чемъ-нибудь, къ его дружбѣ, наконецъ сказала бы ему, что̀ ее занимаетъ, кто ей нравится, кто нѣтъ.

Никакой искренней своей мысли не высказала она, не обнаружила желанія, кромѣ одного, которое высказала категорически—это быть свободной, т. е. чтобы ее оставляли самой себѣ, не замѣчали за ней, забыли бы о ея существованіи.

— Ну, вотъ—это исполнено теперь: что жъ дальше? ужели такъ все и будетъ? говорилъ онъ.—Надо поосторожнѣе справиться!...

Онъ добился, что она стала звать его братомъ, а не кузеномъ но на *ты* не переходила, говоря, что *ты*, само по̀ себѣ, безъ всякихъ правъ, уполномочиваетъ на многое.

чего той или другой сторонѣ иногда не хочется, порождаетъ короткость, даже иногда стѣсняетъ ненужной, и часто нераздѣленной, другой стороной, дружбой.

— Ну, довольна ты мной? сказалъ онъ однажды послѣ чаю, когда они остались одни.

— Что такое, чѣмъ? спросила она, взглянувъ на него съ любопытствомъ.

— Какъ чѣмъ? съ изумленіемъ повторилъ онъ: — а перемѣной во мнѣ?

— Перемѣной?

— Да! Прошу покорно! Я работалъ, смирялъ свои взгляды, желанія, молчалъ, не замѣчалъ тебя: чего мнѣ стоило! А она и не замѣтила! Вѣдь я испытываю себя, а она... Вотъ и награда!

— Я думала, вы и забыли объ этомъ! сказала она равнодушно.

— А ты забыла?

— Да, и это награда и есть.

Онъ съ изумленіемъ смотрѣлъ на нее.

— Хороша награда: забыла!

— Да, я забыла, что вы мнѣ надоѣдали и вижу въ васъ теперь то, чѣмъ вамъ слѣдовало быть сначала, какъ вы пріѣхали.

— И только?

— Чего же вы хотите?

— А дружба?

— Это дружба и есть. Я очень дружна съ вами...

„Э! такъ нельзя, нѣтъ!...“ горячился онъ про себя—и тутъ же самъ себя внутренно уличилъ, что онъ проситъ у Вѣры „на водку“, за то, что поступалъ „справедливо“.

— Хороша дружба: я ничего не знаю о тебѣ, — ты ничего мнѣ не повѣряешь, никакой сообщительности — какъ чужая... замѣтилъ онъ.

— Я ничего никому не говорю: ни бабушкѣ, ни Марѳинькѣ...

— Это правда: бабушка, Марѳинька—милыя, добрыя существа, но между ними и тобой цѣлая бездна... а между мною и тобой много общаго...

— Да, я забыла, что я „мудрая", сказала она насмѣшливо.

— Ты развитая: у тебя не молчитъ умъ, и если сердце еще не заговорило, то ужъ трепещетъ ожиданіемъ... Я это вижу...

— Что̀ же вы видите?

— Что ты будто прячешься и прячешь что̀-то... Богъ тебя знаетъ!

— Пусть же Онъ одинъ и знаетъ, что̀ у меня!

— Ты—характеръ, Вѣра!

— Что жъ, это порокъ!

— Рѣдкое достоинство—если характеръ, а не претензія на него.

Она слегка пожала плечами, какъ бы неудостоивая отвѣчать.

— И у тебя нѣтъ потребности высказаться передъ кѣмъ-нибудь, раздѣлить свою мысль, провѣрить чужимъ умомъ или опытомъ какое-нибудь темное пятно въ жизни, туманное явленіе, загадку? А вѣдь для тебя много новаго...

— Нѣтъ, братъ, пока нѣтъ желанія, а если будетъ, можетъ-быть, я тогда и приду къ вамъ...

— Помни же, Вѣра, что у тебя есть братъ, другъ, который готовъ все для тебя сдѣлать, даже принести жертвы...

— За что̀ вы будете приносить ихъ?

— За то, что—ты такъ... „прекрасна", хотѣлось сказать, но она смотрѣла на него строго.—За то, что ты такъ... умна, своеобразна... и притомъ мнѣ такъ хочется! договорилъ онъ.

— А если мнѣ не хочется?

— Ну, значитъ, нѣтъ дружбы.

— Да неужели дружба такое корыстное чувство, и другъ только цѣнится потому, что сдѣлалъ то или другое? Развѣ нельзя такъ любить другъ друга, за характеръ, за умъ? Если бъ я любила кого-нибудь, я бы даже избѣгала одолжать его или одолжаться...

— Отчего?

— Я ужъ сказала однажды, отчего: чтобъ не испортить дружбы. Равенства не будетъ, друзья связаны будутъ не чувствомъ, а одолженіемъ, оно вмѣшается — и одинъ станетъ выше, другой ниже: гдѣ же свобода?

— Какая ты красная, Вѣра: вездѣ свобода! Кто это нажужжалъ тебѣ про эту свободу?... Это видно какой-то диллетантъ свободы! Этакъ нельзя попросить другъ у друга сигары, или поднять тебѣ вотъ этотъ платокъ, что̀ ты уронила подъ ноги, не сдѣлавшись крѣпостнымъ рабомъ! Берегись: отъ свободы до рабства, какъ отъ разумнаго до нелѣпаго—одинъ шагъ! Кто это внушилъ тебѣ?

— Никто, сказала она, зѣвая и вставая съ мѣста.

— Я не надоѣлъ тебѣ, Вѣра? спросилъ онъ торопливо:— пожалуйста, не прими этого за допытыванье, за допросъ; не ставь всякаго лыка въ строку. Это простой разговоръ...

— Я на столько „мудра“, братъ, чтобъ отличить бѣлое отъ чернаго, и я съ удовольствіемъ говорю съ вами. Если вамъ не скучно, приходите сегодня вечеромъ опять ко мнѣ, или въ садъ: мы будемъ продолжать...

Онъ чуть не вспрыгнулъ отъ радости.

— Милая Вѣра! сказалъ онъ.

— Только, я боюсь, что не умѣю занять васъ: я все молчу, вамъ приходится говорить одному...

— Нѣтъ, нѣтъ—будь такою, какая ты есть и какою хочешь быть...

— Вы позволяете, братецъ?

— Не смѣйся, ей-Богу, я не шучу...

— Ну, и побожились еще, какъ Викентьевъ... Теперь ужъ надо помнить слово. До вечера!

## IV.

И вечеромъ ничего больше не добился Райскій. Онъ говорилъ, мечталъ, вспыхивалъ въ одно мгновеніе отъ ея бархатныхъ, темнокарихъ глазъ, и тотчасъ же угасалъ отъ равнодушнаго ихъ взгляда.

Передъ нимъ было прекрасное явленіе, съ задатками такого сильнаго, мучительнаго, безумнаго счастья, но оно было недоступно ему: онъ лишенъ былъ права, не только выражать желанія, даже глядѣть на нее иначе, какъ на сестру, или какъ глядятъ на чужую, незнакомую женщину.

Оно такъ и должно быть: онъ уже согласился съ этимъ. Если бъ это отчужденіе налагалось на него только чистотой дѣвической скромности, безсознательно, невѣдающею зла невинностью, какъ было съ Марѳинькой, онъ бы скорѣе успокоился, уваживъ безусловно святость невѣдѣнія.

Но у Вѣры нѣтъ этой безсознательности: въ ней проглядываетъ и проговаривается, если не опытъ (и конечно не опытъ: онъ былъ убѣжденъ въ этомъ), если не знаніе, то явное предчувствіе опыта и знанія, и она—не невѣдѣніемъ, а гордостью отразила его нескромный взглядъ и желаніе нравиться ей. Стало-быть, она уже знаетъ, что̀ значитъ страстный взглядъ, влеченіе къ красотѣ, къ чему это ведетъ, и когда и почему поклоненіе можетъ быть оскорбительно.

Она какъ-нибудь угадала или услѣдила перспективу впечатлѣній, борьбу чувствъ, и предузнаетъ ходъ и, можетъ-быть, драму страсти, и понимаетъ, какъ глубоко входитъ эта драма въ жизнь женщины.

Эта преждевременная чуткость не есть непремѣнно плодъ опытности. Предвидѣнія и предчувствія будущихъ шаговъ жизни даются острымъ и наблюдательнымъ умамъ вообще, женскимъ въ особенности, часто безъ опыта, предтечей которому у тонкихъ натуръ служитъ инстинктъ.

Онъ готовитъ ихъ къ опыту по какимъ-то намекамъ, непонятнымъ для наивныхъ натуръ, но явнымъ для открытыхъ, острыхъ глазъ, которые способны, при блескѣ молніи, разрѣзавшей тучи, схватить весь рисунокъ освѣщенной мѣстности и удержать въ памяти.

А у Вѣры именно такіе глаза: она броситъ всего одинъ взглядъ на толпу, въ церкви, на улицѣ, и сейчасъ увидитъ кого ей нужно, также однимъ взглядомъ и на Волгѣ она замѣтитъ, и судно, и лодку въ другомъ мѣстѣ, и пасущихся лошадей на островѣ, и бурлаковъ на баркѣ, и чайку, и дымокъ изъ трубы въ дальней деревушкѣ. И умъ, кажется, у ней былъ такой же быстрый, ничего не пропускающій, какъ глаза.

Не все конечно знаетъ Вѣра въ игрѣ или борьбѣ сердечныхъ движеній, но однако же она, какъ по всему видно, понимаетъ, что тамъ таится цѣлая область радостей, горя, что умъ, самолюбіе, стыдливость, нѣга, участвуютъ въ этомъ вихрѣ и волнуютъ человѣка. Инстинктъ у ней шелъ далеко впереди опыта.

Вотъ объ этомъ и хотѣлось бы поговорить Райскому съ ней, допытаться, почему ей этотъ міръ волненій какъ-будто знакомъ, отчего она такъ сознательно, гордо и упрямо отвергаетъ его поклоненіе.

Но она и вида не показываетъ, что замѣчаетъ его желаніе проникнуть ея тайны, и если у него вырвется намекъ — она молчитъ, если въ книгѣ идетъ рѣчь объ этомъ, она слушаетъ равнодушно, какъ Райскій голосомъ ни напираетъ на томъ мѣстѣ.

У него, отъ напряженныхъ усилій разгадать и обратить Вѣру къ жизни („а не отъ любви“ думалъ онъ), накипало на сердцѣ, нервы раздражались опять, онъ становился ѣдокъ и золъ. Тогда пропадала веселость, надоѣдалъ трудъ, не помогали развлеченія.

— Это не опытъ, а пытка! говорилъ онъ въ такіе мрачные дни и боязливо спрашивалъ себя, къ чему ведетъ вся эта тактика и откуда она у него проистекаетъ?

И совѣстно было ему по временамъ, когда онъ трезво оглядывался вокругъ, какъ это онъ довелъ себя до такой подчиненной роли передъ дѣвочкой, которая мудритъ надъ нимъ, какъ надъ школьникомъ, подсмѣивается и платитъ за всю его дружбу безнадежнымъ равнодушіемъ?

Онъ опять подкарауливалъ въ себѣ подозрительные взгляды, которые бросалъ на Вѣру, разъ или два онъ спрашивалъ у Марины, дома ли барышня, и однажды, не заставши ее въ домѣ, полдня просидѣлъ у обрыва и, не дождавшись, пошелъ къ ней и спросилъ, гдѣ она была, стараясь сдѣлать вопросъ небрежно.

— Была тамъ, на берегу, на Волгѣ, еще небрежнѣе отвѣчала она.

Онъ только хотѣлъ уличить ее, что онъ тамъ караулилъ и что ея не было, но удержался, зато у него вырвался взглядъ изумленія и былъ ею замѣченъ. Но она даже не дала себѣ труда объясниться, отчего вышло противорѣчіе и какимъ путемъ она воротилась съ берега.

Но она была тамъ, или гдѣ-нибудь далеко, потому что была немного утомлена, надѣла, воротясь, вмѣсто ботинокъ, туфли, вмѣсто платья, блузу, и руки у ней были нѣсколько горячи.

Онъ однако продолжалъ работать надъ собой, чтобы окончательно завоевать спокойствіе, опять ѣздилъ по городу, опять заговаривалъ съ смотрительской дочерью и предавался

необузданному веселью отъ ея отвѣтовъ. Даже иногда вновь пытался возбудить въ Марѳинькѣ какую-нибудь искру поэтическаго, нѣсколько мечтательнаго, нѣсколько бурнаго чувства, не къ себѣ, нѣтъ, а только повѣять на нее какимъ-нибудь свѣжимъ и новымъ воздухомъ жизни, но все отскакивало отъ этой ясной, чистой и тихой натуры.

Иногда онъ какъ будто и расшевелитъ ее, она согласится съ нимъ, выслушаетъ задумчиво, если онъ скажетъ ей что-нибудь „умное“ или „мудреное,“ а черезъ пять минутъ, онъ слышитъ, ея голосъ гдѣ-нибудь вверху уже поетъ: „Ненаглядный ты мой, какъ люблю я тебя“, или рисуетъ она букетъ цвѣтовъ, семейство голубей, портретъ съ своего кота, а не то примолкнетъ, сидя гдѣ-нибудь, и читаетъ книжку „съ веселымъ окончаніемъ“, или же болтаетъ неумолкаемо и споритъ съ Викентьевымъ.

Протянулась еще недѣля, и скоро долженъ исполниться мѣсяцъ глупому предсказанію Марка, а Райскій чувствовалъ себя свободнымъ „отъ любви“. Въ любовь свою онъ не вѣрилъ и относилъ все къ раздраженію воображенія и любопытства.

Случалось даже, что по нѣскольку дней не бывало и раздраженія, и Вѣра являлась ему безразлично съ Марѳинькой: обѣ казались парой прелестныхъ институтокъ на выпускѣ, съ институтскими тайнами, обожаніемъ, со всею мечтательною теоріею и взглядами на жизнь, какіе только устанавливаются въ головѣ институтки — впредь до опыта, который и перевернетъ все вверхъ дномъ.

Вѣра приходила, уходила, онъ замѣчалъ это, но не вздрагивалъ, не волновался, не добивался ея взгляда, слова, и, вставши однажды утромъ, почувствовалъ себя совершенно твердымъ, т. е. равнодушнымъ и свободнымъ, не только отъ желанія добиваться чего-нибудь отъ Вѣры, но даже отъ желанія пріобрѣтать ея дружбу.

„Я совсѣмъ теперь холоденъ и покоенъ, и могу, по уговору, объявить наконецъ ей, что я готовъ, опытъ конченъ — я ей другъ, такой, какихъ множество у всѣхъ. А надняхъ и уѣду. Да: надо еще повидаться съ „Варравой“ и стащить съ него послѣдніе панталоны: не держи пари!

Онъ мимоходомъ подтвердилъ Егоркѣ, чтобы тотъ принесъ чемоданъ съ чердака и приготовилъ къ отъѣзду.

Онъ пошелъ къ Леонтію справиться, гдѣ въ настоящую минуту витаетъ Маркъ, и засталъ ихъ обоихъ за завтракомъ.

— Знаете что, сказалъ Маркъ, глядя на него: — вы могли бы сдѣлаться порядочнымъ человѣкомъ, если бъ были посмѣлѣе!

— То-есть, если бъ у меня хватило смѣлости подстрѣлить кого-нибудь, или разбить ночью трактиръ! отвѣчалъ Райскій.

— Ну, гдѣ вамъ разбить ночью трактиръ! Да и не нужно—у бабушки вѣчный трактиръ. Нѣтъ, спасибо и на томъ, что выгнали изъ дома старую свинью. Говорятъ, вдвоемъ съ бабушкой: молодцы!

— Почемъ вы знаете?

— Весь городъ говоритъ! Хорошо! Я ужъ хотѣлъ къ вамъ съ почтеніемъ идти, да вдругъ, слышу, вы съ губернаторомъ связались, зазвали къ себѣ и ходили передъ нимъ съ той же бабушкой на заднихъ лапахъ! Вотъ это скверно! А я-было думалъ, что вы и его затѣмъ позвали, чтобъ спихнуть съ крыльца.

— Это называется, кажется, „гражданскимъ мужествомъ?“ сказалъ Райскій.

— Да ужъ не знаю, какое, а только я вамъ какъ-нибудь покажу образчикъ этого мужества. Вотъ тутъ что-то часто сталъ ѣздить мимо нашихъ огородовъ полиціймейстеръ: это, должно-быть, его превосходительство изволитъ безпокоиться

и посылаетъ узнавать о моемъ здоровьи, о моихъ удовольствіяхъ. Ну, хорошо же!... Теперь я воспитываю пару бульдоговъ: еще недѣли не прошло, какъ они у меня, а ужъ на огородахъ у насъ ни одной кошки не осталось... Я ихъ посажу теперь на чердакъ, въ темноту, а когда полковникъ, или его свита, изволятъ пожаловать, такъ мои птенцы и вырвутся... нечаянно, конечно.

— Ну, я пришелъ съ вами проститься — скоро ѣду! сказалъ Райскій.

— Вы ѣдете? съ изумленіемъ спросилъ Маркъ.

— А что?

— Мнѣ нужно бы сказать вамъ нѣсколько словъ... тихо и серьезно добавилъ онъ.

Райскій, въ свою очередь, съ удивленіемъ поглядѣлъ на него.

— Что вамъ? говорите! сказалъ онъ: — не денегъ ли опять?

— Пожалуй, и денегъ опять—да теперь не о деньгахъ рѣчь. Послѣ, я къ вамъ зайду, теперь нельзя...

Онъ кивнулъ на жену Козлова, сидѣвшую тутъ, давая знать, что при ней не хочетъ говорить.

Леонтій всплеснулъ руками, услыхавъ объ отъѣздѣ Райскаго; жена его надулась.

— Какъ же, кто васъ пуститъ? шептала она:—хороши: такъ-то помните свою Улиньку? Ни разу безъ мужа не пришли ко мнѣ?...

Она взяла его за руку и долго держала, глядя на него съ печальной насмѣшкой.

— А деньги принесли? вдругъ спросилъ Маркъ:— триста рублей пари?

Райскій иронически поглядывалъ на него.

— Ну, что же, панталоны гдѣ? сказалъ онъ.

— Я не шучу, давайте триста рублей.

— За что? Я не влюбленъ, какъ видите.

— Нѣтъ, я вижу, что вы по уши влюблены.

— Какъ же это видите?

— Да такъ, по рожѣ.

— Смотрите же: мѣсяцъ прошелъ — и пари кончено. Мнѣ вашихъ панталонъ не нужно—я ихъ вамъ дарю, въ придачу къ пальто.

— Какъ же это ты... ѣдешь!... съ горестью говорилъ Козловъ:—а книги?

— Какія книги?

— А эти, твои,—вотъ онѣ, всѣ цѣлы, вотъ по каталогу, въ порядкѣ...

— Вѣдь я тебѣ подарилъ ихъ.

— Да полно шутить, скажи, куда ихъ?...

— Прощайте, мнѣ некогда. Съ книгами не приставай, сожгу, сказалъ Райскій. — Ну, мудрецъ, по рожамъ узнающій влюбленныхъ—прощайте! Не знаю, встрѣтимся ли опять...

— Деньги подайте — это безчестно не отдавать, говорилъ Маркъ:—я вижу любовь: она, какъ корь, еще не вышла наружу, но скоро высыпитъ... Вонъ, лицо уже красное! Какая досада, что я срокъ назначилъ! Отъ собственной глупости потерялъ триста рублей!

— Прощайте!

— Вы не уѣдете, сказалъ Маркъ.

— Я еще зайду къ тебѣ, Козловъ... я на той недѣлѣ ѣду, обратился Райскій къ Леонтію.

— Ну, такъ не уѣдете! повторилъ Маркъ.

— А что жъ твой романъ? спросилъ Леонтій: — вѣдь ты хотѣлъ его кончить здѣсь.

— Я ужъ у конца—только привести въ порядокъ, въ Петербургѣ займусь.

— И романа не кончите, ни живого, ни бумажнаго! замѣтилъ Маркъ.

Райскій живо обернулся къ нему, хотѣлъ что-то сказать, но отвернулся съ досадой и ушелъ.

— Отчего же ты думаешь, что онъ романа не кончитъ? спросилъ Леонтій Марка.

— Гдѣ ему! съ язвительнымъ смѣхомъ отвѣчалъ Маркъ:—онъ неудачникъ!

## V.

Райскій пошелъ домой, чтобъ поскорѣе объясниться съ Вѣрой, но не въ томъ уже смыслѣ, какъ было положено между ними. Побѣда надъ собой была до того вѣрна, что онъ стыдился прошедшей слабости и ему хотѣлось немного отмстить Вѣрѣ за то, что она поставила его въ это положеніе.

Онъ дорогой придумалъ до десяти редакцій послѣдняго разговора съ ней. И тутъ опять воображеніе стало рисовать ему, какъ онъ явится ей въ новомъ, неожиданномъ образѣ, смѣлый, насмѣшливый, свободный отъ всякихъ надеждъ, нечувствительный къ ея красотѣ, какъ она удивится, можетъ-быть... опечалится!

Наконецъ, онъ остановился на одной редакціи разговора дружеской, но учтиво-покровительственной и, въ результатѣ, совершенно равнодушной. У него даже мелькнула мысль передать ей, конечно въ приличной и доступной ей степени и формѣ, всю длинную исповѣдь своихъ увлеченій, поставить на невѣдомую ей высоту Бѣловодову, облить ее блескомъ красоты, женской прелести, такъ, чтобы бѣдная Вѣра почувствовала себя просто Сандрильоной передъ ней, и потомъ повѣдать о томъ, какъ и эта красота жила только недѣлю въ его воображеніи.

Онъ хотѣлъ осыпать жаркими похвалами Марѳиньку и въ заключеніе упомянуть вскользь и о Вѣрѣ, благосклонно

отозваться о ея красотѣ, о своемъ легкомъ увлеченіи, и всѣхъ ихъ поставить на одну доску, выдвинувъ напередъ другихъ, а Вѣру оставивъ въ тѣни, на заднемъ планѣ.

Онъ трепеталъ отъ радости, создавъ въ воображеніи цѣлую картину—сцену ея и своего положенія, ея смущенія, сожалѣній, которыя, можетъ-быть, онъ забросилъ ей въ сердце и которыхъ она еще теперь не сознаетъ, но сознаетъ, когда его не будетъ около.

Онъ такъ цѣликомъ и хотѣлъ внести эту картину-сцену въ свой проектъ и ею закончить романъ, набросавъ на свои отношенія съ Вѣрой таинственный полу-покровъ: онъ уѣзжаетъ непонятый, неоцѣненный ею, съ презрѣніемъ къ любви и ко всему тому, что нагромоздили на это простое и несложное дѣло люди, а она останется съ жаломъ — не любви, а предчувствія ея въ будущемъ, и съ сожалѣніемъ объ утратѣ, съ туманными тревогами сердца, со слезами, и потомъ вѣчной, тихой тоской до замужества — съ совѣтникомъ палаты! Оно не совсѣмъ такъ, но вѣдь романъ — не дѣйствительность, и эти отступленія отъ истины онъ называлъ „литературными пріемами“.

У него даже духъ занимался отъ предчувствія, какъ это будетъ эффектно и въ дѣйствительности, и въ романѣ.

Онъ сдѣлалъ гримасу, встрѣтивши бабушку, уже слышавшую отъ Егорки, что баринъ велѣлъ осмотрѣть чемоданъ и приготовить къ слѣдующей недѣлѣ бѣлье и платье.

Новость облетѣла весь домъ. Всѣ видѣли, какъ Егорка потащилъ чемоданъ въ сарай смести съ него пыль и паутину, но дорогой предварительно успѣлъ надѣть его на голову мимо-шедшей Анюткѣ, отчего та уронила кастрюльку со сливками, а онъ захихикалъ и скрылся.

Бабушка была поражена неожиданною вѣстью.

— Это ты что затѣялъ, Борюшка? приступила-было она

къ нему и осыпала его упреками, закидала вопросами — но онъ отдѣлался отъ нея и пошелъ къ Вѣрѣ.

Тихо, съ замирающимъ отъ нетерпѣнія сердцемъ предстать въ новомъ видѣ, пробрался онъ до ея комнаты, неслышно дошелъ по ковру къ ней.

Она сидѣла за столомъ, опершись на него локтями, и разбирала какое-то письмо, на простой синей бумагѣ, написанное, какъ онъ мелькомъ замѣтилъ, безпорядочными строками, и запечатанное бурымъ сургучемъ.

— Вѣра! сказалъ онъ тихо.

Она вздрогнула отъ испуга такъ, что онъ задрожалъ. Въ это же мгновеніе рука ея съ письмомъ быстро опустилась въ карманъ.

Оба они неподвижно глядѣли другъ на друга.

— Извини, ты занята? сказалъ онъ, пятясь отъ нея, но не уходя.

Она молчала и мало-по-малу приходила отъ испуга въ себя, не спуская съ него глазъ и все стоя, какъ встала съ мѣста, не вынимая руки изъ кармана.

— Письмо? говорилъ онъ, глядя на карманъ.

Она глубже опустила туда руку. У него въ одну минуту возникли подозрѣнія на счетъ Вѣры, мелькнуло въ головѣ и то, какъ она недавно обманула его, сказавъ, что была на Волгѣ, а сама, очевидно, тамъ не была.

„Что это такое!“ со страхомъ, подумалъ онъ.

— Должно-быть, интересное письмо и большой секретъ! съ принужденной улыбкой сказалъ онъ.—Ты такъ быстро спрятала.

Она сѣла на диванъ и продолжала глядѣть на него уже равнодушно.

„Нѣтъ, ужъ теперь не надуешь этимъ равнодушіемъ!“ подумалъ онъ.

— Покажи письмо... сказалъ онъ шутливо, не твердымъ отъ волненія голосомъ.

Она съ удивленіемъ взглянула на него и плотнѣе прижала руку къ карману.

— Не покажешь?

Она покачала головой.

— Зачѣмъ? спросила потомъ.

— Разумѣется, мнѣ не нужно: что интереснаго въ чужомъ письмѣ? Но докажи, что ты довѣряешь мнѣ и что въ самомъ дѣлѣ дружна со мной. Ты видишь, я равнодушенъ къ тебѣ. Я шелъ успокоить тебя, посмѣяться надъ твоей осторожностью и надъ своимъ увлеченіемъ. Погляди на меня: таковъ ли я, какъ былъ?.. „ахъ, чортъ возьми, это письмо изъ головы нейдетъ!“ думалъ между тѣмъ самъ.

Она поглядѣла на него, точно ли онъ равнодушенъ. Лицо, пожалуй, и равнодушно, но голосомъ онъ какъ будто проситъ милостыню.

— Не покажешь? Ну, Богъ съ тобой! полупечально сказалъ онъ.—Я пойду.

Онъ обернулся къ дверямъ.

— Постойте, сказала она.

Потомъ пошарила немного рукой въ карманѣ, вынула письмо и подала ему.

Онъ поглядѣлъ на обѣ стороны и взглянулъ на подпись: Pauline Kritzki.

— Это не то письмо, сказалъ онъ, подавая его назадъ.

— А развѣ вы видѣли другое! спросила она сухо.

Онъ боялся признаться, что видѣлъ, чтобъ опять не уличила она его въ шпіонствѣ.

— Нѣтъ, сказалъ онъ.

— Ну, такъ читайте.

„Ma belle, charmante, divine Вѣра Васильевна?“ начиналось письмо: „я въ восторгѣ, становлюсь на колѣни

передъ вашимъ милымъ, благороднымъ, прекраснымъ братомъ! Онъ отомстилъ за меня, я торжествую и плачу отъ радости. Онъ былъ великъ! Скажите ему, что онъ мой рыцарь и навсегда, что я его вѣчная, послушная раба! Ахъ, какъ я его уважаю... сказала бы... слово вертится на языкѣ,—но не смѣю... Почему не смѣть? Да, я его люблю, нѣтъ, боготворю!—Всѣ мужчины должны пасть на колѣни передъ нимъ!!..“

Райскій отдалъ-было письмо назадъ.

— Нѣтъ, продолжайте, сказала Вѣра: — тамъ есть просьба до васъ.

Райскій пропустилъ нѣсколько строкъ и читалъ дальше.

„Упросите, умолите вашего брата—онъ васъ обожаетъ, о, не защищайтесь—я замѣтила его страстные взгляды... Боже, зачѣмъ я не на вашемъ мѣстѣ!.. Упросите его, душечка Вѣра Васильевна, сдѣлать мой портретъ—онъ обѣщалъ. Богъ съ нимъ—съ портретомъ, но чтобъ мнѣ быть только съ артистомъ, видѣть его, любоваться имъ, говорить, дышать съ нимъ однимъ воздухомъ! Я чувствую, ахъ, я, чувствую... Ma pauvre tête, je deviens folle! Je compte sur vous, ma belle et bonne amie, et j'attends la réponse...“

— Что-жъ отвѣчать ей? спросила Вѣра, когда Райскій положилъ письмо на столъ.

Онъ молчалъ, не слыхавъ вопроса, все думая, отъ кого другое письмо и отчего она его прячетъ?

— Написать, что вы согласны?

— Боже сохрани—ни за что! опомнившись, съ досадой сказалъ Райскій.

— Какъ же быть: она хочетъ „дышать съ вами однимъ воздухомъ...“

У ней задрожалъ подбородокъ.

— Чортъ съ ней, я задохнусь въ этомъ воздухѣ.

— А если бъ я васъ попросила? сказала она груднымъ шопотомъ, кокетливо поглядѣвъ на него.

Сердце у него перевернулось.

— Ты? зачѣмъ тебѣ это нужно?

— Такъ, мнѣ хочется сдѣлать ей что-нибудь пріятное... сказала она, но не прибавила, что она хваталась за это средство, чтобъ хоть немного отучить Райскаго отъ себя.

Она знала, что Полина Карповна вцѣпится въ него и не скоро выпуститъ его изъ рукъ.

— Ты примешь за знакъ дружбы, если я исполню это?

Она кивнула головой.

— Но вѣдь это жертва?

— Вы напрашивались на нихъ: вотъ одна...

— Ты требуешь! сказалъ онъ, наступая на нее.

— Не надо, не надо, я ничего не требую! торопливо прибавила она, испугавшись и отступая.

— Вотъ ужъ и испугалась моей жертвы! Хорошо, изволь: принеси и ты двѣ маленькія жертвы, чтобъ не обязываться мной. Вѣдь ты не допускаешь въ дружбѣ одолженій: видишь, я вхожу въ твою теорію, мы будемъ квиты.

Она вопросительно глядѣла на него.

— Первое, будь при сеансахъ и ты; а то я съ перваго же раза убѣгу отъ нея: согласна?

Она, нехотя, задумчиво кивнула головой. Ей ужъ не хотѣлось отъ него этого одолженія, когда хитрость ея не удалась и ей самой приходилось сидѣть вмѣстѣ съ ними.

— Во-вторыхъ... сказалъ онъ и остановился, а она ждала съ любопытствомъ.—Покажи другое письмо!

— Какое?

— Что̀ быстро спрятала въ карманъ.

— Тамъ нѣтъ.

— Есть: вонъ, я вижу, оно оттопыривается!

Она опять опустила руку въ карманъ.

— Вы сказали, что не видали другого письма: я вамъ показала одно.—Чего вамъ еще?

— Этого письма ты не спрятала бы съ такимъ испугомъ. Покажешь?

— Вы опять за свое, сказала она съ упрекомъ, перебирая рукой въ карманѣ, гдѣ въ самомъ дѣлѣ шумѣла бумага.

— Ну, не надо—я пошутилъ: только, ради Бога, не принимай этого за деспотизмъ, за шпіонство, а просто за любопытство. А впрочемъ, Богъ съ тобой и съ твоими секретами! сказалъ онъ, вставая, чтобъ уйти.

— Никакихъ секретовъ нѣтъ, сухо отвѣчала она.

— Знаешь ли, что я ѣду скоро? вдругъ сказалъ онъ.

— Знаю, слышала—только правда-ли?

— Почему-жъ ты сомнѣваешься?

Она молчала, опустивъ глаза.

— Ты довольна?

— Да... отвѣчала она тихо.

— Отчего же? съ уныніемъ спросилъ онъ и подошелъ къ ней.

— Отчего?...

Она подумала, подумала, потомъ опустила руку въ карманъ, достала и другое письмо, пробѣжала его глазами, взяла перо, тщательно вымарала нѣкоторыя слова и строки въ разныхъ мѣстахъ и подала ему:

— Я ужъ вамъ говорила — отчего: вотъ еще — прочтите! сказала она и опустила руку опять въ карманъ.

Онъ погрузился въ чтеніе. А она стала смотрѣть въ окно.

Письмо было написано мелкимъ женскимъ почеркомъ. Райскій читалъ: „Я кругомъ виновата, милая Наташа...

— Кто это Наташа?

— Жена священника, моя подруга по пансіону.

*

— А, попадья?—Такъ это ты пишешь: ахъ, это любопытно! сказалъ Райскій, и даже потеръ колѣнки одна о другую отъ предстоящаго удовольствія, и погрузился въ чтеніе.

„Я кругомъ виновата, милая Наташа, что не писала къ тебѣ по возвращеніи домой: по обыкновенію, лѣнилась, а кромѣ того были другія причины, о которыхъ ты сейчасъ узнаешь. Главную изъ нихъ ты знаешь—это... (тутъ три слова были зачеркнуты)... и что̀ иногда не на шутку тревожитъ меня. Но объ этомъ наговоримся при свиданіи.

„Другая причина — пріѣздъ нашего родственника Бориса Павловича Райскаго. Онъ живетъ теперь съ нами, и на бѣду мою, почти не выходитъ изъ дома, такъ что я недѣли двѣ только и дѣлала, что пряталась отъ него. Какую бездну ума, разныхъ знаній, блеска, талантовъ, и вмѣстѣ шума, или „жизни", какъ говоритъ онъ, привезъ онъ съ собой, и всѣмъ этимъ взбударажилъ весь домъ, начиная съ насъ, т. е. бабушки, Марѳиньки, меня—и до Марѳинькиныхъ птицъ! Можетъ-быть, это заняло бы и меня прежде, а теперь, ты знаешь, какъ это для меня неловко, несносно...

„А онъ, пріѣхавши въ свое помѣстье, вообразилъ, что не только оно, но и все, что̀ въ немъ живетъ—его собственность. На правахъ какого-то родства, котораго и назвать даже нельзя, и еще потому, что онъ видѣлъ насъ маленькихъ, онъ поступаетъ съ нами какъ съ дѣтьми, или какъ съ пансіонерками. Я прячусь, прячусь, и едва достигла того, что онъ не видитъ, какъ я сплю, о чемъ мечтаю, чего надѣюсь и жду.

„Я отъ этого преслѣдованія чуть не захворала, не видалась *ни съ кѣмъ*, не писала *ни къ кому*, и даже къ тебѣ, и чувствовала себя точно въ тюрьмѣ. Онъ какъ будто играетъ, можетъ-быть, даже нѐхотя, со мной. Сегодня холоденъ, равнодушенъ, а завтра опять глаза у

него блестятъ, и я его боюсь, какъ боятся сумасшедшихъ. Хуже всего то̀, что онъ самъ не знаетъ себя, и потому нельзя положиться на его намѣренія и обѣщанія: сегодня рѣшится на одно, а завтра сдѣлаетъ другое.

„Онъ „нервозенъ, впечатлителенъ и страстенъ:“ такъ онъ говоритъ про себя—и это, кажется, вѣрно. Онъ не актеръ, не притворяется: для этого онъ слишкомъ уменъ и образованъ, и при томъ честенъ. Такая натура!“ оправдывается онъ.

„Онъ какой-то артистъ: все рисуетъ, пишетъ, фантазируетъ на фортепіано (и очень мило), бредитъ искусствомъ, но, кажется, какъ и мы грѣшные, ничего не дѣлаетъ и чуть ли не всю жизнь проводитъ въ томъ, что „поклоняется красотѣ“, какъ онъ говоритъ: просто влюбчивъ по-нашему, какъ, помнишь, Дашенька Сѣмечкина, которая была однажды заочно влюблена въ испанскаго принца, увидѣвши портретъ его въ нѣмецкомъ календарѣ, и не пропускала никого, даже настройщика Киша. Но у него есть доброта, благородство, справедливость, веселость, свобода мыслей: только все это выражается порывами, и оттого не знаешь, какъ съ нимъ держать себя.

„Теперь онъ ищетъ моей дружбы, но я и дружбы его боюсь, боюсь всего отъ него, боюсь... (тутъ было зачеркнуто цѣлыхъ три строки). Ахъ, если бъ онъ уѣхалъ отсюда! Страшно и подумать, если онъ когда-нибудь... (опять зачеркнуто нѣсколько словъ).

„А мнѣ одно нужно: покой! И докторъ говоритъ, что я нервная, что меня надо беречь, не раздражать, и слава Богу, что онъ натвердилъ это бабушкѣ: меня оставляютъ въ покоѣ. Мнѣ не хотѣлось бы выходить изъ моего круга, который я очертила около себя: никто не переходитъ за эту черту, я такъ поставила себя, и въ этомъ весь мой покой, все мое счастіе.

„Если Райскій какъ-нибудь перешагнетъ эту черту, тогда мнѣ останется одно: бѣжать отсюда! Легко сказать— бѣжать, а куда? Мнѣ вмѣстѣ и совѣстно: онъ такъ милъ, добръ ко мнѣ, къ сестрѣ—осыпаетъ насъ дружбой, ласками, еще хочетъ подарить этотъ уголокъ... этотъ рай, гдѣ я узнала, что живу, не прозябаю!... Совѣстно, зачѣмъ онъ расточаетъ эти незаслуженныя ласки, зачѣмъ такъ старается блистать передо мною и хлопочетъ возбудить во мнѣ нѣжное чувство, хотя я лишила его всякой надежды на это. Ахъ, если бъ онъ зналъ, какъ напрасно все!

„Ну, теперь скажу тебѣ кое-что о томъ...“

Письмо оканчивалось этой строкой. Райскій дочиталъ— и все глядѣлъ на строки, чего-то ожидая еще, стараясь прочесть за строками. Въ письмѣ о самой Вѣрѣ не было почти ничего: она оставалась въ тѣни, а освѣщенъ одинъ онъ—и какъ ярко!

Онъ все думалъ надъ письмомъ, оглядывая его со всѣхъ сторонъ. Потомъ вдругъ очнулся.

— Это опять не то письмо: тò на синей бумагѣ написано! рѣзко сказалъ онъ, обращаясь къ Вѣрѣ:—а это на бѣлой...

Но Вѣры ужъ не было въ комнатѣ.

## VI.

Райскій пришелъ къ себѣ и началъ съ того, что списалъ письмо Вѣры слово въ слово въ свою программу, какъ матеріалъ для характеристики. Потомъ онъ погрузился въ глубокое раздумье, не о томъ, чтò она писала о немъ самомъ: онъ не обидѣлся ея строгими отзывами и сравненіемъ его съ какой-то влюбчивой Дашенькой. „Чтò она смыслитъ въ художественной натурѣ!“ подумалъ онъ.

Его поглотили соображенія о томъ, что письмо это было отвѣтомъ на его вопросъ: рада ли она его отъѣзду! Ему

теперь дѣла не было, будетъ ли отъ этого хорошо Вѣрѣ, или нѣтъ, что онъ уѣдетъ, и ему не хотѣлось уже приносить этой „жертвы“.

Лишь только червь сомнѣнія вползъ къ нему въ душу, имъ овладѣлъ грубый эгоизмъ: *я* выступило впередъ и требовало жертвъ себѣ.

И все раздумывалъ онъ: отъ кого другое письмо? Онъ задумчиво ходилъ цѣлый день, машинально обѣдалъ, не говорилъ съ бабушкой и Марѳинькой, ушелъ отъ ея гостей, не сказавши ни слова, велѣлъ Егоркѣ вынести чемоданъ опять на чердакъ и ничего не дѣлалъ.

Съ мыслью о письмѣ и сама Вѣра засіяла опять и приняла въ его воображеніи образъ какого-то таинственнаго, могучаго, облеченнаго въ красоту зла, и тѣмъ еще сильнѣе и язвительнѣе казалась эта красота. Онъ сталъ чувствовать въ себѣ припадки ревности, перебиралъ всѣхъ, кто былъ вхожъ въ домъ, освѣдомлялся осторожно у Марѳиньки и бабушки, къ кому онѣ всѣ пишутъ и кто пишетъ къ нимъ.

— Да кто пишетъ? Ко мнѣ никто, сказала бабушка:— а къ Марѳинькѣ недавно изъ лавки купецъ письмо прислалъ...

— Это, бабушка, не письмо, а счетъ за шерсть, за узоры: я забирала у него.

— А къ Вѣрочкѣ купецъ не присылалъ? спросилъ Райскій.

— И къ ней присылалъ: она для попадьи забирала...

— Не на синей ли бумагѣ?

— Да, на синей: вы почемъ знаете? Онъ все на синей бумагѣ пишетъ.

Онъ не отвѣчалъ. Ему стало-было легче.

„А зачѣмъ же прятать его?“ вдругъ шевельнулось опять и опять пошла на цѣлый день грызть забота.

„Да что мнѣ за дѣло, чортъ возьми, вѣдь не влюбленъ

же я въ эту статую!" думалъ онъ, вдругъ останавливаясь на дорожкѣ и ворочая одурѣлыми глазами вокругъ.

„Вонъ гдѣ гнѣздится змѣя!" думалъ опять, глядя злобно на ея окно съ отдувающейся занавѣской.

— Пойду прочь, а то еще подумаетъ, что занимаюсь ею... дрянь!—ворчалъ онъ вслухъ, а ноги сами направлялись уже къ ея крыльцу. Но не хватило духу отворить дверь, и онъ торопливо вернулся къ себѣ, облокотился на столъ локтями и просидѣлъ такъ до вечера.

„Что я теперь буду дѣлать съ романомъ?" размышлялъ онъ: „хотѣлъ закончить, а вотъ теперь въ сторону бросило, и опять не видать конца!"

Онъ швырнулъ тетради въ уголъ.

Все прочее вылетѣло опять изъ головы: бабушкины гости, Маркъ, Леонтій, окружающая идиллія—пропали изъ глазъ. Одна Вѣра стояла на пьедесталѣ, освѣщаемая блескомъ солнца и сіяющая въ мраморномъ равнодушіи, повелительнымъ жестомъ запрещающая ему приближаться, и онъ закрывалъ глаза передъ ней, клонилъ голову и мысленно говорилъ:

— Вѣра, Вѣра, пощади меня, смотри, я убитъ твоей ядовитой красотой. Никто никогда не язвилъ меня... и т. д.

То являлась она въ полумракѣ, какъ настоящая Ночь, съ звѣзднымъ блескомъ, съ злой улыбкой, съ таинственнымъ, нѣжнымъ шопотомъ къ кому-то и съ насмѣшливой угрозой ему, блещущая и исчезающая, то трепетная, робкая, то смѣлая и злая!

Ночью онъ не спалъ, днемъ ни съ кѣмъ не говорилъ, мало ѣлъ, и даже похудѣлъ немного—и все отъ такихъ пустяковъ, отъ ничтожнаго вопроса: отъ кого письмо?

Скажи она, вотъ отъ такого-то, или отъ такой-то, и кончено дѣло, онъ и спокоенъ. Стало-быть, въ немъ теперь неугомонное, раздраженное любопытство—и больше ни-

чего. Удовлетвори она этому любопытству, тревога и пройдетъ. Въ этомъ и вся тайна.

— Надо узнать отъ кого письмо, во что бы то ни стало, рѣшилъ онъ, а то меня лихорадка бьетъ. Только лишь узнаю, такъ успокоюсь и уѣду! сказалъ онъ и пошелъ къ ней тотчасъ послѣ чаю.

Ея не было дома, Марина сказала, что барышня надѣла шляпку, мантилью, взяла зонтикъ и ушла.

— Куда?

— Богъ ихъ знаетъ, отвѣчала та:—гуляютъ гдѣ-нибудь, вѣдь онѣ не говорятъ, куда идутъ.

— Никогда?

— Никогда, и спрашивать не велятъ: гнѣваются!

И за обѣдомъ ея не было. Новый ужасъ.

— Гдѣ Вѣра? спросилъ Райскій у бабушки.

Бабушка только нахмурилась, но ничего не сказала. Онъ къ Марѳинькѣ:

— Не знаю, братецъ. Я видѣла давича изъ окна, что она въ деревню пошла.

— Гдѣ же она обѣдаетъ?

— Молока у мужиковъ спроситъ, или послѣ придетъ, у Марины чего-нибудь спроситъ поѣсть.

— Все не по-людски! ворчала про себя бабушка: — своенравная: въ мать! Дались имъ какіе-то нервы! И докторъ тоже все о нервахъ твердитъ. „Не трогайте, не перечьте, берегите! А онѣ отъ нервъ и куролесятъ!

— Что же вы не спросите, куда она ходитъ одна? спросилъ Райскій.

— Какъ можно спросить: прогнѣваются! иронически замѣтила Татьяна Марковна: — на три дня запрутся у себя. Бабушка не смѣй рта разинуть!

— Куда-жъ это она одна?... тихо говорилъ Райскій.

— Она у насъ все одна ходитъ, отвѣчала Марѳинька.

— А ты?

— Какъ можно: я боюсь.

— Чего?

— Мало ли чего! змѣй, лягушекъ, собакъ, большихъ свиней, воровъ, мертвецовъ... Арины боюсь.

— Какой Арины?

— Дурочка у насъ есть.

— А Вѣра?

— Ничего не боится: даже въ церковь на ночь заприте ее, и то не боится.

— А ты бы спросила ее завтра, Марѳинька, гдѣ она была.

— Разсердится!

— Всѣ боятся, прошу покорно!

На другой день опять она ушла съ утра и вернулась вечеромъ. Райскій просто не зналъ, что дѣлать отъ тоски и неизвѣстности. Онъ караулилъ ее въ саду, въ полѣ, ходилъ по деревнѣ, спрашивалъ даже у мужиковъ, не видали ли ее, заглядывалъ къ нимъ въ избы, забывъ объ уговорѣ не слѣдить за ней.

Ужъ становилось темно, когда онъ, блуждая между деревьями, вдругъ увидѣлъ ее пробирающеюся сквозь чащу кустовъ и деревьевъ, росшихъ по обрыву. Онъ весь задрожалъ и бросился къ ней, такъ что и она вздрогнула и остановилась.

— Кто тутъ? спросила она.

— Это... ты... Вѣра?...

— Да, я: а что?

— А тебя по всему дому искали, не знали, куда ты дѣлась!

— Кто? нахмурившись спросила она.

— Бабушка и Марѳинька очень безпокоились...

— Что это имъ вздумалось? Никогда не безпокоились,

а сегодня?... Вы бы имъ сказали, что напрасно, что я никого не прошу безпокоиться обо мнѣ.

— И... я тоже самъ...

— Вы? покорно благодарю: зачѣмъ?

— Но вѣдь легко можетъ случиться что̀ нибудь...

— Напримѣръ?

— Напримѣръ... бѣда какая-нибудь: мало ли случаевъ? Пьяный народъ шатается... змѣи, воры, собаки, свиньи, мертвецы... шутливо прибавилъ Райскій, припомнивъ всѣ страхи Марѳиньки:—могутъ испугать...

— Вотъ я только васъ испугалась теперь, а тамъ ни воровъ, ни мертвецовъ нѣтъ.

Она указала на обрывъ.

— До бѣды недалеко: иногда такъ легко погибнуть человѣку... замѣтилъ онъ.

— Ну, когда я стану погибать, такъ передъ тѣмъ попрошу у васъ или у бабушки позволенія! сказала она и пошла.

— Гордое твореніе! прошепталъ онъ.

— На одну минуту, Вѣра, вслухъ прибавилъ потомъ: — я виноватъ, не возвратилъ тебѣ письма къ попадьѣ. Вотъ оно. Все хотѣлъ самъ отдать, да тебя не было.

Она взяла письмо и положила въ карманъ.

— А то̀, другое, которое тамъ?... ласково, но съ дрожью въ голосѣ, спросилъ онъ, наклоняясь къ ней.

— Какое то̀ и гдѣ тамъ?

— Другое, синее письмо: въ карманѣ?

У него сердце замирало, онъ ждалъ отвѣта.

Она выворотила на изнанку карманъ.

— Ахъ, ужъ нѣтъ! сказалъ Райскій:—отъ кого бы оно могло быть?

— То̀?... А отъ попадьи ко мнѣ, сказала она, помолчавъ:—я на него и отвѣчала.

— Отъ попадьи! почти закричалъ онъ на весь садъ.

— Да, конечно! подтвердила она равнодушно и ушла.

— Отъ попадьи! повторилъ онъ, и у него гора съ плечъ свалилась.—А я бился, бился, а ларчикъ открывался просто! Отъ попадьи! Въ самомъ дѣлѣ: въ одномъ карманѣ и письмо и отвѣтъ на него! Это ясно! Не показывала она мнѣ, тоже понятно: кто покажетъ чужое письмо, съ чужими секретами?... Разумѣется, разумѣется! И давно бы сказала: охота мучить! Какой мгновенный переходъ однако отъ этой глупой тоски, отъ раздраженія къ спокойствію! Вотъ и опять тишина во всемъ организмѣ, гармонія! Боже, какой чудный вечеръ! Какое блестящее небо, какъ воздухъ тепелъ, какъ хорошо! Какъ я здоровъ и глубоко покоенъ! Теперь все узналъ, нечего мнѣ больше дѣлать: черезъ два дня уѣду!

— Егоръ! закричалъ онъ по двору.

— Чего изволите! изъ окна людской спросилъ голосъ.

— Завтра пораньше принеси чемоданъ съ чердака!

— Слушаю-съ.

Онъ мгновенно сталъ здоровъ, веселъ, побѣжалъ въ домъ, попросилъ ѣсть, наговорилъ бабушкѣ съ три короба, разсмѣшилъ пять разъ Марѳиньку и обрадовалъ бабушку, наѣвшись за три дня.

— Ну, вотъ слава Богу! три дня ходилъ, какъ убитый, а теперь опять дымъ коромысломъ пошелъ!... А что Вѣра: видѣлъ ты ее? спросила Татьяна Марковна.

— Письмо отъ попадьи! вдругъ брякнулъ Райскій.

— Какое письмо? сказали обѣ, Марѳинька и бабушка.

— А то, что на синей бумагѣ, о которомъ я недавно спрашивалъ.

Онъ выспался за всѣ три ночи, удивляясь, какъ просто было подобрать этотъ ключъ, а онъ бился трое сутокъ!

— Да вѣдь всѣ простыя догадки даются съ трудомъ! Вонъ и Колумбъ просто открылъ Америку...

И остановился, самъ дивясь своему сравненію.

Утромъ онъ всталъ бодрый, веселый, трепещущій силой, нѣгой, надеждами—и отчего все это? Оттого, что письмо было отъ попадьи!

Онъ проворно сѣлъ за свои тетради, набросалъ свои мученія, сомнѣнія, и какъ они разрѣшились. У него лились замѣтки, эскизы, сцены, рѣчи. Онъ вспомнилъ о письмѣ Вѣры, хотѣлъ прочесть опять, что̀ она писала о немъ къ попадьѣ, и схватилъ снятую имъ копію съ ея письма.

Онъ жадно пробѣгалъ его, съ улыбкой задумался надъ нельстивымъ, крупнымъ очеркомъ подъ перомъ Вѣры самого себя, съ легкимъ вздохомъ перечелъ ту строку, гдѣ говорилось, что нѣтъ ему надежды на ея нѣжное чувство, съ печалью читалъ о своей докучливости, но на сердцѣ у него было покойно, тогда какъ вчера — Боже мой! Какая тревога!

— Что-жъ, уѣду, сказалъ онъ:—дамъ ей покой, свободу. Это гордое, непобѣдимое сердце — и мнѣ дѣлать тутъ нечего: мы оба другъ къ другу равнодушны!

Онъ опять пробѣгалъ разсѣянно строки — и вдругъ глаза у него раскрылись широко, онъ поблѣднѣлъ, перечитавъ:

„Не видалась *ни съ кѣмъ* и не писала *ни къ кому*, даже къ тебѣ...“

— *Ни съ кѣмъ* и *ни къ кому*—подчеркнуто, шепталъ онъ, ворочая глазами вокругъ, губы у него дрожали:— тутъ есть *кто-то*, съ *кѣмъ* она видится, къ *кому* пишетъ! Боже мой! Письмо на синей бумагѣ было — не отъ попадьи!“ сказалъ онъ въ ужасѣ.

Судорога опять прошла внутри его, онъ легъ на диванъ, хватаясь за голову.

## VII.

На другой день, часовъ въ десять утра, кто-то постучалъ къ нему въ комнату. Онъ, блѣдный, угрюмый, отворилъ дверь и остолбенѣлъ.

Передъ нимъ стояли Вѣра и Полина Карповна, послѣдняя въ палевомъ, газовомъ платьѣ, точно въ туманѣ, съ полуоткрытою грудью, съ короткими рукавами, вся въ цвѣтахъ, въ лентахъ, въ кудряхъ. Она походила на тѣхъ бѣленькихъ, мелкихъ пудельковъ, которыхъ стригутъ, завиваютъ и убираютъ въ ленточки, ошейники и бантики, ихъ нѣжныя хозяйки, или собачьи фокусники.

Райскій съ ужасомъ поглядѣлъ на нее, потомъ мрачно взглянулъ на Вѣру, потомъ опять на нее. А Крицкая, съ нѣжными до влажности губами, глядѣла на него молча, впустивъ въ него глубокій взглядъ, и отъ переполнявшаго ее экстаза, а также отчасти отъ жара, оттаяла немного, какъ конфетка, называемая „помадой".

Всѣ молчали.

— Я у ногъ вашихъ! сказала наконецъ сдержаннымъ шопотомъ Крицкая.

— Что̀ вамъ угодно? спросилъ онъ свирѣпо.

— У ногъ вашихъ! повторяла она:—вашъ рыцарскій поступокъ... Я не могу вспомнить, не могу выразить...

Она поднесла платокъ къ глазамъ.

— Вѣра, что̀ это значитъ? съ нетерпѣніемъ спросилъ онъ.

Вѣра—ни слова, только подбородокъ у ней дрожалъ.

— Ничего, ничего—простите... торопливо заговорила Полина Карповна:—vos moments sont précieux: я готова.

— Я писала къ Полинѣ Карповнѣ, что вы согласны сдѣлать ея портретъ, сказала наконецъ Вѣра.

— Ахъ? вырвалось у Райскаго.

Онъ сильно потеръ лобъ. „До того ли мнѣ!“ проскрежеталъ онъ про себя.

— Пойдемте, сейчасъ начну! рѣшительно сказалъ потомъ:—тамъ въ залѣ подождите меня!

— Хорошо, хорошо, прикажите—и мы... Allons, chère Вѣра Васильевна! торопливо говорила Крицкая, уводя Вѣру.

Онъ бы безъ церемоніи отдѣлался отъ Полины Карповны, если бъ при сеансахъ не присутствовала Вѣра. Въ этомъ тотчасъ же сознался себѣ Райскій, какъ только онѣ ушли.

Онъ хотя и былъ возмущенъ недовѣріемъ Вѣры, почти ея враждой къ себѣ, взволнованъ загадочнымъ письмомъ, опять будто ненавидѣлъ ее, между тѣмъ дорожилъ всякими пятью минутами, чтобы быть съ ней. Теперь еще его жгло желаніе добиться, отъ кого письмо.

Онъ досталъ изъ угла натянутый на рамку холстъ, который готовилъ давно для портрета Вѣры, взялъ краски, палитру. Молча пришелъ онъ въ залу, угрюмо, односложными словами, велѣлъ Василисѣ дать какихъ-нибудь занавѣсокъ, чтобъ закрыть окна, и оставилъ только одно; мелькомъ исподлобья взглянулъ раза два на Крицкую, поставилъ ей кресло и сѣлъ самъ.

— Скажите, какъ мнѣ сѣсть, посадите меня!... говорила она съ покорной нѣжностью.

— Какъ хотите, только сидите смирно, не говорите ничего, мѣшать будете! отрывисто отвѣчалъ онъ.

— Не дышу!... шопотомъ сказала она и склонила голову нѣжно на бокъ, полузакрыла глаза и сдѣлала сладкую улыбку.

„У, какая противная рожа!“ шевельнулось у Райскаго въ душѣ: „вотъ постой, я тебя изображу!“

Онъ безъ церемоніи почти вывелъ бабушку и Марфиньку, которыя пришли-было поглядѣть. Егорка, видя, что баринъ началъ писать „натретъ“, пришелъ-было спросить, не отнести ли чемоданъ опять на чердакъ. Райскій, молча, показалъ ему кулакъ.

Борисъ началъ чертить мѣломъ контуръ головы, все злобнѣе и злобнѣе глядя на „противную рожу“, и такъ крѣпко нажималъ мѣлъ, что куски его летѣли въ стороны.

Вѣра сидѣла у двери, тыкала иглой лоскутокъ какого-то кружева и частенько зѣвала, только когда взглядывала на лицо Полины Карповны, у ней дрожалъ подбородокъ и шевелились губы, чтобы сдержать улыбку.

— Suis-je bien comme-ça? шопотомъ спросила Крицкая у Вѣры.

— Oh, oui tout-à-fait bien! сказала Вѣра.

Райскій сдѣлалъ движеніе досады.

— Не дышу! пролепетала съ испугомъ Полина Карповна и замерла въ своей позѣ.

Райскій сдѣлалъ контуръ, взялъ палитру и, косясь непріязненно на Крицкую, началъ подмалевывать глаза, носъ...

„Всѣ забыли твою красоту, черномазая старуха“, думалъ онъ: „кромѣ тебя: и въ этомъ твоя мука!“

Она, замѣтивъ, что онъ смотритъ на нее, старалась слаще улыбнуться.

Минутъ черезъ двадцать, отъ напряженія сидѣть смирно и не дышать, что̀ она почти буквально исполняла, у ней на лбу выступили крупныя капли, какъ бѣлая смородина, и на вискахъ кудри немного подмокли.

— Жарко! шепнула она.

Но Райскій неумолимо мазалъ кистью, строго взглядывая на нее. Прошло еще четверть часа.

— Un verre d'eau! шептала Крицкая едва слышно.

— Погодите, нельзя! строго замѣтилъ Райскій:—вотъ губы кончу.

Полина Карповна перемогла себя, услыхавъ, что рисуютъ ея улыбку. Она періодически, отрывисто и тяжело дышала, такъ что и грудь увлажнилась у ней, а пошевельнуться она боялась. А Райскій мазалъ, да мазалъ, какъ будто не замѣчалъ.

— Полина Карповна устала! замѣтила Вѣра.

Райскій молчалъ. У Крицкой одна губа подалась немного внизъ, какъ она ни старалась удержать ее на мѣстѣ. Изъ груди сталъ исходить легкій свистъ.

Райскій только знаетъ, что мажетъ. Она ужъ раза два пошамкала губами и двѣ-три капли со лба у ней упали на руки.

— Погодите еще немного, сказалъ Райскій.

— Не дышу! почти свистнула Полина Карповна.

Райскій самъ усталъ, но его терзала злоба и онъ не чувствовалъ ни усталости, ни состраданія къ своей жертвѣ. Прошло пять минутъ.

— Охъ, охъ—je n'en puis plus—охъ, охъ! начала Крицкая, падая со стула.

Райскій и Вѣра бросились къ ней и посадили ее на диванъ. Принесли воды, вѣеръ, одеколону—и Вѣра помогала ей оправиться. Крицкая вышла въ садъ, а Райскій остался съ Вѣрой. Онъ быстро и злобно взглянулъ на нее.

— Письмо не отъ попадьи! прошипѣлъ онъ.

Вѣра отвѣчала ему тоже взглядомъ, быстрымъ, какъ молнія, потомъ остановила на немъ глаза, и взглядъ измѣнился, сталъ прозрачный, точно стеклянный, „русалочный...“

— Вѣра, Вѣра! сказалъ онъ тихо, съ сухими губами, взявъ ее за руки:—у тебя нѣтъ довѣрія ко мнѣ!

— Ахъ, пустите меня! съ нетерпѣніемъ говорила она, отнимая руки. — Какое довѣріе, въ чемъ и зачѣмъ оно вамъ!

Она пошла къ Полинѣ Карповнѣ.

„Да — она права: зачѣмъ ей довѣрять мнѣ? А мнѣ-то какъ оно нужно, Боже мой! чтобъ унять раздраженіе, узнать тайну (а тайна есть!) и уѣхать! Не узнавши кто она, что̀ она—не могу уѣхать!“

— Егоръ! сказалъ онъ, вышедши въ переднюю: — отнеси пока чемоданъ опять на чердакъ!

Онъ порисовалъ еще съ полчаса Крицкую, потомъ назначилъ слѣдующій сеансъ черезъ день и предался съ прежнимъ жаромъ неотвязному вопросу все объ одномъ: отъ кого письмо? Узнать и уѣхать—вотъ все, чего онъ добивался. Тутъ хуже всего тайна: отъ нея вся боль!

Онъ подозрительно смотрѣлъ на бабушку, на Мареньку, на Тита Никоныча, на Марину, пуще всего на Марину, какъ на повѣренную и ближайшую фрейлину Вѣры.

Но та пресмыкалась по двору взадъ и впередъ, какъ ящерица, скользя бедромъ, то съ юбками и утюгомъ, то спасаясь отъ побоевъ Савелья—съ воемъ, или съ внезапной, широкой улыбкой во все лицо,—и какъ избѣгала брошеннаго мужемъ вслѣдъ ей кирпича или полѣна, такъ избѣгала и вопросовъ Райскаго. Она воротила лицо въ сторону, завидя его, потупляла свои желтые, безстыжіе глаза и смотрѣла, какъ бы шмыгнуть мимо его подальше.

„Должно-быть, эта бестія все знаетъ!“ думалъ онъ, но разспросамъ боялся давать ходъ: гадко это ему самому было, и остерегался упрека въ „шпіонствѣ“.

Онъ такъ торжественно далъ слово работать надъ собой, быть другомъ въ простомъ смыслѣ слова. Взялъ двѣ недѣли сроку! Боже! что дѣлать! какую глупую муку нажилъ, безъ любви, безъ страсти: только одни какія-то добровольныя

страданія, безъ наслажденій! И вдругъ окажется, что онъ, небрежный, свободный и гордый (онъ думалъ, что онъ гордый!) любитъ ее, что даже у него это и „по рожѣ видно“, какъ по-своему, цинически замѣтилъ это проницательная шельма, Маркъ!

И въ то же время, среди этой борьбы, сердце у него замирало отъ предчувствія страсти: онъ вздрагивалъ отъ роскоши грядущихъ ощущеній, съ любовью прислушивался къ отдаленному рокотанью грома и все думалъ, какъ бы хорошо разыгралась страсть въ душѣ, какимъ бы огнемъ очистила застой жизни и какимъ благотворнымъ дождемъ напоила бы это засохшее поле, все это быліе, которымъ поросло его существованіе.

Что̀ искусство, что̀ самая слава передъ этими сладкими бурями! Что̀ всѣ эти дымно-горькіе, удушливые газы политическихъ и соціальныхъ бурь, гдѣ бродятъ однѣ идеи, за которыми жадно гонится молодая толпа, укладывая туда силы, безъ огня, безъ трепета нервъ? Эти головныя страсти—игра холодныхъ самолюбій, идеи безъ красоты, безъ палящихъ наслажденій, безъ мукъ... часто не свои, а вычитанныя, скопированныя!

— Нѣтъ, я хочу обыкновенной, жизненной и животной страсти, со всей ея классической грозой. Да, страсти, страсти!... ораль онъ, несясь по саду и впивая свѣжій воздухъ.

Но Вѣра не даетъ ее ему: это не льститъ даже ея самолюбію!

Надежда быть близкимъ къ Вѣрѣ питалась въ немъ не однимъ только самолюбіемъ: у него не было нахальной претензіи насильно втереться въ сердце, какъ бываетъ у многихъ писанныхъ красавцевъ, у крѣпкихъ, тупоголовыхъ мужчинъ—и чѣмъ бы ни было—добиться успѣха. Была робкая, слѣпая надежда, что онъ можетъ сдѣлать на нее впечатлѣніе, и пропала.

*

Но когда онъ прочиталъ письмо Вѣры къ пріятельницѣ, у него, невидимо и незамѣтно даже для него самого, подогрѣлась эта надежда. Она тамъ сознавалась, что въ немъ, въ Райскомъ, было что-то: „и умъ, и много талантовъ, блеска, шума или жизни, „что, *можетъ-быть*, въ другое время заняло бы ее, а не теперь...“

Вотъ это *можетъ-быть*, никогда, ни въ какомъ отчаянномъ положеніи насъ не оставляющее, и ввергнуло Райскаго, если еще не въ самую тучу страсти, то уже въ ея жаркую атмосферу, изъ которой счастливо спасаются только сильные, и въ самомъ дѣлѣ „гордые“ характеры.

Да, надежда въ немъ была, надежда на взаимность, на сближеніе, на что-нибудь, чего еще онъ самъ не зналъ хорошенько, но уже чувствовалъ, какъ съ каждымъ днемъ ему все труднѣе становится вырваться изъ этой жаркой и обаятельной атмосферы.

Не недѣлю, а мѣсяцъ назадъ, или передъ пріѣздомъ Вѣры, или тотчасъ послѣ перваго свиданія съ ней, надо было спасаться ему, уѣхать, а теперь ужъ едва ли придется Егоркѣ стаскивать опять чемоданъ съ чердака!

— Или страсть подай мнѣ, вопилъ онъ безсонный, ворочаясь въ мягкихъ пуховикахъ бабушки въ жаркія лѣтнія ночи:—страсть полную, въ которой я могъ бы погибнуть,—я готовъ—но съ тѣмъ, чтобы упиться и захлебнуться ею, или скажи рѣшительно, отъ кого письмо и кого ты любишь, давно ли любишь, невозвратно ли любишь—тогда я и успокоюсь, и вылечусь. Вылечиваетъ безнадежность!

А пока глупая надежда слѣпо шепчетъ: „не отчаявайся, не бойся ея суровости: она молода: если бы кто-нибудь и успѣлъ предупредить тебя, то развѣ недавно, чувство не могло упрочиться здѣсь, въ домѣ, подъ десятками наблюдающихъ за ней глазъ, при этихъ наростахъ предразсудковъ, страховъ, старой бабушкиной морали. Погоди, ты

вытѣснишь впечатлѣніе, и тогда...“ и т. д. — до тѣхъ поръ недугъ не пройдетъ!

— Пойду къ ней, не могу больше! рѣшилъ онъ однажды въ сумерки.—Скажу ей все, все... и что скажетъ она— такъ пусть и будетъ! Или вылечусь, или... погибну!

## VIII.

На этотъ разъ онъ постучался къ ней въ дверь.

— Кто тамъ? спросила она.

— Это я, говорилъ онъ, робко просовывая голову въ дверь:—можно войти?

Она сидѣла у окна съ книгой, но книга, повидимому, мало занимала ее: она была разсѣянна, или задумчива. Вмѣсто отвѣта, она подвинула Райскому стулъ.

— Сегодня не такъ жарко, хорошо! сказалъ онъ.

— Да, я ходила на Волгу: тамъ даже свѣжо, замѣтила она.—Видно погода хочетъ измѣниться.

И замолчали.

— Что это такъ трезвонили сегодня у Спаса? спросилъ онъ:—праздникъ, что-ли, завтра?

— Не знаю, а что?

— Такъ, звонъ не далъ мнѣ спать, и мухи тоже. Какая ихъ пропасть у бабушки въ домѣ: отчего это!

— Я думаю оттого, что варенье варятъ.

— Да, въ самомъ дѣлѣ! То-то я все замѣчаю, что Пашутка поминутно бѣгаетъ куда-то и облизывается... Да и у всѣхъ въ дѣвичьей, и у Марфиньки тоже, рты черные... Ты не любишь варенья, Вѣра?

Она покачала головой.

— Вчера Егоръ отнесъ вашъ чемоданъ на чердакъ, я видѣла... сказала она, помолчавъ.

— Да, а что?

— Такъ...

— Ты хочешь спросить, ѣду ли я и скоро ли?..

— Нѣтъ, я такъ только...

— Не запирайся. Вѣра! что жъ, это естественно. На этотъ вопросъ я скажу тебѣ, что это отъ тебя зависитъ.

— Опять отъ меня?

— Да, отъ тебя: и ты это знаешь.

Она глядѣла равнодушно въ окно.

— Вы мнѣ приписываете много значенія, сказала она.

— Ну, а если это такъ, что̀ бы ты сдѣлала?

— Для меня собственно—я бы ничего не сдѣлала, а если бъ это нужно было для васъ, я бы сдѣлала такъ, какъ вамъ счастливѣе, удобнѣе, покойнѣе, веселѣе...

— Постой, ты смѣшиваешь понятія; надо раздѣлить по родамъ и категоріямъ: „удобнѣе и покойнѣе“ съ одной стороны и „веселѣе и счастливѣе“ съ другой. Теперь и рѣшай!

— Вамъ надо рѣшать, что̀ вамъ больше нравится.

— Я замѣтилъ, что ты уклончива, никогда сразу не выскажешь мысли или желанія, а сначала обойдешь кругомъ. Я не воленъ въ выборѣ, Вѣра: ты рѣши за меня, и что̀ ты дашь, то̀ и возьму. Обо мнѣ забудь, говори только за себя и для себя.

— Вы не послушаетесь, поэтому нечего и говорить!

— Почему ты такъ думаешь?

— Въ который разъ Егорка таскаетъ чемоданъ съ чердака внизъ и обратно? спросила она вмѣсто отвѣта.

— Ну, такъ ты рѣшительно хочешь, чтобъ я уѣхалъ?

Она молчала.

— Скажи —да, и я завтра уѣду.

Она посмотрѣла на него, потомъ отвернулась къ окну.

— Я не вѣрю вамъ, сказала она.

— Попробуй, скажи—и можетъ-быть, увѣруешь.

— Ну, если такъ, уѣзжайте! вдругъ выговорила она.

— Изволь, подавляя вздохъ, проговорилъ онъ.—Мнѣ тяжело, почти невозможно уѣхать, но такъ какъ тебѣ тяжело, что я здѣсь... „можетъ-быть, она скажетъ: *нѣтъ, не тяжело*“, думалъ онъ и медлилъ:—то...

— То и уѣзжайте! повторила она, вставъ съ мѣста и подойдя къ окну.

— Уѣду, не гони, съ принужденной улыбкой сказалъ онъ:—но ты можешь облегчить мнѣ тяжесть, и даже ускорить этотъ отъѣздъ...

— Какъ!

— Это отъ тебя зависитъ, повторяю опять.

— Говорите, что̀ надо дѣлать: „жертвы“ приносить? Я даже готова сама принести вашъ чемоданъ съ чердака.

Онъ не отвѣчалъ на ея насмѣшку.

— Что̀ же?

— Скажи, во-первыхъ, любишь ли ты кого-нибудь?

Она живо обернулась къ нему и съ изумленіемъ взглянула на него.

— И отъ кого, во-вторыхъ, было письмо на синей бумагѣ: оно не отъ попадьи! поспѣшилъ онъ договорить.

— Зачѣмъ это вамъ нужно знать для вашего отъѣзда? спросила она, дѣлая большіе глаза.

— Я объясню тебѣ, Вѣра: но, чтобъ понять мое объясненіе, не надо такъ удивляться, а терпѣливо выслушать и потомъ призвать весь свой умъ...

— Это что̀-нибудь очень умное, мудреное?

— Нужна доброта, участіе, дружба, которою-было ты такъ польстила мнѣ и которую опять за что̀-то отняла...

— Я плачу дружбой за дружбу, братъ, сказала она мягче.

— А развѣ у меня нѣтъ дружбы къ тебѣ?

Она отрицательно покачала головой.

— Что̀ же такое во мнѣ: ты видишь, что я тебѣ не чужой, не по одному родству...

— Это не дружба...

— Ну, такъ любовь?

— Мнѣ ея не надо: я не раздѣляю ее...

— Знаю—и вотъ я и хочу объяснить, какъ ты одна можешь сдѣлать, чтобъ ея не было и во мнѣ!

— Кажется, я все для этого сдѣлала...

— Наоборотъ: ты не могла сдѣлать лучше, если бъ хотѣла любви отъ меня. Ты гордо оттолкнула меня и этимъ раздражила самолюбіе, потомъ окружила себя тайнами и раздражила любопытство. Красота твоя, умъ, характеръ сдѣлали остальное—и вотъ передъ тобой влюбленный въ тебя до безумія! Я бы съ наслажденіемъ бросился въ пучину страсти и отдался бы потоку: я искалъ этого, мечталъ о страсти и заплатилъ бы за нее остальною жизнью, но ты не хотѣла, не хочешь... да?

Онъ сбоку заглядывалъ ей въ лицо.

— Не хочу, сказала она покойно и рѣшительно.

— Ну, я боролся что было силъ во мнѣ,—ты сама видѣла—хватался за всякое средство, чтобъ переработать эту любовь въ дружбу, но лишь пуще увѣровалъ въ невозможность дружбы къ молодой, прекрасной женщинѣ—и теперь только вижу два выхода изъ этого положенія...

Онъ остановился на минуту.

— Одинъ ты заперла мнѣ: это взаимность, продолжалъ онъ.—Страсть разрѣшается путемъ уступокъ, счастья, и обращается тамъ, смотря по обстоятельствамъ, во что хочешь: въ дружбу, пожалуй, въ глубокую, святую, неизмѣнную любовь—я ей не вѣрю—но во что̀ бы ни было, во всякомъ случаѣ, въ удовлетвореніе, въ покой... Ты отнимаешь у меня всякую надежду... на это счастье... да?

Онъ опять подвинулся къ ея лицу, глядя ей пытливо въ глаза. Она утвердительно кивнула головой.

— Да, всякую, повторила она.

— Ну... сказалъ онъ:—чтобъ вынуть боль безнадежности, или убить совсѣмъ надежду, надо...

— Что?

— Сдѣлать то, что я сказалъ сейчасъ, т.-е. признаться, что ты любишь, и сказать, отъ кого письмо на синей бумагѣ! это—второй выходъ...

— А если я не сдѣлаю ни того, ни другого? спросила она гордо, обернувшись къ нему отъ окна.

— Пуще всего—безъ гордости, безъ пренебреженія! съ живостью прибавилъ онъ:—это все противорѣчія, которыя только раздражаютъ страсть, а я пришелъ къ тебѣ съ надеждой, что если ты не можешь раздѣлить моей сумасшедшей мечты, такъ по крайней мѣрѣ не откажешь мнѣ въ простомъ дружескомъ участіи, даже поможешь мнѣ. Но я съ ужасомъ замѣчаю, что ты зла, Вѣра...

— А вы эгоистъ, Борисъ Павловичъ! У васъ вдругъ родилась какая-то фантазія—и я должна дѣлить ее, лечить, облегчать: да что мнѣ за дѣло до васъ, какъ вамъ до меня? Я требую у васъ одного—покоя: я имѣю на него право, я свободна, какъ вѣтеръ, никому не принадлежу, никого не боюсь...

— И я былъ свободенъ и гордъ еще недѣли двѣ назадъ,—а вотъ теперь и не гордъ, и не свободенъ, и боюсь—тебя!

Она съ пренебреженіемъ взглянула на него и слегка пожала плечами.

— Погоди казнить меня этими взглядами: не случилось бы съ тобой того же! говорилъ онъ почти про себя.

— Я не боюсь, не случится!

— И дѣти тоже не боятся, и на угрозы няньки „волкомъ", храбро лепечутъ: „а я его убью!" И ты, какъ дитя храбра, и какъ дитя же будешь безпомощна, когда придетъ твой часъ...

— Никого не боюсь, повторила она, — и этого вашего волка — страсти, тоже! Не стращайте напрасно: вы напустили на себя, и мнѣ даже васъ не жаль!

Ты злая! А если бъ я сдѣлался боленъ горячкой? Бабушка и Марѳинька пришли бы ко мнѣ, ходили бы за мной, старались бы облегчить. Ужели бы ты осталась равнодушной и не заглянула бы ко мнѣ, не спросила бы...

— Это другое дѣло: больной...

— А я развѣ здоровъ? развѣ я не боленъ, и боленъ еще тобой!..

— Виновата ли я въ этомъ?

— Ты тоже бы не виновата была, если бъ меня прихватилъ холодный вѣтеръ на Волгѣ и я бы слегъ въ горячкѣ!

— Тамъ есть средства, лекарства...

— И тутъ есть, я тебѣ указываю одно, вѣрное. Я не шучу: только безнадежность можетъ задушить зародышъ страсти.

— Развѣ я не отнимаю у васъ всякую надежду? Я васъ никогда не буду любить, я вамъ сказала!

— Можетъ-быть, но дѣло въ томъ, что я не вѣрю тебѣ: или если и повѣрю, такъ на одинъ день, а тамъ опять родятся надежды. Страсть умретъ, когда самый предметъ ея умретъ, т.-е. перестанетъ раздражать...

— Не могу же я принести вамъ этой „жертвы", братъ: умереть!

— И не надо! Ты скажи, любишь ли ты и отъ кого письмо: это будетъ все равно, что ты умерла для меня.

Онъ говорилъ горячо и серьезно. Она задумалась и боролась повидимому съ собой, оборачиваясь къ окну и обратно отъ окна къ нему.

— Хорошо... сказала она, понижая голосъ, и медлила. — Я... люблю... другого...

— Кого? вдругъ вскрикнулъ онъ, вскочивъ со стула.

— Что же вы испугались? Вы сами этого хотѣли: успокойтесь и уѣзжайте: теперь вы знаете.

— Кого? повторилъ онъ, не слушая ее.

— Что за дѣло до имени!

— Имя, имя? Кто писать письмо? говорилъ онъ съ дрожью въ голосѣ.

— Никто! Я выдумала, я никого не люблю, письмо отъ попадьи! равнодушно сказала она, глядя на него, какъ онъ въ волненіи глядѣлъ на нее воспаленными глазами, и ея глаза мало-по-малу теряли свой темный бархатный отливъ, свѣтлѣли, и наконецъ стали прозрачны. Изъ нихъ пропала мысль, все, что̀ въ ней происходило, и прочесть въ нихъ было нечего.

— Говори, ради Бога, не оставляй меня на этомъ обрывѣ: правду, одну правду—и я выкарабкаюсь, малѣйшая ложь—и я упаду!

— Послушайте, братъ: не играете ли вы со мной въ какую-то тонкую игру?...

— Ей-Богу, не знаю: если это игра, такъ она похожа на ту, когда человѣкъ ставитъ послѣдній грошъ на карту, а другой рукой щупаетъ пистолетъ въ карманѣ. Дай руку, тронь сердце, пульсъ, и скажи, какъ называется эта игра? Хочешь прекратить пытку: скажи всю правду—и страсти нѣтъ, я покоенъ, буду самъ смѣяться съ тобой и уѣзжаю завтра же. Я шелъ, чтобъ сказать тебѣ это...

— Вы не только эгоистъ, но вы и деспотъ, братъ: я лишь открыла ротъ, сказала, что люблю—чтобъ испытать васъ, а вы—посмотрите, что̀ съ вами сдѣлалось: грозно сдвинули брови и приступили къ допросу. Вы, развитой умъ, homme blasé, grand cœur, рыцарь свободы—стыдитесь! Нѣтъ, я вижу, вы не годитесь и въ друзья! Ну, если я люблю, рѣшительно прибавила она, понижая голосъ и закрывая окно:—тогда что̀?

— Ничего! сказалъ онъ покойнымъ голосомъ.

Она глядѣла на него съ удивленіемъ: въ самомъ дѣлѣ— ничего.

— Ты видишь дѣйствіе довѣрія, продолжалъ онъ:—я покоенъ, во мнѣ все молчитъ, надежды всѣ, какъ мухи, умираютъ...

— Ну, положимъ, я... люблю,—понизивъ еще голосъ, начала она.

— Возьми свое *положимъ* назадъ: подъ нимъ кроется сомнѣніе, а подъ сомнѣніемъ опять надежда.

— Ну, хорошо, я люблю...

— Кого? сильнымъ шопотомъ спросилъ онъ.

— Опять имя!

— Да, нужно имя—и тогда только я успокоюсь и уѣду. Иначе я не повѣрю, до тѣхъ поръ не повѣрю, пока будетъ тайна...

— Марѳинька все пересказала мнѣ, какъ вы проповѣдывали ей свободу любви, совѣтовали не слушаться бабушки, а теперь сами хуже бабушки! Требуете чужихъ тайнъ...

— Я ничего не требую, Вѣра, я прошу только дать мнѣ уѣхать спокойно: вотъ все! Будь проклятъ, кто стѣснитъ твою свободу...

— Сами себя проклинаете: зачѣмъ вамъ имя? Если бъ бабушка стала безпокоиться объ этомъ, это понятно: она боялась бы, чтобъ я не полюбила какого-нибудь, „недостойнаго", по ея мнѣнію, человѣка. А вы—проповѣдникъ!...

— Развѣ я запретилъ бы тебѣ любить кого-нибудь? если бъ ты выбрала хоть... Нила Андреевича — мнѣ все равно! Мнѣ нужно имя, чтобъ только убѣдиться въ истинѣ и охладѣть. Я знаю, мнѣ сейчасъ сдѣлается скучно и я уѣду...

Она глубоко задумалась.

— Развѣ страсть оправдываетъ всякій выборъ?... тихо сказала она.

— Всякій, Вѣра. И тебѣ повторяю тоже, что сказалъ Марѳинькѣ: люби, не спрашиваясь никого, достоинъ ли онъ, нѣтъ ли—смѣло иди...

— А недавно еще въ саду вы остерегали меня отъ гибели!...

— Отъ воровъ и отъ собакъ,—а не отъ страсти!

— И я могу любить, кого хочу? будто шутя говорила она:—не спрашиваясь...

— Ни бабушки, ни общественнаго мнѣнія...

— Ни васъ?...

— Меня меньше всего: я готовъ способствовать, раздувать твою страсть... Видишь, ты ждала моего великодушія: вотъ оно! Выбери меня своимъ повѣреннымъ—и я толкну тебя самъ въ этотъ огонь...

Она украдкой взглянула на него.

— Имя, Вѣра—того счастливца?...

— Хорошо, хорошо—послѣ когда-нибудь, когда...

— Когда уѣду? Ахъ, если бъ мнѣ страсть! сказалъ онъ, глядя жаркими глазами на Вѣру и взявъ ее за руки. У него опять зашумѣло въ головѣ, какъ у пьянаго.—Послушай, Вѣра, есть еще выходъ изъ моего положенія, заговорилъ онъ горячо:—я боялся намекнуть на него—ты такъ строга: дай мнѣ страсть! ты можешь это сдѣлать. Забудь свою любовь... если она еще новая, недавняя любовь—и... Нѣтъ, нѣтъ, не качай головой—это вздоръ, знаю. Ну, просто, не гони меня, дай мнѣ иногда быть съ тобой, слышать тебя, наслаждаться и мучиться, лишь бы не спать, а жить: я точно деревянный теперь! Вездѣ сонъ, тупая тоска, цѣли нѣтъ, искусство не дается мнѣ, я ничего для него не дѣлаю. Всякое такъ-называемое „серьезное дѣло“ мнѣ кажется до крайности пошло и мелко. Я бы хотѣлъ разыг-

рать остальную жизнь во что-нибудь, въ какой-нибудь необыкновенный громадный трудъ, но я на это не способенъ,—не приготовленъ: нѣтъ у насъ дѣла! Или, чтобъ она разлетѣлась фейерверкомъ, страстью! Въ тебѣ все есть, чтобъ зажечь бурю, ты ужъ зажгла ее; еще одна искра, признакъ кокетства, обманъ и... я начну жить...

— А я что же буду дѣлать, сказала она:—любоваться на эту горячку, не раздѣляя ее? Вы бредите, Борисъ Павлычъ!

— Что тебѣ за дѣло, Вѣра? Не отвѣчай мнѣ, но и не отталкивай, оставь меня. Я чувствую, что не только при взглядѣ твоемъ, но лишь—кто-нибудь случайно назоветъ тебя—меня бросаетъ въ жаръ и холодъ...

— Чѣмъ же это кончится? не безъ любопытства спросила она.

— Не знаю. Можетъ-быть, съ ума сойду, брошусь въ Волгу, или умру... Нѣтъ, я живучъ—ничего не будетъ, но пройдетъ полгода, можетъ-быть, годъ—и я буду жить... Дай, Вѣра, дай мнѣ страсть... дай это счастье!...

У него даже губы и языкъ пересохли.

— Странная просьба, братъ, дать горячку! Я не вѣрю страсти—что такое страсть? Счастье, говорятъ, въ глубокой, сильной любви.

— Ложь, ложь! перебилъ онъ.

— Любовь—ложь?

— Да, эта „святая, глубокая, возвышенная любовь"—ложь! Это сочиненный, придуманный призракъ, который возникаетъ на могилѣ страсти. Это люди придумали, какъ придумали казенную палату, питейныя конторы, моды, карточную игру, балы! Возвышенная любовь—это мундиръ, въ который хотятъ нарядить страсть, но она безпрестанно лѣзетъ вонъ и рветъ его. Природа вложила только страсть въ живые организмы, другого она ничего не даетъ.

Любовь — одна, нѣтъ другихъ любвей! Возьми самое вялое созданіе, студень какую-нибудь, вотъ купчиху изъ слободы, вонъ самаго благонамѣреннаго и приличнаго чиновника, предсѣдателя,—кого хочешь: всѣ непремѣнно чувствовали, кто разъ, кто больше—смотря по темпераменту, кто тонко, кто грубо, животно — смотря по воспитанію, но всѣ испытали раздраженіе страсти въ жизни, судорогу, ея муки и боли, это самозабвеніе, эту другую жизнь среди жизни, эту хмѣльную игру силъ... это блаженство!..

Онъ остановился.

— Ну? съ нетерпѣніемъ сдѣлала она.

— Ну, продолжалъ онъ бурно, едва успѣвая говорить:— на остывшій слѣдъ этой огненной полосы, этой молніи жизни, ложится потомъ покой, улыбка отдыха отъ сладкой бури, благородное воспоминаніе къ прошлому, тишина! И эту-то тишину, этотъ слѣдъ люди и назвали— святой, возвышенной любовью, когда страсть сгорѣла и потухла... Видишь ли, Вѣра, какъ прекрасна страсть, что даже одинъ слѣдъ ея кладетъ яркую печать на всю жизнь, и люди не рѣшаются сознаться въ правдѣ—т. е. что любви уже нѣтъ, что они были въ чаду, не замѣтили, прозѣвали ее, упиваясь, и что потомъ вся жизнь ихъ окрашена въ тѣ великолѣпные цвѣта, которыми горѣла страсть!... Эта окраска—и есть и любовь, и дружба, и та крѣпкая связь, которая держитъ людей вмѣстѣ иногда всю жизнь... Нѣтъ, ничто въ жизни не даетъ такого блаженства, никакая слава, никакое щекотанье самолюбія, никакія богатства Шехерезады, ни даже творческая сила, ничто... одна страсть! Хотѣла ли бы ты испытать такую страсть, Вѣра?

Она задумчиво слушала.

— Да, если она такова, какъ вы ее описываете, если столько счастья въ ней...

Она вздрогнула и быстро отворила окно.

— Страсть—это постоянный хмѣль, безъ грубой тяжести опьяненія, продолжалъ онъ:—это вѣчные цвѣты подъ ногами. Передъ тобой—идолъ, которому хочется молиться, умирать за него. Тебѣ на голову валятся каменья, а ты въ страсти думаешь, что летятъ розы на тебя, скрежетъ зубовъ будешь принимать за музыку, удары отъ дорогой руки покажутся нѣжнѣе ласкъ матери. Заботы, дрязги жизни, все исчезнетъ — одно безконечное торжество наполняетъ тебя—одно счастье глядѣть вотъ такъ... на тебя... (Онъ подошелъ къ ней) — взять за руку (онъ взялъ за руку) и чувствовать огонь и силу, трепетъ въ организмѣ...

Она опять вздрогнула, и онъ тоже.

— Вѣра, мнѣ не далеко до этого состоянія: еще одинъ ласковый взглядъ, пожатіе руки — и я живу, блаженствую... Скажи, что мнѣ дѣлать?

Она молчала.

— Вѣра!

Она медленно опомнилась отъ задумчивости, съ которою слушала его, обернулась къ нему, ласково, почти нѣжно взяла его за руку и груднымъ шопотомъ, съ мольбой сказала:

— Уѣзжайте отсюда!

Онъ всталъ, какъ раненый.

— Ты злая, Вѣра. Хорошо—такъ скажи имя?

— Имя? Какое? съ удивленіемъ, совсѣмъ очнувшись, повторила она.

— И отъ кого письмо на синей бумагѣ? прибавилъ онъ.

Она оглядѣла его насмѣшливо съ ногъ до головы.

— Я никого не люблю, сказала она громко:—я выдумала, такъ, отъ скуки...

— А письмо?

— Отъ попадьи! проговорила она съ ироніей.

— И больше ничего не скажешь?

— Скажу все то же.

— Что?

— Уѣзжайте!

— Такъ не уѣду же! холодно сказалъ онъ.

Она продолжительно поглядѣла на него.

— Ваша воля: вы у себя! отвѣчала она и съ покорной иронiей склонила голову.—А теперь, извините меня, мнѣ хочется пораньше встать! ласково, почти съ улыбкой, прибавила она.

„Гонитъ!“ съ горечью подумалъ онъ и не зналъ, что̀ сказать, какъ вдругъ кто-то взялся за ручку замка снаружи.

## IX.

— Кто тамъ? спросили оба.

Дверь отворилась и показалось задумчивое лицо Василисы.

— Это я, тихо сказала она:—вы здѣсь, Борисъ Павловичъ? Васъ спрашиваютъ, пожалуйте поскорѣй, людей въ прихожей никого нѣтъ. Яковъ ко всенощной пошелъ, а Егорку за рыбой на Волгу послали... Я одна тамъ съ Пашуткой.

— Кто меня спрашиваетъ?

— Жандаръ отъ губернатора: проситъ губернаторъ пожаловать, если можно, теперь къ нему, а если нельзя, такъ завтра пораньше: нужно, говоритъ, очень!

— Что̀ такое тамъ? съ удивленiемъ сказалъ Райскiй:— ну, хорошо, скажи—буду...

— Пожалуйте поскорѣе, упрашивала Василиса:—тамъ еще вотъ этотъ гость пришелъ...

— Кто еще?

— Да вотъ... взлызастый такой...

— Какой „взлызастый?“

— Вотъ что̀, слышь, плетьми, будутъ сѣчь... Въ залѣ разсѣлся, ждетъ васъ, а барыня съ Марѳой Васильевной еще не воротились изъ города...

— Что это, Василиса, ты не спросила, какъ его зовутъ!...

— Сказывалъ онъ, да забыла.

Райскій и Вѣра съ недоумѣніемъ поглядѣли другъ на друга.

— Чортъ знаетъ! какой-нибудь гость изъ города — какая тоска!

— Нѣтъ, это вотъ этотъ, что ночевалъ пьяный у васъ...

— Маркъ Волоховъ, что ли?

Вѣра сдѣлала движеніе.

— Подите скорѣй—узнайте, зачѣмъ онъ? сказала она.

— Чего ты испугалась? Вѣдь онъ не собака, не мертвецъ, не воръ, а такъ, безпутный бродяга...

— Идите, идите, торопила Вѣра, не слушая его. — Это любопытно...

— Скорѣе, Борисъ Павлычъ, пожалуйте! торопила и Василиса:—мы съ Пашуткой заперлись отъ него на ключъ.

— Это зачѣмъ?

— Боимся.

— Чего?

Такъ, боимся. Я ужъ изъ окна вылѣзла на дворикъ и перелѣзла сюда. Какъ бы онъ тамъ не стянулъ чего-нибудь?

Райскій засмѣялся и пошелъ съ ней. Онъ отпустилъ жандарма, сказавши, что пріѣдетъ черезъ часъ, потомъ пошелъ къ Марку и привелъ его въ свою комнату.

— Что, ночевать пришли? спросилъ онъ Волохова.

Онъ ужъ съ нимъ говорилъ не иначе, какъ иронически. Но на этотъ разъ у Марка было озабоченное лицо. Однако, когда принесли свѣчи, и онъ взглянулъ на взволнованное лицо Райскаго, то засмѣялся, по-своему, съ холодной злостью.

— Ну, вотъ, а я думалъ, что вы ужъ уѣхали! сказалъ онъ насмѣшливо.

— Еще успѣю, небрежно замѣтилъ Райскій.

— Нѣтъ, ужъ теперь поздно: вотъ какіе у васъ глаза?

— А что̀ глаза, ничего! говорилъ Райскій, глядясь въ зеркало.

— И похудѣли: корь ужъ выступаетъ.

— Полноте вздоръ говорить, отвѣчалъ Райскій, стараясь не глядѣть на него:—скажите лучше, зачѣмъ вы пришли опять къ ночи?

— Вѣдь я ночная птица: днемъ за мной ужъ очень ухаживаютъ. Меньше позора на домъ бабушки. Славная старуха—выгнала Тычкова!

Онъ опять вдругъ сдѣлался серьёзенъ.

— Я къ вамъ за дѣломъ, сказалъ онъ.

— У васъ дѣло? замѣтилъ Райскій:—это любопытно.

— Да, больше, нежели у васъ. Вотъ видите: я былъ нынче въ полиціи, т. е. не самъ конечно, съ визитомъ, частный приставъ пригласилъ, и даже подвезъ на парѣ сѣрыхъ лошадей.

— Это зачѣмъ: случилось что̀-нибудь?

— Пустяки: я тутъ кое-кому книги раздавалъ....

— Какія книги? Мои, что̀ у Леонтія брали?

— И ихъ, и другія еще—вотъ тутъ написано, какія. Онъ подалъ ему бумажку.

— Кому же вы раздавали?

— Всѣмъ, больше всего молодежи: изъ семинаріи брали, изъ гимназіи—учитель одинъ...

— Развѣ у нихъ нечего читать?

— Какъ нечего! Вотъ Козловъ читаетъ пятый годъ Саллюстія, Ксенофонта, да Гомера съ Гораціемъ: одинъ годъ съ начала до конца, а другой отъ конца до начала—всѣ прокисли-было здѣсь... Въ гимназіи плѣсень завелась.

*

— Развѣ новыхъ книгъ нѣтъ у нихъ?

— Есть: вонъ другой оселъ, словесникъ, угощаетъ то Карамзинымъ, то Пушкинымъ. Мозги-то у нихъ у всѣхъ прѣсные...

— Такъ вы поселить захотѣли — чѣмъ же, посмотримъ!

— Охъ, какъ важно произнесли: „посмотримъ!“ живой Нилъ Андреичъ!

Райскій пробѣжалъ бумажку и уставилъ на Марка глаза.

— Ну, что̀ вы выпучили на меня глаза?

— Вы имъ давали эти книги?

— Да, а что̀?

Райскій продолжалъ съ изумленіемъ глядѣть на Марка.

— Эти книги молодымъ людямъ! прошепталъ онъ.

— Да вы, кажется, въ Бога вѣруете? спросилъ Маркъ.

Райскій все глядѣлъ на него.

— Не были ли вы сегодня у всенощной? спросилъ опять холодно Маркъ.

— А если былъ?

— Ну, такъ не мудрено, что вы можете влюбиться и плакать... Зачѣмъ же вы выгнали Тычкова: онъ тоже— вѣрующій!

— Я не спрашиваю васъ, вѣруете ли вы: если вы ужъ не увѣровали въ полкового командира въ полку, въ ректора въ университетѣ, а теперь отрицаете губернатора и полицію—такія очевидности, то гдѣ вамъ увѣровать въ Бога! сказалъ Райскій.—Обратимся къ предмету вашего посѣщенія; какое вы дѣло имѣете до меня?

— Вотъ видите, одинъ мальчишка, стряпчаго сынъ, не понялъ чего-то по-французски въ одной книгѣ и показалъ матери, та отцу, а отецъ къ прокурору. Тотъ слыхалъ имя автора и поднялъ бунтъ—донесъ губерна-

тору. Мальчишка было заперся, его выпороли: онъ подъ розгой и сказалъ, что книгу взялъ у меня. Ну, меня сегодня къ допросу...

— Что̀ же вы?

— Что̀ я? сказалъ онъ, съ улыбкой глядя на Райскаго.— Меня спросили, чьи книги, откуда я взялъ...

— Ну?

— Ну, я сказалъ, что... у васъ: что однѣ вы привезли съ собой, а другія я нашелъ въ вашей библіотекѣ— вонъ Вольтера...

— Покорно благодарю: зачѣмъ же вы мнѣ сдѣлали эту честь?

— Потому что съ тѣхъ поръ, какъ вы вытолкали Тычкова, я считаю васъ не совсѣмъ пропащимъ человѣкомъ.

— Вы бы прежде спросили, позволю ли я—и честно ли это?

— Я—безъ позволенія. А честно ли это, или нѣтъ— объ этомъ послѣ. Что̀ такое честность, по-вашему? спросилъ онъ, нахмурившись.

— Объ этомъ тоже—послѣ, а только я не позволю этого.

— Это ни честно, ни нечестно, а полезно для меня...

— И вредно мнѣ: славная логика!

— Вотъ я до логики-то и добираюсь, сказалъ Маркъ: только боюсь, не двѣ ли логики у насъ?..

— И не двѣ ли честности? прибавилъ Райскій.

— Вамъ ничего не сдѣлаютъ: вы въ милости у его превосходительства, продолжалъ Маркъ:—да и притомъ не высланы сюда на житье. А меня за это упекутъ куда-нибудь въ третье мѣсто: въ двухъ ужъ я былъ. Мнѣ бы все равно въ другое время, а теперь... задумчиво прибавилъ онъ:—мнѣ бы хотѣлось остаться здѣсь.... на неопредѣленное время...

— Ну-съ? холодно сдѣлалъ Райскій.—Еще что?

— Еще ничего. Я хотѣлъ только разсказать вамъ, что̀ я сдѣлалъ, и спросить, хотите взять на себя, или нѣтъ?

— А если не хочу? И не хочу!

— Ну, нечего дѣлать: скажу на Козлова. Онъ совсѣмъ заплѣсневѣлъ: пусть посидитъ на гауптвахтѣ, а потомъ опять примется за грековъ...

— Нѣтъ, ужъ не примется, когда лишатъ мѣста и куска хлѣба.

— Пожалуй что и такъ... не логично! Такъ ужъ лучше скажите вы на себя.

— Во имя чего вы требуете отъ меня этой услуги? Что̀ вы мнѣ?

— Во имя того же, во имя чего занялъ у васъ деньги, т. е. мнѣ нужны онѣ, а у васъ есть. И тутъ тоже: вы возьмете на себя, вамъ ничего не сдѣлаютъ, а меня упекутъ—надѣюсь, это логика!

— А если на меня упадетъ непріятность?

— Какая? Нилъ Андреичъ разбойникомъ назоветъ, губернаторъ донесетъ и васъ возьмутъ на замѣчаніе?.. Перестанемте холопствовать: пока будемъ бояться, до тѣхъ поръ не вразумимъ губернаторовъ...

— Однако сами боитесь сказать на себя!

— Не боюсь, а теперь не хочу уѣхать отсюда.

— Отчего?

— Ну такъ, не хочу. Послѣ я пойду самъ и скажу, что книги мои. Если потомъ вы какое-нибудь преступленіе сдѣлаете, скажите на меня: я возьму на себя...

— Какъ же это брать на себя: странной услуги требуете вы! говорилъ Райскій въ раздумьѣ.

— А вы вотъ что: попробуйте. Если дѣло приметъ очень серьезный оборотъ, чего, сознайтесь сами, быть не можетъ, тогда ужъ нечего дѣлать—скажите на меня. Экая

досада! ворчалъ Маркъ.—Этотъ мальчикъ все испортилъ. А ужъ тутъ-было принялись шевелиться...

— Я сейчасъ къ губернатору ѣду, сказалъ Райскій: — онъ присылалъ. Прощайте!

— А! присылалъ!

— Что̀ же мнѣ дѣлать, что̀ говорить?

— Губернаторъ замнетъ исторію, если вы назоветесь героемъ: онъ не любитъ ничего доводить до Петербурга. А со мной нельзя, я подъ надзоромъ, и онъ обязанъ каждый мѣсяцъ доносить туда, здоровъ ли я и каково поживаю? Ему все хочется сбыть меня отсюда, чтобы мнѣ дали разрѣшеніе уѣхать; я у него, какъ бѣльмо на глазу! Онъ ужъ недавно донесъ, что я „обнаруживаю раскаяніе“: если исторія съ книгами пройдетъ мимо меня, онъ донесетъ, что я сталъ такимъ благонадежнымъ и доблестнымъ гражданиномъ, какого ни Римъ, ни Спарта не производили: меня и выпустятъ изъ-подъ надзора! Слѣдовательно, взявши на себя исторію, вы угодите и ему... А впрочемъ дѣлайте какъ хотите! равнодушно заключилъ Маркъ. — Пойдемте, и мнѣ пора!

— Куда же вы —вотъ двери...

— Нѣтъ, дойдемте до вашего сада, я тамъ по горѣ сойду, мнѣ надо туда... Я подожду на островѣ у рыбака, чѣмъ это кончится.

У обрыва Маркъ исчезъ въ кустахъ, а Райскій поѣхалъ къ губернатору и воротился отъ него часу во второмъ ночи. Хотя онъ поздно легъ, но всталъ рано, чтобы передать Вѣрѣ о случившемся. Окна ея были плотно закрыты занавѣсками.

„Спитъ“, подумалъ онъ и пошелъ въ садъ.

Онъ цѣлый часъ ходилъ взадъ и впередъ по дорожкѣ, ожидая, когда отдернется лиловая занавѣска. Но прошло полчаса, часъ, а занавѣска не отдергивалась. Онъ ждалъ, не пройдетъ ли Марина по двору, но и Марины не видать.

Вскорѣ у бабушки въ спальнѣ поднялась штора, зашипѣлъ въ сѣняхъ самоваръ, голуби и воробьи начали слетаться къ тому мѣсту, гдѣ привыкли получать отъ Марониьки кормъ. Захлопали двери, пошли по двору кучера, лакеи, а занавѣска все не шевелилась.

Наконецъ Улита показалась въ подвалахъ, бабы и дѣвки поползли по двору, только Марины нѣтъ. Блѣдный и мрачный Савелій показался на порогѣ своей коморки и тупо смотрѣлъ на дворъ.

— Савелій! крикнулъ Райскій.

Савелій разстановистыми шагами подошелъ къ нему.

— Скажи Маринѣ, чтобъ она сейчасъ дала мнѣ знать, когда встанетъ и одѣнется Вѣра Васильевна.

— Марины нѣтъ! нѣсколько поживѣе обыкновеннаго сказалъ Савелій.

— Какъ нѣтъ, гдѣ она?

— Уѣхала еще на зарѣ проводить барышню за Волгу, къ попадьѣ.

— Какую барышню: Вѣру Васильевну?

— Точно такъ.

Онъ остолбенѣлъ и почти съ ужасомъ глядѣлъ на Савелья.

— На чемъ же онѣ поѣхали, съ кѣмъ? спросилъ онъ, помолчавъ.

— Прохоръ ихъ завсегда возитъ въ бричкѣ, на буланой лошади.

Райскій молчалъ.

— Къ вечеру вернутся, прибавилъ Савелій.

— Вернутся, ты думаешь, сегодня? живо спросилъ Райскій.

— Точно такъ-съ. Прохоръ съ лошадью, и Марина тоже. Они проводятъ барышню, а сами въ тотъ же день назадъ

Райскій смотрѣлъ во всѣ глаза на Савелья и не видалъ его. Долго еще стояли они другъ противъ друга.

— Еще ничего не прикажете? медленно спросилъ Савелій.

— А? что? да: очнулся Райскій:—ты... тоже ждешь Марину?

— Сгинуть бы ей, проклятой! мрачно сказалъ Савелій.

— Зачѣмъ ты бьешь ее? Я давно хотѣлъ посовѣтовать, чтобъ ты пересталъ, Савелій.

— Я не бью теперь больше.

— Давно ли?

— Вотъ теперь, какъ смирно эту недѣлю живетъ, такъ и...

Складки стали прилежно работать у него на лбу, помогая мысли.

— Ступай, мнѣ больше ничего не надо — только не бей, пожалуйста, Марину — дай ей полную свободу: и тебѣ, и ей лучше будетъ... сказалъ Райскій.

Онъ пошелъ съ поникшей головой домой, съ тоской глядя на окна Вѣры, а Савелій потупился, не надѣвая шапку, дивясь послѣднимъ словамъ Райскаго.

„Тоже страсть!" думалъ Райскій. „Бѣдный Савелій! бѣдный—и я!"

## X.

Съ отъѣздомъ Вѣры, Райскаго охватилъ ужасъ одиночества. Онъ чувствовалъ себя сиротой, какъ будто цѣлый міръ опустѣлъ, и онъ очутился въ какой-то безплодной пустынѣ, не замѣчая, что это пустыня вся въ зелени, въ цвѣтахъ, не чувствуя, что его лелѣетъ и грѣетъ природа, блистающая лучшей, жаркой порой лѣта.

Домовитость Татьяны Марковны и порханье Марѳиньки, ея пѣніе, живая болтовня съ веселымъ, бодрымъ, ска-

чущимъ Викентьевымъ, иногда пріѣздъ гостей, появленіе каррикатурной Полины Карповны, бурливаго Опенкина, визиты хорошо одѣтыхъ и причесанныхъ барынь, молодыхъ щеголей—онъ не замѣчалъ ничего. Ни весело, ни скучно, ни тепло, ни холодно ему было отъ всѣхъ этихъ лицъ и явленій.

Онъ видѣлъ только одно, что лиловая занавѣска не колышется, что шторы спущены въ окнахъ, что любимая скамья стоитъ пустая, что нѣтъ Вѣры — и какъ будто ничего и никого нѣтъ: точно весь домъ, вся окрестность вымерли.

Онъ не хотѣлъ любить Вѣру, да и нельзя, если бъ хотѣлъ: у него отняты всѣ права, всѣ надежды. Ея нѣжнѣйшая мольба, обращенная къ нему—была — „уѣхать поскорѣй“, а онъ былъ занятъ, полонъ ею, одною ею, и ничѣмъ больше!

Даже красота ея, кажется, потеряла свою силу надъ нимъ: его влекла къ ней какая-то другая сила. Онъ чувствовалъ, что связанъ съ ней, не теплыми и много-обѣщающими надеждами, не трепетомъ нервъ, а какою-то враждебною, разжигающею мозгъ болью, какими-то посторонними, даже противорѣчащими любви связями.

Его мучила теперь тайна: какъ она, пропадая куда-то на глазахъ у всѣхъ, въ виду, изъ дома, изъ сада, потомъ появляется вновь, будто со дна Волги, вынырнувшей русалкой, съ свѣтлыми, прозрачными глазами, съ печатью непроницаемости и обмана на лицѣ, съ ложью на языкѣ, чуть не въ вѣнкѣ изъ водяныхъ порослей на головѣ, какъ настоящая русалка!

И какой опасной, безотрадной красотой блеститъ тогда ему въ глаза эта сіяющая, таинственная ночь!

Но если бъ еще только одно это: а она въ половину открыла ему, что любитъ, что есть кто-то тутъ около, кѣмъ

полна ея жизнь, и этотъ уголокъ, кѣмъ прекрасны эти деревья, это небо, эта Волга.

Но открывъ на минуту завѣтную дверь, она вдругъ своенравно захлопнула ее и неожиданно исчезла, увезя съ собой ключи отъ всѣхъ тайнъ: и отъ своего характера, и отъ своей любви, и отъ всей сферы своихъ понятій, чувствъ, отъ всей жизни, которою живетъ—все увезла! Передъ нимъ опять одна замкнутая дверь!

— Всѣ ключи увезла! съ досадой сказалъ онъ въ разговорѣ о Вѣрѣ съ бабушкой про себя.

Но Татьяна Марковна услыхала и вся встрепенулась.

— Какіе ключи увезла? въ тревогѣ спросила она.

Онъ молчалъ.

— Говори, приставала она и начала шарить въ карманахъ у себя, потомъ въ шкатулкѣ. —Какіе такіе ключи: кажется, у меня всѣ! Марѳинька, поди сюда: какіе ключи изволила увести съ собой Вѣра Васильевна?

— Я не знаю, бабушка: она никакихъ никогда не увозитъ, развѣ отъ своего письменнаго стола.

— Вотъ Борюшка говоритъ, что увезла. Посмотри-ка у себя и у Василисы спроси: всѣ-ли ключи дома, не захватили-ли какъ-нибудь съ той вертушкой, Мариной, отъ которой-нибудь кладовой—поди скорѣй! Да что ты таишься, Борисъ Павловичъ, говори, какіе ключи увезла она: видѣлъ, что-ли, ты ихъ?

— Да, съ злостью сказалъ онъ:—видѣлъ! показала, да и спрятала опять...

— Да какіе они: съ бородкой, или вотъ этакіе?...

Она показала ему ключъ.

— Ключи отъ своего ума, сердца, характера, отъ мыслей и тайнъ—вотъ какіе!

У бабушки отлегло отъ сердца.

— Вотъ онъ что! сказала она и задумалась, потомъ

вздохнула.—Да, въ этой твоей аллегоріи есть и правда. Этихъ ключей она не оставляетъ никому. А лучше, если бъ и они висѣли на поясѣ у бабушки!

— А что?

— Да такъ.

— Скажите мнѣ, бабушка, что̀ такое Вѣра? вдругъ спросилъ Райскій, подсѣвши къ Татьянѣ Марковнѣ.

— Ты самъ видишь: что̀ тебѣ еще говорить? Что̀ видишь, то̀ и есть.

— Да я ничего не вижу.

— И никто не видитъ: свой умъ, видишь ли, и своя воля выше всего! И бабушка не смѣй спросить ни о чемъ: „нѣтъ, да нѣтъ ничего, не знаю, да не вѣдаю". На рукахъ у меня родилась, вѣкъ со мной, а я не знаю, что̀ у ней на умѣ, что̀ она любитъ, что̀ нѣтъ. Если и больна, такъ не узнаешь ее: ни пожалуется, ни лѣкарства не спроситъ, а только пуще молчитъ. Не лѣнива, а ничего не дѣлаетъ: ни шьетъ, ни по канвѣ, ни музыки не любитъ, ни въ гости не ѣздитъ—такъ, уродилась такая! Я не видала, чтобы она засмѣялась отъ души, или заплакала бы. Если и разсмѣется, такъ прячетъ улыбку, точно грѣхъ какой. А чуть что̀ не по ней, разстроена чѣмъ-нибудь, сейчасъ въ свою башню спрячется и переживетъ тамъ и горе, и радость—одна. Вотъ что!

— Что-жъ, это хорошо: свой характеръ, своя воля—это самостоятельность. Дай Богъ!

— Вотъ, „дай Богъ!" дѣвушкѣ — своя воля! Ты не натолкуй ей еще этого, Борисъ Павлычъ, серьезно прошу тебя! Уменъ ты, и добрый, и честный, ты дѣвочкамъ, конечно, желаешь добра, а иногда брякнешь вдругъ — Богъ тебя вѣдаетъ что̀!

— Что-же такое и кому я брякалъ, бабушка?

— Какъ кому? Марѳинькѣ совѣтовалъ любить, не спро-

сясь бабушки: самъ посуди, хорошо ли это? Я даже не ожидала отъ тебя! Если ты самъ вышелъ изъ повиновенія у меня, зачѣмъ же смущать бѣдную дѣвушку?

— Ахъ, бабушка, какая вы самовластная женщина: все свое! Мало ли я спорилъ съ вами о томъ, что любить по приказу нельзя!...

— Вотъ, Борюшка, мы выгнали Нила Андреича, а онъ бы тебѣ на это отвѣчалъ, какъ слѣдуетъ. Я не сумѣю. Я знаю только, что ты дичь городишь, да: не погнѣвайся! Это новыя правила, что-ли?

— Да, бабушка, новыя; старый вѣкъ проходитъ. Нельзя ему длиться два вѣка. Нужно же и новому придти!

— Да все ли хорошо въ твоемъ новомъ вѣкѣ?

— Вы разсудите, бабушка: разъ въ жизни дѣвушки расцвѣтаетъ весна—и эта весна—любовь. И вдругъ не дать свободы ей расцвѣсть, заглушить, отнять свѣжій воздухъ, оборвать цвѣты... За что же и по какому праву вы хотите заставить, напримѣръ, Марфиньку быть счастливой по вашей мудрости, а не по ея склонности и влеченіямъ?

— А ты спроси Марфиньку, будетъ ли она счастлива и захочетъ ли счастья, если бабушка не благословитъ ее на него?

— Я ужъ спрашивалъ.

— Ну, что же?

— Безъ васъ, говоритъ, ни шагу.

— Вотъ видишь!

— Да развѣ это разумно: гдѣ же свобода, гдѣ права? Вѣдь она мыслящее существо, человѣкъ, зачѣмъ же навязывать ей свою волю и свое счастье?...

— Кто навязывалъ: спроси ее? Если бъ онѣ у меня были запуганныя или забитыя, какія-нибудь несчастныя, а ты видишь, что онѣ живутъ у меня, какъ птички, дѣлаютъ что̀ хотятъ...

— Да, это правда, бабушка, чистосердечно сказалъ Райскій:—въ этомъ вы правы. Васъ связываетъ съ ними не страхъ, не цѣпи, не молотъ авторитета, а нѣжность голубинаго гнѣзда... Онѣ обожаютъ васъ—такъ... Но вѣдь все дѣло въ воспитаніи: зачѣмъ наматывать имъ старыя понятія, воспитывать по-птичьи? Дайте имъ самимъ извлечь немного соку изъ жизни... Птицу запрутъ въ клѣтку, и когда она отвыкнетъ отъ воли, послѣ отворяй двери настежь—не летитъ вонъ! Я это и нашей кузинѣ Бѣловодовой говорилъ: тамъ одна неволя, здѣсь другая...

— Ничего я ни Марѳинькѣ, ни Вѣрочкѣ не наматывала: о любви и не заикалась никогда,—боюсь и пикнуть, а вижу, и знаю, что Марѳинька безъ моего совѣта и благословенія не полюбила бы никого.

— Пожалуй, что и такъ, задумчиво сказалъ Райскій.

— И что, если бъ ты, или другой, успѣли натолковать ей про эту твою свободу, и она бы послушала, такъ...

— Была бы несчастнѣйшее созданіе—вѣрю, бабушка—и потому, если Марѳинька пересказала вамъ мой разговоръ, то она должна была также сказать, что я понялъ ее и что послѣдній мой совѣтъ былъ—не выходить изъ вашей воли и слушаться отца Василья...

— Знаю и это: все вывѣдала, и вижу, что ты ей хочешь добра. Оставь же, не трогай ее, а то выйдетъ, что не я, а ты навязываешь ей счастье, котораго она сама не хочетъ, значитъ, ты самъ и будешь виноватъ въ томъ, въ чемъ упрекалъ меня: въ деспотизмѣ.—Ты какъ понимаешь бабушку, помолчавъ, начала она:—если бъ богачъ посватался за Марѳиньку, съ породой, съ именемъ, съ заслугами, да не понравился ей—я бы стала уговаривать ее?

— Хорошо, бабушка, я уступаю вамъ Марѳиньку, но не трогайте Вѣру. Марѳинька одно, а Вѣра другое. Если съ Вѣрой примите ту же систему, то сдѣлаете ее несчастной!

— Кто, я? спросила бабушка.—Пусть бы она оставила свою гордость и довѣрилась бабушкѣ: можетъ быть, хватило бы ума и на другую систему.

— Не стѣсняйте только ее, дайте волю. Однѣ птицы родились для клѣтки, а другія для свободы... Она сумѣетъ управить своей судьбой одна...

— А развѣ я мѣшаю ей? стѣсняю ее? Она не довѣряется мнѣ, прячется, молчитъ, живетъ своимъ умомъ. Я даже не прошу у ней „ключей", а вотъ ты, кажется, безпокоишься!

Она пристально взглянула на него.

Райскій покраснѣлъ, когда бабушка вдругъ такъ ясно и просто доказала ему, что весь ея „деспотизмъ" построенъ на почвѣ нѣжнѣйшей материнской симпатіи и неутомимаго попеченія о счастьѣ любимыхъ ею сиротъ.

— Я только, какъ полиціймейстеръ, смотрю, чтобъ снаружи все шло своимъ порядкомъ, а въ дома не вхожу, пока не позовутъ, прибавила Татьяна Марковна.

— Каково: это идеалъ, вѣнецъ свободы! Бабушка! Татьяна Марковна! Вы стоите на вершинахъ развитія, умственнаго, нравственнаго и соціальнаго! Вы совсѣмъ готовый, выработанный человѣкъ! И какъ это вамъ далось даромъ, когда мы хлопочемъ, хлопочемъ! Я кланялся вамъ разъ, какъ женщинѣ, кланяюсь опять и горжусь вами: вы велики!

Оба замолчали.

— Скажите, бабушка, что̀ это за попадья и что̀ за связь у нихъ съ Вѣрой? спросилъ Райскій.

— Наталья Ивановна, жена священника. Она училась вмѣстѣ съ Вѣрой въ пансіонѣ, тамъ и подружились. Она часто гоститъ у насъ. Она добрая, хорошая женщина, скромная такая...

— За что̀ же любитъ ее Вѣра? Она умная, замѣчательная женщина, съ характеромъ должна быть?

— И! нѣтъ, какой характеръ! Не глупа, училась хорошо, читаетъ много книгъ и пріодѣться любитъ. Попъ-то не бѣдный: своя земля есть. Михайло Иванычъ, помѣщикъ, любитъ его — у него тамъ полная чаша! Хлѣба, всякаго добра—въ волю; лошадей ему подарилъ, экипажъ, даже деревьями изъ оранжерей комнаты у него убираетъ. Попъ умный, изъ молодыхъ—только ужъ очень по-свѣтски ведетъ себя: привыкъ тамъ въ помѣщичьемъ кругу. Даже французскія книжки читаетъ и покуриваетъ — это ужъ и не пристало бы къ рясѣ...

— Ну, а попадья что? Скажите мнѣ про нее: за что любитъ ее Вѣра, если у ней, какъ вы говорите, даже характера нѣтъ?

— А за то и любитъ, что характера нѣтъ.

— Какъ за то любитъ? Да развѣ это можно?

— И очень. Еще учить собирался меня, а не замѣтилъ, что иначе-то и не бываетъ...

— Какъ такъ?

— Да такъ: сильный сильнаго никогда не полюбитъ; такіе, какъ козлы, лишь сойдутся, сейчасъ и бодаться начнутъ! А сильный и слабый—только и ладятъ. Одинъ любитъ другого за силу, а тотъ...

— За слабость, что-ли?

— Да, за гибкость, за податливость, за то, что тотъ не выходитъ изъ его воли.

— Вѣдь это вѣрно, бабушка: вы мудрецъ. Да здѣсь, я вижу,—непочатый уголъ мудрости! Бабушка, я отказываюсь перевоспитывать васъ и отнынѣ вашъ послушный ученикъ, только прошу объ одномъ—не жените меня. Во всемъ остальномъ буду слушаться васъ. Ну, такъ что же попадья?

— Ну, попадья — добрая, смирная курица, лепечетъ безъ умолку, поетъ, охотница шептаться, особенно съ

Вѣрой: такъ и щебечетъ, и все на ухо. А та только слушаетъ да молчитъ, рѣдко кивнетъ головой, или скажетъ слово. Вѣрочкинъ взглядъ, даже капризъ—для нея святы. Что̀ та сказала, то̀ только и умно, и хорошо. Ну, Вѣрѣ этого и надо; ей не другъ нуженъ, а послушная раба. Вонъ она и есть: отъ этого она такъ и любитъ ее. За то какъ и струситъ Наталья Ивановна, чуть что̀-нибудь не угодитъ: „прости меня, душечка, милая“, начнетъ цѣловать глаза, шею—и та ничего!

„Такъ вотъ что!“ сказалъ Райскій про себя: „гордый и независимый характеръ—рабовъ любитъ! А все твердитъ о свободѣ, о равенствѣ, и моего поклоненія не удостоила принять. Погоди же ты!“

— А вѣдь она любитъ васъ, бабушка, Вѣра-то? спросилъ Райскій, желая узнать, любитъ ли она кого-нибудь еще, кромѣ Натальи Ивановны.

— Любитъ! съ увѣренностью отвѣчала бабушка: — только по-своему. Никогда не показываетъ и не покажетъ! А любитъ,—пожалуй, хоть умереть готова.

„А что̀, можетъ-быть, она и меня любитъ, да только не показываетъ!“ утѣшилъ-было себя Райскій, но самъ же и разрушилъ эту надежду, какъ несбыточную.

— Почему же вы знаете, если она не показываетъ?

— Не знаю и сама почему, а только любитъ.

— А вы ее?

— Люблю, вполголоса сказала бабушка: — охъ, какъ люблю! прибавила она со вздохомъ, и даже слезы-было показались у нея: — она и не знаетъ: авось, узнаетъ когда-нибудь...

— А замѣтили ли вы, что Вѣра съ нѣкоторыхъ поръ какъ будто... задумчива? нерѣшительно спросилъ Райскій, въ надеждѣ, не допытается ли какъ-нибудь отъ бабушки разрѣшенія своего мучительнаго „вопроса“ о синемъ письмѣ.

— А ты замѣтилъ?

— Нѣтъ... такъ... она что-то... Вѣдь я не знаю, какая она вообще, только какъ будто того...

— Что жъ это за любовь, если бъ я не замѣтила! Ужъ не одну ночь не спала я и думаю, отчего она съ весны такая странная стала? То повеселѣетъ, то задумается; часто капризничаетъ, иногда вспылитъ. Замужъ пора ей—вотъ что! почти про себя прибавила Татьяна Марковна.—Я спрашивала доктора, тотъ все на нервы: дались имъ эти нервы—и что это за нервы такіе? Бывало, и доктора никакихъ нервъ не знали. Поясница—такъ и говорили, что поясница болитъ, или подъ ложечкой: отъ этого и лечили. А теперь все пошли нервы! Вонъ, бывало, кто съ ума сойдетъ: спятилъ, говорятъ, сердечный—съ горя, что ли, или изъ ума выжилъ, или спился, а нынче говорятъ: мозги какъ-то размягчились...

— Не влюблена ли? вполголоса сказалъ Райскій — и раскаялся; хотѣлось бы назадъ взять слово, да поздно.

Въ бабушку точно камнемъ попало.

— Господи спаси и помилуй! произнесла она, перекрестившись, точно молнія блеснула передъ ней:—этого горя только не доставало!

— Вотъ нашли горе: ей счастье, а вамъ горе!

— Не шути этимъ, Борюшка: самъ сказалъ сейчасъ, что она не Марѳинька! Пока Вѣра капризничаетъ безъ причины, молчитъ, мечтаетъ одна—Богъ съ ней! А какъ эта змѣя, любовь, заберется въ нее, тогда съ ней не сладишь! Этого „рожна" я и тебѣ, не только дѣвочкамъ моимъ, не пожелаю. Да ты это съ чего взялъ: говорилъ, что ли, съ ней, замѣтилъ что-нибудь? Ты скажи мнѣ, родной, всю правду! умоляющимъ голосомъ прибавила она, положивъ ему на плечо руку.

— Ничего, бабушка, Богъ съ вами, успокойтесь, я такъ,

просто „брякнулъ“, какъ вы говорите, а вы ужъ и встревожились, какъ давича о ключахъ...

— Да, „ключи“, вдругъ ухватилась за слово бабушка и даже измѣнилась въ лицѣ:—эта аллегорія—что̀ она значитъ? Ты проговорился про какой-то ключъ отъ сердца: что̀ это такое, Борисъ Павлычъ,—ты не мути моего покоя, скажи, какъ на духу, если знаешь что̀-нибудь?

Райскому досадно стало на себя и онъ всѣми силами старался успокоить бабушку, и отчасти успѣлъ.

— Я замѣтилъ то̀ же, что и вы, говорилъ онъ:—не больше. Ну скажетъ ли она мнѣ, если отъ всѣхъ васъ таится? Я даже, видите, не зналъ, куда она ѣздитъ, что это за попадья такая—спрашивалъ, спрашивалъ—ни слова! Вы же мнѣ разсказали.

— Да, да, не скажетъ, это правда—отъ нея не добьешся! прибавила успокоенная бабушка:—не скажетъ! Вотъ та шептунья, попадья, все знаетъ, что̀ у ней на умѣ: да и та скорѣй умретъ, а не скажетъ ея секретовъ. Свои сейчасъ разроняетъ, только подбирай, а ея—Боже сохрани!

Оба замолчали.

— Да и въ кого бы тутъ влюбиться? разсуждала бабушка:—не въ кого.

— Не въ кого? живо спросилъ Райскій.—Никого нѣтъ такого?...

Татьяна Марковна покачала головой.

— Развѣ лѣсничій... сказала она задумчиво: — хорошій человѣкъ! Онъ, кажется, не прочь, я замѣчаю... Славная бы партія Вѣрѣ... да...

— Да что?

— Да она-то мудреная такая—Богъ знаетъ—какъ приступиться къ ней, какъ посвататься! А славный, солидный, и богатый: одного лѣсу будетъ тысячъ...

*

— Лѣсничій! повторилъ Райскій:—какой лѣсничій? Что онъ за человѣкъ? молодой, образованный, замѣчательный?..

Вошла Василиса и доложила, что Полина Карповна пріѣхала и спрашиваетъ, расположенъ ли Борисъ Павловичъ рисовать ея портретъ.

— И поговорить не дастъ—принесла нелегкая! ворчала бабушка.—Проси, да завтракъ чтобъ былъ готовъ.

— Откажите, бабушка, зачѣмъ? Потрудись, Василиса, сказать, что я до пріѣзда Вѣры Васильевны портрета писать не стану.

Василиса пошла и воротилась.

— Требуетъ васъ туда: нейдетъ изъ коляски, сказала она.

## XI.

Неизвѣстно, что̀ говорила Райскому Полина Карповна, но, черезъ пять минутъ, онъ взялъ шляпу, тросточку, и Крицкая, глядя торжественно по сторонамъ, помчала его, сначала по главнымъ улицамъ, гордясь своей побѣдой, и потомъ, какъ военную добычу, привезла домой.

Райскій съ любопытствомъ шелъ за Полиной Карповной въ комнаты, любезно отвѣчалъ на ея нѣжный шопотъ, страстные взгляды. Она молила его признаться, что онъ неравнодушенъ къ ней, на что̀ онъ въ ту же минуту согласился, и съ любопытствомъ ждалъ, что изъ этого будетъ.

— О, я знала, я знала—видите! Не я ли предсказывала? ликуя, говорила она.

Она начала съ того, что сейчасъ опустила шторы, сдѣлала полумракъ въ комнатѣ и полу-сѣла или полулегла на кушеткѣ, къ свѣту спиной.

— Да, я знала это: о, съ первой минуты я видѣла, que nous nous convenons—да, cher m-r Boris, не правда ли?

Она пришла въ экстазъ, не знала, гдѣ его посадить, велѣла подать прекрасный завтракъ, холоднаго шампанскаго, чокалась съ нимъ и сама цѣдила по каплѣ въ ротъ вино, вздыхала, отдувалась, обмахивалась вѣеромъ. Потомъ позвала горничную и хвастливо сказала, что она никого не принимаетъ: вошелъ человѣкъ въ комнату, она повторила то же и велѣла опустить шторы даже въ залѣ.

Она сидѣла въ своей красивой позѣ, напротивъ большого зеркала, и молча улыбалась своему гостю, млѣя отъ удовольствія. Она не старалась ни приблизиться, ни взять Райскаго за руку, не приглашала сѣсть ближе, а только играла и блистала передъ нимъ своей интересной особой, нечаянно показывала „ножки“ и съ улыбкой смотрѣла, какъ дѣйствуютъ на него эти маневры. Если онъ подходилъ къ ней, она прилично отодвигалась и давала ему подлѣ себя мѣсто.

Онъ съ любопытствомъ смотрѣлъ на нее и хотѣлъ окончательно рѣшить, что̀ она такое. Онъ-было испугался приготовленій, какими она обстановила его посѣщеніе, но съ каждымъ ея движеніемъ опасенія его разсѣивались. Повидимому, добродѣтели его не угрожала никакая опасность.

„Чего же она хочетъ отъ меня?“ догадывался онъ, глядя на нее съ любопытствомъ.

— Скажите мнѣ что-нибудь про Петербургъ, про ваши побѣды: о, ихъ много у васъ? да? Скажите, что тамошнія женщины—лучше здѣшнихъ? (она взглянула на себя въ зеркало) одѣваются съ бо̀льшимъ вкусомъ? (и обдернула на себѣ платье и сбросила съ плеча кружевную мантилью).

А плечи у ней были бѣлы и круглы, такъ что Райскій находилъ ихъ не совсѣмъ недостойными кисти.

— Что-жъ вы молчите: скажите что-нибудь? продолжала она, дрыгнувъ не безъ пріятности „ножкой“ и спрятавъ ее подъ платье.

Потомъ плутовски взглянула на него, наблюдая, дѣйствуетъ-ли?

„Что-жъ она такое: постой, сейчасъ скажется! .“ подумалъ онъ.

— Я все сказалъ! съ комическимъ экстазомъ произнесъ онъ:—мнѣ остается только... поцѣловать васъ!

Онъ всталъ со своего мѣста и подошелъ къ ней рѣшительно.

— M-r Boris! de grâce—oh! oh! съ натянутымъ смущеніемъ сказала она:—que voulez-vous—нѣтъ, ради Бога, нѣтъ, пощадите, пощадите!

Онъ наклонился къ ней и, повидимому, хотѣлъ привести свое намѣреніе въ исполненіе. Она замахала руками въ непритворномъ страхѣ, встала съ кушетки, подняла штору, оправилась и сѣла прямо, но лицо у ней горѣло лучами торжества. Она была озарена какимъ-то блескомъ— и опустивъ томно голову на плечо, шептала сладостно:

— Pitié, pitié!

— Grâ-ce, grâ-ce! запѣлъ Райскій, едва сдерживая смѣхъ.

— Я пошутилъ: не бойтесь, Полина Карповна — вы безопасны, клянусь вамъ...

— О, не клянитесь! вдругъ вставъ съ мѣста, сказала она съ паѳосомъ и зажмуриваясь:—есть минуты, страшныя въ жизни женщины... Но вы великодушны!.. прибавила, опять томно млѣя и клоня голову на сторону:— вы не погубите меня...

— Нѣтъ, нѣтъ, говорилъ онъ, наслаждаясь этой сценой:—какъ можно губить мать семейства!.. Вѣдь у васъ есть дѣти—а гдѣ ваши дѣти? спросилъ онъ, оглядываясь вокругъ.—Что вы мнѣ не покажете ихъ?

Она сейчасъ же отрезвилась.

— Ихъ нѣтъ... они... заговорила она.

— Познакомьте меня съ ними: я такъ люблю малютокъ.

— Нѣтъ, pardon, m-r Boris,—ихъ въ городѣ нѣтъ...

— Гдѣ же они?

— Они... гостятъ въ деревнѣ у знакомыхъ.

Дѣло въ томъ, что одному „малюткѣ" было шестнадцать, а другому четырнадцать лѣтъ, и Крицкая отправила ихъ къ дядѣ на воспитаніе, подальше отъ себя, чтобъ они возрастомъ своимъ не обличали ея лѣтъ.

Райскому стало скучно и онъ собрался домой. Полина Карповна не только не удерживала его, но повидимому была довольна, что онъ уходитъ. Она велѣла подавать коляску и непремѣнно хотѣла ѣхать съ нимъ.

— И прекрасно, сказалъ Райскій:—завезите меня въ одно мѣсто!

Полина Карповна обрадовалась и они покатили опять по улицамъ.

Къ вечеру весь городъ зналъ, что Райскій провелъ утро наединѣ съ Полиной Карповной, что не только шторы были опущены, даже ставни закрыты, что онъ объяснился въ любви, умолялъ о поцѣлуѣ, плакалъ—и теперь страдаетъ муками любви.

Долго кружили по городу Райскій и Полина Карповна. Она старалась провезти его мимо всѣхъ знакомыхъ, наконецъ онъ указалъ одинъ переулокъ и велѣлъ остановиться у квартиры Козлова. Крицкая увидѣла у окна жену Леонтія, которая дѣлала знаки Райскому. Полина Карповна пришла въ ужасъ.

— Вы ѣздите къ этой женщинѣ—возможно ли? Я компрометирована! сказала она. — Что̀ скажутъ, когда узнаютъ, что я завезла васъ сюда? Allons, de grâce, montez vite et partons! Cette femme: quelle horreur!

Но Райскій махнулъ рукой и вошелъ въ домъ.

„Вотъ сучокъ замѣтила въ чужомъ глазу!“ думалъ онъ.

## XII.

Свиданіе наединѣ съ Крицкой напомнило ему о его „обязанности къ другу“, на которую онъ такъ торжественно готовился недавно и отъ которой отвлекла его Вѣра. У него даже забилось сердце, когда онъ оживилъ въ памяти свои намѣренія оградить домашнее счастье этого друга.

Леонтія не было дома и Ульяна Андреевна встрѣтила Райскаго съ распростертыми объятіями, отъ которыхъ онъ сухо уклонился. Она называла его старымъ другомъ, „шалуномъ“, слегка взяла его за ухо, посадила на диванъ, сѣла къ нему близко, держа его за руку.

Райскій едва терпѣлъ эту прямую атаку и растерялся въ первую минуту отъ быстраго и неожиданнаго натиска, который вдругъ перенесъ его въ эпоху стараго знакомства съ Ульяной Андреевной и студенческихъ шалостей: но это было такъ давно!

— Что̀ вы, Ульяна Андреевна, опомнитесь—я не студентъ, а вы не дѣвочка!... упрекнулъ онъ ее.

— Для меня вы все тотъ же милый студентъ, шалунъ, а я для васъ та же послушная дѣвочка...

Она вскочила съ мѣста, схватила его за руки и три раза повернулась съ нимъ по комнатѣ, какъ въ вальсѣ.

— А кто мнѣ платье разорвалъ, помните?...

Онъ смотрѣлъ на нее, стараясь вспомнить.

— Забыли, какъ ловили за талію, когда я хотѣла уйти!... Кто на колѣняхъ стоялъ? Кто ручки цѣловалъ? На-те, поцѣлуйте, неблагодарный! А я для васъ та же Улинька!

— Жаль! сказалъ онъ со вздохомъ:—ужели вы не забыли старыя шалости?

— Нѣтъ, нѣтъ—все помню, все помню!—И она вертѣла его за руки по комнатѣ.

Ему легче казалось сносить тупое, безплодное и карикатурное кокетничанье сѣдѣющей Калипсо, все ищущей своего Телемака, нежели этой простодушной нимфы, ищущей встрѣчи съ сатиромъ...

А она, съ блескомъ на рыжеватой маковкѣ и бровяхъ, съ огнистымъ румянцемъ, ярко проступавшимъ сквозь веснушки, смотрѣла ему прямо въ лицо лучистыми, горячими глазами, съ безпечной радостью, отважной рѣшимостью и затаеннымъ смѣхомъ.

Онъ отворачивался отъ нея, старался заговорить о Леонтьѣ, о его занятіяхъ, ходилъ изъ угла въ уголъ и десять разъ подходилъ къ двери, чтобъ уйти, но чувствовалъ, что это не легко сдѣлать.

Онъ попалъ будто въ клѣтку тигрицы, которая, сидя въ углу, слѣдитъ за своей жертвой: и только онъ брался за ручку двери, она уже стояла передъ нимъ, прижавшись спиной къ замку, и глядя на него своимъ смѣющимся взглядомъ, безъ улыбки.

Куда онъ ни оборачивался, онъ чувствовалъ, что не могъ уйти изъ-подъ этого взгляда, который, какъ взглядъ портретовъ, всюду слѣдилъ за нимъ.

Онъ сѣлъ и погрузился въ свою задачу о „долгѣ“, думалъ, съ чего начать. Онъ видѣлъ, что мягкость тутъ не поможетъ: надо бросить „громъ“ на эту, играющую позоромъ женщину, назвать по имени стыдъ, который она такъ щедро льетъ на голову его друга.

Онъ молча, холодно осматривалъ ее съ ногъ до головы, даже позволилъ себѣ легкую улыбку презрѣнія.

А она, отворотясь отъ этого сухого взгляда, обойдетъ сзади стула и вдругъ нагнется къ нему и близко взглянетъ ему въ лицо, положитъ на плечо руки, или нѣжно щип-

нетъ его за ухо—и вдругъ остановится на мѣстѣ, оцѣпенѣетъ, смотритъ въ сторону глубоко-задумчиво, или въ землю, точно перемогаетъ себя, или — можетъ-быть— вспоминаетъ лучшіе дни, Райскаго-юношу, потомъ вздохнетъ, очнется—и опять къ нему...

Онъ зорко наблюдалъ ее.

— Что вы такъ смотрите на меня, не попрежнему, старый другъ? говорила она тихо, точно пѣла: — развѣ ничего не осталось на мою долю въ этомъ сердцѣ? А помните, когда липы цвѣли?

— Я ничего не помню, сухо говорилъ онъ:—все забылъ!

— Неблагодарный! шептала она и прикладывала руку къ его сердцу, потомъ щипала опять за ухо, или за щеку, и быстро переходила на другую сторону.

— Развѣ все отдали Вѣрѣ: да? шептала она.

— Вѣрѣ? вдругъ спросилъ онъ, отталкивая ее.

— Тс—тс—все знаю—молчите. Забудьте на минуту свою милую...

„Нѣтъ", думалъ онъ: „въ другой разъ, когда Леонтій будетъ дома, я гдѣ-нибудь въ углу, въ саду, дамъ ей урокъ, назову ей по имени и ея поведеніе, а теперь..."

Онъ всталъ.

— Пустите, Ульяна Андреевна: я въ другой разъ приду, когда Леонтій будетъ дома, сухо сказалъ онъ, стараясь отстранить ее отъ двери.

— А вотъ этого я и не хочу, отвѣчала она:—очень мнѣ весело, что вы придете при немъ—я хочу видѣть васъ одного: хоть на часъ будьте мой—весь мой... чтобъ никому ничего не досталось! И я хочу быть—вся ваша... вся! страстно шепнула она, кладя голову ему на грудь.—Я ждала этого, видѣла васъ во снѣ, бредила вами, не знала, какъ заманить. Случай помогъ мнѣ—вы мой, мой, мой! говорила она, охватывая его руками за шею и цѣлуя воздухъ.

— Ну, это—не Полина Карповна, съ ней надо принять рѣшительныя мѣры! подумалъ Райскій и энергически, обнявъ за талію, отвелъ ее въ сторону и отворилъ дверь.

— Прощайте, сказалъ онъ, махнувъ шляпой:—до свиданія! Я завтра...

Шляпа очутилась у ней въ рукѣ—и она, нагнувъ голову, подняла шляпу вверхъ и насмѣшливо махала ею надъ головой.

Онъ хотѣлъ схватить шляпу, но Ульяна Андреевна была уже въ другой комнатѣ и протягивала шляпу къ нему, маня за собой.

— Возьмите! дразнила она.

Онъ молча наблюдалъ ее.

— Дайте шляпу! сказалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Возьмите.

— Отдайте.

— Вотъ она.

— Поставьте на полъ.

Она поставила и отошла къ окну. Онъ вошелъ къ ней въ комнату и бросился къ шляпѣ, а она бросилась къ двери, заперла и положила ключъ въ карманъ.

Они смотрѣли другъ на друга: Райскій—съ холоднымъ любопытствомъ, она—съ дерзкимъ торжествомъ, сверкая смѣющимися глазами. Онъ молча дивился красотѣ ея римскаго профиля.

„Да, Леонтій правъ: это—камея; какой профиль, какая строгая, чистая линія затылка, шеи! И эти волосы такъ же густы, какъ бывало...“

Онъ вдругъ вспомнилъ, зачѣмъ пришелъ, и сдѣлалъ строгое лицо.

— Понимаете ли вы сами, какую сцену играете? съ холодной важностью произнесъ онъ.

— Милый Борисъ! нѣжно говорила она, протягивая руки и маня къ себѣ:—помните садъ и бесѣдку? Развѣ эта сцена—новость для васъ? Подите сюда! прибавила скороговоркой, шопотомъ, садясь на диванъ и указывая ему мѣсто возлѣ себя.

— А мужъ? вдругъ сказалъ онъ.

— Что мужъ? Все такой же дуракъ, какъ и былъ!

— Дуракъ! съ упрекомъ, возвысивъ голосъ, повторилъ онъ. — И вы такъ платите ему за его доброту, за довѣріе!

— Да развѣ его можно любить?

— Отчего же не любить?

— Такихъ не любятъ... Подите сюда!... шептала опять.

— Но вы любили же когда-нибудь?

Она отрицательно покачала головой.

— Зачѣмъ же вы шли замужъ?

— Это совсѣмъ другое дѣло: онъ взялъ, а я вышла. Куда-жъ мнѣ было дѣться!

— И обманываете цѣлую жизнь, каждый день, увѣряете его въ любви...

— Никогда не увѣряю, да онъ и не спрашиваетъ. Видите, и не обманываю!

— Но помилуйте, что вы дѣлаете!! говорилъ онъ, стараясь придать ужасъ голосу.

Она съ затаеннымъ смѣхомъ, отважно смотрѣла на него; глаза у ней искрились.

— Что я дѣлаю!!! съ комическимъ ужасомъ передразнила она:—все люблю васъ, неблагодарный, все вѣрна милому студенту Райскому... Подите сюда!

— Если бъ онъ зналъ! говорилъ Райскій, боязливо ворочая глазами вокругъ и останавливая ихъ на ея профилѣ.

— Не узнаетъ, а если бъ и узналъ—такъ ничего. Онъ дуракъ.

— Нѣтъ, не дуракъ, а слабый, любящій до слѣпоты. И вотъ—его семейное счастье!

— А чѣмъ онъ несчастливъ? вспыхнувъ, сказала Ульяна Андреевна:—поищите ему другую такую жену. Если не посмотрѣть за нимъ, онъ мимо рта ложку пронесетъ. Онъ одѣтъ, обутъ, ѣстъ вкусно, спитъ покойно, знаетъ свою латынь: чего ему еще больше? И будетъ съ него! А любовь не про такихъ!

— Про какихъ же?

— Про такихъ, какъ вы... Подите сюда!

— Но онъ вамъ вѣритъ, онъ поклоняется вамъ...

— Я ему не мѣшаю: онъ мужъ—чего жъ ему еще?

— Ваша ласка, попеченія—все это должно принадлежать ему!

— Все и принадлежитъ—развѣ его не ласкаютъ, противнаго урода этакого! Попробовали бы вы...

— Зачѣмъ же эта распущенность, этотъ Шарль!..

Она опять вспыхнула.

— Какой вздоръ—Шарль! кто это вамъ напѣлъ? противная бабушка ваша—вздоръ, вздоръ!

— Я самъ слышалъ...

— Что̀ вы слышали?

— Въ саду, какъ вы шептались, какъ...

— Это все пустое, вамъ померещилось! М-г Шарль придетъ, спроситъ сухарь, стаканъ краснаго вина—выпьетъ и уйдетъ.

Она отошла къ окну и въ досадѣ начала ощипывать листья и цвѣты въ горшкахъ. И у ней лицо стало, какъ маска, и глаза перестали искриться, а сдѣлались прозрачны, безцвѣтны—„какъ у Вѣры тогда...“ думалъ онъ. „Да, да, да—вотъ онъ, этотъ взглядъ, одинъ и тотъ же у всѣхъ женщинъ, когда онѣ лгутъ, обманываютъ, таятся... Русалки!“

— Ваше сердце, Ульяна Андреевна, ваше внутреннее чувство... говорилъ онъ.

— Еще что̀!

— Словомъ — совѣсть не угрызаетъ васъ, не шепчетъ вамъ, какъ глубоко оскорбляете вы бѣднаго моего друга...

— Какой вздоръ вы говорите—тошно слушать! сказала она, вдругъ обернувшись къ нему и взявъ его за руки.— Ну, кто его оскорбляетъ? Что вы мнѣ мораль читаете! Леонтій не жалуется, ничего не говоритъ... Я ему отдала всю жизнь, пожертвовала собой: ему покойно, больше ничего не надо, а мнѣ-то каково безъ любви! Какая бы другая связалась съ нимъ!...

— Онъ такъ васъ любитъ!

— Куда ему? Умѣетъ онъ любить! Онъ даже и слова о любви не умѣетъ сказать: выпучитъ глаза на меня— вотъ и вся любовь! точно пень! Дались ему книги, уткнетъ носъ въ нихъ и возится съ ними. Пусть же онѣ и любятъ его! Я буду для него исправной женой, а любовницей—(она сильно потрясла головой) никогда!

— Да вы новѣйшій философъ, весело замѣтилъ Райскій:—не смѣшиваете любви съ бракомъ: мужу...

— Мужу—щи, чистую рубашку, мягкую подушку и покой...

— А любовь?

— А любовь... вотъ кому! сказала она—и вдругъ обвилась руками около шеи Райскаго, затворила ему ротъ крѣпкимъ и продолжительнымъ поцѣлуемъ.

Онъ остолбенѣлъ, и даже зашатался на мѣстѣ. А она не выпускала его шеи изъ объятій, обдавала искрами глазъ, любуясь дѣйствіемъ поцѣлуя.

— Постойте... постойте, говорилъ онъ, озадаченный:— вспомните... я другъ Леонтія, моя обязанность...

Она затворила ему ротъ маленькой рукой — и онъ... поцѣловалъ руку.

— Нѣтъ! говорилъ онъ, стараясь не глядѣть на ея профиль и жмурясь отъ ея искристыхъ, широко открытыхъ глазъ:—моментъ насталъ, брошу камень въ эту холодную, безсердечную статую...

Онъ освободился изъ ея объятій, поправилъ смятые волосы, отступилъ на шагъ и выпрямился.

— А стыдъ — куда вы дѣли его, Ульяна Андреевна? сказалъ онъ рѣзко.

— Стыдъ... стыдъ... шептала она, обливаясь румянцемъ и пряча голову на его груди:—стыдъ я топлю въ поцѣлуяхъ...

Она опять прильнула къ его щекѣ губами.

— Опомнитесь и оставьте меня! строго сказалъ онъ:— если въ домѣ моего друга поселился демонъ, я хочу быть ангеломъ-хранителемъ его покоя...

— Не говорите, ахъ не говорите мнѣ страшныхъ словъ... почти простонала она.—Вамъ ли стыдить меня? Я постыдилась бы другого... А вы! Помните?... Мнѣ страшно, больно, я захвораю, умру... Мнѣ тошно жить, здѣсь такая скука...

— Оправьтесь, встаньте, вспомните, что вы женщина... говорилъ онъ.

Она судорожно, еще сильнѣе прижалась къ нему, пряча голову у него на груди.

— Ахъ, сказала она:—зачѣмъ, зачѣмъ вы... это говорите?... Борисъ—милый Борисъ... вы ли это...

— Пустите меня! Я задыхаюсь въ вашихъ объятіяхъ! сказалъ онъ: — я измѣняю самому святому чувству — довѣрію друга... Стыдъ да падетъ на вашу голову!...

Она вздрогнула, потомъ вдругъ вынула изъ кармана ключъ, которымъ заперла дверь, и бросила ему въ ноги.

Послѣ этого руки у ней упали неподвижно, она взглянула на Райскаго мутно, сильно оттолкнула его, повела глазами вокругъ себя, схватила себя обѣими руками за голову—и испустила крикъ, такъ что Райскій испугался и не радъ былъ, что вздумалъ будить женское заснувшее чувство.

— Ульяна Андреевна! опомнитесь, придите въ себя! говорилъ онъ, стараясь удержать ее за руки.—Я нарочно, пошутилъ, виноватъ!...

Но она не слушала, качала въ отчаяніи головой, рвала волосы, сжимала руки, вонзая ногти въ ладони, и рыдала безъ слезъ.

— Что̀ я, гдѣ я? говорила она, ворочая вокругъ себя изумленными глазами.—Стыдъ... стыдъ... отрывисто вскрикивала она:—Боже мой, стыдъ... да, жжетъ—вотъ здѣсь!

Она рвала манишку на себѣ.

Онъ разстегнулъ, или скорѣе разорвалъ ей платье и положилъ ее на диванъ. Она металась, какъ въ горячкѣ, испуская вопли, такъ что слышно было на улицѣ.

— Ульяна Андреевна, опомнитесь! говорилъ онъ, ставши на колѣни, цѣлуя ей руки, лобъ, глаза.

Она взглядывала мелькомъ на него, дѣлая большіе глаза, какъ будто удивляясь, что онъ тутъ, потомъ вдругъ судорожно прижимала его къ груди и опять отталкивала, твердя:—стыдъ! стыдъ! жжетъ... вотъ здѣсь... душно...

Онъ понялъ въ ту минуту, что будить давно уснувшій стыдъ слѣдовало исподоволь, съ пощадой, если онъ не умеръ совсѣмъ, а только заглохъ: „все равно, подумалъ онъ, какъ пьяницу нельзя вдругъ оторвать отъ чарки — горячка будетъ!“

Онъ не зналъ, что̀ дѣлать, отперъ дверь, бросился въ столовую, забѣжалъ съ отчаянія въ какой-то темный уголъ, выбѣжалъ въ садъ — чтобъ позвать кухарку, зашелъ въ кухню, хлопая дверьми—нигдѣ ни души.

Онъ захватилъ ковшъ воды, прибѣжалъ назадъ: одну минуту колебался, не уйти ли ему, но оставить ее одну въ этомъ положеніи—казалось ему жестокостью.

Она все металась и стонала, волосы у ней густой косой разсыпались по плечамъ и груди. Онъ сталъ на колѣни, поцѣлуями зажималъ ей ротъ, унималъ стоны, цѣловалъ руки, глаза.

Мало-по-малу она ослабѣла, потомъ оставалась минутъ пять въ забытьи, наконецъ пришла въ себя, остановила на немъ томный взглядъ и—вдругъ дико, бѣшено стиснула его руками за шею, прижала къ груди и прошептала:

— Вы мой... мой!... не говорите мнѣ страшныхъ словъ... „*Оставь угрозы, свою Тамару не брани*", повторила она Лермонтовскій стихъ съ томной улыбкой.

„Господи!" застонало внутри его:—„что мнѣ дѣлать!"

— Не станете? шопотомъ прибавила она, крѣпко держа его за голову:—вы мой?

Райскій не могъ въ ея рукахъ повернуть головы, онъ поддерживалъ ея затылокъ и шею: римская камея лежала у него на ладони во всей прелести этихъ молящихъ глазъ, полуоткрытыхъ, горячихъ губъ...

Онъ не отводилъ глазъ отъ ея профиля, у него закружилась голова... Румяныя и жаркія щеки ея запылали ярче и жгли ему лицо. Она поцѣловала его, онъ отдалъ поцѣлуй. Она прижала его крѣпче, прошептала чуть слышно:

— Вы мой теперь: никому не отдамъ васъ!...

Онъ не бранилъ, не сказалъ больше ни одного „страшнаго" слова... „Громы" умолкли...

## XIII.

Исполнивъ „дружескую обязанность", Райскій медленно, почти безсознательно шелъ по переулку, поднимаясь

въ гору и тупо глядя на крапиву въ канавѣ, на пасущуюся корову на пригоркѣ, на роющуюся около плетня свинью, на пустой, длинный заборъ. Оборотившись назадъ, къ домику Козлова, онъ увидѣлъ, что Ульяна Андреевна стоитъ еще у окна и машетъ ему платкомъ.

— Я сдѣлалъ все, что̀ могъ, все! говорилъ онъ, отворачиваясь отъ окна съ содроганіемъ и прибавилъ шагу.

Взойдя на гору, онъ остановился и въ непритворномъ ужасѣ произнесъ:—Боже, Боже мой!

Гамлетъ и Офелія! вдругъ пришло ему въ голову, и онъ закатился смѣхомъ отъ этого сравненія, такъ что даже ухватился за рѣшетку церковной ограды. Ульяна Андреевна—Офелія! Надъ сравненіемъ себя съ Гамлетомъ онъ не смѣялся: „всякій, казалось ему, бываетъ Гамлетомъ иногда!“ Такъ называемая „воля“ подшучиваетъ надъ всѣми! — Нѣтъ воли у человѣка, говорилъ онъ,—а есть параличъ воли: это къ его услугамъ! А то, что̀ называютъ волей— эту мнимую силу, такъ она вовсе не въ распоряженіи господина, „царя природы“, а подлежитъ какимъ-то посторонним законамъ и дѣйствуетъ по нимъ, не спрашивая его согласія. Она, какъ совѣсть, только и напоминаетъ о себѣ, когда человѣкъ уже сдѣлалъ не то, что̀ надо, или если онъ и бываетъ твердъ волей, такъ развѣ случайно, или тамъ, гдѣ онъ равнодушенъ.

— Леонтій! вдругъ произнесъ онъ, хватаясь за голову: — въ какихъ рукахъ его счастье! Какими глазами взгляну я на него! А какъ тверда была моя воля!

Какъ онъ искренно готовился къ своей благородной роли, какъ улыбалась ему идея долга, какую награду нашелъ бы онъ въ своемъ сознаніи, если бъ...

— А что̀ было мнѣ дѣлать? заключилъ онъ вопросомъ и мало-по-малу поднималъ голову, выпрямлялся, морщины разглаживались, лицо становилось покойнѣе.

— Я сдѣлалъ все, что̀ могъ, все что̀ могъ! твердилъ онъ: — но вышло не то, что̀ нужно... шепнулъ онъ со вздохомъ.

И съ этимъ *но*, и съ этимъ вздохомъ, пришелъ къ себѣ домой, мало-по-малу оправданный въ собственныхъ глазахъ, и, къ большому удовольствію бабушки, весело и съ аппетитомъ пообѣдалъ съ нею и съ Марѳинькой.

„Эту главу въ романѣ надо выпустить...“ подумалъ онъ, принимаясь вечеромъ за тетради, чтобы дополнить очеркъ Ульяны Андреевны... „А зачѣмъ: лгать, притворяться, становиться на ходули? Не хочу, оставлю, какъ есть, смягчу только это свиданіе... прикрою нимфу и сатира гирляндой...“

Райскій прилежно углубился въ свой романъ. Передъ нимъ какъ будто проходила его собственная жизнь, разорванная на какіе-то клочки.

— Но вѣдь иной недогадливый читатель подумаетъ, что я самъ такой, и только такой! сказалъ онъ, перебирая свои тетради:—онъ не сообразитъ, что это не я, не Каринъ, не Сидоръ, а типъ: что въ организмѣ художника совмѣщаются многія эпохи, многія разнородныя лица... Что̀ я стану дѣлать съ ними? Куда дѣну еще десять, двадцать типовъ?...

— Надо также выдѣлить изъ себя и слѣпить и тѣ десять, двадцать типовъ въ статуи, шепнулъ кто-то внутри его: — это и есть задача художника, его „дѣло“, а не „миражъ!“

Онъ вздохнулъ.

„Гдѣ мнѣ, неудачнику!“ подумалъ онъ уныло.

Прошло нѣсколько дней послѣ свиданія съ Ульяной Андреевной. Однажды къ вечеру собралась гроза, за Волгой небо обложилось черными тучами, на дворѣ парило, какъ въ банѣ: по полю и по дорогѣ кое-гдѣ вихрь крутилъ пыль.

*

Все примолкло. Татьяна Марковна подняла на ноги весь домъ. Вездѣ закрывались трубы, окна, двери. Она не только сама боялась грозы, но даже не жаловала тѣхъ, кто ея не боялся, считая это за вольнодумство. Всѣ набожно крестились въ домѣ при блескѣ молніи, а кто не перекрестится, того называли „нѣмъ“. Егорку выгоняла изъ передней въ людскую, потому что онъ не переставалъ хихикать съ горничными и въ грозу.

Гроза приближалась величественно; издали доносился глухой рокотъ грома, пыль неслась столбомъ. Вдругъ блеснула молнія и надъ деревней раздался рѣзкій ударъ грома.

Райскій схватилъ фуражку, зонтикъ и пошелъ проворно въ садъ, съ тѣмъ, чтобы поближе наблюдать картину, помѣститься самому въ нее, списать детали и наблюдать свои ощущенія.

Татьяна Марковна увидѣла его изъ окна и постучала ему въ стекло.

— Куда это ты, Борисъ Павловичъ? спросила она, подозвавъ его къ окну.

— На Волгу, бабушка, грозу посмотрѣть.

— Въ умѣ ли ты? Воротись!

— Нѣтъ, я пойду...

— Говорятъ, не ходи! повелительно прибавила она.

Опять блеснула молнія и раздался продолжительный раскатъ грома. Бабушка въ испугѣ спряталась, а Райскій сошелъ съ обрыва и пошелъ между кустовъ едва замѣтной извилистой тропинкой.

Дождь лилъ, какъ изъ ведра, молнія сверкала за молніей, громъ ревѣлъ. И сумерки, и тучи погрузили все въ глубокій мракъ.

Райскій сталъ раскаиваться въ своемъ артистическомъ намѣреніи посмотрѣть грозу, потому что отъ ливня намокшій зонтикъ пропускалъ воду ему на лицо и на

платье, ноги вязли въ мокрой глинѣ, и онъ, забывши подробности мѣстности, безпрестанно натыкался въ рощѣ на бугры, на пни, или скакалъ въ ямы.

Онъ поминутно останавливался, и только при блескѣ молніи дѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ. Онъ зналъ, что тутъ была гдѣ-то, на днѣ обрыва, бесѣдка, когда еще кусты и деревья, росшіе по обрыву, составляли часть сада.

Недавно еще, пробираясь къ берегу Волги, мимоходомъ онъ видѣлъ ее въ чащѣ, но теперь не зналъ, какъ пройти къ ней, чтобъ укрыться тамъ и оттуда, пожалуй, наблюдать грозу.

Назадъ идти опять между сплошныхъ кустовъ, по кочкамъ и ямамъ подниматься вверхъ, онъ тоже не хотѣлъ, и потому рѣшилъ протащиться еще нѣсколько десятковъ саженъ до проѣзжей горы, перелѣзть тамъ черезъ плетень и добраться по дорогѣ до деревни.

Сапоги у него размокли совсѣмъ: онъ едва вытаскивалъ ноги изъ грязи и разросшагося лопуха и крапивы, и кромѣ того, несовсѣмъ равнодушенъ былъ къ этому нестерпимому блеску молніи и треску грома надъ головой.

„Можно бы любоваться грозой изъ комнаты!“ сознавался онъ про себя.

Наконецъ онъ уткнулся въ плетень, ощупалъ его рукой, хотѣлъ поставить ногу въ траву—поскользнулся и провалился въ канаву. Съ большимъ трудомъ выкарабкался онъ изъ нея, перелѣзъ черезъ плетень и вышелъ на дорогу. По этой крутой и опасной горѣ ѣздили мало, больше мужики, порожнякомъ, чтобы не дѣлать большого объѣзда, въ телѣгахъ, на своихъ смирныхъ, запаленныхъ, маленькихъ лошадяхъ въ одиночку.

Райскій, мокрый, свернувъ зонтикъ подъ мышкой, какъ безполезное орудіе, жмурясь отъ ослѣпительной молніи, медленно и тяжело шелъ въ гору по скользкой грязи,

безпрестанно останавливаясь, какъ вдругъ послышался ему стукъ колесъ.

Онъ прислушался: шумъ опять раздался невдалекѣ. Онъ остановился, стукъ все ближе и ближе, слышалось торопливое и напряженное шаганье конскихъ копытъ въ гору, фырканье лошадей и понукающій окрикъ человѣка. Молнія блистала уже порѣже, и потому, при блескѣ ея, Райскій не могъ еще различить экипажа.

Онъ только посторонился съ дороги и уцѣпился за плетень, чтобъ дать экипажу проѣхать, когда тотъ поровняется, такъ какъ дорога была узка.

Наконецъ молнія блеснула ярко и освѣтила экипажъ, въ родѣ крытой линейки или шарабана, запряженнаго парой сытыхъ, и какъ кажется, отличныхъ коней, и группу людей въ шарабанѣ.

Опять молнія — и Райскій остолбенѣлъ, узнавши въ группѣ—Вѣру.

— Вѣра! закричалъ онъ во весь голосъ.

Экипажъ остановился.

— Кто тутъ? спросилъ ея голосъ.

— Я.

— Братъ! Что̀ вы тутъ дѣлаете? съ изумленіемъ спросила она.

— А ты что̀?

— Я возвращаюсь домой.

— И я тоже.

— Вы откуда?

— Да вотъ тутъ бродилъ въ обрывѣ и потерялъ дорогу въ кустахъ. Иду по горѣ. А ты какъ это рѣшилась по такой крутизнѣ? Съ кѣмъ ты? Чьи это лошади? Нельзя ли меня довезти?

— Прошу покорно, мѣста много. Дайте руку, я помогу вамъ влѣзть! сказалъ мужской голосъ.

Райскій протянулъ руку, и кто-то сильно втащилъ его подъ навѣсъ шарабана. Тамъ, кромѣ Вѣры, онъ нашелъ еще Марину. Обѣ онѣ, какъ мокрыя курицы, жались другъ къ другу, стараясь защититься кожанымъ фартукомъ отъ хлеставшаго сбоку ливня.

— Кто это съ тобой? Чьи лошади, кто правитъ ими? спрашивалъ тихо Райскій у Вѣры.

— Иванъ Иванычъ.

— Какой Иванъ Иванычъ?

— Лѣсничій! тихо шепнула она въ отвѣтъ.

— Лѣсничій?... заговорилъ Райскій, но Вѣра слегка толкнула его въ бокъ, чтобы онъ молчалъ, потому что голова и уши лѣсничаго были у нихъ подъ носомъ.

— Послѣ! шепнула она.

„Лѣсничій!“ думалъ Райскій и припомнилъ разговоръ съ бабушкой, ея похвалы, намеки на „славную партію“.

„Такъ вотъ кто герой романа: лѣсничій — лѣсничій!“ не помня себя, твердилъ Райскій.

Онъ старался взглянуть на лѣсничаго. Но передъ носомъ у него тряслась только низенькая шляпа съ большими круглыми полями, да широкія плечи рослаго человѣка, покрытыя мекинтошемъ. Сбоку онъ видѣлъ лишь силуэтъ носа и—какъ казалось ему, бороду.

Лѣсничій ловко правилъ лошадьми, карабкавшимися на крутую гору, подстегивалъ то ту, то другую, посвистывалъ, забиралъ круто вожжи, когда кони вдругъ вздрагивали отъ блеска молніи, и потомъ оборачивался къ сидящимъ подъ навѣсомъ.

— Что, Вѣра Васильевна, каково вамъ, не озябли ли, не промокли ли вы? освѣдомлялся онъ заботливо.

— Нѣтъ, нѣтъ, мнѣ хорошо, Иванъ Ивановичъ, дождь не достаетъ меня.

— Взяли бы вы мекинтошъ мой... предлагалъ Иванъ

Ивановичъ.—Боже сохрани, простудитесь: вѣкъ себѣ не прощу, что взялся везти васъ...

— Ахъ, какіе вы — надоѣли! съ дружеской досадой сказала Вѣра:—знайте свое дѣло, правьте лошадьми!

— Какъ угодно! съ торопливой покорностью говорилъ Иванъ Ивановичъ и обращался къ лошадямъ.

Но посвиставъ и покричавъ на нихъ, онъ, по временамъ, будто украдкой, оборачивался къ Вѣрѣ посмотрѣть, что̀ она.

Объѣхавши Малиновку, они подъѣхали къ воротамъ дома Татьяны Марковны.

Лѣсничій соскочилъ и началъ стучать рукояткой бича въ ворота. У крыльца онъ предоставилъ лошадей на попеченіе подоспѣвшимъ Прохору, Тараскѣ, Егоркѣ, а самъ бросился къ Вѣрѣ, всталъ на подножку экипажа, взялъ ее на руки и, какъ драгоцѣнную ношу, бережно и почтительно внесъ на крыльцо, прошелъ мимо лакеевъ и дѣвокъ, со свѣчами вышедшихъ навстрѣчу и выпучившихъ на нихъ глаза, донесъ до дивана въ залѣ и тихо посадилъ ее.

Райскій, мокрый, какъ былъ въ грязи, бросился за ними и не пропустилъ ни одного его движенія, ни ея взгляда.

Потомъ лѣсничій воротился въ переднюю, снялъ съ себя всю мокрую аммуницію, длинные охотничьи сапоги, оправился, отряхнулся, всѣми пятью пальцами руки, какъ граблями, провелъ по густымъ волосамъ и спросилъ у людей вѣничка или щетку.

Бабушка, между тѣмъ, здоровалась съ Вѣрой и вмѣстѣ осыпала ее упреками, что она пускается на „такія страсти“, въ такую ночь, по такой горѣ, не бережетъ себя, не жалѣетъ ее, бабушки, не дорожитъ ничьимъ покоемъ, и что когда-нибудь она этакъ „уложитъ ее въ гробъ“.

За этимъ, разумѣется, послѣдовало приказаніе поско-

рѣй перемѣнить платье и бѣлье, обсушиться, обогрѣться, подавать самоваръ, собирать ужинъ.

— Ахъ, бабушка, какъ мнѣ всего хочется! говорила Вѣра, ласкаясь, какъ кошка, около бабушки:—и чаю, и супу, и жаркого, и вина. И Ивану Иванычу тоже. Скорѣе, милая бабушка!

Она знала чѣмъ бабушку успокоить.

— Сейчасъ, сейчасъ — вотъ и прекрасно: все, все— будетъ!—А гдѣ жъ Иванъ Иванычъ?—Иванъ Иванычъ! обратилась бабушка къ лѣсничему: — подите сюда, что вы тамъ дѣлаете?—Марѳинька, гдѣ Марѳинька? Что она забилась тамъ къ себѣ?

— Вотъ сейчасъ оправлюсь, да почищусь, Татьяна Марковна, говорилъ голосъ изъ передней. Егоръ, Яковъ, Степанъ чистили, терли, чуть не скребли лѣсничаго въ передней, какъ добраго коня.

Онъ вошелъ въ комнату, почтительно поцѣловалъ руку у бабушки и у Марѳиньки, которая теперь только рѣшилась освободить свою голову изъ-подъ подушки и вылѣзть изъ постели, куда запряталась отъ грозы.

— Марѳинька, иди скорѣй, сказала бабушка: — не прятаться надо, а Богу молиться, громъ и не убьетъ!

— Я этого не боюсь, сказала Марѳинька:—громъ бьетъ все больше мужиковъ,—а такъ, просто страшно!

Райскій, между тѣмъ, мокрый, стоя у окна, устремилъ на гостя жадный взглядъ.

Иванъ Ивановичъ Тушинъ былъ молодецъ собой. Высокій, плечистый, хорошо сложенный мужчина, лѣтъ тридцати осьми, съ темными густыми волосами, съ крупными чертами лица, съ большими сѣрыми глазами, простымъ и скромнымъ, даже немного застѣнчивымъ взглядомъ, и съ густой темной бородой. У него были большія загорѣлыя руки, пропорціональныя росту, съ широкими ногтями.

Одѣтъ онъ былъ въ сѣрое пальто, съ глухимъ жилетомъ, изъ-за котораго на галстухъ падалъ широкій отложной воротникъ рубашки домашняго полотна. Перчатки бѣлыя замшевыя, въ рукахъ длинный бичъ, съ серебряной рукояткой.

„Молодецъ, красивый мужчина: но какая простота... чтобъ не сказать больше... во взглядѣ, въ манерахъ! Ужели онъ—герой Вѣры?...“ думалъ Райскій, глядя на него и съ любопытствомъ ожидая, что̀ покажетъ дальнѣйшее наблюденіе.

„А почему жъ нѣтъ“? ревниво думалъ опять: „женщины любятъ эти рослыя фигуры, эти открытыя лица, большія здоровыя руки—всю эту рабочую силу мышцъ... Но ужели Вѣра?...“

— Ты, мой батюшка, что̀! вдругъ всплеснувъ руками, сказала бабушка, теперь только замѣтившая Райскаго.— Въ какомъ видѣ! Люди, Егорка!—да какъ это вы угораздились сойтись? Изъ какой тьмы кромѣшной! Посмотри, съ тебя течетъ, лужа на полу! Борюшка! вѣдь ты уходишь себя! Они домой ѣхали, а тебя кто толкалъ изъ дома? Вотъ—охота пуще неволи! Поди, поди переодѣнься,—да рому къ чаю!—Иванъ Иванычъ! — вотъ и вы пошли бы съ нимъ... Да знакомы ли вы? Внукъ мой, Борисъ Павлычъ Райскій—Иванъ Иванычъ Тушинъ!...

— Мы ужъ познакомились, сказалъ, кланяясь, Тушинъ:—на дорогѣ подобрали вашего внука и вмѣстѣ пріѣхали. Благодарю покорно, мнѣ ничего не нужно. А вотъ вы, Борисъ Павлычъ, переодѣлись бы: у васъ ноги мокрыя!

— Вы ужъ меня извините, старуху, а вы всѣ, кажется, полоумные, заговорила бабушка:—въ такую грозу и звѣрь не выползетъ изъ своей берлоги!... Вонъ, Господи, какъ сверкаетъ еще до сихъ поръ! Яковъ, притвори поди ставню поплотнѣе. А вы—въ такой вечеръ черезъ Волгу!

— Вѣдь у меня свой крѣпкій парôмъ, сказалъ Тушинъ:—съ крытой бесѣдкой. Вѣра Васильевна были тамъ, какъ въ своей комнатѣ: ни капли дождя не упало на нихъ.

— Да страсть-то какая, гроза!

— Что-жъ, гроза, помилуйте, это только старымъ бабамъ...

— Покорно благодарю: а я-то кто же? вдругъ сказала бабушка.

Тушинъ переконфузился.

— Извините, я не нарочно, съ языка сорвалось! Я про простыхъ бабъ...

— Ну, Богъ васъ проститъ! смѣясь, сказала бабушка.—Вамъ—ничего, я знаю. Вонъ васъ какимъ Господь создалъ—да Вѣра-то: какъ на нее нѣтъ страха! Ты что у меня за богатырь такой!

— Съ Иваномъ Ивановичемъ какъ-то не страшно, бабушка.

— Иванъ Иванычъ медвѣдей бьетъ, и ты бы пошла?

— Пошла бы, бабушка, посмотрѣть. Возьмите меня когда-нибудь, Иванъ Иванычъ... Это очень интересно...

— Я съ удовольствіемъ... Вѣра Васильевна: вотъ зимой, какъ соберусь—прикажите только... Это заманчиво.

— Видите, какая! сказала Татьяна Марковна.—А до бабушки тебѣ дѣла нѣтъ?..

— Я пошутила, бабушка.

— Ты готова, я знаю! И какъ это тебѣ не совѣстно было безпокоить Ивана Ивановича? Такую даль—провожать тебя!

— Это ужъ не онѣ, а я виноватъ, сказалъ Тушинъ:— я только лишь узналъ отъ Натальи Ивановны, что Вѣра Васильевна собираются домой, такъ и сталъ просить сдѣлать мнѣ это счастье...

Онъ скромно, съ примѣсью почти благоговѣнія, взглянулъ на Вѣру.

— Хорошо счастье—въ этакую грозу...

— Ничего, свѣтлѣе ѣхать... И Вѣра Васильевна не боялись.

— А что Анна Ивановна, здорова ли?

— Слава Богу. кланяется вамъ—прислала вамъ отъ своихъ плодовъ: персиковъ изъ оранжереи, ягодъ, грибовъ—тамъ въ шарабанѣ...

— На что это? своихъ много! Вотъ за персики большое спасибо—у насъ нѣтъ, сказала бабушка.—А я ей какого чаю приготовила! Борюшка привезъ—я удѣлила и ей.

— Покорно благодарю!

— И какъ это въ этакую темнять по Заиконоспасской горѣ на вашихъ лошадяхъ взбираться! Какъ васъ Богъ помиловалъ! опять заговорила Татьяна Марковна. — Испугались бы грозы, понесли—Боже сохрани!

— Мои лошади — какъ собаки—слушаются меня... Повезъ ли бы я Вѣру Васильевну, если бъ предвидѣлъ опасность?

— Вы надежный другъ. сказала она:—зато какъ я и полагаюсь на васъ, и даже на вашихъ лошадей!..

Въ это время вошелъ Райскій, въ изящномъ неглиже, совсѣмъ оправившійся отъ прогулки. Онъ видѣлъ взглядъ Вѣры, обращенный къ Тушину, и слышалъ ея послѣднія слова.

„Полагаюсь на васъ и на лошадей!“ повторилъ онъ про себя: „вотъ какъ: рядомъ!“

— Покорно васъ благодарю, Вѣра Васильевна, отвѣчалъ Тушинъ.—Не забудьте же, что̀ сказали теперь. Если понадобится что-нибудь, когда...

— Когда опять загремитъ вотъ этакій громъ... сказала бабушка.

Всякій! прибавилъ онъ.

— Да, бываютъ и не этакія грозы въ жизни!.. съ старческимъ вздохомъ замѣтила Татьяна Марковна.

— Какія бы ни были, сказалъ Тушинъ:—когда у васъ загремитъ гроза, Вѣра Васильевна,—спасайтесь за Волгу, въ лѣсъ: тамъ живетъ медвѣдь, который вамъ послужитъ... какъ въ сказкахъ сказываютъ.

— Хорошо, буду помнить! смѣясь, отвѣчала Вѣра:— и когда меня, какъ въ сказкѣ, будетъ уносить какой-нибудь колдунъ—я сейчасъ за вами!

## XIV.

Райскій видѣлъ этотъ постоянный взглядъ глубокаго умиленія и почтительной сдержанности, слушалъ эти тихія, съ примѣсью невольно прорывавшейся нѣжности, рѣчи Тушина, обращаемыя къ Вѣрѣ.

И не одному только ревниво-наблюдательному взгляду Райскаго, или заботливому вниманію бабушки, но и равнодушному свидѣтелю нельзя было не замѣтить, что и лицо, и фигура, и движенія „лѣсничаго“ были исполнены глубокой симпатіи къ Вѣрѣ, сдерживаемой какимъ-то трогательнымъ уваженіемъ.

Этотъ атлетъ по росту и силѣ, повидимому, невѣдающій никакихъ страховъ и опасностей здоровякъ, робѣлъ передъ красивой, слабой дѣвочкой, жался отъ ея взглядовъ въ уголъ, взвѣшивалъ свои слова при ней, очевидно сдерживалъ движенія, караулилъ ея взглядъ, не прочтетъ ли въ немъ какого-нибудь желанія, боялся не сказать бы чего-нибудь неловко, не промахнуться, не показаться неуклюжимъ.

„И это, должно-быть, тоже рабъ!“ подумалъ Райскій и слѣдилъ за ней, что̀ она.

Онъ думалъ, что она тоже выкажетъ смущеніе, не сумѣетъ укрыть отъ многихъ глазъ своего сочувствія къ этому

герою: онъ уже рѣшилъ навѣрное, что лѣсничій—герой ея романа и той тайны, которую Вѣра укрывала.

„И кому, какъ не ему, писать на синей бумагѣ!“ думалъ онъ.

Ему любопытно было наблюдать, какъ она скажется: трепетомъ, мерцаніемъ взгляда, или окаменѣлымъ безмолвіемъ.

А ничего этого не было. Вѣра явилась тутъ еще въ новомъ свѣтѣ. Въ каждомъ ея взглядѣ и словѣ, обращенномъ къ Тушину, Райскій замѣтилъ прежде всего простоту, довѣріе, ласку, теплоту, какой онъ не замѣтилъ у ней въ обращеніи ни съ кѣмъ, даже съ бабушкой и Марѳинькой.

Бабушки она какъ будто остерегалась, Марѳинькой немного пренебрегала, а когда глядѣла на Тушина, говорила съ нимъ, подавала руку—видно было, что они друзья.

Въ ней открыто высказывалась та дружба, на которую намекала она и ему, Райскому, и которой онъ добивался и не успѣлъ добиться.

Чѣмъ же добился ея этотъ лѣсничій? Что̀ ихъ связываетъ другъ съ другомъ? Какъ они сошлись? Сознательно ли, т. е. отыскавъ и полюбивъ одинъ въ другомъ извѣстную сумму пріятныхъ каждому свойствъ, или просто угадали взаимно характеры, и безсознательно, безъ всякаго анализа, привязались одинъ къ другому?

Три дня прожилъ лѣсничій по дѣламъ въ городѣ и въ домѣ Татьяны Марковны, и три дня Райскій прилежно искалъ ключа къ этому новому характеру, къ его положенію въ жизни и къ его роли въ сердцѣ Вѣры.

Ивана Ивановича „лѣсничимъ“ прозвали потому, что онъ жилъ въ самой чащѣ лѣса, въ собственной усадьбѣ, самъ занимался съ любовью этимъ лѣсомъ, ростилъ, холилъ, берегъ его съ одной стороны, а съ другой рубилъ, продавалъ и сплавлялъ по Волгѣ. Лѣсу было нѣсколько тысячъ

десятинъ, и лѣсное хозяйство устроено и ведено было съ рѣдкою аккуратностью; у него одного въ той сторонѣ устроенъ былъ паровой пильный заводъ, и всѣмъ завѣдывалъ, надъ всѣмъ наблюдалъ самъ Тушинъ.

Въ промежуткахъ онъ ходилъ на охоту, удилъ рыбу, съ удовольствіемъ посѣщалъ холостыхъ сосѣдей, принималъ иногда у себя и любилъ изрѣдка покутить, т. е. заложить нѣсколько троекъ, большею частію горячихъ лошадей, понестись съ ватагой пріятелей верстъ за сорокъ, къ дальнему сосѣду, и тамъ пропировать сутокъ трое, а потомъ съ ними вернуться къ себѣ, или поѣхать въ городъ, возмутить тишину соннаго города такой громадной пирушкой, что дрогнетъ все въ городѣ, потомъ пропасть мѣсяца на три у себя, такъ что о немъ ни слуху, ни духу.

Тамъ онъ опять рубитъ и сплавляетъ лѣсъ, или съ двумя егерями разрѣзываетъ его вдоль и поперекъ, не то объѣзжаетъ тройки купленныхъ на ярмаркѣ новыхъ лошадей, или залѣзетъ зимой въ трущобу лѣса и выжидаетъ медвѣдя, колотитъ волковъ.

Не разъ отъ этихъ потѣхъ Тушинъ недѣли по три лежалъ съ завязанной рукой, съ попорченнымъ ухарской тройкой плечомъ, а иногда съ исцарапаннымъ медвѣжьей лапой лбомъ.

Но ему нравилась эта жизнь и онъ не покидалъ ее. Дома онъ читалъ увражи по агрономической, и вообще по хозяйственной части, держалъ свѣдущаго нѣмца, спеціалиста по лѣсному хозяйству, но не отдавался ему въ опеку, требовалъ его совѣтовъ, а распоряжался самъ, съ помощію двухъ приказчиковъ и артелью своихъ и нанятыхъ рабочихъ. Въ свободное время онъ любилъ читать французскіе романы: это былъ единственный оттѣнокъ изнѣженности въ этой, впрочемъ обыкновенной жизни многихъ обитателей нашихъ отдаленныхъ угловъ.

Райскій узналъ, что Тушинъ встрѣчалъ Вѣру у священника, и даже пріѣзжалъ всякій разъ нарочно туда, когда узнавалъ, что Вѣра гоститъ у попадьи. Это сама Вѣра сказывала ему. И Вѣра съ попадьей бывали у него въ усадьбѣ, прозванной *Дымокъ*, потому что издали, съ горы, въ чащѣ лѣса, она только и подавала знакъ своего существованія выходившимъ изъ трубъ дымомъ.

Тушинъ жилъ съ сестрой, старой дѣвушкой, Анной Ивановной—и къ ней ѣздили Вѣра съ попадьей. Эту же Анну Ивановну любила и бабушка; и когда она являлась въ городъ, то Татьяна Марковна была счастлива.

Ни съ кѣмъ она такъ охотно не пила кофе, ни съ кѣмъ не говорила такъ охотно секретовъ, находя, можетъ-быть, въ Аннѣ Ивановнѣ сходство съ собой въ склонности къ хозяйству, а больше всего глубокое уваженіе къ своей особѣ, къ своему роду, фамильнымъ преданіямъ.

О Тушинѣ съ перваго раза нечего больше сказать. Эта простая фигура какъ будто вдругъ вылилась въ свою форму и такъ и осталась цѣльною, съ крупными чертами лица, какъ и характера, съ неразбавленнымъ на тонкіе оттѣнки складомъ ума, чувствъ.

Въ немъ все открыто, все сразу видно для наблюдателя, все слишкомъ просто, не заманчиво, не таинственно, не романтично. Про него нельзя было сказать „умный человѣкъ“ въ томъ смыслѣ, какъ обыкновенно говорятъ о людяхъ, замѣчательно надѣленныхъ этою силою; ни остроуміемъ, ни находчивостью его тоже упрекнуть было нельзя.

У него былъ тотъ умъ, который дается одинаково, какъ тонко развитому, такъ и мужику, умъ, который, не тратясь на роскошь, прямо обращается въ житейскую потребность. Это больше, нежели здравый смыслъ, который иногда не мѣшаетъ хозяину его, мысля здраво, уклоняться отъ здравыхъ путей жизни.

Это умъ—не одной головы, но и сердца, и воли. Такіе люди не видны въ толпѣ, они рѣдко бываютъ на первомъ планѣ. Острые и тонкіе умы, съ бойкимъ словомъ, часто затмеваютъ блескомъ такія личности, но эти личности, большею частію, бываютъ невидимыми вождями, или регуляторами дѣятельности, и вообще жизни цѣлаго круга, въ который поставитъ ихъ судьба.

Въ обхожденіи его съ Вѣрой, Райскій замѣтилъ уже постоянное монотонное обожаніе, высказывавшееся во взглядахъ, словахъ, даже до робости, а съ ея стороны—монотонное довѣріе, открытое, теплое обращеніе.

И только. Какъ ни ловилъ онъ какой-нибудь знакъ, какой-нибудь намекъ, знаменательное слово, обмѣненный особый взглядъ—ничего! Та же простота, свобода и довѣренность съ ея стороны, тò же, проникнутое нѣжностію, уваженіе и готовность послужить ей, „какъ медвѣдь“ - со стороны Тушина, и больше ничего!

Опять не онъ! Отъ кого же письмо на синей бумагѣ?

— Чтò это за лѣсничій? спросилъ на другой же день Райскій, забравшись пораньше къ Вѣрѣ: — и чтò онъ тебѣ?

— Другъ, отвѣчала Вѣра.

— Это слишкомъ общее, родовое понятіе. Въ какомъ смыслѣ—другъ?

— Въ лучшемъ и тѣсномъ смыслѣ.

— Вотъ какъ! Не тотъ ли это счастливецъ, на котораго ты намекала и котораго имя обѣщала сказать?

— Когда?

— А до твоего отъѣзда!

— Что-то не помню. Какой счастливецъ, какое имя? Чтò я обѣщала?

— Какая же у тебя дурная память! Ты забыла и письмо на синей бумагѣ?

Да, да, помню. Нѣтъ, братъ, память у меня не дурна, я помню всякую мелочь, если она касается или занимаетъ меня. Но, признаюсь вамъ, что на этотъ разъ я ни о чемъ этомъ не думала, мнѣ въ голову не приходилъ ни разговоръ нашъ, ни письмо на синей бумагѣ...

— Ни я самъ, можетъ-быть?

Она улыбнулась и кивнула въ знакъ согласія головой.

— Весело же, должно-быть, тебѣ тамъ...

Да, мнѣ тамъ было хорошо, сказала она, глядя въ сторону разсѣянно: — никто меня не допрашивалъ, не подозрѣвалъ... такъ тихо, покойно...

— И при томъ другъ былъ подлѣ?

Она опять кивнула утвердительно головой.

— Да, онъ, этотъ лѣсничій? скороговоркой спросилъ Райскій и поглядѣлъ на Вѣру.

Она не слушала его.

За ея обыкновенной, вседневной миной, крылась другая. Она усиливалась, и притомъ съ трудомъ, скрадывать какое-то ликованіе, будто прятала блиставшую въ глазахъ, въ улыбкѣ, зарю внутренняго удовлетворенія, которымъ, повидимому, не хотѣла дѣлиться ни съ кѣмъ.

Трепетъ и мерцаніе проявлялись рѣже, недовѣрчивыхъ и недовольныхъ взглядовъ незамѣтно, а въ лицѣ, во всей ея фигурѣ, была тишина, невозмутимый покой, въ глазахъ появлялся иногда лучъ экстаза, будто она черпнула счастья. Райскій замѣтилъ это.

„Что это за счастье, какое и откуда? Ужели отъ этого лѣсного „друга?“ терялся онъ въ догадкахъ. „Но она не прячется, сама трубитъ объ этой дружбѣ: гдѣ же тайна?“

— Ты счастлива, Вѣра? сказалъ онъ.

— Чѣмъ? спросила она.

— Не знаю: но какъ ты ни прячешь свое счастье, оно выглядываетъ изъ твоихъ глазъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? съ улыбкой спросила она и съ улыбкой глядѣла на Райскаго, и все задумчиво молчала.

Ей не хотѣлось говорить. Онъ взялъ ее за руку и пожалъ: она отвѣчала на пожатіе; онъ поцѣловалъ ее въ щеку, она обернулась къ нему, губы ихъ встрѣтились и она поцѣловала его—и все не выходя изъ задумчивости. И этотъ, такъ долго ожидаемый поцѣлуй не обрадовалъ его. Она дала его машинально.

— Вѣра! ты подъ напіемъ какого-то счастливаго чувства, ты въ экстазѣ!... сказалъ онъ.

— А что? вдругъ спросила она, очнувшись отъ разсѣянности.

— Ничего, но ты будто... одолѣла какое-то препятствіе:—не то побѣдила, не то отдалась побѣдѣ сама, и этимъ счастлива... Не знаю что: но ты торжествуешь! Ты, должно-быть, вступила въ самый счастливый моментъ...

— Ахъ, какъ еще далеко до него! прошептала она про себя.

— Нѣтъ, ничего особеннаго не случилось! прибавила она вслухъ, разсѣянно, стараясь казаться беззаботной и смотрѣла на него ласково дружески.

— Такъ ты очень любишь этого...

— Лѣсничаго? Да, очень! сказала она: —такихъ людей не много: онъ изъ лучшихъ, даже лучшій здѣсь.

Опять ревность укусила Райскаго.

— То-есть, лучшій мужчина: рослый, здоровый, буря ему ни почемъ, медвѣдей бьетъ, лошадьми правитъ, какъ самъ Фебъ—и красота—красота!

— Гадко, Борисъ Павловичъ!

— Тебѣ досадно, что низводятъ съ пьедестала любимаго человѣка?

— Какого любимаго человѣка?

*

— Вѣдь онъ—герой тайны и синяго письма! Скажи—ты обѣщала...

— Обѣщала? Ахъ, да—да, вы все о томъ... Да, онъ: такъ что же?

— Ничего! сильно покраснѣвши сказалъ Райскій, не ожидавшій такого скораго сюрприза.—Сила-то, мышцы-то, ростъ!.. говорилъ онъ.

— А вы сказали, что страсть все оправдываетъ!..

— Я и ничего! съ судорогой въ плечахъ произнесъ Райскій:—видишь, покоенъ! Ты выйдешь за него замужъ?

— Можетъ-быть.

— У него, говорятъ, лѣсу на сколько-то тысячъ...

— Гадко, Борисъ Павловичъ!

— Ну, теперь я могу и уѣхать.

Онъ высунулся изъ окна, кликнулъ какую-то бабу и велѣлъ вызвать Егорку.

— Принеси чемоданъ съ чердака ко мнѣ въ комнату: я завтра ѣду! сказалъ онъ, не замѣчая улыбки Вѣры.

— Что жъ, я очень радъ! злымъ голосомъ говорилъ онъ, стараясь не глядѣть на нее.—Теперь у тебя есть защитникъ, настоящій герой, съ ногъ до головы!..

— Человѣкъ съ ногъ до головы, повторила Вѣра:—а не герой романа!

— Да вяжутся ли у него человѣческія идеи въ головѣ? Нимвродъ, этотъ прототипъ всѣхъ спортсменовъ, и Гумбольдъ—оба люди... но между ними...

— Я не знаю, какіе они были люди. А Иванъ Ивановичъ—человѣкъ, какими должны быть всѣ и всегда. Онъ что скажетъ, что задумаетъ, то и исполнитъ. У него мысли вѣрныя, сердце твердое—и есть характеръ. Я довѣряюсь ему во всемъ, съ нимъ не страшно ничто, даже сама жизнь!

— Вотъ какъ! особенно въ грозу, и съ его лошадьми! насмѣшливо добавилъ Райскій.—И весело съ нимъ?

— Да, и весело: у него много природнаго ума, и юморъ есть—только онъ не блеститъ, не соритъ этимъ вездѣ...

— Словомъ, молодецъ-мужчина! Ну, что же, поздравляю, Вѣра—и затѣмъ прощай!

— Куда вы?

— Я завтра рано уѣду, и не зайду проститься съ тобой.

— Почему же?

— Ты знаешь почему: не могу же я быть равнодушенъ—я не дерево...

Она положила свою руку ему на руку и какъ кошечка, лукаво, съ дрожащимъ отъ смѣха подбородкомъ взглянула ему въ глаза.

— А если я не хочу, чтобъ вы уѣзжали?

— Ты?

— Да, я.

— Зачѣмъ!

Онъ жаднымъ взглядомъ ждалъ объясненія.

— Угадайте!

— Что же ты хочешь, чтобъ я на свадьбѣ твоей былъ?

Она все глядѣла на него съ улыбкой и не снимая съ его руки своей.

— Хочу, сказала она.

— А когда это будетъ? сухо спросилъ онъ.

Она молчала.

— Вѣра?

Вдругъ она громко засмѣялась. Онъ взглянулъ на нее: она, противъ обыкновенія, почти хохочетъ.

„Не онъ, не онъ, не лѣсничій—ея герой! Тайна осталась въ синемъ письмѣ!“—заключилъ онъ.

У него отлегло отъ сердца. Онъ сталъ веселъ, запѣлъ, заговорилъ, посыпалась соль, послышался смѣхъ...

— Велите же Егору убрать чемоданъ, сказала она.

— Зачѣмъ ты остановила меня, Вѣра? спросилъ онъ. — Скажи правду. Помни, что я покоряюсь всему...

— Всему?

— Да, безусловно. Что бы ты ни сдѣлала со мной, какую бы роль ни дала мнѣ—только не гони съ глазъ—я все принимаю...

— Все?

— Все! подтвердилъ онъ въ слѣпомъ увлеченіи.

— Смотрите, братъ, теперь и вы въ экстазѣ! Не раскайтесь послѣ, если я приму...

— Клянусь тебѣ, Вѣра, началъ онъ, вскочивъ:—нѣтъ желанія, нѣтъ каприза, нѣтъ униженія, котораго бы я не принялъ и не выпилъ до капли, если оно можетъ хоть одну минуту...

— Довольно. Я принимаю—и вы теперь...

— Твой рабъ? Да, скажи, скажи...

— Хорошо, сказала она, поглядѣвъ на него „русалочнымъ“ взглядомъ.

— Такъ мнѣ остаться?..

— Оставайтесь...

— Что за перемѣна! говорилъ онъ, ликуя:—зачѣмъ вдругъ ты захотѣла этого?

— Зачѣмъ?...

Она глядѣла на него, а онъ упивался этимъ бархатнымъ, неторопливо смотрѣвшимъ въ его глаза взглядомъ, полнымъ какого-то непонятнаго ему значенія.

— Затѣмъ... чтобы... вамъ завтра не совѣстно было самимъ велѣть убрать чемоданъ на чердакъ,—скороговоркой добавила она. — Вѣдь вы бы не уѣхали!

— Нѣтъ, уѣхалъ бы.

Она отрицательно покачала головой.

— Даю тебѣ слово...

— Не уѣхали бы.

— Отчего такъ?

Оттого, что я не хочу.

— Ты, ты, ты—Вѣра! хорошо ли я слышу, не ошибаюсь ли я?

— Нѣтъ.

— Повтори еще.

— Я не хочу, чтобъ вы уѣхали—и вы останетесь...

— Зачѣмъ? страстнымъ шопотомъ спросилъ онъ.

— Хочу! повелительнымъ шопотомъ подтвердила она.

— Вѣра—молчи, ни слова больше! Если ты мнѣ скажешь теперь, что ты любишь меня, что я твой идолъ, твой богъ, что ты умираешь, сходишь съ ума по мнѣ я всему повѣрю, всему—и тогда...

— Что тогда?

— Тогда не будетъ въ мірѣ дурака глупѣе меня... Я надоѣмъ тебѣ жестоко.

— Нужды нѣтъ, я не боюсь.

— Ты... ты сама позволяешь мнѣ любить тебя—блаженствовать, безумствовать, жить... Вѣра, Вѣра!

Онъ поцѣловалъ у ней руку.

— Вы этого хотѣли, просили сами, я и сжалилась! съ улыбкой сказала она.

— Съ тобой случилось что-нибудь, ты счастлива и захотѣла брызнуть счастьемъ на другого: что бы ни было за этимъ, я все принимаю, все вынесу—но только позволь мнѣ быть съ тобой, не гони, дай остаться...

— Останьтесь, повелѣваю! подтвердила она съ ласковой ироніей.

Счастье, какъ думалъ онъ, вдругъ упало на него!

„Правду бабушка говоритъ“, радовался онъ про себя: „когда меньше всего ждешь, оно и дается! „За смиреніе“, утверждаетъ она: и я отказался совсѣмъ отъ него, смирился—и вотъ! О благодѣтельная судьба!“

Онъ вышелъ отъ Вѣры опьянѣвшій, въ сѣняхъ встрѣтилъ Егорку съ чемоданомъ.

— Назадъ, назадъ, неси, сказалъ онъ, прибѣжалъ въ свою комнату, легъ на постель и въ нервныхъ слезахъ растопилъ внезапный порывъ волненія.

— Это она—страсть, страсть! шепталъ онъ, рыдая.

Лѣсничій уѣхалъ, все пришло въ порядокъ. Райскій сталъ глубоко счастливъ; его страсть обратилась почти въ такое же безмолвное и почтительное обожаніе, какъ у лѣсничаго.

Онъ также боязливо караулилъ взглядъ Вѣры, сталъ бояться ея голоса, заслышавъ ея шаги, начиналъ оправляться, перемѣнялъ двѣ-три позы, и въ разговорѣ взвѣшивалъ слова, соображая, понравится ли ей то, другое, или нѣтъ.

Она была тоже въ какомъ-то ненарушимо-тихомъ торжественномъ покоѣ счастья или удовлетворенія, молча чѣмъ-то наслаждалась, была добра, ласкова съ бабушкой и Марфинькой, и только въ нѣкоторые дни приходила въ безпокойство, уходила къ себѣ, или въ садъ, или съ обрыва въ рощу, и тогда лишь нахмуривалась, когда Райскій, или Марфинька, тревожили ея уединеніе въ старомъ домѣ, или напрашивались ей въ товарищи въ прогулкѣ. А потомъ опять была ровна, покойна, за обѣдомъ и по вечерамъ была сообщительна, входила даже въ мелочи хозяйства, разбирала съ Марфинькой узоры, подбирала цвѣта шерсти, повѣряла нѣкоторые счеты бабушки, наконецъ поѣхала съ визитами къ городскимъ дамамъ. Съ Райскимъ говорила о литературѣ; онъ замѣтилъ изъ ея разговоровъ, что она должна была много читать, сталъ завлекать ее дальше въ разговоръ, они читали нѣкоторыя книги вмѣстѣ, но непостоянно.

Она часто отвлекалась то въ ту, то въ другую сторону. Въ ней даже вспыхивалъ минутами не только экстазъ, но какой-то хмѣль порывистаго веселья. Когда она, въ одинъ вечеръ, въ такомъ настроеніи исчезла изъ комнаты, Татьяна Марковна и Райскій устремили другъ на друга вопросительный и продолжительный взглядъ.

— Что̀ это съ Вѣрой? спросила бабушка: — кажется, выздоровѣла!

— Боюсь, бабушка, не пуще ли захворала...

— Что ты, Борюшка, видишь, какъ она весела, совсѣмъ другая стала: живая, говорливая, ласковая...

— Да прежняя ли, такая ли она, какъ всегда была?... Я боюсь, что это не веселье, а раздраженіе, хмѣль...

— Правда, она никогда такой не была—а что?

— Она въ экстазѣ, развѣ не видите?

— Въ экстазѣ! со страхомъ повторила Татьяна Марковна.—Зачѣмъ ты мнѣ на ночь говоришь: я не усну. Это бѣда—экстазъ въ дѣвушкѣ! Да не ты ли чего-нибудь нагородилъ ей? Отчего ей приходить въ экстазъ?—Что̀ же дѣлать?

— Поглядимъ, что̀ дальше будетъ!

Бабушка поглядѣла на Райскаго тревожными глазами: онъ засмѣялся.

— Тебѣ все смѣшно! сказала она:—послушай, строго прибавила потомъ:—ты тамъ съ Савельемъ и съ Маріной, съ Полиной Карповной, или съ Ульяной Андреевной, сочиняй какіе хочешь стихи, или комедіи, а съ ней не смѣй! Тебѣ—комедія, а мнѣ трагедія!

## XV.

Не только Райскій, но и сама бабушка вышла изъ своей пассивной роли и стала исподтишка пристально слѣдить за Вѣрой. Она задумывалась не на шутку, бросила почти

хозяйство, забывала всякіе ключи на столахъ, не толковала съ Савельемъ, не сводила счетовъ и не выѣзжала въ поле. Пашутка не спускала съ нея, по обыкновенію, глазъ, а на вопросъ Василисы, что̀ дѣлаетъ барыня, отвѣчала: „шепчетъ“.

Татьяна Марковна печально поникала головой и не знала, чѣмъ и какъ вызвать Вѣру на откровенность. Сознавши, что это почти невозможно, она ломала голову, какъ бы, хоть стороной, узнать и отвратить бѣду.

„Влюблена! въ экстазѣ!“ Это казалось ей страшнѣе всякой осны, кори, лихорадки, и даже горячки. И въ кого бы это было? Дай Богъ, чтобъ въ Ивана Ивановича! Она умерла бы покойно, если бъ Вѣра вышла за него замужъ.

Но бабушка, по-женски, проникла въ секретъ ихъ взаимныхъ отношеній и со вздохомъ заключила, что если тутъ и есть что̀-нибудь, то съ одной только стороны, т. е. со стороны лѣсничаго, а Вѣра платила ему просто дружбой, или благодарностью, какъ еще вѣрнѣе догадалась Татьяна Марковна, за „баловство“.

— Обожаетъ ее, говорила она:—а это всегда нравится.

Кто же, кто? Изъ окрестныхъ помѣщиковъ, кромѣ Тушина, никого нѣтъ—съ кѣмъ бы она видалась, говорила. Съ городскими молодыми людьми она видится только на балѣ у откупщика, у вице-губернатора, раза два въ зиму, и они мало посѣщаютъ домъ. Офицеры, совѣтники—давно потеряли надежду понравиться ей, и она съ ними почти никогда не говоритъ.

Не въ попа же влюбилась! Ахъ! ты, Боже мой, какое горе! заключила она.

Такъ она волновалась, смотрѣла пристально и подозрительно на Вѣру, когда та приходила къ обѣду и къ чаю, пробовала-было послѣдить за ней по саду, но та, замѣтивъ бабушку издали, прибавляла шагу и была такова!

— Вотъ такъ въ глазахъ исчезла, какъ духъ! пересказывала она Райскому:—хотѣла-было за ней, да куда со старыми ногами! Она, какъ птица, въ рощу, и точно упала съ обрыва въ кусты.

Райскій пошелъ послѣ этого разсказа въ рощу, прошелъ ее насквозь, выбрался до деревни и, встрѣтивъ Якова, спросилъ, не видалъ ли онъ барышню?

— Вонъ онѣ тамъ у часовни, сію минуту видѣлъ, сказалъ Яковъ.

— Что̀ она тамъ дѣлаетъ?

— Молится Богу.

Райскій пошелъ къ часовнѣ.

— Молиться начала! въ раздумьѣ шепталъ онъ.

Между рощей и проѣзжей дорогой стояла въ сторонѣ, на лугу, уединенная деревянная часовня, почернѣвшая и полуразвалившаяся, съ образомъ Спасителя, византійской живописи, въ бронзовой оправѣ. Икона почернѣла отъ времени, краски мѣстами облупились; едва можно было разсмотрѣть черты Христа: только вѣки были полуоткрыты и изъ-подъ нихъ задумчиво глядѣли глаза на молящагося, да видны были сложенные въ благословеніе персты.

Райскій подошелъ по травѣ къ часовнѣ. Вѣра не слыхала. Она стояла къ нему спиной, устремивъ сосредоточенный и глубокій взглядъ на образъ. На травѣ у часовни лежала соломенная шляпа и зонтикъ. Ни креста не слагали пальцы ея, ни молитвы не шептали губы, но вся фигура ея, сжавшаяся неподвижно, затаенное дыханіе и немигающій, устремленный на образъ взглядъ— все было молитва.

Райскій боялся дохнуть.

„О чемъ молится?“ думалъ онъ въ страхѣ. „Проситъ радости, или слагаетъ горе у креста, или внезапно застигъ ее тутъ порывъ безкорыстнаго изліянія души передъ всеутѣшительнымъ духомъ? Но какія изліянія души, испы-

тующей силы въ борьбѣ, или благодарной, плачущей за лучъ счастья?...

Вѣра вдругъ будто проснулась отъ молитвы. Она оглянулась и вздрогнула, замѣтивъ Райскаго.

— Что вы здѣсь дѣлаете? спросила она строго.

— Ничего. Я встрѣтилъ Якова: онъ сказалъ, что ты здѣсь, я и пришелъ... Бабушка...

— Кстати о бабушкѣ, перебила она:—я замѣчаю, что она съ нѣкоторыхъ поръ начала слѣдить за мною; не знаете ли, что этому за причина?

Она зорко глядѣла на него. Онъ покраснѣлъ. Они шли въ это время къ рощѣ, черезъ лугъ.

— Я думаю, она всегда... началъ онъ.

— Нѣтъ, не всегда... Ей и въ голову не пришло бы слѣдить. Послушайте, „рабъ мой", полунасмѣшливо продолжала она:—безъ всякихъ увертокъ скажите, вы сообщили ей ваши догадки обо мнѣ, т. е. о любви, о синемъ письмѣ?...

— Нѣтъ, о синемъ письмѣ, кажется, ничего не говорилъ...

— Стало-быть только о любви. Что же сказали вы ей? Онъ молчалъ, и даже началъ поглядывать къ лѣсу.

— Мнѣ нужно это знать—и потому говорите! настаивала она.—Вы вѣдь обѣщали исполнять даже капризы, а это не капризъ. Вы сказали ей? Да? Конечно, вы не скажете „нѣтъ..."

— Зачѣмъ столько словъ? Прикажи—и я выдамъ тебѣ всѣ тайны. Былъ разговоръ о тебѣ. Бабушка стала догадываться, отчего ты была задумчива, а потомъ стала вдругъ весела...

— Ну?

— Ну, я и сказалъ только... „не влюблена ли, молъ, она?..." Это ужъ давно.

— Что же бабушка?

— Испугалась!

— Чего?

— Экстаза больше всего.

— А вы и объ экстазѣ сказали?

— Она сама замѣтила, что ты стала очень весела, и даже обрадовалась-было этому...

— А вы испугали ее!

— Нѣтъ—я только назвалъ по имени твое состояніе. она испугалась слова „экстазъ".

— Послушайте, сказала она серьезно:—покой бабушки мнѣ дорогъ, дороже, нежели, можетъ-быть, она думаетъ...

— Нѣтъ, живо перебилъ Райскій:—бабушка вѣритъ въ твою безграничную къ ней любовь, только сама не знаетъ почему. Она мнѣ это говорила.

— Слава Богу! благодарю васъ, что вы мнѣ это передали! Теперь послушайте, что̀ я вамъ скажу, и исполните слѣпо. Подите къ ней и разрушьте въ ней всякія догадки о любви, объ экстазѣ, все, все. Вамъ это не трудно сдѣлать—и вы сдѣлаете, если любите меня.

— Чего бы я не сдѣлалъ, чтобы доказать это! Я ужо̀ вечеромъ...

— Нѣтъ, сію минуту. Когда я ворочусь къ обѣду, чтобъ глаза ея смотрѣли на меня, какъ прежде... Слышите?

— Хорошо, я пойду... говорилъ Райскій, не двигаясь съ мѣста.

— Бѣгите, сію минуту!

— А ты... домой?

Она указала ему почти повелительно рукой къ дому, чтобъ онъ шелъ.

— Еще одно слово, остановила она:—никогда съ бабушкой не говорите обо мнѣ, слышите?

— Слушаю, сестрица, сказалъ онъ и засмѣялся.

— Честное слово?

Онъ замялся.

— А если она станетъ... возразилъ-было онъ.

— Вы только молчите—честное слово?

— Хорошо.

— Merci, и бѣгите теперь къ ней.

— Хорошо, бѣгу... сказалъ онъ и еле-еле шелъ, оглядываясь.

Она махала ему, чтобы шелъ скорѣе, и ждала на мѣстѣ, слѣдя, идетъ ли онъ. А когда онъ повернулъ за уголъ аллеи и потомъ проворно вернулся назадъ, чтобы еще сказать ей что-то, ея уже не было.

— Да, правду бабушка говоритъ: какъ „духъ“ пропала! шепнулъ онъ.

Въ эту минуту вдали, внизу обрыва, раздался выстрѣлъ.

— Это кто забавляется? спрашивалъ себя Райскій, идучи къ дому.

Вѣра явилась своевременно къ обѣду, и какъ ни вонзались въ нее пытливые взгляды Райскаго, —никакой перемѣны въ ней не было. Ни экстаза, ни задумчивости. Она была такою, какою была всегда.

Бабушка раза два покосилась на нее, но, не замѣтивъ ничего особеннаго, повидимому, успокоилась. Райскій исполнилъ порученіе Вѣры и разсѣялъ ея живыя опасенія, но искоренить подозрѣнія не могъ. И всѣ трое, поговоривъ о неважныхъ предметахъ, погрузились въ задумчивость.

Вѣра даже взяла какую-то работу, на которую и устремила вниманіе, но бабушка замѣчала, что она продѣваетъ только взадъ и впередъ шелковинку, а отъ Райскаго не укрылось, что она въ иныя минуты вздрагиваетъ, или боязливо поводитъ глазами вокругъ себя, поглядывая въ свою очередь подозрительно на каждаго.

Но черезъ день, черезъ два, прошло и это, и когда Вѣра являлась къ бабушкѣ, она была равнодушна, даже

умѣренно весела, только чаще прежняго запиралась у себя и долѣе обыкновеннаго горѣлъ у ней огонь въ комнатѣ по ночамъ.

„Что она дѣлаетъ?“ вертѣлось у бабушки въ головѣ: „читать не читаетъ—у ней тамъ нѣтъ книгъ (бабушка это уже знала), развѣ пишетъ: бумага и чернильница есть“.

Всего обиднѣе и грустнѣе для Татьяны Марковны была таинственность: „тайкомъ отъ нея дѣвушка переписывается, можетъ-быть, переглядывается съ какимъ-нибудь вертопрахомъ изъ окна—и кто же? внучка, дочь ея, ея милое дитя, ввѣренное ей матерью: ужасъ, ужасъ! Даже руки и ноги холодѣютъ“... шептала она, не подозрѣвая, что это отъ нервъ, въ которые она не вѣрила.

Она ждала, не откроетъ ли чего-нибудь случай, не проговорится ли Марина? Не проболтается ли Райскій? Нѣтъ. Какъ ни ходила она по ночамъ, какъ ни подозрительно оглядывала и спрашивала Марину, какъ ни подсылала Марошньку спросить, что дѣлаетъ Вѣра: ничего изъ этого не выходило.

Вдругъ у бабушки мелькнула счастливая мысль—довѣдаться о томъ, что такъ ее безпокоило, попытать вывести на свѣжую воду внучку — стороной, или „аллегоріей“, какъ она выразилась Райскому, т. е. примѣромъ.

Она вспомнила, что у ней гдѣ-то есть правоучительный романъ, который еще она сама въ молодости читывала, и даже плакала надъ нимъ.

Тема его состояла въ изображеніи гибельныхъ послѣдствій страсти отъ неповиновенія родителямъ. Молодой человѣкъ и дѣвушка любили другъ друга, но, разлученные родителями, видѣлись съ балкона издали, перешептывались, переписывались.

Сношенія эти были замѣчены посторонними, дѣвушка потеряла репутацію и должна была идти въ монастырь, а

молодой человѣкъ посланъ отцомъ въ изгнаніе, куда-то въ Америку.

Татьяна Марковна раздѣляла со многими другими вѣру въ печатное слово вообще, когда это слово было назидательно, а на этотъ разъ, въ столь близкомъ ея сердцу дѣлѣ, она поддалась и нѣкоторой суевѣрной надеждѣ на книгу, какъ на какую-нибудь ладонку или нашептыванье.

Она вытащила изъ сундука, изъ-подъ хлама, книгу и положила у себя на столѣ, подлѣ рабочаго ящика. За обѣдомъ она изъявила обѣимъ сестрамъ желаніе, чтобъ онѣ читали ей вслухъ попеременно, по вечерамъ, особенно въ дурную погоду, такъ какъ глаза у ней плохи и сама она читать не можетъ.

Это случалось иногда, что Марѳинька прочтетъ ей что-нибудь, но бабушка къ литературѣ была довольно холодна, и только охотно слушала, когда Титъ Никонычъ приносилъ что-нибудь любопытное по части хозяйства, какихъ-нибудь событій въ родѣ убійствъ, большихъ пожаровъ, или гигіеническихъ наставленій.

Вѣра ничего не сказала въ отвѣтъ на предложеніе Татьяны Марковны, а Марѳинька спросила:

— А конецъ счастливый, бабушка?

— Дойдешь до конца, такъ узнаешь, отвѣчала та.

— Что это за книга? спросилъ Райскій вечеромъ. Потомъ взялъ, посмотрѣлъ и засмѣялся.

— Вы лучше *Сонникъ* купите, да читайте! Какую старину выкопали! Это вы, бабушка, должно-быть, читали, когда были влюблены въ Тита Никоныча...

Бабушка покраснѣла и разсердилась.

— Оставь глупыя шутки, Борисъ Павловичъ! сказала она:—я тебя не приглашаю читать, а имъ не мѣшай!

— Да это допотопное сочиненіе...

— Ну, ты послѣ потопа родился и сочиняй свои драмы

и романы, а намъ не мѣшай! Начни ты, Марфинька, а ты, Вѣра, послушай! Потомъ, когда Марфинька устанетъ, ты почитай. Книга хорошая, занимательная!

Вѣра равнодушно покорилась, а Марфинька старалась заглянуть на послѣднюю страницу, не говорится ли тамъ о свадьбѣ. Но бабушка не дала ей.

— Читай сначала—дойдешь: какая нетерпѣливая! сказала она.

Райскій ушелъ, и бабушкина компанія обратилась въ кабинетъ чтенія. Вѣрѣ было невыносимо скучно, но она никогда не протестовала, когда бабушка выражала ей положительно свою волю.

Началось длинное описаніе, сначала родителей молодого человѣка, потомъ родителей дѣвицы, потомъ исторія раздора двухъ фамилій, въ родѣ Монтекки и Капулетти, потомъ наружности и свойствъ молодыхъ людей, давно росшихъ и воспитанныхъ вмѣстѣ, а потомъ разлученныхъ.

Вечера черезъ три-четыре терпѣливаго чтенія, дошли наконецъ до взаимныхъ чувствъ молодыхъ людей, до объясненій ихъ, до перваго свиданія наединѣ. Вся эта исторія была безукоризненно нравственна, чиста и до нестерпимости скучна.

Вѣра задумывалась. А бабушка, при каждомъ словѣ о любви, исподтишка глядѣла на нее—что она: волнуется, краснѣетъ, блѣднѣетъ? Нѣтъ: вонъ зѣвнула. А потомъ прилежно отмахивается отъ назойливой мухи и слѣдитъ, куда та полетѣла. Опять зѣвнула до слезъ.

На третій день Вѣра совсѣмъ не пришла къ чаю, а потребовала его къ себѣ. Когда же бабушка прислала за ней „послушать книжку". Вѣры не было дома: она ушла гулять.

Вѣра думала, что отдѣлалась отъ книжки, но неумолимая бабушка безъ нея не велѣла читать дальше и сказала, что на другой день вечеромъ чтеніе должно быть

возобновлено. Вѣра съ тоской взглянула на Райскаго. Онъ понялъ ея взглядъ и предложилъ лучше погулять.

— А послѣ прогулки почитаемъ, сказала Татьяна Марковна, подозрительно поглядѣвъ на Вѣру, потому что замѣтила ея тоскливый взглядъ.

Нечего дѣлать. Вѣра покорилась вполнѣ. Ни усталости, ни скуки она уже не обнаруживала, а мужественно и сосредоточенно слушала вялый разсказъ. Райскій послушалъ, послушалъ и ушелъ.

— Точно мочалку во снѣ жуетъ, сказалъ онъ, уходя, про автора, и разсмѣшилъ надолго Марѳиньку.

Вѣра не зѣвала, не слѣдила за полетомъ мухъ, сидѣла, не разжимая губъ, и сама читала внятно, когда приходила ея очередь читать. Бабушка радовалась ея вниманію.

„Слава Богу, вслушивается, замѣчаетъ, мотаетъ на усъ: авось...“ думала она.

Длинный разсказъ все тянулся о томъ, какъ разгорались чувства молодыхъ людей и какъ родители усугубляли надъ ними надзоръ, придумывали нравственныя истязанія, чтобъ разлучить ихъ. У Марѳиньки навертывались слезы, а Вѣра улыбалась изрѣдка, а иногда и задумывалась, или хмурилась.

„Забираетъ за живое“, думала Татьяна Марковна. „Слава тебѣ Господи!“

Наконец! — всему бываетъ конецъ. Въ книгѣ оставалось нѣсколько главъ; насталъ послѣдній вечеръ. И Райскій не ушелъ къ себѣ, когда убрали чай и усѣлись около стола оканчивать чтеніе.

Тутъ былъ и Викентьевъ. Ему не сидѣлось на мѣстѣ, онъ вскакивалъ, подбѣгалъ къ Марѳинькѣ, просилъ дать и ему почитать вслухъ, а когда ему давали, то онъ вставлялъ въ романъ отъ себя цѣлыя тирады, или читалъ разными голосами. Когда говорила угнетенная героиня, онъ читалъ

тоненькимъ, жалобнымъ голосомъ, а за героя читалъ своимъ голосомъ, обращаясь къ Марѳинькѣ, отчего та поминутно краснѣла и дѣлала ему сердитое лицо.

Въ лицѣ грознаго родителя, Викентьевъ представлялъ Нила Андреича. У него отняли книгу и велѣли сидѣть смирно. Тогда онъ, за спиной бабушки, сопровождалъ чтеніе, одной Марѳинькѣ видимой, мимикой.

Марѳинька предательски указала на него тихонько бабушкѣ. Татьяна Марковна выпроводила его въ садъ погулять до ужина—и чтеніе продолжалось. Марѳинька огорчалась тѣмъ, что книги осталось немного, а все еще разсказывается „жалкое“ и свободы не предвидится.

— Что тебѣ за дѣло, спросилъ Райскій: — какъ бы ни кончилось, счастливо, или несчастливо...

— Ахъ, какъ это можно, я плакать буду, не усну! сказала она.

Драма гоненій была въ полномъ разгарѣ, родительскія увѣщанія, въ длиннѣйшихъ и нестерпимо скучныхъ сентенціяхъ, гремѣли надъ головой любящихся.

— Замѣчай за Вѣрой, шепнула бабушка Райскому:— какъ она слушаетъ! Исторія попадаетъ—не въ бровь, а прямо въ глазъ. Смотри, морщится, поджимаетъ губы!...

Дошли до катастрофы: любящихся застали въ саду. Герой свилъ изъ полотенецъ и носовыхъ платковъ, лѣстницу, героиня сошла по ней къ нему. Они плакали въ объятіяхъ другъ друга, какъ вдругъ ихъ освѣтили факелы гонителей, крики ужаса, негодованія, проклятія отца! Героиня въ обморокѣ, герой на колѣняхъ передъ безжалостнымъ отцомъ. Потомъ заточеніе. Любящимся не дали проститься, взглянуть другъ на друга. Черезъ мѣсяцъ печальный колоколъ возвѣщалъ обрядъ постриженія въ монастырѣ, а героя мчалъ корабль изъ Гамбурга въ Америку. Родители остались одни, и потомъ, скукой и одиночествомъ, всю жизнь

платили за свое жестокосердіе. Послѣднее слово было прочтено, книга закрыта, и между слушателями водворилось глубокое молчаніе.

— Экая дичь! сказалъ Райскій, немного погодя.

Марѳинька утирала слезы.

— А ты что скажешь, Вѣрочка? спросила бабушка.

Та молчала.

— Гадкая книга, бабушка, сказала Марѳинька:—что они вытерпѣли, бѣдные!..

— А что жъ дѣлать? Вотъ, чтобъ этого не терпѣть, говорила бабушка, стороной глядя на Вѣру:—и надо бы было этой Кунигундѣ спроситься у тѣхъ, кто уже пожилъ и знаетъ, что значатъ страсти.

Райскій насмѣшливо кивнулъ ей съ одобреніемъ головой.

— А то вотъ и довели себя до добра, продолжала бабушка:—если бъ она спросила отца или матери, такъ до этого бы не дошло.. Ты что скажешь, Вѣрочка?

Вѣрочка пошла вонъ, но на порогѣ остановилась.

— Бабушка! за что вы мучили меня цѣлую недѣлю, заставивши слушать такую глупую книгу? спросила она, держась за дверь, и, не дождавшись отвѣта, перешагнула, какъ кошка, вонъ.

Бабушка воротила ее.

— Какъ—за что? сказала она.—Я хотѣла тебѣ удовольствіе сдѣлать...

— Нѣтъ, вы хотѣли за что-то наказать меня. Если я провинюсь въ чемъ-нибудь, вы впередъ лучше посадите меня на недѣлю на хлѣбъ и на воду.

Она оперлась колѣномъ на скамеечку, у ногъ бабушки.

— Прощайте, бабушка, покойной ночи! сказала она.

Татьяна Марковна нагнулась поцѣловать ее и шепнула на ухо:

— Не наказать, а остеречь хотѣла я тебя, чтобъ ты... не провинилась когда-нибудь...

— А если бъ я провинилась... шептала въ отвѣтъ Вѣра: — вы заперли бы меня въ монастырь, какъ Кунигунду?

— Развѣ я, звѣрь, обидчиво отвѣчала Татьяна Марковна: — такая-же, какъ эти злые родители, изверги?.. Грѣхъ, Вѣра, думать это о бабушкѣ...

— Знаю, бабушка, что грѣхъ, и не думаю... Такъ зачѣмъ же глупой книгой остерегать?

— Чѣмъ же я остерегу, уберегу, укрою тебя, дитя мое?.. Скажи, успокой!..

Вѣра хотѣла что-то отвѣтить, но остановилась и поглядѣла съ минуту въ сторону.

— Перекрестите меня! сказала потомъ, и когда бабушка перекрестила ее, она поцѣловала у ней руку и ушла.

Райскій взялъ книгу со стола.

— Мудрая книга! Что жъ, какъ подѣйствовала прекрасная Кунигунда? спросилъ онъ съ улыбкой.

Бабушка болѣзненно вздохнула въ отвѣтъ. Ей было не до шутокъ. Она взяла у него книгу и велѣла Пашуткѣ отдать въ людскую.

— Ну, бабушка, замѣтилъ Райскій: — Вѣру вы уже наставили на путь. Теперь если Егорка съ Маріной прочитаютъ эту „аллегорію" — тогда отъ добродѣтели некуда будетъ дѣваться въ домѣ!

## XVI.

Викентьевъ вызвалъ Марфиньку въ садъ, Райскій ушелъ къ себѣ, а бабушка долго молчала, сидѣла на своемъ канапе, погруженная въ задумчивость. Уже книга не занимала ее; она отрезвилась отъ печатной морали и сама внутренно стыдила себя за пошлое средство. Взглядъ ея смотрѣлъ уже умнѣе и сознательнѣе. Она что-то обдумывала.

можетъ-быть, перебирала старыя, уснувшія воспоминанія. На лицѣ ея появлялось, для тѣхъ, кто умѣетъ читать лица, и проницательная догадка, и умиленіе, и страхъ, и жалость. Между тѣмъ Марина, Яковъ и Василиса, по очереди приходили напоминать ей, что ужинъ поданъ.

— Не хочу! отвѣчала она задумчиво.

Марина пошла звать къ ужину барышень.

— Не хочу! сказала и Вѣра.

— Не хочу! сказала, къ изумленію ея, и Марѳинька, никогда безъ ужина не ложившаяся.

— Я въ постель подамъ, предложила она.

— Не хочу! былъ отвѣтъ.

— Что за чудо! Этого никогда не бывало! Надо барынѣ доложить, сказала Марина.

Но къ изумленію ея, Татьяна Марковна не удивилась и въ отвѣтъ сказала только:—Убирайте!

Марина ушла, а Василиса молча стала дѣлать барынѣ постель.

Пока Марина ходила спрашивать, что̀ дѣлать съ ужиномъ, Егорка, узнавъ, что никто ужинать не будетъ, открылъ крышку соусника, понюхалъ и пальцами вытащилъ какую-то „штучку“—„попробовать“, какъ объяснилъ онъ заставшему его Якову, котораго также пригласилъ отвѣдать.

Яковъ покачалъ головой, однако перекрестился, по обыкновенію, и тоже пальцами вытащилъ „штучку“ и сталъ медленно жевать, пробуя.

— Тутъ должно-быть, есть лавровый листъ, замѣтилъ онъ.

— А вотъ отвѣдайте этого, Яковъ Петровичъ, говорилъ Егорка, запуская пальцы въ заливныхъ стерлядей.

— Смотри, какъ бы барыня не спросила! говорилъ

Яковъ, вытаскивая другую стерлядь — и когда Марина вошла, они уже доѣдали цыпленка.

— Слопали! съ изумленіемъ произнесла она, ударивъ себя по бедрамъ и глядя, какъ проворно уходили Яковъ и Егорка, оглядываясь на нее, какъ волки. — Что̀ я утромъ къ завтраку подамъ?!

И постель сдѣлана, все затихло въ домѣ. Татьяна Марковна наконецъ очнулась отъ задумчивости, взглянула на образъ и не стала, какъ всегда, на колѣни передъ нимъ, и не молилась, а только перекрестилась. Тревога превозмогала молитву. Она сѣла на постель и опять задумалась.

— Какъ остеречь тебя? „Перекрестите!“ говоритъ, вспоминала она со страхомъ свой шопотъ съ Вѣрой. „Какъ узнать, что̀ у ней въ душѣ? Утро вечера мудренѣе, а теперь лягу...“ подумала потомъ.

Но ей не суждено было уснуть въ ту ночь. Только что она хотѣла лечь, какъ кто-то поцарапался къ ней въ дверь.

— Кто тамъ? спросила она съ испугомъ.

— Я, бабушка—отворите! говорилъ голосъ Марѳиньки. Татьяна Марковна отворила.

— Что ты, дитя мое? Проститься пришла—Богъ благословитъ тебя! Отчего ты не ужинала? Гдѣ Николай Андреичъ? сказала она. Но, взглянувъ на Марѳиньку, испугалась.

— Что ты, Марѳинька? Что̀ случилось? На тебѣ лица нѣтъ: вся дрожишь? Здорова ли? Испугалась чего-нибудь? посыпались вопросы.

— Нѣтъ, нѣтъ, бабушка, ничего, ничего... я пришла... Мнѣ нужно сказать вамъ... говорила она, прижимаясь къ бабушкѣ въ страхѣ.

— Сядь, сядь... на кресло.

Нѣтъ, бабушка — я сяду къ вамъ, а вы лягте. Я все разскажу — и свѣчку потушите...

— Да что̀ случилось—ты меня пугаешь...

— Ничего, бабушка — ляжемъ поскорѣй, я все вамъ на ушко разскажу...

Бабушка поспѣшила исполнить ея требованіе, и Марошнька разсказала ей, что̀ случилось съ ней, послѣ чтенія, въ саду. А случилось вотъ что̀.

Когда Викентьевъ, послѣ чтенія, вызвалъ Марошньку въ садъ, между ними нечаянно произошла слѣдующая сцена. Онъ звалъ ее въ рощу слушать соловья.

— Пока вы тамъ читали—я все слушалъ: ахъ, какъ поетъ, какъ поетъ—пойдемте! говорилъ онъ.

— Теперь темно, Николай Андреевичъ, сказала она.

— Развѣ вы боитесь?

— Одна боюсь, а съ вами нѣтъ.

— Такъ пойдемте! А какъ хорошо поетъ — слышите, слышите? отсюда слышно! Тутъ филинъ-было въ дуплѣ началъ кричать—и тотъ замолчалъ. Пойдемте.

Она стояла на крыльцѣ и сошла въ аллею нерѣшительно. Онъ подалъ ей руку. Она шла медленно, будто нехотя.

— Какая темнота: дальше не пойду, не трогайте меня за руку! почти сердито говорила она, а сама все подвигалась невольно, какъ будто ее вели насильно, хотя Викентьевъ выпустилъ ея руку.

— Поближе, сюда! шепталъ онъ.

Она дѣлала два шага, точно ощупью, и останавливалась.

— Еще, еще, не бойтесь!

Она подвигалась еще шагъ: сердце у ней билось и отъ темноты, и отъ страха.

— Темно, я боюсь... говорила она.

— Да полноте, чего бояться—здѣсь никого нѣтъ. Вотъ

сюда, еще: смотрите, здѣсь канава, обопритесь на меня вотъ такъ!

— Что вы, оставьте, я сама!... говорила она въ испугѣ, но не успѣла договорить, какъ онъ, обнявъ ее за талію, перенесъ черезъ канаву.

Они вошли въ рощу.

— Я дальше не пойду ни шагу...

А сама понемногу подвигалась, пугаясь треска сучьевъ подъ ногой.

— Вотъ станемте здѣсь—тише... шепталъ онъ: слышите?

Соловей лилъ свои трели. Марѳиньку обняло обаяніе теплой ночи. Мгла, легкій шелестъ листьевъ и щелканье соловья наводили на нее дрожь. Она оцѣпенѣла въ молчаніи и по временамъ отъ страха ловила руку Викентьева. А когда онъ самъ бралъ ее за руку, она ее отдергивала.

— Какъ хорошо, Марѳа Васильевна, какая ночь! говорилъ онъ.

Она махнула ему рукой, чтобъ онъ не мѣшалъ слушать. Въ ней только-что начинала разыгрываться сладость первнаго раздраженія.

— Марѳа Васильевна, шепталъ онъ чуть слышно: — со мной дѣлается что-то такое хорошее, такое пріятное, чего я никогда не испытывалъ... точно все шевелится во мнѣ...

Она молчала.

— Я теперь вскочилъ бы на лошадь и поскакалъ бы во всю мочь, чтобъ духъ захватывало... Или бросился бы въ Волгу и переплылъ на ту сторону... А съ вами, ничего?

Она вздрогнула.

— Что вы, испугались?

— Уйдемте отсюда! Послушали и довольно, а то бабушка разсердится...

— Ахъ, нѣтъ — еще минуту, ради Бога... умолялъ онъ.

Она остановилась, какъ вкопанная. Соловей все заливался.

— О чемъ онъ поетъ? спросилъ онъ.

— Не знаю!

— А вѣдь что-нибудь да высказываетъ: не на вѣтеръ же онъ свищетъ! Кто-нибудь его слушаетъ...

— Мы—слушаемъ... шепнула Марѳинька—и слушала.

— Боже мой, какая прелесть!... Мароа Васильевна... шепнулъ Викентьевъ и задумался.

— Гдѣ вы, Николай Андреичъ? спросила она. — Что вы молчите? Точно васъ нѣтъ: тутъ ли вы?

— Я думаю, соловей поетъ то самое, что мнѣ хотѣлось бы сказать теперь, да не умѣю...

— Ну, говорите по-соловьиному... сказала она, смѣясь.—Почемъ вы знаете, что онъ поетъ?

— Знаю.

— Ну, говорите.

— Онъ поетъ о любви.

— О какой любви? Кого ему любить?

— Онъ поетъ о моей любви... къ вамъ.

Онъ и самъ-было испугался своихъ словъ, но вдругъ прижалъ ея руку къ губамъ и осыпалъ ее поцѣлуями.

Въ одну минуту она вырвала руку, бросилась опрометью назадъ, сама перескочила канаву и, едва дыша, пробѣжала аллею сада, вбѣжала на ступени крыльца и остановилась на минуту перевести духъ.

Онъ бросился за ней.

— Ни шагу дальше—не смѣйте! сказала она, едва переводя духъ и держась за ручку двери.—Идите домой!

— Мароа Васильевна! ангелъ, другъ...

— Какъ вы смѣете меня такъ называть: что—я сестра вамъ, или кузина!

— Ангелъ! прелесть... вы все для меня! Ей Богу...

— Я закричу, Николай Андреичъ. Подите домой! повелительно прибавила она, не переставая дрожать.

— Послушайте, скажите, отчего вы стали не такія... съ нѣкоторыхъ поръ дичитесь меня, не ходите однѣ со мной?..

— Мы не дѣти, пора перестать шалить, говорила она: и то бабушка...

— Что бабушка?

— Ничего. Вы слышали, что сейчасъ читали въ книгѣ о Ричардѣ и Кунигундѣ: что имъ за это было? Какъ же вы позволили себѣ...

— Этого ничего не было, Марѳа Васильевна! Эту книгу сочинилъ, должно-быть, Нилъ Андреичъ...

— Идите домой! Богъ знаетъ, что̀ люди говорятъ о насъ...

— Вы разлюбили меня, Марѳа Васильевна? уныло сказалъ онъ и даже не поерошилъ, противъ обыкновенія, волосъ.

— А развѣ я васъ любила? съ безсознательнымъ кокетствомъ спросила она.—Кто вамъ сказалъ, какія глупости! Съ чего вы взяли, я вотъ бабушкѣ скажу!

— Я и самъ скажу!

— Что̀ вы скажете? Ничего вы не можете сказать про меня! задорно и отчасти съ безпокойствомъ, говорила она.—Что̀ вы это сегодня выдумали! Нашло на васъ?..

— Да, нашло. Выслушайте меня, ангелъ, Марѳа Васильевна... На колѣняхъ прошу...

Онъ всталъ на колѣни.

— Уйду, если станете говорить. Дайте мнѣ только оправиться, а то я перепугаю всѣхъ: я вся дрожу... Сейчасъ же къ бабушкѣ!

Онъ всталъ, рѣшительно подошелъ къ ней, взялъ ее за руку и почти насильно увелъ въ аллею.

— Я не хочу, не пойду... вы дерзкій! забываетесь... говорила она, стараясь нейти за нимъ и вырывая у него руку, и противъ воли шла.—Что вы дѣлаете, какъ смѣете! Пустите, я закричу!.. Не хочу слушать вашего соловья!

— Не соловья, а меня слушайте! сказалъ онъ нѣжно, но рѣшительно.—Я не мальчикъ теперь—я тоже взрослый, выслушайте меня, Мароа Васильевна!

Она вдругъ перестала вырываться, оставила ему свою руку, которую онъ продолжалъ держать, и съ бьющимся сердцемъ и напряженнымъ любопытствомъ послушно окаменѣла на мѣстѣ.

— Вы, или бабушка, правду сказали: мы больше не дѣти и я виноватъ только тѣмъ, что не хотѣлъ замѣчать этого, хоть сердце мое давно замѣтило, что вы не дитя!..

Она-было рванула опять свою руку, но онъ съ тихой силой удержалъ ее.

— Вы взрослая, и потому не бойтесь выслушать меня, я говорю не ребенку. Вы были такъ рѣзвы, молоды, такъ милы, что я забывалъ съ вами мои лѣта и думалъ, что еще мнѣ рано—да мнѣ, по лѣтамъ, можетъ-быть, рано говорить, что я...

— Я уйду: вы что-то опять страшное хотите сказать, какъ въ рощѣ... Пустите! говорила шопотомъ Марѳинька и дрожала, и рука ея дрожала.—Уйду, не стану слушать, я скажу бабушкѣ все...

— Непремѣнно, Мароа Васильевна, и сегодня же вечеромъ. Поэтому не бойтесь выслушать меня. Я такъ сроднился, сблизился съ вами, что если насъ вдругъ разлучить теперь... Вы хотите этого, скажите?

Она молчала.

— Мароа Васильевна, хотите разстаться?

Она молчала, только сдѣлала какое-то движеніе въ темнотѣ.

— Если хотите, разстанемтесь, вотъ теперь же... уныло говорилъ онъ.—Я знаю, что будетъ со мной: я попрошусь куда-нибудь въ другое мѣсто, уѣду въ Петербургъ, на край свѣта, если мнѣ скажутъ это — не Татьяна Марковна, не маменька моя—онѣ, пожалуй, наскажутъ, но я ихъ не послушаю,—а если скажете вы. Я сейчасъ же съ этого мѣста уйду, и никогда не ворочусь сюда! Я знаю, что ужъ любить больше въ жизни никогда не буду... Ей Богу, не буду... Марѳа Васильевна!

Она молчала.

— Вы скажите только слово, можно мнѣ любить васъ? Если нѣтъ—я уѣду—вотъ прямо изъ сада и никогда...

Вдругъ Марѳинька заплакала навзрыдъ и крѣпко схватила его за руку, когда онъ сдѣлалъ шагъ отъ нея.

— Видите, видите! развѣ вы не ангелъ! Не правду я говорилъ, что вы любите меня? Да, любите, любите, любите! кричалъ онъ, ликуя:—только не такъ, какъ я васъ... нѣтъ!

— Какъ вы смѣете... говорить мнѣ это? сказала она, обливаясь слезами:—это ничего, что я плачу. Я и о котенкѣ плачу, и о птичкѣ плачу. Теперь плачу отъ соловья: онъ растревожилъ меня, да темнота. При свѣчкѣ, или днемъ—я умерла бы, а не заплакала бы... Я васъ любила, можетъ-быть, да не знала этого...

— И я почти не зналъ, что люблю васъ... Все соловей надѣлалъ: онъ открылъ нашъ секретъ. Мы такъ и скажемъ на него, Марѳа Васильевна.... И я бы днемъ ни за какія сокровища не сказалъ вамъ... ей Богу—не сказалъ бы...

— А теперь я васъ ненавижу, презираю, сказала она.—Вы противный, вы заставили меня плакать, а сами рады, что я плачу: вамъ весело...

— Весело? и вамъ весело, ей Богу весело—вы такъ только... Дай Богъ здоровья соловью!

— Вы гадкій, нечестный!

— Нѣтъ, нѣтъ, перебилъ онъ и торопливо поерошилъ голову:—не говорите этого. Лучше назовите меня дуракомъ, но я честный, честный, честный!—Я никому не позволю усомниться... Никто не смѣетъ!

— А я смѣю! задорно сказала Марѳинька.—Вы нечестный: вы заставили бѣдную дѣвушку высказать поневолѣ, чего она никому, даже Богу, отцу Василью, не высказала бы... А теперь, Боже мой, какой срамъ!

И этотъ „Божій младенецъ" по выраженію Татьяны Марковны, опять залился искренними слезами раскаянія.

— Нечестно! нечестно! твердила она въ тоскѣ: — я васъ уже теперь не люблю. Что̀ скажутъ, что̀ подумаютъ обо мнѣ? я пропала...

— Другъ мой, ангелъ!...

— Опять вы за свое?

— Вспомните, что вы не дитя! уговаривалъ ее Викентьевъ.

— Какъ вы странно говорите! вдругъ остановила она его, переставъ плакать:—вы никогда не были такимъ, я васъ никогда такимъ не видала! Развѣ вы такой, какъ давича были, когда съ головой ушли въ рожь, перепела передразнивали, а вчера за моимъ котенкомъ на крышу лазили? Давно ли на мельницѣ нарочно выпачкались въ мукѣ, чтобъ разсмѣшить меня?.. Отчего вы вдругъ не такой стали?

— Какой же я сталъ, Марѳа Васильевна?

— Дерзкій—смѣете говорить мнѣ такія глупости въ глаза...

— А вы сами развѣ такая, какія были недавно, еще сегодня вечеромъ? Развѣ вамъ приходило въ голову сты-

диться, или бояться меня? приходили вамъ на языкъ такія слова, какъ теперь? И вы тоже измѣнились!

— Отчего же это вдругъ случилось?

— Соловей все объяснилъ намъ: мы оба выросли и созрѣли сію минуту, вотъ тамъ, въ рощѣ... Мы ужъ не дѣти...

— Оттого и нечестно было говорить мнѣ, что̀ вы сказали. Вы поступили, какъ вѣтренникъ—нечестно дразнить дѣвушку, вырвать у ней секретъ...

— Не вѣкъ же ему оставаться секретомъ: когда-нибудь и кому-нибудь сказали бы его...

Она подумала.

— Да, сказала бы, бабушкѣ на ушко, и потомъ спрятала бы голову подъ подушку на цѣлый день. А здѣсь... одни—Боже мой! досказала она, кидая взглядъ ужаса на небо.—Я боюсь теперь показаться въ комнату: какое у меня лицо—бабушка сейчасъ замѣтитъ.

— Ангелъ! прелесть! говорилъ онъ, нагибаясь къ ея рукѣ:—да будетъ благословенна темнота, роща и соловей!

— Прочь, прочь! повторила она, убѣгая снова на крыльцо:—вы опять за дерзости! А я думала, что честнѣе и скромнѣе васъ нѣтъ въ свѣтѣ, и бабушка думала то же. А вы...

— Какъ же было честно поступить мнѣ? Кому мнѣ сказать свой секретъ?

— На другое ушко бабушкѣ, и у ней спросить, люблю ли я васъ?

— Вы ей нынче все скажите.

— Это все не то будетъ. Я ужъ виновата передъ ней, что слушала васъ, расплакалась. Она огорчится, не проститъ мнѣ никогда,—а все вы...

— Проститъ, Марѳа Васильевна! обоихъ проститъ. Она любитъ меня...

— Вамъ кажется, что всѣ васъ любятъ: какое сокровище!

— Она даже говоритъ, что любитъ меня какъ сына...

— Это она такъ, оттого, что вы кушаете много, а она всѣхъ такихъ любитъ, даже и Опенкина!

— Нѣтъ, я знаю, что она меня любитъ—и если только проститъ мнѣ мою молодость, такъ позволитъ намъ жениться!...

— Какой ужасъ! До чего вы договорились!

Она хотѣла уйти.

— Марѳа Васильевна! сойдите сюда, не бойтесь меня, я буду, какъ статуя...

Она медлила, потомъ вдругъ сама сошла къ нему со ступеней крыльца, взяла его за руку и поглядѣла ему въ лицо съ строгой важностью.

— Ваша маменька знаетъ о томъ, что вы мнѣ говорите теперь здѣсь? спросила она: —а? знаетъ?—говорите, да, или нѣтъ?

— Нѣтъ еще... тихо сказалъ онъ.

— Нѣтъ! со страхомъ повторила она.

Нѣсколько минутъ они молчали.

— Какъ же вы смѣли говорить мнѣ это? спросила она потомъ.—Даже до свадьбы договорились, а maman ваша не знаетъ! Честно ли это, сами скажите!

— Узнаетъ завтра.

— А если не благословитъ?

— Я не послушаюсь!

— А я послушаюсь—и безъ ея согласія не сдѣлаю ни шагу, какъ безъ согласія бабушки. И если не будетъ этого согласія, ваша нога не будетъ въ домѣ здѣсь, помните это, m-r Викентьевъ,—вотъ что!

Она быстро отвернулась отъ него плечомъ и пошла прочь.

— Я увѣренъ въ ней, какъ въ себѣ... въ ея согласіи.

— И надо было послѣ ея согласія заставить меня плакать!...

— Ужели вы такъ уйдете, не простите меня за это увлеченіе?...

— Мы не дѣти, чтобъ увлекаться и прощать. Грѣхъ сдѣланъ...

— Всѣ грѣшны: простите — сегодня въ ночь я буду въ Колчинѣ, а къ обѣду завтра здѣсь—и съ согласіемъ. Простите... дайте руку!

— Тогда... можетъ-быть... сказала она, подумавши, потомъ поглядѣла на него и подала-было руку.

И только онъ потянулся къ ней, она въ ужасѣ отдернула.

— Боже мой! Что̀ еще скажетъ бабушка! Ступайте прочь, прочь—и помните, что если maman ваша будетъ васъ бранить, а меня бабушка не проститъ, вы и глазъ не кажите—я умру со стыда, а вы на всю жизнь останетесь нечестны!

Она ушла, и онъ проворно бросился вонъ изъ сада.

„Господи! Господи! что̀ скажетъ бабушка!“ думала Марѳинька, запершись въ своей комнатѣ и трясясь, какъ въ лихорадкѣ. „Что мы надѣлали!“ мучилась она мысленно. „И какъ я перескажу... что̀ мнѣ будетъ за это... Не сказать ли прежде Вѣрочкѣ... Нѣтъ, нѣтъ—бабушкѣ! Кто тамъ теперь у ней?...“

Она волновалась, крестилась, глядя на образъ, пока Яковъ пришелъ звать ее къ ужину.

— Не хочу! сказала она изъ-за двери.

Марина пришла:

— Не хочу! съ тоской повторила она.—Что̀ бабушка дѣлаетъ?

— Барыня не ужинали, спать ложатся, сказала Марина.

Марѳинька едва дождалась, пока затихло все въ домѣ и, какъ мышь, прокралась къ бабушкѣ.

Долго шептали онѣ, много разъ бабушка крестила и цѣловала Марѳиньку, пока наконецъ та заснула на ея плечѣ. Бабушка тихо сложила ея голову на подушку, потомъ уже встала и молилась въ слезахъ, призывая благословеніе на новое счастье и новую жизнь своей внучки. Но еще жарче молилась она о Вѣрѣ. Съ мыслью о ней, она подолгу склоняла сѣдую голову къ подножію креста и шептала горячую молитву.

Ложась осторожно подлѣ спящей Марѳиньки, бабушка перекрестила ее опять, а сама подумала:

„Добро бы Вѣра, а то Марѳинька, какъ Кунигунда... тоже въ саду!... Точно на смѣхъ вышло: это „судьба" забавляется!..."

## XVII.

Викентьевъ сдержалъ слово. На другой день онъ привезъ къ Татьянѣ Марковнѣ свою мать и, впустивъ ее въ двери, самъ далъ „стречка", какъ онъ говорилъ, не зная, что̀ будетъ, и сидѣлъ, какъ на иголкахъ, въ канцеляріи.

Мать его, еще почти молодая женщина, лѣтъ сорока съ небольшимъ, была такая же живая и веселая, какъ онъ, но съ большимъ запасомъ практическаго смысла. Между ею и сыномъ была вѣчная комическая война на словахъ.

Они спорили на каждомъ шагу, за всякіе пустяки,—и только за пустяки. А когда доходило до серьезнаго дѣла, она другимъ голосомъ и другими глазами, нежели какъ обыкновенно, предъявляла свой авторитетъ,—и онъ, хотя сначала протестовалъ, но потомъ сдавался, если требованіе ея было благоразумно.

Между ними происходилъ видимый разладъ и существовала невидимая гармонія. Таковъ былъ наружный образъ ихъ отношеній.

— Надѣнь это, скажетъ Марья Егоровна.

— Какъ это можно—лучше это, переговоритъ онъ.

— Съѣзди къ Михайлу Андреичу.

— Помилуйте, maman, у него непроходимая скука, отвѣчалъ онъ.

— Вздоръ, ты поѣдешь.

— Нѣтъ, maman, ни за что, хоть убейте!

— Николка, будешь ты слушаться?

— Всегда, maman, только не теперь.

Но однако, если ей въ самомъ дѣлѣ захочется, онъ поѣдетъ съ упреками, жалобами и протестами до тѣхъ поръ, пока потеряется изъ вида.

Этотъ вѣчный споръ шелъ съ утра до вечера между ними, съ промежутками громкаго смѣха. А когда они были ужъ очень дружны, то молчали какъ убитые, пока тотъ или другой не прерветъ молчанія какимъ-нибудь замѣчаніемъ, вызывающимъ непремѣнно противорѣчіе съ другой стороны. И пошло опять.

Любовь его къ матери наружно выражалась также бурно и неистово, до экстаза. Въ припадкѣ нѣжности, онъ вдругъ бросится къ ней, обѣими руками обовьетъ шею и облѣпитъ горячими поцѣлуями: тутъ уже между ними произойдетъ буквально драка.

Она ловитъ его за уши, деретъ, щиплетъ за щеки, отталкиваетъ, наконецъ кликнетъ толсторукую и толстобедрую ключницу Мавру и велитъ оттащить прочь „волченка“.

Послѣ разговора съ Марѳинькой, Викентьевъ въ ту же ночь укатилъ за Волгу и, ворвавшись къ матери, бросился обнимать и цѣловать ее по-своему, потомъ, когда она, собравъ всѣ силы, оттолкнула его прочь, онъ сталъ передъ ней на колѣни и торжественно произнесъ:

— Мать! бей, но выслушай: рѣшительная минута жизни настала—я...

— Съ ума сошелъ! досказала она.—Откуда взялся, точно

*

съ цѣпи сорвался! Какъ смѣлъ безъ спросу пріѣхать? Испугалъ меня, взбудоражилъ весь домъ: что съ тобой? спрашивала она, оглядывая его съ изумленіемъ съ ногъ до головы и оправляя растрепанные имъ волосы.

— Не угадываешь, мать? спрашивалъ онъ, не безъ внутренняго страха отъ какихъ-нибудь, еще невѣдомыхъ ему препятствій и опроверженій.

— Напроказничалъ что̀-нибудь, вѣрно опять подъ арестъ хотятъ посадить? говорила она, зорко глядя ему въ глаза.

Онъ покачалъ отрицательно головой.

— За сто верстъ—не отгадала.

— Ну, говори!

— Скажу, только противорѣчить не моги!

Она съ недоумѣніемъ, и тоже не безъ страха, глядѣла на него, стараясь угадать.

— Задолжалъ?

Онъ качалъ головой.

— Опять не въ гусары ли затѣялъ пойти?

— Нѣтъ, нѣтъ!

— Почемъ я знаю, какая блажь забралась въ тебя? Отъ тебя все станется! Говори—что?

— Не станешь спорить?

— Стану, потому что вѣрно вздоръ затѣялъ. Сейчасъ говори.

— Жениться хочу! чуть слышно сказалъ онъ.

— Что̀? спросила она, не вслушавшись.

— Жениться хочу!

Она взглянула на него быстро.

— Мавра, Антонъ, Иванъ, Кузьма! закричала она:— всѣ идите скорѣй сюда—скорѣй!

Мавра одна пришла.

— Зови всѣхъ людей: Николай Андреичъ помѣшался!

— Христосъ съ нимъ—что вы, матушка, испужали до смерти! говорила Мавра, тыча рукой въ воздухъ.

Викентьевъ махнулъ Маврѣ, чтобъ шла вонъ.

— Я не шучу, мать! сказалъ онъ, удерживая ее за руку, когда она встала.

— Поди прочь, не трогай! сердито перебила она и начала въ волненіи ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Я не шучу! подтвердилъ онъ рѣзко:—завтра я долженъ отвѣтъ дать. Что ты скажешь?

— Велю запереть тебя... знаешь куда! шепнула она, видимо озабоченная.

Онъ вскочилъ, и между ними начался одинъ изъ самыхъ бурныхъ разговоровъ. Долго ночью слышали люди горячій споръ, до крика, почти до визга, по временамъ смѣхъ, скаканье его, потомъ поцѣлуи, гнѣвный крикъ барыни, веселый отвѣтъ его—и потомъ гробовое молчаніе, признакъ совершенной гармоніи.

Викентьевъ одержалъ, повидимому, побѣду—впрочемъ уже подготовленную. Если обманывались на счетъ своихъ чувствъ Марѳинька и Викентьевъ, то бабушка и Марья Егоровна давно поняли, къ чему это ведетъ, но вида другъ другу и имъ не показывали, а сами молча, каждая про себя, давно все обдумали, взвѣсили, разсчитали—и рѣшили, что эта свадьба—дѣло подходящее.

Но Марья Егоровна, по свойству своихъ отношеній къ сыну, не могла, какъ и онъ, съ своей стороны, тоже уступить, а онъ взять ея согласіе иначе, какъ съ бою, и притомъ самаго упорнаго и горячаго.

— Еще что Татьяна Марковна скажетъ! говорила раздражительно, какъ будто съ досадой уступая, Марья Егоровна, когда уже лошади были поданы, чтобъ ѣхать въ городъ. — Если она не согласится, я тебѣ никогда не прощу этого срама! Слышишь?

— Не безпокойся, она любитъ меня больше родной матери!

— Я вовсе тебя не люблю. отстань. волченокъ! крикнула она, сбоку посмотрѣвъ на него.

Онъ хотѣлъ-было загрести ее за шею рукой и обнять, но она грозно замахнулась на него зонтикомъ.

— Только смѣй! Если изомнешь шляпку, я не поѣду! прибавила она.

Онъ присмирѣлъ отъ этой угрозы.

— Туда же, съ этихъ поръ жениться! ворчала она.

Онъ, не слушая ее, перелѣзъ изъ коляски на козлы и, отнявъ у кучера вожжи, погналъ, что есть мочи, лошадей.

## XVIII.

Марья Егоровна разрядилась въ шелковое платье, въ кружевную мантилью, надѣла желтыя перчатки, взяла вѣеръ — и такъ кокетливо и хорошо одѣлась, что сама смотрѣла невѣстой.

Лишь только Татьянѣ Марковнѣ доложили о пріѣздѣ Викентьевой, старуха, принимавшая ее всегда запросто, радушно-дружески, тутъ вдругъ, догадываясь конечно, послѣ признанія Марѳиньки, зачѣмъ она пріѣхала, приняла другой тонъ и манеры.

Она велѣла просить ее подождать въ гостиной, а сама бросилась одѣваться, приказавъ Василисѣ посмотрѣть въ щелочку и сказать ей, какъ одѣта гостья. И Татьяна Марковна надѣла шумящее шелковое съ серебристымъ отливомъ платье, турецкую шаль, пробовала-было надѣть массивныя брильянтовыя серьги, но съ досадой бросила ихъ.

— Нейдутъ, уши заросли! сказала она.

Велѣла одѣваться Марѳинькѣ, Вѣрочкѣ, и приказала мимоходомъ Василисѣ достать парадное столовое бѣлье, старинное серебро и хрусталь къ завтраку и обѣду. По-

вару, кромѣ множества блюдъ, велѣла еще варить шоколадъ, послала за конфектами, за шампанскимъ.

Одѣвшись, сложивъ руки на руки, украшенныя на этотъ разъ старыми, дорогими перстнями, торжественной поступью вошла она въ гостиную и, обрадовавшись, что увидѣла любимое лицо доброй гостьи, чуть не испортила своей важности, но тотчасъ оправилась и стала серьезна. Та тоже обрадовалась и проворно встала со стула и пошла ей навстрѣчу.

— А мой-то сумасшедшій, что затѣялъ!... начала она и остановилась, поглядѣвъ на Бережкову, оробѣла и стояла въ недоумѣніи.

Обѣ онѣ церемонно раскланялись, и Татьяна Марковна посадила гостью на диванъ и сѣла подлѣ нея.

— Какова нынче погода? спросила Татьяна Марковна, поджимая губы:—на Волгѣ нѣтъ вѣтру?

— Нѣтъ, тихо.

— Вы на паромѣ?

— Нѣтъ, въ лодкѣ съ гребцами, а коляска на паромѣ.

— Да, кстати! Яковъ, Егорка, Петрушка, кто тамъ? Что это васъ не дозовешься? сказала Бережкова, когда всѣ трое вошли.—Велите отложить лошадей изъ коляски Марьи Егоровны, дать имъ овса и накормить кучера.

Всѣ бросились исполнять приказаніе, хотя и безъ того коляска была уже отложена, пока Татьяна Марковна наряжалась, подвезена подъ сарай, а кучеръ балагурилъ въ людской за бутылкой пива.

— Нѣтъ, нѣтъ, Татьяна Марковна, говорила гостья:— я на полчаса. Ради Бога, не удерживайте меня: я за дѣломъ...

— Кто жъ васъ пуститъ? сказала Татьяна Марковна голосомъ, не требующимъ возраженія.—Если бъ вы были

здѣшняя, другое дѣло, а то изъ-за Волги! Что мы, первый годъ знакомы съ вами?... Или обидѣть меня хотите?...

— Ахъ, Татьяна Марковна, я вамъ такъ благодарна, такъ благодарна! Вы лучше родной — и Николая моего избаловали до того, что этотъ поросенокъ сегодня мнѣ вдругъ дорогой слилъ пулю: „Татьяна Марковна, говоритъ, любитъ меня больше родной матери!“ Хотѣла я ему уши надрать, да на козлы ушелъ отъ меня и такъ гналъ лошадей, что я всю дорогу дрожала отъ страху.

У Татьяны Марковны вся важность опять сбѣжала съ лица.

— А вѣдь онъ чуть-чуть не правду сказалъ, начала она:—вѣдь онъ у меня какъ свой! Наградилъ Богъ васъ сынкомъ...

— Помилуйте, онъ мнѣ житья не даетъ: ни шагу безъ спора и безъ ссоры не ступитъ...

— Милыя бранятся только тѣшатся!

— Вотъ вы его избаловали, Татьяна Марковна, онъ и забралъ себѣ въ голову...

Марья Егоровна замялась и начала топать ботинкой объ полъ, оглядывать и обдергивать на себѣ мантилью. Татьяна Марковна вдругъ выпрямилась и опять напустила на себя важность.

— Что такое? освѣдомилась она съ притворнымъ равнодушіемъ.

— Жениться вздумалъ, чуть не убилъ меня до смерти вчера! Валяется по ковру, хватаетъ за ноги... Я браниться, а онъ поцѣлуями зажимаетъ ротъ, и смѣется, и плачетъ...

— Въ чемъ же дѣло? спросила Бережкова церемонно, едва выслушавъ эти подробности.

— Проситъ, молитъ поѣхать къ вамъ, просить руки Маросы Васильевны... конфузливо досказала Марья Егоровна.

Татьяна Марковна, съ несвойственнымъ ей жеманствомъ, слегка поклонилась.

— Что̀ я ему скажу теперь? добавила Викентьева.

— Это такое важное дѣло, Марья Егоровна, подумавши, съ достоинствомъ сказала Татьяна Марковна, потупивъ глаза въ полъ:—что вдругъ рѣшить я ничего не могу. Надо подумать и поговорить тоже съ Марѳинькой. Хотя дѣвочки мои изъ повиновенія моего не выходятъ, но все я принуждать ихъ не могу...

— Марѳа Васильевна согласна: она любитъ Николеньку...

Марья Егоровна чуть не погубила дѣло своего сына.

— А почемъ онъ это знаетъ? вдругъ, вспыхнувъ, сказала Татьяна Марковна.—Кто ему сказалъ?

— Кажется, онъ объяснился съ Марѳой Васильевной... пробормотала сконфуженная барыня.

— За то, что Марѳинька отвѣчала на его объясненіе, она сидитъ теперь взаперти въ своей комнатѣ въ одной юбкѣ, безъ башмаковъ! солгала бабушка для пущей важности.—А чтобъ вашъ сынъ не смущалъ бѣдную дѣвушку, я не велѣла принимать его въ домъ! опять солгала она для окончательной важности, и съ достоинствомъ поглядѣла на гостью, откинувшись къ спинкѣ дивана.

Та тоже вспыхнула.

— Если бъ я предвидѣла, сказала она глубоко обиженнымъ голосомъ:—что онъ впутаетъ меня въ непріятное дѣло, я бы отвѣчала вчера ему иначе. Но онъ такъ увѣрилъ меня, да и я сама до этой минуты была увѣрена—въ вашемъ добромъ расположеніи къ нему и ко мнѣ! Извините, Татьяна Марковна, и поспѣшите освободить изъ заключенія Марѳу Васильевну... Виноватъ во всемъ *мой:* онъ и долженъ быть наказанъ... А теперь прощайте, и опять прошу извинить меня... Прикажите человѣку подавать коляску!...

Она даже потянулась къ звонку. Но Татьяна Марковна остановила ее за руку.

— Коляска ваша отложена, кучера, я думаю, мои люди напоили пьянымъ, и вы, милая Марья Егоровна, останетесь у меня и сегодня, и завтра, и цѣлую недѣлю...

— Помилуйте, послѣ того, что̀ вы сказали, послѣ гнѣва вашего на Марѳу Васильевну и на моего Колю? Онъ дѣйствительно заслуживаетъ наказанія... Я понимаю...

У Татьяны Марковны пропала вся важность. Морщины разгладились и радость засіяла въ глазахъ. Она сбросила на диванъ шаль и чепчикъ.

— Мочи нѣтъ — жарко! Извините, душечка, скиньте мантилью — вотъ такъ, и шляпку тоже. Видите, какая жара! Ну... мы ихъ накажемъ вмѣстѣ, Марья Егоровна: женимъ—у меня будетъ еще внукъ, а у васъ дочь. Обнимите меня, душенька! Вѣдь я только старый обычай хотѣла поддержать. Да видно не вездѣ пригожи они, эти старые обычаи! Вонъ я хотѣла остеречь ихъ моралью—и даже нравоучительную книгу въ подмогу взяла: цѣлую недѣлю читали-читали, и только кончили, а они въ ту же минуту почти все это и продѣлали въ саду, что̀ въ книгѣ написано!... Вотъ вамъ и мораль! Какое сватовство и церемонія между нами! Обѣ мы знали, къ чему дѣло идетъ, и если бъ не хотѣли этого—такъ не допустили бы ихъ слушать соловья.

— Ахъ, какъ вы напугали меня, Татьяна Марковна, не грѣхъ ли вамъ? сказала гостья, обнимая старушку.

— Не васъ бы слѣдовало, а его напугать! замѣтила Татьяна Марковна:—вы ужъ не погнѣвайтесь, а я пожурю Николая Андреича. Послушайте, помолчите — я его постращаю. Каковъ затѣйникъ!

— Какъ я вамъ буду благодарна! Вѣдь я бы не поѣхала ни за что къ вамъ такъ скоро, если бъ онъ не напугалъ меня вчера тѣмъ, что ужъ говорилъ съ Марѳой Васильев-

ной. Я знаю, какъ она васъ любитъ и слушается, и притомъ она дитя. Сердце мое чуяло бѣду. „Что онъ ей тамъ наговорилъ?“ думала я всю ночь—и со страху не спала, не знала какъ показаться къ вамъ на глаза. Отъ него не добьешься ничего. Скачетъ, прыгаетъ, какъ ртуть, по комнатѣ. Я признаюсь, и согласилась больше для того, чтобъ онъ отсталъ, не мучилъ меня: думаю, послѣ дамъ ему нагоняй и назадъ возьму слово. Даже хотѣла подучить васъ отказать, что будто не я, а вы... Не повѣрите, всю истрепалъ, измялъ! крику что у насъ было, шуму—ахъ, ты, Господи, какое наказаніе съ нимъ!

— И я не спала. Моя-то смиренница ночью приползла ко мнѣ, вся дрожитъ, лепечетъ: „что я надѣлала, бабушка, простите, простите, бѣда вышла!“ Я испугалась, не знала, что̀ и подумать... Насилу она могла пересказать: разъ пять принималась, пока кончила.

— Что же у нихъ было? что ей *мой* наговорилъ?

Татьяна Марковна съ усмѣшкой махнула рукой.

— Ужъ и не знаю, кто изъ нихъ лучше—онъ или она? Какъ голуби!

Татьяна Марковна пересказала сцену, переданную Марѳинькой съ стенографической вѣрностью. И обѣ засмѣялись сквозь слезы.

— Давно я думаю, что они пара, Марья Егоровна, говорила Бережкова:—боялась только, что молоды ужъ очень оба. А какъ погляжу на нихъ, да подумаю, такъ вижу, что они никогда старше и не будутъ.

— Съ лѣтами придетъ и умъ, будутъ заботы—и созрѣютъ, договорила Марья Егоровна.—Оба они росли у насъ на глазахъ: гдѣ имъ было заниматъ мудрости, вѣдь не жили совсѣмъ!

Викентьевъ пришелъ, но не въ комнату, а въ садъ, и

выжидалъ, не выглянетъ ли изъ окна его мать. Самъ онъ выглядывалъ изъ-за кустовъ. Но въ домѣ—тишина.

Мать его и бабушка ужъ ускакали въ это время за сто верстъ впередъ. Онѣ слегка и прежде всего порѣшили вопросъ о приданомъ, потомъ перешли къ участи дѣтей, гдѣ и какъ имъ жить; служить ли молодому человѣку, и зимой жить въ городѣ, а лѣтомъ въ деревнѣ—такъ настаивала Татьяна Марковна и ни за что не соглашалась на предложеніе Марьи Егоровны—отпустить дѣтей въ Москву, въ Петербургъ и даже за границу.

— Испортить хотите ихъ, говорила она:—чтобъ они наглядѣлись тамъ „всякаго новаго распутства“, нѣтъ, дайте мнѣ прежде умереть. Я не пущу Марѳиньку, пока она не пріучится быть хозяйкой и матерью!

И разсуждая такъ, онѣ дошли чуть не до третьяго ребенка, какъ вдругъ Марья Егоровна увидѣла изъ-за куста то высунется, то спрячется, чья-то голова. Она узнала сына и указала Татьянѣ Марковнѣ.

Обѣ позвали его и онъ рѣшился войти, но прежде долго возился въ передней, будто чистился, оправлялся.

— Милости просимъ, Николай Андреичъ! ядовито поздоровалась съ нимъ Татьяна Марковна, а мать смотрѣла на него иронически.

Онъ быстро взглядывалъ то на ту, то на другую, и ерошилъ голову.

— Здравствуйте, Татьяна Марковна, сунулся онъ поцѣловать у ней руку:—я вамъ привезъ *концерты* въ *билетъ*... началъ онъ скороговоркой.

— Что ты мелешь, опомнись... остановила его мать.

— Охъ, билеты въ концертъ, благотворительный. Я взялъ и вамъ, маменька, и Вѣрѣ Васильевнѣ, и Марѳѣ Васильевнѣ, и Борису Павлычу... Отличный концертъ: первая пѣвица изъ Москвы...

— Зачѣмъ намъ въ концертъ? сказала бабушка, глядя на него искоса:—у насъ соловьи въ рощѣ хорошо поютъ. Вотъ ужò пойдемъ ихъ слушать даромъ.

Марья Егоровна закусила отъ смѣха губу. Викентьевъ сконфузился, потомъ засмѣялся, потомъ вскочилъ.

— Я въ канцелярію теперь пойду, сказалъ онъ, но Татьяна Марковна удержала его.

— Сядьте, Николай Андреичъ, да послушайте, чтò я вамъ скажу, серьезно заговорила она.

Онъ видѣлъ, что собирается гроза, и началъ метаться въ безпокойствѣ, не зная, чѣмъ отвратить ее. Онъ поджималъ подъ себя ноги и клалъ церемонно шляпу на колѣни, или вдругъ вскакивалъ, подходилъ къ окну и высовывался изъ него почти до колѣнъ.

— Сиди же смирно, когда Татьяна Марковна съ тобою говорить хочетъ, сказала мать.

— Чтò ваша совѣсть говоритъ вамъ? начала пилить Бережкова:—какъ вы оправдали мое довѣріе! А еще говорите, что любите меня и что я люблю васъ—какъ сына. А развѣ добрыя дѣти такъ поступаютъ? Я считала васъ скромнымъ, послушнымъ, думала, что вы сбивать съ толку бѣдную дѣвочку не станете, пустяковъ ей не будете болтать...

Она остановилась. Онъ мрачно посмотрѣлъ на мать.

— Чтò! сказала она:—по дѣломъ тебѣ!

— Татьяна Марковна, я не успѣлъ нынче позавтракать, нѣтъ ли чего? вдругъ попросилъ онъ:—я голоденъ...

— Видите, какой хитрый! сказала Бережкова, обращаясь къ его матери.—Онъ знаетъ мою слабость, а мы думали, что онъ дитя! Не поддѣли, не удалось, хоть и проситесь въ женихи!

Викентьевъ обернулъ шляпу вверхъ дномъ и забарабанилъ по ней пальцами.

— Не треплите шляпу: она не виновата, а лучше ска-

жите, съ чего это вы вздумали, что за васъ отдадутъ Марѳиньку?

Вдругъ у него краска сбѣжала съ лица—онъ съ горестнымъ изумленіемъ взглянулъ на Татьяну Марковну, потомъ на мать.

— Послушайте, не шутите со мной, сказалъ онъ въ тревогѣ:—если это шутка, такъ она жестока. Шутите вы, Татьяна Марковна, или нѣтъ?

— А вы какъ думаете?

— Думаю, что шутите: вы добрая, не то что...

Онъ поглядѣлъ на мать.

— Каковъ волченокъ, Татьяна Марковна!

— Нѣтъ, не шутя скажу, что не хорошо сдѣлалъ, батюшка, что заговорилъ съ Марѳинькой, а не со мной. Она дитя, какъ бываютъ дѣти, и безъ моего согласія ничего бы не сказала. Ну, а если бъ я не согласилась?

— Такъ вы согласились! вдругъ вспрыгнувъ, сказалъ онъ.

— Погоди, погоди—сядь, сядь! обѣ закричали на него.

— Съ другой бы, можетъ-быть, такъ и надо сдѣлать, а не съ ней, продолжала Татьяна Марковна.—Тебѣ, сударь, надо было тихонько сказать мнѣ, а я бы сумѣла, лучше тебя, допытаться у нея, любитъ она или нѣтъ? А ты самъ вздумалъ...

— Ей-Богу, нечаянно... Татьяна Марковна...

— Да не божитесь, даже слушать тошно...

— Все проклятый соловей надѣлалъ...

— Вотъ теперь „проклятый“, а вчера такъ не зналъ цѣны ему!

— Я и не думалъ, и въ голову не приходило—ей-Богу... Однако, позвольте доложить, въ свое оправданіе, вотъ что, торопился высказать Викентьевъ, ерошилъ голову, и смѣло смотрѣлъ въ глаза имъ обѣимъ.—Вы хотите, чтобъ

я поступилъ, какъ послушный, благонравный мальчикъ, т. е. съѣздилъ бы къ тебѣ, маменька, и спросилъ твоего благословенія, потомъ обратился бы къ вамъ, Татьяна Марковна, и просилъ бы быть истолковательницей моихъ чувствъ, потомъ черезъ васъ получилъ бы *da* и при свидѣтеляхъ выслушалъ бы признаніе невѣсты, съ глупой рожей поцѣловалъ бы у ней руку, и оба, не смѣя взглянуть другъ на друга, играли бы комедію, любя съ позволенія старшихъ... Развѣ это счастье?

— А по-твоему лучше, ночью въ саду нашептывать дѣвушкѣ... перебила мать.

— Лучше, maman, вспомни себя...

— Каковъ, ахъ ты! обѣ закричали на него:—откуда это у него берется? Соловей, что-ли, сказалъ тебѣ?

— Да, соловей, онъ пѣлъ, а мы росли: онъ намъ все разсказалъ, и пока мы съ Марѳой Васильевной будемъ живы—мы забудемъ многое, все, но этого соловья, этого вечера, шопота въ саду и ея слезъ никогда не забудемъ. Это-то счастье и есть, первый и лучшій шагъ его—и я благодарю Бога за него и благодарю васъ обѣихъ, тебя, мать, и васъ, бабушка, что вы обѣ благословили насъ... Вы это сами думаете, да только такъ, изъ упрямства, не хотите сознаться: это не честно...

У него даже навернулись слезы.

— Если бъ надо было опять начать, я опять вызвалъ бы Марѳиньку въ садъ... добавилъ онъ.

Татьяна Марковна въ умиленіи обняла его.

— Богъ тебя проститъ добрый, милый внучекъ! Такъ, такъ: ты правъ, съ тобой, а не съ другимъ, Марѳинька только и могла слушать соловья...

Викентьевъ бросился на колѣни.

— Бабушка, бабушка! говорилъ онъ.

— Вотъ ужъ и бабушка: не рано ли сталъ величать?

Да и къ лицу ли тебѣ жениться? погоди года два-три—созрѣй.

— Поумнѣй! подсказала мать:—перестань повѣсничать.

— Если бъ вы обѣ не согласились, сказалъ онъ:—я бы. .

— Что?

— Уѣхалъ бы сегодня же отсюда, и въ гусары пошелъ бы, и долговъ надѣлалъ бы, совсѣмъ пропалъ бы!

— Еще грозитъ! сказала Татьяна Марковна:—я волничать вамъ не дамъ—сударь!

— Отдайте мнѣ только Марѳу Васильевну и я буду тише воды, ниже травы, буду слушаться, даже ничего... не съѣмъ безъ вашего спроса...

— Полно, такъ ли?

— Такъ, такъ—ей-Богу...

— Еще отстаньте отъ божбы, а то...

Онъ бросился цѣловать руки Бережковой.

— А кушать все хочется? спросила Татьяна Марковна.

— Нѣтъ, ужъ мнѣ теперь не до ѣды!

— Что жъ, ужъ не отдать ли за него Марѳиньку, Марья Егоровна?

— Не стоитъ, Татьяна Марковна, да и рано. Пусть бы года два...

Онъ налетѣлъ на мать и поцѣлуемъ залѣпилъ ей ротъ.

— Видите, какого сорванца вы пускаете въ домъ! говорила мать, оттолкнувъ его прочь.

— Со мной не смѣетъ, я его уйму—подойди-ка сюда...

Онъ подошелъ къ Татьянѣ Марковнѣ: она его перекрестила и поцѣловала въ лобъ.

— Ухъ! сказалъ онъ, садясь:—мучительницы вы обѣ: зачѣмъ такъ терзали—силъ нѣтъ!

— Впередъ будь умнѣе!

— Гдѣ же Марѳа Васильевна?.. я побѣгу...

— Погоди, имѣй терпѣніе!.. онѣ у меня не такія верченыя! сказала бабушка.

— Опять терпѣніе!

— Теперь оно и начинается: полно скакать и бѣгать, ты не мальчикъ, да и она не дитя. Вѣдь самъ говоришь, что соловей вамъ растолковалъ обоимъ, что вы „созрѣли“—ну, такъ и остепенись!

Онъ немного смутился отъ этого справедливаго замѣчанія и скромно остался въ гостиной, пока пошли за Марѳинькой.

— Ни за что не пойду! И сохрани Господи! отвѣчала она и Маринѣ, и Василисѣ.

Наконецъ, сама бабушка съ Марьей Егоровной отыскали ее за занавѣсками постели въ углу, подъ образами, и вывели ее оттуда, раскраснѣвшуюся, не одѣтую, старающуюся закрыть лицо руками.

Обѣ принялись цѣловать ее и успокоивать. Но она наотрѣзъ отказалась идти къ обѣду и къ завтраку, пока всѣ не перебывали у ней въ комнатѣ и не поздравили по очереди.

Точно такъ же она убѣгала и отъ каждаго гостя, который пріѣзжалъ поздравлять, когда вѣсть пронеслась по городу.

Вѣра съ спокойной радостью услыхала, когда бабушка сказала ей объ этомъ:

— Я давно ждала этого, сказала она.

— Теперь, если бъ Богъ далъ пристроить тебя... начала-было Татьяна Марковна со вздохомъ, но Вѣра остановила ее.

— Бабушка! сказала она съ торопливымъ трепетомъ: — ради Бога, если любите меня, какъ я васъ люблю... то обратите всѣ попеченія на Марѳиньку. Обо мнѣ не заботьтесь...

— Развѣ я тебя меньше люблю? Можетъ-быть, у меня сердце больше болитъ по тебѣ...

— Знаю, и это мучаетъ меня... Бабушка! почти съ от-

чаяніемъ молила Вѣра:—вы убьете меня, если у васъ сердце будетъ болѣть обо мнѣ...

— Что̀ ты говоришь, Вѣрочка? Опомнись!..

— Это убьетъ меня, я говорю, не шутя, бабушка.

— Да чѣмъ, чѣмъ, что̀ у тебя на умѣ, что на сердцѣ? говорила тоже почти съ отчаяніемъ бабушка:—развѣ не станетъ разумѣнія моего, или сердца у меня нѣтъ, что твое счастье или несчастье... чужое мнѣ?..

— Бабушка! у меня другое счастье или другое несчастье, нежели у Марѳиньки. Вы добры, вы умны, дайте мнѣ свободу...

— Ты успокой меня: скажи только, что̀ съ тобой?..

— Ничего, бабушка, нѣтъ, только не старайтесь пристроивать меня...

— Ты горда, Вѣра! съ горечью сказала старушка.

— Да, бабушка—можетъ-быть: что же мнѣ дѣлать?

— Не Богъ вложилъ въ тебя эту гордость!

Вѣра не отвѣчала, но страдала невыразимо отъ того, что она не могла растолковать себя ей. Она металась въ тоскѣ.

— Открой мнѣ душу, я пойму, можетъ-быть, сумѣю облегчить горе, если есть...

— Когда оно настанетъ—и я не справлюсь одна... тогда я приду къ вамъ—и ни къ кому больше, да къ Богу! Не мучьте меня теперь и не мучьтесь сами... Не ходите, не смотрите за мной...

— Не поздно ли будетъ тогда, когда горе придетъ?.. прошептала бабушка.—Хорошо, прибавила она вслухъ:—успокойся, дитя мое! я знаю, что ты не Марѳинька, и тревожить тебя не стану.

Она поцѣловала ее со вздохомъ и ушла скорыми шагами, понуривъ голову. Это было единственное темное об-

лачко, помрачавшее ея радость, и она усердно молилась, чтобы оно пронеслось, не сгустившись въ тучу.

Вѣра долго ходила взволнованная по саду и мало-помалу успокоилась. Въ бесѣдкѣ она увидѣла Марѳиньку и Викентьева и быстро пошла къ нимъ. Она еще не сказала ни слова Марѳинькѣ послѣ новости, которую узнала утромъ.

Она подошла къ ней, пристально и ласково поглядѣла ей въ глаза, потомъ долго цѣловала ей глаза, губы, щеки. Положивъ ея голову, какъ ребенка, на руку себѣ, она любовалась ея чистой, младенческой красотой, и крѣпко сжала въ объятіяхъ.

— Ты должна быть счастлива! сказала она, съ блеснувшими вдругъ и спрятавшимися слезами.

— И будетъ! подсказалъ Викентьевъ.

— Ты, Вѣрочка, будешь еще счастливѣе меня! отвѣчала Марѳинька, краснѣя.—Посмотри, какая ты красавица, какая умная—мы съ тобой—какъ будто не сестры! здѣсь нѣтъ тебѣ жениха. Правда, Николай Андреевичъ?

Вѣра молча пожала ей руку.

— Николай Андреевичъ, знаете ли кто она? спросила Вѣра, указывая на Марѳиньку.

— Ангелъ! отвѣчалъ онъ безъ запинки, какъ солдатъ на перекличкѣ.

— Ангелъ! съ улыбкой передразнила она его.

— Вотъ она кто! сказала Вѣра, указывая на кружившуюся около цвѣтка бабочку: — троньте неосторожно, цвѣтъ крыльевъ пропадетъ, пожалуй, и совсѣмъ крыло оборвете. Смотрите же! балуйте, любите, ласкайте ее, но, Боже сохрани—огорчить! Когда придетъ охота обрывать крылья, такъ идите ко мнѣ: я васъ тогда!... заключила она, ласково погрозивъ ему.

*

## XIX.

Черезъ недѣлю послѣ радостнаго событія, все въ домѣ пришло въ прежній порядокъ. Мать Викентьева уѣхала къ себѣ, Викентьевъ сдѣлался ежедневнымъ гостемъ и почти членомъ семьи. И онъ, и Марѳинька, не скакали уже. Оба были сдержаннѣе, и только иногда живо спорили, или пѣли, или читали вдвоемъ.

Но между ними не было мечтательнаго, поэтическаго размѣна чувствъ, ни оборота тонкихъ изысканныхъ мыслей, съ безконечными оттѣнками ихъ, съ роскошнымъ узоромъ фантазіи—всей этой игрой, этихъ изящныхъ и неистощимыхъ наслажденій развитыхъ умовъ.

Духъ анализа тоже не касался ихъ, и пищею обмѣна ихъ мыслей была прочитанная повѣсть, доходившія изъ столицы новости, да поверхностныя впечатлѣнія окружающей природы и быта.

Поэзія, чистая, свѣжая, природная, всѣмъ ясная и открытая, билась живымъ родникомъ—въ ихъ здоровьѣ молодости, открытыхъ, неиспорченныхъ сердцахъ.

Ихъ не манила даль къ себѣ: у нихъ не было никакого тумана, никакихъ гаданій. Перспектива была ясна, проста, и обоимъ имъ одинаково открыта. Горизонтъ наблюденій и чувствъ ихъ былъ тѣсенъ.

Марѳинька зажимала уши, или уходила вонъ, лишь только Викентьевъ, въ объясненіяхъ своихъ, выйдетъ изъ предѣловъ обыкновенныхъ выраженій и заговоритъ о любви къ ней языкомъ романа или повѣсти.

Ихъ сближеніе было просто и естественно, какъ указывала натура, сдержанная чистой нравственностью и моралью бабушки. Марѳинька до свадьбы не дала ему ни одного поцѣлуя, никакой почти лишней противъ прежняго ласки—и на украденный имъ поцѣлуй продолжала смо-

трѣть, какъ на дерзость и грозила уйти, или пожаловаться бабушкѣ.

Но неумышленно, когда онъ не дѣлалъ никакихъ любовныхъ прелюдій, а просто бралъ ее за руку, она давала ему руку, брала сама его руку, опиралась ему довѣрчиво на плечо, позволяла переносить себя черезъ лужи, и даже, шаля, ерошила ему волосы, или напротивъ возьметъ гребенку, щетку, близко подойдетъ къ нему, такъ что головы ихъ касались, причешетъ его, сдѣлаетъ проборъ и, пожалуй, напомадитъ голову.

Но если онъ возьметъ ее въ это время за талію, или поцѣлуетъ, она покраснѣетъ, броситъ въ него гребенку и уйдетъ прочь.

Свадьба была отложена до осени по какимъ-то хозяйственнымъ соображеніямъ Татьяны Марковны—и въ домѣ постепенно готовили приданое. Изъ кладовыхъ вынуты были старинныя кружева, отобрано было родовое серебро, золото, раздѣлены на двѣ равныя половины посуда, бѣлье, мѣха, разныя вещи, жемчугъ, брильянты.

Татьяна Марковна, съ аккуратностью жида, пускалась опредѣлять золотники, караты, взвѣшивала жемчугъ, призывала ювелировъ, золотыхъ и другихъ дѣлъ мастеровъ.

— Вотъ смотри, Вѣрочка, это твое, а то Марфинькино— ни одной нитки жемчугу, ни одного лишняго лота, ни та, ни другая не получитъ. Смотрите обѣ!

Но Вѣра не смотрѣла. Она отодвигала кучу жемчуга и брильянты, смѣшивала ихъ съ Марфинькиными и объявила, что ей немного надо. Бабушка сердилась и опять принималась разбирать и дѣлить на двѣ половины.

Райскій выписалъ отъ опекуна еще свои фамильные брильянты и серебро, доставшееся ему послѣ матери и подарилъ ихъ обѣимъ сестрамъ. Но бабушка погребла ихъ въ глубину своихъ сундуковъ, до поры до времени:

— Понадобятся и самому! говорила она:—вздумаешь жениться.

Онъ закрѣпилъ и домъ съ землей и деревней за обѣими сестрами, за что обѣ онѣ опять по-своему благодарили его. Бабушка хмурилась, косилась, ворчала, потомъ не выдержала и обняла его.

— Совсѣмъ необыкновенный ты, Борюшка, сказала она:—какой-то хорошій уродъ! Богъ тебя вѣдаетъ, кто ты есть!

Въ домѣ, въ дѣвичьей, въ кабинетѣ бабушки, даже въ гостиной и еще двухъ комнатахъ, разставлялись столы съ шитьемъ бѣлья. Готовили нарядную постель, кружевныя подушки, одѣяло. По утрамъ ходили портнихи, швеи.

Викентьевъ выпросился въ Москву заказывать гардеробъ, экипажи — и тутъ только проговорилось чувство Марошиньки: она залилась обильными слезами, отъ которыхъ у ней распухли носъ и глаза.

Глядя на нее, заплакалъ и Викентьевъ, не отъ горя, а потому, объяснялъ онъ, что не можетъ не заплакать, когда плачутъ другіе, и не смѣяться тоже не можетъ, когда смѣются около него. Марошинька поглядѣла на него сквозь слезы, и вдругъ перестала плакать.

— Я не пойду за него, бабушка:—посмотрите, онъ и плакать-то не умѣетъ путемъ! У людей слезы по щекамъ текутъ, а у него по носу: вонъ какая слеза, въ горошину, повисла, на самомъ концѣ!...

Онъ поспѣшно утеръ слезу.

— У меня, видите, такой желобокъ есть, прямо къ носу... сказалъ онъ и сунулся-было поцѣловать у невѣсты руку, но она не дала.

Черезъ часъ послѣ его отъѣзда, она, попрежнему, уже пѣла: *Ненаглядный ты мой, какъ люблю я тебя!*

На дворъ приводили лошадей, за которыми Викентьевъ ѣздилъ куда-то на заводъ. Словомъ, домъ кипѣлъ веселою дѣятельностію, которой не замѣчали только Райскій и Вѣра.

Райскій ничего впрочемъ не замѣчалъ, кромѣ ея. Онъ старался развлекаться, ѣздилъ верхомъ по полямъ, дѣлалъ даже визиты.

У губернатора встрѣчалъ нѣсколько совѣтниковъ, какого-нибудь крупнаго помѣщика, посланнаго изъ Петербурга адъютанта: разговоры шли о томъ, что дѣлается въ Петербургскомъ мірѣ, или о деревенскомъ хозяйствѣ, объ откупахъ. Но все это мало развлекало его.

Онъ, между прочимъ, нехотя, но исполнилъ просьбу Марка и сказалъ губернатору, что книги привезъ онъ и далъ кое-кому изъ знакомыхъ, а тѣ ужъ передали въ гимназію.

Книги отобрали и сожгли. Губернаторъ посовѣтовалъ Райскому быть осторожнѣе, но въ Петербургъ не донесъ, чтобъ „не возбуждать тамъ вопроса!“

Маркъ, по-своему, опять ночью, пробрался къ нему черезъ садъ, чтобъ узнать, чѣмъ кончилось дѣло. Онъ и не думалъ благодарить за эту услугу Райскаго, а только сказалъ, что такъ и слѣдовало сдѣлать, и что онъ ему, Райскому, уже тѣмъ однимъ много сдѣлалъ чести, что ожидалъ отъ него такого простого поступка, потому что поступить иначе значило бы быть „доносчикомъ и шпіономъ“.

Леонтія Райскій видалъ рѣдко и въ домъ къ нему избѣгалъ ходить. Тамъ, страстными взглядами и съ затаеннымъ смѣхомъ въ неподвижныхъ чертахъ, встрѣчала его внутренно торжествующая Ульяна Андреевна. А его угрызало воспоминаніе о томъ, какъ онъ великодушно исполнилъ свой „долгъ“. Онъ хмурился и спѣшилъ вонъ.

Она употребила другой маневръ: сказала мужу, что другъ его знать ее не хочетъ, не замѣчаетъ, какъ будто она

была мебель въ домѣ, пренебрегаетъ ею, что это ей очень обидно и что виноватъ во всемъ мужъ, который не умѣетъ привлечь въ домъ порядочныхъ людей и заставить уважать жену.

— Поговори хоть ты, жаловалась она:—отложи свои книги, займись мною!

Козловъ въ тотъ же вечеръ буквально исполнилъ порученіе жены, когда Райскій остановился у его окна.

— Зайди, Борисъ Павловичъ, ты совсѣмъ меня забылъ, сказалъ онъ:—вонъ и жена жалуется...

— А она на что̀ жалуется? спросилъ Райскій, входя въ комнату.

— Да думаетъ, что ты пренебрегаешь ею. Я говорю ей, вздоръ, онъ не гордъ совсѣмъ—вѣдь ты не гордъ? да? Но онъ, говорю, поэтъ, у него свои идеалы—до тебя ли, рыжей, ему? Ты бы ее побаловалъ, Борисъ Павловичъ, зашелъ бы къ ней когда-нибудь безъ меня, когда я въ гимназіи.

Райскій, отворотясь отъ него, смотрѣлъ въ окно.

— Или еще лучше, приходи по четвергамъ, да по субботамъ вечеромъ: въ эти дни я въ трехъ домахъ уроки даю. Почти въ полночь прихожу домой. Вотъ ты и пожертвуй вечеръ, поволочись немного, пококетничай! Вѣдь ты любишь болтать съ бабами! А она только тобой и бредитъ....

Райскій сталъ глядѣть въ другое окно.

— Самъ я не умѣю, продолжалъ Леонтій:—извѣстно, мужъ—она любитъ, я люблю, мы любимъ... Это спряженіе мнѣ и въ гимназіи надоѣло. Вся ея любовь—всѣ ея заботы, жизнь—все мое...

Райскій кашлянулъ. „Хоть бы намекнуть какъ-нибудь ему!“ подумалъ онъ.

— Полно—такъ ли, Леонтій? сказалъ онъ.

— А какъ же?

— „Вся любовь“, говоришь ты?

— Да, конечно. Она даже ревнуетъ меня къ моимъ грекамъ и римлянамъ. Она ихъ терпѣть не можетъ, а живыхъ людей любитъ! добродушно смѣясь, заключилъ Козловъ.—Эти женщины, право, однѣ и тѣ же во всѣ времена, продолжалъ онъ.—Вонъ у римскихъ матронъ, даже у женъ кесарей, консуловъ, патриціевъ—всегда хвостъ цѣлый... Мнѣ—Богъ съ ней: мнѣ не до нея, это домашнее дѣло! У меня есть занятіе. Заботлива, вѣрна—и я иногда, признаюсь, шопотомъ прибавилъ онъ: —измѣняю ей, забываю, есть ли она въ домѣ, нѣтъ ли...

— Напрасно! сказалъ Райскій.

— Нѐкогда; вотъ въ прошломъ мѣсяцѣ попались мнѣ два нѣмецкихъ тома—Ѳукидидъ и Тацитъ. Нѣмцы и того и другого чуть наизнанку не выворотили. Знаешь, и у меня терпѣнія не хватило услѣдить за мелочью. Я зарылся,—а ей, говоритъ она, „тошно смотрѣть на меня!“ Вотъ хоть бы ты зашелъ. Спасибо еще французъ Шарль не забываетъ... Болтунъ веселый—ей и не скучно!

— Прощай, Леонтій, сказалъ Райскій.—Напрасно ты пускаешь этого Шарля!

— А что? не будь его, вѣдь она бы мнѣ покоя не дала. Отчего не пускать?

— А чтобъ не было „хвоста“, какъ у римскихъ матронъ!...

— Къ моей Улинькѣ, какъ къ женѣ кесаря, не смѣетъ коснуться и подозрѣніе!.. съ юморомъ замѣтилъ Козловъ.— Приходи же—я ей скажу...

— Нѣтъ, не говори, да не пускай и Шарля! сказалъ Райскій, уходя проворно вонъ.

Къ Полинѣ Карповнѣ Райскій не показывался, но она показывалась къ нему въ домъ, надоѣдая, то ему—своими прѣсными нѣжностями, то бабушкѣ—непрошенными совѣтами на счетъ свадебныхъ приготовленій, и особенно—раз-

мышленіями о томъ, что „бракъ есть могила любви", что избранныя сердца, несмотря на всѣ препятствія, встрѣчаются и внѣ брака, при чемъ нѣжно поглядывала на Райскаго.

Онъ раза два еще писалъ ея портретъ и все не кончалъ, говоря, что не придумалъ, во что̀ ее одѣть и какой цвѣтокъ нарисовать на груди.

— Желтая далія мнѣ будетъ къ лицу — я брюнетка! совѣтовала она.

— Хорошо, послѣ, послѣ! отдѣлывался онъ.

Титъ Никонычъ являлся всегда одинакій, вѣжливый, любезный, подходящій къ ручкѣ бабушки и подносящій ей цвѣтокъ, или рѣдкій фруктъ. Опенкинъ, всегда рѣчистый, неугомонный, подъ конецъ пьяный, —барыни и барышни, являвшіяся теперь потанцовать къ невѣстѣ, и молодые люди, —все это надоѣдало Райскому и Вѣрѣ — и оба искали, онъ — ее, а она — уединенія, и были только счастливы, онъ — съ нею, а она — одна, когда ее никто не видитъ, не замѣчаетъ, когда она пропадетъ „какъ духъ" въ деревню, съ обрыва въ рощу, или за Волгу, къ своей попадьѣ.

## XX.

„Вотъ страсти хотѣлъ", размышлялъ Райскій, „напрашивался на нее, а не знаю, страсть ли это! Я ощупываю себя: есть ли страсть, какъ будто хочу узнать, цѣлы ли у меня ребра, или нѣтъ ли какого-нибудь вывиха? Вонъ и сердце не стучитъ! Видно я самъ неспособенъ испытывать страсть".

Между тѣмъ Вѣра не шла у него съ ума.

— Если она не любитъ меня, какъ говоритъ и какъ видно по всему, то зачѣмъ удержала меня? зачѣмъ позволила любить? Кокетство, капризъ, или... Надо бы допытаться... шепталъ онъ.

Онъ искалъ глазами ее въ саду и замѣтилъ у окна ея комнаты.

Онъ подошелъ къ окну.

— Вѣра, можно придти къ тебѣ? спросилъ онъ.

— Можно, только не надолго.

— Вотъ ужъ и не надолго! Лучше бы не предупреждала, а когда нужно — и прогнала бы, сказалъ онъ, войдя и садясь напротивъ. — Отчего же не надолго?

— Оттого, что я скоро уѣду на островъ. Туда пріѣдетъ Натали и Иванъ Ивановичъ, и Николай Ивановичъ...

— Это священникъ?

— Да, онъ рыбу ловить собирается, а Иванъ Ивановичъ зайцевъ стрѣлять.

— Вотъ и я бы пришелъ.

Она молчала.

— Или не надо?

— Лучше не надо, а то вы разстроите нашъ кружокъ. Священникъ начнетъ умныя вещи говорить. Натали будетъ дичиться, а Иванъ Ивановичъ промолчитъ все время.

— Ну, не приду! сказалъ онъ, и, положивъ подбородокъ на руки, сталъ смотрѣть на нее. Она оставалась нѣсколько времени безъ дѣла, потомъ вынула изъ стола портфёль, сняла съ шеи маленькій ключикъ и отперла, приготовляясь писать.

— Что это, не письма ли?

— Да, двѣ записки, одну въ отвѣтъ на приглашеніе Натальи Ивановны. Кучеръ ждетъ.

Она написала нѣсколько словъ и запечатала.

— Послушайте, братъ — закричите кого-нибудь въ окно.

Онъ исполнилъ ея желаніе, Марина пришла и получила приказаніе отдать записку кучеру Василью. Потомъ Вѣра сложила руки.

— А другую записку? спросилъ Райскій.

— Еще успѣю.

— А! Значитъ секретъ!

— Можетъ-быть!

— Долго ли, Вѣра, у тебя будутъ секреты отъ меня?

— Если будутъ, такъ будутъ всегда.

— Если бъ ты знала меня короче — ты бы ихъ всѣ ввѣрила мнѣ, сколько ихъ ни есть...

— Зачѣмъ?

— Такъ нужно—я люблю тебя.

— А мнѣ не нужно...

— Но вѣдь это единственный способъ отдѣлаться отъ меня, если я тебѣ несносенъ.

— Нѣтъ, съ тѣхъ поръ какъ вы нѣсколько измѣнились, я не хочу отдѣлываться отъ васъ.

— И даже позволила любить себя...

— Я пробовала запретить—что же вышло?

— И ты рѣшилась махнуть рукой?

— Да, оставить вамъ на волю, думала, лучше пройдетъ, нежели когда мѣшаешь. Кажется, такъ и вышло... Вы же сами учили, что „противорѣчія только раздражаютъ страсть..“

— Какая однако ты хитрая! сказалъ онъ, глядя на нее лукаво. —А зачѣмъ остановила меня, когда я хотѣлъ уѣхать?

— Не уѣхали бы: исторія съ чемоданомъ мнѣ все разсказала.

— Такъ ты думаешь, страсть прошла?

— Никакой страсти не было: самолюбіе, воображеніе. Вы артистъ, влюбляетесь во всякую красоту...

— Пожалуй, въ красоту болѣе или менѣе, но — ты красота красотъ, всяческая красота! Ты—бездна, въ которую меня влечетъ невольно, голова кружится, сердце замираетъ—хочется счастья—пожалуй, вмѣстѣ съ гибелью. И въ гибели есть какое-то обаяніе...

— Это вы уже все говорили—и это нехорошо.

— Отчего нехорошо?

— Нехорошо!

— Да почему?

— Потому что... преувеличенно... слѣдовательно — ложь.

— А если правда, если я искренень?

— Еще хуже.

— Почему?

Потому что безнравственно.

— Вотъ тебѣ разъ! Вѣра!.. Помилуй! ты точно бабушка!

— Да, на этотъ разъ я на ея сторонѣ.

— Безнравственно!

— Безнравственно: вы идете по слѣдамъ Донъ-Жуана: но вѣдь и тотъ гадокъ...

— Говори мнѣ, что я гадокъ, если я гадокъ. Вѣра, а не бросай камень въ то, чего не понимаешь. Искренній Донъ-Жуанъ чистъ и прекрасенъ: онъ гуманный, тонкій артистъ, типъ, chef-d'oeuvre между человѣками. Такихъ конечно немного. Я увѣренъ, что въ байроновскомъ Донъ-Жуанѣ пропадалъ художникъ. Это влеченіе къ всякой видимой красотѣ, всего болѣе къ красотѣ женщины, какъ лучшаго созданія природы, обличаетъ высшіе человѣческіе инстинкты, влеченіе и къ другой красотѣ, невидимой, къ идеаламъ добра, изящества души, къ красотѣ жизни! Наконецъ, подъ этими нѣжными инстинктами, у тонкихъ натуръ кроется потребность всеобъемлющей любви! Въ толпѣ, въ грязи, въ тѣснотѣ, грубѣютъ эти тонкіе инстинкты природы... Во мнѣ есть немного этого чистаго огня, и если онъ не остался до конца чистымъ, то виноваты... многіе... и даже сами женщины...

— Можетъ-быть, братъ, я не понимаю Донъ-Жуана; я готова вѣрить вамъ... Но зачѣмъ вы выражаете страсть ко мнѣ, когда знаете, что я не раздѣляю ее?

— Нѣтъ, не знаю.

— Ахъ, вы все еще надѣетесь! сказала она съ удивленіемъ.

— Я тебѣ сказалъ, что во мнѣ не можетъ умереть надежда, пока я не узнаю, что ты не свободна, любишь кого-нибудь...

— Хорошо, братъ, положимъ, что я могла бы раздѣлить вашу страсть—тогда что̀?

— Какъ что̀? Обоюдное счастье!

— Вы увѣрены, что могли бы дать его мнѣ?

— Я—о Боже, Боже! съ пылающими глазами началъ онъ: — да я всю жизнь отдалъ бы—мы поѣхали бы въ Италію—ты была бы моей женой...

Она поглядѣла на него нѣсколько времени.

— Сколько разъ вы предлагали женщинамъ такое счастье? спросила она.

— Бывали, конечно, встрѣчи, но такого сильнаго впечатлѣнія никогда...

— Скажите еще, сколько разъ говорили вы вотъ эти самыя слова: не каждой ли женщинѣ при каждой встрѣчѣ?

— Что̀ ты хочешь сказать этими вопросами, Вѣра? Можетъ-быть, я говорилъ и многимъ, но никогда такъ искренно...

Она глядѣла на него, а онъ на нее.

— Кто тебя развилъ такъ, Вѣра? спросилъ онъ.

— Довольно, перебила она.—Вы высказались въ короткихъ словахъ. Видите ли, вы дали бы мнѣ счастье на полгода, на годъ, можетъ-быть, больше, словомъ до новой встрѣчи, когда красота, новѣе и сильнѣе, поразила бы васъ и вы увлеклись бы за нею, а я потомъ—какъ себѣ хочу! Сознайтесь, что такъ?

— Почему ты знаешь это? Зачѣмъ такъ судишь меня легко? Откуда у тебя эти мысли, какъ ты узнала ходъ страстей?

Я хода страстей не знаю, но узнала немного васъ—вотъ и все.

— Что̀ жъ ты узнала и отъ кого?

— Отъ васъ самихъ.

— Отъ меня? Когда?

— Какая же у васъ слабая память! Не вы ли разсказывали, какъ васъ тронула красота Бѣловодовой и какъ напрасно вы бились пробудить въ ней... лучъ... или ключъ... или... ужъ не помню, какъ вы говорили, только очень поэтически.

— Бѣловодова! Это— статуя, прекрасная, но холодная, и безъ души. Ее могъ бы полюбить развѣ Пигмаліонъ.

— А Наташа?

— Наташа! Развѣ я тебѣ говорилъ о Наташѣ?

— Забыли!

— Наташа была хорошенькая, но безцвѣтная, робкая натура. Она жила, пока грѣли лучи солнца, пока любовь обдавала ее тепломъ, а при первой невзгодѣ она надломилась и зачахла. Она родилась, чтобъ какъ можно скорѣе умереть.

— А о Марѳинькѣ что̀ говорили? Чуть не влюбились!

— Это все такъ, легкія впечатлѣнія, на одинъ, на два дня... Все равно, какъ бы я любовался картиной... Развѣ это преступленіе—почувствовать прелесть красоты, какъ теплоты солнечныхъ лучей, подчиниться на недѣлю-другую впечатлѣнію, не давая ему серьезнаго хода?...

— А самое сильное впечатлѣніе на полгода? Такъ?

— Нѣтъ, не такъ. Если бъ, напримѣръ, ты раздѣлила мою страсть, мое впечатлѣніе упрочилось бы навсегда, мы бы женились... Стало-быть— на всю жизнь. Идеалъ полнаго счастья у меня не разлученъ съ идеаломъ семьи...

— Послушайте, братъ. Вспомните самое сильное изъ вашихъ прежнихъ впечатлѣній и представьте, что та женщина, которая его на васъ сдѣлала, была бы теперь вашей женой...

— Кто тебя развиваетъ, ты вотъ что̀ скажи? А ты все уклоняешься отъ отвѣта!

— Да вы сами. Я все изъ вашихъ разговоровъ почерпаю.

— Ты прелесть, Вѣра, ты наслажденіе! у тебя столько же красоты въ умѣ, сколько въ глазахъ! Ты вся—поэзія, грація, тончайшее произведеніе природы! — Ты, и идея красоты, и воплощеніе идеи—и не умирать отъ любви къ тебѣ? Да развѣ я дерево! Вонъ Тушинъ, и тотъ таетъ...

Она сдѣлала движеніе.

— Оставимъ это. Ты меня не любишь, еще немного времени, впечатлѣніе мое поблѣднѣетъ, я уѣду и ты никогда не услышишь обо мнѣ. Дай мнѣ руку, скажи дружески, кто училъ тебя, Вѣра,—кто этотъ цивилизаторъ? Не тотъ ли, что письма пишетъ на синей бумагѣ?...

— Можетъ-быть—и онъ. Прощайте, братъ, вы кстати напомнили. Мнѣ надо писать...

— И вотъ счастье гдѣ: и „возможно“ и „близко“, а не дается! говорилъ онъ.

— Вы можете быть по-своему счастливы и безъ меня, съ другой...

— Съ кѣмъ, скажи! Гдѣ онѣ, эти женщины!...

— А тѣ, кто отдаетъ въ наймы сердце на мѣсяцъ, на полгода, на годъ,—а не со мной! прибавила она.

— И ты не вѣришь мнѣ, и ты не понимаешь! Кто же повѣритъ и пойметъ?

Онъ задумался, а она взяла бумагу, опять написала карандашомъ нѣсколько словъ и свернула записку.

— Не позвать ли Марину? спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не надо.

Она спрятала записку за платье на грудь, взяла зонтикъ, кивнула ему и ушла.

Райскій, не сказавши никому ни слова въ домѣ, ушелъ

послѣ обѣда на Волгу, подумывая незамѣтно пробраться на островъ и высматривалъ мѣсто поудобнѣе, чтобы переправиться черезъ рукавъ Волги. Переправы тутъ не было, и онъ глядѣлъ вокругъ, не увидитъ ли какого-нибудь рыбака.

Онъ прошелъ берегомъ съ полверсты, и наконецъ набрелъ на мальчишекъ, которые въ полусгнившей, наполненной до половины водой лодкѣ, удили рыбу. Они за гривенникъ съ радостью взялись перевезти его и сбѣгали въ хижину отца за веслами.

— Куда везти? спросили они.

— Все равно, причаливайте, гдѣ хотите.

— Вонъ тамъ можно выйти, указывалъ одинъ.

— Вонъ-вось гдѣ: тутъ баринъ съ барыней недавно вылазили...

— Какой баринъ?

— Кто ихъ знаетъ! Съ горы какіе-то!

Райскій вышелъ изъ лодки и сталъ смотрѣть.

„Не Вѣра ли?“ думалъ онъ.

Если она — онъ сейчасъ узнаетъ ея тайну... У него забилось сердце. Онъ шелъ въ осокѣ тихо, осторожно, боясь кашлянуть.

Вдругъ онъ услышалъ плескъ воды, тихо раздвинулъ осоку и увидѣлъ... Ульяну Андреевну.

Она, закрытая совсѣмъ кустами, сидѣла на берегу, съ обнаженными ногами, опустивъ ихъ въ воду, распустивъ волосы, и какъ русалка, мочила ихъ, нагнувшись съ берега. Райскій прошелъ дальше, обогнулъ утесъ: тамъ, стоя по горло въ водѣ, купался m-r Шарль.

Райскій, не замѣченный имъ, ушелъ и сталъ пробираться, черезъ шиповникъ, къ небольшимъ озерамъ, полагая, что общество вѣрно расположилось тамъ. Вскорѣ онъ услышалъ шаги неподалеку отъ себя и притаился. Мимо его прошелъ Маркъ.

Райскій окликнулъ его.

— А, здравствуйте, сказалъ Волоховъ:—отъ кого вы тутъ прячетесь?

— Я не прячусь... иначе бы не остановилъ васъ.

— Да вы не отъ меня прячетесь, а отъ кого-нибудь другого. Признайтесь, вы ищите вашу красавицу-сестру? Нехорошо, нечестно: проиграли пари и не платите...

— Вы почемъ знаете, что она здѣсь?

— Я пошелъ-было утокъ стрѣлять на озеро, а они всѣ тамъ сидятъ. И попъ тамъ, и Тушинъ, и попадья, и... ваша Вѣра, съ насмѣшкой досказалъ онъ. —Подите, подите туда.

— Я не хочу, я не туда шелъ.

— Не стыдитесь меня, я все вижу. Вы хотѣли робко посмотрѣть на нее издали — да? Вамъ скучно, постыло въ домѣ, когда ея нѣтъ тамъ...

— Какой вздоръ! я просто гулялъ...

— Давайте триста рублей!

Райскій пошелъ опять туда, гдѣ оставилъ мальчишекъ. За нимъ шелъ и Маркъ. Они прошли мимо того мѣста, гдѣ купался Шарль. Райскій хотѣлъ-было пройти мимо, но изъ кустовъ, навстрѣчу имъ, вышелъ французъ, а съ другой стороны, по тропинкѣ, приближалась Ульяна Андреевна, съ распущенными, мокрыми волосами.

Оба хотѣли спрятаться, но Маркъ закричалъ имъ.

— Charmé de vous voir tous les deux! честь имѣю рекомендоваться!

М-г Шарль вышелъ изъ-за кустовъ.

— М-г Райскій! М-г Шарль! представлялъ насмѣшливо ихъ Маркъ другъ другу.

— Ульяна Андреевна! пожалуйте сюда, не прячьтесь! вѣдь видѣли: все свои лица, не бойтесь!

— Никто не боится! сказала она, выходя нехотя и стараясь не глядѣть на Райскаго.

— И оба мокрые! прибавилъ Волоховъ.

— Самый непріятный мужчина въ цѣломъ свѣтѣ! съ крѣпкой досадой шепнула Ульяна Андреевна Райскому про Марка.

— Ну, прощайте, я пойду, сказалъ Маркъ.—А что Козловъ дѣлаетъ? Отчего не взяли его съ собой провѣтрить? Вѣдь и при немъ можно... купаться—онъ не увидитъ. Вонъ бы тутъ подъ деревомъ изъ Гомера декламировалъ! заключилъ онъ и, поглядѣвши дерзко на Ульяну Андреевну и на m-r Шарля, ушелъ.

— Il faut que je donne une bonne leçon à ce mauvais drôle! хвастливо сказалъ M-r Шарль, когда Маркъ скрылся изъ вида.

Потомъ всѣ воротились домой.

— Ну, вотъ, я тебѣ очень благодаренъ, говорилъ Козловъ Райскому:—что ты прогулялся съ женой...

— На этотъ разъ благодари вотъ m-r Шарля! сказалъ Райскій.

— Merci, merci, m-r Charles!

— Bien, très bien, cher collègue! отвѣчалъ Шарль, трепля его по плечу.

## XXI.

Райскій пришелъ домой злой, не ужиналъ, не пошутилъ съ Марфинькой, не подразнилъ бабушку и ушелъ къ себѣ. И на другой день онъ сошелъ такой же мрачный и недовольный.

Погода была еще мрачнѣе. Шелъ мелкій, непрерывный дождь. Небо покрыто было не тучами, а какимъ-то паромъ. На окрестности лежалъ туманъ.

Вѣра была тоже не весела. Она закутана была въ большой платокъ, и на вопросъ бабушки, что съ ней, отвѣчала, что у ней былъ ночью ознобъ.

*

Посыпались разспросы, упреки, что не разбудила, предложенія—напиться липоваго цвѣта и поставить горчишники. Вѣра рѣшительно отказалась, сказавъ, что чувствуетъ себя теперь совсѣмъ здоровою.

Всѣ трое сидѣли молча, зѣвали, или перекидывались изрѣдка вопросомъ и отвѣтомъ.

— Вы были тоже на островѣ? спросила Вѣра Райскаго.

— Да,—ты почемъ знаешь?

— Я слышала, какъ Егоръ жаловался кому-то на дворѣ, что платье все въ глинѣ, да въ тинѣ у васъ—насилу отчистилъ: „должно-быть, на островѣ былъ“ говорилъ онъ.

— Ты все слышишь! замѣтилъ онъ.—Я былъ не одинъ: Маркъ былъ, еще жена Козлова...

— Вотъ нашелъ съ кѣмъ гулять! У ней есть провожатый, сказала бабушка:—М-г Шарль.

— И онъ былъ.

Опять замолчали, и уже собирались разойтись, какъ вдругъ явилась Марѳинька.

— Ахъ, бабушка, какъ я испугалась! страшный сонъ видѣла! сказала она, еще не поздоровавшись.—Какъ бы не забыть!

— Какой такой, разскажи. Что это ты блѣдна сегодня?

— Разсказывай скорѣй! говорилъ Райскій.—Давайте сны разсказывать, кто какой видѣлъ. И я вспомнилъ свой сонъ: странный такой! Начинай, Марѳинька! Сегодня скука, слякоть—хоть сказки давайте сказывать!

— Сейчасъ, сейчасъ, погодите, черезъ пять минутъ пріѣдетъ Николай Андреичъ, я при немъ разскажу.

— Ужъ и черезъ пять минутъ! сказала бабушка:—почемъ ты знаешь? Дожидайся! онъ еще спитъ!

— Нѣтъ, пріѣдетъ—я ему велѣла! кокетливо возразила Марѳинька.—Нынче крестятъ дѣвочку въ деревнѣ, у Ѳомы: я обѣщала придти, а онъ меня проводитъ...

— Такъ ты для деревенскихъ крестинъ новое бареже-вое платье надѣла, да еще въ этакій дождь! Кто тебя пуститъ? скинь, сударыня!

— Скину, бабушка, я надѣла только примѣрить.

— Вѣдь ужъ примѣривали!

— Оставьте ее, бабушка, она жениху хочетъ показаться въ новомъ платьѣ.

Марѳинька покраснѣла.

— Вотъ вы какіе! я совсѣмъ не для того! съ досадой сказала она, что угадали:—пойду, сейчасъ скину..

Райскій удержалъ ее за руку; она вырвалась, и только отворила дверь, какъ навстрѣчу ей явился Викентьевъ и распростеръ руки, чтобъ не пустить ее.

— Идите скорѣй—зачѣмъ опоздали? говорила она, краснѣя отъ радости и отбиваясь, когда онъ хотѣлъ непремѣнно поцѣловать у ней руку.

— Что это у васъ за гадкая привычка цѣловать въ ладонь? замѣтила она, отнимая у него руки:—всю руку изломаете!

— Ладонь такая тепленькая у васъ, душистая, позвольте...

— Подите прочь! Вы еще съ бабушкой не поздоровались!

Онъ поцѣловалъ у бабушки руку, потомъ комически раскланялся съ Райскимъ и съ Вѣрой.

— Разсказывайте, что̀ видѣли во снѣ, сказалъ ему Райскій:—скорѣе, скорѣе!

— Нѣтъ, я прежде разскажу! перебила Марѳинька.

— Ахъ, нѣтъ, позвольте, я видѣлъ отличный сонъ, торопился сказать Викентьевъ:—будто я....

— Нѣтъ, дайте мнѣ разсказать, говорила Марѳинька.

— Позвольте, Марѳа Васильевна, а то забуду, силился онъ переговорить ее:—ей-Богу, я-было и забылъ совсѣмъ: будто я иду...

Она зажала ему ротъ рукой.

— По порядку, по порядку! командовалъ Райскій:— слово за Марѳинькой. Марѳа Васильевна, извольте!

— Я, будто, бабушка... Послушай, Вѣрочка, какой сонъ! Слушайте, говорятъ вамъ, Николай Андреичъ, что вы не посидите!.. На дворѣ будто ночь лунная, свѣтлая, такъ пахнетъ цвѣтами, птицы поютъ...

— Ночью? сказалъ Викентьевъ.

— Соловьи все ночью поютъ! замѣтила бабушка, взглянувъ на нихъ обоихъ.

Марѳинька покраснѣла.

— Вотъ теперь сбили съ толку—я и не стану разсказывать!

— Нѣтъ, нѣтъ, говори, говорите! сказали всѣ, кромѣ Вѣры.

— Ну, вотъ, птицы...

— Птицы не поютъ ночью...

— Опять вы, Николай Андреичъ! не стану—вамъ говорятъ! А вотъ онъ ночью, бабушка, живо заговорила она, указывая на Викентьева:—храпитъ...

— Ты почемъ знаешь?

— Марина сказывала—она отъ Семена слышала...

— Это отъ золотухи: надо пить аверину траву, замѣтила Татьяна Марковна.

— Я боюсь кто храпитъ. Если бъ знала прежде, такъ бы...

Она вдругъ замолчала.

— Что жъ ты остановилась? спросилъ Райскій:—можно свадьбу разстроить. Въ самомъ дѣлѣ, если онъ тебѣ будетъ мѣшать спать по ночамъ...

Марѳинька покраснѣла, какъ вишня, и бросилась вонъ.

— Полно тебѣ, Борюшка! видишь, она договорилась до чего, да и сама не рада!

Викентьевъ догналъ Марѳиньку и привелъ назадъ.

— Я буду на ночь носъ ватой затыкать, Марѳа Васильевна, сказалъ онъ.

Марѳиньку усадили и заставили разсказывать сонъ.

— Вотъ, будто, я тихонько вошла въ графскій домъ, начала она:—прямо въ галлерею, гдѣ тамъ статуи стоятъ. Вошла я и притаилась, и смотрю, какъ мѣсяцъ освѣщалъ ихъ всѣ, а я стою въ темномъ углу: меня не видать, а я ихъ всѣхъ вижу. Только я стою, не дышу, все смотрю на нихъ. Всѣ переглядѣла—и Геркулеса съ палицей, и Діану, и потомъ Венеру, и еще эту съ совой, Минерву... И старика, котораго змѣи сжимаютъ... какъ бишь его зовутъ... Только вдругъ!... (Марѳинька сдѣлала испуганное лицо и оглядывалась по сторонамъ)—и теперь даже страшно—такъ живо представилось...

— Ну, что̀ вдругъ? спросила бабушка.

— Страшно, бабушка. Вдругъ, будто, статуи начали шевелиться. Сначала одна тихо, тихо повернула голову и посмотрѣла на другую, а та тоже тихо разогнула и, не спѣша, протянула къ ней руку: это Діана съ Минервой. Потомъ медленно приподнялась Венера—и не шагая... какой ужасъ!... подвинулась, какъ мертвецъ, плавно къ Марсу, въ каскѣ... Потомъ змѣи, какъ живыя, поползли около старика! онъ перегнулъ голову назадъ, у него лицо стали дергать судороги, какъ у живого, я думала, сейчасъ закричитъ! И другія всѣ плавно стали двигаться другъ къ другу, нѣкоторыя подошли къ окну и смотрѣли на мѣсяцъ... Глаза у всѣхъ каменныя, зрачковъ нѣтъ... Ухъ!

Она вздрогнула.

— Да, это поэтическій сонъ—я его запишу! сказалъ Райскій.

— Побѣжали дѣти въ разныя стороны, продолжала Марѳинька:—и все тихо, не перебирая ногами... Статуи какъ

будто совѣтовались другъ съ другомъ, наклоняли головы, шептались... Нимфы взялись за руки и кружились, глядя на мѣсяцъ...—Я вся тряслась отъ страха.—Сова встрепенулась крыльями и носомъ почесала себѣ грудь... Марсъ обнялъ Венеру, она положила ему голову на плечо, они стояли, всѣ другіе ходили, или сидѣли группами. Только Геркулесъ не двигался. Вдругъ и онъ поднялъ голову, потомъ началъ тихо выпрямляться, плавно подниматься съ своего мѣста. Большой такой, до потолка! Онъ обвелъ всѣхъ глазами, потомъ взглянулъ въ мой уголъ... и вдругъ задрожалъ, весь выпрямился, поднялъ руку; всѣ въ одинъ разъ взглянули туда же, на меня—на минуту остолбенѣли, потомъ всѣ кучей бросились прямо ко мнѣ...

— Ну, что̀ же вы, Мароа Васильевна? спросилъ Викентьевъ.

— Какъ я закричу!

— Ну?

— Ну, и проснулась—и съ полчаса все тряслась, хотѣла кликнуть Ѳедосью, да боялась пошевелиться—такъ до утра и не спала. Ужъ пробило семь, какъ я заснула.

— Прелесть—сонъ, Марѳинька! сказалъ Райскій.—Какой граціозный, поэтическій! Ты ничего не прибавила?

— Ахъ, братецъ, да гдѣ же мнѣ все это выдумать! Я такъ все вижу и теперь, что нарисовала бы, если бъ умѣла...

— Надо морковнаго соку выпить, замѣтила бабушка:— это кровь очищаетъ.

— Ну, теперь позвольте мнѣ... началъ Викентьевъ торопливо:—я будто иду по горѣ, къ собору, а навстрѣчу мнѣ будто Нилъ Андреичъ, на четверенькахъ, голый...

— Полно тебѣ, что это, сударь, при невѣстѣ!... остановила его Татьяна Марковна.

— Ей-Богу, правда...

— Это не хорошо, не къ добру...

— Говорите, говорите! одобрялъ Райскій.

— А верхомъ на немъ будто Полина Карповна, тоже...

— Перестанешь ли молоть? сказала Татьяна Марковна, едва удерживаясь отъ смѣху.

— Сейчасъ кончу. Сзади будто Маркъ Ивановичъ погоняетъ Тычкова полѣномъ, а впереди Опенкинъ, со свѣчей, и музыка...

Всѣ захохотали.

— Все сочинилъ, бабушка, сейчасъ сочинилъ, не вѣрьте ему! сказала Марѳинька.

— Ей-Богу, нѣтъ! и всѣ будто, завидя меня, бросились, какъ ваши статуи, ко мнѣ, я отъ нихъ: кричалъ, кричалъ, даже Семенъ пришелъ будить меня — ей-Богу правда, спросите Семена!...

— Ну, тебѣ, батюшка, ужо на ночь дамъ ревеню, или постнаго масла съ сѣрой. У тебя глисты должны быть. И ужинать не надо.

— Я напомню ужо бабушкѣ: вотъ вамъ! сказала Марѳинька Викентьеву.

— Ну, Вѣра, скажи твой сонъ—твоя очередь! обратился Райскій къ Вѣрѣ.

— Что такое я видѣла? старалась она припомнить:—да, молнію, громъ гремѣлъ—и кажется, всякій ударъ падалъ въ одно мѣсто...

— Какая страсть! сказала Марѳинька:—я бы закричала.

— Я была гдѣ-то на берегу, продолжала Вѣра: — у моря, передо мной какой-то мостъ, въ море. Я побѣжала по мосту,—добѣжала до половины; смотрю, другой половины нѣтъ, ее унесла буря...

— Все? спросилъ Райскій.

— Все.

— И этотъ сонъ хорошъ, и тутъ поэзія!

— Я не вижу обыкновенно сновъ, или забываю ихъ, сказала она:—а сегодня у меня былъ ознобъ: вотъ вамъ и поэзія!

— Да вѣдь все дѣло въ ознобѣ и жарѣ; худо когда ни того, ни другого нѣтъ.

— А вы, братецъ? теперь вамъ говорить! напомнила ему Марѳинька.

— Вообразите, я всю ночь леталъ.

— Какъ летали?

— Такъ: будто крылья явились.

— Это бываетъ къ росту, сказала бабушка:—кажется, тебѣ ужъ не кстати бы...

— Я сначала попробовалъ полетѣть по комнатѣ, продолжалъ онъ:—отлично! Вы всѣ сидите въ залѣ, на стульяхъ, а я, какъ муха, подъ потолокъ залетѣлъ. Вы на меня кричать, пуще всѣхъ бабушка. Она даже велѣла Якову ткнуть меня половой щеткой, но я пробилъ головой окно, вылетѣлъ и взвился надъ рощей... Какая прелесть, какое новое, чудесное ощущеніе! Сердце бьется, кровь замираетъ, глаза видятъ далеко. Я то поднимусь, то опущусь—и когда однажды поднялся очень высоко, вдругъ вижу, изъ-за куста, въ меня цѣлится изъ ружья Маркъ...

— Этотъ всѣмъ снится: вотъ сокровище далось: какъ пугало, сказала Татьяна Марковна.

— Я его вчера видѣлъ съ ружьемъ—на островѣ, онъ и приснился. Я ему сталъ кричать изо-всей мочи, во снѣ, продолжалъ Райскій:—а онъ будто не слышитъ, все цѣлится... наконецъ...

— Ну, братецъ,—ахъ, это интересно...

— Ну, я и проснулся!

— Только? ахъ, какъ жаль! сказала Марѳинька.

— А тебѣ хотѣлось, чтобъ онъ меня застрѣлилъ?

— Чего добраго, отъ него станется и на яву, ворчала бабушка.—А что, онъ отдалъ тебѣ восемьдесятъ рублей?

— Нѣтъ, бабушка, я не спрашивалъ.

— Всѣ вы мало Богу молитесь, ложась спать, сказала она:—вотъ что! А какъ погляжу, такъ всѣмъ надо горькой соли дать, чтобъ чепуха не лѣзла въ голову.

— А вы, бабушка, видѣли какой-нибудь сонъ? разскажите. Теперь ваша очередь! обратился къ ней Райскій.

— Стану я пустяки болтать!

— Разскажите, бабушка! пристала и Марѳинька.

— Бабушка, позвольте, я разскажу за васъ, что̀ вы видѣли? вызвался Викентьевъ.

— А ты почемъ знаешь бабушкины сны?

— Я угадаю.

— Ну, угадывай.

— Вамъ снилось, началъ онъ: — что мужики отвезли хлѣбъ на базаръ, продали и пропили деньги. Это во-первыхъ...

Всѣ засмѣялись.

— Какой отгадчикъ! сказала бабушка.

— Во-вторыхъ, что Яковъ, Егоръ, Прохоръ и Мотька, пьяные, забрались на сѣновалъ, закурили трубки и надѣлали пожаръ...

— Типунъ тебѣ, право—болтунъ этакій! Поди, я уши надеру!

— Въ-третьихъ, что всѣ дѣвки и бабы, въ одинъ вечеръ, съѣли все варенье, яблоки, растаскали сахаръ, кофе...

Опять смѣхъ.

— Что Савелій до смерти убилъ Марину...

— Полно, тебѣ говорятъ!... унимала сердито Татьяна Марковна.

— И, наконецъ, торопливо досказывалъ онъ, такъ что на зубахъ вскочилъ пузырь: — что земская полиція въ деревнѣ велѣла дѣлать мостовую и тротуары, а въ домѣ поставили роту солдатъ...

— Вотъ, я-же тебя, я-же тебя—на, на, на! говорила бабушка, вставъ съ мѣста и поймавъ Викентьева за ухо.— А еще женихъ—болтаетъ вздоръ какой!

— А ловко, мастерски подобралъ! поощрялъ Райскій. Марѳинька смѣялась до слезъ, и даже Вѣра улыбалась. Бабушка сѣла опять.

— Это вамъ только лѣзетъ въ голову такая безтолочь! сказала она.

— Видите же и вы какіе-нибудь сны, бабушка? замѣтилъ Райскій.

— Вижу, да не такіе безобразные и страшные, какъ вы всѣ.

— Ну, что̀, напримѣръ, видѣли сегодня?

Бабушка стала припоминать.

— Видѣла что-то, постойте... Да: поле видѣла, на немъ будто лежитъ... снѣгъ.

— А еще? спросилъ Райскій.

— А на снѣгу щепка...

— И все?

— Чего жъ еще? И слава Богу, кричать и метаться не нужно!

## XXII.

Весь день всѣ просидѣли, какъ мокрыя куры, рано разошлись и легли спать. Въ десять часовъ вечера все умолкло въ домѣ. Между тѣмъ дождь пересталъ. Райскій надѣлъ пальто, пошелъ пройтись около дома. Ворота были заперты, на улицѣ стояла непроходимая грязь, и Райскій пошелъ въ садъ.

Было тихо, кусты и деревья едва шевелились, съ нихъ капалъ дождь. Райскій обошелъ раза три садъ и прошелъ черезъ огородъ, чтобъ посмотрѣть, что дѣлается въ полѣ и на Волгѣ.

Темнота. На горизонтѣ скопились удалявшіяся облака и только высоко надъ головой слабо мерцали кое-гдѣ звѣзды. Онъ вслушивался въ эту тишину и всматривался въ темноту, ничего не слыша и не видя.

Направо туманъ; лѣвѣе чернымъ пятномъ лежала деревня, дальше безразличной массой стлались поля. Онъ дохнулъ въ себя раза два сырого воздуха и чихнулъ.

Вдругъ онъ услышалъ, что въ старомъ домѣ отворяется окно. Онъ взглянулъ вверхъ, но окно, которое отворилось, выходило не къ саду, а въ поле, и онъ поспѣшилъ въ бесѣдку изъ акацій, перепрыгнулъ черезъ заборъ и попалъ въ лужу, но остался на мѣстѣ, не шевелясь.

— Это вы? спросилъ шопотомъ кто-то изъ окна нижняго этажа, — конечно Вѣра, потому что въ старомъ домѣ никого, кромѣ ея, не было.

У Райскаго затряслись колѣни, однако онъ невнятнымъ шопотомъ отвѣчалъ:—Я.

— Сегодня я не могла выйти—дождикъ шелъ цѣлый день; завтра приходите туда же въ десять часовъ... Уйдите скорѣе, кто-то идетъ!

Окно тихо затворилось. Райскій все стоялъ.

— Куда „туда же!“ спрашивалъ онъ мучительно себя, проклиная чьи-то шаги, помѣшавшіе услышать продолженіе разговора. „Боже! такъ это правда:—тайна есть (а онъ все не вѣрилъ) — письмо на синей бумагѣ — не сонъ! Свиданія! Вотъ она, таинственная „Ночь!“ А мнѣ проповѣдывала о нравственности!“

Онъ пошелъ навстрѣчу шагамъ.

— Кто тутъ! громко закричалъ голосъ, и съ этимъ

вопросомъ идущій навстрѣчу началъ колотить что есть мочи въ доску.

— Ну, тебя къ чорту! съ досадой сказалъ Райскій, отталкивая Савелья, который торопливо подошелъ къ нему:—Давно ли ты сталъ домъ стеречь?

— Барыня приказали, отвѣчалъ Савелій:—мошенники въ здѣшнихъ мѣстахъ есть... бѣглые... тоже изъ бурлаковъ ходятъ шалить...

— Врешь все! съ досадой продолжалъ Райскій: — ты подглядываешь за Мариной: это... скверно.—хотѣлъ онъ сказать, но не договорилъ и пошелъ.

— Позвольте о Маринѣ слово молвить! остановилъ его Савелій.

— Ну?

— Нельзя ли ее въ полицію отправить?

— Ты съ ума сошелъ, сказалъ Райскій, уходя. Савелій за нимъ.

— Сдѣлайте божескую милость, говорилъ онъ:—хоть въ Сибирь сошлите ее!

Райскій погруженъ былъ въ свой новый „вопросъ" о разговорѣ Вѣры изъ окна, и продолжалъ идти.

— Или хоша въ рабочій домъ—на всю жисть... говорилъ Савелій, не отставая отъ него.

— За что? спросилъ вдругъ Райскій, остановившись.

— Да опять того... почтальонъ ходитъ все... Плетьми бы приказали ее высѣчь...

— Тебя! сказалъ Райскій:—чтобъ ты не дрался...

— Воля ваша!

— Да не подсматривалъ! это... скверно... сквозь зубы проговорилъ онъ, взглянувъ на окно Вѣры.

Онъ ушелъ, а Савелій неистово застучалъ въ доску.

Райскій почти не спалъ цѣлую ночь и на другой день явился въ кабинетъ бабушки съ сухими и горячими гла-

зами. День былъ ясный. Всѣ собрались къ чаю. Вѣра весело поздоровалась съ нимъ. Онъ лихорадочно пожалъ ей руку и пристально поглядѣлъ ей въ глаза. Она — ничего, ясна и покойна.

— Какъ ты кокетливо одѣта сегодня! сказалъ онъ.

— Вы находите простенькую палевую блузу кокетливой?

— А пунцовая лента, а прическа, съ длинной, небрежно брошенной прядью волосъ на плечо, а поясъ съ этимъ изящнымъ бантомъ, ботинки, прошитыя пунцовымъ шелкомъ! У тебя бездна вкуса, Вѣра, я восхищаюсь!

— Очень рада, что нравлюсь вамъ; только вы какъ-то странно восхищаетесь. Скажите, отчего?

— Хорошо, скажу, пойдемъ гулять.

— Когда?

— Въ десять часовъ.

Она быстро и подозрительно взглянула на него. Онъ замѣтилъ этотъ взглядъ.

„Напрасно я сказалъ такъ опредѣлительно — въ *десять часовъ*“ — подумалъ онъ: „надо бы было сказать *часовъ въ десять*... Она догадалась...“

— Хорошо, пойдемте! согласилась она подумавши: — теперь еще рано, нѣтъ десяти часовъ.

Она сѣла въ уголъ и молчала, избѣгая его взглядовъ и не отвѣчая на вопросы. Въ исходѣ десятаго она взяла рабочую корзинку, зонтикъ и сдѣлала ему знакъ идти за собой.

Они шли молча по аллеѣ отъ дома, свернули въ другую, прошли садъ, наконецъ остановились у обрыва. Тутъ была лавка. Они сѣли.

— Вѣра! началъ онъ, едва превозмогая смущеніе: — я нечаянно, кажется, узналъ часть твоего секрета...

— Да, кажется! холодно сказала она: — вчера вы подслушали мои слова...

— Нечаянно, клянусь тебѣ честью...

— Вѣрю, перебила она, взглянувъ на него мелькомъ: — ну, что же?

— Ничего... Итакъ... ты любишь кого-то! Сомнѣнія исчезли и... Но кто же онъ?

— Не скажу, не спрашивайте! сухо сказала она.

Онъ вздохнулъ.

— Самъ знаю, что глупо спрашивать, а хочется знать. Кажется, я бы... Ахъ, Вѣра, Вѣра—кто же дастъ тебѣ больше счастья, нежели я? Почему же ты *ему* вѣришь, а мнѣ нѣтъ? Ты меня судила такъ холодно, такъ строго, а кто тебѣ сказалъ, что тотъ, кого ты любишь, дастъ тебѣ счастья больше, нежели на полгода?—Почему ты вѣришь?

— Потому что люблю!

— Любишь! съ жалостью сказалъ онъ: — Боже мой, какой счастливецъ! И чѣмъ онъ заплатитъ тебѣ за громадность счастья, которое ты даешь? Ты любишь, другъ мой, будь осторожна: кому ты вѣришь?...

— Пока еще самой себѣ...

— Кого ты любишь?

— Кого?... повторила она, глядя на него пристально безцвѣтнымъ, загадочнымъ „русалочнымъ" взглядомъ. — Да васъ...

У него захватило-было духъ.

Внизу въ рощѣ раздался въ это время выстрѣлъ.

Она быстро встала со скамьи.

— А это что: это... онъ? спросилъ Райскій, мѣняясь въ лицѣ.

— Мнѣ пора — десять часовъ! сказала она, видимо встревоженная, стараясь не глядѣть на Райскаго.

Она подошла къ обрыву, онъ ступилъ шагъ за ней. Она сдѣлала ему знакъ рукой, чтобъ онъ остался.

— Что значитъ этотъ выстрѣлъ? спросилъ онъ съ испугомъ.

— Меня зоветъ...

— Кто?

— Авторъ синяго письма... Ни шагу за мной! шепнула она ему сильно:—если не хотите, чтобъ я...

— Вѣра!

— Ни шагу — никогда! повторила она, спускаясь съ обрыва:—или я оставлю домъ навсегда!

Она скользнула въ кусты.

— Вѣра, Вѣра! Берегись! кричалъ онъ въ отчаяніи и сталъ слушать.

Онъ слышалъ только, какъ раза два подъ ея торопливыми шагами затрещали сухія вѣтки, потомъ настала тишина.

— Боже мой! въ отчаянной зависти вскрикнулъ онъ.— Кто онъ, кто этотъ счастливецъ?...

„Люблю васъ!“ говоритъ она. Меня! Что, если правда... А выстрѣлъ? шепталъ онъ въ ужасѣ:—а авторъ синяго письма? Что за тайна! кто это?...

## XXIII.

А никто другой, какъ Маркъ Волоховъ, этотъ парія, циникъ, ведущій бродячую, цыганскую жизнь, занимающій деньги, стрѣляющій въ живыхъ людей, объявившій, какъ Карлъ Моръ, по словамъ Райскаго, войну обществу, живущій подъ присмотромъ полиціи, словомъ отверженецъ, „Варрава!“

И какъ Вѣра, это изящное созданіе, взлелѣянное подъ крыломъ бабушки, въ уютномъ, какъ ласточкино гнѣздо, уголкѣ, этотъ перлъ, по красотѣ, всего края, на которую робко обращались взгляды лучшихъ жениховъ, передъ которой робѣли смѣлые мужчины, не смѣя бросить на нее нескромнаго взгляда, рискнуть любезностью или комплиментомъ, — Вѣра, покорившая даже самовластную бабушку,

Вѣра, на которую вѣтерокъ не дохнулъ — вдругъ идетъ тайкомъ на свиданіе съ опаснымъ, подозрительнымъ человѣкомъ! Гдѣ она сошлась и познакомилась съ нимъ, когда ему загражденъ доступъ во всѣ дома?

Очень просто и случайно. Въ концѣ прошлаго лѣта, передъ осенью, когда поспѣли яблоки и пришла пора собирать ихъ, Вѣра сидѣла однажды вечеромъ въ маленькой бесѣдкѣ изъ акацій, устроенной надъ заборомъ, близъ стараго дома, и глядѣла равнодушно въ поле, потомъ вдаль на Волгу, на горы. Вдругъ она замѣтила, что въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея, въ фруктовомъ саду, вѣтви одной яблони нагибаются черезъ заборъ.

Она наклонилась и увидѣла покойно сидящаго на заборѣ человѣка, судя по платью и по лицу, не простолюдина, не лакея, а по лѣтамъ — не школьника. Онъ держалъ въ рукахъ нѣсколько яблокъ и готовился спрыгнуть.

— Что вы тутъ дѣлаете? вдругъ спросила она.

Онъ поглядѣлъ на нее съ минуту.

— Вы видите, лакомлюсь.

Онъ закусилъ одно яблоко.

— Не хотите ли? говорилъ онъ, подвигаясь къ ней по забору и предлагая ей другое.

Она отступила отъ забора на шагъ и глядѣла на него съ любопытствомъ, но безъ страха.

— Кто вы такой? сказала она строго: — и зачѣмъ лазите по чужимъ заборамъ?

— Кто я такой — до того вамъ нужды нѣтъ. А зачѣмъ лазаю по заборамъ — я ужъ вамъ сказалъ: за яблоками.

— И вамъ не совѣстно? Вы, кажется, не мальчикъ.

— Чего совѣститься?

Онъ усмѣхнулся.

— Брать тихонько чужія яблоки! упрекнула она.

— Они мои, а не чужія: *вы* воруете ихъ у меня!

Она молчала, продолжая смотрѣть на него съ любопытствомъ.

— Вы вѣрно не читали Прудона, сказалъ онъ и взглянулъ на нее пристально.—Да какая вы красавица! вдругъ прибавилъ онъ потомъ, какъ въ скобкахъ.—Что̀ Прудонъ говоритъ, не знаете?

— La propriété c'est le vol, сказала она.

— Читали! съ удивленіемъ произнесъ онъ, глядя на нее во всѣ глаза.

Она отрицательно покачала головой.

— Ну, слышали: эта божественная истина обходитъ весь міръ. Хотите, принесу Прудона? Онъ у меня есть.

— Вы не мальчикъ, повторила она:—а воруете чужія яблоки и вѣрите, что это не воровство, потому что г. Прудонъ сказалъ...

Онъ быстро взглянулъ на нее.

— Вы вѣрите же тому, что̀ вамъ сказали въ пансіонѣ или институтѣ... или... Да скажите, вы кто? Это сад Бережковой—вы не внучка ли ея? Мнѣ говорили, что у ней есть двѣ внучки, красавицы...

— Что̀ вамъ за дѣло, кто я,—и я скажу?

— Ну, такъ вы вѣрите же въ истины, что̀ преподала вамъ бабушка...

— Я вѣрю тому, что̀ меня убѣждаетъ.

Онъ снялъ фуражку и поклонился.

— И я тоже. Такъ вы считаете преступнымъ, что я беру эти яблоки...

— Неприличнымъ.

— И убѣждены въ этомъ?

— Да.

— Я хоть не убѣжденъ, но уступаю вамъ: возьмите остальные четыре яблока! сказалъ онъ, подавая ихъ ей.

— Я ихъ дарю вамъ.

*

Онъ опять снялъ фуражку, иронически поклонился ей и закусилъ другое яблоко.

— Вы красавица, повторилъ онъ:—вдвойнѣ красавица. И хороши собой и умны. Жаль, если украсите собой существованіе какого-нибудь идіота. Васъ отдадутъ, бѣдную...

— Пожалуйста, безъ сожалѣній! Не отдадутъ, я—не яблоко...

— Кстати о яблокахъ: въ благодарность за подарокъ, я вамъ принесу книгъ. Вы любите читать?

— Прудона?

— Да, съ братіей. У меня все новое есть. Только вы не показывайте тамъ бабушкѣ, или тупоумнымъ вашимъ гостямъ. Я хотя и не знаю васъ, а вѣрю, что вы не связываетесь съ ними...

— Почему вы знаете? вы пять минутъ видите меня...

— Шила въ мѣшкѣ не утаишь. Сразу видно,—свободный умъ—стало-быть вы живая, а не мертвая: это главное. А остальное все придетъ, нуженъ случай. Хотите, я...

— Ничего не хочу:—„свободный умъ“ сами говорите, а ужъ хотите завладѣть имъ. Кто вы и съ чего взяли учить?

Онъ съ удивленіемъ поглядѣлъ на нее.

— Ни книгъ не носите, ни сами больше не ходите сюда, сказала она, отходя отъ забора.—Здѣсь сторожъ есть: онъ поймаетъ васъ—нехорошо!

— Вотъ опять понесло отъ васъ бабушкой, городомъ и постнымъ масломъ! А я думалъ, что вы любите поле и свободу. Вы не боитесь ли меня? Кто̀ я такой, какъ вы думаете?

— Не знаю, семинаристъ, должно-быть, сказала она небрежно.

Онъ засмѣялся

— Почему вы думаете?

— Они неопрятны, бѣдно одѣты, всегда голодны... Подите на кухню, я велю васъ накормить.

— Покорно благодарю. Кромѣ этого, вы ничего другого въ семинаристахъ не замѣтили?

— Я ни съ однимъ не знакома и мало видѣла ихъ. Они такіе неотесанные, говорятъ смѣшно...

— Это наши настоящіе миссіонеры, нужды нѣтъ, что говорятъ смѣшно? „Немощные и худородные“—именно тѣ, кого нужно. Они пока со слѣпа лѣзутъ на огонь, да усердно...

— На какой огонь?

— На свѣтъ, къ новой наукѣ, къ новой жизни... Развѣ вы ничего не знаете, не слыхали? Какая же вы...

— Что̀ же семинаристы?

— Ихъ держатъ въ потемкахъ, умы питаютъ мертвечиной и вдобавокъ порютъ нещадно; вотъ кто позадорнѣе изъ нихъ, да еще изъ кадетъ—этихъ вовсе не питаютъ, а только порютъ—и падки на новое, рвутся изъ всѣхъ силъ—изъ потемокъ къ свѣту... Народъ молодой, здоровый, свѣжій, проситъ воздуха и пищи, а намъ такихъ и надо...

— Кому *намъ?*

— Кому? сказать? Новой, грядущей силѣ...

— Такъ вы —„новая, грядущая сила?“ спросила она, глядя на него съ любопытствомъ и ироніей. —Да кто вы такой? Или имя ваше—тайна?

— Имя? вы не испугаетесь?

— Не знаю, можетъ-быть: говорите.

— Маркъ Волоховъ. Вѣдь это все равно здѣсь, въ этомъ промозгломъ углу, что Пугачевъ или Стенька Разинъ.

Она опять съ любопытствомъ поглядѣла на него.

— Вотъ вы кто! сказала она.—Вы, кажется, хвастаетесь своимъ громкимъ именемъ! Я слышала ужъ о васъ. Вы стрѣляли въ Нила Андреича и травили одну даму собакой... Это „новая сила“? Уходите—да больше не являйтесь сюда...

— А то бабушкѣ пожалуетесь?

— Непремѣнно. Прощайте!

Она сошла съ бесѣдки и не слыхала его послѣднихъ словъ. А онъ жадно слѣдилъ за ней глазами.

— Вотъ если бъ это яблоко украсть! проговорилъ онъ, прыгая на землю.

Однако она бабушкѣ не сказала ни слова, а разсказала только своей пріятельницѣ, Натальѣ Ивановнѣ, обязавъ ее тоже никому не говорить.

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

## I.

Вѣра, разставшись съ Райскимъ, еще подождала, чутко вслушиваясь, не слѣдуетъ ли онъ за ней, и вдругъ бросилась въ кусты, раздвигая вѣтви зонтикомъ и скользя, какъ тѣнь, по знакомой ей тропинкѣ.

Она пробралась къ развалившейся и полусгнившей бесѣдкѣ въ лѣсу, который когда-то составлялъ часть сада. Крыльцо отдѣлилось отъ нея, ступени разсохлись, полъ въ ней осѣлъ, и нѣкоторыя доски провалились, а другія шевелились подъ ногами. Оставался только покривившійся на бокъ столъ, да двѣ скамьи, когда-то зеленыя, и уцѣлѣла еще крыша, заросшая мхомъ.

Въ бесѣдкѣ сидѣлъ Маркъ. На столѣ лежало ружье и кожаная сумка.

Онъ подалъ Вѣрѣ руку и почти втащилъ ее въ бесѣдку по сломаннымъ ступенямъ.

— Что такъ поздно?

— Братъ задержалъ, сказала она, поглядѣвъ на часы.— Впрочемъ, я только четверть часа опоздала. Ну, что вы? ничего не случилось новаго?

— А что должно случиться? спросилъ онъ:—развѣ вы ждали?

— Не посадили ли на гауптвахту опять, или въ полицію? Я каждый день жду...

— Нѣтъ, я теперь сталъ осторожнѣе, послѣ того, какъ Райскій порисовался и великодушничалъ, взялъ на себя исторію о книгахъ...

— Вотъ этого я не люблю въ васъ, Маркъ...

— Чего „этого?“

— Какой-то сухости, даже злости ко всему, кромѣ себя. Братъ не рисовался совсѣмъ, онъ даже не сказалъ мнѣ. Вы не хотите оцѣнить доброй услуги.

— Я цѣню по-своему.

— Какъ волкъ оцѣнилъ услугу журавля. Ну, чтобы сказать ему „спасибо“ отъ души, просто, какъ онъ просто сдѣлалъ? Прямой вы волкъ! заключила она, замахнувшись ласково зонтикомъ на него.—Все отрицать, порицать, коситься на всѣхъ... Гордость это, или...

— Или что?

— Тоже рисовка, позированье, новый образъ воспитанія „грядущей силы...“

— Ахъ, вы насмѣшница! сказалъ онъ, садясь подлѣ нея:—вы еще молоды, не пожили, не успѣли отравиться всѣми прелестями добраго стараго времени. Когда я научу васъ человѣческой правдѣ?

— А когда я отучу васъ отъ волчьей лжи?

— За словомъ въ карманъ не ходите: умница! Съ вами не скучно. Если бъ еще къ этому...

Онъ почесалъ задумчиво голову.

— Въ полицію посадили! договорила она.—Кажется, только этого не достаетъ для вашего счастья!

— Не будь васъ, давно бы куда-нибудь упекли. Вы мѣшаете...

— Вамъ скучно жить мирно, бури хочется! А обѣщали мнѣ и другую жизнь, и чего-чего не обѣщали! Я была такъ счастлива, что даже дома замѣтили экстазъ. А вы опять за свое!

Онъ взялъ ее за руку.

— Хорошенькая рука, сказалъ онъ, цѣлуя нѣсколько разъ и потянулся поцѣловать ее въ щеку, но она отодвинулась.

— Опять нѣтъ! Скоро ли это воздержаніе кончится? Вы, должно-быть, боитесь Успенскаго поста? Или бережете ласки для...

— Не люблю я, когда вы шутите! отдернувъ руку, сказала она.—Вы это знаете.

— Тонъ нехорошъ?

— Да, непріятный. Прежде отучитесь отъ него, и вообще отъ этихъ волчьихъ манеръ! это и будетъ первый шагъ къ человѣческой правдѣ!

— Ахъ вы барышня! дѣвочка! На какой еще азбукѣ сидите вы: на манерахъ да на тонѣ! Какъ медленно развиваетесь вы въ женщину! Передъ вами свобода, жизнь, любовь, счастье—а вы разбираете тонъ, манеры! Гдѣ же человѣкъ, гдѣ женщина въ васъ?... Какая тутъ „правда!"

— Вотъ теперь, какъ Райскій, заговорили...

— А что онъ, все страстенъ?

— Еще больше. Я не знаю, право, что съ нимъ дѣлать.

— Что? Дурачить, тянуть...

— Гадко, неловко, совѣстно, сказала она, качая головой.—И не умѣю я, это не мое дѣло!

— Совѣстно! вы думаете, онъ не дурачитъ васъ?

Она покачала съ сомнѣніемъ головой.

— Нѣтъ, онъ, кажется, увлекается...

— Тѣмъ хуже; онъ ухаживаетъ, какъ за своей крѣпостной. Эти стихи, что вы мнѣ показывали, отрывки вашихъ разговоровъ—все это ясно, что онъ ищетъ развлеченія. Надо его проучить...

— Лучше все открыть ему—онъ уѣдетъ. Онъ говоритъ,

что тайна поддерживаетъ въ немъ раздраженіе и что если онъ узнаетъ все, то успокоится и уѣдетъ...

— Вретъ, не вѣрьте, хитритъ. А лишь узнаетъ, то возненавидитъ васъ, или будетъ читать мораль, еще скажетъ, пожалуй, бабушкѣ...

— Боже сохрани! перебила Вѣра, вздрогнувъ:—если ей скажетъ кто-нибудь другой, а не мы сами... Ахъ, скорѣе бы! Уѣхать мнѣ развѣ на время?..

— Куда вы уѣдете! Надолго—нельзя и некуда, а не надолго—только раздражите его. Вы уѣзжали, что жъ вышло? Нѣтъ, одно средство, не показывать ему истины, а водить. Пусть поретъ горячку, читаетъ стихи, смотритъ на луну... Вѣдь онъ неизлечимый романтикъ... Послѣ отрезвится и уѣдетъ...

Она вздохнула въ отвѣтъ.

— Онъ не романтикъ, а поэтъ, артистъ, сказала она.—Я начинаю вѣрить въ него. Въ немъ много чувства, правды... Я ничего не скрыла бы отъ него, если бъ у него у самого не было ко мнѣ того, что̀ онъ называлъ страстью. Только чтобъ его немного охладить, я рѣшаюсь на эту глупую, двойную роль... Лишь отрезвится, я сейчасъ ему скажу первая все—и мы будемъ друзья...

— Да ну его! сказалъ Маркъ, взявъ ее опять за руку.—Мы не затѣмъ сошлись, чтобъ заниматься имъ.

Онъ молча цѣловалъ у ней руку. Она задумчиво отдала ее ему на волю.

— Ну, что̀ же вы? спросила она, отряхивая задумчивость.

— А что?

— Что̀ дѣлали, съ кѣмъ видѣлись это время? не проговорились ли опять чего-нибудь о „грядущей силѣ", да о „зарѣ будущаго", о „юныхъ надеждахъ?" Я такъ и жду каждый день; иногда отъ страха и тоски не знаю куда дѣться!

— Нѣтъ, нѣтъ, смѣясь сказалъ Маркъ:—не бойтесь. Я бросилъ этихъ скотовъ: не стоитъ съ ними связываться.

— Ахъ, дай Богъ: умно бы сдѣлали! Вы хуже Райскаго въ своемъ родѣ, вамъ бы нужнѣе былъ урокъ. Онъ артистъ, рисуетъ, пишетъ повѣсти. Но я за него не боюсь, а за васъ у меня душа не покойна. Вонъ у Лозгиныхъ младшій сынъ, Володя,—ему четырнадцать лѣтъ—и тотъ вдругъ объявилъ матери, что не будетъ ходить къ обѣднѣ.

— Что же?

— Высѣкли, стали добираться—отчего? На старшаго показалъ. А тотъ забрался въ дѣвичью, да горничнымъ цѣлый вечеръ проповѣдывалъ, что глупо ѣсть постное, что Бога нѣтъ и что замужъ выходить нелѣпо...

— Ахъ! съ ужасомъ произнесъ Маркъ.—Ужели это правда: въ дѣвичьей! А я съ нимъ цѣлый вечеръ, какъ съ путнымъ, говорилъ, далъ ему книгъ и...

— Ужъ онъ въ книжную лавку ходилъ съ ними: „вотъ бы, говоритъ купцамъ, какими книгами торговали!..“ Ну, если онъ проговорится про васъ, Маркъ! съ глубокимъ и нѣжнымъ упрекомъ сказала Вѣра:—То ли вы обѣщали мнѣ всякій разъ, когда разставались и просили видѣться опять?

— Все это было давно; теперь я не связываюсь съ ними, послѣ того какъ обѣщалъ вамъ. Не браните меня, Вѣра! нахмурясь, сказалъ Маркъ.

Онъ тяжело задумался.

— Если бъ не вы, сказалъ онъ, взявъ ее опять за руку:—завтра бѣжалъ бы отсюда.

— А куда? Вездѣ все то же: вездѣ есть мальчики, которымъ хочется, чтобъ поскорѣй усы выросли, и дѣвичьи тоже всюду есть... Вѣдь взрослые не станутъ слушать. И вамъ не стыдно своей роли? сказала она, помолчавъ и перебирая рукой его волосы, когда онъ наклонился лицомъ къ ея рукѣ.—Вы вѣрите въ нее, считаете ее, не шутя, призваніемъ?

Онъ поднялъ голову.

— Роль,—какую роль? вспрыснуть живой водой мозги?

— А вы убѣждены, что это живая вода?

— Послушайте. Вѣра, я не Райскій, продолжалъ онъ, вставъ со скамьи.—Вы женщина, и еще не женщина, а почка, васъ еще надо развернуть, обратить въ женщину. Тогда вы узнаете много тайнъ, которыхъ и не снится дѣвичьимъ головамъ, и которыхъ растолковать нельзя: онѣ доступны только опыту... Я зову васъ на опытъ, указываю, гдѣ жизнь и въ чемъ жизнь, а вы остановились на порогѣ и уперлись. Обѣщали такъ много, а идете впередъ такъ туго—и еще учить хотите. А главное—не вѣрите!

— Не сердитесь, сказала она груднымъ голосомъ, отъ сердца, искренно:—я соглашаюсь съ вами въ томъ, что̀ кажется мнѣ вѣрно и честно, и если нейду рѣшительно на эту вашу жизнь и на опыты, такъ это потому, что хочу сама знать и видѣть, куда иду.

— То-есть хочу разсуждать!

— Чего же вы требуете? чтобъ я не разсуждала?

— Чего, чего! повторилъ онъ:—во-первыхъ, я люблю васъ и требую отвѣта полнаго... А потомъ вѣрьте мнѣ и слушайтесь! Развѣ во мнѣ меньше пыла и страсти, нежели въ вашемъ Райскомъ, съ его поэзіей? Только я не умѣю говорить о ней поэтически, да и не надо. Страсть не разговорчива... А вы не вѣрите, не слушаетесь!...

— Посмотрите, чего вы хотите, Маркъ: чтобъ я была глупѣе самой себя! Сами проповѣдывали свободу, а теперь хотите быть господиномъ, и топаете ногой, что я не покоряюсь рабски...

— Если у васъ нѣтъ довѣрія ко мнѣ, васъ одолѣваютъ сомнѣнія, оставимъ другъ друга, сказалъ онъ:— такъ наши свиданія продолжаться не могутъ...

— Да, лучше оставимъ, сказала и она рѣшительно.—

а я слѣпо никому и ничему не хочу вѣрить, не хочу! Вы уклоняетесь отъ объясненій, тогда какъ я только вижу во снѣ и на яву, чтобъ между нами не было никакого тумана, недоразумѣній, чтобъ мы узнали другъ друга и вѣрили... А я не знаю васъ и... не могу вѣрить!

— Ахъ, Вѣра! сказалъ онъ съ досадой:—вы все еще, какъ цыпленокъ, прячетесь подъ юбки вашей насѣдки бабушки: у васъ есть понятія о нравственности. Страсть одѣваете въ какой-то фантастическій нарядъ, какъ Райскій... Чѣмъ бы прямо отъ опыта допроситься истины... и тогда повѣрили бы... говорилъ онъ, глядя въ сторону. — Оставимъ всѣ прочіе вопросы—я не трогаю ихъ. Дѣло у насъ прямое и простое, мы любимъ другъ друга... Такъ или нѣтъ?

— Что же, Маркъ, изъ этого?

— Ну, если мнѣ не вѣрите, такъ посмотрите кругомъ. Весь вѣкъ живете въ полѣ и лѣсу и не видите этихъ опытовъ... Смотрите сюда, смотрите тамъ...

Онъ показалъ ей на кучку кружившихся другъ около друга голубей, потомъ на мелькнувшихъ одна въ догонку другой ласточекъ.—Учитесь у нихъ, они не умничаютъ!

— Да, сказала она:—смотрите и вы: вонъ они кружатся около гнѣздъ.

Онъ отвернулся.

— Вонъ одна опять полетѣла, вѣроятно за кормомъ...

— И къ зимѣ всѣ разлетятся! небрежно, глядя въ сторону, говорилъ онъ.

— А къ веснѣ воротятся опять въ то же гнѣздо, замѣтила она.

— Я вотъ слушаюсь васъ и вѣрю, когда вижу, что вы дѣло говорите, сказалъ онъ.—Васъ смущала рѣзкость во мнѣ,—я сдерживаюсь. Отыскалъ я старыя манеры и скоро буду, какъ Титъ Никонычъ, шаркать ножкой, кланяясь, и

улыбаться. Не бранюсь, не ссорюсь, меня не слыхать. Пожалуй, скоро ко всенощной пойду... Чего еще!

— Все это шутки:—не того хотѣла я! сказала она, вздохнувъ.

— Чего же?

— Всего! Если не всего, такъ многаго! И до сихъ поръ не добилась, чтобъ вы поберегли себя... хоть для меня, перестали бы „вспрыскивать мозги" и остались здѣсь, были бы, какъ другіе...

— А если я дѣйствую по убѣжденію?

— Чего вы хотите, чего надѣетесь?

— Учу дураковъ!

— Чему? знаете ли сами? Тому ли, о чемъ мы съ вами годъ здѣсь споримъ? вѣдь жить такъ нельзя, какъ вы говорите. Это все очень ново, смѣло, занимательно...

— Э! мы опять за то же! опять съ горы потянуло мертвымъ воздухомъ! перебилъ Маркъ.

— Вотъ и весь вашъ отвѣтъ, Маркъ! сказала она кротко:—все прочь, все ложь,—а что правда—вы сами не знаете... Оттого я и не довѣрчива...

— У васъ рефлексія беретъ верхъ надъ природой и страстью, сказалъ онъ:—вы барышня, замужъ хотите! Это не любовь!.. Это скучно! Мнѣ надо любви, счастья... твердилъ онъ, качая головой.

Вѣра вспыхнула.

— Если бъ я была барышня и хотѣла только замужъ, то конечно выбрала бы для этого кого-нибудь другого, Маркъ, сказала она, вставая съ мѣста.

— Простите—я грубъ! извинялся онъ, цѣлуя у ней руку.—Но вы сдерживаете чувство, медлите чего-то, допытываетесь, вмѣсто того, чтобъ наслаждаться...

— Допытываюсь, кто̀ и что̀ вы, потому что не шучу чувствомъ. А вы на него смотрите легко, какъ на развлеченіе...

— Нѣтъ, какъ на насущную потребность, слѣдовательно тоже не шучу... Какія шутки! Я не сплю по ночамъ, какъ Райскій. Это пытка! Я никогда не думалъ, чтобъ раздраженіе могло зайти такъ далеко!

Онъ говорилъ почти съ злостью.

— Вы говорите, что любите, видите, что я люблю, я зову васъ къ счастью, а вы его боитесь...

— Нѣтъ, я только не хочу его на мѣсяцъ, на полгода...

— А на цѣлую жизнь и за гробомъ тоже? насмѣшливо спросилъ онъ.

— Да, на цѣлую жизнь! я не хочу предвидѣть ему конца, а вы предвидите и предсказываете: я и не вѣрю и не хочу такого счастья; оно не искренно и не прочно...

— Когда же я предсказывалъ?

— Много разъ, не нарочно, можетъ-быть, а я не пропустила. „Что̀ это за заглядыванье въ даль? твердили вы: что за филистерство—непремѣнно отмѣривать себѣ счастье саженями да пудами? Хватай, лови его на лету, и потомъ, послѣ двухъ, трехъ глотковъ, бѣги прочь, чтобъ не опротивѣло, и ищи другого! Не давай яблоку свалиться, рви его скорѣй и завтра рви другое. Не кисни на одномъ мѣстѣ, какъ улитка, и не вѣшайся на одномъ сучкѣ. Виснуть на шеѣ другъ друга, пока виснется, потомъ разойтись...“ Это все вы раскидали по своимъ проповѣдямъ. Стало-быть, у васъ это сдѣлалось убѣжденіемъ...

— Ну, „стало-быть“, такъ что̀ же? Вы видите, что это не притворство! Отчего же не вѣрите?

— Оттого, что вѣрю чему-то другому, лучше, вѣрнѣе, и хочу...

— Обратить меня въ эту вѣру?

— Да! сказала она:—хочу, и это одно условіе моего счастья; я другого не знаю и не желаю...

— Прощайте, Вѣра, вы не любите меня, вы слѣдите за мной, какъ шпіонъ, ловите слова, дѣлаете выводы... И вотъ, всякій разъ, какъ мы наединѣ, вы—или спорите, или пытаете меня,—а на пунктѣ счастья мы все тамъ же, гдѣ были... Любите Райскаго: вотъ вамъ задача! Изъ него, какъ изъ куклы, будете дѣлать, что̀ хотите, наряжать во всѣ бабушкины отрепья, или дѣлать изъ него каждый день новаго героя романа, и этому конца не будетъ. А мнѣ некогда, у меня есть дѣла...

— А, видите, дѣла? А любовь, счастье—забава?

— А вы хотѣли бы, по старому, изъ одной любви сдѣлать жизнь, гнѣздо—вонъ такое, какъ у ласточекъ, сидѣть въ немъ и вылетать за кормомъ? Въ этомъ и вся жизнь!

— А вы хотѣли бы на минуту влетѣть въ чужое гнѣздо и потомъ забыть его...

— Да, если оно забудется. А если не забудется—воротиться. Или прикажете принудить себя воротиться, если и не хочется? Это свобода? Вы какъ хотѣли бы?

— Я этого не понимаю—этой птичьей жизни, сказала она. — Вы, конечно, не серьезно указали вокругъ, на природу, на животныхъ...

— А вы — не животное? духъ, ангелъ — безсмертное созданіе? Прощайте, Вѣра, мы ошиблись: мнѣ надо не ученицу, а товарища...

— Да, Маркъ, товарища, пылко возразила она:—такого же сильнаго, какъ вы—равнаго вамъ—да, не ученицу, согласна,—но товарища на всю жизнь! Такъ?

Онъ не отвѣчалъ на ея вопросъ, какъ будто не слыхалъ его.

— Я думалъ, продолжалъ онъ:—что мы скоро сойдемся и потомъ разойдемся—это зависитъ отъ организмовъ, отъ темпераментовъ, отъ обстоятельствъ. Свобода съ обѣихъ сторонъ—и затѣмъ—что̀ выпадетъ кому изъ насъ на долю:

радость ли обоимъ, наслажденіе, счастье, или одному радость, покой, другому мука и тревоги—это уже не наше дѣло. Это указала бы сама жизнь, а мы исполнили бы слѣпо ея назначеніе, подчинились бы ея законамъ. А вы вдались въ анализъ послѣдствій, миновали опыты—и оттого судите вкривь и вкось, какъ старая дѣва. Вы не отдѣлались отъ бабушки, губернскихъ франтовъ, офицеровъ и тупоумныхъ помѣщиковъ. А гдѣ правда и свѣтъ—еще не прозрѣли! Я ошибся! Спи, дитя! Прощайте! Постараемся не видаться больше...

— Да, постараемся, Маркъ! уныло произнесла она:—мы счастливы быть не можемъ... Ужели не можемъ! всплеснувъ руками, сказала потомъ.—Что намъ мѣшаетъ! Послушайте... остановила она его, тихо взявъ за руку.—Объяснимся до конца... Посмотримъ, нельзя ли намъ согласиться?...

Она замолчала и утонула въ задумчивости, какъ убитая.

Онъ ничего не отвѣчалъ, встряхнулъ ружье на плечо, вышелъ изъ бесѣдки и пошелъ между кустовъ. Она оставалась неподвижная, будто въ глубокомъ снѣ, потомъ вдругъ очнулась, съ грустью и удивленіемъ глядѣла вслѣдъ ему, не вѣря, чтобъ онъ ушелъ.

„Говорятъ: „кто не вѣритъ—тотъ не любитъ“, думала она: я не вѣрю ему, стало-быть... и я... не люблю его? Отчего же мнѣ такъ больно, тяжело... что онъ уходитъ? Хочется упасть и умереть здѣсь!...“

— Маркъ! сказала она тихо.

Онъ не оглядывался.

— Маркъ! громче повторила она.

Онъ шелъ.

— Маркъ! крикнула она и прислушивалась, не дыша.

Маркъ быстро шелъ подъ гору. Она измѣнилась въ лицѣ и минутъ черезъ пять машинально повязала голову

косынкой, взяла зонтикъ и медленно, задумчиво, поднялась наверхъ обрыва.

„Правда и свѣтъ, сказалъ онъ“, думала она, идучи: „гдѣ же вы? Тамъ ли, гдѣ онъ говоритъ, куда влечетъ меня... сердце? И сердце ли это? И ужели я резоперка? Или правда здѣсь?...“ говорила она, выходя въ поле и подходя къ часовнѣ.

Молча, глубоко глядѣла она въ смотрящій на нее, задумчивый взоръ образа.

— Ужели *онъ* не пойметъ этого никогда и не воротится— ни сюда... къ этой вѣчной правдѣ... ни ко мнѣ, къ правдѣ моей любви? шептали ея губы:—Никогда! Какое ужасное слово!

## II.

Она бродила дня четыре по рощѣ, ждала въ бесѣдкѣ, но ничего не дождалась. Маркъ туда не приходилъ.

„Постараемся не видаться больше“, это были его послѣднія слова. „Нельзя ли намъ согласиться?“ отвѣчала она— и онъ не обернулся на эту надежду, на этотъ зовъ сердца.

Отъ Райскаго она не пряталась больше. Онъ слѣдилъ за ней напрасно, ничего не замѣчалъ и впадалъ въ уныніе. Она не получала и не писала никакихъ таинственныхъ писемъ, обходилась съ нимъ ласково, но больше была молчалива, даже грустна.

Онъ чаще прежняго заставалъ ее у часовни молящеюся. Она не таилась, и даже однажды приняла его предложеніе проводить ее до деревенской церкви на гору, куда ходила одна, и во время службы и внѣ службы, долго молясь и стоя на колѣняхъ, неподвижно, задумчиво, съ поникшей головой.

Онъ тихо стоялъ сзади ея, боясь пошевелиться и вызвать ее изъ молитвеннаго сна, и наблюдалъ, опѣмѣвъ въ

углу за колонной. Потомъ молча подавалъ ей зонтикъ или мантилью.

Она, не глядя на него, принимала его руку и, не говоря ни слова, опираясь иногда ему на плечо, въ усталости шла домой. Она пожимала ему руку и уходила къ себѣ.

А онъ шелъ, мучась сомнѣніями и страдалъ за себя и за нее. Она не подозрѣвала его тайныхъ мукъ, не подозрѣвала, какою страстною любовью охваченъ былъ онъ къ ней—какъ къ женщинѣ человѣкъ и какъ къ идеалу художникъ.

Не знала она и того, что рядомъ съ этой страстью, на которую онъ самъ напросился, которую она, по его настоянію, позволила питать, частію затѣмъ, что надѣялась этой уступкой угомонить ее, частію повинуясь совѣту Марка, чтобы отводить его глаза отъ обрыва и вмѣстѣ „проучить" слегка, дружески, добродушно посмѣявшись надъ нимъ,—не знала она, что у него въ душѣ все еще гнѣздилась надежда на взаимность, на отвѣтъ, если не страсти его, то на чувство женской дружбы, хоть чего-нибудь.

И какъ легко вѣрилось ему,—несмотря на очевидность ея постороннихъ мукъ, на таинственныя прогулки на дно обрыва,—потому что хотѣлось вѣрить. Безсознательно онъ даже боялся разувѣриться окончательно въ надеждѣ на взаимность. Вѣрить въ эту надежду было его счастьемъ—и онъ всячески подогрѣвалъ ее въ себѣ. Онъ, иначе, въ свою пользу, старался объяснить загадочность прогулокъ.

„Эти выстрѣлы", думалъ онъ, „значатъ, можетъ-быть, что-нибудь другое: тутъ не любовь, а иная тайна играетъ роль. Можетъ-быть, Вѣра несетъ крестъ какой-нибудь роковой ошибки, кто-нибудь покорилъ ея молодость и неопытность и держитъ ее подъ другимъ злымъ игомъ, а не подъ игомъ любви, что этой послѣдней и нѣтъ у нея,

что она просто хочетъ тамъ выпутаться изъ какого-нибудь узла, завязавшагося въ раннюю пору дѣвическаго невѣдѣнія, что всѣ эти прыжки съ обрыва, тайны, синія письма — больше ничего, какъ отступленія — не передъ страстью, а передъ другой темной тюрьмой, куда ее загналъ фальшивый шагъ и откуда она не знаетъ, какъ выбраться... что наконецъ въ ней проговаривается любовь... къ нему... къ Райскому, что она готова броситься къ нему на грудь и на ней искать спасенія...“

Ему казалось иногда, что она обращала къ нему нѣмой, молящій взглядъ о помощи, или вопросительно глядѣла на него, какъ будто пытая, силенъ ли и воленъ ли онъ поднять, оправить ее, поставить на ноги, уничтоживъ невидимаго врага, и вывести на прямой путь?

Такъ онъ мечталъ, волновался, падалъ въ бездну безнадежности и опять выносила его волна наверхъ—и все отъ одного, небрежно брошеннаго ею слова: „люблю васъ...“

Онъ вздрагивалъ отъ счастья, нужды нѣтъ, что слово это сопровождалось русалочнымъ взглядомъ, что съ этимъ словомъ она исчезла съ обрыва.

„Если не правда, зачѣмъ она сказала это? для шутки—жестокая шутка! Женщина не станетъ шутить надъ любовью къ себѣ, хотя бы и не раздѣляла ее. Стало-быть—не вѣритъ мнѣ... и тому, что я чувствую къ ней, какъ я терзаюсь!“

Онъ мучился въ трескучемъ пламени этихъ сомнѣній, этой созданной себѣ пытки, и иногда рыдалъ, не спалъ ночей, глядя на слабый огонь въ ея окнѣ.

— Не подозрѣваетъ, какое злое дѣло дѣлаетъ она со мной! Палачъ въ юбкѣ! сквозь зубы шипѣлъ онъ.

И вдругъ отрезвлялся, чуялъ ложь этого ея „васъ люблю“, ложь своей пьяной увѣренности въ ея любви, ложь своего положенія.

Однажды въ сумерки опять онъ засталъ ее у часовни молящеюся. Она была покойна, смотрѣла свѣтло, съ тихой увѣренностью на лицѣ, съ какою-то покорностью судьбѣ, какъ будто примирилась съ тѣмъ, что выстрѣловъ давно не слыхать, что съ обрыва ходить болѣе не нужно. Такъ и онъ толковалъ это спокойствіе, и тутъ же тотчасъ готовъ былъ опять вѣрить своей мечтѣ о ея любви къ себѣ.

Она ласково подала ему руку и сказала, что рада его видѣть, именно въ эту минуту, когда у ней покойнѣе на сердцѣ. Она, въ эти дни, послѣ свиданія съ Маркомъ, вообще старалась казаться покойной и дома, за обѣдомъ, къ которому являлась каждый день, она брала надъ собой невѣроятную силу, говорила со всѣми, даже шутила иногда, старалась ѣсть.

Бабушка ничего не видала, такъ казалось по крайней мѣрѣ, не слѣдила за ней подозрительно, не кидала косыхъ взглядовъ.

— Вѣра, ты простишь меня, если я заговорю... началъ робко Райскій у часовни.

— Все прощу, братъ, говорите! кротко отвѣчала она.

— Ты не можешь вообразить себѣ, какъ я счастливъ, что ты стала покойнѣе. Посмотри, какимъ миромъ сіяетъ у тебя лицо: гдѣ ты почерпнула этотъ миръ? Тамъ?

Онъ указалъ на часовню.

— Гдѣ же больше?

— Ты... не ходишь, кажется, больше туда? продолжалъ онъ, указывая къ обрыву.

Она покачала головой.

— И не пойду, тихо сказала она.

— Слава Богу—какое счастье! Куда ты теперь, домой? Дай мнѣ руку. Я провожу тебя.

Онъ взялъ ее подъ руку и они тихо пошли по тропинкѣ луга.

— Ты борешься... Вѣра, и отчаянно борешься: этого не скроешь... шепталъ онъ.

Она шла съ поникшей головой. Это молчаніе дало ему надежду, что она выскажется до конца.

— Когда ты одолѣешь мучительную и опасную страсть... продолжалъ онъ и остановился, ожидая, не подтвердитъ ли она эти его намеки явнымъ сознаніемъ.

— Что же, братъ, тогда? спросила она уныло.

— Ты выйдешь съ громаднымъ опытомъ, закаленная противъ всякихъ другихъ бурь...

— Куда и для чего я выйду?

— Для лучшей доли...

— Какой лучшей доли?

Онъ молчалъ, вспоминая, какую яркую картину страсти чертилъ онъ ей въ первыхъ встрѣчахъ и какъ усердно толкалъ ее подъ ея тучу. А теперь самъ не зналъ, какъ вывести ее изъ-подъ нея.

— Доли трезваго, глубокаго, разумнаго и прочнаго счастья, которое бы протянулось на всю жизнь...

— Я иначе счастья и не разумѣю... задумчиво сказала она и, остановясь, опустила лобъ на его плечо, какъ будто усталая.

Онъ поглядѣлъ ей въ глаза: въ нихъ стояли слезы. Онъ не подозрѣвалъ, что вложилъ палецъ въ рану, коснувшись главнаго пункта ея разлада съ Маркомъ, основной преграды къ „лучшей долѣ!“

— Ты плачешь... Вѣра, другъ мой! сказалъ онъ съ участіемъ.

Въ эту минуту раздался внизу обрыва выстрѣлъ и шипящимъ эхомъ прокатился по горѣ. Вѣра и Райскій оба вздрогнули.

Она какъ будто испугалась, подняла голову и на минуту оцѣпенѣла, все слушая. Глаза у ней смотрѣли

широко и неподвижно. Въ нихъ еще стояли слезы. Потомъ отняла съ силой у него руку и рванулась къ обрыву.

Онъ за ней. Она остановилась на полудорогѣ, приложивъ руку къ сердцу, и опять слушала.

— Пять минутъ назадъ ты была тверда, Вѣра... говорилъ онъ, блѣдный, и тоже не менѣе ея взволнованный выстрѣломъ.

Она поглядѣла машинально на него, не слушая, и сдѣлала шагъ опять къ обрыву, но повернула назадъ и медленно пошла къ часовнѣ.

— Да, да, шептала она: — я не пойду. Зачѣмъ онъ зоветъ! ужели въ эти дни совершился переворотъ?... Нѣтъ, нѣтъ, не можетъ быть, чтобы онъ...

Она стала на порогѣ часовни на колѣни, закрыла руками лицо и замерла неподвижно. Райскій тихо подошелъ къ ней сзади.

— Не ходи, Вѣра... шепталъ онъ.

Она вздрогнула, но глядѣла напряженно на образъ: глаза его смотрѣли задумчиво, безстрастно. Ни одного луча не свѣтилось въ нихъ, ни призыва, ни надежды, ни опоры. Она съ ужасомъ выпрямилась, медленно вставая съ колѣнъ: Бориса она будто не замѣчала.

Раздался другой выстрѣлъ. Она стремительно бросилась по лугу къ обрыву.

„Что, ежели онъ возвращается... если моя „правда“ взяла верхъ? Иначе, зачѣмъ зоветъ?... О, Боже!“ думала она, стремясь на выстрѣлъ.

— Вѣра! Вѣра! въ ужасѣ говорилъ Райскій, протягивая ей руки, чтобъ ей помѣшать.

Она, не глядя на него, своей рукой устранила его руки, и едва касаясь ногами травы, понеслась по лугу, не оглянулась назадъ и скрылась за деревьями сада, въ аллеѣ, ведущей къ обрыву.

Райскій онѣмѣлъ на мѣстѣ.

— Что это, тайна роковая, или страсть? спрашивалъ онъ: —или и то, и другое?

## III.

Вѣра вечеромъ пришла къ ужину, угрюмая, попросила молока, съ жадностью выпила стаканъ и ни съ кѣмъ не сказала ни слова.

— Что ты такая скучная, Вѣрочка, здорова ли? спросила бабушка сухо.

— Да, я не смѣлъ васъ спросить объ этомъ, вѣжливо вмѣшался Титъ Никонычъ:—но съ нѣкоторыхъ поръ (при этомъ Вѣра сдѣлала движеніе плечами) нельзя не замѣтить, что вы, Вѣра Васильевна, измѣнились... какъ будто похудѣли... и блѣдны немножко... Это къ вамъ очень, очень идетъ, любезно прибавилъ онъ:—но при этомъ надо обращать вниманіе на то, не суть ли это признаки болѣзни?...

— Да у меня зубы немного болятъ, нехотя отвѣчала Вѣра.—Это скоро пройдетъ...

Бабушка глядѣла въ сторону и грустно молчала. Райскій, держа двумя средними пальцами вилку, задумчиво ударялъ ею по тарелкѣ. Онъ тоже ничего не ѣлъ и угрюмо молчалъ. Только Марѳинька съ Викентьевымъ ѣли все, что̀ подавали, и безъ умолку болтали.

— Что̀ вы этому шарику пожелаете? спрашивала Марѳинька.

— Крысу за пазуху! безъ запинки отвѣчалъ Викентьевъ.

— Что̀ вы это! Я бабушкѣ загадала...

И оба старались задушить неистовый хохотъ, справившись съ которымъ, Марѳинька разсердилась на своего жениха „за дерзость“ противъ бабушки.

— Позвольте посовѣтовать вамъ, Вѣра Васильевна, началъ Титъ Никонычъ, отвѣчая на возраженіе Вѣры: —не

пренебрегать здоровьемъ. Теперь августъ, вечера становятся сыры. Вы дѣлаете продолжительныя прогулки—это прекрасно, ничто такъ не поддерживаетъ здоровья, какъ свѣжій воздухъ и моціонъ. Но при этомъ отнюдь не должно позволять себѣ выходить по вечерамъ съ открытой головой, а равно и безъ ботинокъ на толстой подошвѣ. Особенно дамамъ при нѣжной комплексіи... Всего лучше при этомъ брать съ собой косыночку теплую... Я видѣлъ, только что привезли модныя, изъ легкаго козьяго пуха... Я уже пріобрѣлъ три... вамъ, Татьянѣ Марковнѣ и Марѳѣ Васильевнѣ... но безъ вашего позволенія не смѣлъ представить...

Бабушка съ ласковой грустью кивнула ему головой, Вѣра старалась улыбнуться, а Марѳинька безъ церемоніи сказала:

— Ахъ, какой вы добрый, Титъ Никонычъ! послѣ ужина я поцѣлую васъ: вы позволите?

Я не позволю, я ревнивъ! сказалъ Викентьевъ.

— Васъ не спросятъ! отвѣчала Марѳинька.

Титъ Никонычъ заливался застѣнчивымъ смѣхомъ.

— Къ вашимъ услугамъ, Марѳа Васильевна!... сочту себя счастливымъ... приговаривалъ онъ.—Какая отмѣнная дѣвица! вполголоса добавилъ онъ, обращаясь къ Райскому:—это распускающаяся, такъ сказать, роза на стебелькѣ, до коей даже дыханіе вѣтерка не смѣетъ коснуться!

И чмокнулъ умиленно губами.

„Да, правда, роза въ полномъ блескѣ!“ подумалъ Райскій со вздохомъ: „а та — какъ лилія, „до коей“ уже, кажется, касается не вѣтерокъ, а ураганъ“.

Онъ глядѣлъ на Вѣру. Она встала, поцѣловала руку у бабушки, вмѣсто поклона взглядомъ простилась съ остальными и вышла.

И другіе встали изъ-за стола. Марѳинька подбѣжала къ Титу Никонычу и исполнила свое намѣреніе.

— Нельзя ли прислать косыночку завтра? шептала она ему: — мы утромъ съ Николаемъ Андреичемъ на Волгу уйдемъ... она понадобится...

— Съ полнымъ моимъ удовольствіемъ!... говорилъ Титъ Никонычъ, шаркая:—самъ завезу...

Она еще поцѣловала его въ лобъ и бросилась къ бабушкѣ.

— Ничего, ничего, бабушка! говорила она, заминая вопросъ Татьяны Марковны о томъ, „что она тамъ шепчетъ Титу Никонычу?“ Но не замяла.

Титъ Никонычъ не могъ солгать Татьянѣ Марковнѣ и, смягчая, извиняя всячески просьбу Марѳиньки, передалъ бабушкѣ.

— Попрошайка! упрекнула ее Татьяна Марковна: — иди спать—поздно! А вамъ, Николай Андреичъ, домой пора. Съ Богомъ, покойной ночи!

— Я васъ завезу—по обыкновенію: у меня дрожки, сказалъ любезно Титъ Никонычъ.

Едва Вѣра вышла, Райскій ускользнулъ вслѣдъ за ней и тихо шелъ сзади. Она подошла къ рощѣ, постояла надъ обрывомъ, глядя въ темную бездну лѣса, лежащую у ея ногъ, потомъ завернулась въ мантилью и сѣла на свою скамью.

Райскій издали далъ знать о себѣ кашлемъ и подошелъ къ ней.

— Я посижу съ тобой, Вѣра, сказалъ онъ:—можно?

Она молча отодвинулась, чтобъ дать ему мѣсто.

— Ты очень печальна, ты страдаешь!

— Зубы болятъ... отвѣчала она.

— Нѣтъ, не зубы—ты вся болишь: скажи мнѣ... что у тебя? Подѣлись горемъ со мной...

— Зачѣмъ? я сумѣю снести одна. Вѣдь я не жалуюсь.

Онъ вздохнулъ.

— Ты любишь несчастливо—кого? шепнулъ онъ.

— Опять „кого“? Да васъ, Боже мой! сказала она, съ нетерпѣніемъ повернувшись на скамьѣ.

— Къ чему этотъ злой смѣхъ и за что? Чѣмъ я заслужилъ его? Тѣмъ, что страстно люблю, глупо вѣрю и радъ умереть за тебя...

— Какой смѣхъ! мнѣ не до смѣха! почти съ отчаяніемъ сказала она, встала со скамьи и начала ходить взадъ и впередъ по аллеѣ.

Райскій оставался на скамьѣ.

„А я все надѣялась... и надѣюсь еще... безумная! Боже мой!“ ломая руки, думала она. — „Попробую бѣжать на недѣлю, на двѣ, избавиться этой горячки, хоть на время... вздохнуть! силъ нѣтъ!“

Она остановилась передъ Райскимъ.

— Братъ! сказала она:—я завтра уѣду за Волгу,—пробуду тамъ, можетъ-быть, долѣе обыкновеннаго...

— Этого только недоставало! горестно произнесъ Райскій, не давъ договорить.

— Я не простилась съ бабушкой, продолжала она, не обращая вниманія на его слова:—она не знаетъ, скажите вы ей, а я уѣду на зарѣ.

Онъ молчалъ, уничтоженный.

— Теперь и я уѣду! вслухъ подумалъ онъ.

— Напрасно, погодите... сказала она, съ примѣсью будто искренности:—когда я немного успокоюсь...

Она на минуту остановилась.

— Я, можетъ-быть, объясню вамъ... И тогда мы простимся съ вами иначе, лучше, какъ братъ съ сестрой, а теперь... я не могу!... Впрочемъ, нѣтъ! поспѣшно заключила, махнувъ рукой:—уѣзжайте! Да окажите дружбу, зайдите въ людскую и скажите Прохору, чтобъ въ пять часовъ готова была бричка, а Марину пошлите ко мнѣ. На случай, если вы уѣдете безъ меня, прибавила она

задумчиво, почти съ грустью: —простимтесь теперь! Простите меня за мои странности... (она вздохнула) и примите поцѣлуй сестры...

Она обѣими руками взяла его голову, поцѣловала въ лобъ и быстро пошла прочь.

— Благодарю васъ за все, сказала, она, вдругъ обернувшись, издали: — теперь у меня нѣтъ силъ доказать, какъ я благодарна вамъ за дружбу... всего болѣе за этотъ уголокъ. Прощайте и простите меня!

Она уходила. Онъ былъ въ оцѣпенѣніи. Для него пустъ былъ цѣлый міръ, кромѣ этого угла, а она посылаетъ его изъ него туда, въ безконечную пустыню! Невозможно заживо лечь въ могилу!

— Вѣра! кликнулъ онъ, торопливо догнавъ ее.

Она остановилась.

— Позволь мнѣ остаться, пока ты тамъ... Мы не будемъ видѣться, я надоѣдать не стану! Но я буду знать, гдѣ ты, буду ждать, пока ты успокоишься и—по обѣщанію—объяснишь... Ты сейчасъ сама сказала... Здѣсь близко, можно перекинуться письмомъ...

Онъ поводилъ языкомъ по горячимъ губамъ и кидалъ эти фразы торопливо, отрывисто, какъ будто боялся, что она уйдетъ сію минуту и пропадетъ для него навсегда.

У него была молящая мина, онъ протянулъ руку къ ней. Она молчала нерѣшительно, тихо подходя къ нему.

— Дай этотъ грошъ нищему... Христа ради! шепталъ онъ страстно, держа ладонь передъ ней:—дай еще этого рая и ада вмѣстѣ! дай жить, не зарывай меня живого въ землю!... едва слышно договаривалъ онъ, глядя на нее съ отчаяніемъ.

Она глядѣла ему во всѣ глаза и сдѣлала движеніе плечами, какъ будто чувствовала ознобъ.

— Чего вы просите сами не знаете... тихо отвѣчала она.

— Христа ради! повторялъ онъ, не слушая ее и все держа протянутую ладонь.

А она задумалась, глядя на него изрѣдка, то съ состраданіемъ, то недовѣрчиво.

— Хорошо, оставайтесь! прибавила потомъ рѣшительно:—пишите ко мнѣ, только не проклинайте меня, если ваша „страсть“, —съ небрежной ироніей сдѣлала она удареніе на этомъ словѣ:—и отъ этого не пройдетъ? „А можетъ-быть и пройдетъ...“ подумала сама, глядя на него: „вѣдь это такъ, фантазія!“

— Все вынесу — всѣ казни!... Скорѣе бы не вынесъ счастья! а муки... дай ихъ мнѣ: онѣ—тоже жизнь! Только не гони, не удаляй: поздно!

— Какъ хотите! отвѣчала она разсѣянно, о чемъ-то думая.

Онъ ожилъ, у него нервы заиграли.

А она думала съ тоской: „зачѣмъ не *онъ* говоритъ это!“

— Хорошо, сказала она:—такъ я уѣду не завтра, а послѣзавтра.

И сама будто ожила, и у самой родилась какая-то, не то надежда на что-то, не то замыселъ. Оба стали вдругъ довольны, каждый про себя и другъ другомъ.

— Позовите только Марину ко мнѣ теперь же—и покойной ночи!

Онъ съ жаромъ поцѣловалъ у ней руку и они разошлись.

## IV.

Вѣра, на другой день, утромъ рано, дала Маринѣ записку и велѣла отдать кому-то, и принести отвѣтъ. Послѣ отвѣта она стала веселѣе, ходила гулять на берегъ Волги, и вечеромъ, попросившись у бабушки на ту сторону, къ Наталѣ Ивановнѣ, простилась со всѣми, и уѣзжая, улыбнулась Райскому, прибавивъ, что не забудетъ его.

Черезъ день пришелъ съ Волги утромъ рыбакъ и принесъ записку отъ Вѣры, съ нѣсколькими ласковыми словами. Выраженія: „милый братъ“, „надежды на лучшее будущее“, „рождающаяся искра нѣжности, которой не хотятъ дать ходу“ и т. д. обдали Райскаго искрами счастья.

Онъ охмѣлѣлъ отъ письма, вытвердилъ его наизусть— и къ нему воротилась увѣренность къ себѣ, вѣра въ Вѣру, которая являлась ему теперь въ какомъ-то свѣтѣ правды, чистоты, граціи, нѣжности.

Онъ забылъ свои сомнѣнія, тревоги, синія письма, обрывъ, бросился къ столу и написалъ коротенькій нѣжный отвѣтъ, отослалъ его къ Вѣрѣ, а самъ погрузился въ какія-то хаотическія ощущенія страсти. Вѣры не было передъ глазами; сосредоточенное, напряженное наблюденіе за ней раздробилось въ мечты, или обращалось къ прошлому, уже испытанному. Онъ отъ мечтаній бросился къ пытливому исканію „ключей“ къ ея тайнамъ.

Онъ смотритъ, ищетъ, освѣщаетъ темныя мѣста своего идеала, пытаетъ собственный умъ, совѣсть, сердце, требуя опыта, наставленія—чего хотѣлъ и проситъ отъ нея, чего недостаетъ для полной гармоніи красоты? Прислушивался къ своей жизни, припоминалъ все, что̀ оскорбляло его въ его прежнихъ, несостоявшихся идеалахъ.

Вся женская грубость и грязь, прикрытая нарядами, золотомъ, брильянтами и румянами, — густыми волнами опять протекла мимо его. Онъ припомнилъ свои страданія, горькія оскорбленія, вынесенныя имъ въ битвахъ жизни: какъ падали его модели, какъ падалъ онъ самъ вмѣстѣ съ ними, и какъ вставалъ опять, не отчаиваясь и требуя отъ женщинъ человѣчности, гармоніи, красоты наружной съ красотой внутренней.

Ему предчувствіе говорило, что это послѣдній опытъ, что въ Вѣрѣ онъ, или найдетъ, или потеряетъ уже навсегда

свой идеалъ женщины, разобьетъ свою статую въ куски и потушитъ діогеновскій фонарь.

Онъ мучился тѣмъ, что видѣлъ въ ней, среди лучей, туманное пятно—ложь. Отчего эта загадочность, исчезаніе по цѣлымъ днямъ, таинственныя письма, прятанье, умалчиваніе, подъ которымъ ползла, можетъ-быть, грубая интрига, или крылась роковая страсть, или какая-то неуловимая тайна—что̀, наконецъ? „Своя воля, горда", говоритъ бабушка.—„Свободы хочу, независимости", подтверждаетъ она сама, а между тѣмъ, прячется и хитритъ! Гордая воля и независимость никого не боятся и открыто идутъ избраннымъ путемъ, презирая ложь и мышиную бѣготню и вынося мужественно всѣ послѣдствія смѣлыхъ и своевольныхъ шаговъ! „Признайся въ нихъ, не прячься—и я поклонюсь твоей честности!" говорилъ онъ. У своевольныхъ женщинъ—свои понятія о любви, добродѣтели, о стыдѣ, и онѣ мужественно несутъ тернія своихъ пороковъ. Вѣра проповѣдуетъ своеобразіе понятій, а сама не слѣдуетъ имъ открыто, она скрывается, обманываетъ его, бабушку, весь домъ, весь городъ, цѣлый міръ!

Нѣтъ, это не его женщина! За женщину страшно, за человѣчество страшно,—что женщина можетъ быть честной только случайно, когда любитъ, передъ тѣмъ только, кого любитъ, и только въ ту минуту, когда любитъ или тогда, наконецъ, когда природа отказала ей въ красотѣ, слѣдовательно—когда нѣтъ никакихъ страстей, никакихъ соблазновъ и борьбы, и нѣтъ никому дѣла до ея правды и лжи!

— Ложь—это одно изъ проклятій сатаны, брошенное въ міръ... говорилъ онъ.—Не можетъ быть въ ней лжи... утѣшался потомъ, задумываясь, и умилялся, припоминая тонкую, умную красоту ея лица, этого отраженія души. Какой правдой дышало оно! „Красота — сама сила: зачѣмъ ей другая, непрочная сила—ложь!"—„Однако!"

потомъ съ уныніемъ думалъ онъ, добираясь до правды: отчего вдругъ тутъ же, подъ носомъ, выросло у него это „однако?“ Выросло оно изъ опытовъ его жизни, выглянуло изъ многихъ женскихъ знакомыхъ ему портретовъ, почти изъ всѣхъ любвей его... Любвей!

Онъ залился заревомъ стыда и закрылъ лицо руками.

„Любви! встрѣчи безъ любви!“ терзался онъ внутренно. „какое заклятіе лежитъ надъ людскими нравами и понятіями! Мы, сильный полъ, отцы, мужья, братья и дѣти этихъ женщинъ, мы важно осуждаемъ ихъ за то, что сорятъ собой и валяются въ грязи, бѣгаютъ по кровлямъ... Клянемъ—и развращаемъ въ то же время! Мы не оглянемся на самихъ себя, снисходительно прощаемъ себѣ... собачьи встрѣчи!... открыто, всенародно носимъ свой позоръ, свою нетрезвость, казня ихъ въ женщинѣ! Вотъ гдѣ оба пола должны довоспитаться другъ до друга, идти параллельно, не походя, одни—на собакъ, другія—на кошекъ, и оба вмѣстѣ—на обезьянъ! Тогда и кончится этотъ нравственный разладъ между двумя полами, эта путаница понятій, эти взаимные обманы, пареканія, измѣны! А то выдумали двѣ нравственности: одну для себя, другую для женщинъ!“

Онъ погрузился въ собственныя воспоминанія о раннихъ годахъ молодости—и легъ на диванъ. Долго лежалъ онъ, закрывъ лицо, и всталъ блѣдный, истерзанный внутренней мукой. „Какая перспектива грубости, лжи, какая отрава жизни! И цѣлые вѣка проходятъ, цѣлыя поколѣнія идутъ, утопая въ омутѣ нравственнаго и физическаго разврата—и никто, ничто не останавливаетъ этого мутнаго потока слѣпо распутной жизни! Развратъ выработалъ себѣ свои обычаи, почти принципы, и царствуетъ въ людскомъ обществѣ, среди хаоса понятій и страстей, среди анархіи нравовъ...“

Потомъ опять бросался къ Вѣрѣ, отыскивая тамъ луча чистоты, правды, незараженныхъ понятій, незлоупотреб-

леннаго чувства, красоты души и тѣла, нераздѣльно-истинной красоты!

Онъ перебиралъ каждый ея шагъ, какъ судебный слѣдователь, и то дрожалъ отъ радости, то впадалъ въ уныніе, и выходилъ изъ омута этого анализа ни безнадежнѣе, ни увѣреннѣе, чѣмъ былъ прежде, а все съ той же мучительной неизвѣстностью, какъ купающійся человѣкъ, который, думая, что нырнулъ далеко, выплываетъ опять на прежнемъ мѣстѣ.

Онъ старался оправдать загадочность ея поведенія съ нимъ, припоминая свой быстрый натискъ: какъ онъ вдругъ предъявилъ свои права на ея красоту, свое удивленіе послѣдней, поклоненіе, восторги, вспоминалъ, какъ она сначала небрежно, а потомъ энергически отмахивалась отъ его настояній, какъ явно смѣялась надъ его страстью, не вѣрила и не вѣритъ ей до сихъ поръ, какъ удаляла его отъ себя, отъ этихъ мѣстъ, убѣждала уѣхать, а онъ напросился остаться!

„Да она права, я виноватъ!“ думалъ онъ, теряясь въ соображеніяхъ.

Потомъ онъ вспомнилъ, какъ онъ хотѣлъ усмирить страсть постепенно, поддаваясь ей, гладя ее по шерсти, какъ гладятъ злую собаку, готовую броситься, чтобъ задобрить ее—и пятясь задомъ, уйти по-добру по-здорову. Зачѣмъ она тогда не открыла ему имени своего идола, когда увѣрена была, что это мигомъ отняло бы всѣ надежды у него и страсть остыла бы мгновенно?

Чего это ей стоило? Ничего! Она знала, что тайна ея останется тайной, а между тѣмъ молчала и какъ будто умышленно разжигала страсть. Отчего не сказала? Отчего не дала ему уѣхать, а просила остаться, когда даже онъ велѣлъ... Егоркѣ принести съ чердака чемоданъ? Кокетничала — стало-быть, обманывала его! И бабушкѣ не

велѣла сказывать, честное слово взяла съ него—стало-быть обманываетъ и ее, и всѣхъ!

„Она, она виновата!“

Онъ сталъ писать дневникъ. Полились волны поэзіи, импровизаціи, полныя то нѣжнаго умиленія и поклоненія, то живой, ревнивой страсти и всѣхъ ея бурныхъ и горячихъ воплей, пѣсенъ, мукъ, счастья.

Самую любовь онъ обставлялъ всей прелестью декорацій, какою обставила ее человѣческая фантазія, осмысливая ее нравственнымъ чувствомъ и полагая въ этомъ чувствѣ, какъ въ разумѣ, „и можетъ-быть, тутъ именно болѣе, нежели въ разумѣ“ (писалъ онъ) бездну, отдѣлившую человѣка отъ всѣхъ не человѣческихъ организмовъ. „Великая любовь неразлучна съ глубокимъ умомъ: широта ума равняется глубинѣ сердца — оттого крайнихъ вершинъ гуманности достигаютъ только великія сердца—они же и великіе умы!“ проповѣдывалъ онъ. Измѣнялись краски этого волшебнаго узора, который онъ подбиралъ, какъ художникъ и какъ нѣжный влюбленный, измѣнялся безпрестанно онъ самъ, то падая въ прахъ къ ногамъ идола, то вставая и громя хохотомъ свои муки и счастье. Не измѣнялась только нигдѣ его любовь къ добру, его здравый взглядъ на нравственность. „Вѣруй въ Бога, знай, что дважды два четыре и будь честный человѣкъ, говоритъ гдѣ-то Вольтеръ“, писалъ онъ: „а я скажу—люби женщина кого хочешь, люби по-земному, но не по-кошачьи только и не по расчету, и не обманывай любовью!“

„Честная женщина!“—писалъ онъ: „требовать этого, значитъ требовать всего. Да, это все! Но не требовать этого, значитъ тоже ничего не требовать, оскорблять женщину, ея человѣческую натуру, творчество Бога, значитъ, прямо и грубо отказывать ей въ правахъ на равенство съ мужчиной, на что женщины справедливо жалуются.

Женщина—вѣнецъ созданія,—да, но не Венера только. Кошка коту кажется тоже вѣнцомъ созданія, Венерой кошечьей породы! женщина—Венера, пожалуй, но осмысленная, одухотворенная Венера, сочетаніе красоты формъ съ красотой духа, любящая и честная, т. е. идеалъ женскаго величія, гармонія красоты!“

Все это глубокомысліе сбывалъ Райскій въ дневникъ, съ надеждой прочесть его при свиданіи Вѣрѣ, а съ ней продолжалъ мѣняться коротенькими, дружескими записками.

Отъ пера онъ бросался къ музыкѣ и забывался въ звукахъ, прислушиваясь самъ съ любовью, какъ они пѣли ему его же страсть и гимны красотѣ. Ему хотѣлось бы поймать эти звуки, формулировать въ стройномъ созданіи гармоніи.

Изъ этихъ волнъ звуковъ очертывалась у него въ фантазіи какая-то музыкальная поэма: онъ силился уловить тайну созданія и три утра бился, изведя толстую тетрадь нотной бумаги. А когда сыгралъ на четвертое утро написанное, вышла... полька-редова, но такая мрачная и грустная, что онъ самъ разливался въ слезахъ, играя ее.

Онъ удивился такому скудному результату своихъ роскошныхъ импровизацій, положенныхъ на бумагу, и со вздохомъ сознался, что одной фантазіей не одолѣешь музыкальной техники.

„Что если и съ романомъ выйдетъ у меня то же самое?..“ задумывался онъ. „Но теперь еще—не до романа: это послѣ, послѣ, а теперь—Вѣра на умѣ, страсть, жизнь, не искусственная, а настоящая!“

Онъ ходилъ по дому, по саду, по деревнѣ и полямъ, точно сказочный богатырь, когда былъ въ припадкѣ счастья, и столько силы носилъ въ своей головѣ, сердцѣ, во всей нервной системѣ, что все цвѣло и радовалось въ немъ.

Мысль его плодотворна, фантазія производительна, душа открыта для добра, дѣятельности и любви — не къ одной вѣрѣ, но общей любви ко всякому живому созданію. На все льются лучи его мягкости, ласки, заботы, вниманія.

Онъ чутко понимаетъ потребность, не только другого, ближняго, несчастнаго, и спѣшитъ подать руку помощи, утѣшенія, но входитъ даже въ положеніе—вонъ этой ползущей букашки, которую бережно сажаетъ съ дорожки на кустъ, чтобъ уберечь отъ ноги прохожаго.

Онъ бы написалъ Рафаэлеву Мадонну въ эти минуты счастья, если бъ она не была уже написана, изваялъ бы Милосскую Венеру, Аполлона Бельведерскаго, создалъ бы снова храмъ Петра!

Въ моменты мукъ, напротивъ, онъ былъ худъ, блѣденъ, боленъ, не ѣлъ, и ходилъ по полямъ, ничего не видя, забывая дорогу, спрашивая у встрѣчныхъ мужиковъ, гдѣ Малиновка, направо или налѣво?

Тогда онъ былъ сухъ съ бабушкой и Марѳинькой, грубъ съ прислугой, не спалъ до разсвѣта, а если и засыпалъ, то труднымъ, болѣзненнымъ сномъ, продолжая и во снѣ переживать пытку.

Иногда онъ оглядывался вокругъ себя, какъ будто спрашивая глазами у всѣхъ: „гдѣ я и что вы за люди?“

Марѳинька немного стала бояться его. Онъ, большею частію, запирался у себя наверху, и тамъ—или за дневникомъ, или ходя по комнатѣ, говоря самъ съ собой, или опять за фортепіано, выбрасывалъ, какъ онъ живописно выражался, „пѣну страсти“.

Егорка провертѣлъ щель въ деревянной, оклеенной бумагой перегородкѣ, отдѣлявшей кабинетъ Райскаго отъ корридора, и подглядывалъ за нимъ.

— Ну, дѣвки, покажу я вамъ диковинку! сказалъ онъ, плюнувъ сквозь зубы въ сторону:— пойдемте, Пела-

гея Петровна, къ барину, къ Борису Павловичу, въ щелку посмотрѣть: въ тіатръ не надо ходить: какъ онъ тамъ „дѣвствуетъ!...“

— Некогда мнѣ, гладить надо, сказала та, грѣя утюгъ.

— Ну, вы, Матрена Семеновна?

— А кто-жъ комнату Марѳы Васильевны уберетъ? Ты, что ли?

— Что за чортъ—не дозовешься ни одной! сказалъ съ досадой Егорка, опять плюя сквозь зубы: а я тамъ вертѣлъ, вертѣлъ буравомъ!

— Покажи мнѣ, что тамъ такое! напрашивалась любопытная Наталья, одна изъ плетельщицъ кружевъ у Татьяны Марковны.

— Вы — распрекрасная дѣвица, Наталья Ѳаддеевна, сказалъ Егорка нѣжно: —словно—барышня! Я бы—не то что въ щелку далъ вамъ посмотрѣть, руку и сердце предложилъ бы—только... рожу бы вамъ другую!...

Прочія дѣвки засмѣялись, а та обидѣлась.

— Ругатель! сказала она, уходя изъ комнаты: —право, ругатель!

— А то вы, договаривалъ Егорка ей вслѣдъ: —больно ужъ на тятеньку своего смахиваете съ рыла-то, на Ѳаддея Ильича!

И захихикалъ.

Однако онъ убѣдилъ первыхъ двухъ пойти и посмотрѣть. Всѣ смотрѣли по очереди въ щель.

— Глядите, глядите, какъ заливается, плачетъ никакъ! говорилъ Егорка, толкая то одну, то другую къ щели.

— Взаправду плачетъ, сердечный! сказала жалостно Матрена.

— Да не хохочетъ ли?—И такъ хохочетъ! Смотрите, смотрите!

Всѣ трое присѣли и всѣ захихикали.

— Экъ его разбпраетъ! говорилъ Егорка:—врѣзамшись, должно-быть, въ Вѣру Васильевну...

Пелагея ткнула его кулакомъ въ бокъ.

— Что ты врешь, поганецъ! замѣтила она со страхомъ:—ври, да не смѣй трогать барышень! Вотъ узнаетъ барыня... Пойдемте прочь!

А Райскій и плакалъ, и смѣялся чуть ли не въ одно и то же время, и все искренно „дѣвствовалъ", т. е. плакалъ и смѣялся больше художникъ, нежели человѣкъ, повинуясь нервамъ.

Онъ въ чистыхъ формахъ все выливалъ образъ Вѣры, и чертя его безсознательно и непритворно, чертилъ и образъ своей страсти, отражая въ ней, иногда наивно и смѣшно, и все, что̀ было свѣтлаго, честнаго въ его собственной душѣ, и чего требовала его душа отъ другого человѣка и отъ женщины.

— Что ты все пишешь тамъ? спрашивала Татьяна Марковна:—драму или все романъ, что ли?

— Не знаю, бабушка, пишу жизнь—выходитъ романъ: пишу романъ, выходитъ жизнь. А что будетъ окончательно—не знаю.

— Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, только бы не плакало, замѣтила она, и почти вѣрно опредѣлила этой пословицей значеніе писанья Райскаго. У него уходило время, сила фантазіи разрѣшалась естественнымъ путемъ, и онъ не замѣчалъ жизни, не зналъ скуки, никуда и ничего не хотѣлъ.—Зачѣмъ только ты пишешь все по ночамъ? сказала она.—Смерть—боюсь... Ну, какъ заснешь надъ своей драмой! И шутка ли, до свѣта? вѣдь ты изведешь себя. Посмотри, ты иногда желтъ, какъ переспѣлый огурецъ...

Онъ смотрѣлся въ зеркало и самъ поражался перемѣной въ себѣ. Желтыя пятна легли на вискахъ и около носа, а въ черныхъ густыхъ волосахъ появились замѣтныя сѣдины.

— Зачѣмъ я брюнетъ, а не блондинъ? роптал онъ.— Десятью годами раньше состарѣюсь!

— Ничего, бабушка, не обращайте вниманія на меня, отвѣчалъ онъ: — дайте свободу... Не спится: иногда и радъ бы, да не могу.

— И онъ „свободу", какъ Вѣра!

Она вздохнула.

— Далась имъ эта свобода: точно бабушка ихъ въ кандалахъ держитъ! Писалъ бы, да не по ночамъ, прибавила она: — а то я не сплю покойно. Въ которомъ часу ни поглядишь, все огонь у тебя...

— Ручаюсь, бабушка, что пожара не сдѣлаю, хоть самъ сгорю весь...

— О, типунъ тебѣ на языкъ! перебила она сердито, кроная что-то сама иглой надъ приданымъ Марѳиньки, хотя тутъ хлопотали около разложенныхъ столовъ десять швей. Но она не могла видѣть другихъ за работой, чтобъ и самой не пристать тутъ же, какъ Викентьевъ не могъ не засмѣяться и не заплакать, когда смѣялись и плакали другіе.

— Не дразни судьбу, не накликай на себя! прибавила она.—Помни: языкъ мой—врагъ мой!

Онъ вдругъ вскочилъ съ дивана и бросился къ окну, а потомъ въ дверь и скрылся.

— Мужикъ идетъ съ письмомъ отъ Вѣры! сказалъ онъ, уходя.

— Вишь какъ, точно родному отцу обрадовался! А сколько свѣчей изводитъ онъ съ этими романами да драмами: по четыре свѣчки за ночь! разсуждала экономная бабушка шопотомъ.

## V.

Райскій получилъ нѣсколько строкъ отъ Вѣры. Она жаловалась, что скучаетъ тамъ, и дѣйствительно, по нѣкоторымъ фразамъ, видно было, что ее тяготитъ уединеніе.

Она писала, что желаетъ видѣть его, что онъ ей нуженъ, и впереди будетъ еще нужнѣе, что „безъ него она жить не можетъ“ — и иногда записка разрѣшалась въ какой-то смѣхъ, который, какъ русалочное щекотанье, производилъ въ немъ зудъ и боль.

Но, несмотря на этотъ смѣхъ, таинственная фигура Вѣры манила его все въ глубину фантастической дали. Вѣра шла будто отъ него въ туманѣ покрывала: онъ стремился за ней, касался покрывала, хотѣлъ открыть ея тайны и узнать, что за Изида передъ нимъ.

Онъ только что коснется покрывала, какъ она ускользнетъ, уйдетъ дальше. Онъ блаженствовалъ и мучился двойными радостями и муками, и человѣка, и художника, не зная самъ, гдѣ является одинъ, когда исчезаетъ другой и когда оба смѣшиваются.

Получая изрѣдка ея краткія письма, гдѣ дружескій тонъ смѣшивался съ ядовитымъ смѣхомъ надъ его страстью, надъ стремленіями къ идеаламъ, надъ игрой его фантазіи, которою онъ нерѣдко сверкалъ въ разговорахъ съ ней, онъ самъ заливался искреннимъ смѣхомъ и потомъ почти плакалъ отъ грусти и отъ безсилія разсказать себя, дать ключъ къ своей натурѣ.

— Не понимаетъ, бѣдная, роптал онъ: — что казнить за фантазію, это все равно, что казнить человѣка за то, что у него тѣнь велика: зачѣмъ покрываетъ цѣлое поле, растетъ выше зданія! И не вѣритъ страсти! Посмотрѣла бы она, какъ этотъ удавъ тянется передо мной, сверкая изумрудами и золотомъ, когда его грѣетъ и освѣщаетъ солнце, и какъ блѣднѣетъ, ползя во мракѣ, шипя и грозя острыми зубами! Пусть бы пришли сюда знатоки и толкователи такъ называемыхъ тайнъ сердца и страстей, и выложили бы тутъ свои понятія и философію, добытую съ досокъ Михайловскаго театра. „Нельзя любить, когда оскорблено самолюбіе“. —

„Любовь — это эгоизмъ à deux“ — „любовь проходитъ, когда не раздѣлена“ и т. п. сыплютъ они свои сентенціи.

— А вотъ она, эта страсть, говорилъ онъ: — не угодно ли попробовать! Меня толкаютъ, смѣются — а я все люблю, и какъ люблю! Не какъ „сорокъ тысячъ братьевъ“ — мало отпустилъ Шекспиръ — а какъ всѣ люди вмѣстѣ. Всѣ образы любви ушли въ эту мою любовь. Я люблю, какъ Леонтій любитъ свою жену, простодушной, чистой, почти пастушеской любовью, люблю сосредоточенной страстью, какъ этотъ серьезный Савелій, люблю какъ Викентьевъ, со всею веселостью и рѣзвостью жизни, люблю какъ любитъ, можетъ-быть Тушинъ, удивляясь и поклоняясь втайнѣ, и люблю, какъ любитъ бабушка свою Вѣру — и наконецъ еще какъ никто не любитъ, люблю такою любовью, которая дана Творцомъ и которая, какъ океанъ, омываетъ вселенную...

— А если сократить все это въ одно слово, вдругъ отрезвившись на минуту заключилъ онъ: — то выйдетъ: „люблю, какъ художникъ“, т. е. всею силою необузданной... или разнузданной фантазіи!“

Его увлекалъ процессъ писанья, какъ процессъ неумышленнаго творчества, гдѣ передъ его глазами, пестрымъ узоромъ, неслись его собственныя мысли, ощущенія, образы. Листки эти однако мѣшали ему забыть Вѣру, чего онъ искренно хотѣлъ, и питали страсть, т. е. воображеніе.

„А она не пойметъ этого“, печально думалъ онъ: — „и сочтетъ эти, ею внушенныя и ей посвящаемыя произведенія фантазіи — за любовную чепуху! Ужели и она не пойметъ: женщина! А у ней, кажется, уши такія маленькія, умныя...“

„Да умна ли она? Вѣдь у насъ часто за умъ, особенно у женщинъ, считаютъ одну только, до-нельзя изощренную низшую его степень — хитрость, и женщины даже кичатся, что владѣютъ этимъ тонкимъ орудіемъ, этимъ умомъ кошки,

лисы, даже нѣкоторыхъ насѣкомыхъ! Это пассивный умъ, способность таиться, избѣгать опасности, прятаться отъ силы, отъ угнетенія“.

„Такой умокъ выработала себѣ между прочимъ, въ долгомъ угнетеніи, обезсилѣвшая и разсѣянная цѣлая еврейская нація, тайкомъ пробиравшаяся сквозь человѣческую толпу, хитростью отстаивавшая свою жизнь, имущество и свои права на существованіе“.

„Этотъ умокъ помогаетъ съ успѣхомъ пробавляться въ обиходной жизни, дѣлать мелкія дѣлишки, прятать грѣшки и т. д. Но когда женщинамъ возвратятъ ихъ права — эта тонкость, полезная въ мелочахъ и почти всегда вредная въ крупныхъ, важныхъ дѣлахъ, уступитъ мѣсто прямой человѣческой силѣ—уму“.

Когда онъ отрывался отъ дневника и трезво жилъ день, другой, Вѣра опять стояла безукоризненна въ его умѣ. Сомнѣнія, подозрѣнія, оскорбленія—сами по себѣ были чужды его натурѣ, какъ и доброй, честной натурѣ Отелло. Это были случайныя искаженія и опустошенія, продукты страсти и неизвѣстности, бросавшей на все ложныя и мрачныя краски.

Однажды, въ ея запискѣ, послѣ дружескихъ, нѣжно-насмѣшливыхъ изліяній, была слѣдующая приписка послѣ словъ: „ваша Вѣра“:

„Другъ и братъ мой! Вы научили меня любить и страдать. Вы подѣлились со мной силами души своей, вложили, кажется, въ меня и самую вашу нѣжную, любящую душу... И вотъ эта нѣжность ваша внушаетъ мнѣ смѣлость подѣлиться съ вами добрымъ дѣломъ. Здѣсь есть одинъ несчастный, изгнанный изъ родины... На немъ тяготѣетъ подозрѣніе правительства... Ему некуда приклонить голову, всѣ отъ него отступились, одни поравнодушію, другіе по боязни. Вы любите ближняго и не можете быть равнодушны, еще

менѣе можете бояться добраго, чистаго, святого дѣла. У него нѣтъ ни гроша денегъ, ни платья, а на дворѣ осень...

„Я не прибавляю къ этому ничего; здѣсь все правда, каждое слово: ваша Вѣра не солжетъ вамъ. Если сердце ваше, въ чемъ я не сомнѣваюсь, скажетъ вамъ, что̀ надо дѣлать, то пошлите ваше пособіе на имя дьячихи Секлетеи Бурдалаховой, дойдетъ вѣрно: я сама буду наблюдать. Но сдѣлайте такъ, чтобъ бабушка не замѣтила ничего, и никто въ домѣ.

„Можетъ-быть—и весьма естественно—вы затруднитесь, какъ велика должна быть сумма, то рублей трехсотъ, даже двухсотъ двадцати—будетъ довольно ему на цѣлый годъ. Да если бъ вы прислали пальто и жилетъ изъ осенняго трико,—(видите, какъ я вѣрю въ нѣжность вашей души вообще, и въ любовь ко мнѣ въ особенности, что даже и мѣру прилагаю, которую снялъ съ него деревенскій портной!), то этимъ вы защитите бѣдняка и отъ холода.

„Затѣмъ я уже не смѣю напоминать о тепломъ одѣялѣ—это бы значило употреблять во зло вашу доброту и слабость ко мнѣ: это до другого раза! Къ зимѣ бѣдный изгнанникъ уйдетъ вѣроятно отсюда, благословляя васъ, а съ вами и... меня немножко. Я бы не тревожила васъ, но вы знаете, всѣ мои деньги у бабушки, а ей открыться не могу."

— Что̀ такое? Что̀ это такое! почти закричалъ Райскій отъ изумленія, дочитавъ post-scriptum, и, ворочая глазами вокругъ, мысленно искалъ ключа.

— Не она, не она! вслухъ произнесъ потомъ и вдругъ легъ на диванъ: съ нимъ сдѣлался припадокъ истерическаго смѣха.

Это было въ кабинетѣ Татьяны Марковны. Тутъ были Викентьевъ и Марѳинька. Послѣдніе оба сначала заразились смѣхомъ и дружно аккомпанировали ему, потомъ сдержались, начиная пугаться раскатовъ его хохота. Особенно

Татьяна Марковна испугалась. Она даже достала какихъ-то капель и налила на ложечку. Райскій едва унялся.

— Выпей капель, Борюшка.

— Нѣтъ, бабушка—дайте мнѣ не капель, а денегъ рублей триста...

И опять закатился смѣхомъ. Бабушка отказала-было.

— Скажи, зачѣмъ, кому? Не Маркушкѣ ли? Взыщи прежде съ него восемьдесятъ рублей—и пошла, и пошла!

Въ другое время онъ бы про себя наслаждался этой экономической чертой бабушки и не преминулъ бы добродушно подразнить ее. Но тутъ его жгли внутренніе огни нетерпѣнія, поглощалъ возрастающій интересъ комедіи.

Онъ чуть не въ драку полѣзъ съ нею, и послѣ отчаянной схватки, поторговавшись съ часъ, выручилъ отъ нея двѣсти двадцать рублей, не доторговавшись до трехсотъ, лишь бы скорѣе кончить.

Онъ запечаталъ ихъ и отослалъ на другой же день. Между тѣмъ отыскалъ портного и торопилъ сшить теплое пальто, жилетъ и купилъ одѣяло. Все это отослано было на пятый день.

„Слезами и сердцемъ, а не перомъ, благодарю васъ, милый, милый братъ", получилъ онъ отвѣтъ съ той стороны:—„не мнѣ награждать за это: небо наградитъ за меня! Моя благодарность—пожатіе руки и долгій, долгій взглядъ признательности! Какъ обрадовался вашимъ подаркамъ бѣдный изгнанникъ! онъ все „смѣется" съ радости и одѣлся въ обновки. А изъ денегъ сейчасъ же заплатилъ за три мѣсяца долгу хозяйкѣ и отдалъ за мѣсяцъ впередъ. И только на три рубля осмѣлился купить сигаръ, которыми не лакомился давно, а это—его страсть..."

„Пошлю завтра ящикъ", думалъ Райскій и послалъ,—между прочимъ потому, что „вѣдь проситъ тотъ, у кого нѣтъ..." говорилъ онъ:—„богатый не попросилъ бы".

Ему вдругъ пришло въ голову—послать ловкаго Егорку послѣдить, кто беретъ письма у рыбака, узнать, кто такая Секлетея Бурдалахова. Онъ ужъ позвонилъ, но когда явился Егоръ—онъ помолчалъ, взглянулъ на Егора, покраснѣлъ за свое намѣреніе и махнулъ ему рукой, чтобы онъ шелъ вонъ.

— Не могу, не могу! шепталъ онъ съ непреодолимымъ отвращеніемъ.—Спрошу у ней самой—посмотрю, какъ и что скажетъ она—и если солжетъ, прощай Вѣра, а съ ней и всякая вѣра въ женщинъ!

Слѣдя за ходомъ своей собственной страсти, какъ медикъ за болѣзнью, и какъ будто снимая фотографію съ нея, потому что искренно переживалъ ее, онъ здраво заключалъ, что эта страсть—ложь, миражъ, что надо прогнать, разсѣять ее! „Но какъ? что надо теперь дѣлать?“ спрашивалъ онъ, глядя на небо съ облаками, углубляя взглядъ въ землю:—„что велитъ долгъ?—отвѣчай же уснувшій разумъ, освѣти мнѣ дорогу, дай перепрыгнуть черезъ этотъ пылающій костеръ!“

„Бросить все и бѣжать прочь!“ отозвался покойно разумъ.

— Да, да—брошу и бѣгу, не дождусь ее! рѣшилъ онъ, и тутъ только замѣтилъ приложенный къ ея письму клочекъ бумаги съ припиской Вѣры:

„Не пишите больше, я въ четвергъ буду сама домой: меня привезетъ лѣсничій!“

Онъ обрадовался.

— А! вотъ и пробный камень. Это сама бабушкина „судьба“ вмѣшалась въ дѣло и требуетъ жертвы, подвига—и я его совершу. Черезъ три дня видѣть ее опять здѣсь... О, какая нѣга! Какое солнце взойдетъ надъ Малиновкой? Нѣтъ, убѣгу! Чего мнѣ это стоитъ, никто не знаетъ! И ужели не найду награды, потерянпаго мира? Скорѣй, скорѣй

прочь... сказалъ онъ рѣшительно и кликнулъ Егора, приказавъ принести чемоданъ.

И надо было бы тотчасъ бѣжать, т. е. забывать Вѣру. Онъ и исполнилъ часть своей программы. Поѣхалъ въ городъ кое-что купить въ дорогу. На улицѣ онъ встрѣтилъ губернатора. Тотъ упрекнулъ его, что̀ давно не видать? Райскій отозвался нездоровьемъ и сказалъ, что уѣзжаетъ на-дняхъ.

— Куда? спросилъ тотъ.

— Да мнѣ все равно, мрачно отвѣтилъ Райскій:— здѣсь... я усталъ, хочу развлечься, теперь поѣду въ Петербургъ, а тамъ въ свое имѣніе, въ Р—ую губернію, а можетъ-быть и за границу...

— Не удивительно, что вы соскучились, замѣтилъ губернаторъ:—сидя на одномъ мѣстѣ, удаляясь отъ общества...—Нужно развлеченіе... Вотъ не хотите ли со мной прокатиться? Я послѣзавтра отправляюсь осматривать губернію...

„Послѣзавтра будетъ среда“, мелькнуло соображеніе въ головѣ у Райскаго: „а она возвращается въ четвергъ... Да, да судьба вытаскиваетъ меня... Не лучше ли бы уѣхать дальше, совсѣмъ отсюда—для полнаго подвига?“

— Посмотрите мѣстность, продолжалъ губернаторъ:— есть красивыя мѣста: вы поэтъ, наберетесь свѣжихъ впечатлѣній... Мы и по Волгѣ верстъ полтораста спустимся... Возьмите альбомъ, будете рисовать пейзажи...

— А если я приму? отвѣчалъ Райскій, у котораго, рядомъ съ намѣреніемъ бороться со страстью, пріютилась надежда не разставаться вполнѣ хоть съ тѣми мѣстами, гдѣ присутствуетъ *она*, его безподобная, но мучительная красота!

— Поѣдемте, я вашъ спутникъ, рѣшилъ онъ окончательно.

Губернаторъ ласково хлопнулъ рукой по его ладони и повелъ къ себѣ, показалъ экипажъ, удобный и покойный— сказалъ, что и кухня поѣдетъ за нимъ и карты захватитъ.—Въ пикетъ будемъ сражаться, прибавилъ онъ:— и мнѣ веселѣе ѣхать, чѣмъ съ однимъ секретаремъ, которому много будетъ дѣла.

Райскому стало легче уже отъ одного намѣренія перемѣнить мѣсто и обстановку. Что-то постороннее Вѣрѣ, какъ облако стало между нимъ и ею. Давно бы такъ, и это глупѣйшее состояніе кончилось бы!

— Вотъ почти и нѣтъ никакихъ бѣсовъ! говорилъ онъ, возвращаясь къ себѣ.

Онъ подтвердилъ Егоркѣ готовить платье, бѣлье, сказавши, что ѣдетъ съ губернаторомъ.

Намѣренія его преодолѣть страсть были искренни, и онъ подумывалъ уже не возвращаться вовсе, а къ концу губернаторской поѣздки вытребовать свои вещи изъ дому и уѣхать, не повидавшись съ Вѣрой.

На этомъ бы и остановиться ему, отвернуться отъ Малиновки навсегда, или хоть на долго, и не оглядываться— и все потонуло бы въ пространствѣ, даже не такой дали, какую предполагалъ Райскій между Вѣрой и собой, а двухъ-трехъ сотъ верстъ, и во времени — не годовъ, а пяти-шести недѣль, и осталось бы развѣ смутное воспоминаніе отъ этой трескотни, какъ отъ кошемара.

Райскій зналъ это по прежнимъ, хотя и не такимъ сильнымъ опытамъ, но послѣдній опытъ всегда кажется не похожимъ чѣмъ-нибудь на прежніе, и потомъ подъ свѣжей страстью дымится свѣжая рана, а времени ждать долго.

Райскій зналъ и это и не лукавилъ даже передъ собой, а хотѣлъ только утомить чѣмъ-нибудь невыносимую боль, т. е. не вдругъ удаляться отъ этихъ мѣстъ и не класть сразу непреодолимой дали между ею и собою, чтобы не вдругъ

оборвался этотъ нервъ, которымъ онъ такъ связанъ былъ, и съ живой, полной прелести стройной и нѣжной фигурой Вѣры, и съ воплотившимся въ ней его идеаломъ, живущимъ въ ея образѣ, вопреки таинственности ея поступковъ, вопреки его подозрѣніямъ въ ея страсти къ кому-то, вопреки наконецъ его грубымъ предположеніямъ въ ея женской распущенности, въ ея отношеніяхъ... къ Тушину, въ которомъ онъ болѣе всѣхъ подозрѣвалъ ея героя.

„А можетъ-быть, и другой, другіе...“ злобно думалъ онъ.

Онъ свои художническія требованія переносилъ въ жизнь, мѣшая ихъ съ общечеловѣческими, и писалъ послѣднюю съ натуры, и тутъ же, невольно и безсознательно, приводилъ въ исполненіе древнее мудрое правило, „познавалъ самого себя“, съ ужасомъ вглядывался и вслушивался въ дикіе порывы животной, слѣпой натуры, самъ писалъ ей казнь и чертилъ новые законы, разрушалъ въ себѣ „ветхаго человѣка“ и создавалъ новаго. И если ужасался, глядясь самъ въ подставляемое себѣ безпощадное зеркало зла и темноты, то и неимовѣрно былъ счастливъ, замѣчая, что эта внутренняя работа надъ собой, которой онъ требовалъ отъ Вѣры, отъ живой женщины, какъ человѣкъ, и отъ статуи, какъ художникъ, началась у него самого не съ Вѣры, а давно, прежде когда-то, въ минуты такого же раздвоенія натуры на реальное и фантастическое.

Онъ, съ біеніемъ сердца и трепетомъ чистыхъ слезъ, подслушивалъ, среди грязи и шума страстей, подземную тихую работу, въ своемъ человѣческомъ существѣ, какого-то таинственнаго духа, затихавшаго иногда въ трескѣ и дымѣ нечистаго огня, но не умиравшаго и просыпавшагося опять, зовущаго его, сначала тихо, потомъ громче и громче, къ трудной и нескончаемой работѣ надъ собой, надъ своей собственной статуей, надъ идеаломъ человѣка.

Радостно трепеталъ онъ, вспоминая, что не жизненныя приманки, не малодушные страхи звали его къ этой работѣ, а безкорыстное влеченіе искать и создавать красоту въ себѣ самомъ. Духъ манилъ его за собой, въ свѣтлую, таинственную даль, какъ человѣка и какъ художника, къ идеалу чистой человѣческой красоты.

Съ тайнымъ, захватывающимъ дыханіе ужасомъ счастья видѣлъ онъ, что работа чистаго генія не рушится отъ пожара страстей, а только останавливается, и когда минуетъ пожаръ, она идетъ впередъ, медленно и туго, но все идетъ—и что въ душѣ человѣка, независимо отъ художественнаго, таится другое творчество, присутствуетъ другая живая жажда, кромѣ животной, другая сила, кромѣ силы мышцъ.

Пробѣгая мысленно всю нить своей жизни, онъ припоминалъ, какія нечеловѣческія боли терзали его, когда онъ падалъ, какъ медленно вставалъ опять, какъ тихо чистый духъ будилъ его, звалъ вновь на нескончаемый трудъ, помогая встать, ободряя, утѣшая, возвращая ему вѣру въ красоту правды и добра и силу — подняться, идти дальше, выше...

Онъ благоговѣйно ужасался, чувствуя, какъ приходятъ въ равновѣсіе его силы, и какъ лучшія мысли движенія и воли уходятъ туда, въ это зданіе, какъ ему легче и свободнѣе, когда онъ слышитъ эту тайную работу и когда самъ сдѣлаетъ усиліе, движеніе, подастъ камень, огня и воды.

Отъ этого созданія творческой работы внутри себя, и теперь пропадала у него изъ памяти страстная, язвительная Вѣра, а если приходила, то затѣмъ только, чтобъ онъ съ мольбой звалъ ее туда же, на эту работу тайнаго духа, показать ей священный огонь внутри себя и пробудить его

въ ней, и умолять беречь, лелѣять, питать его въ себѣ самой.

Тогда казалось ему, что онъ любилъ Вѣру такой любовью, какою никто другой не любилъ ее, и самъ смѣло требовалъ отъ нея такой же любви и къ себѣ, какой она не могла дать своему идолу, какъ бы страстно не любила его, если этотъ идолъ не носилъ въ груди такихъ же силъ, такого же огня, и слѣдовательно такой же любви, какая была заключена въ немъ и рвалась къ ней.

Съ другой, жгучей и разрушительной страстью, онъ искренно и честно продолжалъ бороться, чувствуя, что она не раздѣлена Вѣрою, и слѣдовательно не можетъ разрѣшиться, какъ разрѣшается у двухъ, взаимно любящихъ честныхъ натуръ, въ тихое и покойное теченіе, словомъ, въ счастье, въ которомъ, очистившись отъ животнаго бѣшенства, она превращается въ человѣческую любовь.

Онъ теперь уже не звалъ болѣе страсть къ себѣ, какъ прежде, а проклиналъ свое внутреннее состояніе, мучительную борьбу, и написалъ Вѣрѣ, что рѣшился бѣжать ея присутствія. Теперь, когда онъ сталъ уходить отъ нея,—она будто пошла за нимъ, все подъ своимъ таинственнымъ покрываломъ, затрогивая, дразня его, будила его сонъ, отнимала книгу изъ рукъ, не давала ѣсть.

Дня черезъ три онъ получилъ коротенькую записку, съ вопросомъ: „гдѣ онъ? что̀ не возвращается? отчего нѣтъ писемъ?“ Какъ будто ей не было дѣла до его намѣренія уѣхать, или она не получила его письма.

Она звала его домой, говорила, что она воротилась, что „безъ него скучно“, Малиновка опустѣла, всѣ повѣсили носъ, что Марѳинька собирается ѣхать гостить за Волгу, къ матери своего жениха, тотчасъ послѣ дня своего рожденія, который будетъ на слѣдующей недѣлѣ, что бабушка

останется одна и пропадетъ съ тоски, если онъ не принесетъ этой жертвы... и бабушкѣ, и ей...

„Да, знаю я эту жертву“, думалъ онъ злобно и подозрительно: „въ домѣ, безъ меня и безъ Мароиньки, замѣтнѣе будутъ твои скачки съ обрыва, дикая коза! Надо сидѣть съ бабушкой долѣе, обѣдать не въ своей комнатѣ, а со всѣми—понимаю! Не будетъ же этого! Не дамъ тебѣ торжествовать—довольно! Сброшу съ плечъ эту глупую страсть, и никогда ты не узнаешь своего торжества!“

Онъ написалъ ей отвѣтъ, гдѣ повторилъ о своемъ намѣреніи уѣхать, не повидавшись съ нею, находя, что это единственный способъ исполнить ея давнишнее требованіе—оставить ее въ покоѣ и прекратить свою собственную пытку. Потомъ разорвалъ свой дневникъ и бросилъ по вѣтру клочки, вполнѣ разочарованный въ произведеніяхъ своей фантазіи.

Куры бросились со всѣхъ сторонъ къ окну губернаторской квартиры въ уѣздномъ городѣ, принявъ за какую-то куриную манну эти, какъ снѣгъ, посыпавшіеся обрывки бумаги, и потомъ медленно разошлись, тоже разочарованныя, поглядывая вопросительно на окно.

На другой день къ вечеру онъ получилъ коротенькій отвѣтъ отъ Вѣры, гдѣ она успокоивала его, одобряя намѣреніе его уѣхать, не повидавшись съ ней, и изъявила полную готовность помочь ему побѣдить *страсть* (слово было подчеркнуто)—и для того она сама, вслѣдъ за отправленіемъ этой записки, уѣзжаетъ въ тотъ же день, т.-е. въ пятницу, опять за Волгу. Ему же совѣтовала пріѣхать проститься съ Татьяной Марковной и со всѣмъ домомъ, иначе внезапный отъѣздъ удивилъ бы весь городъ и огорчилъ бы бабушку.

Райскій почти обрадовался этому отвѣту. У него отлегло отъ сердца, и онъ на другой день, т.-е. въ пятницу послѣ обѣда, легко и весело выпрыгнулъ изъ кареты губер-

натора, когда они въѣхали въ слободу близъ Малиновки, и поблагодарилъ его превосходительство за удовольствіе пріятной прогулки. Онъ, съ дорожнымъ своимъ мѣшкомъ, быстро пробѣжалъ ворота и явился въ домъ.

## VI.

Марѳинька первая, Викентьевъ второй, и съ ними дворовыя собаки, выскочили встрѣтить его, и всѣ, до Пашутки включительно, обрадовались ему почти до слезъ, такъ что и ему, несмотря на хмѣль страсти, едва не заплакалось отъ этой теплоты сердечнаго пріема.

„Ахъ, зачѣмъ мнѣ мало этого счастья—зачѣмъ я не бабушка, не Викентьевъ, не Марѳинька, зачѣмъ я—Вѣра въ своемъ родѣ?“ думалъ онъ и боязливо искалъ Вѣру глазами.

— А Вѣра уѣхала вчера! сказала Марѳинька съ особенной живостью, замѣтивъ конечно, что онъ тоскливо оглядывался вокругъ себя.

— Да, Вѣра Васильевна уѣхала, повторилъ и Викентьевъ.

— Барышни нѣтъ! сказали и люди, хотя онъ ихъ и не спрашивалъ.

Ему бы радоваться, а у него сердце упало.

„И весело имъ, что уѣхала, улыбаются, имъ это ничего!“ думалъ онъ, проходя къ Татьянѣ Марковнѣ въ кабинетъ.

— Какъ я ждала тебя, хотѣла эстафету посылать! сказала она съ тревожнымъ лицомъ, выславъ Пашутку вонъ и затворяя кабинетъ.

Онъ испугался, ожидая какой-нибудь вѣсти о Вѣрѣ.

— Что̀ такое случилось!

— Твой другъ, Леонтій Ивановичъ...

— Ну?

— Боленъ.

— Бѣдный! Что̀ съ нимъ? Я сейчасъ поѣду... Опасно?

— Погоди, я велю лошадь заложить, а пока скажу отчего; въ городѣ ужъ всѣ знаютъ. Я только для Марѳиньки секретничаю. А Вѣра ужъ узнала отъ кого-то...

— Что̀ съ нимъ случилось?

— Жена уѣхала... шопотомъ сказала Татьяна Марковна, нахмурившись:—онъ и слегъ. Кухарка его третьяго дня и вчера два раза прибѣгала за тобой...

— Куда уѣхала?

— Съ французомъ, съ Шарлемъ укатила! Того вдругъ вызвали въ Петербургъ зачѣмъ-то. Ну, вотъ и она... „Меня, говоритъ, кстати проводитъ до Москвы M-r Charles". И какъ схитрила: „хочу, говоритъ, повидаться съ родными въ Москвѣ", и выманила у мужа видъ для свободнаго проживанія.

— Ну, такъ что жъ за бѣда? сказалъ Райскій:—ея сношенія съ Шарлемъ не секретъ ни для кого, кромѣ мужа: посмѣются еще, а онъ ничего не узнаетъ. Она воротится...

— Ты не дослушалъ. Письмо съ дороги прислала мужу, гдѣ проситъ забыть ее, говоритъ, чтобъ не ждалъ, не воротится, что не можетъ жить съ нимъ, зачахнетъ здѣсь...

Райскій пожалъ плечами.

— Ахъ, Боже мой! Ахъ, дура! горевалъ онъ.—Бѣдный Леонтій! Мало ей самой было негласнаго скандала — нѣтъ, захотѣла публичнаго!... Сейчасъ поѣду; ахъ, какъ мнѣ жаль его!

— И мнѣ жаль, Борюшка. Я хотѣла сама съѣздить къ нему—у него честная душа, онъ—какъ младенецъ! Богъ далъ ему ученость, да остроты не далъ... закопался въ свои книги! У кого онъ тамъ на рукахъ?... Да вотъ что̀: если за нимъ нѣтъ присмотру, перевези его сюда—въ старомъ домѣ пусто, кромѣ Вѣриной комнаты... Мы его тамъ пока помѣстимъ... Я на случай велѣла приготовить двѣ комнаты.

— Что̀ вы за женщина, бабушка! я только-что подумалъ, а вы ужъ и велѣли!...

Онъ пошелъ на минуту къ себѣ. Тамъ нашелъ онъ письма изъ Петербурга, между ними одно отъ Аянова, своего пріятеля и партнера Надежды Васильевны и Анны Васильевны Пахотиныхъ, въ отвѣтъ на нѣсколько своихъ писемъ къ нему, въ которыхъ просилъ извѣстій о Софьѣ Бѣловодовой, а потомъ забылъ.

Онъ вскрылъ письмо и увидалъ, что Аяновъ пишетъ, между прочимъ о ней, отвѣчая на его письмо.

„Когда опомнился!“ подумалъ онъ: „тогда у меня еще было свѣжо воспоминаніе о ней, а теперь я и лицо ея забылъ! Теперь даже Секлетея Бурдалахова интереснѣе для меня, потому только, что напоминаетъ Вѣру!“

Онъ не читалъ писемъ, не вскрылъ журналовъ и поѣхалъ къ Козлову. Ставни сѣраго домика были закрыты, и Райскій едва достучался, чтобъ отперли ему двери.

Онъ прошелъ прихожую, потомъ залу, и остановился у кабинета, не зная, постучать, или войти прямо.

Дверь вдругъ тихо отворилась, передъ нимъ явился Маркъ Волоховъ, въ женскомъ капотѣ и въ туфляхъ Козлова, нечесанный, съ невыспавшимся лицомъ, блѣдный, худой, съ злыми глазами, какъ будто его всего передернуло.

— Насилу васъ принесла нелегкая! сказалъ онъ съ досадой вполголоса:—гдѣ вы пропадали? Я другую ночь почти не сплю совсѣмъ... Днемъ тутъ ученики вертѣлись, а по ночамъ онъ одинъ...

— Что̀ съ нимъ?

— Что̀? развѣ вамъ не сказали? Ушла коза-то! Я обрадовался, когда услыхалъ, шелъ поздравить его, гляжу—а на немъ лица нѣтъ! Глаза помутились, никого не узнаётъ. Чуть горячка не сдѣлалась, теперь, кажется, проходитъ. Чѣмъ бы плакать отъ радости, уродъ убивается горемъ. Я

лѣкаря-было привелъ, онъ прогналъ, а самъ ходитъ, какъ шальной... Теперь онъ спитъ, не мѣшайте. Я уйду домой, а вы останьтесь, чтобъ онъ чего не натворилъ надъ собой въ припадкѣ тупоумной меланхоліи. Никого не слушаетъ—я ужъ хотѣлъ побить его...

Онъ плюнулъ съ досады.

— На кухарку положиться нельзя—она идіотка. Вчера дала ему принять зубного порошка, вмѣсто настоящаго. Завтра вечеромъ я смѣню васъ... прибавилъ онъ.

Райскій съ изумленіемъ поглядѣлъ на Марка и подалъ ему руку.

— За что̀ такая милость? спросилъ Маркъ желчно, не давая руки.

— Благодарю, что не кинули моего бѣднаго товарища...

— Ахъ, очень пріятно! сказалъ Маркъ, шаркая обѣими туфлями и крѣпко тряся за руку Райскаго: — я давно искалъ случая услужить вамъ...

— Что это, Волоховъ, вы какъ клоунъ въ циркѣ, все выворачиваете себя наизнанку!..

— А вы все рисуетесь въ жизни и рисуете жизнь! ядовито отвѣчалъ Волоховъ.—Ну, на кой чортъ мнѣ ваша благодарность? Развѣ я для нея, или для кого-нибудь пришелъ къ Козлову, а не для него самого?

— Ну, хорошо, Маркъ Ивановичъ, Богъ съ вами и съ вашими манерами! Сила не въ нихъ и не въ моей „рисовкѣ“! Вы сдѣлали доброе дѣло...

— Опять похвала!

— Опять. Это моя манера говорить—что̀ мнѣ нравится, что̀ нѣтъ. Вы думаете, что быть грубымъ—значитъ быть простымъ и натуральнымъ, а я думаю, чѣмъ мягче человѣкъ, тѣмъ онъ больше человѣкъ. Очень жалѣю, если вамъ не нравится этотъ мой „рисунокъ“, но дайте мнѣ свободу рисовать жизнь по-своему!

— Хорошо, сахарничайте, какъ хотите! сквозь зубы проворчалъ Маркъ.

— Леонтія я перевезу къ себѣ: тамъ онъ будетъ какъ въ своей семьѣ, продолжалъ Райскій: — и если горе не пройдетъ, то онъ и останется навсегда въ тихомъ углу...

— Вотъ теперь дайте руку, сказалъ Маркъ серьезно, схвативъ его за руку:—это дѣло, а не слова! Козловъ разсохнется и служить уже не можетъ. Онъ останется безъ угла и безъ куска... Славная мысль вамъ въ голову пришла.

— Не мнѣ, а женщинѣ пришла эта мысль, и не въ голову, а въ сердце, заключилъ Райскій:—и потому теперь я не приму вашей руки... Бабушка выдумала это...

— Экая здоровая старуха, эта ваша бабушка! замѣтилъ Маркъ:—я когда-нибудь къ ней на пирогъ приду! Жаль, что старой дури набито въ ней много!.. Ну, я пойду, а вы присматривайте за Козловымъ,—если не сами, такъ посадите кого-нибудь. Вонъ третьяго дня ему мочили голову и велѣли на ночь сырой капустой обложить. Я заснулъ нечаянно, а онъ, въ забытьи, всю капусту съ головы потаскалъ да съѣлъ... Прощайте! я не спалъ и не ѣлъ самъ. Авдотья меня тутъ какой-то бурдой изъ кофе потчивала...

— А вотъ что, не хотите ли подождать? Я сейчасъ кучера пошлю домой за ужиномъ, сказалъ Райскій.

— Нѣтъ, я поужинаю ужо̀ дома.

— Можетъ-быть... у васъ денегъ нѣтъ?.. робко предложилъ Райскій и хотѣлъ достать бумажникъ.

Маркъ вдругъ засмѣялся своимъ холоднымъ смѣхомъ.

— Нѣтъ, нѣтъ—у меня теперь есть деньги... сказалъ онъ, глядя загадочно на Райскаго.—Да я еще въ баню до ужина пойду. Я весь выпачкался, не одѣвался и не раздѣвался почти. Я, видите ли, живу теперь не у огородника на квартирѣ, а у одной духовной особы. Сегодня тамъ баню топятъ, я схожу въ баню, потомъ поужинаю и лягу ужъ на всю ночь.

— Вы похудѣли—и какъ будто нездоровы! замѣтилъ Райскій:—глаза у васъ...

Маркъ вдругъ нахмурился, и лицо у него сдѣлалось еще злѣе прежняго.

— А вы на мой взглядъ еще нездоровѣе! сказалъ онъ.— Посмотритесь въ зеркало: желтыя пятна, глаза ввалились совсѣмъ...

— У меня разныя безпокойства...

— И у меня тоже, сухо замѣтилъ Волоховъ.—Прощайте.

Онъ ушелъ, а Райскій тихо отворилъ дверь къ Леонтію и подошелъ на цыпочкахъ къ постели.

— Кто тутъ? спросилъ слабо Козловъ.

— Здравствуй, Леонтій,—это я! сказалъ Райскій, взявъ за руку Козлова и садясь въ кресло подлѣ постели.

Козловъ долго всматривался, потомъ узналъ Райскаго, проворно спустилъ ноги съ постели и сѣлъ, глядя на него.

— А тотъ ушелъ? Я притворился спящимъ. Тебя давно не видать, заговорилъ Леонтій слабымъ голосомъ, съ промежутками.—А я все ждалъ—не заглянетъ ли, думаю. Лицо стараго товарища, продолжалъ онъ, глядя близко въ глаза Райскому и положивъ свою руку ему на плечо:—теперь только одно не противно мнѣ...

— Меня не было въ городѣ, отвѣчалъ Райскій:—я сейчасъ только воротился и узналъ, что ты боленъ...

— Врутъ, я не боленъ. Я притворился... сказалъ онъ, опуская голову на грудь и замолчалъ. Черезъ нѣсколько минутъ онъ поднялъ голову и разсѣянно глядѣлъ на Райскаго.

— Что, бишь, такое я хотѣлъ сказать тебѣ?...

Онъ всталъ и пошелъ неровными шагами по кабинету.

— Ты бы легъ, Леонтій, замѣтилъ Райскій: — ты боленъ...

— Я не боленъ, почти съ досадой отвѣчалъ Козловъ.— Что это вы всѣ, точно сговорились, наладили: боленъ, да боленъ. А Маркъ и лѣкаря привелъ, и сидитъ тутъ, точно боится, что я кинусь въ окно или зарѣжусь...

— Ты, однако, слабъ, насилу ходишь—право лягъ...

— Да, слабъ, это правда, наклонясь черезъ спинку стула къ Райскому и обнявъ его за шею, шепталъ Леонтій. Онъ положилъ ему щеку на голову, и Райскій вдругъ почувствовалъ у себя на лбу и на щекахъ горячія слезы. Леонтій плакалъ.

— Это слабость, да... всхлипывая говорилъ Леонтій: — но я не боленъ... я не въ горячкѣ... врутъ они... не понимаютъ... Я и самъ не понималъ ничего... Вотъ, какъ увидѣлъ тебя... такъ слезы льются, сами прорвались... Не ругай меня, какъ Маркъ, и не смѣйся надо мной, какъ всѣ они смѣются... эти учителя, товарищи... Я вижу у нихъ злой смѣхъ на лицахъ, у этихъ сердобольныхъ посѣтителей!..

Райскаго самого душили слезы, но онъ не далъ имъ воли, чтобъ не растравлять еще больше тоски Леонтія.

— Я понимаю и уважаю твои слезы, Леонтій! сказалъ онъ, насилу одолѣвая себя.

— Ты добрый, старый товарищъ... ты и въ школѣ не смѣялся надо мной... Ты знаешь, отчего я плачу? Ты ничего не знаешь, что̀ со мной случилось?

Райскій молчалъ.

— Вотъ я тебѣ покажу... Онъ пошелъ къ бюро, вынулъ изъ ящика письмо и подалъ ему.

Райскій пробѣжалъ глазами письмо отъ Ульяны Андреевны, о которомъ ужъ слышалъ отъ бабушки.

— Уничтожь его, совѣтовалъ онъ:—пока оно цѣло, ты не успокоишься...

— Какъ можно! съ испугомъ сказалъ Леонтій, выхватывая письмо и пряча его опять въ ящикъ.—Вѣдь это един-

ственныя ея строки ко мнѣ, другихъ у меня нѣтъ... Это одно только и осталось у меня на память отъ нея... добавилъ онъ, глотая слезы.

— Да, такое чувство заслуживало лучшей доли... тихо сказалъ Райскій.—Но, другъ Леонтій, прими это, какъ болѣзнь, какъ величайшее горе... Но все же не поддавайся ему—жизнь еще длинна, ты не старъ...

— Жизнь кончилась, перебилъ Леонтій: —если...

— Если что?

— Если она... не воротится... шепнулъ онъ.

— Какъ, ты хотѣлъ бы... ты принялъ бы ее теперь...

— Ахъ, Борисъ, и ты не понимаешь! почти съ отчаяніемъ произнесъ Козловъ, хватаясь за голову и ходя по комнатѣ.—Боже мой! Твердятъ, что я боленъ, сострадаютъ мнѣ, водятъ лѣкарей, сидятъ по ночамъ у постели — и всетаки не угадываютъ моей болѣзни и лѣкарства, какое нужно, а лѣкарство одно...

Райскій молчалъ.

Козловъ подошелъ къ нему большими шагами, взялъ его за плечи и сильно тряся, шепталъ въ отчаяніи:

— Ея нѣтъ,—вотъ моя болѣзнь! Я не боленъ, я умеръ и настоящее мое, и будущее—все умерло, потому что ея нѣтъ! Поди, вороти ее, приведи сюда—и я воскресну!... А онъ спрашиваетъ, принялъ ли бы я ее! Какъ же ты романъ пишешь, а не умѣешь понять такого простого дѣла!...

Райскій видѣлъ, что Козловъ взглянулъ наконецъ и на близкую ему жизнь тѣмъ же сознательнымъ и вѣрнымъ взглядомъ, какимъ глядѣлъ на жизнь древнихъ, и что утѣшить его нечѣмъ.

— Теперь я понимаю, замѣтилъ онъ:—но я не зналъ, что ты такъ любилъ ее. Ты самъ шутилъ, бывало: говорилъ, что привыкъ къ ней, что измѣняешь ей для своихъ грековъ и римлянъ...

Козловъ горько улыбнулся.

— Вралъ, хвасталъ, не понималъ ничего, Борисъ, сказалъ онъ:—и не случись этого... я никогда бы и не понялъ. Я думалъ, что я люблю древнихъ людей, древнюю жизнь, а я просто любилъ... живую женщину; и любилъ и книги, и гимназію, и древнихъ, и новыхъ людей, и своихъ учениковъ... и тебя самого... и этотъ—городъ, вотъ съ этимъ переулкомъ, заборомъ и съ этими рябинами—потому только—что ее любилъ! А теперь это все опротивѣло, я бы готовъ хоть къ полюсу уѣхать... Да, я это недавно узналъ: вотъ какъ тутъ корчился на полу и читалъ ея письмо.

Райскій вздохнулъ.

— А ты спрашиваешь, принялъ ли бы я ее! Боже мой! Какъ принялъ бы—и какъ любилъ бы — она бы узнала это теперь... добавилъ онъ.

У него опять закапали слезы.

— Знаешь что̀, Леонтій, я къ тебѣ съ просьбой отъ Татьяны Марковны! сказалъ Райскій.

Леонтій ходилъ взадъ и впередъ, пошатываясь, шлепая туфлями, съ всклокоченной головой, и не слушалъ его.

— Бабушка проситъ тебя переѣхать къ намъ, продолжалъ Райскій:—ты здѣсь одинъ пропадешь съ тоски.

Козловъ услыхалъ и понялъ, но въ отвѣтъ только махнулъ рукой.

— Спасибо ей, она святая женщина! Что̀ я буду такимъ уродомъ носить свое горе по чужимъ угламъ!...

— Это не чужой уголъ, Леонтій, мы съ тобой братья. Наше родство сильнѣе родства крови...

— Да, да, виноватъ, горе одолѣло меня! ложась въ постель, говорилъ Козловъ, и взявъ за руку Райскаго:— прости за эгоизмъ. Послѣ... послѣ... я самъ притащусь, попрошусь посмотрѣть за твоей библіотекой... когда ужъ надежды не будетъ...

— А у тебя есть надежда?

— А что? вдругъ шопотомъ спросилъ Козловъ, быстро садясь на постели и подвигая лицо къ Райскому: — ты думаешь, что нѣтъ надежды?...

Райскій молчалъ, не желая ни лишать его этой соломенки, ни манить его ею напрасно.

— Я, право, не знаю, Леонтій, что̀ сказать. Я такъ мало слѣдилъ за твоей женою, давно не видалъ... не знаю хорошо ея характера.

— Да, ты не хотѣлъ немного заняться ею... Я знаю, ты далъ бы ей хорошій урокъ... Можетъ-быть этого бы и не было...

Онъ вздохнулъ глубоко.

— Нѣтъ, ты знаешь ее, прибавилъ онъ:—ты мнѣ намекалъ на француза, да я не понялъ тогда... мнѣ въ голову не приходило... Онъ замолчалъ.—А если онъ броситъ ее? почти съ радостью вдругъ сказалъ онъ немного погодя, и въ глазахъ у него на минуту мелькнулъ какой-то лучъ.—Можетъ-быть, она вспомнитъ... можетъ-быть...

— Можетъ-быть... нерѣшительно сказалъ Райскій.

— Постой... что это?... Кто-то будто ѣдетъ сюда... заговорилъ Леонтій, привставая и глядя въ окно. Потомъ опустился и повѣсилъ голову.

Мимо оконъ проѣхала телѣга, гдѣ мужикъ, въ чувашской рубашкѣ, съ красными обшивками, стоя махалъ вожжей.

— Я все жду... все думаю, не опомнится ли! мечталъ онъ:—и ночью пробовалъ вставать, да этотъ разбойникъ Маркъ, точно желѣзной ручищей, повалитъ меня и велитъ лежать. „Не воротится, говоритъ, лежи смирно!“ Боюсь я этого Марка.

Онъ вопросительно поглядывалъ на Райскаго.

— А ты какъ думаешь! шепталъ онъ:—ты лучше знаешь женщинъ—что̀ онъ смыслитъ! Есть надежда... или...

— Если и есть, то во всякомъ случаѣ не теперь, сказалъ Райскій:—развѣ послѣ когда-нибудь...

Козловъ глубоко вздохнулъ, медленно улегся на постели и положилъ руки съ локтями себѣ на голову.

— Завтра я перевезу тебя къ намъ, сказалъ ему Райскій: — а теперь прощай! Ужо̀ къ ночи я, или приду самъ, или пришлю кого-нибудь побыть съ тобой.

Леонтій не смотрѣлъ и не слыхалъ, что Райскій говорилъ и какъ онъ вышелъ.

Райскій воротился домой, отдалъ отчетъ бабушкѣ о Леонтьѣ, сказавши, что опасности нѣтъ, но что никакое утѣшеніе теперь не поможетъ. Оба они рѣшили послать на ночь Якова смотрѣть за Козловымъ, при чемъ бабушка отправила цѣлый ужинъ, чаю, рому, вина—и Богъ знаетъ, чего еще.

— Зачѣмъ это? онъ ничего не ѣстъ, бабушка, сказалъ Райскій.

— А какъ тотъ... опять придетъ?

— Кто тотъ?

— Ну, кто — Маркушка: я чаю, ѣсть хочетъ. Вѣдь ты говоришь, что засталъ его тамъ...

— Ахъ, бабушка! я сейчасъ поѣду и скажу Марку...

— Сохрани тебя Господи! удержала она его: — на смѣхъ подниметъ...

— Нѣтъ — поклонится. Это не Нилъ Андреичъ, онъ понимаетъ васъ...

— Не надо мнѣ его поклоновъ, а чтобъ былъ сытъ— и Богъ съ нимъ! Онъ пропащій! А что... о восьмидесяти рубляхъ не поминаетъ?

Райскій махнулъ рукой, ушелъ къ себѣ въ комнату и

сталъ дочитывать письмо Аянова и другія, полученныя имъ письма изъ Петербурга, вмѣстѣ съ журналами и газетами.

## VII.

„Что̀ сдѣлалось съ тобой, любезный Борисъ Павловичъ?“ писалъ Аяновъ: „въ какую всероссійскую щель заползъ ты отъ нашего мокраго, но вѣчно-юнаго Петербурга, что отъ тебя два мѣсяца нѣтъ ни строки? Ужъ не женился ли ты тамъ на какой-нибудь стерляди? Забрасывалъ сначала своими повѣстями, т. е. письмами, а тутъ вдругъ и пропалъ, такъ-что я не знаю, не переѣхалъ ли ты изъ своей трущобы—Малиновки, въ какую-нибудь трущобу—Смородиновку, и получишь ли мое письмо?

„Новостей много, слушай только... Поздравь меня: геморрой наконецъ у меня открылся!! Мы съ докторомъ такъ обрадовались, что бросились другъ другу въ объятія и чуть не зарыдали оба. Понимаешь ли ты важность этого исхода? на воды не надо ѣхать! Поясницѣ легче, а къ животу я прикладываю холодные компрессы; у меня, вѣдь ты знаешь—pletora abdominalis...“

— Вотъ какими новостями занимаетъ! подумалъ Райскій и читалъ дальше.

„Олинька моя хорошѣетъ, преуспѣваетъ въ благочестіи, благонравіи и наукахъ, институтскому начальству покорна, къ отцу почтительна, и всякій четвергъ спрашиваетъ, скоро ли пріѣдетъ другой баловникъ, Райскій, поправлять ея рисунки и совать ей въ другую руку другую сверхъштатную коробку конфектъ...“

— Вотъ животное, только о себѣ! шепталъ опять Райскій, читая чрезъ нѣсколько строкъ ниже.

„...Коко женился наконецъ на своей Eudoxie, за которой чуть не семь лѣтъ, какъ за Рахилью, ухаживалъ!—и уѣхалъ въ свою тьму-тараканскую деревню. Горбуна

сбыли за границу вмѣстѣ съ его вѣдьмой, и теперь въ домѣ стало поживѣе. Стали отворять окна и впускать свѣжій воздухъ и людей,—только кормятъ все еще скверно...“

— Что мнѣ до нихъ за дѣло! съ нетерпѣніемъ ворчалъ Райскій, пробѣгая дальше письмо:—о кузинѣ ни слова, а мнѣ и о ней-то не хочется слышать!

„...на его мѣсто“,—шопотомъ читалъ онъ дальше: — „прочатъ въ министры князя П. В., а товарищемъ П. Б—а... Женщины подняли гвалтъ... П. П. проигралъ семьдесятъ тысячъ... Х—іе уѣхали за границу... Тебѣ скучно, вижу, что ты морщишься — спрашиваешь—что̀ Софья Николаевна (началъ живѣе читать Райскій): сейчасъ, сейчасъ, я берегъ вѣсти о ней pour la bonne bouche...“

— Насилу добрался! сказалъ Райскій:—ну, что она?

„Я старался и безъ тебя, какъ при тебѣ, и служилъ твоему дѣлу вѣрой и правдой, т. е. два раза игралъ съ милыми „барышнями“ въ карты, такъ что братецъ ихъ, Николай Васильевичъ, прозвалъ меня женихомъ Анны Васильевны, и такъ разгулялся однажды насчетъ будущей нашей свадьбы, что былъ вытолканъ обѣими сестрицами въ спину и не получилъ ни гроша субсидіи, за которой-было явился. Но за то занялъ триста рублей у меня, а я поставилъ эти деньги на твой счетъ, такъ какъ надежды отыграть ихъ у моей нареченной невѣсты уже болѣе нѣтъ. Внемли, блѣднѣй и трепещи!

„Играя съ тетками, я служилъ, говорю, твоему дѣлу, т. е. пробужденію страсти въ твоей мраморной кузинѣ, съ тою только разницею, что безъ тебя это дѣло пошло-было въ прокъ. Итальянецъ, графъ Милари, должно-быть служитъ по этой же части, т. е. развиваетъ страсти въ женщинахъ, и едва ли не успѣшнѣе тебя. Онъ повадился ѣздить въ тѣ же дни и часы, когда мы играли въ карты, а Николай Васильевичъ не нарадовался, глядя на свое семейное счастье.

„Папашу оставляли въ покоѣ, занимались музыкой, играли, пѣли—даже не брали гулять, потому что (я говорю тебѣ это по секрету, и весь Петербургъ не иначе, какъ на ухо, повторяетъ этотъ секретъ), когда карета твоей кузины являлась на островахъ, являлся тогда и Милари верхомъ, или въ коляскѣ, и ѣхалъ подлѣ кареты. Софья Николаевна еще больше похорошѣла, потомъ стала задумываться, немного вышла изъ своего „олимпійскаго“ спокойствія и похудѣла... Она (бери спиртъ и нюхай!) сдѣлала... un faux pas! Я добивался, какой именно, и получалъ такіе отвѣты даже отъ ея кузины Catherine, изъ которыхъ ничего не сообразишь: все двойки да шестерки, ни одного короля, ни дамы, ни туза, ни даже десятки нѣтъ... все фоски!

„Я началъ уже самъ сочинять ихъ романъ: думалъ, не застали ли ихъ гдѣ-нибудь уединенно-гуляющихъ, или перехватили письмо, въ коемъ сказано: „люблю-молъ тебя“— или раздался преступный поцѣлуй среди дуэтовъ Россини и Беллини. Нѣтъ, играли, пѣли, мѣшая намъ играть въ карты (мимоходомъ замѣчу, что и безъ нихъ игра вязалась плохо. Вообще я терпѣть не могу лѣта, потому что лѣтомъ карты сквозятъ), такъ что Надежда Васильевна затыкала даже уши ватой... А въ городѣ и пошло, и пошло! Мезенскіе, Хатьковы, и Мышинскіе, и всѣ,—больше всѣхъ кузина Catherine, тихо, съ сдержанной радостью, шептали: Sophie a poussé la chose trop loin, sans se rendre compte des suites...“ и т. д. Какая это „chose“, спрашивалъ я, и на ухо, и вслухъ, того, другого—и, не получая опредѣлительнаго отвѣта, самъ сталъ шептать, когда рѣчь зайдетъ о ней. „Oui“, говорилъ я—„elle a poussé la chose trop loin sans se rendre compte... Elle a fait un faux pas...“

„И пожму значительно плечами, когда спросятъ какой „pas“?

„Такимъ образомъ всплыло на горизонтъ легкое облачко

и стояло надъ головой твоей кузины! А я все служилъ да служилъ дѣлу, не забывая дружеской обязанности, и все ѣздилъ играть къ теткамъ. Даже сблизился съ Милари и сталъ условливаться съ нимъ, какъ, бывало, съ тобой, приходить въ одни часы, чтобъ обоимъ было удобнѣе...“

— Какой оселъ! сказалъ съ досадой Райскій, бросивъ письмо:—онъ думалъ, что угождаетъ мнѣ...

„А ты, за службу и дружбу мою“, читалъ дальше Райскій:—„пришли, или привези мнѣ къ зимѣ, съ Волги, отличной свѣжей икры боченокъ-другой, да стерлядей въ аршинъ: я подѣлюсь съ его сіятельствомъ, моимъ партнеромъ, министромъ и милостивцемъ...“

Райскій читалъ ниже:

„Такъ мы и переѣхали цѣлой семьей на дачу, на Каменный Островъ, т. е. онѣ заняли весь домъ В., а я двѣ комнаты неподалеку. Николай Васильевичъ поселился въ особомъ павильонѣ...

„Дѣла шли своимъ чередомъ, какъ вдругъ однажды передъ началомъ нашей вечерней партіи, когда Надежда Васильевна и Анна Васильевна наряжались къ выходу, а Софья Николаевна поѣхала гулять, взявши съ собой Николая Васильевича, чтобъ завести его тамъ гдѣ-то на дачу,—доложили о пріѣздѣ княгини Олимпіады Измайловны. Обѣ тетки поворчали на это неожиданное разстройство партіи, но однако отпустили меня погулять, наказавши черезъ часъ вернуться, а княгиню приняли.

„Несчастные мы всѣ трое! ни тетушки твои, ни я — не предчувствовали, что намъ не играть больше! Княгиня встрѣтилась со мной на лѣстницѣ и несла такое торжественное, важное лицо вверхъ, что я даже не осмѣлился освѣдомиться о ея нервахъ.

„Черезъ часъ я прихожу, меня не принимаютъ. Захожу на другой день—не принимаютъ. Черезъ два-три дня —

то же самое. Обѣ тетки больны, „барыня“, т. е. Софья Николаевна нездорова, не выѣзжаетъ и никого не принимаетъ: такіе отвѣты получалъ я отъ слугъ.

„Я толкнулся во флигель къ Николаю Васильевичу—дома нѣтъ, а между тѣмъ его нигдѣ не видно, ни на pointe, ни у Излера, куда онъ хаживалъ *инкогнито*, какъ онъ говоритъ. Я—въ городъ, въ клубъ—къ Петру Ивановичу. Тотъ ужъ издали, изъ-за газетъ, лукаво выглянулъ на меня и улыбался: „знаю, знаю, зачѣмъ, говоритъ: что̀, дверь захлопнулась, оброкъ прекратился?...“

„Отъ него я добился только — сначала, что кузина твоя—a poussé la chose trop loin... qu'elle a fait un faux pas... а потомъ — что послѣ визита княгини Олимпіады Измайловны, этой гонительницы женскихъ пороковъ и поборницы добродѣтелей, тетки разомъ слегли, въ окнахъ опустили шторы, Софья Николаевна сидитъ у себя запершись, и всѣ обѣдаютъ по своимъ комнатамъ, и даже не обѣдаютъ, а только блюда приносятся и уносятся нетронутыя,—что трогаетъ ихъ одинъ Николай Васильевичъ, но ему запрещено выходить изъ дома, чтобъ какъ-нибудь не проболтался, что графъ Милари и носа не показываетъ въ домъ, а ѣздитъ старый докторъ Петровъ, бросившій давно практику и въ молодости лечившій обѣихъ барышень (и бывшій ихъ любовникомъ, по словамъ старой, забытой хроники—прибавлю въ скобкахъ). Наконецъ Петръ Ивановичъ сказалъ, что весь домъ, кромѣ Николая Васильевича, втайнѣ готовится уѣхать на такія воды, какихъ старики не запомнятъ, и располагаютъ пробыть года три за границей.

„Я, однако, добился свиданія съ Николаемъ Васильевичемъ: написалъ ему записку и получилъ приглашеніе отобѣдать съ нимъ „вечеромъ“ наединѣ. Онъ прежде всего попросилъ быть скромнымъ насчетъ обѣда. Въ домѣ постъ теперь: „on est en pénitence—бульонъ и цыпленка гото-

вятъ на всѣхъ — et ma pauvre Sophie n'ose pas descendre me tenir compagnie“ — жалуется онъ горько и жуетъ въ недоумѣніи губами „et nous sommes enfermés tous les deux... Я велѣлъ для васъ сдѣлать обѣдъ, только не говорите!“ прибавилъ онъ боязливо, уплетая перепелокъ, и чуть не плакалъ о своей бѣдной Софьѣ.

„Наконецъ я добился, что къ прежнему облачку, къ этому искомому мною *x*, т. е. que Sophie a poussé la chose trop loin, прибавился наконецъ и фактъ — она, о ужасъ! a fait un faux pas, именно — отвѣчала на записку Миларп! Пахотинъ показалъ мнѣ эту записку, съ яростью ударяя кулакомъ по столу. „Mais dites donc, dites, qu'est ce qu'il y a là? à propos de quoi — всѣ эти охи, и ахи, и флаконы со спиртомъ, и этотъ отъѣздъ et tout ce remue-ménage? Voilà ce que c'est que d'être vieilles filles!“

„Онъ топалъ, бѣгалъ по кабинету и прохлаждалъ себя, макая бисквиты въ шампанское и глотая какія-то дижестивныя пилюли вслѣдъ за тѣмъ. „И что всего грустнѣе“, говорилъ онъ: „что бѣдняжка Sophie убивается сама: „Oui, la faute est à moi“, твердитъ она: „je me suis compromise, une femme qui se respecte ne doit pas pousser la chose trop loin... se permettre.“ — „Mais qu'as tu donc fait, mon enfant?“ спрашиваю я: — „j'ai fais un faux pas... твердитъ она: — „огорчила тетокъ, васъ, папа!...“ „Mais pas le moins du monde“, говорю я — и все напрасно! Et elle pleure, elle pleure... cette pauvre enfant! Ce billet... Посмотрите эту записку!“

„А въ запискѣ изображено слѣдующее: „Venez, comte, je vous attends entre huit et neuf heures, personne n'y sera et surtout n'oubliez pas votre portefeuille artistique. Je suis etc. S. B.“ Николай Васильевичъ пораженъ прежде всего въ родительской нѣжности. „Le nuage a grossi grâce

à ce billet, потому что... кажется... (на ухо шепнулъ мнѣ Пàхотинъ) entre nous soit dit... Sophie n'était pas tout-à-fait insensible aux hommages du comte, mais c'est un gentilhomme et elle est trop bien elevée pour pousser les choses... jusqu'à un faux pas..."

„И только, Борисъ Павлычъ! Какъ мнѣ грустно это, т. е. что „только" и что я не могу тебѣ сообщить чего-нибудь повеселѣе, какъ напримѣръ, въ родѣ того, что кузина твоя, одѣвшись въ темную мантилью, ушла изъ дома, что на углу ждала ее и умчала куда-то наемная карета, что потомъ видѣли ее съ Милари возвращающуюся блѣдной, а его торжествующимъ, и разстающихся гдѣ-то на перекресткѣ и т. д. Ничего этого не было!

„Но здѣсь хватаются и за соломенку, всячески раздуваютъ искру—и изъ записки дѣлаютъ слона, вставляютъ туда другія фразы, даже нѣжное *ты*, но это не клеится, и все вертится на одной и той же редакціи; т. е. „que Sophie a poussé la chose trop loin, qu'elle a fait un faux pas..." Я усердно помогаю дѣлу со своей стороны, лукаво молчу и не обличаю, не говорю, что̀ тамъ написано. За мной ходятъ, видя, что я знаю кое-что. К. Р. и жена два раза звали обѣдать, а М. подпаиваетъ меня въ клубѣ, не проговорюсь ли. Мнѣ это весело и я молчу.

„Черезъ двѣ недѣли онѣ ѣдутъ. И вотъ тебѣ развязка романа твоей кузины! Да, я забылъ главное—слона. Николай Васильевичъ былъ поставленъ сестрицами своими „dans une position très-délicate" объясниться съ графомъ Милари и выпросить назадъ у него эту роковую записку. Онъ говоритъ, что у него и подагра, и нервы, и тикъ, и ревматизмъ—все поднялось разомъ, когда онъ объяснялся съ графомъ. Тотъ тонко и лукаво улыбался, выслушавъ просьбу отца, и сказалъ, что на другой день удовлетворитъ ее, и сдержалъ слово, прислалъ записку самой Бѣловодовой.

съ учтивымъ и почтительнымъ письмомъ. „Mais comme il riait sous cape, ce comte (il est très-fin), quand je lui débitais toutes les sottes réflexions de mes chères sœurs! Vieilles chiennes!...“ отвернувшись добавилъ онъ и разбилъ со злости фарфоровую куклу на каминѣ.

„Вотъ тебѣ и драма, любезный Борисъ Павловичъ: годится ли въ твой романъ? Пишешь ли ты его? Если пишешь, то сократи эту драму въ двухъ слѣдующихъ словахъ. Вотъ тебѣ ключъ или „le mot de l'énigme“, какъ говорятъ здѣсь русскіе люди, притворяющіеся неумѣющими говорить по-русски и воображающіе, что говорятъ по-французски.

„Кузина твоя увлеклась по-своему, не покидая гостиной, а графъ Милари добивался свести это на большую дорогу— и говорятъ (это папа разболталъ), что между ними бывали живые споры, что онъ бралъ ее за руку, а она не отнимала, у ней даже глаза туманились слезой, когда онъ, недовольный прогулками верхомъ у кареты и пріемомъ при теткахъ настаивалъ на бо̀льшей свободѣ,—звалъ въ паркъ вдвоемъ, являлся въ другіе часы, когда тетки спали, или бывали въ церкви, и не успѣвая, не показывалъ глазъ по недѣлѣ. А кузина волновалась, „prenant les choses au sérieux“ (я не перевожу тебѣ здѣшняго языка, а передаю въ оригиналѣ, такъ какъ оригиналъ всегда ярче перевода). Между тѣмъ графъ серьезныхъ намѣреній не обнаруживалъ и наконецъ... наконецъ... вотъ гдѣ ужасъ! узнали, что онъ изъ „новыхъ“ и своимъ прежнимъ правительствомъ былъ—„mal vu“, и „эмигрировалъ“ изъ отечества въ Парижъ, гдѣ и проживалъ, а главное, что у него тамъ, подъ голубыми небесами, во Флоренціи, или въ Миланѣ, есть какая-то нареченная невѣста, тоже кузина... что вся ея фортуна („fortune“—въ оригиналѣ) перейдетъ въ его родъ изъ того рода, такъ же, какъ и виды на карьеру. Это провѣдала княгиня черезъ князя Б. П... И твоя Софья страдаетъ теперь вдвойнѣ: и отъ

того, что оскорблена внутренно—гордости ея красоты и гордости рода нанесенъ ударъ—и отъ того, что сдѣлала... un faux pas, и можетъ-быть, также немного и отъ того чувства, которое ты старался пробудить—и успѣлъ, а я, по дружбѣ къ тебѣ, поддержалъ въ ней...

„Что будетъ съ ней теперь—не знаю: драма ли, романъ ли—это уже докончи ты на досугѣ, а мнѣ пора на вечеръ къ В. П. Тамъ ожидаетъ меня здоровая и серьезная партія съ серьезными игроками.

„Прощай—это первое и послѣднее мое письмо, или, пожалуй, глава изъ будущаго твоего романа. Ну, поздравляю тебя, если онъ будетъ весь такой! Бабушкѣ и сестрамъ своимъ кланяйся, нужды нѣтъ, что я не знаю ихъ, а онѣ меня, и скажи имъ, что въ такомъ-то городѣ живетъ твой пріятель, готовый служить, какъ выше сказано“.—*П. Аяновъ.*

## VIII.

Райскій сунулъ письмо въ ящикъ, а самъ, взявъ фуражку, пошелъ въ садъ, внутренно сознаваясь, что онъ идетъ взглянуть на мѣста, гдѣ вчера ходила, сидѣла, скользила, можетъ-быть, какъ змѣя, съ обрыва внизъ, сверкая красотой, какъ ночь—Вѣра, все она, его мучительница и идолъ, которому онъ еще лихорадочно дочитывалъ про себя—и молитвы, какъ идеалу, и шепталъ проклятія, какъ живой красавицѣ, кидая мысленно въ нее каменья.

Онъ обошелъ весь садъ, взглянулъ на ея закрытыя окна, подошелъ къ обрыву и погрузилъ взглядъ въ лежащую у ногъ его пропасть тихо шумящихъ кустовъ и деревьевъ.

Аллеи представлялись темными корридорами, но открытыя мѣста, поблекшій цвѣтникъ, огородъ, все простран-

ство сада, лежащее передъ домомъ, освѣщались косвенными лучами выплывшей на горизонтъ луны. Звѣзды сильно мерцали. Вечеръ былъ ясенъ и свѣжъ.

Райскій посмотрѣлъ съ обрыва на Волгу: она сверкала вдали, какъ сталь. Около него, тихо шелестя, летѣли съ деревьевъ увядшіе листья.

„Тамъ она теперь“, думалъ онъ, глядя на Волгу:— „и ни одного слова не оставила мнѣ! Задушевное, сказанное ея груднымъ шопотомъ „прощай“ примирило бы меня со всей этой злостью, которую она щедро излила на мою голову! И уѣхала! ни слѣда, ни воспоминанія!“ горевалъ онъ, склонивъ голову, идучи по темной аллеѣ.

Вдругъ въ плечо ему слегка впились чьи-то тонкіе пальцы, какъ когти хищной птицы, и въ ухѣ раздался сдержанный смѣхъ.

— Вѣра! въ радостномъ ужасѣ сказалъ онъ, задрожавъ и хватая ее за руку.

У него даже волосы поднялись на головѣ.

— Ты здѣсь, не за Волгой!...

— Здѣсь, не за Волгой! повторила она, продолжая смѣяться и пропустила свою руку ему подъ руку.—Вы думали, что я отпущу васъ, не простясь? Да, думали? Признавайтесь!..

— Ты колдунья, Вѣра. Да, сію минуту я упрекалъ тебя, что ты не оставила даже слова! говорилъ онъ растерянный, и отъ страха, и отъ неожиданной радости, которая вдругъ охватила его.

— Да какъ же это ты?... Въ домѣ всѣ говорили, что ты уѣхала вчера...

Она иронически засмѣялась, стараясь поглядѣть ему въ лицо.

— А вы и повѣрили! Я готовила вамъ сюрпризъ, велѣла сказать, что уѣхала... Признайтесь, вы не повѣрили, притворились?...

Ей-Богу, нѣтъ.

— Побожитесь, еще! говорила она, торжествуя и наслаждаясь его волненіемъ, и опять засмѣялась раздражительнымъ смѣхомъ.—Не оставила двухъ словъ, а осталась сама: что̀ лучше? Говорите же! прибавила она, шаля и заигрывая съ нимъ.

Онъ былъ въ недоумѣніи. Эта живость рѣчи, быстрыя движенія, насмѣшливое кокетство—все казалось ему неестественно въ ней. Сквозь живой тонъ и рѣзвость онъ слышалъ будто усталость, видѣлъ напряженіе скрыть истощеніе силъ. Ему хотѣлось взглянуть ей въ лицо, и когда они подошли къ концу аллеи, онъ вывелъ-было ее на лунный свѣтъ.

— Дай мнѣ взглянуть на тебя, что̀ съ тобой, Вѣра? Какая ты рѣзвая, веселая!.. замѣтилъ онъ робко.

— Что̀ смотрѣть—нечего! съ нетерпѣніемъ перебила она, стараясь выдернуть свою руку и увлекая его въ темноту.

Она встряхивала головой, небрежно поправляя сползавшую съ плечъ мантилью.

— Веселая — оттого, что вы здѣсь, подлѣ меня... Она прижалась плечомъ къ его плечу.

— Что̀ съ тобой, Вѣра? въ тебѣ какая-то перемѣна! прошепталъ Райскій подозрительно, не раздѣляя ея бурной веселости и стараясь подвести ее къ свѣту.

— Пойдемте, пойдемте, что за смотръ такой не люблю!.. живо говорила она, едва стоя на мѣстѣ.

Онъ чувствовалъ, что руки у ней дрожатъ и что вся она трепещетъ и бьется въ какой-то непонятной для него тревогѣ.

— Да говорите же что̀-нибудь, разсказывайте, гдѣ были, что̀ видѣли, помнили-ли обо мнѣ? А что̀ страсть? все мучаетъ—да? Что это у васъ, точно языкъ отнялся? куда

дѣвались эти „волны поэзіи“, этотъ „рай и геена?“ давайте мнѣ рая! Я счастья хочу, „жизни!“

Она говорила бойко, развязно, трогая его за плечо, не стояла на мѣстѣ отъ нетерпѣнія, ускоряла шагъ.

— Да что это вы идете, какъ черепаха! Пойдемте къ обрыву, спустимся къ Волгѣ, возьмемъ лодку, покатаемся!.. продолжала она, таща его съ собой, то смѣясь, то вдругъ задумываясь.

— Вѣра, мнѣ страшно съ тобой, ты... нездорова! печально сказалъ онъ.

— А что? спросила она вдругъ, останавливаясь.

— Откуда вдругъ у тебя эта развязность, болтливость? ты, такая сдержанная, сосредоточенная!

— Я очень обрадовалась вамъ, братъ, все смотрѣла въ окно, прислушиваясь къ стуку экипажей... сказала она и, наклонивъ голову, въ раздумьѣ, тише пошла подлѣ него, все держа свою руку на его плечѣ и по временамъ сжимая сильно, какъ птица когти, свои тонкіе пальцы.

Ему отъ чего-то было тяжело. Онъ уже не слушалъ ея раздражительныхъ и кокетливыхъ вызововъ, которымъ въ другое время готовъ былъ вѣрить. Въ немъ въ эту минуту умолкла собственная страсть. Онъ болѣлъ духомъ за нее, вслушиваясь въ ея лихорадочный лепетъ, стараясь вглядѣться въ нервную живость движеній и угадать, что̀ значило это волненіе.

— Чего вы такъ странно смотрите на меня: я не сумасшедшая! говорила она, отворачиваясь отъ него.

На него напалъ ужасъ.

„Сумасшедшіе почти всегда такъ говорятъ!“ подумалъ онъ: „спѣшатъ увѣрить всѣхъ, что они не сумасшедшіе!“

Онъ самъ испытывалъ нетрезвость страсти—и мучился за себя, но онъ давно зналъ, и страсти, и себя, и то не

всегда могъ предвидѣть исходъ. Теперь, видя Вѣру, упившеюся этого недуга, онъ вздрагивалъ за нее.

Она какъ будто теряетъ силу, слабѣетъ. Спокойствія въ ней нѣтъ больше: она собираетъ послѣднія силенки, чтобъ замаскироваться, уйти въ себя—это явно: но и въ себѣ ей уже тѣсно — чаша переполняется, и волненіе выступаетъ наружу.

„Боже мой, что̀ съ ней будетъ!" въ страхѣ думалъ онъ: „а у ней нѣтъ довѣрія ко мнѣ. Она не высказывается, хочетъ бороться одна! кто охранитъ ее?..."

„Бабушка!" шепнулъ ему какой-то голосъ.

— Вѣра! ты нездорова, ты бы поговорила съ бабушкой... серьезно сказалъ онъ.

— Тише, молчите, помните ваше слово! сильнымъ шопотомъ сказала она.—Прощайте теперь! Завтра пойдемъ съ вами гулять, потомъ въ городъ, за покупками, потомъ туда, на Волгу... всюду! Я жить безъ васъ не могу!... прибавила она почти грубо, и сильно сжавъ ему плечо пальцами.

„Что̀ съ ней!" думалъ онъ.

Но послѣднія ея слова, этотъ грубо-кокетливый вызовъ, обращенный прямо къ нему и на него, заставили его подумать и о своей защитѣ, напомнили ему о его собственной борьбѣ и о намѣреніи бѣжать.

— Я уѣду, Вѣра, сказалъ онъ вслухъ:—я измученъ, у меня нѣтъ силъ больше, я умру... Прощай! зачѣмъ ты обманула меня? зачѣмъ вызвала? зачѣмъ ты здѣсь? Чтобъ наслаждаться моими муками!... Уѣду, пусти меня!

— Уѣзжайте! сказала она, отойдя отъ него на шагъ.— Егорка еще не успѣлъ унести чемоданъ на чердакъ!...

Онъ быстро пошелъ, ожесточенный этой умышленной пыткой, этимъ издѣваніемъ надъ нимъ и надъ страстью. Потомъ оглянулся. Шагахъ въ десяти отъ него, выступивъ

немного на лунный свѣтъ, она, какъ бѣлая статуя въ зелени, стоитъ неподвижно и слѣдитъ за нимъ съ любопытствомъ, уйдетъ онъ, или нѣтъ.

„Что это? что̀ съ ней?“ съ ужасомъ спрашивалъ онъ: „зачѣмъ я ей? Воткнула ножъ, смотритъ какъ течетъ кровь, какъ бьется жертва! что̀ она за женщина?“

Ему припомнились всѣ жестокія, историческія женскія личности, жрицы кровавыхъ культовъ, женщины революціи, купавшіяся въ крови, и все жестокое, что̀ совершено женскими руками, съ Юдифи до леди Макбетъ включительно. Онъ пошелъ, и опять обернулся. Она смотритъ неподвижно. Онъ остановился.

„Какая красота, какая гармонія—во всей этой фигурѣ! Она страшна, гибельна мнѣ!“ думалъ онъ, стоя какъ вкопанный, и не могъ оторвать глазъ отъ стройной, неподвижной фигуры Вѣры, облитой луннымъ свѣтомъ.

Онъ чувствовалъ эту красоту нервами, ему было больно отъ нея. Онъ нехотя впился въ нее глазами.

Она пошевелилась и сдѣлала ему призывный знакъ головой. Проклиная свою слабость, онъ медленно, шагъ за шагомъ, пошелъ къ ней. Она уползла въ темную аллею, лишь только онъ подошелъ, и онъ послѣдовалъ за ней.

— Что̀ тебѣ нужно, Вѣра, зачѣмъ ты не даешь мнѣ покоя? Черезъ часъ я уѣду!... рѣзко и сухо говорилъ онъ, и самъ все шелъ къ ней.

— Не смѣйте, я не хочу! сильно схвативъ его за руку, говорила она:—вы „рабъ мой“, должны мнѣ служить... Вы тоже не давали мнѣ покоя!

Дрожь страсти вдругъ охватила его. Онъ чувствовалъ, что колѣни его готовы склониться и голосъ пѣлъ внутри его: „да, рабъ, повелѣвай!...“

И онъ хотѣлъ упасть и зарыдать отъ страсти у ея ногъ.

— Вы мнѣ нужны, шептала она:—вы просили муки, казни—я дамъ вамъ ихъ! „Это жизнь!“ говорили вы:—вотъ она—мучайтесь и я буду мучаться, будемъ вмѣстѣ мучаться... „Страсть прекрасна: она кладетъ на всю жизнь долгій слѣдъ, и этотъ слѣдъ люди называютъ счастьемъ!...“ Кто это проповѣдывалъ? А теперь бѣжать: нѣтъ! оставайтесь, вмѣстѣ кинемся въ ту бездну! „Это жизнь, и только это!“ говорили вы—вотъ и давайте жить! Вы меня учили любить, вы преподавали страсть, вы развивали ее...

— Ты гибнешь, Вѣра, въ ужасѣ сказалъ онъ, отступая.

— Можетъ-быть, говорила она, какъ будто отряхивая хмѣль отъ головы.—Такъ что-же? что̀ вамъ? не все ли равно? вы этого хотѣли! „Природа влагаетъ страсть только въ живые организмы“, твердили вы: „страсть прекрасна!...“ Ну, вотъ она—любуйтесь!...

Она забирала сильными глотками свѣжій, вечерній воздухъ.

— Но я же и остерегалъ тебя, я называлъ страсть „волкомъ...“ защищался онъ, съ ужасомъ слушая это явное, беззащитное признаніе.

— Нѣтъ, она злѣе, она—тигръ. Я не вѣрила, теперь вѣрю. Знаете ту гравюру, въ кабинетѣ стараго дома: тигръ скалитъ зубы на сидящаго на немъ амура? Я не понимала, что̀ это значитъ, безсмыслица—думала, а теперь понимаю. Да—страсть какъ тигръ, сначала дастъ сѣсть на себя, а потомъ рычитъ и скалитъ зубы...

У Райскаго въ душѣ шевельнулась надежда добраться до таинственнаго имени: кто! Онъ живо ухватился за ея сравненіе страсти съ тигромъ.

— У насъ на сѣверѣ нѣтъ тигровъ, Вѣра, и сравненіе твое невѣрно, сказалъ онъ.—Мое вѣрнѣе: твой идолъ—волкъ!

— Браво, да, да! смѣясь нервически перебила она:— настоящій волкъ! какъ ни корми, все къ лѣсу глядитъ!

И вдругъ смолкла, какъ будто въ отчаяніи.

— Всѣ вы звѣри, прибавила потомъ со вздохомъ:—онъ волкъ...

— Кто онъ? тихо спросилъ Райскій.

— Тушинъ — медвѣдь, продолжала она, не отвѣчая ему:—русскій честный, смышленный медвѣдь...

„А! такъ это не Тушинъ?“ подумалъ Райскій.

— Положи руку на его мохнатую голову, говорила она:—и спи: не измѣнитъ, не обманетъ... будетъ вѣкъ служить...

— А я кто? вдругъ, немного развеселясь, спросилъ Райскій.

Она близко и лукаво поглядѣла ему въ глаза и медлила отвѣтомъ.

— Вижу, хочется сказать „оселъ:“ скажи, Вѣра, не церемонься!

— Вы? оселъ? заговорила она язвительно, ходя медленно вокругъ него и оглядывая его со всѣхъ сторонъ.

— Право, оселъ! наивно подтвердилъ Райскій:—вижу, какъ ты мудришь надо мной, терплю и хлопаю ушами.

— Какой вы оселъ!—Вы лиса, мягкая, хитрая; заманить въ западню... тихо, умно, изящно... Вотъ я васъ!...

Онъ молчалъ, не понимая ее.

— Да говорите же, что молчите! дергая его за рукавъ, сказала она

— Есть средство противъ этихъ волковъ...

— Какое?

— Мнѣ—уѣхать, а тебѣ—не ходить вонъ туда... Онъ показалъ на обрывъ.

— Дайте мнѣ силу не ходить туда! почти крикнула она...—Вотъ вы то же самое теперь испытываете, что̀ я:

да? Ну, попробуйте завтра усидѣть въ комнатѣ, когда я буду гулять въ саду одна... Да нѣтъ, вы усидите! Вы сочинили себѣ страсть, вы только умѣете краснорѣчиво говорить о ней, завлекать, играть съ женщиной! Лиса, лиса! вотъ я васъ за это, постойте, еще не то будетъ! съ принужденнымъ смѣхомъ, и будто шутя, но горячо говорила она, впуская опять ему въ плечо свои тонкіе пальцы.

Онъ въ страхѣ слушалъ ее.

— Ты за этимъ дождалась меня? помолчавъ спросилъ онъ:—чтобъ сказать мнѣ это?

— Да, за этимъ! Чтобъ вы не шутили впередъ съ страстью, а научили бы, что̀ мнѣ дѣлать теперь — вы, учитель!... А вы подожгли домъ, да и бѣжать! „Страсть прекрасна, люби, Вѣра, не стыдись!“ Чья это проповѣдь: отца Василья?

— Я разумѣлъ раздѣленную страсть, тихо оправдывался онъ.—Страсть прекрасна, когда обѣ стороны прекрасны, честны—тогда страсть не зло, а дѣйствительно величайшее счастье на всю жизнь: тамъ нѣтъ и не нужно лжи и обмановъ. Если одна сторона не отвѣчаетъ на страсть, она не будетъ напрасно увлекать другую, или когда наступитъ охлажденіе, она не поползетъ въ темнотѣ, отравляя измѣной жизнь другому, а смѣло откроется и нанесетъ честно, какъ сама судьба, одинъ явный и неизбѣжный ударъ—разлуку... Тогда бурь нѣтъ, а только живительный огонь...

— Страсти безъ бурь нѣтъ, или это не страсть! сказала она.—А кромѣ честности или нечестности, другого разлада, другихъ пропастей развѣ не бываетъ? спросила она послѣ нѣкотораго молчанія. — Ну вотъ, я люблю, меня любятъ: никто не обманываетъ. А страсть рветъ меня... Научите же теперь, что̀ мнѣ дѣлать?

— Бабушкѣ сказать... говорилъ онъ, блѣдный отъ страха:—позволь мнѣ, Вѣра... отдай мое слово назадъ.

— Боже сохрани! молчите и слушайте меня! А! теперь „бабушкѣ сказать!“ Стращать, стыдить меня!... А кто велѣлъ не слушаться ея, не стыдиться? Кто смѣялся надъ ея моралью?

— Ты скажи мнѣ, что съ тобой, Вѣра? Ты, то проговариваешься, то опять уходишь въ тайну; я въ потемкахъ, я не знаю ничего... Тогда, можетъ-быть, я найду и средство...

— Вы не знаете, что со мной, вы въ потемкахъ, подите сюда! говорила она, уводя его изъ аллеи, и выйдя изъ нея, остановилась. Луна свѣтила ей прямо въ лицо — Смотрите, что со мной.

У него упало сердце. Онъ не узналъ прежней Вѣры. Лицо блѣдное, исхудалое, глаза блуждали, сверкая злымъ блескомъ, губы сжаты. Съ головы, изъ-подъ косынки, выпадали въ безпорядкѣ на лобъ и виски двѣ-три пряди волосъ, какъ у цыганки, закрывая ей, при быстрыхъ движеніяхъ, глаза и ротъ. На плечи небрежно накинута была атласная, обложенная бѣлымъ пухомъ мантилья, едва державшаяся слабымъ узломъ шелковаго снурка.

— Что? отряхивая волосы отъ лица, говорила она: — узнаете вашу Вѣру? Гдѣ эта „красота“, которой вы пѣли гимны?

Она съ жалостью улыбнулась, закрыла на минуту лицо рукой и покачала головой.

— Что я могу сдѣлать, Вѣра? говорилъ онъ тихо, вглядываясь въ ея исхудавшее лицо и больной блескъ глазъ.— Скажи мнѣ, я готовъ умереть...

— Умереть, умереть! зачѣмъ мнѣ это? Помогите мнѣ жить, дайте той прекрасной страсти, отъ которой „тянутся какіе-то лучи на всю жизнь...“ Дайте этой жизни, гдѣ она? Я, кромѣ огрызающагося тигра, не вижу ничего... Говорите, научите, или воротите меня назадъ, когда у

меня еще была сила! А вы — „бабушкѣ сказать!“ уложить ее въ гробъ и меня съ ней!... Это, что-ли, средство? Или учите не ходить туда, къ обрыву... Поздно!

— Скажи мнѣ, кого ты любишь, всѣ обстоятельства, имя!...

— Кого? — васъ! сказала она съ злобой, отряхивая опять пряди отъ лица и небрежно натягивая мантилью на плеча.

Онъ боялся сказать слово, боялся пошевелиться, стоялъ, сложивъ руки назадъ, прислонясь къ дереву. Она ходила взадъ и впередъ торопливыми, неровными шагами. Потомъ остановилась и перевела духъ.

— Да, она сумасшедшая! шепталъ онъ въ ужасѣ.

Она сѣла на скамью, утихла и задумалась.

— Что это со мной? будто немного опомнившись, про себя сказала она.

— Ты, Вѣра, сама бредила о свободѣ, ты таилась, и отъ меня, и отъ бабушки, хотѣла независимости. Я только подтверждалъ твои мысли: онѣ и мои. За что же обрушиваешь такой тяжелый камень на мою голову? тихо оправдывался онъ.—Не только я, даже бабушка не смѣла приступиться къ тебѣ...

Она глубоко вздохнула, потомъ подошла къ нему и, прижавшись головой къ его плечу, слабо заговорила.

— Да... да, не слушайте меня! У меня, просто, нервы разстроены. Какая страсть? Никакой страсти нѣтъ! Я шутила, какъ вы... со мной...

— Ты все еще думаешь, что я шутилъ! тихо сказалъ онъ.

Она старалась улыбнуться, взяла его за руку.

— Прижмите руку къ моей головѣ, говорила она кротко:—видите, какой жаръ... Не сердитесь на меня, будьте снисходительны къ бѣдной сестрѣ! Это все пройдетъ...

*

Докторъ говоритъ, что у женщинъ часто бываютъ припадки... Мнѣ самой гадко и стыдно, что я такъ слаба...

— Что же съ тобой, бѣдная Вѣра? скажи мнѣ...

— Ничего... Вы только проводите меня домой, помогите взойти на лѣстницу—я боюсь чего-то... Я лягу... простите меня, я встревожила васъ напрасно... вызвала сюда. Вы бы уѣхали и забыли меня. У меня, просто, лихорадка... Вы не сердитесь?... ласково сказала она.

Онъ поспѣшно подалъ ей руку, тихо вывелъ изъ сада, провелъ черезъ дворъ и довелъ до ея комнаты. Тамъ зажегъ ей свѣчу.

— Позовите Марину, или Машу, чтобъ легли спать тутъ въ моей комнатѣ... Только бабушкѣ ни слова объ этомъ!... Это просто раздраженіе... Она перепугается... придетъ...

Онъ боязливо, задумчиво слушалъ ее.

— Что вы все молчите, такъ странно смотрите на меня! говорила она, безпокойно слѣдя за нимъ глазами.—Я, Богъ знаетъ, что наболтала въ бреду... это чтобъ подразнить васъ... отмстить за всѣ ваши насмѣшки... прибавила она, стараясь улыбнуться.—Смотрите же, бабушкѣ ни слова! Скажите, что я легла, чтобъ завтра пораньше встать, и попросите ее... благословить меня заочно... Слышите?

— Да, да слышу, разсѣянно отвѣчалъ онъ, пожалъ ей руку и позвалъ къ ней Машу.

## IX.

Райскій на другой день съ любопытствомъ ждалъ пробужденія Вѣры. Онъ забылъ о своей собственной страсти, воображеніе робко молчало и ушло все въ наблюденіе за этой ползущей въ его глазахъ, какъ „удавъ“, по его выраженію, чужой страстью, выглянувшей изъ Вѣры, съ своими острыми зубами.

Онъ былъ задумчивъ, угрюмъ, избѣгалъ вопросительныхъ взглядовъ бабушки, проклиная слово, данное Вѣрѣ, не говорить никому, всего меньше Татьянѣ Марковнѣ, чѣмъ и поставленъ былъ въ фальшивое положеніе.

А Татьяна Марковна не разъ ужъ заговаривала съ нимъ о ней.

— Что̀-то съ Вѣрой неладно! говорила она, качая головой.

— Что̀ такое? спрашивалъ небрежно Райскій, стараясь казаться равнодушнымъ.

— Не хорошо! хуже, нежели намедни: ходитъ хмурая, молчитъ, иногда кажется, будто слезы у нея на глазахъ. Я съ докторомъ говорила, тотъ опять о нервахъ поетъ. Дѣвичьи припадки, что̀ ли?...

Бабушка не кончала рѣчи и грустно задумывалась.

Онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ Вѣры. Наконецъ она пришла. Дѣвушка принесла за ней теплое пальто, шляпку и ботинки на толстой подошвѣ. Она, поздоровавшись съ бабушкой, попросила кофе, съ аппетитомъ съѣла нѣсколько сухарей и напомнила Райскому просьбу свою побывать съ ней въ городѣ, въ лавкахъ, и потомъ погулять вмѣстѣ въ полѣ и въ рощѣ.

Она какъ будто ничего. Изъ вчерашняго только замѣтна была несвойственная ей развязность въ движеніяхъ, и излишняя торопливость рѣчи, казавшаяся натянутой. Очевидно было, что она крѣпится и маскируетъ разстроенность духа или нервъ.

Она даже вдалась въ подробности о нарядахъ съ Полиной Карповной, которая неожиданно явилась въ кабинетъ бабушки, съ какими-то обѣщанными выкройками новаго фасона платья для приданаго Марфиньки, а въ самомъ дѣлѣ, чтобъ узнать о возвращеніи Бориса Павловича.

Она все хотѣла, во что бы то ни стало, видѣться съ нимъ наединѣ и все выбирала удобную минуту сѣсть подлѣ него, увѣряя всѣхъ, и его самого, что онъ хочетъ что-то сказать ей безъ свидѣтелей.

Она дѣлала томные глаза, ловила его взглядъ и раза два начинала тихо: —Je comprends: dites tout! du courage.

— Ну тебя къ чорту! думалъ онъ, хмурясь и отодвигаясь отъ нея.

Наконецъ Вѣра надѣла пальто, взяла его подъ руку и сказала: —Пойдемте!

Крицкая порывалась-было идти съ ними, но Вѣра уклонилась, сказавъ: —Мы идемъ пѣшкомъ и надолго съ братомъ, а у васъ, милая Полина Карповна, длинный шлейфъ, и вообще нарядный туалетъ—на дворѣ сыро...

И ушли.

Райскій молчалъ, наблюдая Вѣру, а она старалась казаться въ обыкновенномъ расположеніи духа, дѣлала бѣглыя замѣчанія о погодѣ, о встрѣчавшихся знакомыхъ, о томъ, что вонъ этотъ домъ, еще мѣсяцъ тому назадъ былъ сѣрый, запущенный, съ обвалившимися карнизами, а теперь вонъ какъ свѣжо смотритъ, когда его оштукатурили и выкрасили въ желтый цвѣтъ. Упомянула, что къ зимѣ заново отдѣлаютъ залу собранія, что гостиный дворъ покроютъ желѣзомъ, остановилась посмотрѣть, какъ ровняютъ улицу для бульвара.

Она вообще казалась довольной, что идетъ по городу, замѣтивъ, что эта прогулка была необходима и для того, что ее давно не видитъ никто, и Богъ знаетъ, что думаютъ, точно будто она умерла.

Райскій—ни слова не отвѣчалъ на весь этотъ развязный лепетъ, подъ которымъ слышались ему совсѣмъ другія рѣчи.

— Можетъ-быть, я дурно дѣлаю, что лишаю васъ общества Полины Карповны? замѣтила она, напрасно стараясь вывести его изъ молчанія.

Онъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе плечомъ.

— Я шучу! сказала она, мѣняя тонъ на другой, болѣе искренній.—Я хочу, чтобъ вы провели со мной день, и нѣсколько дней до вашего отъѣзда, продолжала она почти съ грустью.—Не оставляйте меня, дайте побыть съ вами... Вы скоро уѣдете—и никого около меня!

— Я боюсь, Вѣра, что я совершенно безполезенъ тебѣ, именно потому, что ничего не знаю. Вижу только, что у тебя какая-то драма, что наступаетъ или наступила катастрофа...

Она вздрогнула.

— Что̀ ты? заботливо спросилъ онъ.

— Свѣжо на дворѣ, плечи зябнутъ! сказала она, пожимая плечами.—Какая драма! нездорова, не весела, осень на дворѣ, а осенью человѣкъ, какъ всѣ звѣри, будто уходитъ въ себя. Вонъ и птицы уже улетаютъ—посмотрите, какъ журавли летятъ! говорила она, указывая высоко надъ Волгой на кривую линію черныхъ точекъ въ воздухѣ.—Когда кругомъ все дѣлается мрачно, блѣдно, уныло,—и на душѣ становится уныло... Не правда ли?

Она сама знала, что его не легко было обойти такимъ объясненіемъ, и говорила такъ, чтобъ не говорить правды.

Онъ молчалъ, стараясь отыскать другой, настоящій ключъ.

— Вѣра, я хотѣлъ тебя спросить... началъ онъ.

— Что̀ такое? съ безпокойствомъ перебила она и, не дождавшись отвѣта, прибавила:—хорошо, спросите, только не сегодня, а погодя нѣсколько дней... Однако—что такое?

— О письмахъ, которыя ты писала ко мнѣ...

— Да, что же такое?

— Помнишь, ты писала, что раздѣляешь мой взглядъ на честность...

Она подумала и, казалось, старалась вспомнить.

— Да... да... какъ же, какъ же... писала... такъ что же?

Онъ глядѣлъ на нее пристально.

— Ты ли писала это письмо?

— Кто же? вдругъ сказала она съ живостью:—конечно я... Послушайте, прибавила она потомъ:—оставимъ это объясненіе, какъ я просила, до другого раза. Я больна, слаба... вы видѣли, какой припадокъ былъ у меня вчера. Я теперь даже не могу всего припомнить, что̀ я писала, и какъ-нибудь перепутаю...

— Хорошо, пусть до другого раза! со вздохомъ сказалъ онъ.—Скажи, по крайней мѣрѣ, зачѣмъ я тебѣ? Зачѣмъ ты удерживаешь меня? Зачѣмъ хочешь, чтобъ я остался, чтобъ пробылъ съ тобой эти дни?

Она сильно оперлась рукой на его руку и прижалась къ его плечу, умоляя глазами не спрашивать.

— Вѣдь не любишь же ты меня въ самомъ дѣлѣ. Ты знаешь, что я не вѣрю твоей кокетливой игрѣ,—и настолько уважаешь меня, что не станешь увѣрять серьезно... Я, когда не въ горячкѣ, вижу, что ты издѣваешься надо мной: зачѣмъ и за что̀?

Она сильно сжала его руку и молила опять глазами не продолжать.

— По крайней мѣрѣ, о себѣ я въ правѣ спросить, зачѣмъ я тебѣ? Ты не можешь не видѣть, какъ я весь истерзанъ и страстью, и этимъ градомъ ударовъ сердцу, самолюбію...

— Да, самолюбію... повторила она разсѣянно.

— Положимъ, самолюбію, оставимъ споръ о томъ, что̀ такое самолюбіе, и что̀—такъ-называемое—сердце. Но ты должна сказать, зачѣмъ я тебѣ? Это мое право—спросить,

и твой долгъ—отвѣчать прямо и откровенно, если не хочешь, чтобъ я счелъ тебя фальшивой, злой...

Она шла съ поникшей головой, а онъ ждалъ отвѣта.

— Оставимъ теперь это...

— И это оставимъ? Нѣтъ, не оставлю! съ вспыхнувшей злостью сказалъ онъ, вырвавъ у ней руку:—ты какъ кошка съ мышью играешь со мной! Я больше не позволю, довольно! Ты можешь откладывать свои секреты до удобнаго времени, даже вовсе о нихъ не говорить:—ты вправѣ, а о себѣ я требую немедленно отвѣта. Зачѣмъ я тебѣ? Какую ты роль дала мнѣ и зачѣмъ, за что!

— Вы сами выбрали эту роль, братъ... кротко возразила она, склоняя лицо внизъ.—Вы просили не удалять васъ...

Онъ, въ безсильной досадѣ на ея справедливый упрекъ, отшатнулся отъ нея въ сторону и мѣсилъ широкими шагами грязь по улицѣ, а она шла по деревянному тротуару.

— Не сердитесь, братъ, подите сюда! Я не затѣмъ удержала васъ, чтобъ оскорблять—нѣтъ! шептала она, призывая его къ себѣ...—Подите сюда, ко мнѣ.

Онъ опять подалъ ей руку.

— Я прошу васъ только, не говорите мнѣ объ этомъ теперь, не тревожьте меня—чтобъ со мной не случилось опять вчерашняго припадка!... Вы видите, я едва держусь на ногахъ... Посмотрите на меня, возьмите мою руку...

Онъ взялъ руку—она была блѣдна, холодна, синія жилки на ней видны явственно. И шея, и талія стали у ней тоньше, лицо потеряло живые цвѣта и сквозилось грустью и слабостью. Онъ опять забылъ о себѣ, ему стало жаль только ее.

— Я не хочу, чтобъ дома замѣтили это... Я очень слаба... поберегите меня... молила она, и даже слезы показались въ глазахъ.—Защитите меня... отъ себя самой!...

Ужо, въ сумерки, часовъ въ шесть послѣ обѣда, зайдите ко мнѣ—я... скажу вамъ, зачѣмъ я васъ удержала...

— Виноватъ, Вѣра, я тоже самъ не свой! говорилъ онъ, глубоко тронутый ея горемъ, пожимая ей руку:—я вижу, что ты мучаешься—не знаю, чѣмъ... Но—я ничего не спрошу, я долженъ бы щадить твое горе—и не умѣю, потому что самъ мучаюсь. Я приду ужо, располагай мною...

Она отвѣчала на его пожатіе сильнымъ пожатіемъ руки.

— Скажу, если въ силахъ буду сказать... прошептала она.

У него замерло сердце отъ тоски и предчувствія.

Они прошли по лавкамъ. Вѣра дѣлала покупки для себя и для Марѳиньки, также развязно и словоохотливо разговаривая съ купцами и съ встрѣчными знакомыми. Съ нѣкоторыми даже останавливалась на улицѣ и входила въ мелочныя, будничныя подробности, зашла къ какой-то своей крестницѣ, дочери бѣдной мѣщанки, которой отдала купленнаго на платье ей и малюткѣ ситцу и одѣяло. Потомъ охотно приняла предложеніе Райскаго навѣстить Козлова.

Когда они входили въ ворота, изъ калитки вдругъ вышелъ Маркъ. Увидя ихъ, онъ едва кивнулъ Райскому, не отвѣчая на его вопросъ:—Что Леонтій? и почти не взглянувъ на Вѣру, бросился по переулку скорыми шагами.

Вѣра вдругъ будто приросла на минуту къ землѣ, но тотчасъ же оправилась и также скорыми шагами вбѣжала на крыльцо, опередивъ Райскаго.

— Что съ нимъ? спросилъ Райскій, глядя вслѣдъ Марку: —не отвѣчалъ ни слова, и какъ бросился! Да и ты испугалась: не онъ ли ужъ это тамъ стрѣляетъ?.. Я видалъ его тамъ съ ружьемъ... добавилъ онъ, шутя.

— Онъ самый! сказала Вѣра развязно, не оборачиваясь и входя въ комнату Козлова.

„Нѣтъ, нѣтъ“, думалъ Райскій: „оборванный, бродящій цыганъ—ея идолъ, нѣтъ, нѣтъ! Впрочемъ, почему „нѣтъ?“ Страсть жестока и самовластна. Она не покоряется человѣческимъ соображеніямъ и уставамъ, а покоряетъ людей своимъ неизвѣданнымъ капризомъ! Но Вѣрѣ негдѣ было сблизиться съ Маркомъ. Она боится его, какъ всѣ здѣсь!“

Козловъ по-вчерашнему ходилъ, пошатываясь, какъ пьяный, изъ угла въ уголъ, угрюмо молчалъ съ неблизкими и обнаруживалъ тоску только при Райскомъ, слабѣлъ и падалъ духомъ, жалуясь тихимъ ропотомъ, и все вслушивался въ каждый проѣзжавшій экипажъ по улицѣ, подходилъ къ дверямъ въ волненіи и возвращался въ отчаяніи.

На приглашеніе Райскаго и Вѣры переѣхать къ нимъ, онъ молчалъ, едва вслушиваясь, или скажетъ:—Да, да, только послѣ, погодя недѣли двѣ... три...

— Послѣ свадьбы Марѳиньки, сказала Вѣра.

— Послѣ свадьбы, послѣ свадьбы! подтвердилъ Леонтій.—Да, благодарю, а теперь я поживу здѣсь... Покорно благодарю...

Онъ вдругъ взглянулъ на Вѣру, и какъ будто удивился, видя ее.—Вѣра Васильевна! сказалъ онъ, глядя на нее въ смущеніи.

— Борисъ Павловичъ, началъ онъ, продолжая глядѣть на нее:—ты знаешь, кто еще читалъ твои книги и помогалъ мнѣ разбирать ихъ?...

— Кто? спросилъ Райскій.

Но Козловъ уже былъ въ другомъ углу комнаты и прислушивался. Потомъ вдругъ отворилъ форточку и высунулъ голову.

— Чей это голосъ?.. женщины! говорилъ онъ съ испугомъ, навостривъ уши и открывъ глаза.

— Ни-токъ, нитокъ! холста! доносился пронзительный женскій крикъ издали. Козловъ съ досадой захлопнулъ форточку.

— Кто же читалъ книги? повторилъ Райскій.

Но Козловъ не слыхалъ вопроса, сѣлъ на постель и повѣсилъ голову. Вѣра шепнула Райскому, что ей тяжело видѣть Леонтія Ивановича, и они простились съ нимъ.

— Я что-то хотѣлъ сказать тебѣ, Борисъ Павловичъ, задумчиво говорилъ Козловъ:—да вотъ забылъ...

— Ты говорилъ, что книги мои читалъ еще кто-то...

— Да вотъ кто! вдругъ сказалъ Леонтій, указывая на Вѣру.

Райскій взглянулъ на Вѣру, но она задумчиво смотрѣла въ окно и тянула его за рукавъ.

— Пойдемте, пойдемте! говорила она, порываясь на улицу.

Они воротились домой. Вѣра передала нѣкоторыя покупки бабушкѣ, другія велѣла отнести къ себѣ въ комнату и позвала опять Райскаго гулять по рощѣ, по полю, и спуститься къ Волгѣ, на песокъ.

— Пойдемте туда! говорила она, указывая какой-нибудь бугоръ, и едва доходили они туда, она тащила его въ другое мѣсто, или взглянуть съ какой-нибудь высоты на круто заворотившуюся излучину Волги, или шла по песку, гдѣ вязли ноги, чтобъ подойти поближе къ водѣ.

Она всматривалась въ даль, указывала Райскому какое-нибудь плывущее судно, иногда шла неровными, слабыми шагами, останавливалась, переводя духъ, и отряхивая пряди волосъ отъ лица.

— Зачѣмъ ты утомляешь себя, ты слаба, Вѣра? сказалъ онъ.

— Мнѣ все будто пить хочется, я воздуха хочу! говорила она, оборачиваясь лицомъ въ ту сторону, откуда былъ вѣтеръ.

— Да, она перемогаетъ себя, собираетъ послѣднія силы! шепталъ онъ, проводивъ ее наконецъ домой, гдѣ ихъ

ждали къ обѣду. — Ужо̀, ужо̀! твердилъ онъ и ждалъ шести часовъ вечера, когда стемнѣетъ.

Послѣ обѣда онъ уснулъ въ залѣ отъ усталости и проснулся, когда только-что пробило шесть часовъ и стало смеркаться.

Онъ пошелъ къ Вѣрѣ, но ея не было дома. Марина сказала, что барышня ко всенощной пошла, но только не знала, въ какую церковь, въ слободѣ, или въ деревенскій приходъ на гору.

Въ слободской церкви Райскій пересмотрѣлъ всѣхъ и выучилъ наизусть физіономію каждой старухи, отыскивая Вѣру. Но ея не было, и онъ отправился на гору.

Тамъ въ церкви толпились по угламъ и у дверей нѣсколько стариковъ и старухъ. За колонной, въ сумрачномъ углу, увидѣлъ онъ Вѣру, стоящую на колѣняхъ, съ наклоненной головой, съ накинутой на лицо вуалью.

Онъ сталъ сзади, за другой колонной.

Пока она молилась, онъ стоялъ, погруженный въ мысль о ея положеніи, въ чувство нѣжнаго состраданія къ ней, особенно со времени его возвращенія, когда въ ней такъ замѣтно выказалось обезсиленіе въ тяжелой борьбѣ.

Видя это страданіе только-что расцвѣтающей жизни, глядя, какъ мнетъ и жметъ судьба молодое, виноватое только тѣмъ созданіе, что оно пожелало счастья, онъ про себя роптал на суровые, никого не щадящіе законы бытія, налагающіе тяжесть креста и на плечи злодѣя, и на эту слабую, едва распустившуюся лилію.

„Хоть бы красоты ея пожалѣлъ... пожалѣла... пожалѣло... кто? зачѣмъ? за что̀?“ думалъ онъ и невольно поддавался мистическому влеченію вѣрить какимъ-то таинственнымъ, подготовляемымъ въ человѣческой судьбѣ минутамъ, сближеніямъ, встрѣчамъ, наводящимъ человѣка на роковую идею, на мучительное чувство, на преступное желаніе,

нужное зачѣмъ-то, для цѣли, невѣдомой до поры до времени самому человѣку, отъ котораго только непреклонно требуется борьба.

Въ другія, напротивъ, минуты—казалось ему—являются также, невидимо кѣмъ-то подготовляемые случаи, будто нечаянно отводящіе отъ какого-нибудь рокового событія, шага, или увлеченія, перешагнувъ чрезъ которыя, человѣкъ перешагнулъ глубокую пропасть, замѣчая ее уже тогда, когда она осталась позади.

Вглядываясь въ ткань своей собственной, и всякой другой жизни, глядя теперь въ только-что початую жизнь Вѣры, онъ яснѣе видѣлъ эту игру искусственныхъ случайностей, какіе-то блуждающіе огни злыхъ обмановъ, ослѣпленій, заранѣе разставленныхъ пропастей, съ промахами, ошибками, и рядомъ — тоже будто случайные исходы изъ запутанныхъ узловъ...

„Что дѣлать? рваться изъ всѣхъ силъ въ этой борьбѣ съ разставленными капканами, и все стремиться къ чему-то прочному, безмятежно-покойному, къ чему стремятся вонъ и тѣ простыя души?“ Онъ оглянулся на молящихся стариковъ и старухъ. „Или безсмысленно купаться въ мутныхъ волнахъ этой, безцѣльно текущей жизни!“

„Гдѣ же ключъ къ уразумѣнію сознательнаго пути?“

Онъ взглянулъ на Вѣру: она не шевелилась въ своей молитвѣ и не сводила глазъ съ креста.

„Бѣдная!“ съ грустью думалъ онъ, вышелъ и сѣлъ на паперть, въ ожиданіи Вѣры.

Она, молча, подала ему руку. Они пошли съ горы.

— Вы были въ церкви? спросила она.

— Да, былъ, отвѣчалъ онъ.

Они тихо сошли съ горы по деревнѣ и по большой луговинѣ къ саду, Вѣра склоня голову, онъ—думая объ обѣщанномъ объясненіи и ожидая его. Теперь желаніе выйти

изъ омута неизвѣстности — для себя, и положить, однимъ прямымъ объясненіемъ, конецъ собственной пыткѣ, — отступило на второй планъ.

Онъ чувствовалъ, что на немъ одномъ лежалъ долгъ стать подлѣ нея, освѣтить ея путь, помочь распутать ей самой какой-то роковой узелъ, или перешагнуть пропасть, и отдать ей, если нужно, всю свою опытность, умъ, сердце, всю силу.

Она и сама звала его за этимъ, въ чемъ вполовину утромъ созналась, и если не созналась вполнѣ, то конечно отъ свойственной ей осторожности—и, можетъ-быть, еще остатокъ гордости мѣшалъ ей признать себя побѣжденной.

Онъ радъ броситься ей на помощь, но не знаетъ ничего, и даже не имѣетъ права раздѣлить ни съ кѣмъ своихъ опасеній.

Но если бъ даже она и возвратила ему его слово и онъ повѣрилъ бабушкѣ всѣ свои догадки и подозрѣнія насчетъ Вѣры, повело ли бы это къ желаемому исходу?

Едва ли. Вся практическая, но устарѣвшая мудрость бабушки разбилась бы объ упрямство Вѣры, умъ которой былъ смѣлѣе, воля живѣе, чѣмъ у Татьяны Марковны, и притомъ Вѣра развита.

Ей по плечу современныя понятія, пробивающіяся въ общественное сознаніе; очевидно, она черпнула гдѣ-то другихъ идей, даже знаній, и стала неизмѣримо выше круга, гдѣ жила. Какъ ни старалась она таиться, но по временамъ проговаривалась какимъ-нибудь, нечаянно брошеннымъ словомъ, именемъ авторитета въ той или другой сферѣ знанія.

И языкъ измѣняетъ ей на каждомъ шагу: самый образъ проявленія самоволія мысли и чувства,—все, что такъ неожиданно поразило его при первой встрѣчѣ съ ней, весь складъ ума, наконецъ, характеръ, — все давало ей такой перевѣсъ надъ бабушкой, что изъ усилія Татьяны

Марковны — выручить Вѣру изъ какой-нибудь бѣды, не вышло бы ровно ничего.

Бабушка могла предостеречь Вѣру отъ какой-нибудь практической крупной ошибки, защитить ее отъ болѣзни, отъ грубой обиды, вырвать, съ опасностью собственной жизни, изъ огня: но что̀ она сдѣлаетъ въ такой неосязаемой бѣдѣ, какъ страсть, если она есть у Вѣры?

Бабушка, безспорно умная женщина, безошибочный знатокъ и судья крупныхъ и общихъ явленій жизни, бойкая хозяйка, отлично управляетъ своимъ маленькимъ царствомъ, знаетъ людскіе нравы, пороки и добродѣтели, какъ они обозначены на скрижаляхъ Моисея и въ Евангеліи.

Но едва ли она знаетъ ту жизнь, гдѣ игра страстей усложняетъ людскія отношенія въ такую мелкую ткань и окрашиваетъ въ такіе цвѣта, какіе и не снятся никому въ мирныхъ деревенскихъ затишьяхъ. Она—дѣвушка.

Если въ молодости любовь, страсть, или что̀-нибудь подобное, и было извѣстно ей, такъ это, конечно—страсть безъ опыта, какая-нибудь нераздѣленная, или заглохшая отъ неудачи подъ гнетомъ любовь, не драма—любовь, а лирическое чувство, разыгравшееся въ ней одной и въ ней угасшее и погребенное, не оставившее слѣда и не положившее ни одного рубца на ея ясной жизни.

Гдѣ же ей знать или вспомнить эту борьбу, подать другому руку, помочь обойти эту пропасть? Она не вполнѣ и повѣрила бы страсти: ей надо факты.

Выстрѣлы на днѣ обрыва и прогулки туда Вѣры—конечно факты, но бабушка противъ этихъ фактовъ и могла бы принять мѣры, т. е. разставила бы домашнюю полицію съ дубинами, подкараулила бы любовника и нанесла бы этимъ еще новый ударъ Вѣрѣ.

Не пускать Вѣру изъ дому,—значитъ обречь на заключеніе, т. е. унизить, оскорбить ее, посягнувъ на ея сво-

боду. Татьяна Марковна поняла бы, что это морально, да и физически невозможно.

Вѣра не вынесла бы грубой неволи и бѣжала бы отъ бабушки, какъ убѣгала за Волгу отъ него, Райскаго, словомъ—нѣтъ средствъ! Вѣра выросла изъ круга бабушкиной опытности и морали, думалъ онъ, и та только раздражитъ ее своими наставленіями, или, пожалуй, опять заговоритъ о какой-нибудь Кунигундѣ—и насмѣшитъ. А Вѣра потеряетъ и послѣднюю искру довѣрія къ ней.

Нѣтъ, отжилъ этотъ авторитетъ: онъ годился для Марѳиньки, а не для независимой, умной и развитой Вѣры.

Средство или ключъ къ ея горю, если и есть—въ рукахъ самой Вѣры, но она никому не ввѣряетъ его, и едва теперь только, когда силы измѣняютъ, она обронитъ намекъ, слово, и опять въ испугѣ отниметъ и спрячется. Очевидно—она не въ силахъ одна разсѣчь своего гордіева узла, а гордость, или привычка жить своими силами — хоть погибать, да жить ими,—мѣшаетъ ей высказаться!

Онъ думалъ все это, идучи молча подлѣ нея и не зная, какъ вызвать ее на полную откровенность—не для себя уже теперь, а для ея спасенія. Наконецъ, онъ рѣшилъ подойти стороной: нельзя ли ему самому угадать что-нибудь изъ ея отвѣтовъ на нѣкоторые прежніе свои вопросы, поймать имя, остановить ее на немъ и облегчить ей признаніе, которое самой ей сдѣлать, повидимому, было трудно, хотя и хотѣлось и даже обѣщала она сдѣлать, да не можетъ. Надо помочь ей хитростью. Она теперь разстроена и—можетъ-быть—оплошаетъ и обмолвится.

Онъ вспомнилъ, какъ напрасно добивался онъ отъ нея источника ея развитія, разспрашивая о ея воспитаніи, о томъ, кто могъ имѣть на нее вліяніе, откуда она почерпнула этотъ смѣлый и свободный образъ мысли, нѣкоторыя знанія, увѣренность въ себѣ, самообладаніе. Не у францу-

женки же въ пансіонѣ! Кто былъ ея руководителемъ, собесѣдникомъ, когда кругомъ никого нѣтъ?

Такъ думалъ онъ подвести ее къ признанію.

— Послушай, Вѣра, я хотѣлъ у тебя кое-что спросить, началъ онъ равнодушнымъ голосомъ: — сегодня Леонтій упомянулъ, что ты читала книги въ моей библіотекѣ, а ты никогда ни слова мнѣ о нихъ не говорила. Правда это?

— Да, нѣкоторыя читала. Что жъ?

— Съ кѣмъ же читала, съ Козловымъ?

– Иныя—да. Онъ объяснялъ мнѣ содержаніе нѣкоторыхъ писателей. Другихъ я читала одна, или со священникомъ, мужемъ Наташи...

— Какія же книги ты читала съ священникомъ?

— Теперь я не помню... Св. отцовъ, напримѣръ. Онъ намъ съ Наташей объяснялъ, и я многимъ ему обязана... Спинозу читали съ нимъ... Вольтера...

Райскій засмѣялся.

– Чему вы смѣетесь? спросила она.

– Какой переходъ отъ св. отцовъ къ Спинозѣ и Вольтеру! Тамъ въ библіотекѣ всѣ энциклопедисты есть. Ужели ты ихъ читала?

— Нѣтъ, куда же всѣхъ! Николай Ивановичъ читалъ кое-что и передавалъ намъ съ Наташей...

— Какъ это вы до Фейербаха съ братіей не дошли... до соціалистовъ и матеріалистовъ!..

— Дошли! съ слабой улыбкой сказала она:—опять-таки не мы съ Наташей, а мужъ ея. Онъ просилъ насъ выписывать мѣста, отмѣчалъ карандашемъ...

— Зачѣмъ?

– Хотѣлъ, кажется, возражать и напечатать въ журналѣ, не знаю...

— Въ библіотекѣ моего отца нѣтъ этихъ новыхъ книгъ, гдѣ же вы взяли ихъ? съ живостью спросилъ Райскій и навострилъ ухо.

Она молчала.

— Ужъ не у того ли изгнанника, находящагося подъ присмотромъ полиціи, которому ты помогала? Помнишь, ты писала о немъ?...

Она, не слушая его, шла и молчала задумчиво.

— Вѣра, ты не слушаешь?

— А? нѣтъ, я слышу... очнувшись сказала она:—гдѣ я брала книги? Тутъ... въ городѣ, то у того, то у другого...

— Волоховъ раздавалъ эти же книги... замѣтилъ онъ.

— Можетъ-быть, и онъ... Я у учителей брала...

„Не учитель ли какой-нибудь, въ родѣ m-r Шарля?“ сверкнуло у него въ умѣ.

— Что же Николай Ивановичъ говоритъ о Спинозѣ и объ этихъ всѣхъ авторахъ?

— Много, всего не припомнишь...

— Напримѣръ, добивался Райскій.

— Онъ говоритъ, что это „попытки гордыхъ умовъ уйти въ сторону отъ истины“, вотъ какъ эти дорожки бѣгутъ въ сторону отъ большой дороги и опять сливаются съ ней же...

— Еще что?

— Еще?—что еще? Теперь забыла. Говоритъ, что всѣ эти „попытки служатъ истинѣ, очищаютъ ее какъ огнемъ, что это неизбѣжная борьба, безъ которой побѣда и царство истины не было бы прочно...“ И мало ли что онъ еще говорилъ!...

— А гдѣ „истина“? онъ не отвѣчалъ на этотъ Пилатовъ вопросъ?

— Вонъ тамъ, сказала она, указывая назадъ на церковь:—гдѣ мы сейчасъ были!... Я это до него знала...

— Ты думаешь, что онъ правъ?... спросилъ онъ, стараясь хоть мелькомъ заглянуть ей въ душу.

*

— Я не думаю, а вѣрю, что онъ правъ. А вы? повернувшись къ нему, спросила она съ живостью.

Онъ утвердительно наклонилъ голову.

— Зачѣмъ же меня спрашиваете?

Есть невѣрующіе, я хотѣлъ знать твое мнѣніе...

— Я въ этомъ, кажется, не скрывалась отъ васъ, вы часто видите мою молитву...

— Да, но я желалъ бы слышать ее. Скажи, о чемъ ты молишься, Вѣра?

— О невѣрующихъ... тихо сказала она.

— А я думалъ о своей тревогѣ, объ этой бурѣ...

— Да... въ этомъ — и моя тревога, и моя буря!... шептала она. Онъ не слыхалъ.

Проходя мимо часовни, она на минуту остановилась передъ ней. Тамъ было темно. Она съ медленнымъ, затаеннымъ вздохомъ, пошла дальше, къ саду, и шла все тише и тише. Дойдя до стараго дома, она остановилась и знакомъ головы подозвала къ себѣ Райскаго.

— Послушайте, что я вамъ скажу... тихо и нерѣшительно начала она, какъ будто преодолѣвая себя.

— Говори, Вѣра...

— Вы сказали... еще тише начала она: — что самое вѣрное средство противъ... „бури...“ это не ходить туда...

Она показала къ обрыву.

— Да, вѣрнѣе этого нѣтъ...

— Я хотѣла просить васъ...

Она остановилась, держа его за бортъ пальто.

— Я жду. Вѣра, шепталъ и онъ, съ легкой дрожью нетерпѣнія и, можетъ-быть, тяжелаго предчувствія. — Вчера я ждалъ только для себя, чтобъ унять боль: теперь я жду для тебя, чтобы помочь тебѣ — или снести твою ношу, или распутать какой-то трудный узелъ, можетъ-быть, спасти тебя...

— Да, помогите... сказала она, отирая платкомъ выступившія слезы:—я такъ слаба... нездорова... силъ у меня нѣтъ...

— Не поможетъ ли лучше меня бабушка? Откройся ей, Вѣра: она женщина, и твое горе, можетъ-быть, знакомо ей...

Вѣра, зажавъ глаза платкомъ, отрицательно качала головой.

— Нѣтъ, она не такая... она ничего этого не знала...

— Что же я могу сдѣлать?... скажи все...

— Не спрашивайте меня, братъ. Я не могу сказать всего. Сказала бы все, и бабушкѣ, и вамъ... и скажу когда-нибудь... когда пройдетъ... а теперь пока не могу...

— Какъ же я могу помочь, когда не знаю ни твоего горя, ни опасности? Откройся мнѣ, и тогда простой анализъ чужого ума разъяснитъ тебѣ твои сомнѣнія, удалитъ, можетъ-быть, затрудненія, выведетъ на дорогу... Иногда довольно взглянуть ясно и трезво на свое положеніе, и уже отъ одного сознанія становится легче. Ты сама не можешь: дай мнѣ взглянуть со стороны. Ты знаешь, два ума лучше одного...

— Никакіе умы, никакой анализъ—не выведутъ на дорогу, слѣдовательно и говорить безполезно! почти съ отчаяніемъ сказала она.

— Какъ же я могу помочь тебѣ?

Она близко глядѣла ему въ глаза глазами, полными слезъ.

— Не покидайте меня, не теряйте изъ вида, шептала она.—Если услышите... выстрѣлъ оттуда... (она показала на обрывъ)—будьте подлѣ меня... не пускайте меня—заприте, если нужно, удержите силой... Вотъ до чего я дошла! съ ужасомъ сама прошептала она, закинувъ голову назадъ въ отчаяніи, какъ будто удерживала стонъ, и вдругъ

выпрямилась. — Потомъ... тихо начала опять: — никогда объ этомъ никому не поминайте, даже мнѣ самой! Вотъ все, что вы можете сдѣлать для меня: за этимъ я удержала васъ! Я жалкая эгоистка, не дала вамъ уѣхать! Я чувствовала, что слабѣю... У меня никого нѣтъ, бабушка не поняла бы... Вы одинъ... Простите меня!

— Ты хорошо сдѣлала... съ жаромъ сказалъ онъ. — Ради Бога, располагай мною — я теперь все понялъ и готовъ навсегда здѣсь остаться, лишь бы ты успокоилась...

— Нѣтъ, черезъ недѣлю выстрѣлы прекратятся навсегда... прибавила она, отирая платкомъ слезы.

Она сжала обѣ его руки и, не оглядываясь, ушла къ себѣ, взбираясь на крыльцо тихо, неровными шагами, держась за перилы.

## X.

Прошло два дня. По утрамъ Райскій не видалъ почти Вѣру наединѣ. Она приходила обѣдать, пила вечеромъ вмѣстѣ со всѣми чай, говорила объ обыкновенныхъ предметахъ, иногда только казалась утомленною.

Райскій по утрамъ опять началъ вносить замѣтки въ программу своего романа, потомъ шелъ навѣщать Козлова, заходилъ на минуту къ губернатору, и еще къ двумъ, тремъ лицамъ въ городѣ, съ которыми успѣлъ покороче познакомиться. А вечеръ проводилъ въ саду, стараясь не терять изъ вида Вѣры, по ея просьбѣ, и прислушиваясь къ каждому звуку въ рощѣ.

Онъ сидѣлъ на скамьѣ у обрыва, ходилъ по аллеямъ, и только къ полуночи у него прекращалось напряженное, томительное ожиданіе выстрѣла. Онъ почти желалъ его, надѣясь, что своею помощью сразу навсегда отведетъ Вѣру отъ какой-то бѣды.

Но вотъ два дня прошли тихо: до конца назначеннаго срока, до недѣли, было еще пять дней. Райскій разсчитывалъ, что въ день рожденія Марѳиньки, послѣзавтра, Вѣрѣ неловко будетъ оставить семейный кругъ, а потомъ, когда Марѳинька на другой день уѣдетъ съ женихомъ и съ его матерью за Волгу, въ Колчино, ей опять неловко будетъ оставлять бабушку одну—и такимъ образомъ недѣля пройдетъ, а съ ней минуетъ и туча. Вѣра за обѣдомъ просила его зайти къ ней вечеромъ, сказавши, что дастъ ему порученіе.

Она выходила гулять, когда онъ пришелъ. Глаза у ней были, казалось, заплаканы, нервы видимо упали, движенія были вялы, походка медленна. Онъ взялъ ее подъ руку, и такъ какъ она направлялась изъ сада къ полю, онъ думалъ, что она идетъ къ часовнѣ, повелъ ее по лугу и по дорожкѣ туда.

Она молча шла за нимъ, въ глубокой задумчивости, отъ которой очнулась у порога часовни. Она вошла туда и глядѣла на задумчивый ликъ Спасителя.

— Мнѣ кажется, Вѣра, у тебя есть помощь сильнѣе моей, и ты напрасно надѣялась на меня. Ты и безъ меня не пойдешь туда... тихо говорилъ онъ, стоя на порогѣ часовни.

Она сдѣлала утвердительный знакъ головой, и сама, кажется, во взглядѣ Христа искала силы, участія, опоры, опять призыва. Но взглядъ этотъ, какъ всегда, задумчиво-покойно, какъ будто безучастно смотрѣлъ на ея борьбу, не помогая ей, не удерживая ее... Она вздохнула.

— Не пойду! подтвердила она тихо, отводя глаза отъ образа.

Райскій не прочелъ на ея лицѣ ни молитвы, ни желанія. Оно было подернуто задумчивымъ выраженіемъ усталости, равнодушія, а можетъ-быть, и тихой покорности.

— Пойдемъ домой, ты легко одѣта, сказалъ онъ.

Она повиновалась.

— А что же порученіе—какое? спросилъ онъ.

— Да, припомнила она и достала изъ кармана портъмонэ.—Возьмите у золотыхъ дѣлъ мастера Шмита porte-bouquet. Я еще на той недѣлѣ выбрала подарить Марѳинькѣ въ день рожденія.—только велѣла вставить нѣсколько жемчужинъ, изъ своихъ собственныхъ, и вырѣзать ея имя. Вотъ деньги.

Онъ спряталъ деньги.

— Это не все. Въ самый день ея рожденія, послѣзавтра, пораньше утромъ... Вы можете встать часовъ въ восемь?...

— Еще бы! я, пожалуй, и спать не лягу совсѣмъ...

— Зайдите вотъ сюда—знаете большой садъ—въ оранжерею, къ садовнику. Я ужъ говорила ему: выберите понаряднѣе букетъ цвѣтовъ и пришлите мнѣ, пока Марѳинька не проснулась... Я полагаюсь на вашъ вкусъ...

— Вотъ какъ! я дѣлаю успѣхи въ твоемъ довѣріи. Вѣра! сказалъ, смѣясь, Райскій:—вкусу моему вѣришь и честности, даже деньги не боялась отдать...

— Я сдѣлала бы это все сама, да не могу... силъ нѣтъ... устаю! прибавила она, стараясь улыбнуться на его шутку.

Онъ на другой день утромъ взялъ у Шмита porte-bouquet и обдумывалъ, изъ какихъ цвѣтовъ долженъ быть составленъ букетъ для Марѳиньки. Однихъ цвѣтовъ нельзя было найти въ позднюю пору, другіе не годились.

Потомъ онъ выбралъ дамскіе часы съ эмалевой доской, съ цѣпочкой, подарить отъ себя Марѳинькѣ, и для этого зашелъ къ Титу Никонычу и занялъ у него двѣсти рублей до завтра, чтобы не воевать съ бабушкой, которая безъ боя

не дала бы ему промотать столько на подарокъ, и кромѣ того, пожалуй, выдала бы заранѣе его секретъ.

У Тита Никоныча онъ увидѣлъ роскошный дамскій туалетъ, обшитый розовой кисеей и кружевами, съ зеркаломъ, увитымъ фарфоровой гирляндой изъ амуровъ и цвѣтовъ, артистической, тонкой работы, съ Севрской фабрики.

— Что это? Гдѣ вы взяли такую драгоцѣнность? говорилъ онъ, разсматривая группы амуровъ, цвѣты, краски.— и не могъ отвести глазъ.—Какая прелесть!

— Марѳѣ Васильевнѣ! любезно улыбаясь, говорилъ Титъ Никонычъ:—я очень счастливъ, что вамъ нравится— вы знатокъ. Вашъ вкусъ мнѣ порукой, что этотъ подарокъ будетъ благосклонно принятъ дорогой новорожденной къ ея свадьбѣ. Какая отмѣнная дѣвица! Поглядите, эти розы, можно сказать, суть ея живое подобіе. Она будетъ видѣть въ зеркалѣ свое плѣнительное личико, а купидоны ей будутъ улыбаться...

— Гдѣ вы достали такую рѣдкость?

— До завтра прошу у васъ секрета отъ Татьяны Марковны и отъ Марѳы Васильевны тоже! сказалъ Титъ Никонычъ.

— Вѣдь это больше тысячи рублей надо заплатить! И гдѣ здѣсь достать?...

— Пять тысячъ рублей ассигнаціями мой дѣдъ заплатилъ въ приданое моей родительницѣ. Это хранилось до сихъ поръ въ моей вотчинѣ, въ спальнѣ покойницы. Я въ прошедшемъ мѣсяцѣ подъ секретомъ велѣлъ доставить сюда; на рукахъ несли полтораста верстъ, шесть человѣкъ поперемѣнно, чтобъ не разбилось. Я только новую кисею велѣлъ сдѣлать, а кружева — тоже старинныя: изволите видѣть—пожелтѣли. Это очень цѣнится дамами, тогда какъ... добавилъ онъ съ усмѣшкой,—въ нашихъ глазахъ не имѣетъ никакой цѣны.

— Что бабушка скажетъ? замѣтилъ Райскій.

— Безъ грозы не обойдется, я сильно тревожусь, но, можетъ-быть, по своей добротѣ, проститъ меня. Позволяю себѣ вамъ открыть, что я люблю обѣихъ дѣвицъ, какъ родныхъ дочерей, прибавилъ онъ нѣжно:—обѣихъ на колѣняхъ качалъ, грамотѣ вмѣстѣ съ Татьяной Марковной обучалъ; это—какъ моя семья. Не измѣните мнѣ, шепнулъ онъ: — скажу конфиденціально, что и Вѣрѣ Васильевнѣ въ одинаковой мѣрѣ я взялъ смѣлость изготовить въ свое время, при ея замужествѣ, равный этому подарокъ, который, смѣю думать, она благосклонно приметъ...

Онъ показалъ Райскому массивный серебряный столовый сервизъ на двѣнадцать человѣкъ, старой и тоже артистической отдѣлки.

— Вамъ, какъ брату и другу ея, открою, шепталъ онъ:—что я, вмѣстѣ съ Татьяной Марковной, пламенно желаю ей отличной и богатой партіи, коей она вполнѣ достойна: мы замѣчаемъ, еще тише зашепталъ онъ:—что достойнѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ кавалеръ, Иванъ Ивановичъ Тушинъ—безъ ума отъ нея—какъ и слѣдуетъ быть...

Райскій вздохнулъ и вернулся домой. Онъ нашелъ тамъ Викентьева съ матерью, которая пріѣхала изъ-за Волги къ дню рожденія Марѳиньки, Полину Карповну, двухтрехъ гостей изъ города и—Опенкина.

Послѣдній разливалъ волны семинарскаго краснорѣчія, переходя нерѣдко въ плаксивый тонъ и обращая къ Марѳинькѣ пожеланія, по случаю предстоящаго брака.

Бабушка не рѣшилась оставить его къ обѣду при „хорошихъ гостяхъ“ и поручила Викентьеву напоить за завтракомъ, что тотъ и исполнилъ отчетливо, такъ что къ тремъ часамъ Опенкинъ былъ „готовъ“ совсѣмъ и спалъ крѣпкимъ сномъ въ пустой залѣ стараго дома.

Гости часовъ въ семь разъѣхались. Бабушка съ матерью жениха зарылись совсѣмъ въ приданое и вели нескончаемый разговоръ въ кабинетѣ Татьяны Марковны.

А женихъ съ невѣстой, обѣжавъ разъ пять садъ и рощу, ушли въ деревню. Викентьевъ несъ за Марѳинькой цѣлый узелъ, который, пока они шли по полю, онъ кидалъ вверхъ и ловилъ на-лету.

Марѳинька обошла каждую избу, прощалась съ бабами, ласкала ребятишекъ, двумъ изъ нихъ вымыла рожицы, нѣкоторымъ матерямъ дала ситцу на рубашенки дѣтямъ, да двумъ дѣвочкамъ постарше, на платья, и двѣ пары башмаковъ, сказавъ, чтобъ не смѣли ходить босоногія по лужамъ.

Полоумной Агашкѣ дала какую-то изношенную душегрѣйку, которую выпросила въ дворнѣ у Улиты, обѣщаясь, по возвращеніи, сдѣлать ей новую, на-строго приказавъ Агашкѣ не ходить въ одномъ платьѣ по осеннему холоду и сказала, что прилетъ „коты" носить въ слякоть.

Безногому старику Силычу оставила рубль мѣдными деньгами, которыя тотъ жадно подобралъ, когда Викентьевъ, съ грохотомъ и хохотомъ, выворачивая карманы, выбросилъ ихъ на лавку.

Силычъ, дрожащими отъ жадности руками, началъ завертывать ихъ въ какіе-то хлопки и тряпки, пряталъ въ карманы, даже взялъ одинъ пятакъ въ ротъ.

Но Марѳинька погрозила, что отниметъ деньги и никогда не придетъ больше, если онъ станетъ прятать ихъ, а самъ выпрашивать луковицу на обѣдъ и просить на паперти милостыню.

— Красавица ты наша, Божій ангелъ, награди тебя Господь! провожали ее бабы съ каждаго двора, когда она прощалась съ ними недѣли на двѣ.

А мужики ласково и лукаво улыбались молча: „Балуетъ барышня“, какъ будто думали они: „съ ребятишками, да съ бабами возится! ишь какой пустякъ носить имъ! Почтò это нашимъ бабамъ и ребятишкамъ?“

И небрежно разсматривали ситцевую рубашку, какой-нибудь поясокъ, или маленькіе башмаки.

## XI.

Вечеромъ новый домъ сіялъ огнями. Бабушка не знала, какъ угостить свою гостью и будущую родню.

Она воздвигла ей парадную постель въ гостиной, чуть не до потолка, походившую на катафалкъ. Марѳинька, въ своихъ двухъ комнатахъ, цѣлый вечеръ играла, пѣла съ Викентьевымъ — наконецъ они затихли за чтеніемъ какой-то новой повѣсти, безпрестанно прерываемомъ замѣчаніями Викентьева, его шалостями и рѣзвостью.

Только окна Райскаго не были освѣщены. Онъ ушелъ тотчасъ послѣ обѣда и не возвращался къ чаю.

Луна освѣщала новый домъ, а старый прятался въ тѣни. На дворѣ, въ кухнѣ, въ людскихъ, долѣе обыкновеннаго не ложились спать люди, у которыхъ въ гостяхъ были пріѣхавшіе съ барыней Викентьевой изъ-за Волги, кучеръ и лакей.

На кухнѣ долго не гасили огня, готовили ужинъ, и отчасти завтрашній обѣдъ.

Вѣра съ семи часовъ вечера сидѣла въ бездѣйствіи, сначала въ сумеркахъ, потомъ при слабомъ огнѣ одной свѣчи, облокотясь на столъ и положивъ на руку голову, другой рукой она задумчиво перебирала листы лежавшей передъ ней книги, въ которую не смотрѣла.

Глаза ея устремлены были куда-то далеко отъ книги. На плеча накинутъ бѣлый большой шерстяной платокъ, защищавшій ее отъ свѣжаго, осенняго воздуха, который въ от-

крытое окно наполнялъ комнату. Она еще не позволяла вставить у себя рамъ и подолгу оставляла окно открытымъ.

Спустя полчаса, она медленно встала, положивъ книгу въ столъ, подошла къ окну и оперлась на локти, глядя на небо, на новый, свѣтившійся огнями черезъ всѣ окна домъ, прислушиваясь къ шагамъ ходившихъ по двору людей, потомъ выпрямилась и вздрогнула отъ холода.

Она стала закрывать окно, и только затворила одну половину, какъ среди тишины грянулъ подъ горой выстрѣлъ.

Она вздрогнула, быстро опустилась на стулъ и опустила голову. Потомъ встала, глядя вокругъ себя, мѣняясь въ лицѣ, шагнула къ столу, гдѣ стояла свѣча, и остановилась.

Въ глазахъ былъ испугъ и тревога. Она нѣсколько разъ трогала лобъ рукой и сѣла-было къ столу, но въ ту же минуту встала опять, быстро сдернула съ плечъ платокъ и бросила въ уголъ за занавѣсъ, на постель, еще быстрѣе отворила шкафъ, затворила опять, ища чего-то глазами по стульямъ, на диванѣ — и не найдя что̀ ей нужно, сѣла на стулъ, повидимому, въ изнеможеніи.

Наконецъ глаза ея остановились на висѣвшей на спинкѣ стула пуховой косынкѣ, подаренной Титомъ Никонычемъ. Она бросилась къ ней, стала торопливо надѣвать одной рукой на голову, другой въ ту же минуту отворяла шкафъ и доставала оттуда съ вѣшалокъ, съ лихорадочной дрожью, то то̀, то другое пальто.

Мелькомъ взглянувъ на пальто, попавшееся ей въ руку, она съ досадой бросала его на полъ и хватала другое, бросала опять попавшееся платье, другое, третье, и искала чего-то, перебирая одно за другимъ все, что̀ висѣло въ шкафѣ, и въ то же время стараясь рукой завязать косынку на головѣ.

Наконецъ бросилась къ свѣчкѣ, схватила ее и освѣтила шкафъ. Тамъ, съ ожесточеннымъ нетерпѣніемъ, взяла она

мантилью на бѣломъ пуху, еще другую, черную, шелковую, накинула первую на себя, а на нее шелковую, отбросивъ пуховую косынку прочь.

Не затворивъ шкафа, она перешагнула черезъ кучу брошеннаго на полъ платья, задула свѣчку и, скользнувъ изъ двери, не заперевъ ее, какъ мышь, неслышными шагами спустилась съ лѣстницы.

Она прокралась къ окраинѣ двора, закрытой тѣнью, и вошла въ темную аллею. Она не шагала, а неслась: едва мелькалъ темный ея силуэтъ, гдѣ нужно было перебѣжать свѣтлое пространство, такъ что луна будто не успѣвала освѣтить ее.

Она, миновавъ аллею, умѣрила шагъ, и остановилась на минуту перевести духъ у канавы, отдѣлявшей садъ отъ рощи. Потомъ перешла канаву, вошла въ кусты, мимо своей любимой скамьи, и подошла къ обрыву. Она подобрала обѣими руками платье, чтобъ спуститься...

Передъ ней, какъ изъ земли, выросъ Райскій и сталъ между ею и обрывомъ. Она окаменѣла на мѣстѣ.

— Куда, Вѣра? спросилъ онъ.

Она молчала.

— Пойдемъ назадъ!

Онъ взялъ ее за руку. Она не дала руки и хотѣла миновать его.

— Вѣра, куда, зачѣмъ?

— Туда... въ послѣдній разъ, свиданіе необходимо — проститься... шептала она со стыдомъ и мольбой.—Пустите меня, братъ... Я сейчасъ вернусь, а вы подождите меня... одну минуту... Посидите вотъ здѣсь, на скамьѣ...

Онъ, молча, крѣпко взялъ ее за руку и не выпускалъ.

— Пустите, мнѣ больно! шептала она, ломая его и свою руку.

Онъ не пускалъ. Между ними завязалась борьба.

— Вы не сладите со мной!... говорила она, сжимая зубы и съ неестественной силой вырывая руку, наконецъ вырвала и метнулась-было въ сторону, мимо его.

Онъ удержалъ ее за талію, подвелъ къ скамьѣ, посадилъ и сѣлъ подлѣ нея.

— Какъ это грубо, дико! съ тоской и злостью сказала она, отворачиваясь отъ него почти съ отвращеніемъ.

— Не этой силой хотѣлъ бы я удержать тебя, Вѣра!

— Отъ чего удержать? спросила она почти грубо.

— Можетъ-быть—отъ гибели...

— Развѣ можно погубить меня, если я не хочу?

— Ты не хочешь, а гибнешь...

— А если я хочу гибнуть?

Онъ молчалъ.

— И никакой гибели нѣтъ, мнѣ нужно видѣться, чтобъ... разстаться...

— Чтобъ разстаться—не надо видѣться...

— Надо — и я увижусь! часомъ или днемъ позже — все равно. Всю дворню, весь городъ зовите, хоть роту солдатъ, ничѣмъ не удержите!...

Она откинула черную мантилью съ головы на плечи и судорожно передергивала ее.

Выстрѣлъ повторился. Она рванулась, но двѣ сильныя руки за плеча посадили ее на лавку. Она посмотрѣла на Райскаго съ ногъ до головы и тряхнула головой отъ ярости.

— Какой же награды потребуете вы отъ меня за этотъ добродѣтельный подвигъ? шипѣла она.

Онъ молчалъ и исподлобья стерегъ ея движенія. Она съ злостью засмѣялась.

— Пустите! сказала она мягко, немного погодя.

Онъ покачалъ отрицательно головой.

— Братъ! заговорила она черезъ минуту нѣжно, кладя ему руку на плечо:—если когда-нибудь вы горѣли, какъ

на угольяхъ, умирали сто разъ въ одну минуту отъ страха, отъ нетерпѣнія... когда счастье просится въ руки и ускользаетъ... и ваша душа просится вслѣдъ за нимъ... Припомните, такую минуту... когда у васъ оставалась одна послѣдняя надежда... искра... Вотъ это—моя минута! Она пройдетъ и все пройдетъ съ ней...

— И слава Богу, Вѣра! Опомнись, приди въ себя немного, ты сама не пойдешь! Когда больные горячкой мучатся жаждой и просятъ льду—имъ не даютъ. Вчера, въ трезвый часъ, ты сама предвидѣла это и указала мнѣ простое и самое дѣйствительное средство — не пускать тебя—и я не пущу...

Она стала на колѣни подлѣ него.

— Не заставьте меня проклинать васъ всю жизнь потомъ! умоляла она. — Можетъ-быть, тамъ меня ждетъ сама судьба...

— Твоя судьба—вонъ тамъ: я видѣлъ, гдѣ ты вчера искала ее, Вѣра. Ты вѣришь въ провидѣніе, другой судьбы нѣтъ...

Она вдругъ смолкла и поникла головой.

— Да, сказала она покорно:—да, вы правы, я вѣрю... Но я тамъ допрашивалась искры, чтобъ освѣтить мой путь—и не допросилась. Что мнѣ дѣлать?—я не знаю...

Она вздохнула и медленно встала съ колѣнъ.

— Не ходи! говорилъ онъ.

— Именемъ той судьбы, въ которую вѣрю, я искала счастья! Можетъ-быть, она и посылаетъ меня теперь туда... можетъ-быть... я необходима тамъ! продолжала она, выпрямившись и сдѣлавъ шагъ къ обрыву.—Что бы ни было, не держите меня долѣе, я рѣшилась. Я чувствую, моя слабость миновала. Я владѣю собой, я опять сильна! Тамъ рѣшится не моя одна судьба, но и другого человѣка. На васъ ляжетъ отвѣтственность за эту пропасть, которую вы роете

между нимъ и мною. Я не утѣшусь никогда, буду васъ считать виновникомъ несчастья всей моей жизни... и его жизни! Если вы теперь удержите меня, я буду думать, что мелкая страстишка, самолюбіе безъ правъ, зависть— помѣшали моему счастью и что вы лгали, когда проповѣдывали свободу...

Онъ поколебался и отступилъ отъ нея на шагъ.

— Это голосъ страсти, со всѣми ея софизмами и изворотами! сказалъ онъ вдругъ, опомнившись.—Вѣра, ты теперь въ положеніи іезуита. Вспомни, какъ ты просила вчера, послѣ своей молитвы, не пускать тебя!... А если ты будешь проклинать меня за то, что я уступилъ тебѣ, на кого тогда падетъ отвѣтственность?

Она опять упала духомъ и уныло склонила голову.

— Кто онъ, скажи? шепнулъ онъ.

— Если скажу—вы не удержите меня? вдругъ спросила она съ живостью, хватаясь за эту, внезапно явившуюся надежду вырваться—и спрашивала его глазами, глядя близко и прямо ему въ глаза.

— Не знаю, можетъ-быть...

— Нѣтъ, дайте слово, что не удержите—и я назову...

Онъ колебался.

Въ эту минуту раздался третій выстрѣлъ. Она рванулась, но онъ успѣлъ удержать ее за руку.

— Пойдемъ, Вѣра, домой, къ бабушкѣ сейчасъ! говорилъ онъ настойчиво, почти повелительно. — Открой ей все...

Но она, вмѣсто отвѣта, начала биться у него въ рукахъ, вырываясь, падая, вставая опять.

— Если... вамъ было когда-нибудь хорошо въ жизни, то пустите!... Вы говорили: „люби, страсть прекрасна!“ задыхаясь отъ волненія, говорила она и порывалась у него изъ рукъ: — вспомните... и дайте мнѣ еще одну

такую минуту, одинъ вечеръ... „Христа ради!...“ шептала она, протягивая руку: — вы тоже просили меня, Христа ради, не удалять васъ... я не отказала... помните? Подайте и мнѣ эту милостыню!... Я никогда не упрекну васъ... никогда... вы сдѣлали все—мать не могла бы сдѣлать больше—но теперь оставьте меня—я должна быть свободна!... И вотъ, пусть Тотъ, кому мы молились вчера, будетъ свидѣтелемъ, что это послѣдній вечеръ... послѣдній! Я никогда не пойду съ обрыва больше: вѣрьте мнѣ—я этой клятвы не нарушу! Подождите меня здѣсь, я сейчасъ вернусь, только скажу слово...

Онъ выпустилъ ея руку.

— Что̀ ты говоришь, Вѣра! шепталъ онъ въ ужасѣ:— ты не помнишь себя. Куда ты?

— Туда... взглянуть одинъ разъ... на „волка...“ проститься... услышать его... можетъ-быть... онъ уступитъ...

Она бросилась къ обрыву, но упала, торопясь уйти, чтобъ онъ не удержалъ ее, хотѣла встать и не могла.

Она протягивала руку къ обрыву, глядя умоляющими глазами на Райскаго.

Онъ собралъ нечеловѣческія силы, задушилъ вопль собственной муки, поднялъ ее на руки.

— Ты упадешь съ обрыва, тамъ круто... шепнулъ онъ:—я тебѣ помогу...

Онъ почти снесъ ее съ крутизны и поставилъ на отлогомъ мѣстѣ, на дорожкѣ. У него дрожали руки, онъ былъ блѣденъ.

Она быстро обернулась къ нему, обдала его всего широкимъ взглядомъ изступленнаго удивленія, благодарности, вдругъ опустилась на колѣни, схватила его руку и крѣпко прижала къ губамъ...

— Братъ! вы великодушны, Вѣра не забудетъ этого!

сказала она и, взвизгнувъ отъ радости, какъ освобожденная изъ клѣтки птица, бросилась въ кусты.

Онъ сѣлъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ, и съ ужасомъ слушалъ шумъ раздвигаемыхъ ею вѣтвей и трескъ сухихъ прутьевъ подъ ногами.

## XII.

Въ полуразвалившейся бесѣдкѣ ждалъ Маркъ. На столѣ лежало ружье и фуражка. Самъ онъ ходилъ взадъ и впередъ по нѣсколькимъ уцѣлѣвшимъ доскамъ. Когда онъ ступалъ на одинъ конецъ доски, другой привскакивалъ и падалъ со стукомъ.

— О, чортова музыка! съ досадой на этотъ стукъ сказалъ онъ и сѣлъ на одну изъ скамей близъ стола, положилъ локти на столъ и впустилъ обѣ руки въ густые волосы.

Онъ курилъ папироску за папироской. Зажигая спичку, онъ освѣщалъ себя. Онъ былъ блѣденъ и казался взволнованнымъ, или озлобленнымъ.

Послѣ каждаго выстрѣла онъ прислушивался нѣсколько минутъ, потомъ шелъ по тропинкѣ, приглядываясь къ кустамъ, повидимому, ожидая Вѣру. И когда ожиданія его не сбывались, онъ возвращался въ бесѣдку и начиналъ ходить подъ „чортову музыку“, опять бросался на скамью, впуская пальцы въ волосы, или ложился, на одну изъ скамей, кладя, по-американски, ноги на столъ.

Послѣ третьяго выстрѣла онъ прислушался минутъ семь, но не слыша ничего, до того нахмурился, что на минуту какъ будто постарѣлъ, медленно взялъ ружье и нехотя пошелъ по дорожкѣ, повидимому съ намѣреніемъ уйти, но замедлялъ однако шагъ, точно затрудняясь идти въ темнотѣ. Наконецъ пошелъ рѣшительнымъ шагомъ—и вдругъ столкнулся съ Вѣрой.

*

Она остановилась и приложила руку къ сердцу, съ трудомъ переводя духъ.

Онъ взялъ ее за руку — и въ ней тревога мгновенно стихла. Она старалась только отдышаться отъ скорой ходьбы и отъ борьбы съ Райскимъ, а онъ, казалось, не могъ одолѣть въ себѣ сильно охватившаго его чувства— радости исполнившагося ожиданія.

— Еще недавно, Вѣра, вы были такъ аккуратны, мнѣ не приходилось тратить пороху на три выстрѣла... сказалъ онъ.

— Упрекъ — вмѣсто радости! отвѣчала она, вырывая у него руку.

— Это я — такъ только, чтобъ начать разговоръ, а самъ одурѣлъ совсѣмъ отъ счастья, какъ Райскій...

— Не похоже! Если бъ было такъ, мы не видѣлись бы украдкой, въ обрывѣ... Боже мой!

Она перевела духъ.

— А сидѣли бы рядкомъ тамъ у бабушки, за чайнымъ столомъ, и ждали бы, когда насъ обвѣнчаютъ!

— Такъ что же?

— Что̀ напрасно мечтать о томъ, что̀ невозможно! Вѣдь бабушка не отдала бы за меня...

— Отдала бы: она сдѣлаетъ, что̀ я хочу. У васъ только это препятствіе?

— Мы опять заводимъ эту нескончаемую полемику, Вѣра! Мы сошлись въ послѣдній разъ сегодня—вы сами говорите. Надо же кончить какъ-нибудь эту томительную пытку и сойти съ горячихъ угольевъ!

— Да, въ послѣдній разъ... Я клятву дала, что больше здѣсь никогда не буду!

— Стало-быть время дорого. Мы разойдемся навсегда, если... глупость, т. е. бабушкины убѣжденія разведутъ

насъ. Я уѣду черезъ недѣлю, разрѣшеніе получено, вы знаете. Или ужъ сойдемся и не разойдемся больше...

— Никогда? тихо спросила она.

Онъ сдѣлалъ движеніе нетерпѣнія.

— Никогда! повторилъ онъ съ досадой:—какая ложь въ этихъ словахъ: „никогда", „всегда!..." Конечно „никогда": годъ, можетъ-быть, два... три... Развѣ это не— „никогда?" Вы хотите безсрочнаго чувства? Да развѣ оно есть? Вы пересчитайте всѣхъ вашихъ голубей и голубокъ: вѣдь никто безсрочно не любитъ. Загляните въ ихъ гнѣзда—что̀ тамъ? Сдѣлаютъ свое дѣло, выведутъ дѣтей, а потомъ воротятъ носы въ разныя стороны. А только отъ тупоумія сидятъ вмѣстѣ...

— Довольно, Маркъ, я тоже утомлена этой теоріей о любви на срокъ! съ нетерпѣніемъ перебила она.—Я очень несчастлива, у меня не одна эта туча на душѣ—разлука съ вами! Вотъ ужъ годъ я скрытничаю съ бабушкой—и это убиваетъ меня, и ее еще больше, я вижу это. Я думала, что на-дняхъ эта пытка кончится: сегодня, завтра, мы наконецъ выскажемся вполнѣ, искренно объявимъ другъ другу свои мысли, надежды, цѣли... и...

— Что̀ потомъ? спросилъ онъ, слушая внимательно.

— Потомъ я пойду къ бабушкѣ и скажу ей: вотъ кого я выбрала... на всю жизнь. Но... кажется... этого не будетъ... мы напрасно видимся сегодня, мы должны разойтись! съ глубокимъ уныніемъ, шопотомъ, досказала она и поникла головой.

— Да, если воображать себя ангелами, то, конечно, вы правы, Вѣра: тогда на всю жизнь. Вонъ и этотъ сѣдой мечтатель, Райскій, думаетъ, что женщины созданы для какой-то высшей цѣли...

— Для семьи созданы онѣ прежде всего. Не ангелы, пусть такъ—но не звѣри! Я не волчица, а женщина!

— Ну, пусть для семьи, что̀ же? Въ чемъ тутъ помѣха намъ? Надо кормить и воспитать дѣтей? Это уже не любовь, а особая забота, дѣло нянекъ, старыхъ бабъ? Вы хотите драпировки: всѣ эти чувства, симпатіи, и прочее—только драпировка, тѣ листья, которыми, говорятъ, прикрывались люди еще въ раю...

— Да, люди! сказала она.

Онъ усмѣхнулся и пожалъ плечами.

— Пусть драпировка, продолжала Вѣра:—но вѣдь и она, по вашему же ученію, дана природой, а вы хотите ее снять. Если такъ, зачѣмъ вы упорно привязались ко мнѣ, говорите, что любите—вонъ измѣнились, похудѣли?... Не все ли вамъ равно, съ вашими понятіями о любви, найти себѣ подругу тамъ въ слободѣ, или за Волгой въ деревнѣ? Что̀ заставляетъ васъ ходить цѣлый годъ сюда, подъ гору?

Онъ нахмурился.

— Видите свою ошибку, Вѣра: „съ понятіями о любви", говорите вы, а дѣло въ томъ, что любовь не понятіе, а влеченіе, потребность, оттого она, большею частію и слѣпа. Но я привязанъ къ вамъ не слѣпо. Ваша красота, и довольно рѣдкая — въ этомъ Райскій правъ—да умъ, да свобода понятій — и держатъ меня въ плѣну долѣе, нежели со всякой другой!

— Очень лестно! сказала она тихо.

— Эти „понятія" васъ губятъ, Вѣра. Не будь ихъ, мы сошлись бы давно и были бы оба счастливы...

— На время, а потомъ—явится новое увлеченіе, уступить ему—и такъ далѣе?...

Онъ пожалъ плечами.

— Не мы виноваты въ этомъ, а природа! И хорошо сдѣлала. Иначе, если останавливаться надъ всѣми явленіями жизни подолгу—значитъ надѣвать путы на ноги... значитъ, жить „понятіями"... Природу не передѣлаешь!

— Понятія эти—правила! доказывала она.—У природы есть свои законы, вы же учили: а у людей правила!

— Вотъ гдѣ мертвечина и есть, что изъ природнаго влеченія дѣлаютъ правила и сковываютъ себя по рукамъ и ногамъ. Любовь — счастье, данное человѣку природой .. Это мое мнѣніе...

— Счастье это ведетъ за собой долгъ, сказала она, вставъ со скамьи:—это мое мнѣніе...

— Это выдумка, сочиненіе, Вѣра, поймите хаосъ вашихъ „правилъ“ и „понятій!“ Забудьте эти „долги“ и согласитесь, что любовь прежде всего—влеченіе... иногда неодолимое...

Онъ тоже всталъ и обнялъ ее за талію.

— Такъ-ли? Съ этимъ трудно не согласиться, упрямая... красавица, умница!... нѣжно шепталъ онъ.

Она тихо освободила талію отъ его рукъ.

— А то выдумали—„долгъ!“

— Долгъ, повторила она настойчиво: — за отданные другъ другу лучшіе годы счастья платить взаимно остальную жизнь...

— Чѣмъ это — позвольте спросить! Варить супъ, ходить другъ за другомъ, сидѣть съ глазу на глазъ, притворяться, вянуть на „правилахъ“, да на „долгѣ“ около какой-нибудь щедушной, слабонервной подруги, или разбитаго параличемъ старика, когда силы у одного еще крѣпки, жизнь зоветъ, тянетъ дальше!... Такъ, что-ли?

— Да,—удержаться, не смотрѣть туда, куда „тянетъ!“ Тогда не надо будетъ и притворяться, а просто воздерживаться, „какъ отъ рюмки“, говоритъ бабушка, и это правда... Такъ я понимаю счастье и такъ желаю его!

— Ну, дѣло плохо, когда дошло до цитатъ бабушкиной мудрости. Вы похвастайтесь ей, скажите, какъ крѣпки ея правила въ васъ...

— Нечѣмъ хвастаться! уныло говорила она: — да, сегодня, отсюда, я пойду къ ней и... „похвастаюсь!“

— Что-же вы ей скажете?

— Все, что было здѣсь... чего она не знаетъ...

Она сѣла на скамью и, облокотившись на столъ, склонила лицо на руки и задумалась.

— Зачѣмъ? спросилъ онъ.

— Вы не поймете зачѣмъ, потому что не допускаете долга... А я давно въ долгу передъ ней...

— Все это мораль, подергивающая жизнь плѣсенью, скукой?... Вѣра, Вѣра—не любите вы, не умѣете любить...

Она вдругъ подошла къ нему и съ упрекомъ взглянула ему въ лицо.

— Не говорите этого, Маркъ, если не хотите привести меня въ отчаяніе! Я сочту это притворствомъ, желаніемъ увлечь меня безъ любви, обмануть...

И онъ всталъ со скамьи.

— Не говорите и вы этого, Вѣра. Не сталъ бы я тутъ слушать и читать лекціи о любви! И если бъ хотѣлъ обмануть, то обманулъ бы давно—стало-быть, не могу...

— Боже мой! Изъ чего вы бьетесь, Маркъ? Какъ уродуете свою жизнь! сказала она, всплеснувъ руками.

— Послушайте, Вѣра, оставимъ споръ. Вашими устами говорить та же бабушка, только, конечно, иначе, другимъ языкомъ. Все это годилось прежде, а теперь потекла другая жизнь, гдѣ не авторитеты, не заученныя понятія, а правда пробивается наружу...

— Правда—гдѣ она? скажите наконецъ!... Не позади ли насъ? Чего вы ищите?

— Счастья! я васъ люблю! Зачѣмъ вы томите меня, зачѣмъ боретесь со мной и съ собой, и дѣлаете двѣ жертвы?

Она пожала плечами.

— Странные упреки! Поглядите на меня хорошенько— мы..нѣсколько дней не видѣлись: какова я? сказала она.

— Я вижу, что вы страдаете, и тѣмъ это нелѣпѣе! Теперь и я спрошу: зачѣмъ вы ходили и ходите сюда?

Она почти враждебно посмотрѣла на него.

— Зачѣмъ я не раньше почувствовала... ужасъ своего положенія—хотите вы спросить? Да, этотъ вопросъ и упрекъ давно мы должны бы были сдѣлать себѣ оба, и тогда, отвѣтивъ на него искренно другъ другу и самимъ себѣ, не ходили бы больше! Поздно!.. шептала она задумчиво:—впрочемъ, лучше поздно, чѣмъ никогда! Мы сегодня должны одинъ другому отвѣтить на вопросъ: чего мы хотѣли и ждали другъ отъ друга?..

— Позвольте же мнѣ высказаться рѣшительно, началъ онъ.—Я хочу вашей любви и отдаю вамъ свою. вотъ одно „правило“ въ любви—правило свободнаго размѣна, указанное природой. Не насиловать привязанности, а свободно отдаваться впечатлѣнію и наслаждаться взаимнымъ счастьемъ—вотъ „долгъ и законъ“, который я признаю—и вотъ мой отвѣтъ на вопросъ, „зачѣмъ я хожу?“ Жертвъ надо? И жертвы есть,—но мнѣ это не жертвы, но я назову вашимъ именемъ, я останусь еще въ этомъ болотѣ, не знаю сколько времени, буду тратить силы вотъ тутъ—но не для васъ, а прежде всего для себя, потому что въ настоящее время это стало моей жизнью—и я буду жить, пока буду счастливъ, пока буду любить. А когда охладѣю—я скажу и уйду—куда поведетъ меня жизнь, не унося съ собой никакихъ „долговъ“, „правилъ“ и „обязанностей“. Я всѣ ихъ оставлю тутъ, на днѣ обрыва! Видите, я не обманываю васъ, я высказываюсь весь. Скажу и уйду! И вы имѣете право сдѣлать то же. А вонъ тѣ мертвецы лгутъ себѣ и другимъ—и эту ложь называютъ „правилами“. А сами потихоньку дѣлаютъ то же самое—и еще ухитри-

лись себѣ присвоивать это право, а женщинамъ не давать его! Между нами должно быть равенство. Рѣшите, честно это, или нѣтъ?

Она покачала отрицательно головой.

— Софизмы! Честно взять жизнь у другого и заплатить ему своею: это правило! Вы знаете, Маркъ—и другія мои правила...

— Ну, дошли! теперь пойдетъ! Правило—камнемъ повиснуть на шеѣ другъ друга...

— Нѣтъ, не камнемъ! горячо возразила она.—Любовь налагаетъ долгъ, буду твердить я, какъ жизнь налагаетъ и другіе долги: безъ нихъ жизни нѣтъ. Вы стали бы сидѣть съ дряхлой, слѣпой матерью, водить ее, кормить—за что̀? Вѣдь это не весело—но честный человѣкъ считаетъ это долгомъ, и даже любитъ его!

— Вы разсуждаете, а не любите, Вѣра!

— А вы увертываетесь отъ моей правды! Разсуждаю, потому что люблю, я женщина, а не животное и не машина!

— У васъ какая-то сочиненная и придуманная любовь... какъ въ романахъ... съ надеждой на безконечность... словомъ—безсрочная! Но честно ли то, что̀ вы требуете отъ меня, Вѣра? Положимъ, я бы не назначалъ любви срока, скача и играя, какъ Викентьевъ, подалъ бы вамъ руку „навсегда:“ чего же хотите вы еще? Чтобъ „Богъ благословилъ союзъ“, говорите вы, т. е. чтобъ пойти въ церковь—да противъ убѣжденія—дать публично исполнить надъ собой обрядъ... А я не вѣрю ему и терпѣть не могу поповъ: логично ли, честно ли я поступлю?...

Она встала и накинула черную мантилью на голову.

— Мы сошлись, чтобъ удалить всѣ препятствія къ счастью, а вмѣсто того, только увеличиваемъ ихъ! Вы грубо касаетесь того, что̀ для меня свято. Зачѣмъ вы вызвали

меня сюда? Я думала, вы уступили старой, испытанной правдѣ и что мы подадимъ другъ другу руки навсегда... Всякій разъ съ этой надеждой сходила я съ обрыва... и всякій разъ ошибалась! Я повторю, что говорила давно: у насъ, Маркъ... (слабымъ голосомъ оканчивала она) и убѣжденія, и чувства разныя! Я думала, что самый умъ вашъ скажетъ вамъ... гдѣ настоящая жизнь—и гдѣ ваша лучшая роль...

— Гдѣ?

— Въ сердцѣ честной женщины, которая любитъ, и что роль друга такой женщины...

Она махнула безотрадно рукой. Ей хлынули слезы въ глаза.

— Живите вашей жизнью, Маркъ—я не могу... у ней нѣтъ корня...

— Ваши корни подгнили давно, Вѣра!

— Пусть такъ! болѣе и болѣе слабѣя, говорила она и слезы появились уже въ глазахъ.—Не мнѣ спорить съ вами, опровергать ваши убѣжденія умомъ и своими убѣжденіями! У меня ни ума, ни силъ не станетъ. У меня оружіе слабо—и только имѣетъ ту цѣну, что оно мое собственное, что я взяла его въ моей тихой жизни, а не изъ книгъ, не по наслышкѣ...

Онъ сдѣлалъ движеніе, но она заговорила опять.

— Я думала побѣдить васъ другой силой... Помните какъ все случилось? присѣвши на минуту на скамью, говорила она задумчиво:—Мнѣ сначала было жалко васъ. Вы здѣсь одни, васъ не понималъ никто, всѣ убѣгали. Участіе привлекло меня на вашу сторону. Я видѣла что-то странное, распущенное. Вы не дорожили ничѣмъ—даже приличіями, были небрежны въ мысляхъ, неосторожны въ разговорахъ, играли жизнью, сорили умомъ, никого и ничего не уважали, ни во что не вѣрили, и учили тому же другихъ, напрашивались на непріятности, хвастались удалью. Я изъ

любопытства слѣдила за вами, позволила вамъ приходить къ себѣ, брала у васъ книги,—видѣла умъ, какую-то силу... Но все это шло стороной отъ жизни... Потомъ... я забрала себѣ въ голову (какъ я каюсь въ этомъ!), что... Я говорила себѣ часто: сдѣлаю, что онъ будетъ дорожить жизнью... сначала для меня, а потомъ и для жизни, будетъ уважать, сначала опять меня, а потомъ и другое въ жизни, будетъ вѣрить... мнѣ, а потомъ... Я хотѣла, чтобъ вы жили, чтобъ стали лучше, выше всѣхъ .. ссорилась съ вами за безпорядочную жизнь...

Она вздохнула, какъ будто перебирая въ памяти весь этотъ годъ.—Вы поддавались моему... вліянію...—И я тоже поддавалась вашему: ума, смѣлости, захватила-было нѣсколько... софизмовъ...

— И на понятный дворъ, бабушки страшно стало! Что жъ не бросили тогда меня, какъ увидали софизмы? Софизмы?

— Поздно было. Я горячо приняла къ сердцу вашу судьбу... Я страдала не за одинъ этотъ темный образъ жизни, но и за васъ самихъ, упрямо шла за вами, думала, что, ради меня... вы поймете жизнь, не будете блуждать въ одиночку, со вредомъ для себя и безъ всякой пользы для другихъ... думала, что выйдетъ...

— Вице-губернаторъ, или совѣтникъ хорошій...

— Что за дѣло до названія—выйдетъ человѣкъ нужный, сильный...

— Благонамѣренный, всему покорный—еще что?

— Еще—другъ мнѣ на всю жизнь: вотъ что̀! Я увлекалась своей надеждой... и вотъ куда увлеклась!.. тихо добавила она и, оглядѣвшись, вздрогнула.—И что̀ пріобрѣла этой страшной борьбой? то, что вы теперь бѣжите отъ любви, отъ счастья, отъ жизни... отъ своей Вѣры! сказала она, придвигаясь къ нему и кладя руку на плечо.—Не бѣгите, поглядите мнѣ въ глаза, слышите мой голосъ: въ

немъ правда! Не бѣгите, останьтесь, пойдемъ вмѣстѣ туда, на гору, въ садъ... Завтра здѣсь никого не будетъ счастливѣе насъ!.. Вы меня любите... Маркъ! Маркъ... слышите? посмотрите прямо на меня...

Она наклонилась къ его лицу, близко поглядѣла ему въ глаза.

Онъ быстро всталъ со скамьи.

— Дальше, Вѣра, отъ меня!.. сказалъ онъ, вырывая руку и тряся головой, какъ косматый звѣрь.

Онъ сталъ шагахъ въ трехъ отъ нея.

— Мы не договорились до главнаго—и когда договоримся, тогда я не отскочу отъ вашей ласки и не убѣгу изъ этихъ мѣстъ... Я бы не бѣжалъ отъ этой Вѣры, отъ васъ. Но вы навязываете мнѣ другую... Если у меня ея нѣтъ: что̀ мнѣ дѣлать—рѣшайте, говорите, Вѣра!

— А если эта вѣра у меня есть — что̀ мнѣ дѣлать? спросила и она.

— Легче разстаться съ какими-то заученными убѣжденіями, чѣмъ пріобрѣсть ихъ, у кого ихъ нѣтъ...

— Эти убѣжденія—сама жизнь. Я уже вамъ говорила, что живу ими и не могу иначе жить... слѣдовательно...

— Слѣдовательно... повторилъ онъ, — и оба встали, обоимъ тяжело было договаривать, да и не нужно было.

Она хотѣла опять накинуть шелковую мантилью на голову и не могла: руки съ мантильей упали. Ей оставалось уйти, не оборачиваясь. Она сдѣлала движеніе, шагъ, и опустилась опять на скамью.

„Гдѣ взять силы—нѣтъ ея ни уйти, ни удержать его! все кончено!“ думала она.—„Если бъ удержала—что̀ будетъ? не жизнь, а двѣ жизни, какъ двѣ тюрьмы, раздѣленныя вѣчной рѣшеткой...“

— Мы оба сильны, Вѣра, и оттого оба мучаемся, сказалъ онъ угрюмо:—оттого и расходимся...

Она отрицательно покачала головой.

— Если бъ я была сильна, вы не уходили бы такъ отсюда—а пошли бы со мной туда, на гору, не украдкой, а смѣло опираясь на мою руку. Пойдемте! хотите моего счастья и моей жизни? заговорила она живо, вдругъ ослѣпившись опять надеждой и подходя къ нему.—Не можетъ быть, чтобъ вы не вѣрили мнѣ, не можетъ быть тоже, чтобъ вы и притворялись — это было бы преступленіе! съ отчаяніемъ договорила она.—Что̀ дѣлать, Боже мой! Онъ не вѣритъ, нейдетъ! Какъ вразумить васъ?

— Для этого нужно, чтобъ вы были сильнѣе меня, а мы равны, отвѣчалъ онъ упрямо:—оттого мы и не сходимся, а боремся. Намъ надо разойтись, не рѣшая боя, или покориться одинъ другому навсегда... Я могъ бы овладѣть вами—и овладѣлъ бы всякой другой мелкой женщиной, не пощадилъ бы ее. То̀, что̀ въ другой было бы жеманствомъ, мелкимъ страхомъ, или тупоуміемъ, то въ васъ—сила, женская крѣпость. Теперь тумана нѣтъ между нами, мы объяснились — и я воздамъ вамъ должное. Вы хорошо вооружены природой. Вѣра. Старыя понятія, мораль, долгъ, правила, вѣра—все, что̀ для меня не существуетъ, въ васъ крѣпко. Вы не легки въ вашихъ увлеченіяхъ, вы боретесь отчаянно и соглашаетесь признать себя побѣжденной на условіяхъ, равныхъ для той и для другой стороны. Обмануть васъ—значитъ украсть. Вы отдаете все, и за побѣду надъ вами требуете всего же. А я всего отдать не могу—но я уважаю васъ...

Голова ея приподнялась и по лицу на минуту сверкнулъ лучъ гордости, почти счастья, но въ ту же минуту она опять поникла головой. Сердце билось тоской передъ неизбѣжной разлукой и нервы упали опять. Его слова были прелюдіей прощанія.

— Мы высказались... отдаю рѣшеніе въ ваши руки! проговорилъ глухо Маркъ, отойдя на другую сторону бе-

сѣдки и слѣдя оттуда пристально за нею.—Я васъ не обману даже теперь, въ эту рѣшительную минуту, когда у меня голова идетъ кругомъ... Нѣтъ, не могу — слышите. Вѣра, безсрочной любви не обѣщаю, потому что не вѣрю ей, и не требую ее и отъ васъ, вѣнчаться съ вами не пойду. Но люблю васъ теперь больше всего на свѣтѣ!.. И если вы послѣ всего этого, что̀ говорю вамъ—кинетесь ко мнѣ... значитъ, вы любите меня и хотите быть моей...

Она глядѣла на него большими глазами и чувствовала, что дрожитъ.

„Что̀ онъ такое, іезуитъ?... или въ самомъ дѣлѣ непреклонная честность говоритъ въ немъ теперь и ставитъ ее въ опасное положеніе?“ мелькнулъ въ ней лучъ сомнѣнія.

— Навсегда вашей? спросила она тихо—и сама испугалась повисшей надъ ней тучи.

Скажи онъ — „да“, она забыла бы о непроходимой „разности убѣжденій“, дѣлавшихъ изъ этого „навсегда“— только мостикъ на минуту, чтобъ перебѣжать пропасть, и затѣмъ онъ рухнулъ бы самъ въ ту же пропасть. Ей стало страшно съ нимъ.

Онъ молчалъ. Потомъ всталъ съ мѣста.

— Не знаю! сказалъ онъ съ тоской и досадой: — я знаю только, что̀ буду дѣлать теперь, а не заглядываю за полгода впередъ. Да и вы сами не знаете, что̀ будетъ съ вами. Если вы раздѣлите мою любовь, я останусь здѣсь, буду жить тише воды, ниже травы... дѣлать, что̀ вы хотите... Чего же еще? Или... уѣдемъ вмѣстѣ!.. вдругъ сказалъ онъ, подходя къ ней.

Передъ ней будто сверкнула молнія. И она бросилась къ нему и положила ему руку на плечо.

Ей неожиданно отворились двери въ какой-то рай. Цѣлый міръ улыбнулся ей и звалъ съ собой...

„Съ нимъ, далеко гдѣ-нибудь...“ думала она. Нѣга страсти стукнулась тихо къ ней въ душу.

„Онъ колеблется, не можетъ оторваться, и это теперь... Когда она будетъ одна съ нимъ... тогда, можетъ-быть, онъ и самъ убѣдится, что его жизнь только тамъ, гдѣ она...“

Все это пѣлъ ей какой-то тихій голосъ.

— Вы рѣшились бы на это? спросилъ онъ ее серьезно.

Она молчала, опустивъ голову.

— Или боялись бы бабушки?

Она очнулась.

— Да, это правда: если бъ не рѣшилась, то потому только, что боялась бы ее... шептала она.

— Такъ не подходите же ко мнѣ близко, сказалъ онъ, отодвигаясь:—старуха бы не пустила...

— Ахъ, нѣтъ, пустила и благословила бы, а сама бы умерла съ горя! вотъ чего боялась бы я!.. Уѣхать съ вами! повторила она мечтательно, глядя долго и пристально на него:—а потомъ?

— А потомъ... не знаю. Зачѣмъ это „потомъ?“

— И вдругъ васъ „потянетъ“ въ другую сторону, и вы уйдете, оставивъ меня, какъ вещь...

— Отчего, какъ „вещь?“ Можно разстаться друзьями...

— Разстаться! Разлука стоитъ у васъ рядомъ съ любовью!—Она безотрадно вздохнула.—А я думаю, что это крайности, которыя никогда не должны встрѣчаться...одна смерть должна разлучить... Прощайте, Маркъ! вдругъ сказала она, блѣдная, почти съ гордостью.—Я рѣшила... Вы никогда не дадите мнѣ того счастья, какого я хочу. Для счастья не нужно уѣзжать, оно здѣсь... Дѣло кончено!..

— Да... скорѣе же вонъ отсюда! Прощайте, Вѣра... говорилъ и онъ не своимъ голосомъ.

И оба встали съ мѣста, оба блѣдные, стараясь не глядѣть другъ на друга. Она искала, при слабомъ, проницав-

шемъ сквозь вѣтви лунномъ свѣтѣ, свою мантилью. Руки у ней дрожали и брали не то, что̀ нужно. Она хваталась даже за ружье.

Онъ стоялъ, прислонясь спиной къ одному изъ столбовъ бесѣдки, не бралъ ничего и мрачно слѣдилъ за нею.

Она наконецъ отыскала бѣлую мантилью и никакъ не могла накинуть ее на другое плечо. Онъ машинально помогъ ей.

Она въ темнотѣ искала ступенекъ ногой—онъ шагнулъ изъ бесѣдки прямо на землю, подалъ ей руку и помогъ сойти.

Оба пошли молча по дорожкѣ, все замедляя шагъ, какъ будто чего-то другъ отъ друга ожидая. Обоихъ мучила одна и та же мысленная работа, изобрѣсти предлогъ замедленія.

Оба понимали, что каждый съ своей точки зрѣнія правъ—но все-таки безумно втайнѣ надѣялись, онъ—что она перейдетъ на его сторону, а она—что онъ уступитъ, сознавая въ то же время, что надежда была нелѣпа, что никто изъ нихъ не могъ, хотя бы и хотѣлъ, внезапно переродиться, залучить къ себѣ, какъ шапку надѣть, другія убѣжденія, другое міросозерцаніе, раздѣлить вѣру, или отрѣшиться отъ нея.

Но ихъ убивало сознаніе, что это послѣднее свиданіе, послѣдній разъ, что черезъ пять минутъ они будутъ чужіе другъ другу навсегда. Имъ хотѣлось задержать эти пять минутъ, уложить въ нихъ все свое прошлое—и—если бъ можно было—заручиться какой-нибудь надеждой на будущее! Но они чувствовали, что будущаго нѣтъ, что впереди ждала, неизбѣжная, какъ смерть, одна разлука!

Они долго шли до того мѣста, гдѣ ему надо было перескочить черезъ низенькій плетень на дорогу, а ей взбираться, между кустовъ, по тропинкѣ на гору въ садъ.

Она, наклонивъ голову, стояла у подъёма на обрывъ, какъ убитая. Она припоминала всю жизнь и не нашла ни одной такой горькой минуты въ ней. У ней глаза были полны слезъ.

Теперь ея единственнымъ счастьемъ на мигъ—было бы обернуться, взглянуть на него хоть разъ и поскорѣе уйти навсегда, но уходя, измѣрить хоть глазами — что̀ она теряла. Ей было жаль этого уносящагося вихря счастья, но она не смѣла обернуться: это было бы все равно, что сказать *да* на его роковой вопросъ, и она въ тоскѣ сдѣлала шага два на крутизну.

Онъ шелъ къ плетню, тоже не оборачиваясь, злобно, непокорнымъ звѣремъ, уходящимъ отъ добычи. Онъ не лгалъ, онъ уважалъ Вѣру, но уважалъ противъ воли, какъ въ сраженіи уважаютъ непріятеля, который отлично дерется. Онъ проклиналъ „городъ мертвецовъ“, „старыя понятія“, оковавшія эту живую, свободную душу.

Его горе было не трогательное, возбуждающее участіе, а злое, неуступчивое, вызывающее новые удары противника за непокорность. Даже это было не горе, а свирѣпое отчаяніе.

Онъ готовъ былъ изломать Вѣру, какъ ломаютъ чужую драгоцѣнность, съ проклятіемъ: „не доставайся никому!“ Такъ, по собственному признанію, сдѣланному ей, онъ и поступилъ бы съ другой, но не съ ней. Да она и не далась бы въ ловушку—стало-быть надо бы было прибѣгнуть къ насилію и сдѣлаться въ одну минуту разбойникомъ.

Притомъ, одна матеріальная побѣда, обладаніе Вѣрой, не доставило бы ему полнаго удовлетворенія, какъ доставило бы надъ всякой другой. Онъ, уходя, злился не за то, что красавица-Вѣра ускользаетъ отъ него, что онъ тратилъ на нее время, силы, забывалъ „дѣло“. Онъ злился отъ гордости и страдалъ сознаніемъ своего безсилія. Онъ

одолѣлъ воображеніе, пожалуй — такъ-называемое сердце Вѣры, но не одолѣлъ ея ума и воли.

Въ этой области она обнаружила непреклонность, равную его настойчивости. У ней былъ характеръ и она упрямо вырабатывала себѣ изъ старой, „мертвой“ жизни, крѣпкую, живую жизнь — и была и для него также, какъ для Райскаго, какой-то прекрасной статуей, дышащей самобытною жизнью, живущей своимъ, не заемнымъ умомъ, своей гордой волей.

Она была выше другихъ женщинъ. Онъ это видѣлъ, гордился своимъ успѣхомъ въ ея любви, и тутъ же падалъ, сознаваясь, что, какъ онъ ни бился развивать Вѣру, давать ей свой свѣтъ, но кто-то другой, ея вѣра, по ея словамъ, да какой-то попъ изъ молодыхъ, да Райскій съ своей поэзіей, да бабушка съ моралью, а еще болѣе — свои глаза, свой слухъ, тонкое чутье и женскіе инстинкты, потомъ воля — поддерживали ея силу и давали ей оружіе противъ его правды, и окрашивали старую, обыкновенную жизнь и правду въ такіе здоровые цвѣта, передъ которыми казалась и блѣдна, и пуста, и фальшива, и холодна — та правда и жизнь, какую онъ добывалъ себѣ изъ новыхъ, казалось бы — свѣжихъ источниковъ.

Его новыя правда и жизнь не тянули къ себѣ ея здоровую и сильную натуру, а послужили только къ тому, что она разобрала ихъ по клочкамъ и осталась вѣрнѣе своей истинѣ.

И вотъ она уходитъ, не оставивъ ему никакого залога побѣды, кромѣ минувшихъ свиданій, которыя исчезнутъ, какъ слѣды на пескѣ. Онъ проигрывалъ сраженіе, терялъ ее, и, уходя, понималъ, что никогда не встрѣтитъ другой, подобной Вѣры.

Онъ сравнивалъ ее съ другими, особенно „новыми“ женщинами, изъ которыхъ многія такъ любострастно поддава-

лись жизни по новому ученію, какъ Марина своимъ любвямъ,—и находилъ, что это—жалкія, пошлыя, и болѣе падшія созданія, нежели всѣ другія падшія женщины, уступавшія воображенію, темпераменту, и даже золоту, а тѣ будто бы принципу, котораго часто не понимали, въ которомъ не убѣдились, повѣривъ на-слово, слѣдовательно уступали чему-нибудь другому, чему простодушно уступала, напримѣръ, жена Козлова, только лицемѣрно или тупо прикрывали это принципомъ!

Онъ шелъ медленно, сознавая, что за спиной у себя оставлялъ навсегда то, чего уже никогда не встрѣтитъ впереди. Обмануть ее, увлечь, обѣщать „безсрочную любовь", сидѣть съ ней годы, пожалуй—жениться...

Онъ содрогнулся опять при мысли употребить грубый, площадный обманъ—да и не поддастся она ему теперь. Онъ топнулъ ногой и вскочилъ на плетень, перекинувъ ноги на другую сторону.

„Посмотрѣть, что̀ она! Ушла, гордое созданіе! Что жалѣть, она не любила меня, иначе бы не ушла... Она резонерка!..." думалъ онъ, сидя на плетнѣ.

„Взглянуть одинъ разъ... что̀ онъ—и отвернуться навсегда..." колебалась и она, стоя у подъёма на крутизну.

Еще прыжокъ: плетень и канава скрыли бы ихъ другъ отъ друга навсегда. За оградой—разсудокъ и воля заговорятъ сильнѣе и одержатъ окончательную побѣду. Онъ обернулся...

Вѣра стоитъ у подъёма на крутизну, какъ будто не можетъ взойти на нее.

Наконецъ она сдѣлала, съ очевиднымъ утомленіемъ, два-три шага и остановилась. Потомъ... тихо обернулась назадъ и вздрогнула. Маркъ сидѣлъ еще на плетнѣ и глядѣлъ на нее....

— Маркъ, прощай! вскрикнула она—и сама испуга-

лась собственнаго голоса: такъ много было въ немъ тоски и отчаянія.

Маркъ быстро перекинулъ ноги назадъ, спрыгнулъ и въ нѣсколько прыжковъ очутился подлѣ нея.

„Побѣда! побѣда!“ вопило въ немъ. „Она возвращается, уступаетъ!“

— Вѣра! произнесъ и онъ такимъ голосомъ, какъ будто простоналъ.

— Ты воротился... навсегда?... Ты понялъ наконецъ... о, какое счастье!... Боже, прости...

Она не договорила.

Она была у него въ объятіяхъ. Поцѣлуй его зажалъ ея вопль. Онъ поднялъ ее на грудь себѣ, и опять, какъ звѣрь, помчался въ бесѣдку, унося добычу...

Боже, прости ее, что она обернулась!...

## XIII.

Райскій сидѣлъ цѣлый часъ, какъ убитый надъ обрывомъ, на травѣ, положивъ подбородокъ на колѣни и закрывъ голову руками. Все стонало въ немъ. Онъ страшной мукой платилъ за свой великодушный порывъ, страдая, сначала за Вѣру, потомъ за себя, кляня себя за великодушіе.

Неизвѣстность, ревность, пропавшія надежды на счастье, и впереди все тѣ же боли страсти, среди которой онъ не зналъ ни тихихъ дней, ни ночей, ни одной минуты отдыха! Засыпалъ онъ мучительно, трудно. Сонъ не сходилъ, какъ другъ, къ нему, а являлся, какъ часовой, смѣнить другой мукой муку бдѣнія.

Когда онъ открывалъ глаза утромъ, передъ нимъ стоялъ уже призракъ страсти, въ видѣ непреклонной, злой и холодной къ нему Вѣры, отвѣчающей смѣхомъ на его требованіе открыть ему имя, имя—одно, что̀ могло нанести

рѣшительный ударъ его горячкѣ, сдѣлать спасительный переломъ въ болѣзни и дать ей легкій исходъ.

— Но что она нейдетъ! вдругъ, оглянувшись, сказалъ онъ.

Онъ посмотрѣлъ на часы. Она ушла въ девятомъ часу, а теперь скоро одиннадцать! Она велѣла подождать, сказала, что вернется сейчасъ: долгъ этотъ часъ!... Что̀ она? гдѣ она? въ тревогѣ повторялъ онъ.

Онъ взобрался наверхъ обрыва, сѣлъ на скамью и сталъ прислушиваться, нейдетъ ли? Ни звука, ни шороха: только шумѣли падающіе мертвые листья.

— Велѣла ждать и забыла,—а я жду! говорилъ онъ, вставая со скамьи и спускаясь опять шага три съ обрыва и все прислушиваясь.

— Боже мой, ужели она до поздней ночи остается на этихъ свиданіяхъ? Да кто, что̀ она такое, это моя статуя, прекрасная, гордая Вѣра? Она тамъ, можетъ-быть, хохочетъ надо мной, вмѣстѣ съ нимъ... Кто онъ? Я хочу знать—кто онъ? въ ярости сказалъ онъ вслухъ.— Имя, имя! Я ей—орудіе, ширма, покрышка страсти... Какой страсти!

Имъ овладѣло отчаяніе, тождественное съ отчаяніемъ Марка. Пять мѣсяцевъ женщина таится, то позволяя любить, то отталкивая, смѣется въ лицо...

„За что такая казнь за увлеченіе? Что̀ она дѣлаетъ со мной? Не имѣю ли я право, послѣ всѣхъ этихъ продѣлокъ, отнять у нея ея секретъ и огласить таинственное имя?“

Онъ быстро сбѣжалъ съ крутизны и остановился у кустовъ, прислушиваясь. Ничего не слышно.

— Это однако... гадко... говорилъ онъ: — украсть секретъ... И самъ вступилъ въ чащу кустовъ: — такъ гадко... что...

И воротился шага три назадъ.

— Воровство! шепталъ онъ, стоя въ нерѣшимости и отирая потъ платкомъ съ лица.—А завтра опять игра въ загадки, опять русалочные глаза, опять, злобно, съ грубымъ смѣхомъ, брошенное мнѣ въ глаза: „васъ люблю!“ Конецъ пыткѣ—узнаю! рѣшилъ онъ и бросился въ кусты.

Онъ крался, какъ воръ, ощупью, проклиная каждый хрустнувшій сухой прутъ подъ ногой, не чувствуя ударовъ вѣтвей по лицу. Онъ ползъ на удачу, не зная мѣста свиданій. Отъ волненія онъ садился на землю и переводилъ духъ.

Угрызеніе совѣсти на минуту останавливало его, потомъ онъ опять ползъ, разрывая сухіе листья и землю ногтями...

Онъ миновалъ бугоръ, насыпанный надъ могилой самоубійцы, и направлялся къ бесѣдкѣ, глядя, слушая по сторонамъ, не увидитъ ли ее, не услышитъ ли голоса.

Между тѣмъ въ домѣ у Татьяны Марковны все шло своимъ порядкомъ. Отужинали и сидѣли въ залѣ, позѣвывая. Ватутинъ разсыпался въ вѣжливостяхъ со всѣми, даже съ Полиной Карповной, и съ матерью Викентьева, шаркая ножкой, любезничая и глядя такъ на каждую женщину, какъ будто готовъ былъ всѣмъ ей пожертвовать. Онъ говорилъ, что дамамъ надо стараться дѣлать „пріятности“.

— Гдѣ m-r Борисъ? спрашивала ужъ въ пятый разъ Полина Карповна, и до ужина, и послѣ ужина, у всѣхъ. Наконецъ обратилась съ этимъ вопросомъ и къ бабушкѣ.

— Богъ его знаетъ—бродитъ гдѣ-нибудь; въ гости, въ городъ ушелъ, должно-быть: и никогда не скажетъ куда—такая вольница! Не знаешь, куда лошадь послать за нимъ!

Яковъ сказалъ, что Борисъ Павловичъ „гуляли“ въ саду до поздняго вечера.

Про Вѣру сказали тоже, когда послали ее звать къ чаю, что она не придетъ. А ужинать просила оставить ей, говоря, что пришлетъ, если захочетъ ѣсть. Никто не видалъ, какъ она вышла, кромѣ Райскаго.

— Скажи Маринѣ, Яковъ, чтобы барышнѣ, какъ спросить, не забыли разогрѣть жаркое, а пирожное отнести на ледникъ, а то распустится! приказывала бабушка.— А ты, Егорка, какъ Борисъ Павловичъ вернется, не забудь доложить, что ужинъ готовъ, чтобъ онъ не подумалъ, что ему не оставили, да не легъ спать голодный!

— Слушаю-съ, сказали оба.

— Полунощники, право полунощники! съ досадой и съ тоской про себя замѣтила бабушка:—шатаются объ эту пору, холодъ эдакой...

— Я пойду въ садъ, сказала Полина Карповна: — можетъ-быть, m-r Boris недалеко. Онъ будетъ очень радъ видѣться со мной... Я замѣтила, что онъ хотѣлъ мнѣ кое-что сказать... таинственно прибавила она. — Онъ вѣрно не зналъ, что я здѣсь...

— Зналъ, оттого и ушелъ, шепнула Марѳинька Викентьеву.

— Я — вотъ что̀ сдѣлаю, Марѳа Васильевна: побѣгу впередъ, сяду за кустъ и объяснюсь съ ней въ любви голосомъ Бориса Павловича... предложилъ-было ей, тоже шопотомъ, Викентьевъ, и хотѣлъ итти.

— Она, пожалуй, испугается и упадетъ въ обморокъ, тогда бабушка дастъ вамъ знать! Что̀ выдумали! отвѣчала она, удерживая его за рукавъ.

— Я пойду на минуту, позвольте, я приведу бѣглеца... настаивала Полина Карповна.

— Идите, Богъ съ вами! сказала Татьяна Марковна:— да глазъ не выколите, вотъ темнота какая! хоть Егорку возьмите, онъ проводитъ съ фонаремъ.

— Нѣтъ, я одна, не нужно, чтобъ намъ мѣшали...

— Напрасно! вѣжливо замѣтилъ Титъ Никонычъ: — въ эти сырые вечера отнюдь не должно позволять себѣ выходить послѣ восьми часовъ.

— Я не боюсь... сказала Крицкая, надѣвая мантилью.

— Я бы не смѣлъ останавливать васъ, замѣтилъ онъ:— но одинъ врачъ—онъ живетъ въ Дюссельдорфѣ, что̀ близъ Рейна... я забылъ его фамилію—теперь я читаю его книгу и, если угодно, могу доставить вамъ... Онъ предлагаетъ отмѣнныя гигіеническія правила... Онъ совѣтуетъ...

Онъ не кончилъ, потому что Полина Карповна ушла, сказавъ ему только, чтобъ онъ подождалъ и отвезъ ее домой.

— Съ полнымъ удовольствіемъ, съ полнымъ удовольствіемъ! говорилъ онъ, кланяясь ей вслѣдъ и затворяя за ней двери ко двору и саду.

## XIV.

Немного спустя послѣ этого разговора, надъ обрывомъ, въ глубокой темнотѣ, послышался шумъ шаговъ между кустами. Трещали сучья, хлестали сильно задѣваемыя вѣтки, осыпались листы и слышались торопливые, широкіе скачки—взбиравшагося на крутизну, будто раненаго, или испуганнаго звѣря.

Шумъ все ближе, ближе, наконецъ изъ кустовъ выскочилъ на площадку передъ обрывомъ Райскій, но болѣе изступленный и дикій, чѣмъ раненый звѣрь. Онъ бросился на скамью, выпрямился и сидѣлъ минуты двѣ неподвижно, потомъ всплеснулъ руками и закрылъ ими глаза.

— Во снѣ это, или на яву! шепталъ онъ точно потерянный.—Нѣтъ я ошибся, не можетъ быть! Мнѣ почудилось!...

Онъ всталъ, опять сѣлъ, какъ будто во что-то вслушиваясь, потомъ положилъ руки на колѣни и разразился нервическимъ хохотомъ.

— Какія тутъ еще сомнѣнія, вопросы, тайны! сказалъ онъ и опять захохоталъ, качаясь отъ смѣха, взадъ и впередъ.—Статуя! чистота! красота души! Вѣра—статуя! А

онъ!.. И пальто, которое я послалъ „изгнаннику", валяется у бесѣдки! и пари свое онъ взыскалъ съ меня, двѣсти двадцать рублей, да прежнихъ восемьдесятъ... да, да! это триста рублей!... Секлетея Бурдалахова!

Онъ захохоталъ снова, какъ будто застоналъ. Потомъ вдругъ замолчалъ и схватился за бокъ.

— О, какъ больно здѣсь! стоналъ онъ.—Вѣра-кошка! Вѣра-тряпка... слабонервная, слабосильная... изъ тѣхъ падшихъ, жалкихъ натуръ, которыхъ поражаетъ пошлая, чувственная страсть—обыкновенно къ какому-нибудь здоровому хаму!... Пусть такъ—она свободна, но какъ она смѣла ругаться надъ человѣкомъ, который имѣлъ неосторожность пристраститься къ ней, надъ братомъ, другомъ!.. съ яростью шипѣлъ онъ:—о, мщеніе, мщеніе!

Онъ вскочилъ и въ мучительномъ раздумьѣ стоялъ.

Какое мщеніе? Бѣжать къ бабушкѣ, схватить ее и привести сюда, съ толпой людей, съ фонарями, освѣтить позоръ и сказать:—Вотъ змѣя, которую вы двадцать три года грѣли на груди!...

Онъ махнулъ рукой и приложилъ ее къ горячему лбу.

— Подло, Борисъ! шепталъ онъ себѣ:—и не сдѣлаешь ты этого! это было бы мщеніе не ей, а бабушкѣ, все равно что твоей матери!

Онъ уныло опустилъ голову, потомъ вдругъ поднялъ ее и съ бѣшенствомъ прыгнулъ къ обрыву.

А тамъ совершается торжество этой тряпичной страсти—да, да, эта темная ночь скрыла поэму любви! онъ презрительно засмѣялся.—Любви! повторилъ онъ. Маркъ! блудящій огонь, буянъ, трактирный либералъ! Ахъ! сестрица, сестрица! ужъ лучше бы вы придержались одного своего поклонника, ядовито шепталъ онъ: — рослаго и красиваго Тушина! У того—и лѣса, и земли, и воды, и лошадьми правитъ, какъ на олимпійскихъ играхъ! А этотъ!

Онъ съ трудомъ перевелъ духъ.

— Это наша „партія дѣйствія!“ шепталъ онъ:—да, изъ кармана показываетъ кулакъ полицеймейстеру, проповѣдуетъ горничнымъ да дьячихамъ о нелѣпости брака, съ Фейербахомъ и съ мнимой страстью къ изученію природы, вкрадывается въ довѣренность женщинъ и увлекаетъ вотъ этакихъ слабонервныхъ умницъ!... Погибай же ты, жалкая самка, тутъ, на днѣ обрыва, какъ тотъ бѣдный самоубійца! Вотъ тебѣ мое прощаніе!...

Онъ хотѣлъ плюнуть съ обрыва —и вдругъ окаменѣлъ на мѣстѣ. Противъ его воли, вопреки ярости, презрѣнія, въ воображеніи—тихо поднимался со дна пропасти и вставалъ передъ нимъ образъ Вѣры, въ такой обольстительной красотѣ, въ какой онъ не видалъ ее никогда!

У ней глаза горѣли, какъ звѣзды, страстью. Ничего злого и холоднаго въ нихъ, никакой тревоги, тоски: одно счастье глядѣло лучами яркаго свѣта. Въ груди, въ рукахъ, въ плечахъ, во всей фигурѣ струилась и играла полная, здоровая жизнь и сила.

Она примирительно смотрѣла на весь міръ. Она стояла на своемъ пьедесталѣ, но не бѣлой, мраморной статуей, а живою, неотразимо-плѣнительной женщиной, какъ то поэтическое видѣніе, которое снилось ему однажды, когда онъ, подъ обаяніемъ красоты Софьи, шелъ къ себѣ домой и видѣлъ женщину-статую, сначала холодную, непробужденную, потомъ видѣлъ ея преображеніе изъ статуи въ живое существо, около котораго заиграла и заструилась жизнь, зазеленѣли деревья, заблистали цвѣты, разлилась теплота...

И вотъ она, эта живая женщина, передъ нимъ! Въ глазахъ его совершилось пробужденіе Вѣры, его статуи, отъ дѣвическаго сна. Ледъ и огонь холодили и жгли его грудь, онъ надрывался отъ мукъ и—все не могъ оторвать глазъ отъ этого неотступнаго образа красоты, сіяющаго гордостью,

смотрящаго съ любовью на весь міръ, и съ дружеской улыбкой протягивающей руку и ему...

„Я счастлива!“ слышитъ онъ ея шопотъ.

У ногъ ея, какъ отдыхающій левъ, лежалъ, безмолвно торжествуя, Маркъ; на головѣ его покоилась ея нога... Райскій вздрогнулъ, стараясь отрезвиться.

Его гналъ отъ обрыва ужасъ „паденія“ его сестры, его красавицы, подкошеннаго цвѣтка,—а ревность, бѣшенство, и болѣе всего новая, неотразимая красота пробужденной Вѣры, влекли опять къ обрыву, на торжество любви, на этотъ праздникъ, который, кажется, торжествовалъ весь міръ, вся природа.

Ему слышались голоса, порханье и пѣнье птицъ, лепетъ любви и громадный, страстный вздохъ, огласившій будто весь садъ и все прибрежье Волги...

Онъ въ ужасѣ стоялъ, окаменѣлый, надъ обрывомъ, то вглядываясь мысленно въ новый, пробужденный образъ Вѣры, то терзаясь нечеловѣческими муками, и шепталъ блѣдный:—Мщеніе, мщеніе!

А кругомъ и внизу все было тихо и темно. Вдругъ, въ десяти шагахъ отъ себя, онъ замѣтилъ силуэтъ приближающейся къ нему отъ дома человѣческой фигуры. Онъ сталъ смотрѣть.

— Кто тутъ? съ злостью спросилъ онъ.

— Это я... я...

— Кто? повторилъ онъ еще злѣе.

— M-r Boris, это я... Pauline.

— Вы! Что̀ вамъ надо здѣсь?

— Я пришла... я знаю... вижю... вы хотите давно сказать... шептала Полина Карповна таинственно: — но не рѣшаетесь... Du courage! здѣсь никто не видитъ и не слышитъ... Espérez tout...

— Что̀ „сказать“—говорите!...

— Que vous m'aimez, о, я давно угадала... n'est-ce pas? Vous m'avez fui... mais la passion vous a ramené ici...

Онъ схватилъ ее за руку и потащилъ къ обрыву.

— Ah! de grâce! Mais pas si brusquement... qu'est-ce que vous faites... mais laissez donc!... завопила она въ страхѣ и не на шутку испугалась...

Но онъ подтащилъ ее къ крутизнѣ и крѣпко держалъ за руку.

— Любви хочется! говорилъ онъ въ изступленіи:—вы слышите, сегодня ночь любви... Слышите вздохи... поцѣлуи? Это страсть играетъ, да, страсть, страсть!...

— Пустите, пустите! пищала она не своимъ голосомъ:— я упаду, мнѣ дурно...

Онъ пустилъ ее, руки у него упали, онъ перевелъ духъ. Потомъ взглянулъ на нее пристально, какъ будто только сейчасъ замѣтилъ ее.

— Прочь! крикнулъ онъ, и какъ дикій, бросился бѣжать отъ нея, отъ обрыва, черезъ весь садъ, цвѣтникъ, и выбѣжалъ на дворъ.

На дворѣ онъ остановился и перевелъ духъ, оглядываясь по сторонамъ. Онъ услыхалъ, что кто-то плещется у колодезя. Егорка, должно-быть, дѣлалъ ночной туалетъ, полоскалъ себѣ руки и лицо.

— Принеси чемоданъ, сказалъ онъ: — завтра уѣзжаю въ Петербургъ.

И самъ налилъ себѣ изъ жолоба воды на руки, смочилъ глаза, голову—и скорыми шагами пошелъ домой.

Онъ выбѣгалъ на крыльцо, ходилъ по двору въ одномъ сюртукѣ, глядѣлъ на окна Вѣры и опять уходилъ въ комнату, ожидая ея возвращенія. Но въ темнотѣ видѣть дальше десяти шаговъ ничего было нельзя и онъ избралъ для наблюденія бесѣдку изъ акацій, бѣсясь, что нельзя укрыться и въ ней, потому что листья облетѣли.

До свѣта онъ сидѣлъ тамъ, какъ на угольяхъ—не отъ страсти, страсть какъ въ воду канула. И какая страсть устояла бы передъ такимъ „препятствіемъ?“ Нѣтъ, онъ сгоралъ неодолимымъ желаніемъ взглянуть Вѣрѣ въ лицо, новой Вѣрѣ, и хоть взглядомъ презрѣнія заплатить этой „самкѣ“ за ея позоръ, за оскорбленіе, нанесенное ему, бабушкѣ, всему дому, „цѣлому обществу, наконецъ, человѣку, женщинѣ!“

„Люби открыто, не крадь довѣрія, наслаждайся счастьемъ и плати жертвами, не играй уваженіемъ людей, любовью семьи, не лги позорно и не унижай собой женщины!“ думалъ онъ. „Да, взглянуть на нее, чтобъ она въ этомъ взглядѣ прочла себѣ приговоръ и казнь — и уѣхать навсегда!“

Онъ трясся отъ лихорадки нетерпѣнія, ожидая, когда она воротится. Онъ, какъ барсъ, выскочилъ бы изъ засады, загородилъ ей дорогу и бросилъ бы ей этотъ взглядъ, сказалъ бы одно слово... Какое?

Онъ чесалъ себѣ голову, трогалъ лицо, сжималъ и разжималъ ладони, и корчился въ судорогахъ, въ углу бесѣдки. Вдругъ онъ вскочилъ, отбросилъ отъ себя прочь пледъ, въ который прятался, и лицо его озарилось какою-то злобно-торжественной радостью, мыслью, или намѣреніемъ.

— Это сама судьба подсказала! шепталъ онъ и побѣжалъ къ воротамъ.

Онѣ были еще заперты: онъ поглядѣлъ кругомъ и замѣтилъ огонекъ лампады въ комнатѣ Савелья.

Онъ постучалъ въ окно его, и когда тотъ отворилъ, велѣлъ принести ключъ отъ калитки, выпустить его и не запирать. Но прежде забѣжалъ къ себѣ, взялъ купленный имъ porte-bouquet и бросился въ оранжерею, къ садовнику. Долго стучался онъ, пока тотъ проснулся, и оба вошли въ оранжерею.

Начинало разсвѣтать. Онъ окинулъ взглядомъ деревья, и злая улыбка освѣтила его лицо. Онъ указывалъ, какіе цвѣты выбрать для букета Марониьки: въ него вошли всѣ, какіе оставались. Садовникъ сдѣлалъ букетъ на славу.

— Мнѣ нуженъ другой букетъ... сказалъ Райскій нетвердымъ голосомъ.

— Этакій же?

— Нѣтъ... изъ однихъ померанцевыхъ цвѣтовъ... шепталъ онъ и самъ поблѣднѣлъ.

— Такъ-съ, вѣдь одна барышня-то у Татьяны Марковны невѣста! догадался садовникъ.

— Есть у тебя стаканъ воды... спросилъ Райскій.— Дай пить!

Онъ съ жадностью выпилъ стаканъ, торопя садовника сдѣлать букетъ. Наконецъ тотъ кончилъ. Райскій щедро заплатилъ ему и, завернувъ въ бумагу оба букета, осторожно и торопливо понесъ домой.

Нужно было узнать, не вернулась ли Вѣра во время его отлучки. Онъ велѣлъ разбудить и позвать къ себѣ Марину и послалъ ее посмотрѣть, дома ли барышня, или „ужъ вышла гулять“.

На отвѣтъ, что „вышла“, онъ велѣлъ Марониькинъ букетъ поставить къ Вѣрѣ на столъ и отворить въ ея комнатѣ окно, сказавши, что она поручила ему еще съ вечера это сдѣлать. Потомъ отослалъ ее, а самъ занялъ свою позицію въ бесѣдкѣ и ждалъ, замирая — отъ удалявшейся, какъ буря, страсти, отъ ревности, и будто еще отъ чего-то... жалости, кажется...

Но пока еще обида и долго переносимая пытка заглушали все человѣческое въ немъ. Онъ злобно душилъ голосъ жалости. И „добрый духъ“ печально молчалъ въ немъ. Не слышно его голоса; тихая работа его остановилась. Бѣсы вторглись и рвали его внутренность.

Райскій положилъ щеку на руку, смотрѣлъ около и ничего не видѣлъ, кромѣ дорожки къ крыльцу Вѣры, чувствовалъ только ядъ лжи, обмана.

— Мнѣ надо застрѣлить эту собаку, Марка, или застрѣлиться самому; да, что-нибудь одно изъ двухъ, но прежде сдѣлаю вотъ это третье... шепталъ онъ.

Онъ, какъ святыню, обѣими руками держалъ букетъ померанцевыхъ цвѣтовъ, глядя на него съ наслажденіемъ, а самъ все оглядывался черезъ цвѣтникъ — къ темной аллеѣ, а ея все нѣтъ!

Совсѣмъ разсвѣло. Пошелъ мелкій дождь, стало грязно.

„Не послать ли имъ два зонтика?“ думалъ онъ съ безотрадной улыбкой, лаская букетъ и нюхая его.

Вдругъ издали увидѣлъ Вѣру — и до того потерялся, испугался, ослабѣлъ, что не могъ, не только выскочить, „какъ барсъ“, изъ засады и заградить ей путь, но долженъ былъ самъ крѣпко держаться за скамью, чтобъ не упасть. Сердце билось у него, колѣнки дрожали, онъ приковалъ взглядъ къ идущей Вѣрѣ и не могъ оторвать его, хотѣлъ встать—и тоже не могъ: ему было больно даже дышать.

Она шла, наклонивъ голову, совсѣмъ закрытую черной мантильей. Видны были только двѣ блѣдныя руки, державшія мантилью на груди. Она шагала не торопливо, не поворачивая головы по сторонамъ, осторожно обходя образовавшіяся небольшія лужи, медленными шагами вошла на крыльцо и скрылась въ сѣняхъ.

Съ Райскаго какъ будто сняли кандалы. Онъ, блѣдный, выскочилъ изъ засады и спрятался подъ ея окномъ.

Она вошла въ комнату, погруженная точно въ сонъ, не замѣтила, что платье, которое, уходя, разбросала на полу, уже прибрано, не видала ни букета на столѣ, ни отвореннаго окна.

Она машинально сбросила съ себя обѣ мантильи на диванъ, сняла грязныя ботинки, ногой достала изъ-подъ постели атласныя туфли и надѣла ихъ. Потомъ, глядя не около себя, а куда-то вдаль, опустилась на диванъ, и въ изнеможеніи, закрывъ глаза, оперлась спиной и головой къ подушкѣ дивана и погрузилась будто въ сонъ.

Черезъ минуту ее пробудилъ глухой звукъ чего-то упавшаго на полъ. Она открыла глаза и быстро выпрямилась, глядя вокругъ.

На полу лежалъ большой букетъ померанцевыхъ цвѣтовъ, брошенный снаружи въ окно.

Она, кинувъ бѣглый взглядъ на него, поблѣднѣла, какъ смерть и, не поднявъ цвѣтовъ, быстро подошла къ окну. Она видѣла уходившаго Райскаго и оцѣпенѣла на минуту отъ изумленія. Онъ обернулся, взгляды ихъ встрѣтились.

Великодушный другъ... „рыцарь"... прошептала она и вздохнула съ трудомъ, какъ отъ боли, и тутъ только замѣтивъ другой букетъ на столѣ, назначенный Марфинькѣ, взяла его, машинально поднесла къ лицу, но букетъ выпалъ у нея изъ рукъ и она сама упала безъ чувствъ на коверъ.

# ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

## I.

На другой день, въ деревенской церкви Малиновки, съ десяти часовъ, начали звонить въ большой колоколъ, къ обѣднѣ.

Въ домѣ была суета. Закладывали коляску, старомодную карету. Кучера одѣлись въ синіе, новые кафтаны, намазали головы коровьимъ масломъ и съ утра напились пьяны. Дворовыя женщины и дѣвицы пестрѣли праздничными, разноцвѣтными, ситцевыми платьями, платками, косынками, ленточками. Отъ горничныхъ за десять шаговъ несло гвоздичной помадой.

Егорка явился-было неслыханнымъ франтомъ, въ подаренномъ ему Райскимъ коротенькомъ пиджакѣ, клѣтчатыхъ, зеленыхъ, почти новыхъ, панталонахъ, и въ купленныхъ имъ самимъ—оранжевомъ галстухѣ и голубомъ жилетѣ. Онъ, въ этомъ нарядѣ, нечаянно попался на глаза Татьянѣ Марковнѣ.

— Это что̀! строго крикнула она на него:—что за чучело, на кого ты похожъ? Долой! Васплиса! Выдать имъ всѣмъ ливрейные фраки, и Сережкѣ, и Степкѣ, и Петрушкѣ, и этому шуту! говорила она, указывая на Егора.—Яковъ пусть черный фракъ да бѣлый галстухъ надѣнетъ. Чтобы и за столомъ служили, и вечеромъ оставались въ ливреяхъ!

Весь домъ смотрѣлъ парадно, только Улита, въ это утро глубже, нежели въ другіе дни, опускалась въ свои холод-

ники и подвалы и не успѣла надѣть ничего, что̀ дѣлало бы ее непохожею на вчерашнюю или завтрашнюю Улиту. Да повара почти съ зарей надѣли свои бѣлые колпаки и не покладывали рукъ, готовя завтракъ, обѣдъ, ужинъ—и господамъ, и дворнѣ, и пріѣзжимъ людямъ изъ-за Волги.

Бабушка, отдавъ приказанія съ ранняго утра, въ восемь часовъ сдѣлала свой туалетъ и вышла въ залу, къ гостьѣ и будущей роднѣ своей, въ полномъ блескѣ старческой красоты, съ сдержаннымъ достоинствомъ барыни и съ кроткой улыбкой счастливой матери и радушной хозяйки.

Она надѣла на сѣдые волосы маленькій простой чепчикъ: на ней хорошо сидѣло привезенное ей Райскимъ изъ Петербурга шелковое, свѣтло-коричневое платье. Шея закрывалась шемизеткой, съ широкимъ воротничкомъ изъ стараго пожелтѣвшаго кружева. На креслахъ въ кабинетѣ лежала турецкая большая шаль, готовая облечь ее, когда пріѣдутъ гости къ завтраку и обѣду.

Теперь она собиралась ѣхать всѣмъ домомъ къ обѣднѣ, и въ ожиданіи, когда всѣ домашніе сойдутся, прохаживалась медленно по залѣ, сложивъ руки крестомъ на груди и почти не замѣчая домашней суеты, какъ входили и выходили люди, чистя ковры, приготовляя лампы, отирая зеркала, снимая чехлы съ мебели.

Она подходила то къ одному, то къ другому окну, задумчиво смотрѣла на дорогу, потомъ съ другой стороны въ садъ, съ третьей на дворы. Командовали всей прислугой и распоряжались Василиса и Яковъ, а Савелій управлялся съ дворней.

Мать Викентьева разодѣлась въ платье gris-de-perle, съ отдѣлкой изъ темныхъ кружевъ. Викентьевъ прибѣгалъ уже, наряженный, съ восьми часовъ, во фракъ и бѣлыя перчатки. Ждали только появленія Марфиньки.

И когда она появилась, радости и гордости Татьяны Марковны не было конца. Она сіяла природной красотой, блескомъ здоровья, а въ это утро еще лучами веселья отъ всеобщаго участія, отъ множества—со всѣхъ сторонъ знаковъ вниманія, не только отъ бабушки, жениха, его матери, но въ каждомъ лицѣ изъ дворни свѣтилось непритворное дружество, ласка къ ней и лучъ радости, по случаю ея праздника.

Бабушка уже успѣла побывать у ней въ комнатѣ, когда она только что встала съ постели. Проснувшись и поглядѣвъ вокругъ себя, Марфинька ахнула отъ изумленія и внезапной радости.

Пока она спала, ей, всѣ стѣны ея двухъ комнатокъ, чьи-то руки обвѣшали гирляндами изъ зелени и цвѣтовъ. Она хотѣла надѣть свою простенькую блузу, а на мѣсто ея, на креслѣ, подлѣ кровати, нашла утреннее неглиже изъ кисеи и кружевъ, съ розовыми лентами.

Не успѣла она ахнуть, какъ на двухъ другихъ креслахъ увидѣла два прелестныя платья—розовое и голубое, на выборъ, которое надѣть.

— Ахъ! сдѣлала она и, вскочивъ съ постели, надѣла новую блузу, не надѣвъ чулокъ—некогда было—подошла къ зеркалу и остолбенѣла: весь туалетъ былъ установленъ подарками.

Она не знала на что̀ глядѣть, что взять въ руки. Бросится къ платью, а тамъ тянетъ къ себѣ великолѣпный ящикъ розоваго дерева. Она открыла его,—тамъ былъ полный дамскій несессеръ, почти весь туалетъ, хрустальные, оправленные въ серебро флаконы, гребенки, щетки и множество мелочей.

Она стала-было, разсматривать всѣ вещи, но у ней дрожали руки. Она схватитъ одинъ флаконъ, увидитъ другой, положитъ тотъ, возьметъ третій, увидитъ гре-

бешку, щетки въ серебряной оправѣ: —и все съ ея вензелемъ М. „Отъ будущей maman“, написано было.

— Ахъ! сдѣлала она, растерявшись и захлопывая крышку.

Подлѣ ящика лежало еще нѣсколько футляровъ, футлярчиковъ. Она не знала, за который взяться, что̀ смотрѣть. Взглянувъ мелькомъ въ зеркало и откинувъ небрежно назадъ густую косу, падавшую ей на глаза и мѣшавшую разсматривать подарки, она кончила тѣмъ, что забрала всѣ футляры съ туалета и сѣла съ ними въ постель.

Она боялась открывать ихъ, медлила, наконецъ открыла самый маленькій.

Тамъ—перстень съ однимъ только изумрудомъ.

— Ахъ! повторила она и, надѣвъ перстень, вытянула руку и любовалась имъ издали.

Открыла другой футляръ побольше—тамъ серьги. Она вдѣла ихъ въ уши и, сидя въ постели, тянулась взглянуть на себя въ зеркало. Потомъ открыла еще два футляра и нашла большіе массивные браслеты, въ видѣ змѣи кольцомъ, съ рубиновыми глазами, усѣянной по мѣстамъ сверкающими алмазами, и сейчасъ же надѣла ихъ.

Наконецъ открыла самый большой футляръ.—Ахъ! почти съ ужасомъ, замирая, сдѣлала она, увидя цѣлую рѣку—двадцать одинъ брильянтъ, по числу ея лѣтъ.

Тамъ бумажка съ словами: „Къ этому ко всему“, читала она: „имѣю честь присовокупить самый драгоцѣнный подарокъ! лучшаго моего друга—самого себя. Берегите его. Вашъ ненаглядный Викентьевъ“.

Она засмѣялась, потомъ поглядѣла кругомъ, поцѣловала записку, покраснѣла до ушей и, спрыгнувъ съ постели, спрятала ее въ свой шкапчикъ, гдѣ у нея хранились лакомства. И опять подбѣжала къ туалету посмотрѣть, нѣтъ ли чего-нибудь еще, и нашла еще футлярчикъ.

Это былъ подарокъ Райскаго: часы, съ эмалевой доской, съ ея шифромъ, съ цѣпочкой. Она взглянула на нихъ большими глазами, потомъ окинула взглядомъ прочіе подарки, поглядѣла по стѣнамъ, увѣшаннымъ гирляндами и цвѣтами —и вдругъ опустилась на стулъ, закрыла глаза руками и залилась цѣлымъ дождемъ горячихъ слезъ.

— Господи! всхлипывая отъ счастья, говорила она:— за что они меня такъ любятъ всѣ? Я никому, ничего хорошаго не сдѣлала и не сдѣлаю никогда!...

Такъ застала ее бабушка, неодѣтую, необутую, съ перстнями на пальцахъ, въ браслетахъ, въ брильянтовыхъ серьгахъ и обильныхъ слезахъ. Она сначала испугалась, потомъ, узнавъ причину слезъ, обрадовалась и осыпала ее поцѣлуями.

— Это Богъ тебя любитъ, дитя мое, говорила она, лаская ее:—за то, что ты сама всѣхъ любишь, и всѣмъ, кто поглядитъ на тебя, становится тепло и хорошо на свѣтѣ!...

— Ну, пусть бы Николай Андреичъ: онъ женихъ, пусть maman его, отвѣчала Марѳинька, утирая слезы:—а братъ Борисъ Павловичъ: что̀ я ему!...

— То же, что всѣмъ! одна радость глядѣть на тебя: скромна, чиста, добра, бабушкѣ послушна... (Мотъ! изъ чего тратитъ на дорогіе подарки, вотъ я ужо̀ ему дамъ! въ скобкахъ вставила она). Онъ уродъ твой братецъ, только какой-то особенный уродъ.

— Точно угадалъ, бабушка: мнѣ давно хотѣлось синенькіе часики—вотъ этакіе, съ эмалью!...

— А что жъ ты не спросишь бабушку, отчего она ничего не подарила?

Марѳинька зажала ей ротъ поцѣлуемъ.

— Бабушка, любите меня всегда, коли хотите, чтобъ я была счастлива...

— Любовь—любовью, а вотъ тебѣ мой всегдашній подарокъ! говорила она, крестя ее.—А вотъ и еще, чтобъ ты этого моего креста и послѣ меня не забывала...

Она полѣзла въ карманъ.

— Бабушка! Да вѣдь вы мнѣ два платья подарили!... А кто это зелени и цвѣтовъ повѣсилъ!...

— Все твой женихъ, съ Полиной Карповной, вчера прислали... отъ тебя таили... Сегодня Василиса съ Пашуткой убирали на зарѣ... А платья — твое приданое: будетъ и еще не два. Вотъ тебѣ...

Она вынула футлярчикъ, достала оттуда золотой крестъ, съ четырьмя крупными брильянтами, и надѣла ей на шею, потомъ простой гладкій браслетъ съ надписью: „отъ бабушки внучкѣ“, годъ и число.

Марѳинька припала къ рукѣ бабушки и чуть-было не расплакалась опять.

— Все, что у бабушки есть—а у ней кое-что есть—все поровну раздѣлю вамъ съ Вѣрочкой! Одѣвайся же скорѣй!

— Какая вы нынче красавица, бабушка! Братецъ правду говоритъ. Титъ Никонычъ непремѣнно влюбится въ васъ...

— Полно тебѣ, болтунья! полусердито сказала бабушка. — Поди къ Вѣрочкѣ и узнай, что она? Чтобы къ обѣднѣ не опоздала съ нами! Я бы сама зашла къ ней, да боюсь подниматься на лѣстницу...

— Я сейчасъ, сейчасъ... сказала Марѳинька, торопясь одѣваться.

## II.

Вѣра черезъ полчаса послѣ своего обморока очнулась и поглядѣла вокругъ. Ей освѣжилъ лицо холодный воздухъ

изъ отвореннаго окна. Она привстала, озираясь кругомъ, потомъ поднялась, заперла окно, дошла, шатаясь, до постели, и скорѣе упала, нежели легла на нее, и оставалась неподвижною, покрывшись брошеннымъ туда ею наканунѣ большимъ платкомъ.

Обезсиленная, она впала въ тяжкій сонъ. Истомленный организмъ онѣмѣлъ на время, помимо ея сознанія и воли. Коса у ней упала съ головы и разсыпалась по подушкѣ. Она была блѣдна и спала, какъ мертвая.

Часа черезъ три, шумъ на дворѣ, людскіе голоса, стукъ колесъ и благовѣстъ вывели ее изъ летаргіи. Она открыла глаза, посмотрѣла кругомъ, послушала шумъ, пришла на минуту въ сознаніе, потомъ вдругъ опять закрыла глаза и предалась снова или сну, или мукѣ.

Въ это время кто-то легонько постучался къ ней въ комнату. Она не двигалась. Потомъ сильнѣе постучались. Она услыхала и встала вдругъ съ постели, взглянула въ зеркало и испугалась самой себя.

Она быстро обвила косу около руки, свернула ее въ кольцо, закрѣпила кое-какъ черной большой булавкой на головѣ, и накинула на плечи платокъ. Мимоходомъ подняла съ полу назначенный для Мароньки букетъ и положила на столъ.

Стукъ повторился, вмѣстѣ съ легкимъ царапаньемъ у двери.

— Сейчасъ! сказала она и отворила дверь.

Влетѣла Мароинька, сіяя, какъ радуга, и красотой, и нарядомъ, и весельемъ. Она взглянула и вдругъ остановилась.

— Что съ тобой, Вѣрочка? спросила она:—ты нездорова!...

Веселье слетѣло съ лица у ней, уступивъ мѣсто испугу.

— Да, не совсѣмъ... слабо отвѣчала Вѣра: — ну, поздравляю тебя...

Онѣ поцѣловались.

— Какая ты хорошенькая, нарядная! говорила Вѣра, стараясь улыбнуться.

Но улыбка не являлась. Губами она сдѣлала движеніе, а глаза не улыбались. Привѣтствію противорѣчилъ почти неподвижный взглядъ, безъ лучей, какъ у мертвой, которой не успѣли закрыть глазъ.

Вѣра, чувствуя, что не одолѣетъ себя, поспѣшила взять букетъ и подала ей.

— Какой роскошный букетъ! сказала Марѳинька, тая отъ восторга и нюхая цвѣты.

— А что же это такое? вдругъ прибавила она, чувствуя подъ букетомъ въ рукѣ что-то твердое. Это былъ изящный porte-bouquet, убранный жемчугомъ, съ ея шифромъ.

— Ахъ, Вѣрочка, и ты, и ты!... Что это, какъ вы всѣ меня любите!... говорила она, собираясь опять заплакать: — и я вѣдь васъ всѣхъ люблю... какъ люблю, Господи!... Да какъ же и когда вы узнаете это; я не умѣю даже сказать!...

Вѣра почти умилилась внутренно, но не смогла ничего отвѣтить ей, а только тяжело перевела духъ и положила ей руку на плечо.

— Я сяду, сказала она: — я дурно спала ночь...

— Бабушка зоветъ къ обѣднѣ...

— Не могу, душечка, скажи, что я не такъ здорова... и не выйду сегодня...

— Какъ, ты совсѣмъ не придешь туда? въ страхѣ спросила Марѳинька.

— Да, я полежу, я вчера простудилась, должно-быть. Только ты скажи бабушкѣ слегка...

— Мы къ тебѣ придемъ.

— Боже сохрани! Вы помѣшаете мнѣ отдохнуть...

— Ну, такъ пришлемъ тебѣ сюда всего... Сколько мнѣ подарковъ... цвѣтовъ... конфектъ прислали!... Я покажу тебѣ...

Марошинька разсказала все, что и отъ кого получила.

— Да, да — хорошо... это очень мило! покажи... Я послѣ приду... разсѣянно говорила Вѣра, едва слушая ее.

— А это что? Еще букетъ! сказала вдругъ Марошинька, увидя букетъ на полу:—что это онъ на полу валяется?

Она подняла и подала Вѣрѣ букетъ изъ померанцевыхъ цвѣтовъ. Вѣра поблѣднѣла.

— Кому это? чей? Какая прелесть!

— Это.... тоже тебѣ... едва выговорила Вѣра.

Она взяла первую ленточку изъ комода, нѣсколько булавокъ, и кое-какъ, едва шевеля пальцами, приколола померанцевые цвѣты Марошинькѣ. Потомъ поцѣловала ее и сѣла въ изнеможеніи на диванъ.

— Ты въ самомъ дѣлѣ нездорова—посмотри, какая ты блѣдная! замѣтила серьезно Марошинька:—не сказать ли бабушкѣ? Она за докторомъ пошлетъ... Пошлемъ, душечка, за Иваномъ Богдановичемъ... Какъ это грустно—въ день моего рожденія! Теперь мнѣ цѣлый день испорченъ!

— Ничего, ничего—пройдетъ! Ни слова бабушкѣ, не пугай ее!... А теперь поди, оставь меня... шептала Вѣра:—я отдохну...

Марошинька хотѣла поцѣловать ее и вдругъ увидѣла, что у ней глаза полны слезъ. Она заплакала сама.

— Что ты? тихо спросила Вѣра, отирая украдкой, какъ будто воруя свои слезы изъ глазъ.

— Какъ же не плакать, когда ты плачешь, Вѣрочка! Что съ тобой? другъ мой, сестра! У тебя горе, скажи мнѣ...

— Ничего, не гляди на меня, это нервы... Только скажи бабушкѣ осторожно, а то она встревожится...

— Я скажу, что голова болитъ, а про слезы не упомяну, а то она въ самомъ дѣлѣ на цѣлый день разстроится.

Марошнька ушла. А Вѣра затворила за ней дверь и легла на диванъ.

## III.

Всѣ ушли и уѣхали къ обѣднѣ. Райскій, воротясь на разсвѣтѣ домой, не узнавая самъ себя въ зеркалѣ, чувствуя ознобъ, попросилъ у Марины стаканъ вина, выпилъ и бросился въ постель.

Ему было не легче Вѣры. И онъ, истомленный усталостью, моральной и физической, и долгими муками, отдался сну, какъ будто бросился въ горячкѣ въ объятія здороваго друга, поручая себя его попеченію. И сонъ исполнилъ эту обязанность, унеся его далеко отъ Вѣры, отъ Малиновки, отъ обрыва, и отъ вчерашней, разыгравшейся на его глазахъ, драмы.

Ему снилось все другое, противоположное. Никакихъ „волнъ поэзіи" не видалъ онъ, не била „страсть пѣной" черезъ край, а очутился онъ въ Петербургѣ, дома, одинъ, въ своей брошенной мастерской, и равнодушно глядѣлъ на начатыя и неконченныя работы.

Потомъ приснилось ему, что онъ сидитъ съ пріятелями у Сенъ-Жоржа и съ аппетитомъ ѣстъ и пьетъ, разсказываетъ и слушаетъ пошлый вздоръ, обыкновенно разсказываемый на холостыхъ обѣдахъ,—что ему отъ этого стало тяжело и скучно, и во снѣ даже спать захотѣлось.

И онъ спалъ здоровымъ прозаическимъ сномъ, до того охватившимъ его, что когда онъ проснулся отъ трезвона въ церквахъ, то первыя двѣ-три минуты былъ только подъ

вліяніемъ животнаго покоя, стѣной ставшаго между имъ и вчерашнимъ днемъ.

Онъ забылъ, гдѣ онъ—и, можетъ-быть, даже—кто̀ онъ такой. Природа взяла свое, и этимъ крѣпкимъ сномъ возстановила равновѣсіе въ силахъ. Никакой боли, пытки не чувствовалъ онъ. Все—какъ въ воду кануло.

Онъ потянулся, даже посвисталъ беззаботно, чувствуя только, что ему отчего-то покойно, хорошо, что онъ давно уже не спалъ и не просыпался такъ здорово. Сознаніе еще не воротилось къ нему.

Но слѣдующія двѣ-три минуты вдругъ привели его въ память—о вчерашнемъ. Онъ сѣлъ на постели, какъ будто не самъ, а подняла его посторонняя сила; посидѣлъ минуты двѣ неподвижно, открывъ широко глаза, будто не вѣря чему-то, но когда увѣрился, то всплеснулъ руками надъ головой, упалъ опять на подушку, и вдругъ вскочилъ на ноги, уже съ другимъ лицомъ, какого не было у него даже вчера, въ самую страшную минуту.

Другая мука, не вчерашняя, какой-то новый бѣсъ бросился въ него,—и онъ такъ же торопливо, нервно и судорожно, какъ Вѣра наканунѣ, собираясь идти къ обрыву, хваталъ одно за другимъ платья, разбросанныя по стульямъ.

Онъ позвонилъ Егора, и едва съ его помощью кое-какъ одѣлся, надѣвая сюртукъ прежде жилета, забывая галстухъ. Онъ спросилъ, что дѣлается дома, и узнавъ, что всѣ уѣхали къ обѣднѣ, кромѣ Вѣры, которая больна, оцѣпенѣлъ, измѣнился въ лицѣ и бросился вонъ изъ комнаты къ старому дому.

Онъ тихо постучался къ Вѣрѣ: никто не отвѣчалъ. Подождавъ минуты двѣ отвѣта, онъ тронулъ дверь: она была не заперта изнутри.

Онъ осторожно отворилъ и вошелъ съ ужасомъ на лицѣ, тихимъ шагомъ, какимъ можетъ входить человѣкъ, съ на-

мѣреніемъ совершить убійство. Онъ едва ступалъ на цыпочкахъ, трясясь, блѣдный, боясь ежеминутно упасть отъ душившаго его волненія.

Вѣра лежала на диванѣ, лицомъ къ спинкѣ. Съ подушки падали почти до пола ея волосы, юбка ея сѣраго платья небрежно висѣла, не закрывая ея ногъ, обутыхъ въ туфли.

Она не оборачивалась, только сдѣлала движеніе, чтобъ оборотиться и посмотрѣть, кто вошелъ, но, повидимому, не могла.

Онъ подошелъ, сталъ на колѣни подлѣ нея и прильнулъ губами къ ея туфлѣ. Она вдругъ обернулась, взглянула на него мелькомъ, лицо у ней подернулось горькимъ изумленіемъ.

— Что это, комедія или романъ, Борисъ Павловичъ? глухо сказала она, отворачиваясь съ негодованіемъ и пряча ногу съ туфлей подъ платье, которое, не глядя, торопливо оправила рукой.

— Нѣтъ, Вѣра, — трагедія! едва слышно выговорилъ онъ угасшимъ голосомъ и сѣлъ на стулъ, подлѣ дивана.

Она обернулась на этотъ тонъ его голоса, взглянула на него пристально; глаза у ней открылись широко, съ изумленіемъ. Она увидѣла блѣдное лицо, какого никогда у него не видала, и, казалось, читала или угадывала смыслъ этого новаго лица, новаго Райскаго.

Она сбросила съ себя платокъ, встала на ноги и подошла къ нему, забывъ въ эту секунду всю свою бурю. Она видѣла на другомъ лицѣ такое же смертельное страданіе, какое жило въ ней самой.

— Братъ, что съ *тобой? ты* несчастливъ! сказала она, положивъ ему руку на плечо — и въ этихъ трехъ словахъ, и въ голосѣ ея—отозвалось, кажется, все, что есть великаго въ сердцѣ женщины: состраданіе, самоотверженіе, любовь.

Онъ, въ умиленіи отъ этой ласки, отъ этого неожиданнаго, теплаго *ты*, взглянулъ на нее съ той же изступленной благодарностью, съ какою она взглянула вчера на него, когда онъ, забывая себя, помогалъ ей сойти съ обрыва.

Она нечаянно заплатила ему великодушіемъ за великодушіе, какъ и у него вчера вырвался такой же лучъ одного изъ самыхъ свѣтлыхъ свойствъ человѣческой души.

Его охватилъ трепетъ смѣшанныхъ чувствъ, и тѣмъ сильнѣе заговорила мука отчаянія за свой поступокъ. Все растопилось у него въ горячихъ слезахъ.

Онъ положилъ лицо въ ея руки и рыдалъ какъ человѣкъ, все утратившій, которому нечего больше терять.

— Что̀ я сдѣлалъ! оскорбилъ тебя, женщину, сестру! вырывались у него вопли среди рыданій.—Это былъ не я, не человѣкъ: звѣрь сдѣлалъ преступленіе. Что̀ это такое было! говорилъ онъ съ ужасомъ, оглядываясь, какъ будто теперь только пришелъ въ себя.

— Не мучайся и не мучай меня... шептала она кротко, ласково.—Пощади— я не вынесу. Ты видишь, въ какомъ я положеніи...

Онъ старался не глядѣть ей въ глаза. А она опять прилегла на диванъ.

— Какой ударъ нанесъ я тебѣ! шепталъ онъ въ ужасѣ.—Я даже прощенія не прошу: оно невозможно! Ты видишь мою казнь, Вѣра...

— Ударъ твой... сдѣлалъ мнѣ боль на одну минуту. Потомъ я поняла, что онъ не могъ быть нанесенъ равнодушной рукой, и повѣрила, что ты любишь меня... Тутъ только представилось мнѣ, что̀ ты вытерпѣлъ въ эти недѣли, вчера... Успокойся, ты не виноватъ, мы квиты...

— Не оправдывай преступленія, Вѣра: ножъ — все ножъ. Я ударилъ тебя ножемъ...

— Ты разбудилъ меня... Я будто спала; всѣхъ васъ, тебя, бабушку, сестру, весь домъ—видѣла какъ во снѣ, была зла, суха—забылась!...

— Что мнѣ теперь дѣлать, Вѣра? уѣхать — въ какомъ положеніи я уѣду! Дай мнѣ вытерпѣть казнь здѣсь — и хоть немного примириться съ собой, со всѣмъ, что случилось...

— Полно, воображеніе рисуетъ тебѣ какое-то преступленіе, вмѣсто ошибки. Вспомни, въ какомъ положеніи ты сдѣлалъ ее, въ какой горячкѣ!...

Она замолчала.

— У меня ничего нѣтъ, кромѣ дружбы къ тебѣ, сказала потомъ, протягивая ему руку:—я не осуждаю тебя—и не могу; я знаю теперь, какъ ошибаются...

Она едва говорила, очевидно дѣлая надъ собой усиліе, чтобы немного успокоить его.

Онъ пожалъ протянутую руку и безотрадно вздохнулъ.

— Ты добра, какъ женщина—и судишь не умомъ, а сердцемъ эту „ошибку“...

— Нѣтъ, ты строгъ къ себѣ. Другой счелъ бы себя вправѣ, послѣ всѣхъ этихъ глупыхъ шутокъ надъ тобой... Ты ихъ знаешь, эти записки... Пусть съ доброй цѣлью—отрезвить тебя, пошутить—въ отвѣтъ на твои шутки.—Все же—злость, смѣхъ! А ты и не шутилъ... Стало-быть, мы, безъ нужды, были только злы и ничего не поняли... Глупо! глупо! Тебѣ было больнѣе, нежели мнѣ вчера...

— Ахъ, нѣтъ! я иногда самъ смѣялся, и надъ собой и надъ вами, что вы ничего не понимаете и суетитесь. Особенно когда ты потребовала пальто, одѣяло, деньги для „изгнанника“...

Она сдѣлала большіе глаза и съ удивленіемъ глядѣла на него.

— Какія деньги, какое пальто? что за изгнанникъ? Я ничего не понимаю...

У него лицо немного просвѣтлѣло.

— Я и прежде подозрѣвалъ, что это не твоя выдумка, а теперь вижу, что ты и не знала!

Онъ коротко передалъ ей содержаніе двухъ писемъ, съ просьбой прислать денегъ и платье.

У ней побѣлѣли даже губы.

— Мы съ Наташей писали къ тебѣ попеременно, однимъ почеркомъ, шутливыя записки, стараясь подражать твоимъ... Вотъ и все. Остальное сдѣлала не я... я ничего не знала!... кончила она тихо, оборачиваясь лицомъ къ стѣнѣ.

Водворилось молчаніе. Онъ задумчиво шагалъ взадъ и впередъ по ковру. Она, казалось, отдыхала, утомленная разговоромъ.

— Я не прошу у тебя прощенія за всю эту исторію... И ты не волнуйся, сказала она. — Мы помиримся съ тобой... У меня только одинъ упрекъ къ тебѣ—ты поторопился съ своимъ букетомъ. Я шла оттуда... хотѣла послать за тобой, чтобы тебѣ первому сказать всю исторію... искупить хоть немного все, что ты вытерпѣлъ... Но ты поторопился!

— Ахъ! вырвалось у него:—это ударъ ножа мнѣ!

— Оставимъ все это... послѣ, послѣ... А теперь я потребую отъ тебя, какъ отъ друга и брата, помощи, важной услуги... Ты не откажешь?...

— Вѣра!

Онъ ничего не сказалъ больше, но, взглянувъ на него, она видѣла, что можетъ требовать всего.

— Я, пока силы есть, разскажу тебѣ всю исторію этого года...

— Зачѣмъ! Я не хочу, не могу, не долженъ знать...

*

— Не мѣшай мнѣ! я едва дышу, а время дорого. Я разскажу тебѣ все, а ты передай бабушкѣ...

У него глаза остановились на ней съ изумленіемъ и въ лицо хлынулъ испугъ.

— Я сама не могу, языкъ не послушается. Я умру, не договорю...

— Бабушкѣ? зачѣмъ! едва выговорилъ онъ отъ страха.— Подумай, какія послѣдствія... Что будетъ съ ней?... Не лучше ли скрыть все?...

— Я давно подумала: какія бы ни были послѣдствія, ихъ надо—не скрыть, а перенести! Можетъ-быть, обѣ умремъ, помѣшаемся— но я ее не обману. Она должна была знать давно, но я надѣялась сказать ей другое... и оттого молчала... Какая казнь! прибавила она тихо, опуская голову на подушку.

— Сказать... все, и вчерашній вечеръ?... спросилъ онъ тихо.

— Да...

— И имя?...

Она чуть замѣтно кивнула утвердительно головой и отвернулась.

Она посадила его подлѣ себя на диванъ и шопотомъ, съ остановками, разсказала исторію своихъ сношеній съ Маркомъ. Кончивъ, она закуталась въ шаль и, дрожа отъ озноба, легла опять на диванъ. А онъ всталъ блѣдный.

Оба молчали, каждый про себя переживая минуту ужаса, она—думая о бабушкѣ, онъ—о нихъ обѣихъ.

Ему предстояло—уже не въ горячкѣ страсти, не въ припадкѣ слѣпого мщенія, а по неизбѣжному сознанію долга—нанести еще ударъ ножа другой, нѣжно-любимой женщинѣ!

„Да, это страшное порученіе, въ самомъ дѣлѣ— „важная услуга", думалъ онъ.

— Когда сказать ей? спросилъ онъ тихо.

— Скорѣй! я замучаюсь, пока она не узнаетъ, а у меня еще много мукъ... „И это не главная“! подумала про себя. — Дай мнѣ спиртъ, тамъ, гдѣ-то... прибавила она, указывая, гдѣ стоялъ туалетъ. А теперь поди... оставь меня... я устала...

— Сегодня говорить съ бабушкой нельзя: гости! Богъ знаетъ, что̀ съ ней будетъ! Завтра!

— Ахъ! сдѣлала она: — доживу ли я! Ты до завтра какъ-нибудь... успокой бабушку, скажи ей что̀-нибудь... чтобъ она ничего не подозрѣвала... не присылала сюда никого...

Онъ подалъ ей спиртъ, спросилъ, не надо ли ей чего-нибудь, не послать ли дѣвушку.

Она нетерпѣливо покачала головой, отсылая его взглядомъ, потомъ закрыла глаза, чтобъ ничего не видѣть. Ей хотѣлось бы — непроницаемой тьмы и непробудной тишины вокругъ себя, чтобы глазъ ея не касались лучи дня, чтобы не доходило до нея никакого звука. Она будто искала новаго, небывалаго состоянія духа, нѣмоты и дремоты ума, всѣхъ силъ, чтобы окаменѣть, стать растеніемъ, ничего не думать, не чувствовать, не сознавать.

А онъ вышелъ отъ нея съ новой, болѣе страшной тяжестью, нежели съ какою пришелъ. Она отчасти облегчила ему одно бремя, и возложила другое, невыносимѣе...

## IV.

Вѣра встала, заперла за нимъ дверь и легла опять. Ее давила нависшая туча горя и ужаса. Дружба Райскаго, участіе, преданность, помощь—представляли ей на первую минуту легкую опору, на которую она оперлась, чтобы вздохнуть свободно, какъ утопающій, вынырнувшій на ми-

нуту изъ воды, чтобы глотнуть воздуха. Но едва онъ вышелъ отъ нея, она точно оборвалась въ воду опять.

— Жизнь кончена! шептала она съ отчаяніемъ и видѣла впереди одну голую степь, безъ привязанностей, безъ семьи, безъ всего того, изъ чего соткана жизнь женщины.

Передъ ней—только одна глубокая, какъ могила, пропасть. Ей предстояло стать лицомъ къ лицу съ бабушкой и сказать ей:—Вотъ чѣмъ я заплатила тебѣ за твою любовь, попеченія, какъ наругалась надъ твоимъ довѣріемъ... до чего дошла своей волей!..

Ей, въ дремотѣ отчаянія, снился взглядъ бабушки, когда она узнала все, брошенный на нее, ея голосъ—даже не было голоса, а вмѣсто его какіе-то глухіе звуки ужаса и смерти...

Потомъ, потомъ—она не знала, что̀ будетъ, не хотѣла глядѣть дальше въ страшный сонъ, и только глубже погрузила лицо въ подушку. У ней подошли-было къ глазамъ слезы и отхлынули назадъ, къ сердцу.

— Если бъ умереть! внезапно просіявъ отъ этой мысли, съ улыбкой, съ наслажденіемъ, шепнула она...

И вдругъ за дверью услышала шаги и голосъ... бабушки! У ней будто отнялись руки и ноги. Она, блѣдная, не шевелясь, съ ужасомъ слушала легкій, но страшный стукъ въ дверь.

— Не встану—не могу... шептала она.

Стукъ повторился. Она вдругъ, съ силой, которая невѣдомо откуда берется въ такія минуты, оправилась, вскочила на ноги, отерла глаза и съ улыбкой пошла навстрѣчу бабушкѣ.

Татьяна Марковна, узнавши отъ Марѳиньки, что Вѣра нездорова и не выйдетъ цѣлый день, пришла навѣдаться сама. Она бѣгло взглянула на Вѣру и опустилась на диванъ.

— Ухъ, устала у обѣдни! Насилу поднялась на лѣстницу! Что̀ у тебя, Вѣрочка, нездорова? спросила она и остановила испытующій взглядъ на лицѣ Вѣры.

— Поздравляю съ новорожденной! заговорила Вѣра развязно, голосомъ маленькой дѣвочки, которую научила нянька—что̀ сказать мамашѣ утромъ въ день ея ангела, поцѣловала руку у бабушки,—и сама удивилась про себя, какъ память подсказала ей, что̀ надо сказать, какъ языкъ выговорилъ эти слова!—Пустое! ноги промочила вчера, голова болитъ! съ улыбкой старалась договорить она.

Но губы не улыбнулись, хотя и показались изъ-за нихъ два, три верхніе зуба.

— Надо было натереть вчера спиртомъ; у тебя нѣтъ? сдержанно сказала бабушка, стараясь на нее не глядѣть, потому что слышала принужденный голосъ, видѣла на губахъ Вѣры какую-то чужую, а не ея улыбку, и чуяла неправду.

— Ты сойдешь къ намъ? спросила она.

Вѣра внутренно ужаснулась этого невозможнаго испытанія, сверхъ силъ, и замялась.

— Не принуждай себя! снисходительно замѣтила Татьяна Марковна:—чтобъ не разболѣться больше...

Но ужасъ охватилъ Вѣру отъ этой снисходительности. Ей казалось, какъ всегда, когда совѣсть тревожитъ, что бабушка уже угадала все, и ея исповѣдь опоздаетъ. Еще минута, одно слово—и она кинулась бы на грудь ей и сказала все! И только силы измѣнили ей и удержали, да еще мысль—сдѣлать весь домъ свидѣтелемъ своей и бабушкиной драмы.

— Къ обѣду только позвольте, бабушка, не выходить, сказала она, едва крѣпясь:—а послѣ обѣда я, можетъ-быть, приду...

— Какъ хочешь, я пришлю тебѣ обѣдать сюда.

Да... да... я ужъ теперь голодна... говорила Вѣра, не помня сама, что̀ говоритъ.

Татьяна Марковна поцѣловала ее, пригладила ей рукой немного волосы, и вышла, замѣтивъ только, „чтобъ она велѣла „Маринкѣ", или „Машкѣ", или „Наташкѣ", прибрать комнату, а то-де, пожалуй, изъ гостей, изъ дамъ кто-нибудь, зайдетъ",—и ушла.

Вѣра вдругъ опустилась на диванъ, потомъ, немного посидя, достала одеколонъ и намочила себѣ темя и виски.

— Ахъ, какъ бьется здѣсь, какъ больно! шептала она, прикладывая руку къ головѣ. — Боже, когда эта казнь кончится? Скорѣй бы, скорѣй сказать ей все! А тамъ, послѣ нея—пусть весь міръ знаетъ, смотритъ!..

Она взглянула на небо, вздрогнула и безотрадно бросилась на диванъ.

Бабушка пришла къ себѣ со скорбнымъ лицомъ, какъ въ воду опущенная.

Она принимала гостей, ходила между ними, подчивала, но Райскій видѣлъ, что она, послѣ визита къ Вѣрѣ, была уже не въ себѣ. Она почти не владѣла собой, отказывалась отъ многихъ блюдъ, не обернулась, когда Петрушка уронилъ и разбилъ тарелки: останавливалась среди разговора на полусловѣ, пораженная задумчивостью.

А послѣ обѣда, когда гости, пользуясь скупыми лучами сентябрьскаго солнца, вышли на широкое крыльцо, служившее и балкономъ, пить кофе, ликеръ и курить, Татьяна Марковна продолжала ходить между ними, иногда не замѣчая ихъ, только передергивала и поправляла свою турецкую шаль. Потомъ спохватится и вдругъ заговоритъ принужденно.

Райскій былъ угрюмъ, смотрѣлъ только на бабушку, слѣдя за ней.

— Неладно что-то съ Вѣрой! шепнула она отрывисто ему: —ты видѣлъ ее? У ней какое-то горе!

Онъ сказалъ, что нѣтъ. Бабушка подозрительно поглядѣла на него.

Полины Карповны не было. Она сказалась больною, прислала Марошькѣ цвѣты и деревья съ зеленью. Райскій заходилъ къ ней утромъ самъ, чтобы какъ-нибудь объяснить вчерашнюю свою сцену съ ней и узнать, не замѣтила ли она чего-нибудь. Но она встрѣтила его съ худо-скрываемымъ, подъ видомъ обидчивости, восторгомъ, хотя онъ прямо сказалъ ей, что обѣдалъ наканунѣ не дома, въ гостяхъ — тамъ много пили — и онъ выпилъ лишнюю рюмку—и вотъ „до чего дошелъ!"

Онъ просилъ прощенія и получилъ его съ улыбкой.

— А кто угадалъ: не говорила ли я? заключила она. И подъ рукой разсказала всѣмъ свою сцену обольщенія, замѣнивъ слово „упала" словомъ „пала".

Пришелъ къ обѣду и Тушинъ, еще наканунѣ пріѣхавшій въ городъ. Онъ подарилъ Марошькѣ хорошенькаго пони, для прогулокъ верхомъ: „если бабушка позволитъ", скромно прибавилъ онъ.

— Теперь не моя воля,—вонъ кого спрашивайте! задумчиво отвѣчала она, указывая на Викентьева и думая о другомъ.

Тушинъ навѣдался о Вѣрѣ и былъ какъ будто пораженъ ея нездоровьемъ, и тѣмъ, что она не вышла къ обѣду. Онъ былъ замѣтно взволнованъ.

Татьяна Марковна стала подозрительно смотрѣть и на Тушина, отчего это онъ вдругъ такъ озадаченъ тѣмъ, что Вѣры нѣтъ. Ея отсутствіе между гостями—не рѣдкость: это случалось при немъ прежде, но никогда не поражало его. „Что стало со вчерашняго вечера съ Вѣрой?" не выходило у ней изъ головы.

Съ Титомъ Никонычемъ сначала она побранилась, и чуть не подралась, за подарокъ туалета, а потомъ поговорила съ нимъ наединѣ четверть часа въ кабинетѣ, и онъ сталъ немного задумчивъ, меньше шаркалъ ножкой, и хотя говорилъ съ дамами, но самъ смотрѣлъ такъ серьезно и пытливо то на Райскаго, то на Тушина, что они глазами въ недоумѣніи спрашивали его, чего онъ отъ нихъ хочетъ. Онъ тотчасъ оправлялся и живо принимался говорить дамамъ „пріятности“.

Татьяна Марковна была такъ весела, безпечна, празднуя день рожденья Марфиньки и обдумывая, чѣмъ бы особенно отпраздновать черезъ двѣ недѣли именины Вѣры, чтобъ не обойти вниматель ностью одну передъ другой, хотя Вѣра и объявила наотрѣзъ, что въ именины свои уѣдетъ къ Аннѣ Ивановнѣ Тушиной, или къ Натальѣ Ивановнѣ.

Но съ полудня Татьяна Марковна такъ измѣнилась, такъ во всѣхъ подозрительно всматривалась, во все вслушивалась, что Райскій сравнивалъ ее съ конемъ, который безпечно жевалъ свой овесъ, уходя въ него мордой по уши и вдругъ услыхалъ шорохъ или почуялъ запахъ какого-то неизвѣстнаго и невидимаго врага. Онъ поднялъ уши и голову, красиво оборотилъ ее назадъ и неподвижно слушаетъ, широко открывъ глаза и сильно дохнувъ ноздрями. Ничего. Потомъ медленно оборотился къ яслямъ и все слушая, махнулъ раза три неторопливо головой, мѣрно стукнулъ раза три копытомъ, не то успокоивая себя, не то допрашиваясь о причинѣ, или предупреждая врага о своей бдительности—и опять запустилъ морду въ овесъ, но хруститъ осторожно, поднимая по временамъ голову и оборачивая ее назадъ. Онъ ужъ предупрежденъ и сталъ чутокъ. Жуетъ, а у самого вздрагиваетъ плечо, оборачивается ухо назадъ, впередъ и опять назадъ.

И бабушка, занимаясь гостями, вдругъ вспомнитъ, что съ Вѣрой „неладно“, что она не въ себѣ, не какъ всегда, а иначе, хуже, нежели какая была: такою она ее еще не видала никогда—и опять потеряется. Когда Маропька пришла сказать, что Вѣра нездорова и въ церкви не будетъ, Татьяна Марковна разсердилась сначала.

— Для тебя и для семейнаго праздника могла бы отложить свои причуды, сказала она,—и поѣхать къ обѣднѣ.

Но когда узнала, что она и къ обѣду не можетъ придти, она встревожилась за ея здоровье и поднялась къ ней сама. Отговорка простудой не обманула ее. Она по лицу увидала, а потомъ, поправляя косу, незамѣтно дотронулась до лба и удостовѣрилась, что простуды нѣтъ.

Но Вѣра блѣдна, на ней лица нѣтъ, она безпорядочно лежитъ на диванѣ, и потомъ въ платьѣ, какъ будто не раздѣвалась совсѣмъ, а пуще всего мертвая улыбка Вѣры поразила ее.

Она вспомнила, что Вѣра и Райскій пропадали долго наканунѣ вечеромъ и оба не ужинали. И она продолжала всматриваться въ Райскаго, а тотъ старался избѣгать ея взглядовъ—и этимъ только усиливалъ подозрѣнія.

У Райскаго болѣла душа пуще всѣхъ прежнихъ его мукъ. Сердце замирало отъ ужаса и за бабушку, и за бѣдную, трепетную, одинокую и недоступную для утѣшенія Вѣру.

Она улыбнулась ему, протянула руку, дала милыя права дружбы надъ собой—и тутъ же при немъ падала въ отчаяніи подъ тяжестью удара, поразившаго ее такъ быстро и неожиданно, какъ молнія.

Онъ видѣлъ, что участіе его было болѣе полезно и пріятно ему самому, но мало облегчало положеніе Вѣры, какъ участіе близкихъ лицъ къ трудному больному не утоляетъ его боли.

Надо вырвать корень болѣзни, а онъ былъ не въ одной Вѣрѣ, но и въ бабушкѣ—и во всей сложной совокупности другихъ обстоятельствъ: ускользнувшее счастье, разлука, поблекшія надежды жизни — все! Да, Вѣру не легко утѣшить!

И бабушку жаль! Какое ужасное, неожиданное горе нарушитъ миръ ея души! Что, если она вдругъ свалится! приходило ему въ голову: вонъ она—сама не своя, ничего еще не зная! У него подступали слезы къ глазамъ отъ этой мысли.

А на немъ еще лежитъ обязанность вонзить глубже ножъ въ сердце этой—своей матери!

„Что, если онѣ занемогутъ обѣ! Не послать ли за Натальей Ивановной?“ рѣшилъ онъ: „но надо прежде спросить Вѣру, а она...“

А она вдругъ явилась неожиданно среди гостей, послѣ обѣда, въ свѣтломъ праздничномъ платьѣ, но съ подвязаннымъ горломъ и въ теплой мантильѣ.

Райскій ахнулъ отъ изумленія. Сегодня еще она изнемогала, не могла говорить, а теперь сама пришла!

„Откуда женщины берутъ силы?“ думалъ онъ, слѣдя за ней, какъ она извинялась передъ гостями, съ обыкновенной улыбкой выслушала всѣ выраженія участія, сожалѣнія, смотрѣла подарки Марѳиньки.

Она отказалась отъ конфетъ, но съ удовольствіемъ съѣла ломоть холоднаго арбуза, сказавши, что у ней сильная жажда, и предупредивъ, что, къ сожалѣнію, не можетъ долго остаться съ гостями.

Бабушка немного успокоилась, что она пришла, но въ то же время замѣчала, что Райскій мѣняется въ лицѣ и старается не глядѣть на Вѣру. Въ первый разъ въ жизни, можетъ-быть, она проклинала гостей. А они усѣлись за карты, будутъ пить чай, ужинать, а Викентьевъ уѣдетъ только завтра.

Райскій былъ точно между двухъ огней.

— Что такое съ ней? шепчетъ ему съ одной стороны Татьяна Марковна: — ты, должно-быть, знаешь...

— Ахъ, скорѣй бы сказать ей все! выговариваютъ съ другой стороны отчаянные взгляды Вѣры.

Райскому хоть сквозь землю провалиться!

Тушинъ тоже смотритъ на Вѣру какими-то особенными глазами. И бабушка, и Райскій, а всего болѣе сама Вѣра замѣтила это.

Ее эти взгляды Тушина обдавали ужасомъ. „Не узналли? не слыхалъ-ли онъ чего?“ шептала ей совѣсть. Онъ ставитъ ее такъ высоко, думаетъ, что она лучше всѣхъ въ цѣломъ свѣтѣ! Теперь она, молча, будетъ красть его уваженіе... „Нѣтъ, пусть знаетъ и онъ! Пришли бы хоть новыя муки на смѣну этой ужасной пытки — казаться обманщицей!“ шептало въ ней отчаяніе.

Она тихо, не глядя на Тушина, поздоровалась съ нимъ. А онъ смотрѣлъ на нее съ участіемъ и съ какой-то особенной застѣнчивостью потуплялъ глаза.

— Нѣтъ, не могу выносить! Узнаю, что у него на умѣ... Иначе я упаду здѣсь, среди всѣхъ, если онъ еще... взглянетъ на меня не такъ, какъ всегда...

А онъ тутъ, какъ нарочно, и взглянулъ!

## V.

Она не выдержала, простилась съ гостями и сдѣлала Тушину, никому не замѣтный знакъ — слѣдовать за собой.

— У себя я васъ принять не могу, сказала она: — а вотъ пойдемте сюда въ аллею и походимъ немного.

— Не сыро ли, вы нездоровы...

— Ничего, ничего, пойдемте... торопила она.

Онъ взглянулъ на часы, сказалъ, что черезъ часъ уѣдетъ, велѣлъ вывести лошадей изъ сарая на дворъ, взялъ свой

бичъ съ серебряной рукояткой, накинулъ на руку макинтошъ и пошелъ за Вѣрой въ аллею.

— Я прямо начну, Иванъ Ивановичъ, сказала Вѣра, дрожа внутренно: — что̀ съ вами сегодня? Вы какъ будто... у васъ есть что-то на умѣ...

Она замолчала, кутая лицо въ мантилью и пожимая плечами отъ дрожи.

Онъ молча шелъ подлѣ нея, о чемъ-то думая, а она боялась поднять на него глаза.

— Вы нездоровы сегодня, Вѣра Васильевна, сказалъ онъ задумчиво:—я лучше отложу до другого раза. Вы не ошиблись, я хотѣлъ поговорить съ вами...

— Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, сегодня! торопливо перебила она:—что у васъ такое? я хочу знать... Мнѣ хотѣлось бы самой поговорить съ вами... можетъ-быть, я опоздала... Не могу стоять, я сяду, прибавила она, садясь на скамью.

Онъ не замѣтилъ ни ея ужаса и тоски, ни ея словъ, что она тоже готовилась „поговорить съ нимъ". Онъ былъ поглощенъ своей мыслью. А ее жгла догадка, что онъ узналъ все и сейчасъ дастъ ей ударъ ножа, какъ Райскій.

— Ахъ, пусть! скорѣй бы только всѣ удары разомъ!.. шептала она.

— Говорите же! сказала потомъ, мучась про себя вопросами, какъ и гдѣ могъ онъ узнать?

— Сегодня я шелъ сюда...

— Что же, говорите! почти крикнула она.

— Не могу, Вѣра Васильевна, воля ваша!

Онъ прошелъ шага два отъ нея дальше.

— Не казните меня! едва шептала она.

— Я люблю васъ... началъ онъ, вдругъ воротясь къ ней.

— Ну, я знаю. И я васъ тоже... что̀ за новость! Что̀ же дальше?... Вы... слышали что̀-нибудь...

— Гдѣ? что̀? спрашивалъ онъ, оглядываясь кругомъ и думая, что она слышитъ какой-нибудь шумъ.

— Я ничего не слышу.

Онъ замѣтилъ ея волненіе, и вдругъ у него захватило духъ отъ радости. „Она проницательна, угадала давно мою тайну и раздѣляетъ чувство... волнуется, требуетъ откровеннаго и короткаго слова...“

Все это быстро пронеслось у него въ головѣ.

— Вы такъ благородны, прекрасны, Вѣра Васильевна... такъ чисты...

— Ахъ! вскрикнула она отчаяннымъ голосомъ, хотѣла встать и не могла:—вы ругаетесь надо мной... ругайтесь—возьмите этотъ бичъ, я стою!.. Но вы ли это, Иванъ Ивановичъ!

Она съ горькимъ изумленіемъ и мольбой сложила передъ нимъ руки.

Онъ въ страхѣ глядѣлъ на нее.

„Она больна!“ подумалъ онъ.

— Вы нездоровы, Вѣра Васильевна, съ испугомъ и волненіемъ сказалъ онъ ей:—простите меня, что я не во̀-время затѣялъ.

— Развѣ не все равно, днемъ раньше, днемъ позже—но все скажете же... говорите же разомъ, сейчасъ!.. И я скажу, зачѣмъ я позвала васъ сюда, въ аллею...

Его опять бросило въ противную сторону.

— Ужели это правда? едва сдерживаясь отъ радости сказалъ онъ.

— Что̀—правда? спросила она, вслушиваясь въ этотъ внезапный радостный тонъ.—Вы что-то другое хотите сказать, а не то, что̀ я думала... покойнѣе прибавила она.

— Нѣтъ, то самое... я полагаю...

— Скажите же, перестаньте мучить меня!

— Я васъ люблю...

Она поглядѣла на него и ждала.

— Мы старые друзья, сказала она:—и я васъ...

— Нѣтъ, Вѣра Васильевна, люблю еще— какъ женщину...

Она вдругъ выпрямилась и окаменѣла, почти не дыша.

— Какъ первую женщину въ цѣломъ мірѣ! Если бъ я смѣлъ мечтать, что вы хоть отчасти раздѣляете это чувство... нѣтъ, это много, я не стòю... если одобряете его, какъ я надѣялся... если не любите другого, то... будьте моей лѣсной царицей, моей женой,—и на землѣ не будетъ никого счастливѣе меня!.. Вотъ чтò хотѣлъ я сказать—и долго не смѣлъ! Хотѣлъ отложить это до вашихъ именинъ, но не выдержалъ и пріѣхалъ, чтобы сегодня, въ семейный праздникъ, въ день рожденія вашей сестры...

Она всплеснула руками надъ головой.

— Иванъ Ивановичъ! простонала она, падая къ нему на руки.

— Нѣтъ,—это не радость! сверкнуло въ немъ—и онъ чувствовалъ, что волосы у него встаютъ на головѣ: „такъ не радуются!“

Онъ посадилъ ее на скамью.

— Чтò съ вами, Вѣра Васильевна? вы или больны, или у васъ большое горе?... овладѣвъ собой, почти покойно спросилъ онъ.

— Большое, Иванъ Ивановичъ, я умру!

— Чтò съ вами, говорите, ради Бога, чтò такое случилось? Вы сказали, что хотѣли говорить со мной; сталобыть, я нуженъ... Нѣтъ такого дѣла, котораго бы я не сдѣлалъ! приказывайте, забудьте мою глупость... Чтò надо... чтò надо сдѣлать?

— Ничего не надо, шептала она:—мнѣ надо сказать вамъ... Бѣдный Иванъ Ивановичъ, и вы!... За что вы будете пить мою чашу? Боже мой! говорила она, глядя сухими глазами на небо:—ни молитвы, ни слезъ у меня нѣтъ! ни откуда облегченія и помощи никакой!

— Что вы, Вѣра Васильевна! что это, другъ мой, за слова, что за глубокое отчаяніе?

— Зачѣмъ еще этотъ ударъ! Довольно ихъ безъ него! Знаете ли вы, кого любите? говорила она, глядя на него точно спящими, безжизненными глазами, едва выговаривая слова.

Онъ молчалъ, дѣлая и отвергая догадки. Онъ бросилъ макинтошъ и отиралъ потъ съ лица. Онъ изъ этихъ словъ видѣлъ, что его надежды разлетѣлись въ дребезги, понялъ, что Вѣра любитъ кого-то... Другого ничего онъ не видѣлъ, не предполагалъ. Онъ тяжело вздохнулъ и сидѣлъ неподвижно, ожидая объясненія.

— Бѣдный другъ мой! сказала она, взявъ его за руку.

У него сердце сжалось отъ этихъ простыхъ словъ; онъ почувствовалъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ „бѣдный". Ему было жаль себя, а еще больше жаль Вѣры.

— Благодарю васъ! прошепталъ онъ, еще не зная, но предчувствуя одно: что она ему принадлежать не можетъ.

— Простите, продолжалъ потомъ:—я ничего не зналъ, Вѣра Васильевна. Вниманіе ваше дало мнѣ надежду. Я дуракъ — и больше ничего... Забудьте мое предложеніе и попрежнему давайте мнѣ только права друга... если стòю, прибавилъ онъ, и голосъ на послѣднемъ словѣ у него упалъ.—Не могу ли я помочь? Вы, кажется, ждали отъ меня услуги?

— Стòите ли! А я стòю?

— Вы, Вѣра Васильевна, всегда будете стоять для меня такъ высоко...

— Я упала, бѣдный Иванъ Иванычъ, съ этой высоты, и никто ужъ не подниметъ меня... Хотите знать, куда я упала? Пойдемте, вамъ сейчасъ будетъ легче...

Она тихо, шатаясь и опираясь ему на руку, привела его къ обрыву.

— Знаете вы это мѣсто?

— Да, знаю; тамъ похороненъ самоубійца...

— Тамъ похоронена и ваша „чистая" Вѣра: ея ужъ нѣтъ больше. . Она на днѣ этого обрыва...

Она была блѣдна и говорила съ какимъ-то рѣшительнымъ отчаяніемъ.

— Что̀ такое вы говорите? Я ничего не понимаю... Объясните, Вѣра Васильевна, прошепталъ онъ, обмахивая лицо платкомъ.

Она привстала, оперлась ему рукой на плечо, остановилась, собираясь съ силами, потомъ склонила голову, минуты въ три, шопотомъ, отрывисто сказала ему нѣсколько фразъ и опустилась на скамью. Онъ поблѣднѣлъ.

Его вдругъ пошатнуло. Онъ какъ будто потерялъ равновѣсіе и сѣлъ на скамью. Вѣра и въ сумерки увидѣла, какъ онъ былъ блѣденъ.

— А я думалъ... сказалъ онъ съ странной улыбкой, будто стыдясь своей слабости и вставая медленно и тяжело со скамьи:—что меня только медвѣдь свалитъ съ ногъ!

Потомъ подошелъ къ ней.

— Кто онъ и гдѣ онъ? шепнулъ онъ.

Она вздрогнула отъ этого вопроса. Такъ изумителенъ, грубъ и неестественъ былъ онъ въ устахъ Тушина. Ей казалось непостижимо, какъ онъ посягаетъ, безъ пощады женскаго, всякому понятнаго чувства, на такую откровенность, какой женщины не дѣлаютъ никому. „Зачѣмъ?" втайнѣ удивлялась она: „у него должны быть какія-нибудь особыя причины—какія?"

— Маркъ Волоховъ! смѣло сказала она, осиливъ себя.

Онъ остолбенѣлъ на минуту. Потомъ вдругъ схватилъ свой бичъ за рукоятку обѣими руками и съ трескомъ изломалъ его въ одну минуту о колѣно въ мелкіе куски, съ яростью бросивъ на землю щепки дерева и куски серебра.

— То же будетъ и съ нимъ! прорычалъ онъ, нагибаясь къ ея лицу, трясясь и ощетинясь, какъ звѣрь, готовый скакнуть на врага.

— Онъ тамъ теперь? спросилъ онъ, указывая на обрывъ. Только слышалось его тяжелое дыханіе. Она съ изумленіемъ глядѣла на него и отступила за скамью.

— Мнѣ страшно, Иванъ Ивановичъ, пощадите меня! уйдите! шептала она въ ужасѣ, протягивая обѣ руки, какъ бы защищаясь отъ него.

— Прежде убью его, потомъ... уйду! говорилъ онъ, едва владѣя собой.

— Это вы для меня сдѣлаете, чтобъ облегчить меня, или... для себя?

Онъ молчалъ, глядя въ землю. Потомъ сталъ ходить большими шагами взадъ и впередъ.

— Что же мнѣ дѣлать, научите, Вѣра Васильевна? спросилъ онъ, все еще трясясь отъ раздраженія.

— Прежде всего успокойтесь и скажите, за что вы хотите убить его, и хочу ли я этого?

— Онъ врагъ вашъ, и слѣдовательно — мой... чуть слышно прибавилъ онъ.

— Враговъ развѣ убиваютъ?

Онъ потупилъ голову, увидалъ разбросанные обломки бича у ногъ, наклонился, будто стыдясь, собралъ ихъ и сунулъ въ карманъ макинтоша.

— Я не жалуюсь на него, помните это. Я одна... виновата... а онъ правъ... едва договорила она съ такой

горечью, съ такой внутренней мукой, что Тушинъ вдругъ взялъ ее за руку.

— Вѣра Васильевна—вы ужасно страдаете!

Она молчала. А онъ съ участіемъ и удивленіемъ глядѣлъ на нее.

— Я ничего не понимаю, сказалъ онъ:—„не виноватъ", „не жалуюсь": въ такомъ случаѣ—о чемъ хотѣли поговорить со мной? зачѣмъ вы звали меня сюда, въ аллею?...

— Я хотѣла, чтобъ вы знали все...

Она, отворотясь, молча глядѣла къ обрыву. И онъ поглядѣлъ туда, потомъ на нее, и все стоялъ передъ ней, съ вопросомъ въ глазахъ.

— Послушайте, Вѣра Васильевна, не оставляйте меня въ потемкахъ. Если вы нашли нужнымъ довѣрить мнѣ тайну... Онъ на этомъ словѣ съ страшнымъ усиліемъ перемогъ себя: — которая касалась васъ одной, то объясните всю исторію...

— Ваше нынѣшнее лицо, особенные взгляды, которые вы обращали ко мнѣ—я не поняла ихъ. Я думала, вы знаете все, хотѣла допроситься, что у васъ на умѣ... Я поторопилась... Но все равно, рано или поздно—я сказала бы вамъ... Сядьте, выслушайте меня и потомъ оттолкните!

Онъ, положивъ локти на колѣни и спрятавъ лицо въ ладони, слушалъ ее.

Она передала ему въ короткихъ словахъ исторію. Онъ всталъ, минуты три ходилъ взадъ и впередъ, потомъ остановился передъ ней.

— Вы простили его? спросилъ онъ.

— За что? Вы видите, что... я одна виновата...

— И... простились съ нимъ, или... надѣетесь, что онъ опомнится и воротится?

Она покачала головой.—Между нами нѣтъ ничего общаго... Мы разошлись давно. Я никогда не увижу его.

— Теперь я только начинаю немного понимать, и то не все, сказалъ, подумавши, Тушинъ и вздохнулъ, какъ волъ, котораго отпрягли.—Я думалъ, что вы нагло обмануты.

— Нѣтъ, нѣтъ...

— И зовете меня на помощь; думалъ, что пришла пора медвѣдю „сослужить службу“ и чуть было не оказалъ вамъ въ самомъ дѣлѣ „медвѣжьей услуги“, добавилъ онъ, вынимая изъ кармана и показывая ей обломокъ бича.—Отъ этого я позволилъ себѣ сдѣлать вамъ дерзкій вопросъ объ имени... Простите меня, ради Бога, и скажите и остальное: зачѣмъ вы открыли мнѣ это?

— Я не хотѣла, чтобъ вы думали обо мнѣ лучше, чѣмъ я есть... и уважали меня...

— Какъ же вы это сдѣлаете? Я не перестану думать о васъ, что̀ думалъ всегда, и не уважать не могу.

Какой-то лучъ блеснулъ у ней въ глазахъ и тотчасъ же потухъ.

— Вы хотите принудить себя уважать меня. Вы добры и великодушны; вамъ жаль бѣдную, падшую... и вы хотите поднять ее... Я понимаю ваше великодушіе, Иванъ Ивановичъ, но не хочу его. Мнѣ нужно, чтобъ вы знали и... не отняли руки, когда я подамъ вамъ свою.

Она подала ему руку, онъ поцѣловалъ ее. Онъ съ нетерпѣніемъ и грустью слушалъ ее.

— Вѣра Васильевна! сказалъ онъ сдержаннымъ, почти оскорбленнымъ тономъ:—я насильно уважать никого не могу. Тушинъ не лжетъ. Если я кому-нибудь кланяюсь съ уваженіемъ,—то и уважаю, или не поклонюсь. Я кланяюсь вамъ попрежнему, а люблю—извините, къ слову пришлось,—еще больше прежняго, потому что... вы несчастливы. У васъ большое горе, такое же, какъ у меня! Вы потеряли надежду на счастье... Напрасно только вы сказали мнѣ вашу тайну... прибавилъ онъ съ уныніемъ,

почти съ отчаяніемъ.—Если бъ я узналъ ее и не отъ васъ, я бы уважать васъ не пересталъ. Этой тайны вы не обязаны повѣрять никому. Она принадлежитъ вамъ одной, и никто не смѣетъ судить васъ.

Онъ едва договорилъ и съ трудомъ вздохнулъ, скрадывая тяжесть этого вздоха отъ Вѣры. Голосъ у него дрожалъ противъ воли. Видно было, что эта „тайна", тяжесть которой онъ хотѣлъ облегчить для Вѣры, давила теперь не одну ее, но и его самого. Онъ страдалъ—и хотѣлъ, во что̀ бы то ни стало, скрыть это отъ нея...

— Все равно, я должна была сказать вамъ ее сегодня же, когда вы сдѣлали предложеніе... Обмануть я васъ не могла.

Онъ отрицательно покачалъ головой.

— На мое предложеніе вы могли отвѣчать мнѣ короткимъ *нѣтъ*. Но какъ вы удостоиваете меня особой дружбы, то объяснили бы ласково, съ добротой, чтобъ позолотить это *нѣтъ*, что вы любите другого—вотъ и все. Я не спросилъ бы даже—кого. А тайну... должны были сберечь про себя, тутъ не было бы никакого обмана. Вотъ, если бъ вы, любя другого, приняли мое предложеніе... изъ страха, или другихъ цѣлей... это былъ бы обманъ, „паденіе", пожалуй, „потеря чести". Но вы этого никогда бы не сдѣлали. А то̀... Онъ головой кивнулъ на обрывъ и шопотомъ добавилъ, будто про себя,—несчастье... ошибка...

Онъ едва говорилъ, перемогая съ медвѣжьей силой внутреннюю муку, чтобъ она не замѣтила, что̀ было въ немъ самомъ.

— Несчастье! шепталъ онъ: — онъ уйдетъ правъ изъ обрыва, а вы виноваты! Гдѣ же правда?...

— Все равно, я сказала бы вамъ, Иванъ Ивановичъ. Это не для васъ нужно было, а для меня самой... Вы знаете... какъ я дорожила вашей дружбой: скрыть отъ

васъ—это было бы мукой для меня.—Теперь мнѣ легче—я могу смотрѣть прямо вамъ въ глаза, я не обманула васъ...

Она не могла говорить отъ прихлынувшихъ слезъ и зажала лицо платкомъ. Онъ чуть не заплакалъ самъ, но только вздрогнулъ, наклонился и опять поцѣловалъ у ней руку.

— Вотъ это другое дѣло; благодарю васъ, благодарю! торопливо говорилъ онъ, скрадывая волненіе. — Вы дѣлаете мнѣ большое добро, Вѣра Васильевна. Я вижу, что дружба ваша ко мнѣ не пострадала отъ другого чувства, значитъ, она сильна. Это большое утѣшеніе! Я буду счастливъ и этимъ... со временемъ, когда мы успокоимся оба...

— Ахъ, Иванъ Ивановичъ, если бъ можно было вычеркнуть этотъ годъ жизни...

— Забыть его скорѣй: это и будетъ все равно, что вычеркнуть...

— А гдѣ взять забвенія и силы перенести?

— У друзей,—шепнулъ онъ: — и въ томъ числѣ... у меня...

Она вздохнула будто свободнѣе—будто опять глотнула свѣжаго воздуха, чувствуя, что подлѣ нея воздвигается какая-то сила, встаетъ, въ лицѣ этого человѣка, крѣпкая, твердая гора, которая способна укрыть ее въ своей тѣни и каменными своими боками оградить—не отъ бѣдъ страха, не отъ физическихъ опасностей, а отъ первыхъ, горячихъ натисковъ отчаянія, отъ дымящейся еще язвы страсти, отъ горькаго разочарованія.

— Я вѣрю вашей дружбѣ, Иванъ Ивановичъ. Благодарю васъ, говорила она, утирая слезы.—Мнѣ немного легче... и было бы еще легче, если бъ... не бабушка.

— Она еще не знаетъ? спросилъ онъ и вдругъ замолчалъ, почувствовавъ, что въ вопросѣ его былъ упрекъ.

Онъ потупилъ голову, представляя себѣ, какъ это поразитъ Татьяну Марковну, но остерегался обнаружить передъ Вѣрой свою боязнь.

— Сегодня, вы видите, гости, нельзя. Завтра она все узнаетъ... Прощайте, Иванъ Иванычъ, я ужасно страдаю—пойду и лягу.

Онъ глядѣлъ на Вѣру долго.

— Боже мой! какой слѣпой дуракъ этотъ Волоховъ—или какая... бестія! думалъ онъ съ дрожью ярости.

— Не прикажете ли чего-нибудь? не нужно ли вамъ... спросилъ онъ.

— Да, попросите Наташу пріѣхать завтра, или послѣзавтра, ко мнѣ.

— А мнѣ можно побывать на той недѣлѣ? спросилъ онъ робко:—узнать, успокоились ли вы...

— Успокойтесь сами, Иванъ Иванычъ — и прощайте теперь. Я едва держусь на ногахъ...

Онъ простился съ ней и такъ погналъ лошадей съ крутой горы, что чуть самъ не сорвался съ обрыва. По временамъ онъ, по привычкѣ, хватался за бичъ, но вмѣсто его подъ руку попадали ему обломки въ карманѣ; онъ разбросалъ ихъ по дорогѣ. Однако онъ опоздалъ переправиться за Волгу, ночевалъ у пріятеля въ городѣ и уѣхалъ къ себѣ рано утромъ.

## VI.

Настало и завтра. Шумно и весело поднялся домъ на ноги. Лакеи, повара, кучера—все хлопотало, суетилось: одни готовили завтракъ, другіе закладывали экипажи, и съ утра опять всѣ напились пьяны.

Бабушка отпускала Марѳиньку за Волгу, къ будущей роднѣ, противъ обыкновенія, молчаливо, съ нѣкоторой пе-

чалью. Она не обременяла ее наставленіями, не вдавалась въ мелочныя предостереженія, даже на вопросы Марѳиньки, что̀ взять съ собой, какія платья, вещи—разсѣянно отвѣчала:—Что̀ тебѣ вздумается. И велѣла Василисѣ и дѣвушкѣ Натальѣ, которую посылала съ ней, снарядить и уложить что̀ нужно.

Она поручила свое дитя Марьѣ Егоровнѣ, матери жениха, а послѣднему довольно серьезно замѣтила, чтобы онъ тамъ, въ деревнѣ, соблюдалъ тонкое уваженіе къ невѣстѣ, и особенно при чужихъ людяхъ, какихъ-нибудь сосѣдяхъ, воздерживался отъ той свободы, которою онъ пользовался при ней и своей матери, въ обращеніи съ Марѳинькой, что другіе, пожалуй, перетолкуютъ иначе—словомъ, чтобъ не бѣгалъ съ ней тамъ по рощамъ и садамъ, какъ здѣсь.

Замѣтивъ, что Викентьевъ нѣсколько покраснѣлъ отъ этого предостереженія, какъ будто обидѣлся тѣмъ, что въ немъ предполагаютъ недостатокъ такта, и что и мать его закусила немного нижнюю губу и стала слегка бить тактъ ботинкой, Татьяна Марковна перешла въ дружескій тонъ, потрепала „милаго Николеньку“ по плечу и прибавила, что сама знаетъ, какъ напрасны эти слова, но что говоритъ ихъ по привычкѣ старой бабы—читать мораль. Послѣ того она тихо, про себя, вздохнула и уже ничего не говорила до отъѣзда гостей.

Къ завтраку пришла и Вѣра, блѣдная, будто съ невыспавшимися глазами. Она сказала, что ей легче, но что у ней все еще немного болитъ голова.

Татьяна Марковна была съ ней ласкова, а Марья Егоровна Викентьева бросила на нее, среди разговора, два-три загадочныхъ взгляда, какъ будто допрашиваясь: что съ ней? отчего эта боль безъ болѣзни? что это она не пришла вчера къ обѣду, а появилась на минуту и потомъ ушла, а за ней

пошелъ Тушинъ, и они ходили цѣлый часъ въ сумерки?... И такъ далѣе.

Но хитрая и умная барыня не дала никакого другого хода этимъ вопросамъ, и они выглянули у ней только изъ глазъ, и на минуту. Вѣра однако прочла ихъ, хотя та перемѣнила взглядъ сомнѣнія на взглядъ участія. Прочла и Татьяна Марковна.

Вѣра была равнодушна къ этимъ вопросамъ, а Татьяна Марковна нѣтъ. Она вдругъ поникла головой и стала смотрѣть въ полъ.

„И другіе допрашиваются, а я не знаю! А она родилась при мнѣ: она—мое дитя!“ думала она съ печалью.

Вѣра была блѣдна, лицо у ней, какъ камень; ничего не прочтешь на немъ. Жизнь точно замерзла, хотя она и говоритъ съ Марьей Егоровной обо всемъ, и съ Марѳинькой и съ Викентьевымъ. Она заботливо спросила у сестры, запаслась ли она теплой обувью, совѣтовала надѣть плотное шерстяное платье, предложила свой пледъ и просила, при переправѣ чрезъ Волгу, сидѣть въ каретѣ, чтобъ не продуло.

Райскій, воротясь съ прогулки, пришелъ къ завтраку, тоже съ какимъ-то страннымъ, рѣшительнымъ лицомъ, какъ будто у человѣка впереди было сраженіе, или другое важное, роковое событіе, и онъ приготовлялся къ нему. Что-то обработалось, выяснилось, или предѣлилось въ немъ. Вчерашней тучи не было. Онъ такъ же покойно глядѣлъ на Вѣру, какъ на прочихъ, не избѣгалъ взглядовъ и Татьяны Марковны, и этимъ поставилъ ее опять въ недоумѣніе.

„У этого что-то новое; смотритъ не повчерашнему, говоритъ другое, нежели что̀ говорилъ вчера, наперекоръ себѣ. Господи, что за омутъ у нихъ!“ думала она.

Райскій обѣщалъ Викентьевымъ пріѣхать къ нимъ дня на два и очень былъ внимателенъ къ предложеніямъ жениха, поохотиться, половить рыбу.

Наконецъ гости собрались. Татьяна Марковна и Райскій поѣхали проводить ихъ до берега. Вѣра простилась съ Марѳинькой и осталась дома.

Тѣсенъ былъ міръ, въ которомъ и прежде вращалась жизнь Вѣры, а теперь сдѣлался еще тѣснѣе. Исключительная, глубокая натура ея долго довольствовалась тѣмъ запасомъ наблюденій, небольшихъ опытовъ, которые она добывала около себя. Нѣсколько человѣкъ замѣняли ей толпу: то̀, что другой соберетъ со многихъ встрѣчъ, въ многіе годы и во многихъ мѣстахъ,—давалось ей въ двухъ-трехъ уголкахъ, по ту и другую сторону Волги, съ пяти-шести лицъ, представлявшихъ для нея весь людской міръ, и въ промежутокъ нѣсколькихъ лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ понятія у ней созрѣли и сложились въ болѣе или менѣе опредѣленный взглядъ. Инстинктъ и собственная воля писали ей законы ея пока дѣвической жизни, а сердце чутко указывало на тѣхъ, кому она могла безошибочно дать нѣкоторыя симпатіи.

И она давала ихъ осторожно, не тратила, какъ Марѳинька, на всѣхъ. Изъ постороннихъ только жена священника была чѣмъ-то въ родѣ ея наперсницы, да Тушина она открыто признавала и называла своимъ другомъ,—больше никого.

Она не теряла изъ вида путеводной нити жизни, и изъ мелкихъ явленій, изъ немудреныхъ личностей, толпившихся около нея, дѣлала не мелкіе выводы, практиковала силу своей воли надъ окружавшею ее застарѣлостью, деспотизмомъ, грубостью нравовъ.

Она, по этой простой канвѣ, умѣла чертить широкій, смѣлый узоръ болѣе сложной жизни, другихъ требованій, идей, чувствъ, которыхъ не знала, но угадывала, читая за строками простой жизни другія строки, которыхъ жаждалъ ея умъ и требовала натура.

Она смотрѣла вокругъ себя и видѣла—не то, что̀ есть, а то̀, что должно быть, что̀ ей хотѣлось чтобъ было, и такъ какъ этого не было, то она брала изъ простой жизни около себя только одно живое, вѣрное, созидая образъ противоположный тому, за немногими исключеніями, что̀ было около.

Въ область мысли, знанія, она вступила также недовѣрчивымъ и осторожнымъ шагомъ, какъ была осторожна и скупа въ симпатіяхъ. Читала она книги въ библіотекѣ стараго дома, сначала отъ скуки, безъ выбора и системы, доставая съ полки, что̀ попадется, потомъ изъ любопытства, наконецъ нѣкоторыя съ увлеченіемъ.

Скоро она почувствовала безцѣльность и безплодность этого странствія по чужимъ умамъ, безъ руководящей нити. Она хитро наводила на разговоръ Козлова, почти не спрашивая и не показывая вида, что слушаетъ, и особенно никогда ни передъ кѣмъ не хвастаясь, что знаетъ то или другое, чего не знаютъ окружающіе. Потомъ, съ повѣркой его взгляда, перечитывала книги опять, и находила въ нихъ больше смысла и интереса. По просьбѣ молодого священника, возила книги ему, и опять слушала, не дѣлаясь семинаристомъ, разсѣянно, его мысли и впечатлѣнія, высказанныя подъ вліяніемъ того или другого автора.

Послѣ всѣхъ пришелъ Маркъ—и внесъ новый взглядъ во все то, что̀ она читала, слышала, что̀ знала, взглядъ полнаго и дерзкаго отрицанія всего, отъ начала до конца, небесныхъ и земныхъ авторитетовъ, старой жизни, старой науки, старыхъ добродѣтелей и пороковъ. Онъ, съ преждевременнымъ тріумфомъ, явился къ ней, предвидя побѣду, и ошибся.

Она съ изумленіемъ увидѣла этотъ новый, вдругъ вырвавшійся откуда-то потокъ смѣлыхъ, иногда увлекательныхъ идей, но не бросилась въ него слѣпо и тщеславно, изъ мелкой боязни показаться отсталою, а также пытливо и осто-

рожно стала всматриваться и вслушиваться въ горячую проповѣдь новаго апостола.

Ей прежде всего бросилась въ глаза—зыбкость, односторонность, пробѣлы, мѣстами будто умышленная ложь пропаганды, на которую тратились живыя силы, дарованія, бойкій умъ и ненасытная жажда самолюбія и самонадѣянности, въ ущербъ простымъ и очевиднымъ готовымъ уже правдамъ жизни, только потому, какъ казалось ей, что онѣ были готовыя.

Иногда, въ этомъ безусловномъ рвеніи къ какой-то новой правдѣ, видѣлось ей только неумѣнье справиться съ старой правдой, бросающейся къ новой, которая давалась, не опытомъ и борьбой всѣхъ внутреннихъ силъ, а гораздо дешевле, безъ борьбы и сразу, на основаніи только слѣпого презрѣнія ко всему старому, не различавшаго стараго зла отъ стараго добра, и принималась на вѣру отъ непровѣренныхъ ничѣмъ новыхъ авторитетовъ, нивѣсть откуда взявшихся новыхъ людей—безъ имени, безъ прошедшаго, безъ исторіи, безъ правъ.

Она добиралась въ проповѣди и увлеченіяхъ Марка чего-нибудь вѣрнаго и живого, на что̀ можно опереться, что̀ можно полюбить, что̀ было такъ прочно, необманчиво въ старой жизни, которой, во имя этого прочнаго, живого и вѣрнаго, она прощала ея смѣшныя, вредныя уродливости, ея весь отжившій соръ.

Она страдала за эти уродливости и отъ этихъ уродливостей, мѣшавшихъ жить, чувствовала нерѣдко цѣпи и готова бы была, ради правды, подать руку пылкому товарищу, другу, пожалуй, мужу, наконецъ... чѣмъ бы онъ ни былъ для нея,—и идти на борьбу противъ старыхъ враговъ, стирать ложь, мести соръ, освѣщать темные углы, смѣло, не слушая старыхъ, разбитыхъ голосовъ, не только Тычковыхъ, но и самой бабушки, тамъ,

гдѣ послѣдняя безусловно опирается на старое, вопреки своему разуму,—вывести, если можно, и ее на другую дорогу. Но для этого нужно было ей глубоко и невозвратно убѣдиться, что истина—впереди.

Она шла не самонадѣянно, а напротивъ съ сомнѣніями, не ошибается ли она, не правъ ли проповѣдникъ, нѣтъ ли въ самомъ дѣлѣ тамъ, куда такъ пылко стремится онъ, чего-нибудь такого чистаго, свѣтлаго, разумнаго, что̀ могло бы не только избавить людей отъ всякихъ старыхъ оковъ, но открыть Америку, новый, свѣжій воздухъ, поднять человѣка выше, нежели онъ былъ, дать ему больше, нежели онъ имѣлъ.

Она прислушивалась къ обѣщаннымъ имъ благамъ, читала приносимыя имъ книги, бросалась къ старымъ авторитетамъ, сводила ихъ про себя на очную ставку,—но не находила ни новой жизни, ни счастья, ни правды, ничего того, что̀ обѣщалъ, куда звалъ смѣлый проповѣдникъ.

А сама шла все за нимъ, увлекаемая жаждой знать, что̀ кроется за этой странной и отважной фигурой.

Дѣло пока ограничивалось безпощаднымъ отрицаніемъ всего, во что̀ вѣритъ, что̀ любитъ, на что̀ надѣется живущее большинство. Маркъ клеймилъ это враждой и презрѣніемъ: но Вѣра сама многаго не признаетъ въ старомъ свѣтѣ. Она и безъ него знаетъ и видитъ болѣзни: ей нужно знать, гдѣ Америка? Но ея Колумбъ, вмѣсто живыхъ и страстныхъ идеаловъ правды, добра, любви, человѣческаго развитія и совершенствованія, показываетъ ей только рядъ могилъ, готовыхъ поглотить все, чѣмъ жило общество до сихъ поръ. Это были фараоновы тощія коровы, пожиравшія толстыхъ и не дѣлавшіяся сами отъ того толще.

Онъ, во имя истины, развѣнчалъ человѣка въ одинъ животный организмъ, отнявши у него другую, не животную сторону. Въ чувствахъ видѣлъ только рядъ кратковре-

менныхъ встрѣчъ и грубыхъ наслажденій, обнажая ихъ даже отъ всякихъ иллюзій, составляющихъ роскошь человѣка, въ которой отказано животному.

Самый процессъ жизни онъ выдавалъ и за ея конечную цѣль. Разлагая матерію на составныя части, онъ думалъ, что разложилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и все, что выражаетъ матерія.

Угадывая законы явленія, онъ думалъ, что уничтожилъ и невѣдомую силу, давшую эти законы, только тѣмъ, что отвергалъ ее, за неимѣніемъ пріемовъ и свойствъ ума, чтобы уразумѣть ее. Закрывалъ доступъ въ вѣчность и къ безсмертію всѣмъ религіознымъ и философскимъ упованіямъ, разрушая, младенческими химическими или физическими опытами, и вѣчность, и безсмертіе, думая своей дѣтской тросточкой, какъ рычагомъ, шевелить дальніе міры, и заставляя всю вселенную отвѣчать отрицательно на религіозныя надежды и стремленія „отжившихъ“ людей.

Между тѣмъ, отрицая въ человѣкѣ человѣка—съ душой, съ правами на безсмертіе, онъ проповѣдывалъ какую-то правду, какую-то честность, какія-то стремленія къ лучшему порядку, къ благороднымъ цѣлямъ, не замѣчая, что все это дѣлалось ненужнымъ, при томъ указываемомъ имъ, случайномъ порядкѣ бытія, гдѣ люди, по его словамъ, толпятся, какъ мошки въ жаркую погоду въ огромномъ столбѣ, сталкиваются, мятутся, плодятся, питаются, грѣются и исчезаютъ въ безтолковомъ процессѣ жизни, чтобъ завтра дать мѣсто другому такому же столбу.

„Да, если это такъ“, думала Вѣра, „тогда не стоитъ работать надъ собой, чтобы къ концу жизни стать лучше, чище, правдивѣе, добрѣе. Зачѣмъ? Для обихода на нѣсколько десятковъ лѣтъ? Для этого надо запастись, какъ муравью зернами на зиму, обиходнымъ умѣньемъ жить, такою честностью, которой—синонимъ ловкость, такими

зернами, чтобъ хватило на жизнь, иногда очень короткую, чтобъ было тепло, удобно... Какіе же идеалы для муравьевъ? Нужны муравьиныя добродѣтели... Но такъ ли это? Гдѣ доказательства?"

А онъ требовалъ не только честности, правды, добра, но и вѣры въ свое ученіе, какъ требуетъ ее другое ученіе, которое за нее обѣщаетъ—безсмертіе въ будущемъ, и въ залогъ этого обѣщанія, даетъ и въ настоящемъ просимое всякому, кто проситъ, кто стучится, кто ищетъ.

Новое ученіе не давало ничего, кромѣ того, что было до него: ту же жизнь, только съ уничиженіями, разочарованіями, и впереди обѣщало—смерть и тлѣнъ. Взявши девизы своихъ добродѣтелей изъ книги стараго ученія, оно обольстилось буквою ихъ, не вникнувъ въ духъ и глубину, и требовало исполненія этой буквы" съ такой злобой и нетерпимостью, противъ которой остерегало старое ученіе. Оставивъ себѣ одну животную жизнь, „новая сила" не создала, вмѣсто отринутаго стараго, никакого другого, лучшаго идеала жизни.

Вглядѣвшись и вслушавшись во все, что̀ проповѣдь юнаго апостола выдавала за новыя правды, новое благо, новыя откровенія, она съ удивленіемъ увидѣла, что все то̀, что̀ было въ его проповѣди добраго и вѣрнаго—не ново, что оно взято изъ того же источника, откуда черпали и не новые люди, что сѣмена всѣхъ этихъ новыхъ идей, новой „цивилизаціи", которую онъ проповѣдывалъ такъ хвастливо и таинственно, заключены въ старомъ ученіи.

Отъ этого она только сильнѣе увѣровала въ послѣднее и убѣдилась, что—какъ—далеко человѣкъ не иди впередъ, онъ не уйдетъ отъ него, если только не бросится съ прямой дороги въ сторону, или не пойдетъ назадъ, что самые противники его черпаютъ изъ него же, что наконецъ ученіе это—есть единственный, непогрѣшительный,

совершеннѣйшій идеалъ жизни, внѣ котораго остаются только ошибки.

Вѣрѣ подозрительна стала личность самого проповѣдника—и она пятилась отъ него; даже послушавши, въ началѣ знакомства, раза два его дерзкихъ рѣчей, указала на него Татьянѣ Марковнѣ, и людямъ поручено было присматривать за садомъ. Волоховъ зашелъ со стороны обрыва, отъ котораго удалялъ людей суевѣрный страхъ могилы самоубійцы. Онъ замѣчалъ недовѣріе Вѣры къ себѣ и поставилъ себѣ задачей преодолѣть его—и успѣлъ.

Вѣра, наконецъ, почти незамѣтно для нея самой, повѣрила искренности его одностороннихъ и поверхностныхъ увлеченій, и отъ недовѣрія перешла къ изумленію, участію. У ней даже бывали минуты, впрочемъ рѣдкія, когда она колебалась въ непогрѣшимости своихъ, собранныхъ молча, про себя наблюденій надъ жизнью, надъ людьми, правилъ, которыми руководствовалось большинство.

Задумывалась она надъ всѣмъ, чѣмъ сама жила—и почувствовала новыя тревоги, новые вопросы, и стала еще жаднѣе и пристальнѣе вслушиваться въ Марка, встрѣчаясь съ нимъ въ полѣ, за Волгой, куда онъ проникалъ вслѣдъ за нею, наконецъ въ бесѣдкѣ, на днѣ обрыва.

Гдѣ замѣчала явную ложь, софизмы, она боролась, проясняла себѣ туманъ, вооруженная своими наблюденіями, логикой и волей. Маркъ топалъ въ ярости ногами, строилъ батареи изъ своихъ доктринъ и авторитетовъ—и встрѣчалъ недоступную стѣну. Онъ свирѣпѣлъ, скалилъ зубы, какъ „волкъ", но проводникомъ ея отповѣдей служили бархатные глаза, какихъ онъ не видалъ никогда, и лба его касалась твердая, но нѣжная рука, и онъ, рыча про себя, ложился смиренно у ногъ ея, чуя побѣду и добычу впереди, хотя и далеко.

Гдѣ Вѣра не была приготовлена, тамъ она слушала молча и слѣдила зорко—вѣруетъ ли самъ апостолъ въ свою доктрину, есть ли у него самого незыблемая точка опоры, опытъ, или онъ только увлеченъ остроумной или блестящей ипотезой. Онъ манилъ впередъ образомъ какого-то громаднаго будущаго, громадной свободы, снятіемъ всѣхъ покрывалъ съ Изиды — и это будущее видѣлъ чуть не завтра, звалъ ее вкусить хоть часть этой жизни, сбросить съ себя старое и повѣрить, если не ему, то опыту.—И будемъ какъ боги! прибавлялъ онъ насмѣшливо.

Вѣра не шла, боролась,—и незамѣтно, мало-по-малу, перешла сама въ активную роль: воротить и его на дорогу уже испытаннаго добра и правды, увлечь, сначала въ правду любви, человѣческаго, а не животнаго счастья, а тамъ и дальше, въ глубину ея вѣры, ея надеждъ!...

Маркъ понемногу, кое-въ-чемъ, уступалъ, покорялся нѣкоторымъ ея требованіямъ: пересталъ дѣлать эксцентрическія выходки, не дразнилъ мѣстныя власти, сталъ опрятнѣе въ образѣ жизни, не щеголялъ цинизмомъ.

Она была счастлива—и вотъ причина ея экстаза, замѣченнаго Татьяной Марковной и Райскимъ. Она чувствовала, что сила ея дѣйствуетъ, пока еще только на внѣшнюю его жизнь, и надѣялась, что, путемъ неусыпнаго труда, жертвъ, она мало-по-малу совершитъ чудо—и наградой ея будетъ счастье женщины—быть любимой человѣкомъ, котораго угадало ея сердце.

Она введетъ новаго и сильнаго человѣка въ общество. Онъ уменъ, настойчивъ, и если будетъ простъ и дѣятеленъ, какъ Тушинъ, тогда... и ея жизнь угадана. Она не даромъ жила. А тамъ она не знала, что̀ будетъ.

Между тѣмъ она, по страстной, нервной натурѣ своей, увлеклась его личностью, влюбилась въ него самого, въ его смѣлость, въ самое это стремленіе къ новому, лучшему—но

не влюбилась въ его ученіе, въ его новыя правды и новую жизнь, и осталась вѣрна старымъ, прочнымъ понятіямъ о жизни, о счастіи. Онъ звалъ къ новому дѣлу, къ новому труду, но новаго дѣла и труда, кромѣ раздачи запрещенныхъ книгъ, она не видѣла.

Соглашаясь въ необходимости труда, она винила себя первая за бездѣйствіе и чертила себѣ, въ недальнемъ будущемъ, образъ простого, но дѣйствительнаго дѣла, завидуя пока Марѳинькѣ въ томъ, что та приспособила свой досугъ и свои руки къ домашнему хозяйству и отчасти къ деревнѣ.

Она готовилась пока раздѣлить съ сестрой ея труды— лишь только, такъ или иначе, выйдетъ изъ этой тяжкой борьбы съ Маркомъ, которая кончилась наконецъ недавно, не побѣдой того или другого, а взаимнымъ пораженіемъ и разлукой навсегда.

Все это пробѣжало въ умѣ Вѣры, пока Татьяна Марковна и Райскій провожали гостей за Волгу.

„Что теперь онъ дѣлаетъ, этотъ волкъ?“ думала она иногда: „торжествуетъ ли свою побѣду...“

Она не додумывалась и вздрагивала.

Она открыла ящикъ, достала оттуда запечатанное письмо на синей бумагѣ, которое прислалъ ей Маркъ рано утромъ черезъ рыбака. Она посмотрѣла на него съ минуту, подумала—и рѣшительно бросила опять нераспечатаннымъ въ столъ.

Всѣ другія муки глубоко хоронились у ней въ душѣ. На очереди стояла страшная битва на смерть съ новой бѣдой: что бабушка? Райскій успѣлъ шепнуть ей, что будетъ говорить съ Татьяной Марковной вечеромъ, когда никого не будетъ, чтобъ и изъ людей никто не замѣтилъ впечатлѣнія, какое можетъ произвести на нее эта откровенность.

У Вѣры зловѣщей бѣдой заныла грудь, когда Райскій

говорилъ ей о своей предосторожности. Она измѣряла этимъ степень бѣды и мысленно желала не дожить до вечера.

Она немного отдохнула, открывъ все Райскому и Тушину. Ей стало будто покойнѣе. Она сбросила часть тяжести, какъ моряки въ бурю бросаютъ часть груза, чтобъ облегчить корабль. Но самый тяжелый грузъ былъ на днѣ души, и ладья ея сидѣла въ водѣ глубоко, черпала бортами и могла, при новомъ, ожидаемомъ шквалѣ, черпнуть и не встать больше.

Она мысленно бросалась на грудь то Райскому, то Тушину, отдыхала на часъ, и потомъ опять клонила голову.

— Нельзя жить, нельзя! шептала она и шла въ свою часовню, въ ужасѣ смотрѣла на образъ, стоя на колѣняхъ.

Только вздохи боли показывали, что это стоитъ не статуя, а живая женщина. Образъ глядѣлъ на нее задумчиво, полуоткрытыми глазами, но какъ будто не видѣлъ ее, персты были сложены въ благословеніе, но не благословляли ее.

Она жадно смотрѣла въ эти глаза, ждала какого-то знаменія—знаменія не было. Она уходила, какъ убитая, въ отчаяніи.

## VII.

Бабушка, воротясь, занялась-было счетами, но вскорѣ отпустила всѣхъ торговокъ, швей, и спросила о Райскомъ. Ей сказали, что онъ ушелъ на цѣлый день къ Козлову, куда онъ въ самомъ дѣлѣ отправился, чтобъ не оставаться наединѣ съ Татьяной Марковной до вечера.

Она послала узнать, что̀ Вѣра, прошла ли голова, придетъ ли она къ обѣду? Вѣра велѣла отвѣчать, что головѣ легче, просила прислать обѣдъ въ свою комнату и сказала, что ляжетъ пораньше спать.

Тутъ случилось въ дворнѣ не новое событіе. Савелій чуть не перешибъ спину Маринѣ полѣномъ, потому что хватился ее на зарѣ, въ день отъѣзда гостей, пошелъ отыскивать и видѣлъ, какъ она шмыгнула изъ комнаты, гдѣ помѣстили лакея Викентьевой. Она пряталась цѣлое утро по чердакамъ, въ огородѣ, наконецъ пришла, думая, что онъ забылъ.

Онъ исхлесталъ ее вожжей. Она металась изъ угла въ уголъ, отпираясь, божась, что ему померещилось, что это былъ „дьяволъ въ образѣ“ и т. п. Но когда онъ бросилъ вожжу и взялъ полѣно, она застонала, и послѣ перваго удара повалилась ему въ ноги, крича „виновата“ и просила помилованія.

Она клялась всѣмъ, и между прочимъ „своей утробой“, что никогда больше не провинится, а если провинится, то пусть тогда Богъ убьетъ ее и покараетъ навсегда. Савелій остановился, положилъ полѣно и отеръ рукавомъ лобъ.

— Ладно, сказалъ онъ: — пущай будетъ по-твоему, коли ты повинилась и Бога призываешь! не стану, отступлюсь отъ тебя!

Онъ махнулъ на нее рукой.

Все это донесли Татьянѣ Марковнѣ, но она только поморщилась съ отвращеніемъ и махнула Василисѣ рукой, чтобъ не докучала ей.

Пріѣзжали нѣкоторыя барыни съ визитомъ, пріѣхалъ заволжскій помѣщикъ, и еще двое гостей изъ города, и остались обѣдать.

Всѣ слышали, что Вѣра Васильевна больна и пришли навѣдаться. Татьяна Марковна объявила, что Вѣра наканунѣ прозябла, и на два дня осталась въ комнатѣ, а сама внутренно страдала отъ этой лжи, не зная, какая правда кроется подъ этой подложной болѣзнью, и даже не смѣла пригласить доктора, который тотчасъ узналъ бы, что болѣз-

ни нѣтъ, а есть моральное разстройство, которому должна быть причина.

Она не ужинала, и Титъ Никонычъ изъ вѣжливости сказалъ, что „не имѣетъ аппетита“. Наконецъ явился Райскій, нѣсколько блѣдный, и тоже отказался отъ ужина. Онъ молча сидѣлъ за столомъ, съ какимъ-то сдержаннымъ выраженіемъ въ лицѣ, и будто не замѣчалъ изрѣдка обращаемыхъ на него Татьяной Марковной вопросительныхъ взглядовъ.

Наконецъ Титъ Никонычъ распаркался, поцѣловалъ у ней руку и уѣхалъ. Бабушка велѣла готовить постель и не глядѣла на Райскаго. Она сухо пожелала ему „покойной ночи“, чувствуя себя глубоко оскорбленной и въ сердцѣ и въ самолюбіи.

Около нея происходитъ что-то таинственное и серьезное, между близкими ей людьми, а ее оставляютъ въ сторонѣ, какъ чужую, или какъ старую, отжившую, ни на что не способную женщину.

Она не подозрѣвала уваженія, боязни и пощады, мѣшавшихъ имъ открыться.

Райскій вполголоса сказалъ ей, что ему нужно поговорить съ ней, чтобъ она какъ-нибудь незамѣтно отослала людей. Она остановила на немъ неподвижный отъ ужаса взглядъ. У ней побѣлѣлъ даже носъ.

— Бѣда? спросила она отрывисто.

Онъ мялся.

— Нѣтъ... отвѣчалъ онъ рѣшительно:—съ моей точки зрѣнія—нѣтъ бѣды...

— А если съ моей—есть, то значитъ и бѣда! замѣтила она тихо.—Да вонъ ты блѣденъ, стало-быть, знаешь и самъ, что бѣда.

Она мало-по-малу удалила людей, сказавши, что еще

не ляжетъ спать, а посидитъ съ Борисомъ Павловичемъ, и повела его въ кабинетъ.

Она сѣла въ свое старое вольтеровское кресло, поставивъ лампу подальше на бюро и закрывъ ее колпакомъ.

Они сидѣли въ полумракѣ. Она, поникнувъ головой, не глядѣла на него и ожидала. Райскій началъ свой разсказъ, стараясь подойти „къ бѣдѣ“ какъ можно мягче и осторожнѣе.

У него дрожали губы и языкъ не рѣдко отказывался говорить. Онъ останавливался, давая себѣ отдыхъ, потомъ собирался съ силами и продолжалъ.

Бабушка не пошевелилась, не сказала ни слова. Подъ конецъ онъ шепталъ едва слышно.

Онъ вышелъ отъ нея, когда сталъ брезжиться день. Когда онъ кончилъ, она встала, выпрямилась медленно, съ напряженіемъ, потомъ также медленно опустила опять плечи и голову, стоя, опершись рукой о столъ. Изъ груди ея вырвался не то вздохъ, не то стонъ.

— Бабушка! говорилъ Райскій, пугаясь выраженія ея лица и становясь на колѣни передъ ней:—спасите Вѣру...

— Поздно послала она къ бабушкѣ, шептала она:— Богъ спасетъ ее! Береги ее, утѣшай, какъ знаешь! Бабушки нѣтъ больше!

Она ступила шагъ, онъ загородилъ ей дорогу.

— Бабушка, что вы, что съ вами? говорилъ онъ въ страхѣ.

— Бабушки нѣтъ у васъ больше... твердила она разсѣянно, стоя тамъ, гдѣ встала съ кресла, и глядя внизъ.—Поди, поди! почти гнѣвно крикнула она, видя, что онъ медлитъ:—не ходи ко мнѣ... не пускай никого, распоряжайся всѣмъ... А меня оставьте всѣ... всѣ!

Она стояла все на своемъ мѣстѣ, какъ прикованная, съ

безжизненнымъ, точно спящимъ взглядомъ. Онъ хотѣлъ ей что-то сказать. Она нетерпѣливо махнула ему рукой.

— Уйди къ ней, береги ее! бабушка не можетъ, бабушки нѣтъ! шептала она.

И сдѣлала повелительный жестъ рукой, чтобъ онъ шелъ. Онъ вышелъ въ страхѣ, блѣдный, сдалъ все на-руки Якову, Василисѣ и Савелью, и самъ изъ-за угла старался видѣть, что̀ дѣлается съ бабушкой. Онъ не спускалъ глазъ съ ея оконъ и дверей.

А она машинально опустилась опять въ кресло, и какъ будто заснула въ безсознательной, мертвой дремотѣ и оставалась неподвижно до утра, когда совсѣмъ разсвѣло.

Утромъ рано, Райскій, не ложившійся спать, да Яковъ съ Василисой видѣли, какъ Татьяна Марковна, въ чемъ была наканунѣ и съ открытой головой, съ наброшенной на плечи турецкой шалью, пошла изъ дому, ногой отворяя двери, прошла всѣ комнаты, корридоръ, спустилась въ садъ, и шла, какъ будто бронзовый монументъ всталъ съ пьедестала и двинулся, ни на кого и ни на что̀ не глядя.

Она шла черезъ цвѣтникъ, по аллеямъ, къ обрыву, стала спускаться съ обрыва ровнымъ, медленнымъ и широкимъ шагомъ, неся голову прямо, не поворачиваясь, глядя куда-то вдаль. Она скрылась въ лѣсъ.

Райскій бросился украдкой за ней, прячась за деревья.

Она шагала все ниже, ниже, прошла къ бесѣдкѣ, поникла головой и стала, какъ вкопанная. Райскій подкрадывался сзади ея, удерживая дыханіе.

— Мой грѣхъ! сказала она, будто простонала, положивъ руки на голову, и вдругъ ускоренными шагами пошла дальше, вышла къ Волгѣ и стала неподвижно у воды.

Вѣтеръ хлесталъ и обвивалъ платье около ея ногъ, шевелилъ ея волосы, рвалъ съ нея шаль—она не замѣчала.

У Райскаго замеръ духъ отъ мелькнувшей догадки: хочетъ утопиться!

Но она медленно поворотилась, шагая крупно и оставляя глубокій слѣдъ на влажномъ пескѣ.

Райскій вздохнулъ свободнѣе, но, взглянувъ изъ-за кустовъ на ея лицо, когда она тихо шла тою же широкой походкой назадъ—онъ еще больше замеръ отъ ужаса.

Онъ не узналъ бабушку. На лицѣ у ней легла точно туча, и туча эта была — горе, та „бѣда", которую онъ въ эту ночь возложилъ ей на плечи. Онъ видѣлъ, что нѣтъ руки, которая бы сняла это горе.

Она правду сказала, бабушки нѣтъ больше. Это не бабушка, не Татьяна Марковна, любящая и нѣжная мать семейства, не помѣщица Малиновки, гдѣ все жило и благоденствовало ею и гдѣ жила и благоденствовала сама она, мудро и счастливо управляя маленькимъ царствомъ. Это была другая женщина.

Она будто не сама ходитъ, а носитъ ее посторонняя сила. Какъ широко шагаетъ она, какъ прямо и высоко несетъ голову и плечи, и на нихъ — эту свою „бѣду"! Она, не чуя ногъ, идетъ по лѣсу въ крутую гору; шаль повисла съ плечъ и мететъ концомъ соръ и пыль. Она смотритъ куда-то вдаль немигающими глазами, изъ которыхъ широко глядитъ одинъ окаменѣлый, покорный ужасъ.

Сознаніе всего другого, кромѣ „бѣды" умерло въ лицѣ; она точно лунатикъ, или покойница.

Онъ едва поспѣвалъ слѣдить за ней среди кустовъ, чтобъ не случилось съ ней чего-нибудь. Она все шла, осиливая крутую гору, и только однажды оперлась обѣими руками о дерево, положила на руки голову.

— Мой грѣхъ! повторила она прямо грудью, будто дохнула:—тяжело, облегчи, не снесу! шепнула потомъ, и опять выпрямилась и пошла въ гору, поднимаясь на обрывъ, одолѣвая крутизну нечеловѣческой силой, оставляя клочки платья и шали на кустахъ.

Райскій, поражаясь изумленіемъ и ужасомъ, глядѣлъ на эту новую, необычайную женщину. „Только великія души перемогаютъ съ такой силой тяжелыя скорби, думалъ онъ. Имъ, какъ орлицамъ, даны крылья летать подъ облаками и глаза—смотрѣть въ пропасти. И только вѣрующая душа несетъ горе такъ, какъ несла его эта женщина—и однѣ женщины такъ выносятъ его!“ „Въ женской половинѣ человѣческаго рода, думалось ему, заключены великія силы, ворочающія міромъ. Только не поняты, не признаны, не воздѣланы онѣ, ни ими самими, ни мужчинами, и подавлены, грубо затоптаны, или присвоены мужской половиной, не умѣющей ни владѣть этими великими силами, ни разумно повиноваться имъ, отъ гордости. А женщины, не узнавая своихъ природныхъ и законныхъ силъ, вторгаются въ область мужской силы—и отъ этого взаимнаго захвата—вся неурядица“.

„Это не бабушка!“ съ замираніемъ сердца, глядя на нее, думалъ онъ. Она казалась ему одною изъ тѣхъ женскихъ личностей, которыя внезапно изъ круга семьи выходили героинями въ великія минуты, когда падали вокругъ тяжкіе удары судьбы и когда нужны были людямъ, не грубыя силы мышцъ, не гордость крѣпкихъ умовъ, а силы души — нести великую скорбь, страдать, терпѣть и не падать!

У него въ головѣ мелькнулъ рядъ женскихъ историческихъ тѣней въ параллель бабушкѣ. Видѣлась ему въ ней—древняя еврейка, іерусалимская госпожа, родоначальница племени—съ улыбкой горделиваго презрѣнія услышавшая въ народѣ глухое пророчество и угрозу: „снимется вѣнецъ съ народа, не узнавшаго посѣщенія“, „придутъ римляне и возьмутъ“! Не вѣрила она, считая незыблемымъ вѣнецъ, возложенный рукою Іеговы на голову Израиля. Но когда насталъ часъ—„пришли римляне и взяли“, она постигла,

откуда палъ неотразимый ударъ, встала, снявъ свой вѣнецъ, и молча, безъ ропота, безъ малодушныхъ слезъ, которыми омывали Іерусалимскія стѣны мужья, разбивая о камни головы, только съ окаменѣлымъ ужасомъ покорности въ глазахъ пошла среди павшаго царства, въ великомъ безобразіи одеждъ, туда, куда вела ее рука Іеговы, и также,—какъ эта бабушка теперь—несла святыню страданія на лицѣ, будто гордясь и силою удара, постигшаго ее, и своею силою нести его.

Пришла въ голову Райскому другая царица скорби, великая русская Марѳа, скованная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая въ тюрьмѣ свое величіе и могущество скорби по погибшей славѣ Новгорода, покорная тѣломъ, но не духомъ, и умирающая все посадницей, все противницей Москвы, и какъ будто распорядительницей судебъ вольнаго города.

Толпились передъ нимъ, точно живыя, тѣни другихъ великихъ страдалицъ: русскихъ царицъ, мѣнявшихъ, по волѣ мужей, свой санъ на санъ инокинь и хранившихъ и въ кельѣ духъ и силу: другихъ царицъ, въ роковыя минуты, стоявшихъ во главѣ царства и спасавшихъ его...

Съ такой же силой скорби шли въ заточеніе съ нашими титанами, колебавшими небо, ихъ жены, боярыни и княгини, сложившія свой санъ, титулъ, но унесшія съ собой силу женской души и великой красоты, которой до сихъ поръ не знали за собой онѣ сами, не знали за ними и другіе, и которую онѣ, какъ золото въ огнѣ, закаляли въ огнѣ и дымѣ грубой работы, служа своимъ мужьямъ—князьямъ и неся и ихъ, и свою „бѣду“.

И мужья, преклоняя колѣна передъ этой новой для нихъ красотой, мужественнѣе несли кару. Обожженныя, изможденныя трудомъ и горемъ, онѣ хранили величіе духа и сіяли, среди испытанія, нетлѣнной красотой, какъ вели-

кія статуи, пролежавшія тысячелѣтія въ землѣ, выходили съ язвами времени на тѣлѣ, но сіяющія вѣчной красотой великаго мастера.

Такую великую силу—стоять подъ ударомъ грома, когда все падаетъ вокругъ,—безсознательно, вдругъ, какъ кладъ найдетъ, почуетъ въ себѣ русская женщина изъ народа, когда пламень пожара пожретъ ея хижину, добро и дѣтей.

Съ такимъ же нѣмымъ, окаменѣлымъ ужасомъ, какъ бабушка, какъ Новгородская Марѳа, какъ тѣ царицы и княгини—уходитъ она прочь, глядя неподвижно на небо, и не оглянувшись, на столпъ огня и дыма, идетъ сильными шагами, неся выхваченнаго изъ пламени ребенка, ведя дряхлую мать, и взглядомъ и ногой толкая впередъ малодушнаго мужа, когда онъ, упавъ, грызя землю, смотритъ назадъ и проклинаетъ пламя...

Она идетъ, твердо шагая загорѣлыми ногами, дальше, дальше, не зная, гдѣ остановится, или упадетъ, потерявъ силу. Она вѣритъ, что рядомъ идетъ съ ней другая сила и несетъ ея „бѣду", которую не снесла бы одна!

Въ открыто-смотрящемъ и ничего невидящемъ взглядѣ лежитъ сила страдать и терпѣть. На лицѣ горитъ во всемъ блескѣ красота и величіе мученицы. Громъ бьетъ ее, огонь палитъ, но не убиваетъ женскую силу.

Райскій съ ужасомъ отмахивался отъ этихъ, незванныхъ въ горькія минуты, явленій своей безпощадной фантазіи и устремилъ зоркое вниманіе за близкой ему страдалицей, наблюдая ее глазами и стараясь прочесть въ ея душѣ: что̀ за образъ муки поселился въ ней?

Падало царство Татьяны Марковны, пустѣлъ домъ, похищено ея завѣтное, дорогое сокровище, ея гордость, ея жемчужина! Она одна бродила будто по развалинамъ. Опустѣла и душа у ней! Духъ мира, гордости, благоденствія покинулъ счастливый уголокъ.

Она видѣла теперь въ немъ мерзость запустѣнія и— цѣлый міръ опостылѣлъ ей. Когда она останавливалась, какъ будто набраться силы, глотнуть воздуха и освѣжить запекшіяся отъ сильнаго и горячаго дыханія губы, колѣни у ней дрожали; еще минута—и она готова рухнуть на землю, но чей-то голосъ, дающій силу, шепталъ ей: „иди, не падай—дойдешь!“

И старческое безсиліе пропадало, она шла опять. Проходила до вечера, просидѣла ночь у себя въ креслѣ, томясь страшной дремотой, съ бредомъ и стономъ, потомъ просыпалась, жалѣя, что проснулась, встала съ зарей и шла опять съ обрыва, къ бесѣдкѣ, долго сидѣла тамъ на развалившемся порогѣ, положивъ голову на голыя доски пола, потомъ уходила въ поля, терялась среди кустовъ у Приволжья.

Случайно наткнулась она на часовню, въ полѣ, подняла голову, взглянула на образъ—и новый ужасъ, больше прежняго, широко выглянулъ изъ ея глазъ. Ее отшатнуло въ сторону.

Она, какъ раненый звѣрь, упала на одно колѣно, тяжело приподнялась, и ускоренными шагами, падая опять и вставая, пронеслась мимо, закрывъ лицо шалью отъ образа Спасителя, и простонала:—Мой грѣхъ!

Люди были въ ужасѣ. Василиса съ Яковомъ почти не выходили изъ церкви, стоя на колѣняхъ. Первая обѣщалась сходить пѣшкомъ къ Кіевскимъ чудотворцамъ, если барыня оправится, а Яковъ поставить толстую съ позолотой свѣчу къ мѣстной иконѣ.

Прочіе люди всѣ прятались по угламъ и глядѣли изъ щелей, какъ барыня, точно помѣшанная, бродила по полю и по лѣсу. Даже Марина, и та ошалѣла и ходила, какъ одичалая.

Только Егорка пробовалъ хихикать и затрогивалъ гор-

ничныхъ, но онѣ гнали его прочь, а Василиса назвала его „супостатомъ".

Другой день бабушка не принимала никакой пищи. Райскій пробовалъ выйти къ ней навстрѣчу, остановить ее и заговорить съ ней, она махнула ему повелительно рукой, чтобъ шелъ прочь.

Наконецъ онъ взялъ кружку молока и рѣшительно подступилъ къ ней, взявъ ее за руку. Она поглядѣла на него, какъ будто не узнала, поглядѣла на кружку, машинально взяла ее дрожащей рукой изъ рукъ его и съ жадностью выпила молоко до послѣдней капли, глотая медленными, большими глотками.

— Бабушка, пойдемте домой,—не мучайте себя и насъ! умолялъ онъ:—вы убьете себя.

Она махнула ему рукой.

— Богъ посѣтилъ, не сама хожу. Его сила носитъ,— надо выносить до конца. Упаду—подберите меня... Мой грѣхъ! шепнула потомъ и пошла дальше.

Сдѣлавъ шаговъ десять, она обернулась къ нему. Онъ подбѣжалъ къ ней.

— Если не вынесу... умру... заговорила она и сдѣлала ему знакъ, чтобъ онъ наклонилъ голову.

Онъ сталъ на колѣни передъ ней.

Она прижала его голову къ своей груди, крѣпко поцѣловала ее и положила на нее руку.

— Прими мое благословеніе, сказала она:—и передай имъ... Марѳинькѣ и... ей,—бѣдной моей Вѣрѣ... слышишь, и ей!...

— Бабушка! говорилъ онъ, заливаясь слезами и цѣлуя у ней руку.

Она вырвала руку и пошла дальше, блуждать въ кустахъ, по берегу, по полю.

„У вѣрующей души есть свое царство!“ думалъ Райскій, глядя ей вслѣдъ и утирая слезы:—„только она умѣетъ такъ страдать за все, что̀ любитъ, и такъ любить и такъ искупать свои и чужія заблужденія!“

Вѣра была не въ лучшемъ положеніи. Райскій поспѣшилъ передать ей разговоръ съ бабушкой,—и когда, на другой день, она, блѣдная, измученная, утромъ рано послала за нимъ и спросила:—Что бабушка?—онъ, вмѣсто отвѣта, указалъ ей на Татьяну Марковну, какъ она шла по саду и по аллеямъ въ поле.

Вѣра бросилась къ окнамъ и жадно вглядывалась въ это странствіе бабушки съ ношей „бѣды“. Она успѣла мелькомъ уловить выраженіе на ея лицѣ и упала въ ужасѣ сама на полъ, потомъ встала, бѣгая отъ окна къ окну, складывая вмѣстѣ руки и простирая ихъ, какъ въ мольбѣ, вслѣдъ бабушкѣ.

Она сама ходила, какъ дикая, по большимъ, запущеннымъ заламъ стараго дома, отворяя и затворяя за собой двери, бросаясь на старинныя канапе́, наталкиваясь на мебель.

Она рвалась къ бабушкѣ и останавливалась въ ужасѣ; показаться ей на глаза, значило, можетъ-быть, убить ее.

Настала настоящая казнь Вѣры. Она теперь только почувствовала, какъ глубоко вонзился ножъ, и въ ея, и въ чужую, но близкую ей жизнь, видя, какъ страдаетъ за нее эта трагическая старуха, недавно еще счастливая, а теперь оборванная, желтая, изможденная, мучающаяся за чужое преступленіе чужою казнью.

— Она за что̀? Она—святая! А я!... терзалась она.

Райскій принесъ ей благословеніе Татьяны Марковны. Вѣра бросилась ему на шею и долго рыдала.

Къ вечеру второго дня нашли Вѣру сидящую на полу, въ углу большой залы, полуодѣтую. Борисъ и жена священ-

ника, пріѣхавшая въ тотъ день, почти силой увели ее оттуда и положили въ постель.

Райскій позвалъ доктора и кое-какъ старался объяснить ея разстройство. Тотъ прописалъ успокоительное питье, Вѣра выпила, но не успокоилась, забывалась часто сномъ, просыпалась и спрашивала: —Что бабушка?

Потомъ опять впадала въ забытье.

Она не слушала, что̀ жужжала ей на ухо любимая подруга, способная знать всѣ секреты Вѣры, беречь ихъ, покоряться ей, какъ сильнѣйшей себѣ властной натурѣ, раздѣлять безусловно ея образъ мыслей, поддакивать желаніямъ, но оказавшаяся безсильною, когда загремѣлъ сильный громъ надъ головой Вѣры, помочь снести его и успокоить ее.

— Дай мнѣ пить! шептала Вѣра, не слушая ея лепета:—не говори, посиди такъ, не пускай никого... Узнай, что̀ бабушка?

Такъ было и ночью. Просыпаясь въ забытьи, Вѣра постоянно шептала:—Бабушка нейдетъ! бабушка не любитъ! бабушка не проститъ!

На третій день Татьяна Марковна ушла, не видали какъ, изъ дома. Райскій не выдержалъ двухъ безсонныхъ ночей и легъ отдохнуть, поручивъ разбудить себя, когда она выйдетъ изъ дому.

Но Яковъ и Василиса ушли къ ранней обѣднѣ, а Пашутка, завидя идущую барыню, съ испуга залѣзла въ вѣники и метлы, хранившіеся въ чуланѣ, да тамъ и заснула. Прочіе люди разбѣжались въ разныя стороны.

Однако Савелій видѣлъ, что барыня сошла съ обрыва, что она шла нетвердо, хваталась за деревья, и потомъ прошла въ поле.

Райскій бросился вслѣдъ за ней и изъ-за угла видѣлъ, какъ она медленно возвращалась по полю къ дому. Она

останавливалась и озиралась назадъ, какъ будто прощалась съ крестьянскими избами. Райскій подошелъ къ ней, но заговорить не смѣлъ. Его поразило новое выраженіе ея лица. Мѣсто покорнаго ужаса заступило, повидимому, безотрадное сознаніе. Она не замѣчала его и какъ будто смотрѣла въ глаза своей „бѣдѣ“.

Ей на яву снилось, какъ царство ея рушилось, и какъ на мѣстѣ его легла мерзость запустѣнія въ близкомъ будущемъ. Послѣ, отъ нея самой, онъ узналъ страшный сонъ, ей снившійся.

Озираясь на деревню, она видѣла—не цвѣтущій, благоустроенный порядокъ домовъ, а лишенный надзора и попеченія рядъ полусгнившихъ избъ—притонъ пьяницъ, нищихъ, бродягъ и воровъ. Поля лежатъ пустыя, поросшія полынью, лопухомъ и крапивой.

Она съ ужасомъ отворотилась отъ деревни и вошла въ садъ, остановилась, озираясь вокругъ, не узнавая домовъ, двора.

Садъ, цвѣтникъ, огороды—смѣшались въ одну сплошную кучу, спутались и поросли быліемъ. Туда не заходитъ человѣкъ, только коршунъ, утащивъ живую добычу, терзаетъ ее тамъ на просторѣ.

Новый домъ покривился и вросъ въ землю; людскія развалились; на развалинахъ ползаетъ и жалобно мяучитъ одичалая кошка, да бѣдный колодникъ прячется подъ осѣвшей кровлей.

Старуха вздрогнула и оглянулась на старый домъ. Онъ перестоялъ все—когда все живое съ ужасомъ ушло отъ этихъ мѣстъ — онъ стоитъ мрачный, облупившійся, съ своими темнобурыми кирпичными боками.

Стеколъ нѣтъ въ окнахъ, сгнили рамы, и въ обвалившихся покояхъ ходитъ вѣтеръ, срывая послѣдніе слѣды жизни.

Въ каминѣ свилъ гнѣздо филинъ, не слышно живыхъ шаговъ, только тѣнь ея... кого ужъ нѣтъ, кто умретъ тогда, ея Вѣры—скользитъ по тусклымъ, треснувшимъ паркетамъ, мѣшая свой стонъ съ воемъ вѣтра, и вслѣдъ за нимъ мчится по саду, съ обрыва въ бесѣдку...

Райскій видѣлъ, что по лицу бабушки потекла медленно слеза и остановилась, какъ будто застыла. Старуха зашаталась и ощупью искала опоры, готовая упасть...

Онъ бросился къ ней и съ помощью Василисы, довелъ до дома, усадилъ въ кресла и бросился за докторомъ. Она смотрѣла, не узнавая ихъ. Василиса горько зарыдала и повалилась ей въ ноги.

— Матушка, Татьяна Марковна! вопила она:—придите въ себя, сотворите крестное знаменіе!

Старуха перекрестилась, вздохнула, и знакомъ показала, что не можетъ говорить, чтобы дали ей пить.

Она легла въ постель, почти машинально, какъ будто не понимая, что̀ дѣлаетъ. Василиса раздѣла ее, обложила теплыми салфетками, вытерла ей руки и ноги спиртомъ, и наконецъ заставила проглотить рюмку теплаго вина. Докторъ велѣлъ ее не безпокоить, оставить спать и потомъ дать лекарство, которое прописалъ.

До Вѣры дошло неосторожное слово:—бабушка слегла! Она сбросила съ себя одѣяло, оттолкнула Наталью Ивановну и хотѣла идти къ ней. Но Райскій остановилъ ее, сказавши, что Татьяна Марковна погрузилась въ крѣпкій сонъ.

Къ вечеру Вѣра также разнемоглась. У ней появился жаръ и бредъ. Она металась всю ночь, звала бабушку во снѣ, плакала.

Райскій совсѣмъ потерялъ голову и наконецъ рѣшился пригласить стараго доктора, Петра Петровича, и намекнуть ему о разстройствѣ Вѣры, не говоря, конечно, о причинѣ.

Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ только утра и безпрестанно ходилъ отъ Вѣры къ Татьянѣ Марковнѣ, отъ Татьяны Марковны къ Вѣрѣ.

Бабушка лежала съ закрытой головой. Онъ боялся взглянуть, спитъ ли она, или все еще одолѣваетъ своей силой силу горя. Онъ на цыпочкахъ входилъ къ Вѣрѣ и спрашивалъ Наталью Ивановну:—Что она?

— Безпрестанно просыпается и плачетъ, бредитъ! говорила Наталья Ивановна, сидя у изголовья.

— Боже мой! говорилъ Райскій, возвращаясь къ себѣ и бросаясь усталый, и тѣломъ, и душой, въ постель.—Думалъ ли я, что въ этомъ углу вдругъ попаду на такія драмы, на такія личности? Какъ громадна и страшна простая жизнь въ наготѣ ея правды и какъ люди остаются цѣлы послѣ такой трескотни! А мы тамъ, въ кучѣ, стряпаемъ свою жизнь и страсти, какъ повара—тонкія блюда!..

## VIII.

Вѣрѣ къ утру не было лучше. Жаръ продолжался, хотя она и спала. Но сонъ ея безпрестанно прерывался, и она лежала въ забытьи.

Райскій пошелъ къ Татьянѣ Марковнѣ и вмѣстѣ съ Василисой вошелъ въ ея спальню.

Она лежала все въ томъ же положеніи, какъ цѣлый день вчера.

— Посмотри, Василиса, что она? Я боюсь подойти, чтобъ не испугать, шепталъ Райскій.

— Не разбудить ли барыню?

— Да надо бы, Вѣра больна... Я не знаю, послать-ли за Петромъ Петровичемъ?..

Онъ не договорилъ, какъ Татьяна Марковна вдругъ приподнялась и сѣла на постели.

— Вѣра больна? повторила она.

*

Райскій вздохнулъ свободнѣе.

На лицо бабушки, вчера еще мертвое, каменное, вдругъ хлынула жизнь, забота, страхъ. Она сдѣлала ему знакъ рукой, чтобъ вышелъ, и въ полчаса кончила свой туалетъ.

Широкими, но поспѣшными шагами, съ тревогой на лицѣ, перешла она черезъ дворъ и поднялась къ Вѣрѣ. Усталости—какъ не бывало. Жизнь воротилась къ ней, и Райскій радовался, какъ доброму другу, страху на ея лицѣ.

Она осторожно вошла въ комнату Вѣры, устремила глубокій взглядъ на ея спящее, блѣдное лицо и шепнула Райскому послать за старымъ докторомъ. Она тутъ только замѣтила жену священника, увидѣла ея измученное лицо, обняла ее и сказала, чтобы она пошла и отдыхала у ней цѣлый день.

— Теперь никто не нуженъ: я тутъ! сказала она и устроила себѣ помѣщеніе подлѣ постели Вѣры.

Пріѣхалъ докторъ. Татьяна Марковна, утаивъ причину, искусно объяснила ему разстройство Вѣры. Онъ нашелъ признаки горячки, далъ лекарство и сказалъ, что, если она успокоится, то и послѣдствій опасныхъ ожидать нельзя.

Вѣра въ полуснѣ приняла лекарство и вечеромъ заснула крѣпко.

Татьяна Марковна сѣла сзади изголовья и положила голову на тѣ же подушки съ другой стороны. Она не спала, чутко сторожа каждое движеніе, вслушиваясь въ дыханіе Вѣры.

Вѣра просыпалась, спрашивала:—Ты спишь, Наташа? и не получивъ отвѣта, закрывала глаза, по временамъ открывая ихъ съ мучительнымъ вздохомъ опять, лишь только память и сознаніе напомнятъ ей ея положеніе.

Она спѣшила погрузиться въ свою дремоту; ночь казалась ей черной, страшной тюрьмой.

Она ночью пошевелилась, попросила пить. Рука изъ-за подушки подала ей питье.

— Что̀ бабушка? спросила она, открывъ глаза и опять закрыла ихъ.

— Наташа, гдѣ ты? поди сюда, что ты все прячешься?

Отвѣта не было.

Она глубоко вздохнула и опять стала дремать.

— Бабушка нейдетъ! Бабушка не любитъ! шептала она съ тоской, отрезвившись на минуту отъ сна.—Бабушка не проститъ!

— Бабушка пришла! Бабушка любитъ! Бабушка простила! произнесъ голосъ надъ ея головой.

Вѣра вскочила съ постели и бросилась къ Татьянѣ Марковнѣ.

— Бабушка! закричала она и спрятала голову у ней на груди, почти въ обморокѣ.

Татьяна Марковна положила ее на постель и прилегла своей сѣдой головой рядомъ съ этими темными, густыми волосами, разбросанными по блѣдному, прекрасному, измученному лицу.

Вѣра, очнувшись на груди этой своей матери, въ потокахъ слезъ, безъ словъ, въ судорогахъ рыданій, изливала свою исповѣдь, раскаяніе, горе, всю, вдругъ прорвавшуюся силу страданій.

Бабушка молча слушала рыданія и платкомъ отирала ея слезы, не мѣшая плакать, и только прижимая ея голову къ своей груди и осыпая поцѣлуями.

— Не ласкайте, бабушка... бросьте меня... не сто̀ю я... отдайте вашу любовь и ласки сестрѣ...

Бабушка въ отвѣтъ крѣпче прижала ее къ груди.

— Сестрѣ не нужны больше мои ласки, а мнѣ нужна твоя любовь—не покидай меня, Вѣра, не чуждайся меня больше, я сирота! сказала она, и сама заплакала.

Вѣра сжала ее всей своей силой.

— Мать моя, простите меня... шептала она.

Бабушка поцѣлуемъ зажала ей ротъ.

— Молчи, ни слова—никогда!

— Я не слушала васъ... Богъ покаралъ меня за васъ...

— Что̀ ты говоришь, Вѣра? вдругъ, въ ужасѣ блѣднѣя, остановила ее Татьяна Марковна, и опять стала похожа на дикую старуху, которая бродила по лѣсу и по оврагамъ.

— Да, я думала, что одной своей воли и ума довольно на всю жизнь, что я умнѣе всѣхъ васъ...

Татьяна Марковна вздохнула свободно. Ее, повидимому, встревожила какая-то другая мысль, или предположеніе.

— Ты и умнѣе меня, и больше училась, сказала она:— тебѣ Богъ далъ много остроты—но ты не опытнѣе бабушки...

„Теперь... и опытнѣе!“ подумала Вѣра и припала лицомъ къ ея плечу.—Возьмите меня отсюда. Вѣры нѣтъ. Я буду вашей Марѳинькой... шептала она.—Я хочу вонъ изъ этого стараго дома, туда, къ вамъ.

Бабушка молча ласкала ее.

Обѣ головы покоились рядомъ, и ни Вѣра, ни бабушка не сказали больше ни слова. Онѣ тѣсно прижались другъ къ другу и къ утру заснули въ объятіяхъ одна другой.

## XI.

Вѣра встала утромъ безъ жара и озноба, только была блѣдна и утомлена. Она выплакала болѣзнь на груди бабушки. Докторъ сказалъ, что ничего больше и не будетъ, но не велѣлъ выходить нѣсколько дней изъ комнаты.

Все пришло въ прежній порядокъ. Именины Вѣры, по ея желанію, прошли незамѣтно. Ни Марѳинька, ни Ви-

кентьевы не пріѣхали съ той стороны. Къ нимъ посланъ былъ нарочный сказать, что Вѣра Васильевна не такъ здорова и не выходитъ изъ комнаты.

Тушинъ прислалъ почтительную записку съ поздравленіемъ и просилъ позволенія побывать.

Ему отвѣчали: „погодите, я еще нездорова".

Пріѣзжавшимъ изъ города всѣмъ отказывали, подъ предлогомъ болѣзни именинницы. Только горничныя, несмотря ни на что, разрядились въ свои разноцвѣтныя платья и ленты и намазались гвоздичной помадой, да кучера и лакеи опять напились пьяны.

Вѣра и бабушка стали въ какое-то новое положеніе одна къ другой. Бабушка не казнила Вѣру никакимъ притворнымъ снисхожденіемъ, хотя очевидно не принимала такъ легко рѣшительный опытъ въ жизни женщины, какъ Райскій, и еще менѣе обнаруживала то безусловное презрѣніе, какимъ клеймитъ эту „ошибку", „несчастье", или пожалуй, „паденіе", старый, въѣвшійся въ людскія понятія ригоризмъ, не разбирающій даже строго причинъ „паденія".

Обѣ смотрѣли другъ на друга серьезно, говорили мало, больше о мелочахъ, ежедневныхъ предметахъ, но въ обмѣнивающихся взглядахъ высказывался цѣлый нѣмой разговоръ.

Обѣ какъ будто наблюдали одна за другою, а заговаривать боялись. Татьяна Марковна не произносила ни одного слова ни въ защиту, ни въ оправданіе „паденія", не напоминала ни о чемъ, и видимо старалась, чтобъ и Вѣра забыла.

Она только удвоила ласки, но неумышленно, не притворно—съ цѣлью только скрыть свой судъ или свои чувства. Она въ самомъ дѣлѣ была нѣжнѣе, будто Вѣра стала милѣе и ближе ей послѣ своей откровенности, даже и самаго проступка.

Вѣра видѣла эту безыскуственность, но ей было не легче отъ этого. Она ждала и хотѣла строгаго суда, казни. Напримѣръ, если бъ бабушка на полгода или на годъ отослала ее съ глазъ долой, въ свою дальнюю деревню, а сама справилась бы какъ-нибудь съ своими обманутыми и поруганными чувствами довѣрія, любви, и потомъ простила, призвала бы ее, но долго еще не принимала бы ее въ свою любовь, не дарила бы лаской и нѣжностью, пока Вѣра нѣсколькими годами, работой всѣхъ силъ ума и сердца, не воротила бы себѣ права на любовь этой матери—тогда только успокоилась бы она, тогда настало бы искупленіе, или, по крайней мѣрѣ, забвеніе, если правда, что „время все стираетъ съ жизни", какъ утверждаетъ Райскій.

„Все ли?" думала она печально. Времени на стало бы стереть всѣ ея муки, которыя теперь, одна за другою, являлись по очереди, наносить каждая свои удары, взглянувъ сначала всѣ вмѣстѣ ей въ лицо.

Она уже пережила ихъ нѣсколько, теперь переживаетъ одну изъ самыхъ страшныхъ, а внутри ея еще прячется самая злая, которой никто не знаетъ и которую едва ли сотретъ время.

Она старалась не думать о ней, и въ эту минуту думала только—какъ помирить бабушку съ горемъ, облегчить ей удары.

Она вникала въ это молчаніе бабушки, въ эту ея новую нѣжность къ себѣ, и между тѣмъ подстерегала какіе-то, бросаемые исподтишка взгляды на нее,—и не знала, чѣмъ ихъ объяснить?

Что бабушка страдаетъ невыразимо—это ясно. Она отъ скорби измѣнилась, по временамъ горбится, пожелтѣла, у ней прибавились морщины. Но тутъ же рядомъ, глядя на Вѣру, или слушая ее, она вдругъ выпрямится, взглядъ ея загорится такою нѣжностью, что какъ будто она теперь

только нашла въ Вѣрѣ, не прежнюю Вѣру, внучку, но собственную дочь, которая стала ей еще милѣе.

Отчего же милѣе? Можетъ-быть, бабушка теперь щадитъ ее, думалось Вѣрѣ, оттого, что ея женское, глубокое сердце открылось состраданію. Ей жаль карать бѣдную, больную, покаявшуюся, — и она рѣшилась покрыть ея грѣхъ христіанскимъ милосердіемъ.

„Да, больше нечего предположить“, смиренно думала она. „Но Боже мой, какое страданіе—нести это милосердіе, эту милостыню! Упасть, безъ надежды встать—не только въ глазахъ другихъ, но даже въ глазахъ этой бабушки, своей матери!“

Она будетъ лелѣять, ласкать ее, пожалуй, больше прежняго, но ласкать, какъ ласкаютъ бѣднаго идіота помѣшаннаго, обиженнаго природой или судьбой, или еще хуже—какъ падшаго, несчастнаго брата, которому люди бросаютъ милостыню состраданія!

Гордость, человѣческое достоинство, права на уваженіе, цѣлость самолюбія — все разбито въ дребезги! Оборвите эти цвѣты съ вѣнка, которымъ украшенъ человѣкъ, и онъ сдѣлается почти вещью.

Толпа сострадательно глядитъ на падшаго и казнитъ молчаніемъ, какъ бабушка—ее! Нельзя жить тому, въ чьей душѣ когда-нибудь жила законная человѣческая гордость, сознаніе своихъ правъ на уваженіе, кто носилъ прямо голову,—нельзя жить!

Она слыхала нѣсколько примѣровъ увлеченій, припомнила, какой судъ изрекали люди надъ падшими, и какъ эти несчастныя несли казнь почти публичныхъ ударовъ.

„Чѣмъ я лучше ихъ?“ думала Вѣра. „А Маркъ увѣрялъ, и Райскій тоже, что за этимъ... „Рубикономъ“ начинается другая, новая, лучшая жизнь! Да, новая, но какая „лучшая!“

Бабушка сострадательна къ ней: отъ одного этого можно умереть! А бывало она уважала ее, гордилась ею, признавала за ней права на свободу мыслей и дѣйствій, давала ей волю, вѣрила ей! И все это пропало! Она обманула ея довѣріе и не устояла въ своей гордости!

Она — нищая въ родномъ кругу. Ближніе видѣли ее падшую, пришли и, отворачиваясь, накрыли одеждой изъ жалости, гордо думая про себя: „Ты не встанешь никогда, бѣдная, и не станешь съ нами рядомъ, прими, Христа-ради, наше прощеніе!“

„Что жъ, и приму, ради Его—и смирюсь! Но я хочу не милости, а гнѣва, грома... Опять гордость! гдѣ же смиреніе? Смиреніе значитъ—выносить взглядъ укоризны чистой женщины, блѣднѣть подъ этимъ взглядомъ цѣлые годы, всю жизнь, и не смѣть роптать. И не буду! Перенесу все: сострадательное великодушіе Тушина и Райскаго, жалость, прикрывающую, можетъ-быть, невольное презрѣніе бабушки... „Бабушка презираетъ меня!“ вся трясясь отъ тоски, думала она и пряталась отъ ея взгляда, сидѣла молча, печальная, у себя въ комнатѣ, отворачивалась, или потупляла глаза, когда Татьяна Марковна смотрѣла на нее съ глубокой нѣжностью... или сожалѣніемъ, какъ казалось ей.

Тутъ ей, какъ всегда бываетъ, представлялась чистота, прелесть, весь ароматъ ея жизни—до встрѣчи съ Маркомъ, ея спокойствіе до рокового вечера... Она вздрагивала.

Оказалось, что у ней пропало и пренебреженіе къ чужому мнѣнію. Ей стало больно упасть въ глазахъ даже и „глупцовъ“, какъ выражался Маркъ. Она вздыхала по удивленію ихъ къ себѣ, ей стало жаль общаго поклоненія, теперь утраченнаго!

„Ахъ, хоть „Кунигунда“ надоумила бы меня тогда!“ думала она съ трагическимъ юморомъ.

Она хотѣла молиться, и не могла. О чемъ она станетъ молиться? Ей остается смиренно склонить голову передъ громомъ и нести его. Она клонила голову и несла тяжесть „презрѣнія“, какъ она думала.

Снаружи она казалась всѣмъ покойною, но глаза у ней впали, краски не появлялись на блѣдномъ лицѣ, пропала грація походки, свобода движеній. Она худѣла и видимо томилась жизнью.

Ей ни до кого и ни до чего не было дѣла. Она отпустила Наталью Ивановну домой, сидѣла у себя запершись, обѣдала съ бабушкой, поникала головой, когда та обращала на нее пристальный взглядъ, или заговаривала ласково и нѣжно. Она дѣлалась еще угрюмѣе, и спѣшила исполнять, покорнѣе Пашутки, каждое желаніе Татьяны Марковны, выраженное словомъ или взглядомъ.

Ее какъ будто стало не видно и не слышно въ домѣ. Ходила она тихо, какъ тѣнь, просила, что̀ нужно, шопотомъ, не глядя въ глаза никому прямо. Не смѣла ничего приказывать. Ей казалось, что Василиса и Яковъ смотрѣли на нее сострадательно, Егорка дерзко, а горничныя—насмѣшливо.

„Вотъ она „новая жизнь!“ думала она, потупляя глаза передъ взглядомъ Василисы и Якова и сворачивая быстро въ сторону отъ Егорки и отъ горничныхъ. А никто въ домѣ, кромѣ Райскаго, не зналъ ничего. Но ей казалось, какъ всѣмъ кажется въ ея положеніи, что она читала свою тайну у всѣхъ на лицѣ.

И Татьяна Марковна, наблюдая за Вѣрой, задумывалась и какъ будто заражалась ея печалью. Она тоже ни съ кѣмъ почти не говорила, мало спала, мало входила въ дѣла, не принимала ни приказчика, ни купцовъ, приходившихъ справляться о хлѣбѣ, не отдавала приказаній

въ домѣ. Она сидѣла, опершись рукой о столъ и положивъ голову въ ладони, оставаясь подолгу одна.

И она, и Вѣра, обѣ привязались къ Райскому. Простота его души, мягкость, искренность, глядѣвшая изъ каждаго слова, и откровенность, простертая до болтливости, наконецъ игра фантазіи—все это нѣсколько утѣшало и развлекало и ту и другую.

Онъ иногда даже заставлялъ ихъ улыбаться. Но онъ напрасно старался изгнать совсѣмъ печаль, тучей сѣвшую на нихъ обѣихъ и на весь домъ. Онъ и самъ печалился, видя, что ни уваженіе его, ни нѣжность бабушки—не могли возвратить бѣдной Вѣрѣ прежней бодрости, гордости, увѣренности въ себѣ, силъ ума и воли.

— Бабушка презираетъ меня, любитъ изъ жалости! Нельзя жить, я умру! шептала она Райскому. Тотъ бросался къ Татьянѣ Марковнѣ, передавая ей новыя муки Вѣры. Къ ужасу его, бабушка, какъ потерянная, слушала эти тихіе стоны Вѣры, не находя въ себѣ силъ утѣшить ее, блѣднѣла и шла молиться.

— Молись и ты! шептала она ей иногда мимоходомъ.

— Молитесь вы за меня,—я не могу! отвѣчала Вѣра.

— Плачь! говорила бабушка.

— Слезъ нѣтъ! отвѣчала Вѣра, и онѣ молча расходились по своимъ угламъ.

Райскій также привязался къ нимъ обѣимъ, сталъ ихъ другомъ. Вѣра и бабушка высоко поднялись въ его глазахъ, какъ святыя, и онъ жадно ловилъ каждое слово, взглядъ, не зная передъ кѣмъ умиляться, плакать.

Въ Вѣрѣ оканчивалась его статуя гармонической красоты. А тутъ рядомъ возникла другая статуя—сильной, античной женщины — въ бабушкѣ. Та огнемъ страсти, испытанія, очистилась до самопознанія и самообладанія, а эта...

Откуда у ней этотъ источникъ мудрости и силы? Она— дѣвушка! Онъ никакъ не могъ добраться; бабушка была загадкой для него. Онъ напрасно искалъ ключа.

Обѣ упрашивали Райскаго остаться тутъ навсегда, жениться, завестись домомъ.

— Боюсь, не выдержу, говорилъ онъ въ отвѣтъ:—воображеніе опять запроситъ идеаловъ, а нервы новыхъ ощущеній, и скука съѣстъ меня заживо! Какія цѣли у художника? Творчество—вотъ его жизнь!.. Прощайте! скоро уѣду, заканчивалъ онъ обыкновенно свою рѣчь, и еще больше печалилъ обѣихъ и самъ чувствовалъ горе, а за горемъ грядущую пустоту и скуку.

Бабушка погружалась въ свою угрюмость, Вѣра тайно убивалась печалью и дни проходили за днями. Тоска Вѣры была постоянная, неутолимая, и печаль Татьяны Марковны возрастала по мѣрѣ того, какъ она слѣдила за Вѣрой.

Она, пока Вѣра хворала, проводила ночи въ старомъ домѣ, ложась на диванѣ, противъ постели Вѣры, и караулила ея сонъ. Но почти всегда случалось такъ, что обѣ женщины, думая подстеречь одна другую, видѣли, что ни та, ни другая не спитъ.

— Ты не спишь, Вѣрочка? спроситъ бабушка.

— Сплю, отвѣчаетъ Вѣра и закрываетъ глаза, чтобъ обмануть бабушку.

— Вы не спите, бабушка? спроситъ и Вѣра, также поймавъ ея, смотрящій на нее взглядъ.

— Сейчасъ только проснулась, говоритъ Татьяна Марковна, и поворачивается на другой бокъ.

„Нельзя жить! нѣтъ покоя и не будетъ никогда!“ терзалась про себя Вѣра.

„Нѣтъ—не избудешь горя. Богъ велитъ казнить себя, чтобъ успокоить ее...“ думала бабушка съ глубокимъ вздохомъ.

— Когда же вы возьмете меня къ себѣ отсюда, бабушка?

— Послѣ свадьбы, когда Марѳинька уѣдетъ...

— Я теперь хочу, мнѣ не живется здѣсь, не спится...

— Погоди, оправься немного, тогда...

Вѣра умолкала, не смѣя настаивать. „Не беретъ!“ думала она: „презираетъ...“

## X.

На другой день послѣ такой безсонной ночи, Татьяна Марковна послала съ утра за Титомъ Никонычемъ. Онъ пріѣхалъ-было веселый, радуясь, что угрожавшая ей и „отмѣнной дѣвицѣ“ Вѣрѣ Васильевнѣ болѣзнь и разстройство миновались благополучно, привезъ громадный арбузъ и ананасъ въ подарокъ, расшаркался, разлюбезничался, блистая складками бѣлоснѣжной сорочки, желтыми панковыми панталонами, синимъ фракомъ, съ золотыми пуговицами, и сладчайшей улыбкой.

— Обновилъ къ осени фуфайку, поздравьте, сказалъ онъ:—подарокъ дражайшаго Бориса Павловича...

Взглянувъ на Татьяну Марковну, онъ вдругъ остолбенѣлъ и испугался.

Она, накинувъ на себя мѣховую кацавейку и накрывъ голову косынкой, молча сдѣлала ему знакъ идти за собой и повела его въ садъ. Тамъ, сидя на скамьѣ Вѣры, она два часа говорила съ нимъ, и потомъ воротилась, глядя себѣ подъ ноги, домой. а онъ, не зашедши къ ней, точно убитый, отправился къ себѣ, велѣлъ камердинеру уложиться, послалъ за почтовыми лошадьми и уѣхалъ въ свою деревню, куда нѣсколько лѣтъ не заглядывалъ.

Райскій зашелъ къ нему и съ удивленіемъ услышалъ эту новость. Обратился къ бабушкѣ, та сказала, что у него въ деревнѣ что-то не покойно.

Вѣра была грустнѣе, нежели когда-нибудь. Она больше лежала небрежно на диванѣ и смотрѣла въ полъ, или ходила взадъ и впередъ по комнатамъ стараго дома, блѣдная, съ желтыми пятнами около глазъ.

На лбу у ней въ эти минуты ложилась рѣзкая линія— намекъ на будущую морщину. Она грустно улыбалась, глядя на себя въ зеркало. Иногда подходила къ столу, гдѣ лежало нераспечатанное письмо на синей бумагѣ, бралась за ключъ и съ ужасомъ отходила прочь.

„Куда уйти? гдѣ спрятаться отъ цѣлаго міра?“ думала она.

Нынѣшній день протянулся до вечера, какъ вчерашній, какъ, вѣроятно, протянется завтрашній. Насталъ вечеръ, ночь. Вѣра легла и загасила свѣчу, глядя открытыми глазами въ темноту. Ей хотѣлось забыться, уснуть, но сонъ не приходилъ.

Въ темнотѣ рисовались ей какія-то пятна, чернѣе самой темноты. Пробѣгали, волнуясь, какія-то тѣни по слабому свѣту оконъ. Но она не пугалась; нервы были убиты, и она не замерла бы отъ ужаса, если бъ изъ угла встало передъ ней привидѣніе, или вкрался бы воръ или убійца въ комнату, не смутилась бы, если бъ ей сказали, что она не встанетъ болѣе.

И она продолжала глядѣть въ темноту, на проносившіяся волнистыя тѣни, на черныя пятна, сгущавшіяся въ темнотѣ, на какіе-то вертящіеся, какъ въ калейдоскопѣ, кружки...

Вдругъ ей показалось, что дверь ея начинаетъ понемногу отворяться, вотъ скрипнула...

Она оперлась на локоть и устремила глаза въ дверь.

Показался свѣтъ и рука, загородившая огонь. Вѣра перестала смотрѣть, положила голову на подушку и притворилась спящею. Она видѣла, что это была Татьяна

Марковна, входившая осторожно, съ ручной лампой. Она спустила съ плечъ на стулъ салопъ и шла тихо къ постели, въ бѣломъ капотѣ, безъ чепца, какъ привидѣніе.

Поставивъ лампу на столикъ, за изголовьемъ Вѣры, она сама сѣла напротивъ, на кушетку, такъ тихо, что не стукнула лампа у ней, когда она ставила ее на столикъ, не заскрипѣла кушетка, когда она садилась.

Она пристально смотрѣла на Вѣру; та лежала съ закрытыми глазами. Татьяна Марковна, опершись щекой на руку, не спускала съ нея глазъ, и изрѣдка, удерживая вздохи, тихо облегчала ими грудь.

Прошло больше часа. Вѣра вдругъ открыла глаза. Татьяна Марковна смотритъ на нее пристально.

— Тебѣ не спится, Вѣрочка?

— Не спится.

— Отчего?

Молчаніе. Вѣра глядѣла въ лицо Татьяны Марковны и замѣтила, что она блѣдна.

„Не можетъ перенести удара“, думала Вѣра: „а притворства недостаетъ, правда рвется наружу...“

— Зачѣмъ вы казните меня и по ночамъ, бабушка? сказала она тихо.

Бабушка молча смотрѣла на нее.

Вѣра отвѣчала ей такимъ же продолжительнымъ взглядомъ. Обѣ женщины говорили глазами и, казалось, понимали другъ друга.

— Не смотрите такъ, ваша жалость убьетъ меня. Лучше сгоните меня со двора, а не изливайте по каплѣ презрѣніе!.. Бабушка! мнѣ невыносимо тяжело! простите, а если нельзя, схороните меня куда-нибудь живую! Я бы утопилась...

— Зачѣмъ, Вѣра, не то говоритъ у тебя языкъ, что думаетъ голова?

— А зачѣмъ вы молчите? что у васъ на умѣ? Я не понимаю вашего молчанія и мучаюсь. Вы хотите что-то сказать и не говорите...

— Тяжело, Вѣра, говорить. Молись—и пойми бабушку безъ разговора... если можно...

— Пробовала молиться, да не могу. О чемъ? чтобъ умереть скорѣй?

— О чемъ ты тоскуешь, когда все забыто? сказала Татьяна Марковна, пытаясь еще разъ успокоить Вѣру, и пересѣла съ кушетки къ ней на постель.

— Нѣтъ, не забыто! Моя вина написана у васъ въ глазахъ... Они все говорятъ...

— Что они говорятъ?

— Что нельзя жить больше, что... все погибло.

— Не умѣешь ты читать бабушкиныхъ взглядовъ!

— Я умру, я знаю! только бы скорѣй, ахъ, скорѣй! говорила Вѣра, ворочая лицо къ стѣнѣ.

Татьяна Марковна тихо покачала головой.

— Нельзя жить! съ унылой увѣренностью повторила Вѣра.

— Можно! съ глубокимъ вздохомъ сказала Татьяна Марковна.

— Послѣ... того?... обернувшись къ ней спросила Вѣра.

— Послѣ того...

Теперь Вѣра вздохнула безнадежно.

— Вы не знаете, бабушка... вы не такая!...

— Такая!... чуть слышно, наклоняясь къ ней, прошептала Татьяна Марковна.

Вѣра быстро взглянула на нее съ жадностью раза два-три, потомъ печально опустилась на подушки.

— Вы святая! Вы никогда не были въ моемъ положеніи... говорила она, какъ будто про себя.—Вы праведница!

— Грѣшница! чуть слышно прошептала Татьяна Марковна.

— Всѣ грѣшны... но не такая грѣшная, какъ я...

— Такая же...

— Что?! вдругъ приподнявшись на локоть, съ ужасомъ въ глазахъ и въ голосѣ, спросила Вѣра.

— Такая же грѣшница, какъ и ты...

Вѣра обѣими руками вцѣпилась ей въ кофту и прижалась лицомъ къ ея лицу.

— Зачѣмъ клевещешь на себя? почти шипѣла она, дрожа:—чтобъ успокоить, спасти бѣдную Вѣру? Бабушка, бабушка, не лги!

— Я не лгу никогда, шептала, едва осиливая себя, старуха:—ты это знаешь. Солгу ли я теперь? Я грѣшница... грѣшница... говорила она, сползая на колѣни передъ Вѣрой и клоня сѣдую голову ей на грудь. — Прости и ты меня!..

Вѣра замерла отъ ужаса.

— Бабушка... шептала она, и въ изумленіи широко открыла глаза, точно воскресая:—можетъ ли это быть?

И вдругъ съ силой прижала голову старухи къ груди.

— Что ты дѣлаешь? зачѣмъ говоришь мнѣ это?... Молчи! Возьми назадъ свои слова! Я не слыхала, я ихъ забуду, сочту своимъ бредомъ... не казни себя для меня!

— Нельзя, Богъ велитъ! говорила старуха, стоя на колѣняхъ у постели и склонивъ голову.

— Встань, бабушка!... Поди ко мнѣ сюда!...

Бабушка плакала у ней на груди.

И Вѣра зарыдала какъ ребенокъ.

— Зачѣмъ сказала ты...

— Надо! *Онъ* велитъ смириться, говорила старуха, указывая на небо:—просить у внучки прощенія. Прости меня, Вѣра, прежде ты. Тогда и я могу простить тебя... Напрасно я хотѣла обойти тайну, умереть съ ней... Я погубила тебя своимъ грѣхомъ...

— Ты спасаешь меня, бабушка... отъ отчаянія...

— И себя тоже, Вѣра. Богъ проститъ насъ, но Онъ требуетъ очищенія! Я думала, грѣхъ мой забытъ, прощенъ. Я молчала и казалась праведной людямъ: не правда! Я была—какъ „окрашенный гробъ" среди васъ, а внутри таился неомытый грѣхъ! Вотъ онъ гдѣ вышелъ наружу—въ твоемъ грѣхѣ! Богъ покаралъ меня въ немъ... Прости же меня отъ сердца...

— Бабушка! развѣ можно прощать свою мать? Ты святая женщина! Нѣтъ другой такой матери... Если бъ я тебя знала... вышла ли бы я изъ твоей воли?...

— Это мой другой страшный грѣхъ! перебила ее Татьяна Марковна:—я молчала и не отвела тебя... отъ обрыва! Мать твоя изъ гроба достаетъ меня за это; я чувствую — она все снится мнѣ... Она теперь тутъ, между насъ... Прости меня и ты, покойница! говорила старуха, дико озираясь вокругъ и простирая руку къ небу. У Вѣры пробѣжала дрожь по тѣлу: — Прости и ты, Вѣра—простите обѣ!... Будемъ молиться!...

Вѣра силилась поднять ее.

Татьяна Марковна тяжело встала на ноги и сѣла на кушетку. Вѣра подала ей одеколонъ и воды, смочила ей виски, дала успокоительныхъ капель, и сама сѣла на коврѣ, осыпая поцѣлуями ея руки.

— Ты знаешь, нѣтъ ничего тайнаго, что не вышло бы наружу! заговорила Татьяна Марковна, оправившись.— Сорокъ пять лѣтъ два человѣка только знали: *онъ*, да Василиса, и я думала, что мы умремъ всѣ съ тайной.

*

А вотъ—она вышла наружу! Боже мой! говорила какъ будто въ помѣшательствѣ Татьяна Марковна, вставая, складывая руки и протягивая ихъ къ образу Спасителя:—если бъ я знала, что этотъ громъ ударитъ когда-нибудь въ другую... въ мое дитя. — я бы тогда же на площади, передъ соборомъ, въ толпѣ народа, исповѣдала свой грѣхъ!

Вѣра слушала въ изумленіи, глядя большими глазами на бабушку, боялась вѣрить, пытливо изучала каждый ея взглядъ и движеніе, сомнѣваясь, не героическій ли это поступокъ, не великодушный ли замыселъ — спасти ее, падшую, поднять? Но молитва, колѣнопреклоненіе, слезы старухи, обращеніе къ умершей матери... Нѣтъ, никакая актриса не покусилась бы играть въ такую игру, а бабушка—вся правда и честность!

Вѣрѣ становилось тепло въ груди, легче на сердцѣ. Она внутренно вставала на ноги, будто пробуждалась отъ сна, чувствуя, что въ нее льется волнами опять жизнь, что тихо, какъ другъ, стучится миръ въ душу, что душу эту, какъ темный, запущенный храмъ, освѣтили огнями и наполнили опять молитвами и надеждами. Могила обращалась въ цвѣтникъ.

Кровь у ней начала свободно переливаться въ жилахъ; даль мало-по-малу принимала свой утерянный ходъ, какъ испорченные и исправленные рукою мастера часы. Люди къ ней дружелюбны, природа опять заблеститъ для нея красотой.

Завтра она встанетъ бодрая, живая, покойная, увидитъ любимыя лица, увѣрится, что Райскій не притворялся, говоря, что она стала его лучшей, поэтической мечтой.

Тушинъ попрежнему будетъ гордъ и счастливъ ея дружбой и станетъ „любить ее еще больше“, онъ самъ сказалъ.

Съ бабушкой онѣ теперь—не бабушка съ внучкой, а двѣ подруги, близкія, равныя, неразлучныя.

Она даже нечаянно начала ей говорить *ты*, какъ и Райскому, когда заговорило прямо сердце, забывшее холодное *вы*, и она оставитъ за собой это право.

Она теперь только поняла эту усилившуюся къ ней, послѣ признанія, нѣжность и ласки бабушки. Да, бабушка взяла ея неудобоносимое горе на свои старыя плечи, стерла своей виной ея вину и не сочла послѣднюю за „потерю чести". Потеря чести! Эта справедливая, мудрая, нѣжнѣйшая женщина въ мірѣ, всѣхъ любящая, исполняющая такъ свято всѣ свои обязанности, никого никогда не обидѣвшая, никого не обманувшая, всю жизнь отдавшая другимъ,—эта, всѣми чтимая женщина, „пала, потеряла честь!"

Стало-быть ей, Вѣрѣ, надо быть бабушкой въ свою очередь, отдать всю жизнь другимъ, и путемъ долга, нескончаемыхъ жертвъ и труда, начать „новую" жизнь, не похожую на ту, которая стащила ее на дно обрыва... любить людей, правду, добро...

Все это вихремъ неслось у ней въ головѣ и будто уносило ее самое на какихъ-то облакахъ. Ей на душѣ становилось свободнѣе, какъ преступнику, которому расковали руки и ноги.

Она вдругъ встала...

— Бабушка, сказала она:—ты меня простила, ты любишь меня больше всѣхъ, больше Марѳиньки—я это вижу! А видишь ли, знаешь ли ты, какъ я тебя люблю? Я не страдала бы такъ сильно, если бъ такъ же сильно не любила тебя! Какъ долго мы не знали съ тобой другъ друга!...

— Сейчасъ узнаешь все, выслушай мою исповѣдь—и осуди строго, или прости—и Богъ проститъ насъ...

— Я не хочу, не должна, не смѣю! Зачѣмъ?...

— Затѣмъ, чтобъ и мнѣ вытерпѣть теперь то̀, что̀ я должна была вытерпѣть сорокъ пять лѣтъ тому назадъ. Я украла свой грѣхъ! Ты знаешь его, узнаетъ и Борисъ. Пусть внукъ посмѣется надъ сѣдинами старой Кунигунды!...

Бабушка прошла раза два въ волненіи по комнатѣ, тряся съ фанатической рѣшимостью головой.

Она опять походила на старый женскій, фамильный портретъ въ галлереѣ, съ суровой важностью, съ величіемъ и увѣренностью въ себѣ, съ лицомъ, истерзаннымъ пыткой, и съ гордостью, осилившей пытку. Вѣра чувствовала себя жалкой дѣвочкой передъ ней и робко глядѣла ей въ глаза, мысленно мѣряя свою молодую, только что вызванную на борьбу съ жизнью силу—съ этой старой, искушенной въ долгой жизненной борьбѣ, но еще крѣпкой, повидимому, несокрушимой силой.

„Я не понимала ее! Гдѣ была моя хваленая „мудрость" передъ этой бездной!...“ думала она, и бросилась на помощь бабушкѣ—помѣшать исповѣди, отвести ненужныя и тяжелыя страданія отъ ея измученной души. Она стала передъ ней на колѣни и взяла ее за обѣ руки.

— Ты сама чувствуешь, бабушка, сказала она:—что ты сдѣлала теперь для меня: всей моей жизни недостанетъ, чтобъ заплатить тебѣ. Нейди далѣе; здѣсь конецъ твоей казни! Если ты непремѣнно хочешь, я шепну слово брату о твоемъ прошломъ — и пусть оно закроется навсегда! Я видѣла твою муку, зачѣмъ ты хочешь еще истязать себя исповѣдью? Судъ совершился—я не приму ее. Не мнѣ слушать и судить тебя — дай мнѣ только обожать твои святыя сѣдины и благословлять всю жизнь! Я не стану слушать: это мое послѣднее слово!

Татьяна Марковна вздохнула, потомъ обняла ее.

— Да будетъ такъ! сказала она: — я принимаю твое рѣшеніе, какъ Божіе прощеніе — и благодарю тебя за пощаду моей сѣдины...

— Пойдемъ теперь туда, къ тебѣ, отдохнемъ обѣ, говорила Вѣра.

Татьяна Марковна почти на рукахъ донесла ее до дому, уложила въ свою постель и легла съ ней рядомъ.

Когда Вѣра, согрѣтая въ ея объятіяхъ, тихо заснула, бабушка осторожно встала и, взявъ ручную лампу, загородила рукой свѣтъ отъ глазъ Вѣры и нѣсколько минутъ освѣщала ея лицо, глядя съ умиленіемъ на эту блѣдную, чистую красоту лба, закрытыхъ глазъ, и на всѣ, точно рукой великаго мастера изваянныя, чистыя и тонкія черты бѣлаго мрамора, съ глубокимъ, лежащимъ въ нихъ миромъ и покоемъ.

Она поставила лампу, перекрестила спящую, дотронулась губами до ея лба и опустилась на колѣни у постели.

— Милосердуй надъ ней! молилась она почти въ изступленіи:—и если не исполнилась еще мѣра гнѣва Твоего, отведи его отъ нея—и ударь опять въ мою сѣдую голову!...

Долго послѣ молитвы сидѣла она надъ спящей, потомъ тихо легла подлѣ нея и окружила ея голову своими руками. Вѣра пробуждалась иногда, открывала глаза на бабушку, опять закрывала ихъ, и въ полуснѣ приникала все плотнѣе и плотнѣе лицомъ къ ея груди, какъ будто хотѣла глубже зарыться въ ея объятія.

## XI.

Проходили дни, и съ ними опять тишина повисла надъ Малиновкой. Опять жизнь, задержанная катастрофой, какъ порогами, прорвалась сквозь преграду и потекла дальше, ровнѣе.

Но въ этой тишинѣ отсутствовала безпечность. Какъ на природу внѣшнюю, такъ и на людей, легла будто осень. Всѣ были задумчивы, сосредоточены, молчаливы, отъ всѣхъ отдавало холодомъ, слетѣли и съ людей, какъ листья съ

деревьевъ, улыбки, смѣхъ, радости. Мучительныя скорби миновали, но колоритъ и тоны прежней жизни измѣнились.

У Вѣры съ бабушкой установилась тѣсная, безмолвная связь. Онѣ, со времени извѣстнаго вечера, послѣ взаимной исповѣди, хотя и успокоили одна другую, но не вполнѣ успокоились другъ за друга, и обѣ вопросительно, отчасти недовѣрчиво, смотрѣли вдаль, опасаясь будущаго.

Переработаетъ ли въ себѣ бабушка всю эту внезапную тревогу, какъ землетрясеніе, всколыхавшую ея душевный миръ? спрашивала себя Вѣра и читала въ глазахъ Татьяны Марковны, привыкаетъ ли она къ другой, не прежней Вѣрѣ, и къ ожидающей ее новой, неизвѣстной, а не той судьбѣ, какую она ей гадала? Не сѣтуетъ ли безсознательно про себя на ея своевольное ниспроверженіе своей счастливой, старческой дремоты? Воротится ли къ ней когда-нибудь ясность и покой въ душу?

А Татьяна Марковна старалась угадывать будущее Вѣры, боялась, вынесетъ ли она крестъ покорнаго смиренія, какой судьба, по ея мнѣнію, налагала, какъ искупленіе за „грѣхъ?" Не подточитъ ли сломленная гордость и униженное самолюбіе ея нѣжныхъ, молодыхъ силъ? Излечима ли ея тоска, не обратилась бы она въ хроническую болѣзнь?

Бабушка машинально приняла опять бразды правленія надъ своимъ царствомъ. Вѣра усердно ушла въ домашнія хлопоты, особенно заботилась о приданомъ Марѳиньки, и принесла туда свой вкусъ и трудъ.

Въ ожиданіи какого-нибудь серьезнаго труда, какой могла дать ей жизнь со временемъ, по ея уму и силамъ, она положила не избѣгать никакого дѣла, какое представится около нея, какъ бы оно просто и мелко ни было— находя, что, подъ презрѣніемъ къ мелкому, обыденному дѣлу и подъ мнимымъ ожиданіемъ или изобрѣтеніемъ

какого-то новаго, еще небывалаго труда и дѣла, кроется у большей части, просто лѣнь, или неспособность, или наконецъ большое и смѣшное самолюбіе—ставить самихъ себя выше своего ума и силъ.

Она рѣшила, что „дѣла" изобрѣтать нельзя, что оно само, силою обстоятельствъ, выдвигается на очередь въ данный моментъ, и что такимъ естественнымъ путемъ рождающееся дѣло—только и важно, и нужно.

Слѣдовательно, надо зорко смотрѣть около, не лежитъ ли праздно несдѣланное дѣло, за которымъ явится на очередь слѣдующее, по порядку, и не бросаться за какимъ-нибудь блуждающимъ огнемъ, или „миражемъ", какъ говоритъ Райскій.

Не надо пуще всего покладывать рукъ и коснѣть „въ блаженномъ успеніи", въ постоянномъ „отдыхѣ", безъ всякаго труда.

Она была блѣднѣе прежняго, въ глазахъ ея было меньше блеска, въ движеніяхъ меньше живости. Все это могло быть слѣдствіемъ болѣзни, скоро захваченной горячки; такъ всѣ и полагали вокругъ. При всѣхъ она держала себя обыкновенно, шила, порола, толковала со швеями, писала реестры, счеты, исполняла порученія бабушки. И никто ничего не замѣчалъ.

— Поправляется барышня, говорили люди.

Райскій замѣчалъ также благопріятную перемѣну въ ней, и по временамъ, видя ее задумчивою, улавливая иногда блеснувшія и пропадающія слезы, догадывался, что это были только слѣды удаляющейся грозы, страсти. Онъ былъ доволенъ, и его собственныя волненія умолкали все болѣе и болѣе, по мѣрѣ того, какъ выживались изъ памяти всѣ препятствія, раздражавшія страсть, всѣ сомнѣнія, соперничество, ревность.

Вѣра, по настоянію бабушки (сама Татьяна Марковна не могла), передала Райскому только глухой намекъ о ея любви, предметомъ которой былъ Ватутинъ, не сказавъ ни слова о „грѣхѣ". Но этимъ полудовѣріемъ вовсе не рѣшилась для Райскаго загадка — откуда бабушка, въ его глазахъ, старая дѣвушка, могла почерпнуть силу, чтобъ снести, съ не-дѣвическою твердостью, мужественно, не только самой — тяжесть „бѣды", но успокоить и Вѣру, спасти ее окончательно отъ нравственной гибели, собственнаго отчаянія.

А она очевидно сдѣлала это. Какъ она пріобрѣла власть надъ умомъ и довѣріемъ Вѣры? Онъ недоумѣвалъ—и только больше удивлялся бабушкѣ, и это удивленіе выражалось у него невольно.

Все обращеніе его съ нею приняло характеръ глубокаго, нѣжнаго почтенія и сдержанной покорности. Возраженія на ея слова, прежняя комическая война съ ней— уступили мѣсто изысканному уваженію къ каждому ея слову, желанію и намѣренію. Даже въ движеніяхъ его появилась сдержанность, почти до робости.

Онъ не забирался при ней на диванъ прилечь, вставалъ, когда она подходила къ нему, шелъ за ней послушно въ деревню и поле, когда она шла гулять, терпѣливо слушалъ ея объясненія по хозяйству. Во всѣ, даже мелкія отношенія его къ бабушкѣ, проникло то удивленіе, какое вызываетъ невольно женщина, съ сильной нравственной властью.

А она, совершивъ подвигъ, устоявъ тамъ, гдѣ падаютъ ничкомъ мелкія натуры, вынесши и свое, и чужое бремя съ разумомъ и величіемъ, тутъ же, на его глазахъ, мало-по-малу, опять обращалась въ простую женщину, уходила въ мелочи жизни, какъ будто пряча свои силы и величіе

опять—до случая, даже не подозрѣвая, какъ она вдругъ выросла, стала героиней, и какой подвигъ совершила.

Въ дворнѣ, послѣ пронесшейся, какой-то необъяснимой для нея тучи, было недоумѣніе, тяжесть. Люди притихли. Не слышно шума, брани, смѣха, присмирѣли дѣвки отгоняя Егорку прочь.

Въ особенно затруднительномъ положеніи очутилась Василиса. Она и Яковъ, какъ сказано, дали обѣтъ, если барыня придетъ въ себя и выздоровѣетъ, онъ—поставитъ большую вызолоченную свѣчу къ мѣстной иконѣ въ приходской церкви, а она сходитъ пѣшкомъ въ Кіевъ.

Яковъ исчезъ однажды рано утромъ со двора, взявъ на свѣчу денегъ изъ лампадной суммы, отпускаемой ему на руки барыней. Онъ водрузилъ обѣщанную свѣчу передъ иконой за ранней обѣдней.

Но у него оказался излишекъ отъ взятой изъ дома суммы. Крестясь поминутно, онъ вышелъ изъ церкви и прошелъ въ слободу, гдѣ оставилъ и излишекъ, и пришелъ домой „веселыми ногами", съ легкимъ румянцемъ на щекахъ и на носу.

Его нечаянно встрѣтила Татьяна Марковна. Она издали почуяла запахъ вина.

— Что съ тобой, Яковъ? спросила она съ удивленіемъ.—Ради чего ты...

— Сподобился, сударыня! отвѣчалъ онъ, набожно склонивъ голову на сторону и сложивъ руки горстями на груди, одна на другую.

Онъ объявилъ и Василисѣ, что „сподобился" выполнить обѣтъ.

Василиса поглядѣла на него и вдругъ стала сама не своя. Она тоже „обѣщалась", и до этой минуты, среди хлопотъ около барыни, съ приготовленіями къ свадьбѣ, не вспомнила объ обѣтѣ.

И вдругъ Яковъ уже исполнилъ, и притомъ въ одно утро, и вонъ ходитъ, полный благочестиваго веселья. А она обѣщалась въ Кіевъ сходить!

— Какъ я пойду, силы нѣтъ, говорила она, щупая себя. —У меня и костей почти нѣтъ, все однѣ мякоти! Не дойду—Господи помилуй!

И точно у ней однѣ мякоти. Она насидѣла ихъ у себя въ своей комнатѣ, сидя тридцать лѣтъ на стулѣ у окна, между бутылями съ наливкой, не выходя на воздухъ, двигаясь тихо только около барыни, да въ кладовыя. Питалась она однимъ кофе, да чаемъ, хлѣбомъ, картофелемъ и огурцами, иногда рыбою, даже въ мясоѣдъ.

Она пошла къ отцу Василью, прося рѣшить ея сомнѣнія. Она слыхала, что добрые „батюшки“ даже разрѣшаютъ отъ обѣта совсѣмъ, по немощи, или замѣняютъ его другимъ.— Какимъ? спрашивала она себя на случай, если отецъ Василій допуститъ замѣнъ.

Она сказала, по какому случаю обѣщалась, и спросила: —идти ли ей?

— Коли обѣщалась, какъ же нейти? сказалъ отецъ Василій.—Надо идти!

— Да я съ испуга обѣщалась, думала, барыня помретъ. А она черезъ три дня встала. Такъ за что жъ я этакую даль пойду?

— Да, это не ближній путь, въ Кіевъ! Вотъ то-то, обѣщать, а потомъ и назадъ! журилъ онъ: —не хорошо. Не надо было обѣщать, коли охоты нѣтъ...

— Есть, батюшка, да силъ нѣтъ, мякоти одолѣли, до церкви дойду—одышка мучаетъ. Мнѣ седьмой десятокъ! Другое дѣло, кабы барыня маялась въ постели мѣсяца три, да причастили ее и особоровали бы масломъ, а Богъ, по моей грѣшной молитвѣ, поднялъ бы ее на ноги, такъ я бы хоть ползкомъ поползла. А то она и недѣли не хворала!

Отецъ Василій улыбнулся.

— Какъ же быть? сказалъ онъ.

— Я бы другое что̀ обѣщала. Нельзя ли перемѣнить?

— На что̀ же другое?

Василиса задумалась.

— Я постъ на себя наложила бы: мяса всю жизнь въ ротъ не стану брать, такъ и умру.

— А ты любишь его?

— Нѣтъ, и смотрѣть-то тошно! отвыкла отъ него...

Отецъ Василій опять улыбнулся.

— Какъ же такъ, сказалъ онъ:—вѣдь надо замѣнить трудное одинаково труднымъ или труднѣйшимъ, а ты полегче выбрала!

Василиса вздохнула.

— Нѣтъ-ли чего-нибудь такого, чего бы тебѣ не хотѣлось исполнить—подумай!

Василиса подумала и сказала, что нѣтъ.

— Ну, такъ надо въ Кіевъ идти! рѣшилъ онъ.

— Если бъ не мякоти, съ радостью бы пошла, вотъ передъ Богомъ!

Отецъ Василій задумался.

— Какъ бы облегчить тебя? думалъ онъ вслухъ.—Ты что̀ любишь, какую пищу употребляешь?

— Чай, кофій — да похлебку съ грибами и картофелемъ...

— Кофе любишь?

— Охотница.

— Ну такъ—воздержись отъ кофе, не пей!

Она вздохнула.

„Да“, подумалось ей: „и правду тяжело: это почти все равно, что въ Кіевъ идти!“

— Чѣмъ же мнѣ питаться, батюшка? спросила она.

— Мясомъ.

Она взглянула на него, не смѣется ли онъ.

Онъ точно смѣялся, глядя на нее.

— Вѣдь ты не любишь его, ну, и принеси жертву.

— Какая же польза: оно скоромное, батюшка.

— Ты въ скоромные дни и питайся имъ! А польза та, что мякотей меньше будетъ. Вотъ тебѣ полгода срокъ: выдержи—и обѣтъ исполнишь.

Она ушла, очень озабоченная, и съ другого дня послушно начала исполнять новое обѣщаніе, съ вздохомъ отворачивая носъ отъ кипящаго кофейника, который носила по утрамъ барынѣ.

Еще съ Мариной что-то недоброе случилось. Она, еще до болѣзни барыни, ходила какой-то одичалой и задумчивой и валялась съ недѣлю на лежанкѣ, а потомъ слегла, объявивъ, что нездорова, встать не можетъ.

— Богъ караетъ! говорилъ Савелій, кряхтя и кутая ее въ теплое одѣяло.

Василиса доложила барынѣ. Татьяна Марковна велѣла позвать Меланхолиху, ту самую бабу-лѣкарку, къ которой отправляли дворовыхъ и другихъ простыхъ людей, на вылѣчку.

Меланхолиха, по тщательномъ освидѣтельствованіи больной, шопотомъ объявила Василисѣ, что болѣзнь Марины превышаетъ ея познанія. Ее отправили въ клинику, въ сосѣдній городъ, за двѣсти верстъ.

Самъ Савелій отвезъ ее, и по возвращеніи, на вопросы обступившей его дворни, хотѣлъ что-то сказать, но только поглядѣлъ на всѣхъ, поднялъ выше обыкновеннаго кожу на лбу, сдѣлавъ складку въ палецъ толщиной, потомъ плюнулъ, повернулся спиной и шагнулъ за порогъ своей клѣтушки.

Недѣли черезъ полторы, Марѳинька вернулась съ женихомъ и съ его матерью изъ-за Волги, еще веселѣе, счастли-

вѣе и здоровѣе, нежели поѣхала. Оба успѣли пополнѣть. Оба привезли-было свой смѣхъ, живость, шумъ, бѣготню, веселые разговоры.

Но едва пробыли часа два дома, какъ оробѣли и присмирѣли, не найдя ни въ комъ и ни въ чемъ отвѣта и сочувствія своимъ шумнымъ изліяніямъ. Отъ смѣха и веселаго говора раздавалось около нихъ печальное эхо, какъ въ пустомъ домѣ.

На всемъ лежалъ какой-то туманъ. Даже птицы отвыкли летать къ крыльцу, на которомъ кормила ихъ Марѳинька. Ласточки, скворцы и всѣ лѣтніе обитатели рощи улетѣли, и журавлей не видно надъ Волгой. Котята всѣ куда-то разбѣжались.

Цвѣты завяли, садовникъ выбросилъ ихъ, и передъ домомъ, вмѣсто цвѣтника, лежали черные круги взрытой земли, съ каймой блѣднаго дерна, да полосы пустыхъ грядъ. Нѣсколько деревьевъ завернуты были въ рогожу. Роща обнажалась все больше и больше отъ листьевъ. Сама Волга почернѣла, готовясь замерзнуть.

Но это природа! это само по себѣ не дѣлаетъ, а только усиливаетъ скуку людямъ. А вотъ—что съ людьми сталось, со всѣмъ домомъ? спрашивала Марѳинька, глядя въ недоумѣніи вокругъ.

Гнѣздышко Марѳиньки, ея комнатки наверху, потеряли свою веселость. Въ немъ поселилось съ Вѣрой грустное молчаніе.

У Марѳиньки на глазахъ были слезы. Отчего все измѣнилось? Отчего Вѣрочка перешла изъ стараго дома? Гдѣ Титъ Никонычъ? Отчего бабушка не бранитъ ее, Марѳиньку: не сказала даже ни слова за то, что, вмѣсто недѣли, она пробыла въ гостяхъ двѣ? Не любитъ больше? Отчего Вѣрочка не ходитъ попрежнему одна по полямъ и рощѣ? Отчего всѣ такіе скучные, не говорятъ другъ съ другомъ, не

дразнятъ ее женихомъ, какъ дразнили до отъѣзда? О чемъ молчатъ бабушка и Вѣра? Что̀ сдѣлалось со всѣмъ домомъ?

Марѳиньку кое-какъ успокоили отвѣтами на нѣкоторые вопросы. Другіе обошли молчаніемъ.

— Вѣра перешла оттого, сказали ей, что печи въ старомъ домѣ, въ ея комнатѣ, стали плохи, не держатъ тепла.

— Титъ Никонычъ уѣхалъ унимать безпорядки въ деревнѣ.

— Вѣра не ходитъ гулять, потому что простудилась и пролежала три дня въ постели, почти въ горячкѣ.

Марѳинька, услыхавъ слово „горячка", испугалась заднимъ числомъ и заплакала.

На вопросъ, „о чемъ бабушка съ Вѣрой молчатъ и отчего первая ее ни разу не побранила, что̀ значило — не любитъ", Татьяна Марковна взяла ее за обѣ щеки и задумчиво, со вздохомъ, поцѣловала въ лобъ. Это только больше опечалило Марѳиньку.

— Мы верхомъ ѣздили. Николай Андреичъ дамское сѣдло выписалъ. Я одна каталась въ лодкѣ, сама гребла, въ рощу съ бабами ходила! затрогивала Марѳинька бабушку, въ надеждѣ, не побранитъ ли она хоть за это.

Татьяна Марковна, будто съ укоромъ покачала головой, но Марѳинька видѣла, что это притворно, что она думаетъ о другомъ, или уйдетъ и сядетъ подлѣ Вѣры.

Марѳинька печалилась и ревновала ее къ сестрѣ, но сказать боялась и потихоньку плакала. Едва ли это была не первая серьезная печаль Марѳиньки, такъ что и она безсознательно приняла общій серьезно-туманный тонъ, какой лежалъ надъ Малиновкой и ея жителями.

Она молча сидѣла съ Викентьевымъ; шептать имъ было не о чемъ. Они и прежде бесѣдовали о своихъ секретахъ во всеуслышаніе. И рѣдко, рѣдко удавалось Райскому вызвать ее на свободный лепетъ, или ужъ Викентьевъ такъ

разсмѣшитъ, что терпѣнья никакого не станетъ, и она прорвется нечаянно смѣхомъ, а потомъ сама испугается, оглянется вокругъ, замолчитъ и погрозитъ ему.

Викентьеву это молчаніе, сдержанность, печальный тонъ были не по натурѣ. Онъ сталъ подговаривать мать попросить у Татьяны Марковны позволенія увезти невѣсту и уѣхать опять въ Колчино до свадьбы, до конца октября. Къ удовольствію его, согласіе послѣдовало легко и скоро, и молодая чета, какъ пара ласточекъ, съ веселымъ крикомъ улетѣла отъ осени къ теплу, свѣту, смѣху, въ свое будущее гнѣздо.

Бабушка однако замѣтила печаль Марфиньки и — сколько могла, отвлекла ея вниманіе отъ всякихъ догадокъ и соображеній, успокоила, обласкала и отпустила веселой и беззаботной, обѣщавши пріѣхать за ней сама, „если она будетъ вести себя тамъ умно“.

Райскій съѣздилъ за Титомъ Никонычемъ и привезъ его чуть живого. Онъ похудѣлъ, пожелтѣлъ, еле двигался, и только увидѣвъ Татьяну Марковну, всю ея обстановку, и себя самого среди этой картины, за столомъ, съ заткнутой за галстухъ салфеткой, или у окна на табуретѣ, подлѣ ея креселъ, съ налитой ею чашкой чаю—мало-по-малу пришелъ въ себя и сталъ радоваться, какъ ребенокъ, у котораго отняли, и вдругъ опять отдали игрушки.

Онъ, отъ радости, вдругъ засмѣется и закроется салфеткой, потретъ руки одна о другую съ жаромъ, или встанетъ, и ни съ того, ни съ сего, поклонится всѣмъ присутствующимъ и отчаянно шаркнетъ ножкой. А когда всѣ засмѣются надъ нимъ, онъ засмѣется пуще всѣхъ, сниметъ парикъ и погладитъ себѣ съ изступленіемъ лысину, или потреплетъ, вмѣсто Пашутки, Василису по щечкѣ.

Словомъ, онъ немного одурѣлъ и пришелъ въ себя на третій день—и тогда уже сталъ задумчивъ, какъ другіе.

Кругъ семьи въ Малиновкѣ увеличился однимъ членомъ. Райскій однажды вдругъ явился съ Козловымъ къ обѣду. Сердечнѣе, радушнѣе встрѣчи нельзя нигдѣ и никому оказать, какая оказана была оставленному своей Дидоной супругу.

Татьяна Марковна, съ женскимъ тактомъ, не дала ему замѣтить, что знаетъ его горе. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ встрѣчаютъ гостя натянутымъ молчаніемъ, а она встрѣтила его шуткой, и этому тону ея послѣдовали всѣ.

— Что̀ это ты (она давно говорила ему это драгоцѣнное *ты*), Леонтій Ивановичъ, забылъ насъ совсѣмъ? Борюшка говоритъ, что я не умѣю угостить тебя, что кухня моя тебѣ не нравится: ты говорилъ ему?

— Какъ не нравится? когда я говорилъ тебѣ? обратился онъ строго къ Райскому.

Всѣ засмѣялись.

— Да вы нарочно! улыбнувшись нехотя, сказалъ Леонтій.

Онъ ужъ успѣлъ на столько справиться съ своимъ горемъ, что сталъ сознавать необходимость сдерживаться при людяхъ и прикрывать свою невзгоду условнымъ приличіемъ.

— Да, не былъ я у васъ давно, у меня жена... уѣхала въ Москву... повидаться съ родными, тихо сказалъ онъ, глядя внизъ:—такъ я и не могъ...

— Вотъ ты бы у насъ пожилъ, замѣтила Татьяна Марковна:—одному скучно дома...

— Я жду ее... боюсь, чтобъ безъ меня не пріѣхала.

— Тебѣ дадутъ знать, вѣдь мимо насъ ей ѣхать. Мы сейчасъ остановимъ, какъ только въѣдетъ въ слободу. Изъ оконъ стараго дома видно, когда ѣдутъ по дорогѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ... Да, оттуда видна московская дорога, съ оживленіемъ поднявъ на Татьяну Марковну глаза, сказалъ Козловъ и почти обрадовался.

— Право, переѣзжай къ намъ...

— Да, я бы, пожалуй...

— Я просто не пущу тебя сегодня, Леонтій, сказалъ Райскій: — мнѣ скучно одному; я перейду въ старый домъ съ тобой вмѣстѣ, а потомъ, послѣ свадьбы Марѳиньки, уѣду. Ты при бабушкѣ и при Вѣрѣ будешь первымъ министромъ, другомъ и тѣлохранителемъ.

Онъ посмотрѣлъ на всѣхъ.

— Да, покорно благодарю, лишь бы только не обезпокоить чѣмъ...

— Какъ тебѣ не стыдно... начала бабушка.

— Извините, Татьяна Марковна!

— Кушай лучше, чѣмъ пустое говорить; вонъ у тебя стынетъ супъ...

— А вѣдь мнѣ ѣсть хочется! вдругъ сказалъ онъ, принимаясь за ложку и засмѣялся:—я что-то давно не ѣлъ...

Онъ, задумчиво глядя куда-то, должно-быть на московскую дорогу, съѣлъ машинально супъ, потомъ положенный ему на другую тарелку пирогъ, потомъ мясо, и молча окончилъ весь обѣдъ.

— У васъ покойно, хорошо! говорилъ онъ послѣ обѣда, глядя въ окно.—И зелень еще есть, и воздухъ чистый... Послушай, Борисъ Павловичъ, я бы библіотеку опять перевезъ сюда...

— Хорошо, хорошо, хоть завтра, вѣдь она твоя, дѣлай съ ней, что хочешь...

— Нѣтъ, нѣтъ, что мнѣ въ ней теперь! Я перевезу и буду смотрѣть за ней, а то этотъ Маркъ опять...

Райскій крякнулъ на всю комнату. Вѣра не подняла головы отъ шитья, Татьяна Марковна стала смотрѣть въ окно.

Райскій увелъ Козлова въ старый домъ, посмотрѣть его

комнату, куда бабушка велѣла поставить ему кровать, и на ночь вытопить печь и тотчасъ же вставить рамы.

Козловъ совался къ окнамъ, отыскивая то̀ самое, изъ котораго видна московская дорога.

## XII.

Въ одинъ изъ туманныхъ, осеннихъ дней, когда Вѣра, послѣ завтрака, сидѣла въ своей комнатѣ, за работой, прилежно собирая иглой складки кисейной шемизетки, Яковъ подалъ ей еще письмо на синей бумагѣ, принесенное „парнишкой“, и сказалъ, что приказано ждать отвѣта.

Вѣра, взглянувъ на письмо, оцѣпенѣла, какъ будто отъ изумленія, и съ минуту не брала его изъ рукъ Якова, потомъ взяла и положила на столъ, сказавъ коротко:—Хорошо, поди!

Когда Яковъ вышелъ, она задумчиво подышала въ наперстокъ и хотѣла продолжать работу, но руки у ней вдругъ упали, вмѣстѣ съ работой, на колѣни.

Она оперлась локтями на столъ и закрыла руками лицо.

— Какая казнь! Кончится ли это истязаніе? шептала она въ отчаяніи.

Потомъ встала, вынула изъ комода прежнее, нераспечатанное, такое же письмо и положила рядомъ съ этимъ, и сѣла опять въ своей позѣ, закрывая руками лицо.

— Что дѣлать? Какого отвѣта можетъ онъ ждать, когда мы разошлись навсегда? Ужели вызываетъ?... Нѣтъ, не смѣетъ!... А если вызываетъ?...

Она вздрогнула.

Она заглянула сама себѣ въ душу и тамъ подслушивала, какой могла бы дать отвѣтъ на его надежду, и опять вздрогнула. „Нельзя сказать этого отвѣта“, думала она: „эти отвѣты не говорятся! Если онъ самъ не угадалъ его—отъ меня никогда не узнаетъ!“

Она глядѣла на этотъ синій пакетъ, съ знакомымъ почеркомъ, не торопясь сорвать печать—не отъ страха оглядки, не отъ ужаса зубовъ „тигра". Она какъ будто со стороны смотрѣла, какъ ползетъ теперь мимо ея этотъ „удавъ", по выраженію Райскаго, еще недавно душившій ее страшными кольцами, и сверканье чешуи не ослѣпляетъ ее больше. Она отворачивается, вздрагивая отъ другого, не прежняго чувства.

Ей душно отъ этого письма, вдругъ перенесшаго ее на другую сторону бездны, когда она уже оторвалась навсегда, ослабѣвшая, измученная борьбой, — и сожгла за собой мостъ. Она не понимаетъ, какъ могъ онъ написать? Какъ онъ самъ не бѣжалъ давно?

Знай онъ, какой переворотъ совершился наверху обрыва, онъ бы, конечно, не написалъ. Надо его увѣдомить, посланный ждетъ... Ужели читать письма?... Да, надо!...

Она сорвала печать съ обоихъ разомъ и стала читать первое, писанное давно:

„Ужели мы въ самомъ дѣлѣ не увидимся, Вѣра? Это невѣроятно. Нѣсколько дней тому назадъ, въ этомъ былъ бы смыслъ, а *теперь* это безполезная жертва, тяжелая для обоихъ. Мы больше года упорно бились, добиваясь счастья, — и когда оно настало, ты бѣжишь первая, а сама твердила о безсрочной любви. Логично ли это?"

— Логично ли! повторила она шопотомъ и остановилась. Потомъ будто перемогла себя и читала дальше.

„Мнѣ разрѣшено уѣхать, но я не могу *теперь* оставить тебя, это было бы нечестно... Можно подумать, что я торжествую и что мнѣ уже легко уѣхать: я не хочу, чтобы ты такъ думала... Не могу оставить потому, что ты любишь меня..."

У ней рука съ письмомъ упала на колѣни, черезъ минуту она медленно читала дальше:

.....„и потому еще, что я самъ въ горячешномъ положеніи. Будемъ счастливы, Вѣра! Убѣдись, что вся наша борьба, всѣ наши нескончаемые споры были только маской страсти. Маска слетѣла — и намъ спорить больше не о чемъ. Вопросъ рѣшенъ. Мы въ сущности согласны давно. Ты хочешь безконечной любви: многіе хотѣли бы того же, но этого не бываетъ..!“

Она на минуту остановилась.

— Онъ разумѣетъ безконечную горячку! подумала она и съ жалостью улыбнулась. Потомъ читала дальше.

„Моя ошибка была та, что я предсказывалъ тебѣ эту истину: жизнь привела бы къ ней насъ сама. Я отнынѣ не трогаю твоихъ убѣжденій: не они нужны намъ, — на очереди страсть. У нея свои законы: она смѣется надъ твоими убѣжденіями, — посмѣется со временемъ и надъ безконечной любовью. Она же теперь пересиливаетъ и меня, мои планы... Я покоряюсь ей, покорись и ты. Можетъ-быть, вдвоемъ, дѣйствуя за одно, мы отдѣлаемся отъ нея дешево и уйдемъ по добру и по здорову, а въ одиночку тяжело и скверно.“

„Убѣжденій мы не въ силахъ измѣнить, какъ не въ силахъ измѣнить натуру, а притворяться не сможемъ оба. Это не логично и не честно. Надо высказаться и согласиться во всемъ; мы сдѣлали первое и не пришли къ соглашенію; слѣдовательно остается молчать и быть счастливыми помимо убѣжденій; страсть не требуетъ ихъ. Будемъ молчать и будемъ счастливы. Надѣюсь, ты съ этой логикой согласишься“.

Что-то похожее на горькую улыбку опять показалось у ней на губахъ.

„Уѣхать тебѣ со мной, вѣроятно, не дадутъ, да и нельзя! Безумная страсть одна могла бы увлечь тебя къ этому, но я на это не разсчитываю: ты не безголовая самка, а я не мальчишка. Или, для того, чтобы рѣшиться уѣхать,

нужно, чтобы у тебя были другія, одинакія со мной убѣжденія, и слѣдовательно другая будущность въ виду, нежели какую ты и близкіе твои желаютъ тебѣ, т. е. такая же, какъ у меня: неопредѣленная, неизвѣстная, безъ угла, или безъ „гнѣзда“, безъ очага, безъ имущества. — Соглашаюсь, что отъѣздъ невозможенъ. Слѣдовательно, мнѣ надо принести жертву, т. е. мнѣ хочется теперь принести ее, и я приношу. Если ты надѣешься на успѣхъ у бабушки — обвѣнчаемся и я останусь здѣсь до тѣхъ поръ, пока... словомъ на безсрочное время. Я сдѣлалъ все, Вѣра, и исполню, что̀ говорю. Теперь дѣлай ты. Помни, что если мы разойдемся теперь, это будетъ походить на глупую комедію, гдѣ невыгодная роль достанется тебѣ, — и надъ нею первый посмѣется Райскій, если узнаетъ.“

„Видишь, я предупреждаю тебя во всемъ, какъ предупредилъ и тогда...“

Она сдѣлала движеніе рукой, будто нетерпѣнія, почти отчаянія, и небрежно дочитала послѣднія строки.

„Жду отвѣта на имя моей хозяйки, Секлетеи Бурдалаховой.“

Вѣра казалась утомленной чтеніемъ письма. Она равнодушно отложила его и принялась за другое, которое только-что принесъ ей Яковъ.

Оно было написано торопливою рукою, карандашомъ.

„Я каждый день бродилъ внизу обрыва, ожидая тебя по первому письму. Сію минуту случайно узналъ, что въ домѣ нездорово, тебя нигдѣ не видать. Вѣра, приди, или, если больна, напиши скорѣе два слова. Я способенъ придти въ старый домъ...“

Вѣра остановилась въ страхѣ, потомъ торопливо дочитала конецъ:

„Если сегодня ни получу отвѣта“ — сказано было дальше — „завтра въ пять часовъ буду въ бесѣдкѣ... Мнѣ

надо скорѣе рѣшать: ѣхать, или оставаться? Приди сказать хоть слово, проститься, если... Нѣтъ, не вѣрю, чтобы мы разошлись теперь. Во всякомъ случаѣ жду тебя, или отвѣта. Если больна, я проберусь самъ...“

— Боже мой! Онъ еще тамъ, въ бесѣдкѣ.. грозитъ придти... Посланный ждетъ... Еще „удавъ“ все тянется!.. не ушло... не умерло все!..

Она быстро откинула доску шифоньерки, вынула нѣсколько листовъ бумаги, взяла перо, обмакнула, хотѣла писать—и не могла. У ней дрожали руки.

Она положила перо, склонила опять голову въ ладони, закрыла глаза, собираясь съ мыслями. Но мысли не вязались, путались, мѣшала тоска, біеніе сердца. Она прикладывала руку къ груди, какъ будто хотѣла унять боль, опять бралась за перо, за бумагу, и черезъ минуту бросала.

— Не могу, силъ нѣтъ, задыхаюсь!—Она налила себѣ на руки одеколонъ, освѣжила лобъ, виски—поглядѣла опять, сначала въ одно письмо, потомъ въ другое, бросила ихъ на столъ, твердя:—Не могу, не знаю, съ чего начать, что̀ писать? Я не помню, какъ я писала ему, что̀ говорила прежде, какимъ тономъ... Все забыла!

„Какого отвѣта ждетъ посланный? У меня одинъ отвѣтъ: не могу, силъ нѣтъ, ничего нѣтъ во мнѣ!“

Она спустилась внизъ, скользнула по корридорамъ, отыскала Якова и велѣла сказать мальчику, чтобы шелъ, что отвѣтъ будетъ послѣ.

— А когда послѣ? спрашивала она себя, медленно возвращаясь наверхъ.—Найду ли я силы написать ему сегодня до вечера? И что̀ напишу? Все то же: „не могу, ничего не хочу, не осталось въ сердцѣ ничего... „А завтра онъ будетъ ждать тамъ, въ бесѣдкѣ. Обманутое ожиданіе раздражитъ его, онъ повторитъ вызовъ выстрѣлами, наконецъ столкнется съ людьми, съ бабушкой!.. Пойти самой, ска-

зать ему, что онъ поступаетъ „не честно и не логично...“ Про великодушіе нечего ему говорить: волки не знаютъ его!...

Все это неслось у ней въ головѣ, и она то хваталась опять за перо и бросала, то думала пойти сама, отыскать его, сказать ему все это, отвернуться и уйти—и она бралась за мантилью, за косынку, какъ бывало, когда торопилась къ обрыву. И теперь, какъ тогда, руки напрасно искали мантилью, косынку. Все выпадало изъ ея рукъ и она, обезсиленная, садилась на диванъ и не знала что дѣлать.

Бабушкѣ сказать? Бабушка сдѣлаетъ, что нужно, но она огорчится письмами: Вѣрѣ хотѣлось бы избѣгнуть этого.

Сказать брату Борису и ему поручить положить конецъ надеждамъ Марка и покушеніямъ на свиданіе. Райскій—ея естественный, ближайшій другъ и защитникъ. Но прошла ли страсть въ немъ самомъ, или „ощущеніе“, игра страсти „отраженіе ея въ воображеніи“, что бы ни было? И если прошло, разсуждала Вѣра, можетъ-быть, основательно, то не потому ли, что прошла борьба, соперничество, все утихло вокругъ? Если появленіе героя страсти разбудитъ въ Райскомъ затихнувшую досаду, напомнитъ оскорбленіе,—онъ не выдержитъ роли безкорыстнаго посредника, увлечется пылкостью и станетъ въ другую, опасную роль.

Тушинъ! Да, этотъ выдержитъ, не сдѣлаетъ ошибки и навѣрное достигнетъ цѣли. Но ставить Тушина лицомъ къ лицу съ соперникомъ, свести его съ человѣкомъ, который исподтишка и мимоходомъ разгромилъ его надежды на счастье!

Она представила себѣ, что долженъ еще перенести этотъ, обожающій ее другъ, при свиданіи съ героемъ волчьей ямы, творцомъ ея паденія, разрушителемъ ея будущности! Какой

силой воли и самообладанія надо обязать его, чтобы встрѣча ихъ на днѣ обрыва не была встрѣчей волка съ медвѣдемъ?

Она потрясла отрицательно головой, рѣшивъ, однако же, не скрывать объ этихъ письмахъ отъ Тушина, но устранить его отъ всякаго участія въ развязкѣ ея драмы, какъ изъ пощады его сердца, такъ и потому, что, прося содѣйствія Тушина, она какъ будто жаловалась на Марка. „А она ни въ чемъ его не обвиняетъ... Боже сохрани!"

И вотъ ей не къ кому обратиться! Она на груди этихъ трехъ людей нашла защиту отъ своего отчаянія, продолжаетъ находить мало-по-малу потерянную увѣренность въ себѣ, чувствуетъ возвращающійся въ душу миръ.

Еще нѣсколько недѣль, мѣсяцевъ покоя, забвенія, дружеской ласки—и она встала бы мало-по-малу на ноги и начала бы жить новой жизнью. А между тѣмъ она медлитъ протянуть къ нимъ довѣрчиво руки—не изъ гордости уже, а изъ пощады, изъ любви къ нимъ.

Но и ждать долѣе тоже невозможно. Завтра принесутъ опять письмо, она опять не отвѣтитъ, онъ явится самъ...

О, Боже сохрани! Если уже зло неизбѣжно, думала она, то изъ двухъ золъ меньшее будетъ—отдать письма бабушкѣ, предоставить ей сдѣлать, что нужно сдѣлать. Бабушка тоже не ошибется, онѣ теперь понимаютъ другъ друга.

Потомъ, подумавши, она написала записку и Тушину. Тѣ же листки бумаги, то же перо, за полчаса отказывавшіеся служить ей—послушно служили теперь. Пальцы быстро написали двѣ строчки.

„Пріѣзжайте, если можно, завтра утромъ! Я давно не видала васъ—и хочу видѣть. Мнѣ скучно".

Она отослала записку съ Прохоромъ, чтобы онъ отвезъ ее на пристань и отдалъ на перевозѣ, для отправленія въ „Дымокъ", съ людьми Тушина, которые каждый день ѣздили въ городъ.

Прежде Вѣра прятала свои тайны, уходила въ себя, царствуя безраздѣльно въ своемъ внутреннемъ мірѣ, чуждаясь общества, чувствуя себя сильнѣе всѣхъ окружающихъ. Теперь стало наоборотъ. Одиночность силъ, при первомъ тяжеломъ опытѣ, оказалась несостоятельною.

Она поплатилась своей гордостью и вдругъ почувствовала себя, въ минуту бури, безсильною, а когда буря ушла—жалкой, безпомощной сиротой, и протянула, какъ младенецъ, руки къ людямъ.

Прежде она дарила довѣріе, какъ будто изъ милости, только своей наперсницѣ и подругѣ, женѣ священника. Это былъ ея капризъ, она роняла крупицы. Теперь она шла искать помощи, съ поникшей головой, съ обузданной гордостью, почуя рядомъ силу, сильнѣе своей, и мудрость, мудрѣе своей самолюбивой воли.

Вѣра сообщала, бывало, своей подругѣ мелочной календарь вседневной своей жизни, событій, ощущеній, впечатлѣній, даже чувствъ, довѣрила и о своихъ отношеніяхъ къ Марку, но скрыла отъ нея катастрофу, сказавъ только, что все кончено, что они разошлись навсегда—и только. Жена священника не знала исторіи обрыва до конца и приписала болѣзнь Вѣры отчаянію разлуки.

Она любила Мароиньку такъ же, какъ Наталью Ивановну, но любила обѣихъ, какъ дѣтей, иногда, пожалуй, какъ собесѣдницъ. Въ тихую пору жизни, она опять позоветъ Наталью Ивановну и будетъ передавать ей вседневныя событія по мелочамъ, въ подробностяхъ,—опять та будетъ шопотомъ поддакивать ей, разбавлять ея одинокія ощущенія.

Но въ рѣшительныя и роковыя минуты, Вѣра пойдетъ къ бабушкѣ, пошлетъ за Тушинымъ, постучится въ комнату брата Бориса.

И теперь она постучалась ко всѣмъ троимъ.

## XIII.

Она положила оба письма въ карманъ, тихо, задумчиво пошла къ Татьянѣ Марковнѣ и сѣла подлѣ нея.

Бабушка только что осмотрѣла свадебную постель и смѣряла съ швеею, сколько пойдетъ кисеи, кружевъ на подушки, и усѣлась въ свои кресла.

Она бѣгло взглянула на Вѣру, потомъ опять вдругъ взглянула и остановила на ней безпокойный взглядъ.

— Что̀ случилось, Вѣра, ты разстроена?

— Не разстроена, а устала. Я получила письма оттуда, отъ...

— Оттуда? повторила бабушка, мѣняясь въ лицѣ.

— Одно давно; я не распечатывала до сихъ поръ, а другое сегодня. Вотъ они, прочти, бабушка.

Она положила оба письма на столъ.

— Зачѣмъ мнѣ читать, Вѣрочка? говорила Татьяна Марковна, едва преодолѣвая себя и стараясь не глядѣть на письма.

Вѣра молчала. Бабушка замѣтила у ней выраженіе тоски.

— Развѣ тебѣ нужно, чтобъ я знала, что̀ тамъ?...

— Нужно, бабушка, прочти.

Бабушка надѣла очки и стала-было читать.

— Не разберу, душенька, сказала она, съ тоской отодвинувъ письмо.—Ты скажи лучше коротко, зачѣмъ мнѣ нужно знать...

— Не могу разсказать, силъ нѣтъ, духъ захватываетъ... Я лучше прочту.

Она, шопотомъ, скрадывая нѣкоторыя слова и выраженія, прочла письма и, скомкавъ оба, спрятала въ карманъ. Татьяна Марковна выпрямилась въ креслѣ и опять

сгорбилась, подавляя страданіе. Потомъ пристально посмотрѣла въ глаза Вѣрѣ.

— Что же ты, Вѣрочка, думаешь? спросила она нетвердымъ голосомъ.

— Ты спрашиваешь, что̀ я думаю! сказала Вѣра съ упрекомъ:—то же, что̀ ты, бабушка!

— Это я знаю. Но онъ предлагаетъ... вѣнчаться, хочетъ остаться здѣсь. Можетъ-быть... если будетъ человѣкомъ, какъ всѣ... если любитъ тебя... говорила Татьяна Марковна боязливо:—если ты... надѣешься на счастье...

— Да, онъ называетъ вѣнчанье „комедіей“ и предлагаетъ вѣнчаться! Онъ думаетъ, что мнѣ только этого недоставало для счастья... Бабушка! вѣдь ты понимаешь, что̀ со мной—зачѣмъ же спрашиваешь?

— Ты пришла ко мнѣ спросить, на что̀ тебѣ рѣшиться...

Бабушка говорила робко, потому что все еще не знала, для чего прочла ей письма Вѣра. Она была взволнована дерзостью Марка и дрожала въ безпокойствѣ за Вѣру, боясь опаснаго поворота страсти, но скрывала свое волненіе и безпокойство.

— Я не затѣмъ пришла къ тебѣ, бабушка, сказала Вѣра.—Развѣ ты не знаешь, что тутъ все рѣшено давно? Я ничего не хочу, я едва хожу—и если дышу свободно и надѣюсь ожить, такъ это при одномъ условіи—чтобъ мнѣ ничего не знать, не слыхать, забыть навсегда... А онъ напомнилъ! зоветъ туда, манитъ счастьемъ, хочетъ вѣнчаться!... Боже мой!...

Она съ отчаяніемъ пожала плечами.

У Татьяны Марковны отходило безпокойство отъ сердца. Она пошевелилась свободно въ креслѣ, поправила складку у себя на платьѣ, смахнула рукой какія-то крошки со стола. Словомъ—отошла, ожила, задвигалась,

какъ внезапно оцѣпенѣвшій отъ испуга и тотчасъ опять очнувшійся человѣкъ.

— Бабушка! заключила Вѣра, собравшись опять съ силами. — Я ничего не хочу! Пойми одно: если бъ онъ какимъ-нибудь чудомъ переродился теперь, сталъ тѣмъ, чѣмъ я хотѣла прежде чтобъ онъ былъ,—если бъ сталъ вѣрить во все, во что я вѣрю,—полюбилъ меня, какъ я... хотѣла любить его—и тогда я не обернулась бы на его зовъ...

Она замолчала. Бабушка слушала, притаивъ дыханіе, какъ пѣніе райской птицы.

— Я бы не была съ нимъ счастлива: — я не забыла бы прежняго человѣка никогда и никогда не повѣрила бы новому человѣку. Я слишкомъ тяжело страдала, шептала она, кладя щеку свою на руку бабушки:—но ты видѣла меня, поняла и спасла... ты—моя мать!... Зачѣмъ же спрашиваешь и сомнѣваешься? Какая страсть устоитъ передъ этими страданіями? Развѣ возможно повторять такую ошибку!... Во мнѣ ничего больше нѣтъ... Пустота—холодъ, и если бъ не ты—отчаяніе...

У Вѣры закапали слезы. Она прижалась головой къ плечу бабушки.

— Не поминай этого и не тревожь себя напрасно! говорила бабушка, едва сдерживаясь сама и отирая ей слезы рукой: — вѣдь мы положили никогда не говорить объ этомъ...

— Я и не говорила бы, если бъ не письма. Мнѣ нуженъ покой... Бабушка! увези, спрячь меня... или я умру! Я устала... силы нѣтъ... дай отдохнуть... А онъ зоветъ туда... хочетъ придти самъ...

Она заплакала сильнѣе.

Бабушка тихо встала, посадила ее на свое мѣсто, а сама выпрямилась во весь ростъ.

— А! если такъ, если онъ еще, заговорила она съ дрожью въ голосѣ,—достаетъ тебя, мучаетъ, онъ разсчитается со мной за эти слезы!... Бабушка укроетъ, защититъ тебя,—успокойся, дитя мое: ты не услышишь о немъ больше ничего...

Бабушка дрожала, говоря это.

— Что̀ ты хочешь дѣлать? съ удивленіемъ спросила Вѣра, вдругъ вставая и подходя къ Татьянѣ Марковнѣ.

— Онъ зоветъ тебя; я сойду къ нему съ обрыва, вмѣсто тебя на любовное свиданіе—и потомъ посмотримъ, напишетъ ли онъ тебѣ еще, придетъ ли сюда, позоветъ ли?...

Бабушка ходила по кабинету, сама не своя отъ гнѣва.

— Въ которомъ часу онъ завтра придетъ въ бесѣдку, кажется въ пять? спросила она отрывисто.

Вѣра все глядѣла на нее съ изумленіемъ.

— Бабушка! ты не поняла меня, сказала она кротко, взявъ ее за руки:—успокойся, я не жалуюсь тебѣ на него. Никогда не забывай, что я одна виновата—во всемъ... Онъ не знаетъ, что̀ произошло со мной, и оттого пишетъ. Ему надо только дать знать, объяснить, какъ я больна, упала духомъ,—а ты собираешься, кажется, воевать! Я не того хочу. Я хотѣла написать ему сама, и не могла,—видѣться не достаетъ силъ, если бъ я и хотѣла...

Татьяна Марковна присмирѣла и задумалась.

— Я хотѣла просить Ивана Иваныча, продолжала Вѣра:—но ты знаешь сама, какъ онъ любитъ меня, какія надежды были у него... Сводить его съ человѣкомъ, который все это уничтожилъ—нельзя!

— Нельзя! подтвердила Татьяна Марковна, тряся головой.—Зачѣмъ его трогать? Богъ знаетъ, что̀ между ними случится... Нельзя! У тебя есть близкій человѣкъ, онъ знаетъ все, онъ любитъ тебя, какъ сестру: Борюшка...

Вѣра молчала.

— Да, если бъ какъ сестру только! думала она и не хотѣла открывать бабушкѣ о страсти Райскаго къ ней: это былъ не ея секретъ.

— Хочешь, я поговорю съ нимъ...

— Погоди, бабушка, я сама скажу ему, отвѣчала Вѣра, опасаясь вмѣшивать брата.

Она надѣялась на его сердце, довѣряла его уму, чувствамъ, но не довѣряла его неуловимо-капризной фантазіи и способности увлекаться.

— Я какъ-нибудь, черезъ брата, или соберусь съ силами и сама отвѣчу на эти письма, дамъ понять, въ какомъ я положеніи, отниму всякія надежды на свиданіе. А теперь мнѣ нужно пока дать ему знать только, чтобъ онъ не ходилъ въ бесѣдку и не ждалъ напрасно...

— Это я сдѣлаю! вдругъ сказала бабушка.

— Но ты не пойдешь сама, не увидишься съ нимъ? говорила Вѣра, пытливо глядя въ глаза бабушкѣ. — Помни, я не жалуюсь на него, не хочу ему зла...

— И я не хочу! шептала бабушка, глядя въ сторону. — Успокойся, я не пойду, я сдѣлаю только, что онъ не будетъ ждать въ бесѣдкѣ...

— Прости меня, бабушка, еще за это новое огорченіе!

Татьяна Марковна вздохнула и поцѣловала ее.

## XIV.

Вѣра пошла полууспокоенная, стараясь угадать, какую мѣру могла бы принять бабушка, чтобъ помѣшать Марку ждать ее завтра въ бесѣдкѣ. Она опасалась, чтобы Татьяна Марковна, не знающая ничего о страсти Райскаго, не поручила ему пойти, не предваривъ ее о томъ, а онъ, не приготовленный, могъ поступить, какъ внушало ему его, еще не вполнѣ угасшее, корыстное чувство и фантазія.

Вѣра, узнавъ, что Райскій не выходилъ со двора, пошла къ нему въ старый домъ, куда онъ перешелъ съ тѣхъ поръ, какъ Козловъ поселился у нихъ, съ тѣмъ, чтобы сказать ему о новыхъ письмахъ, узнать, какъ онъ приметъ это, и смотря по этому, дать ему понять, какова должна быть его роль, если бабушка возложитъ на него видѣться съ Маркомъ.

Она шла, какъ тѣнь, по амфиладѣ стараго дома, минуя свои бывшія комнаты, по потускнѣвшему отъ времени паркету, мимо запавѣшанныхъ зеркалъ, закутанныхъ тумбъ съ старыми часами, старой, тяжелой мебели, и вступила въ маленькія, уютныя комнаты, выходившія окнами на слободу и на поле. Она неслышно отворила дверь въ комнату, гдѣ поселился Райскій, и остановилась на порогѣ.

Райскій сидѣлъ за столомъ, зарывшись въ свой артистическій портфёль, разбирая эскизы разныхъ мѣстностей, акварельные портреты, набросанные очерки неисполненныхъ картинъ, миніатюрныя копіи съ извѣстныхъ произведеній, и между прочимъ отбирая, кучей втиснутые въ портфёль, черновые листы литературныхъ воспоминаній, замѣтокъ, очерковъ, начатыхъ и брошенныхъ стиховъ и повѣстей.

Отобравъ тщательно всю кучу накопившагося матеріала для романа, онъ сильно призадумался. Взглядъ у него потускъ; разбирая листы за листами, онъ то покачивалъ головой и вздыхалъ тяжело, то зѣвалъ до слезъ.

„Вотъ этакъ же, лѣтъ шесть назадъ“—печально размышлялъ онъ: — „затѣялъ я писать большую, сложную картину для выставки... А оказалось, что въ нее надо положить цѣлые годы... И теперь, такую же обузу беру на себя: романъ писать!! Однихъ матеріаловъ съ пудъ наберется... Сколько соображеній, замѣтокъ, справокъ!...“ „Дѣло ли я затѣялъ, романъ? Куча характеровъ, поло-

женій, сценъ! А вся сила, весь интересъ, и твой собственный романъ—въ Вѣрѣ: одну ее и пиши! Да, вотъ что!... Прочь все лишнее, постороннее, напишу одну ее... Облегчу себя, а этотъ весь балластъ въ сторону. Чего, чего тутъ нѣтъ!"

Онъ началъ живо отбирать все постороннее Вѣрѣ, оставивъ листковъ десятокъ, гдѣ набросаны были характеристическія замѣтки о ней, сцены, разговоры съ нею, и съ любовью перечитывалъ ихъ.

Вдругъ онъ оставилъ листки—и поразился новою мыслью.

„А отчего у меня до сихъ поръ нѣтъ ея портрета кистью?" вдругъ спросилъ онъ себя, тогда какъ онъ, съ первой же встрѣчи съ Марѳинькой, передалъ полотну ея черты, подъ вліяніемъ первыхъ впечатлѣній, и черты эти вышли говорящи, „въ портретѣ есть правда, жизнь, вѣрность во всемъ... кромѣ плеча и рукъ", думалъ онъ. А портрета Вѣры нѣтъ: ужели онъ уѣдетъ безъ него?... Теперь ничто не мѣшаетъ; страсти у него нѣтъ, она его не убѣгаетъ... Имѣя портретъ, легче писать и романъ: передъ глазами будетъ она, какъ живая...

Онъ поднялъ глаза отъ портфѣля... Передъ нимъ стоитъ—живая Вѣра! Онъ испугался.

Это бабушкина „судьба" посылаетъ тебя ко мнѣ!... сказалъ онъ.

У Вѣры, замѣтившей его испугъ, задрожалъ подбородокъ отъ улыбки. А онъ не спускалъ съ нея глазъ.

Его опять охватила красота сестры,—не прежняя, съ блескомъ, съ теплымъ колоритомъ жизни, съ бархатнымъ, гордымъ и горячимъ взглядомъ, съ мерцаніемъ „ночи", какъ онъ назвалъ ее за эти неуловимыя искры, тогда еще таинственной, неразгаданной прелести.

Безсознательное блистанье молодости и красоты, разливающей яркіе и горячіе лучи вокругъ себя—исчезло.

Томная печаль, глубокая усталость смотрѣла теперь изъ ея глазъ. Горячіе, живые тоны въ лицѣ замѣнились прозрачной блѣдностью. Въ улыбкѣ не было гордости, нетерпѣливыхъ, едва сдерживаемыхъ молодыхъ силъ. Кротость и грусть тихо покоились на ея лицѣ, и вся стройная фигура ея была полна задумчивой, нѣжной граціи и унылаго покоя.

„Это—лилія! Гдѣ прежняя Вѣра? Которая лучше: та, или эта?“ думалъ онъ, протягивая ей въ умиленіи руки.

Она подошла къ нему, не прежнимъ ползучимъ шагомъ, не съ волнующимся при походкѣ станомъ, а тихой, ровной поступью. Шаги издавали легкій, сухой стукъ.

— Я тебѣ помѣшала, сказала она.—Что ты дѣлаешь? Мнѣ хотѣлось поговорить съ тобой...

Онъ не сводилъ съ нея глазъ.

— Что ты такъ смотришь?..

— Погоди, Вѣра! шепталъ онъ, не слыхавъ ея вопроса и не спуская съ нея широкаго, изумленнаго взгляда.—Сядь вотъ здѣсь, — такъ! говорилъ онъ, усаживая ее на маленькій диванъ.

А самъ торопливо сунулся въ уголъ комнаты, порылся тамъ и досталъ рамку съ натянутымъ холстомъ, выдвинулъ мольбертъ и началъ шарить по угламъ, отыскивая ящикъ съ красками.

— Что ты хочешь дѣлать? спросила она.

— Молчи, молчи, Вѣра, я давно не видалъ твоей красоты, какъ будто ослѣпъ на время! Сію минуту ты вошла, лучи ея ударили меня по нервамъ, художникъ проснулся! Не бойся этихъ восторговъ. Скорѣй, скорѣй, дай мнѣ этой красоты, пока не прошла минута... У меня нѣтъ твоего портрета...

— Что за мысль, Борисъ! какая теперь красота! на что я стала похожа? Василиса говоритъ, что въ гробъ краше кладутъ... Оставь до другого раза...

— Ты ничего не понимаешь въ своей красотѣ: ты— chef-d'oeuvre! Нельзя откладывать до другого раза. Смотри, у меня волосы поднимаются, мурашки бѣгаютъ... сейчасъ слезы брызнутъ... Садись,—пройдетъ и все пропало!

— Я устала, братъ... я не въ силахъ, едва хожу... И холодно мнѣ; у тебя здѣсь свѣжо...

— Я тебя прикрою, посажу въ покойную позу, ты не гляди на меня, будь свободна, какъ будто бы меня не было тутъ!

Онъ положилъ ей за спину и подъ руки подушки, на плечи и грудь накинулъ ей свой шотландскій пледъ и усадилъ ее съ книгой на диванъ.

— А голову держи какъ хочешь, сказалъ онъ:—какъ тебѣ удобнѣе, покойнѣе. Дѣлай какія хочешь движенія, гляди куда хочешь, или не гляди вовсе—и забудь, что я тутъ!

Она покорилась равнодушно, усѣвшись въ усталой позѣ, и задумалась.

— А я хотѣла поговорить съ тобой, показать тебѣ... письма... сказала она.

Онъ молчалъ, вглядываясь въ нее и чертя мѣломъ на полотнѣ.

Прошло минутъ десять.

— Я получила письма... отъ Марка... тихо повторила она.

Онъ молчитъ и чертитъ мѣломъ.

Прошло четверть часа. Онъ, схвативъ палитру, покрылъ ее красками и взглядывая горячо на Вѣру, торопливо, какъ будто воруя, переносилъ черты ея лица на полотно.

Она повторила ему о письмахъ. Онъ молчитъ и глядитъ на нее, будто въ первый разъ ее видитъ.

— Братъ, ты не слушаешь?

— Да... да... слышу... „письма отъ Марка...“ Ну, что онъ, здоровъ, какъ поживаетъ?... скороговоркой сказалъ онъ.

Она съ удивленіемъ глядѣла на него. Она едва рѣшалась назвать Марка, думая, что дотронется до него этимъ именемъ, какъ каленымъ желѣзомъ, — а онъ о здоровьѣ его спрашиваетъ!

Поглядѣвъ еще на него, она перестала удивляться. Если бъ вмѣсто имени Марка, она назвала Карпа, Сидора— дѣйствіе было бы одно и то же. Райскій машинально слушалъ и не слыхалъ.

Онъ слышалъ только звукъ ея голоса,—погруженный въ работу, видѣлъ только ее, не вникалъ въ ея слова и машинально повторялъ имя.

— Что жъ ты ничего мнѣ не отвѣчаешь? спросила она.

— Послѣ, послѣ, Вѣра, ради Бога! Теперь не говори со мной—думай что-нибудь про себя. Меня здѣсь нѣтъ...

Вѣра пробовала опять заговорить, но онъ уже не слыхалъ и только торопливо подмалевывалъ лицо.

Вскорѣ она погрузилась—не въ печаль, не въ безпокойство о письмахъ и о томъ, придетъ ли Маркъ, что сдѣлаетъ бабушка,—а въ какой-то хаосъ смутныхъ чувствъ, воспоминаній, напрасно стараясь сосредоточить мысли на одномъ чувствѣ, на одномъ моментѣ.

Она куталась въ пледъ, чтобъ согрѣться, и взглядывала по временамъ на Райскаго, почти не замѣчая, что онъ дѣлаетъ, и все задумывалась, задумывалась и, казалось, будто въ глазахъ ея отражалось теченіе всей ея молодой, но уже глубоко-взволнованной, и еще не успокоенной жизни, жажда покоя, тайныя муки и робкое ожиданіе будущаго,—все мелькало во взглядѣ.

А Райскій, молча, сосредоточенно, блѣдный отъ артистическаго раздраженія, работалъ надъ ея глазами, по

временамъ взглядывая на Вѣру, или глядѣлъ мысленно въ воспоминаніе о первой встрѣчѣ своей съ нею и о тогдашнемъ страстномъ впечатлѣніи. Въ комнатѣ была могильная тишина.

Вдругъ онъ остановился, стараясь уловить и опредѣлить тайну ея задумчиваго, ни на что не смотрѣвшаго, но глубокаго какъ бездна, говорящаго взгляда.

Онъ касался кистью зрачка на полотнѣ, думалъ поймать правду—и ловилъ правду чувства, а тамъ, въ живомъ взглядѣ Вѣры, сквозитъ еще что-то, какая-то спящая сила. Онъ клалъ другую краску, дѣлалъ тѣнь — и какъ ни бился—но у него выходили ея глаза и не выходило ея взгляда.

Напрасно онъ звалъ на помощь двѣ волшебныя учительскія точки, тѣ двѣ искры, которыми вдругъ засвѣтились глаза Софьи подъ его кистью.

— Нѣтъ, здѣсь точекъ мало! сказалъ онъ послѣ новыхъ усилій передать этотъ взглядъ.

Онъ задумался, мѣшалъ краски, отходилъ отъ портрета, смотрѣлъ опять.

— Надо подождать! рѣшилъ онъ и началъ подмалевывать щеки, носъ, волосы.

Поработавъ съ полчаса, онъ принялся опять за глаза.

— Еще разъ... послѣдній! сказалъ онъ: — и если не удастся—не стану: нельзя!

— Теперь, Вѣра, погляди минутъ пять сюда, вотъ на эту точку, обратился къ ней Райскій, указывая, куда глядѣть, и самъ поглядѣлъ на нее...

Она спала. Онъ замеръ въ молчаніи и смотрѣлъ на нее, боясь дохнуть.

— О, какая красота! шепталъ онъ въ умиленіи. Она кстати заснула. Да, это была дерзость рисовать ея взглядъ,

въ которомъ улеглась вся ея драма и романъ. Здѣсь самъ Грёзъ положилъ бы кисть.

Онъ нарисовалъ глаза закрытыми, глядя на нее и наслаждаясь живымъ образомъ спящаго покоя мысли, чувства и красоты.

Потомъ, положивъ палитру и кисть, тихо наклонился къ ней, еще тише коснулся губами ея блѣдной руки и неслышными шагами вышелъ изъ комнаты.

## XV.

На другой день въ полдень, Вѣра, услыхавъ шумъ лошадиныхъ копытъ въ воротахъ, взглянула въ окно и глаза у ней на минуту блеснули удовольствіемъ, увидѣвъ рослую и стройную фигуру Тушина, верхомъ на вороном конѣ, въѣхавшаго во дворъ.

Вѣра машинально оправилась передъ зеркаломъ, со вздохомъ глядѣла на себя и думала:—Что братъ Борисъ нашелъ списывать во мнѣ!

Она сошла внизъ, прошла всѣ комнаты и взялась за ручку двери изъ залы въ переднюю. А съ той стороны Тушинъ взялся за ту же ручку. Они отворили дверь, столкнулись и улыбнулись другъ другу.

— Я сверху увидала васъ и пошла навстрѣчу... Вы здоровы? вдругъ спросила она, взглянувъ на него пристально.

— Что мнѣ дѣлается! конфузливо сказалъ онъ, ворочая лицо въ сторону, чтобъ не дать замѣтить ей перемѣны въ себѣ.—А вы?

— Ничего, такъ. Была больна, чуть не слегла. Теперь прошло... Гдѣ бабушка? обратилась она къ Василисѣ.

Та сказала, что барыня, послѣ чаю, ушла куда-то, взявъ съ собой Савелья.

Вѣра пригласила Тушина къ себѣ наверхъ.

Они, сидя на концахъ дивана, молчали, глядя украдкой другъ на друга.

„Блѣденъ“, думала она: „похудѣлъ; оскорбленное чувство, обманутыя надежды гнетутъ его...“

Тушинъ былъ точно непокоенъ, но не столько отъ „оскорбленныхъ чувствъ“, сколько отъ заботы о томъ, что̀ было съ нею послѣ: кончена ли ея драма, или нѣтъ?

Вопросъ о собственномъ безпокойствѣ, объ „оскорбленномъ чувствѣ и обманутыхъ надеждахъ“ въ первые дни ломалъ его, и чтобы вынести эту ломку, нужна была медвѣжья крѣпость его организма и вся, данная ему и сбереженная имъ сила души. И онъ вынесъ борьбу, благодаря этой силѣ, благодаря своей прямой, чистой натурѣ, чуждой зависти, злости, мелкаго самолюбія,—всѣхъ этихъ стихій, изъ которыхъ слагаются дурныя страсти.

Онъ вѣрилъ въ непогрѣшимость Вѣры, и эта вѣра, которою держалась его чистая, глубоко-нравственная страсть къ ней, да прелесть ея обаятельной красоты и довѣріе къ ея уму, сердечной честности, — заглушали животный эгоизмъ страсти и спасали его, не только отъ отчаянія въ горѣ, но и отъ охлажденія къ Вѣрѣ.

Съ первой минуты ея откровенности, несмотря на свою жестокую муку, онъ безпристрастно сознавалъ и вѣрилъ, и тогда же выразилъ ей, что она невиновна, а „несчастлива“: такъ думалъ и теперь. Виноватымъ во всемъ, и еще болѣе несчастнымъ слѣпотой—считалъ онъ Марка.

Отъ этого у Тушина, тихо, пока украдкой отъ него самого, теплился, сквозь горе, сквозь этотъ хаосъ чувствъ, тоски, оскорбленій,—слабый лучъ надежды, не на прежнее, конечно, полное, громадное счастье взаимности, но на счастье не совсѣмъ терять Вѣру изъ виду, удержать за собой навсегда ея дружбу, и вдалекѣ когда-нибудь, со временемъ, усилить ея покойную, прочную симпатію къ себѣ и... и...

Тутъ кончались его мечты, не смѣя идти далѣе, потому что за этими *и* слѣдовалъ естественный вопросъ о томъ, что теперь будетъ съ нею? Дѣйствительно ли кончилась ея драма? Не опомнился ли Маркъ, что онъ теряетъ, и не бросился ли догонять уходящее счастье? Не карабкается ли за нею со дна обрыва на высоту? Не оглянулась ли и она опять назадъ? Не подали ли они другъ другу руки навсегда, чтобъ быть счастливыми, какъ онъ, Тушинъ, и какъ сама Вѣра понимаютъ счастье?

Стало-быть онъ мучился тѣми же сомнѣніями и тѣмъ же вопросомъ, который точно укусилъ Татьяну Марковну прямо въ сердце, когда Вѣра показала ей письма. Вопросъ этотъ не переставалъ грызть Тушина. Ему казалось невѣроятно, чтобы Маркъ устоялъ въ своихъ понятіяхъ, и остался только на днѣ обрыва. „Не дуракъ же онъ, не слѣпой!..“ „За что-нибудь любила она его... Нѣтъ— любить его нельзя—а влюбилась, увлеклась фальшиво...“ думалъ онъ: „онъ опомнится, воротится и она будетъ счастлива... Дай Богъ! Дай Богъ!“ молился онъ за счастье Вѣры, и въ эти минуты блѣднѣлъ и худѣлъ—отъ безнадежности за свое погибающее будущее, безъ симпатіи, безъ счастья, безъ Вѣры, безъ всѣхъ этихъ *и... и... и...*

„Какая же это жизнь?“ думалъ онъ. „Той жизнью, какою я жилъ прежде, когда не зналъ, есть ли на свѣтѣ Вѣра Васильевна, жить дальше нельзя. Безъ нея— дѣло станетъ, жизнь станетъ!“

Онъ принимался чуть не самъ рубить мачтовыя деревья, слѣдилъ прилежнѣе за работами на пильномъ заводѣ, самъ, вмѣсто приказчиковъ, велъ книги въ конторѣ, или садился на коня и упаривалъ его, скача верстъ по двадцати взадъ и впередъ по лѣсу, заглушая свое горе и всѣ эти вопросы, скача отъ нихъ дальше,—но съ нимъ неутомимо, какъ сви-

стящій осенній вѣтеръ, скакалъ вопросъ: что дѣлается на той сторонѣ Волги?

Сколько разъ онъ подъѣзжалъ къ берегу, глядя на противоположную сторону! Какъ хотѣлось ему вскочить на этомъ конѣ на отваливающійся паромъ и взобраться на гору, узнать, спросить...

Но она сказала: „погодите“—и это „погодите“ было для него свято.

Теперь онъ ѣхалъ съ ея запиской въ карманѣ. Она его вызвала, но онъ не скакалъ на гору, а ѣхалъ тихо, неторопливо слѣзъ съ коня, терпѣливо ожидая, чтобъ изъ людской замѣтили кучера и взяли его у него, и робко брался за ручку двери. Даже, придя въ ея комнату, онъ боязливо и украдкой глядѣлъ на нее, не зная, что съ нею, зачѣмъ она его вызвала, чего ему ждать.

Сначала неловко было обоимъ. Ей—оттого, что „тайна“ извѣстна была ему, хотя онъ и другъ, но все же посторонній ей человѣкъ. Открыла она ему тайну внезапно, въ горячкѣ, въ нервномъ раздраженіи, когда она, изъ нѣкоторыхъ его словъ, заподозрѣла, что онъ уже знаетъ все.

И нельзя было не открыть: она дорожила прелестью его дружбы и не хотѣла красть уваженія. Притомъ онъ сдѣлалъ ей предложеніе. Но все же онъ знаетъ ея „грѣхъ“,—а это тяжело. Она стыдливо клонила голову и избѣгала глядѣть ему прямо въ глаза.

Ему было неловко оттого, что онъ такъ не въ пору и некстати открылъ ей свои надежды, на которыя она отвѣтила ему страшной откровенностью—неловко и за нее, и за себя.

Они угадывали другъ друга и молчали.

— Вы меня простили? сказала она наконецъ груднымъ шопотомъ, стараясь не глядѣть на него.

— Я, васъ? за что?

— За все, что̀ вы перенесли, Иванъ Ивановичъ. Вы измѣнились, похудѣли, вамъ тяжело.—я это вижу. Горе ваше и бабушки—тяжелое наказаніе!

— Мое горе не должно безпокоить васъ, Вѣра Васильевна. Оно—мое. Я самъ напросился на него, а вы только смягчили его. Вонъ вы вспомнили обо мнѣ и писали, что вамъ хочется видѣть меня: ужели это правда?

— Правда, Иванъ Ивановичъ. Если у меня отнимутъ васъ троихъ, бабушку, васъ и брата Бориса—я не переживу своего одиночества.

— Ну, вотъ, а вы говорите—горе! Посмотрите мнѣ въ глаза. Я думаю, я въ эту минуту и пополнѣлъ опять.

У него показался румянецъ, какой бросается въ лицо вдругъ обрадованному человѣку.

— Вижу, сказала она: —и отъ этого мнѣ больнѣе становится за все то, что̀ я сдѣлала со всѣми вами. Что было съ бабушкой!

— А что̀? я боялся спросить...

Она разсказала ему все, что было въ эти двѣ недѣли, кромѣ признанія Татьяны Марковны.

Онъ напряженно ждалъ, не упомянетъ ли она о Маркѣ. Но она не сказала ни слова.

— Если бъ вы сами скорѣй успокоились! сказалъ онъ задумчиво:—все пройдетъ и забудется...

— Забудется, но не простится.

— Некому и нечего прощать...

— Если бъ и забылось, и простилось другими, мнѣ самой нельзя забыть и простить себѣ... шепнула она и остановилась. Боль отразилась у ней на лицѣ.

— Я начала немного отдыхать, забывать... продолжала она.—Теперь скоро свадьба, было много дѣла, я отвлеклась-было...

— И что же, помѣшало развѣ что̀-нибудь?

— Да... я вчера была сильно встревожена; и теперь еще не совсѣмъ покойна. Боюсь, чтобы какъ-нибудь... Да, вы правы, мнѣ надо скорѣе успокоиться... Я думала, все кончилось... Уѣхала бы я отсюда!

Онъ молчалъ, потупивъ глаза. Румянецъ и минутная радость сбѣжала съ лица.

— Случилось что-нибудь? спросилъ онъ.—Не нужно ли вамъ... какой-нибудь услуги, Вѣра Васильевна?

— Да, случилось. Но на эту услугу я не вызову васъ, Иванъ Ивановичъ.

— Не сумѣю, можетъ-быть?

— Нѣтъ, не то! Вы знаете все, вотъ прочтите, что я получила...

Она вынула изъ ящика оба письма и подала ему. Тушинъ прочиталъ и совсѣмъ похудѣлъ, сталъ опять блѣденъ, какъ былъ, когда пріѣхалъ.

— Да, тутъ, конечно, я лишній: вы одна можете...

— Не могу, Иванъ Ивановичъ...

Онъ вопросительно поглядѣлъ на нее.

— Не могу ни написать ему двухъ словъ, ни видѣть его...

Онъ сталъ оправляться и поднялъ голову, глядя на нее.

— А мнѣ надо дать отвѣтъ; онъ ждетъ тамъ, въ бесѣдкѣ, или придетъ сюда, если не дамъ... а я не могу...

— Какой отвѣтъ? спросилъ Тушинъ, наклоняясь и разсматривая свои сапоги.

— И вы, какъ бабушка, спрашиваете, какой! Развѣ вы не читали? Онъ манитъ счастьемъ, предлагаетъ вѣнчаться...

— Что же?

— Что же! повторила она съ примѣсью легкаго раздраженія:—я пробовала вчера написать ему всего двѣ строки: „я не была—и не буду счастлива съ вами и послѣ вѣнчанья, я не увижу васъ никогда. Прощайте!“—и не могла Хотѣла

пойти, сказать это сама и уйти—ноги не шли: я падала. Онъ не знаетъ ничего, что со мной произошло, и думаетъ, что я все еще въ жару страсти, оттого и надѣется, пишетъ... Надо ему сказать все, а я не могу! Поручить некому: бабушка вспыхнула какъ порохъ, прочитавши эти письма. Я боюсь, что она не выдержитъ... и я...

Тушинъ вдругъ всталъ и подошелъ къ ней.

— И вы подумали обо мнѣ: „Тушинъ—выдержитъ и послужитъ мнѣ...“ и позвали меня... такъ?

Онъ весь просіялъ.

— Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, не такъ. Я позвала васъ, чтобъ... видѣть васъ въ этой тревогѣ. Когда вы тутъ— я будто покойнѣе...

— Вѣра Васильевна! сказалъ онъ—и румянецъ опять хлынулъ ему въ щеки.

Онъ былъ почти счастливъ.

— А посылать васъ туда, продолжала она:—нѣтъ, я не нанесу вамъ этого новаго оскорбленія, не поставлю лицомъ къ лицу съ человѣкомъ, котораго вы... не можете видѣть равнодушно... Нѣтъ, нѣтъ!

Она качала головой.

— Оскорбленія! Вѣра Васильевна!...

Онъ хотѣлъ говорить, но сложилъ только руки, какъ будто съ мольбой, передъ ней. Глаза блистали, глядя на нее.

Она съ изумленіемъ благодарности смотрѣла на него, видя, какъ одно вниманіе, одно чувство приличія,—такая малость—дѣлали его счастливымъ. И это послѣ всего!...

„Какъ онъ любитъ меня! Зачѣмъ!...“ подумала она съ грустью.

— Оскорбленія! повторилъ онъ.—Да, мнѣ тяжело бы было, если бъ вы послали меня съ масличной вѣтвью къ нему, помочь ему выбраться изъ обрыва сюда... Эта го-

лубпная роль мнѣ была бы точно не къ лицу—но я пошелъ бы мирить васъ, если бъ зналъ, что вы будете счастливы...

„И бабушка пошла бы, и мать моя, если бъ была жива... И этотъ человѣкъ готовъ идти—искать мое счастье—и терять свое!“ подумалось ей опять.

— Иванъ Ивановичъ! сказала она почти въ слезахъ:—я вамъ вѣрю, вы сдѣлали бы и это! Но я не послала бы васъ...

— Знаю, что не послали бы, и дурно сдѣлали бы. А теперь, мнѣ не надо и выходить изъ роли медвѣдя. Видѣть его—чтобы передать ему эти двѣ строки, которыхъ вы не могли написать: вѣдь это—счастье, Вѣра Васильевна!

Она потупила глаза.

„Я только и могу дать ему это счастье въ отвѣтъ... на все!...“ думала она.

Замѣтивъ ея печаль, онъ вдругъ упалъ, смирился; гордость осанки, блескъ взгляда, румянецъ—пропали. Онъ раскаялся въ своей неосторожной радости, въ неосторожномъ словѣ: „счастье“.

„Опять глупость сдѣлалъ!“ терзался онъ про себя—принявъ простое, дружеское порученіе, съ которымъ она обратилась къ нему, потому что некому было поручить, какъ она сказала,—за какое-то косвенное поощреніе его надеждъ!

Онъ — этой внезапной радостью и этимъ словомъ: „счастье“—будто повторилъ свое признаніе въ любви и предложеніе руки, и кромѣ того показалъ ей, что эгоистически радуется разрыву ея съ Маркомъ.

Вѣра, глядя на него, угадала, что онъ во второй разъ скатился съ своего обрыва счастливыхъ надеждъ. Ея сердце, женскій инстинктъ, дружба—все бросилось на помощь бѣдному Тушину, и она не дала рухнуть окончательно всѣмъ его надеждамъ, удержавъ одну, какую только могла дать ему въ своемъ положеніи—это безграничное довѣріе и уваженіе.

— Да, Иванъ Ивановичъ, я теперь вижу, что я надѣялась на васъ и въ этомъ, только не признавалась сама себѣ, и никогда не рѣшилась бы требовать отъ васъ этой помощи. Но если вы великодушно предлагаете, то я рада и благодарю. Никто не поможетъ мнѣ такъ, какъ вы поможете, потому что никто, такъ какъ вы, не любитъ меня...

— Вы балуете меня, Вѣра Васильевна, говоря это: и это правда! Вы насквозь видите меня...

— И если, продолжала она:—вамъ не тяжело видѣть его...

— Нѣтъ... я не упаду въ обморокъ.

— Такъ подите сегодня въ пять часовъ въ бесѣдку и скажите...

Она задумалась, что̀ сказать. Потомъ взяла карандашъ, и написала тѣ же двѣ строки, которыя сказала ему на словахъ, не прибавивъ ничего къ прежде сказаннымъ словамъ.

— Вотъ мой отвѣтъ! заключила она, передавая ему незапечатанный листокъ:—отдайте ему и прибавьте, что̀ хотите, если нужно будетъ; вы знаете все...

Онъ спряталъ листокъ въ карманъ.

— Помните одно, прибавила она поспѣшно:—что я не обвиняю его ни въ чемъ... ни на что̀ не жалуюсь... слѣдовательно...

Она остановилась. Онъ ждалъ.

— Вашего бича съ собой не берите!... договорила она тихо, почти въ сторону.

— По дѣломъ мнѣ, сказалъ онъ, сильно вздохнувъ.

— Виновата, перебила она, подавая ему руку:—это не упрекъ,—Боже сохрани! Память подсказала мнѣ кстати. Мнѣ легче этимъ однимъ словомъ выразить, а вамъ понять, чего я желаю и чего не желала бы въ этомъ свиданіи...

— Тутъ обидно одно, вы думали, что я безъ этого слова не понялъ бы...

— Простите меня, больную...

Онъ пожалъ поданную ему руку.

## XVI.

Немного погодя, воротилась Татьяна Марковна, пришелъ Райскій. Татьяна Марковна и Тушинъ не безъ смущенія встрѣтились другъ съ другомъ. И имъ было неловко: онъ зналъ, что ей извѣстно его объясненіе съ Вѣрой,—а ей мучительно было, что онъ знаетъ романъ и „грѣхъ“ Вѣры.

Изъ глазъ его выглядывало уныніе, въ ея разговорахъ сквозило смущеніе за Вѣру и участіе къ нему самому. Они говорили, даже о простыхъ предметахъ, какъ-то натянуто, но къ обѣду взаимная симпатія превозмогла, они оправились и глядѣли прямо другъ другу въ глаза, довѣряя взаимнымъ чувствамъ и характерамъ. Они даже будто сблизились между собой, и въ минуты молчанія, высказывали одинъ другому глазами то, что̀ могли бы сказать о происшедшемъ словами, если бъ это было нужно.

До обѣда Вѣра оставалась съ Татьяной Марковной, стараясь, или скорѣе опасаясь узнать о мѣрѣ, какую она могла принять, чтобъ Маркъ не ожидалъ ее въ бесѣдкѣ. Она рѣшилась не отходить отъ нея и послѣ обѣда, чтобъ она не поддалась желанію сама сойти съ обрыва на свиданіе.

Но Татьяна Марковна до обѣда не упомянула о вчерашнемъ разговорѣ, а послѣ обѣда, когда Райскій ушелъ къ себѣ, а Тушинъ, надѣвъ пальто, пошелъ куда-то „по дѣлу“, она заняла всю дѣвичью чисткою серебряныхъ чайниковъ, кофейниковъ, подносовъ и т. д., назначаемыхъ въ приданое Марѳинькѣ.

Вѣра успокоилась съ этой стороны и мысленно перенеслась съ Тушинымъ въ бесѣдку, думая съ тоской и съ замираніемъ сердца отъ страха о томъ: „не вышло бы чего-нибудь! Если бъ этимъ кончилось! Что̀ тамъ теперь дѣлается!“

А тамъ, безъ четверти въ пять часовъ, пробирался къ бесѣдкѣ Тушинъ. Онъ зналъ мѣстность, но видно давно не былъ и забылъ, потому что глядѣлъ направо, налѣво, бралъ то въ ту, то въ другую сторону, по едва замѣтной тропинкѣ, и никакъ не могъ найти бесѣдки. Онъ остановился тамъ, гдѣ кусты были чаще и гуще, припоминая, что бесѣдка была гдѣ-то около этого мѣста.

Онъ стоялъ, оглядываясь во всѣ стороны, и съ безпокойствомъ смотрѣлъ на часы. Стрѣлка подвигалась къ пяти часамъ, а онъ не видалъ ни бесѣдки, ни Марка.

Вдругъ издали до него дошелъ шумъ торопливыхъ шаговъ и между кустами сосняка и ельника являлась и пропадала фигура.

„Кажется, онъ!...“ думалъ Тушинъ, и раза два дохнулъ всей грудью, какъ усталый конь, покачалъ взадъ и впередъ стоящую рядомъ молодую ель, потомъ опустилъ обѣ руки въ карманы пальто и сталъ, какъ вкопанный.

Маркъ точно выпрыгнулъ изъ засады на это самое мѣсто, гдѣ былъ Тушинъ и, оглядываясь съ изумленіемъ вокругъ, замѣтилъ его и окаменѣлъ.

Они поглядѣли другъ на друга съ минуту, потомъ дотронулись до фуражекъ. Волоховъ все озирался съ недоумѣніемъ вокругъ.

— Гдѣ же бесѣдка? спросилъ онъ наконецъ вслухъ.

— Я тоже ее ищу и не знаю, въ которой она сторонѣ!

— Какъ „въ которой сторонѣ!“ Мы стоимъ на ея мѣстѣ: она еще вчера утромъ тутъ была...

Оба молчали, не зная, что̀ сталось съ бесѣдкой. А съ ней сталось вотъ что. Татьяна Марковна обѣщала Вѣрѣ, что Маркъ не будетъ „ждать ее въ бесѣдкѣ“, и буквально исполнила обѣщаніе. Черезъ часъ послѣ разговора ея съ Вѣрой, Савелій, взявъ человѣкъ пять мужиковъ, съ топорами, спустился съ обрыва и они разнесли бесѣдку часа въ

два, унеся съ собой бревна и доски на плечахъ. А бабы и ребятишки, по ея же приказанію, растаскали и щепы.

На другой день утромъ, сама барыня взяла садовника, да опять Савелья, и еще двоихъ людей, и велѣла мѣсто, гдѣ была бесѣдка, поскорѣе сравнять, утоптать, закрыть дерномъ и пересадить туда нѣсколько молодыхъ сосенъ и елей.

„Заднимъ умомъ крѣпка!“ упрекала она мысленно себя. „Если бъ я сломала бесѣдку тотчасъ, когда Вѣрочка сказала мнѣ все... тогда, можетъ-быть, злодѣй догадался бы и не писалъ ей проклятыхъ писемъ!“

Злодѣй дѣйствительно догадался.

„Старуха узнала: — это она!“ подумалъ онъ: „Вѣра поступила благонравно: все открыла ей!“

Онъ обернулся къ Тушину, кивнулъ ему и хотѣлъ идти, но замѣтилъ его пристальный, точно желѣзный взглядъ.

— Вы что̀ тутъ дѣлали, гуляли, что ли? спросилъ онъ.— Что вы такъ смотрите на меня? Вы здѣсь въ гостяхъ наверху?

— Да, въ гостяхъ. Я не гулять пришелъ, а видѣться съ вами, сказалъ Тушинъ сухо, но учтиво.

— Со мной! оборотясь живо къ нему отозвался Волоховъ и вопросительно глядѣлъ на него. „Что это, не узналъ ли и онъ? Онъ, кажется, претендентъ на Вѣру. Не драму ли затѣваетъ этотъ лѣсной Отелло: „крови“, „крови“, что ли, ему надо!“ успѣлъ подумать Маркъ.

— Съ вами, повторилъ Тушинъ:—у меня есть порученіе къ вамъ.

— Отъ кого? Отъ старухи?

— Отъ какой старухи?

— Отъ Бережковой! Отъ какой!

— Нѣтъ.

— Такъ отъ Вѣры? почти съ испугомъ спросилъ онъ.

— Отъ Вѣры Васильевны, хотите вы сказать?

— Ну, пожалуй—Васильевны. Что она, здорова ли? Что велѣла передать мнѣ?...

Тушинъ молча подалъ ему записку. Маркъ пробѣжалъ ее глазами, сунулъ небрежно въ карманъ пальто, потомъ снялъ фуражку и началъ пальцами драть голову, одолѣвая не то неловкость своего положенія передъ Тушинымъ, не то ощущеніе боли, огорченія, или злой досады.

— Вы... все знаете? спросилъ онъ.

— Позвольте не отвѣчать на этотъ вопросъ, а спросить васъ: скажете вы что-нибудь въ отвѣтъ?

„Стану я тебѣ давать отвѣтъ!“ подумалъ Маркъ: „не дамъ!“

— Ничего не скажу, холодно отвѣчалъ онъ вслухъ.

— Но исполните, конечно, ея просьбу: не тревожить ее больше, не напоминать о себѣ... не писать, не посѣщать этихъ мѣстъ...

— Вамъ что за дѣло? Вы объявлены ея женихомъ, что спрашиваете?...

— Для этого не нужно быть женихомъ, а просто другомъ, чтобъ исполнить порученіе.

— Если буду писать и посѣщать—тогда что? запальчиво заговорилъ Волоховъ, какъ будто напрашиваясь на дерзость.

— Не знаю, какъ приметъ это Вѣра Васильевна. Если опять дастъ мнѣ новое порученіе, я опять сдѣлаю, что ей будетъ нужно.

— Какой вы послушный и почтительный другъ! сказалъ съ злой ироніей Маркъ.

Тушинъ поглядѣлъ на него съ минуту серьезно.

— Да, вы правы, я такой другъ ей... Не забывайте, господинъ Волоховъ, прибавилъ онъ:—что вы говорите не

съ Тушинымъ теперь, а съ женщиной. Я сталъ въ ея положеніе и не выйду изъ него, что бы вы ни сказали. Я думалъ, что и для васъ довольно ея желанія, чтобы вы не безпокоили ее больше. Она только что поправляется отъ серьезной болѣзни...

Маркъ молча ходилъ взадъ и впередъ по лужайкѣ, и при послѣднихъ словахъ подошелъ къ Тушину.

— Что съ ней было? спросилъ онъ почти мягко.

Тушинъ молчалъ.

— Извините меня, я горячусь, знаю, что это глупо! Но вѣдь вы видите, что и я—какъ въ горячкѣ.

— Очень жалѣю; стало-быть вамъ самимъ нуженъ покой... Вы дадите какой-нибудь отвѣтъ на эту записку?

Марку не хотѣлось отвѣчать ему.

— Я самъ отвѣчу, напишу...

— Она положительно отказывается отъ этого—и я могу дать вамъ слово, что она не можетъ поступить иначе... Она больна — и ея здоровье требуетъ покоя, а покой явится, когда вы не будете напоминать о себѣ. Я передаю, что мнѣ сказано, и говорю то, что видѣлъ самъ...

— Послушайте, вы ей желаете добра? началъ Волоховъ.

— Конечно.

— Вы видите, что она меня любитъ, она вамъ сказала...

— Нѣтъ, этого я не вижу и она мнѣ не говорила о любви, а дала вотъ эту записку и просила подтвердить, что она не можетъ и не желаетъ болѣе видѣться съ вами и получать писемъ.

— Какая нелѣпость—мучиться и мучить другого! сказалъ Маркъ, вскапывая ногой свѣжую, нанесенную только утромъ землю около дерева.—Вы могли бы избавить ее отъ этой пытки, отъ нездоровья, отъ упадка силъ... отъ всего—если вы... другъ ей! Старуха сломала бесѣдку, но не

страсть: страсть сломаетъ Вѣру... Вы же сами говорите, что она больна...

— Я не говорилъ, что она больна отъ страсти...

— Отчего же она разстроена?

— Оттого, что вы пишите къ ней, ждете въ бесѣдкѣ, грозите придти сами. Она не переноситъ этого—и только это поручила передать.

— Она только говоритъ такъ, а сама...

— Она говоритъ всегда правду.

— Почему она дала это порученіе вамъ? вдругъ, спросилъ Маркъ.

Тушинъ молчалъ.

— Она вамъ довѣряетъ, стало-быть вы можете объяснить ей, какъ дико противиться счастью. Вѣдь она не найдетъ его тамъ, у себя... Вы посовѣтовали бы ей не мучить себя и другого, и постарались бы поколебать эту бабушкину мораль... Притомъ я предлагаю ей...

— Если бъ вы умѣли понять ее, остановилъ его Тушинъ:—то давно бы знали, что она изъ тѣхъ, кому „объяснять“ нечего и „совѣтовать“ нельзя. А колебать „бабушкину мораль“ я не нахожу нужнымъ, потому что раздѣляю эту мораль.

— Вотъ какъ! Вы удивительный дипломатъ, отлично исполняете порученія! раздражительно сказалъ Маркъ.

Тушинъ молчалъ, наблюдая за нимъ и покойно ожидая, что онъ, волей или неволей, а дастъ отвѣтъ.

Это молчаливое спокойствіе бѣсило Марка. Сломанная бесѣдка и появленіе Тушина въ роли посредника показали ему, что надежды его кончаются, что Вѣра не колеблется больше, что она установилась на своемъ намѣреніи не видѣться съ нимъ никогда.

Въ него тихо проникло ядовитое сознаніе, что Вѣра страдаетъ, дѣйствительно, не отъ страсти къ нему,—иначе

она не открылась бы бабушкѣ, и еще менѣе Тушину. Онъ зналъ и прежде ея упрямство, котораго не могла сломать даже страсть, и потому почти съ отчаяніемъ сдѣлалъ послѣднюю уступку, рѣшаясь жениться и остаться еще на неопредѣленное время, но отнюдь не навсегда, тутъ въ этомъ городѣ, а пока длится его страсть. Онъ вѣрилъ въ непогрѣшимость своихъ понятій о любви и предвидѣлъ, что рано или поздно, она кончится для обоихъ одинаково, что они будутъ „виснуть одинъ другому на шею, пока виснется“, а потомъ...

Онъ отдалялся отъ этого „потомъ“, надѣясь, что со временемъ Вѣра не устоитъ и сама на морали бабушки, когда настанетъ охлажденіе.

Теперь и эта его жертва—предложеніе жениться—оказалась напрасною. Ее не приняли. Онъ не опасенъ, и даже не нуженъ больше. Его отсылаютъ. Онъ терпѣлъ въ эту минуту отъ тѣхъ самыхъ мученій, надъ которыми издѣвался еще недавно, не вѣря имъ. „Не логично!“ думалъ онъ.

— Я не знаю, что̀ я сдѣлаю, сказалъ онъ все еще гордо:— и не могу дать отвѣта на ваше дипломатическое порученіе. Въ бесѣдку, конечно, не приду, потому что ея нѣтъ...

— И писемъ не будете писать, давалъ за него отвѣтъ Тушинъ:—потому что ихъ не передадутъ. Въ домъ тоже не придете—васъ не примутъ...

— Кто: вы? злобно отозвался Маркъ: — что же, вы стеречь станете?

— Стану, если Вѣра Васильевна захочетъ. Впрочемъ, здѣсь есть хозяйка дома и... люди. Но я полагаю, что вы сами не нарушите приличій и спокойствія женщины...

— Чортъ знаетъ, что за нелѣпость! рычалъ Маркъ:— выдумали люди себѣ кандалы... лѣзутъ въ мученики...

Ему все еще хотѣлось удержаться въ позиціи и удалиться съ нѣкоторымъ достоинствомъ, сохраняя за собой

право не давать отвѣта. Но Тушинъ уже зналъ, что другого отвѣта быть не можетъ. Маркъ чувствовалъ это и сталъ отступать постепенно.

— Я ѣду скоро, сказалъ онъ: — черезъ недѣлю... Не можетъ ли Вѣра... Васильевна видѣться со мной на одну минуту?...

— Не можетъ положительно: она больна.

— Лѣчатъ, что ли, ее?

— Ей одно лѣкарство: чтобъ вы не напоминали о себѣ...

— Я вѣдь не совсѣмъ довѣряю вамъ, ѣдко перебилъ Маркъ:—вы, кажется... неравнодушны къ ней—и...

Тушинъ опять покачалъ ель, но молчалъ. Онъ входилъ въ положеніе Марка и понималъ, какое чувство горечи или бѣшенства должно волновать его, и потому не отвѣчалъ злымъ чувствомъ на злобныя выходки, сдерживая себя, а только тревожился тѣмъ, что Маркъ, изъ гордаго упрямства, чтобъ не быть принужденъ уйти, или по остатку раздраженной страсти, еще сдѣлаетъ попытку написать, или видѣться, и встревожить Вѣру. Ему хотѣлось положить совсѣмъ конецъ этимъ покушеніямъ.

— Если мнѣ не вѣрите—то у васъ есть доказательство, сказалъ онъ.

— Росписка—да. Это ничего не значитъ. Страсть—это море. Сегодня буря, завтра штиль... Можетъ-быть, ужъ она теперь жалѣетъ, что послала васъ...

— Не думаю; она бы предвидѣла это и не послала бы. Вы, какъ я вижу, вовсе не знаете ее. Впрочемъ, я передалъ вамъ все—и вы, конечно, уважите ея желанія... Я не настаиваю болѣе на отвѣтѣ...

— Отвѣта никакого! Я уѣду...

— Это именно тотъ отвѣтъ, который нуженъ ей...

— Не ей, а вамъ, да, можетъ-быть, романтику Райскому и старухѣ...

— Да, пожалуй, и намъ, и — можетъ-быть—цѣлому городу! Я позволю себѣ только поручиться Вѣрѣ Васильевнѣ, что отвѣтъ вашъ будетъ вами буквально исполненъ. Прощайте.

— Прощайте... рыцарь...

— Что? спросилъ, немного нахмурившись, Тушинъ.

Маркъ, блѣдный, смотрѣлъ въ сторону. Тушинъ дотронулся до фуражки и ушелъ, а Маркъ все еще стоялъ на мѣстѣ.

## XVII.

Онъ злился, что уходитъ неловко, неблаговидно, хуже, чѣмъ онъ пророчилъ когда-то Райскому, что весь романъ его кончается обрывомъ, изъ котораго ему надо уходить не оглядываясь, что вслѣдъ ему не послано, не только сожалѣнія, прощальнаго слова, но его будто выпроваживаютъ, какъ врага, притомъ слабаго, отъ котораго избавитъ недѣля-другая разлуки, да сосѣдняя гора, за которую онъ перевалится.

Отчего все это? „Онъ ни въ чемъ не виноватъ!“ А ему отказываютъ въ послѣднемъ свиданіи,—очевидно не изъ боязни страстнаго искушенія, а какъ будто грубой обиды, выбираютъ посредникомъ другого!

И этотъ другой командуетъ властью Вѣры, не выходя изъ границъ приличій, выпроваживаетъ его осторожно, какъ выпроваживаютъ буйнаго гостя, или вора, запирая двери, окна, и спуская собаку. Онъ намекнулъ ему о хозяйкѣ дома, о людяхъ... чуть не о полиціи.

Въ этомъ, пожалуй, онъ былъ самъ виноватъ (снисходительно обвинялъ Маркъ себя), — усвоивъ условія и формы общежитія, которыя онъ называлъ свободными и разумными, презирая всякимъ принятымъ порядкомъ, и которыя городъ этотъ не признавалъ такими.

Не оттого ли Вѣра теперь будто стыдится своей страсти, отчаявшись перевоспитать его, и отдѣлывается отъ него заочно, черезъ другихъ, какъ отдѣлываются отъ дурного знакомства, сдѣланнаго случайно, или нечаянно?

И этотъ посредникъ, несмотря на рѣзкіе вызовы, очевидно сдерживался, боясь, не опасности конечно, а тоже скандальной, для Вѣры и для него самого, сцены — съ неприличнымъ человѣкомъ. И ко всему этому нужно было еще дать отвѣтъ! А отвѣтъ одинъ: другого отвѣта и нѣтъ, и нельзя дать, кромѣ того, какой диктовалъ ему этотъ „рыцарь“ и „дипломатъ“, унизившій его холодной вѣжливостью на всѣ его задиранья. Маркъ, какъ ни ускользалъ, а далъ отвѣтъ!

Но какъ бы Вѣра ни рѣшила, все же, въ память прошлаго, она должна была... хоть написать къ нему свое рѣшительное письмо — если больна и вынести свиданія не можетъ. Пусть охладился пылъ страсти, но она дружески могла проститься съ нимъ, подтвердила бы ему, что не мирится съ бездной неизвѣстности впереди, съ его міросозерцаніемъ — и они разошлись бы, уважая другъ друга. А она отсылаетъ его—не съ уваженіемъ, а какъ будто не удостоиваетъ досказать послѣднія слова, какъ будто онъ сдѣлалъ что-нибудь такое... Въ чемъ онъ виноватъ? Онъ сталъ припоминать послѣднее свиданіе—и не нашелъ за собой ничего...

Онъ правъ, во всемъ правъ: за что же эта нѣмая и глухая разлука? Она не можетъ обвинить его въ своемъ „паденіи“, какъ „отжившіе люди“ называютъ это... Нѣтъ! А теперь онъ пошелъ на жертвы до самоотверженія, бросаетъ свои дѣла, соглашается... вѣнчаться! За что же этотъ ножъ, лаконическая записка, вмѣсто дружескаго письма, посредникъ—вмѣсто самой себя?

Да,—это ножъ, ему больно. Холодъ отъ мозга до пятъ охватилъ его. Но какая рука вонзила ножъ? Старуха научила? нѣтъ—Вѣра не такая, ее не научишь! Сталобыть сама. Но за что, что̀ онъ сдѣлалъ?

Маркъ медленно шелъ къ плетню, вяло влѣзъ на него и сѣлъ, спустивъ ноги, и не прыгалъ на дорогу, стараясь отвѣтить себѣ на вопросъ: „что̀ онъ сдѣлалъ?“

Онъ припомнилъ, какъ въ послѣднемъ свиданіи „честно“ предупредилъ ее. Смыслъ его словъ былъ тотъ: „помни, я все сказалъ тебѣ впередъ, и если ты, послѣ сказаннаго, протянешь руку ко мнѣ—ты моя: но ты и будешь виновата, а не я...“

„Это логично!“ сказалъ онъ почти вслухъ — и вдругъ будто около него поднялся изъ земли смрадъ и чадъ. Онъ соскочилъ съ плетня на дорогу, не оглядываясь, какъ тогда...

Далѣе, онъ припомнилъ, какъ онъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, покидалъ ее одну, повисшую надъ обрывомъ въ опасную минуту. „Я уйду“, говорилъ онъ ей („честно“) и уходилъ, но оборотился, принялъ ея отчаянный нервный крикъ *прощай* за призывъ—и поспѣшилъ на зовъ...

Этотъ первый отвѣтъ на вопросъ: „что̀ онъ сдѣлалъ“, какъ молотъ, ударилъ его въ голову.

Онъ пошелъ съ горы, а ножъ дѣлалъ свое дѣло и вонзался все глубже и глубже. Память безпощадно проводила передъ нимъ рядъ недавнихъ явленій.

„Нечестно вѣнчаться, когда не вѣришь!“ гордо сказалъ онъ ей, отвергая обрядъ и „безсрочную любовь“ и надѣясь достичь побѣды безъ этой жертвы, а теперь предлагаетъ тотъ же обрядъ! Не предвидѣлъ! Не оцѣнилъ во̀ время Вѣру, отвергнулъ, гордо ушелъ... и оцѣнилъ черезъ нѣсколько дней!

„Вотъ что ты сдѣлалъ!“ опять стукнулъ молотъ ему въ голову.

„Изъ логики и честности“—говорило ему отрезвившееся отъ пьянаго самолюбія сознаніе—„ты сдѣлалъ двѣ ширмы, чтобъ укрываться за нихъ съ своей „новой силой“, оставивъ безсильную женщину раздѣлываться за свое и за твое увлеченіе, обѣщавъ ей только одно: „уйти, не унося съ собой никакихъ „долговъ“, „правилъ“ и „обязанностей...“ оставляя ее нести ихъ одну...

„Ты не пощадилъ ее „честно“, когда она падала въ безсиліи, не сладилъ потомъ „логично“ съ страстью, а пошелъ искать удовлетворенія ей, поддаваясь „нечестно“ отвергаемому твоимъ „разумомъ“ обряду, и впереди заботливо сулилъ — одну разлуку! Манилъ за собой и... договаривался! „Вотъ что̀ ты сдѣлалъ!“ стукнулъ молотъ ему въ голову еще разъ.

„Волкомъ“ звала она тебя въ глаза, „шутя“, стучалъ молотъ дальше: „теперь, не шутя, заочно, къ хищничеству волка—въ памяти у ней останется ловкость лисы, злость на все лающей собаки, и не останется никакого слѣда—о человѣкѣ! Она вынесла изъ обрыва—одну казнь, одно неизлѣчимое терзаніе на всю жизнь: какъ могла она ослѣпнуть, не угадать тебя давно, увлечься, забыться!..“ Торжествуй, она никогда не забудетъ тебя!

Онъ понялъ все: ея лаконическую записку, ея болѣзнь— и появленіе Тушина на днѣ обрыва, вмѣсто ея самой.

Козловъ видѣлъ его и сказалъ Райскому, что теперь онъ ѣдетъ на время въ новгородскую губернію, къ старой теткѣ, а потомъ намѣренъ проситься опять въ юнкера, съ переводомъ на Кавказъ.

## XVIII.

Райскій проговорилъ цѣлый вечеръ съ Тушинымъ. Они только теперь начали вглядываться другъ въ друга пристальнѣе и разошлись оба съ желаніемъ познакомиться

короче, слѣдовательно сдѣлали другъ на друга благопріятное впечатлѣніе.

Вечеромъ Тушинъ звалъ Райскаго къ себѣ на недѣлю погостить, посмотрѣть его лѣсъ, какъ работаетъ у него машина на паровомъ пильномъ заводѣ, его рабочую артель, вообще все лѣсное хозяйство.

Райскому хотѣлось докончить портретъ Вѣры и онъ отклонилъ-было приглашеніе. Но на другой день, проснувшись рано, онъ услыхалъ конскій топотъ на дворѣ, взглянулъ въ окно и увидѣлъ, что Тушинъ уѣзжалъ со двора на своемъ вороном конѣ. Райскаго вдругъ потянуло за нимъ.

— Иванъ Ивановичъ! закричалъ онъ въ форточку:—и я съ вами! Можете подождать четверть часа, пока я одѣнусь?

— Очень радъ! отозвался Тушинъ, слѣзая съ лошади:— не торопитесь я подожду хоть часъ!

Онъ пошелъ къ Райскому. Татьяна Марковна и Вѣра услыхали ихъ разговоръ, поспѣшили одѣться и позвали обоихъ пить чай, причемъ, конечно, Татьяна Марковна успѣла задержать ихъ еще на часъ и предложила проектъ такого завтрака, что они погрозили уѣхать въ ту же минуту, если она не ограничится однимъ бифстексомъ. Бифстексу предшествовала обильная закуска, а вслѣдъ за бифстексомъ явилась рыба, за рыбою жареная дичь. Дѣло доходило до пирожнаго, но они встали изъ-за стола и простились—не на долго.

Райскому осѣдлали лошадь, а сзади ихъ Татьяна Марковна отправила цѣлую телѣжку съ гостинцами Аннѣ Ивановнѣ. И оба, вмѣсто осьми часовъ, какъ хотѣли, едва выбрались изъ дома въ десять и въ половинѣ одиннадцатаго сѣли на паромъ Тушина.

Иванъ Ивановичъ въ разговорахъ съ Татьяной Мар-

ковной, съ Райскимъ, и потомъ по пріѣздѣ домой—былъ тихъ, сосредоточенъ, часто молчаливъ.

О Вѣрѣ не произнесли ни слова ни тотъ, ни другой. Каждый зналъ, что тайна Вѣры была извѣстна обоимъ, и отъ этого имъ было неловко даже произносить ея имя. Кромѣ того Райскій зналъ о предложеніи Тушина и о томъ, какъ онъ велъ себя и какая страдательная роль выпала ему на долю во всей этой драмѣ.

Съ этой минуты, какъ онъ узналъ это, всѣ ревнивыя его предубѣжденія къ Тушину исчезли, уступивъ мѣсто, сначала любопытному наблюденію, а потомъ, когда Вѣра разсказала ему все, и участію, уваженію, даже удивленію къ нему.

Удивленіе это росло по мѣрѣ того, какъ Райскій пристальнѣе изучалъ личность этого друга Вѣры. И въ этомъ случаѣ фантазія сослужила ему обычную службу, освѣтивъ Тушина ярко, не дѣлая изъ него впрочемъ никакого романтическаго идеала: личность была слишкомъ проста для этого, открыта и не романтична.

Пробывъ недѣлю у Тушина въ „Дымкѣ", видя его у него дома, въ полѣ, въ лѣсу, въ артели, на заводѣ, бесѣдуя съ нимъ по ночамъ до свѣта у камина, въ его кабинетѣ—Райскій понялъ вполнѣ Тушина, многому дивился въ немъ, а еще болѣе дивился глазу и чувству Вѣры, угадавшей эту простую, цѣльную фигуру и давшей ему въ своихъ симпатіяхъ мѣсто рядомъ съ бабушкой и съ сестрой.

Симпатія эта устояла даже въ разгарѣ посторонней страсти, болѣзни-страсти, которая обыкновенно самовластно поглощаетъ всѣ другія пристрастія и даже привязанности. А въ ней дружба къ Тушину и тогда сохранила свою свѣжесть и силу. Это одно много говорило въ его пользу.

Она инстинктивно чувствовала, что его сила, которую она отличила и полюбила въ немъ—есть общечеловѣче-

ская сила, какъ и любовь ея къ нему была—не исключительное, не узкое пристрастіе, а тоже общечеловѣческое чувство.

Не полюбила она его страстью,—т. е. физически: это зависитъ не отъ сознанія, не отъ воли, а отъ какого-то нерва (должно-быть самаго глупаго, думалъ Райскій, отправляющаго какую-то низкую функцію, между прочимъ, влюблять), и не какъ друга только любила она его, хотя и называла другомъ, но никакихъ послѣдствій отъ дружбы его для себя не ждала, отвергая, по своей теоріи, всякую корыстную дружбу, а полюбила только какъ „человѣка", и такъ выразила Райскому свое влеченіе къ Тушину въ первомъ свиданіи съ нимъ, т. е. какъ къ „человѣку" вообще.

Райскій повѣрялъ наблюденіемъ надъ нимъ все, что слышалъ отъ Вѣры—и все оправдывалось, подтверждалось—и анализъ Райскаго, такъ услужливо разоблачавшій ему всякія загадочныя, или прикрытыя лоскомъ и краской стороны, долженъ былъ уступить мѣсто естественному влеченію къ этой простой, открытой личности, гдѣ не было почти никакого „лоска" и никакой „краски".

Это былъ чистый самородокъ, какъ слитокъ благороднаго металла, и полюбить его дѣйствительно можно было, кромѣ корыстной или обязательной любви, т. е. какою могли любить его жена, мать, сестра, братъ,—еще какъ человѣка.

Глядя на него, слушая его, видя его дѣятельность, распоряженія по хозяйству, отношенія къ окружающимъ его людямъ, къ приказчикамъ, крестьянамъ—ко всѣмъ, кто около него былъ, съ кѣмъ онъ соприкасался, съ кѣмъ работалъ, или просто говорилъ, жилъ вмѣстѣ, Райскій удивлялся до наивности какимъ-то, наружно будто противоположностямъ, гармонически уживавшимся въ немъ: мягкости рѣчи, обращенія—съ твердостью, почти методическою, намѣреній и поступковъ, ненарушимой

правильности взгляда, строгой справедливости—съ добротой, тонкой, природной, а не выработанной гуманностью, снисхожденіемъ,—далѣе, смѣси какого-то трогательнаго недовѣрія къ своимъ личнымъ качествамъ, робкихъ и стыдливыхъ сомнѣній въ себѣ—съ смѣлостью и настойчивостью въ распоряженіяхъ, работахъ, поступкахъ, дѣлахъ.

Въ немъ крылась безсознательная, природная, почти непогрѣшительная система жизни и дѣятельности. Онъ какъ будто не зналъ, что дѣлалъ, а выходило какъ слѣдуетъ, какъ сдѣлали бы десятки приготовленныхъ умовъ, путемъ размышленія, науки, труда.

Райскій вспомнилъ первыя впечатлѣнія, какія произвелъ на него Тушинъ, какъ онъ счелъ его даже немного ограниченнымъ, какимъ сочли бы, можетъ-быть, его, при первомъ взглядѣ, и другіе, особенно такъ-называемые „умники", требующіе прежде всего внѣшнихъ признаковъ ума, его „лоска", „красокъ", „острія", обладающіе этимъ сами, не обладая часто тѣмъ существеннымъ матеріаломъ, который долженъ крыться подъ лоскомъ и краской.

Теперь, наблюдая Тушина ближе и совершенно безкорыстно, Райскій рѣшилъ, что эта мнимая „ограниченность" есть не что иное, какъ равновѣсіе силы ума съ суммою тѣхъ качествъ, которыя составляютъ силу души и воли, что и то, и другое, и третье слито у него тѣсно одно съ другимъ и ничто не выдается, не просится впередъ, не сверкаетъ, не ослѣпляетъ, а тянетъ къ себѣ медленно, но прочно.

Съ умомъ у него дружно шло рядомъ и билось сердце—и все это уходило въ жизнь, въ дѣло, слѣдовательно и воля у него была послушнымъ орудіемъ умственной и нравственной силъ.

Жизнь его совершила свой гармоническій ходъ, какъ будто разыгрывалось стройное музыкальное произведеніе, подъ управленіемъ данныхъ ему природою силъ.

Заслуги мучительнаго труда надъ обработкой даннаго ему, почти готоваго матеріала—у него не было и нѣтъ, это правда. Онъ не былъ самъ творцомъ своего пути, своей судьбы, ему, какъ планетѣ, очерчена орбита, по которой она должна вращаться; природа снабдила ее потребнымъ количествомъ тепла и свѣта, дала нужныя свойства для этого теченія — и она идетъ неуклонно по начертанному пути.

Такъ. Но вѣдь не планета же онъ въ самомъ дѣлѣ—и могъ бы уклониться далеко въ сторону. Стройно дѣйствующій механизмъ природныхъ силъ могъ бы разстроиться—и отъ внѣшнихъ притоковъ разныхъ противныхъ вѣтровъ, толчковъ, остановокъ, и отъ дурной, избалованной воли.

А у него этого разлада не было. Внутреннею силою онъ отражалъ внѣшніе враждебные притоки, а свой огонь горѣлъ у него неугасимо, и онъ не уклоняется, не измѣняетъ гармоніи ума съ сердцемъ и съ волей—и совершаетъ свой путь безупречно, все стоитъ на той высотѣ умственнаго и нравственнаго развитія, на которую, пожалуй, поставили его природа и судьба, слѣдовательно стоитъ почти безсознательно.

Но вѣдь сознательное достиженіе этой высоты—путемъ мукъ, жертвъ, страшнаго труда всей жизни надъ собой—безусловно, безъ помощи постороннихъ, выгодныхъ обстоятельствъ, дается такъ немногимъ, что—можно сказать—почти никому не дается, а между тѣмъ какъ многіе, утомясь, отчаявшись, или наскучивъ битвами жизни, останавливаются на полдорогѣ, сворачиваютъ въ сторону, и наконецъ совсѣмъ теряютъ изъ вида задачу нравственнаго развитія и перестаютъ вѣрить въ нее.

А Тушинъ держится на своей высотѣ и не сходитъ съ нея. Данный ему талантъ—быть человѣкомъ—онъ не закапываетъ, а пускаетъ въ оборотъ, не теряя, а только выиг-

рывая отъ того, что созданъ природою, а не самъ сдѣлалъ себя такимъ, какимъ онъ есть.

„Нѣтъ, это не ограниченность въ Тушинѣ“, рѣшалъ Райскій: „это—красота души, ясная, великая!—Это само благодушіе природы, ея лучшія силы, положенныя прямо въ готовыя, прочныя формы. Заслуга человѣка тутъ—почувствовать и удержать въ себѣ эту красоту природной простоты и умѣть достойно носить ее, т. е. цѣнить ее, вѣрить въ нее, быть искреннимъ, понимать прелесть правды и жить ею—слѣдовательно, ни больше, ни меньше, какъ имѣть сердце и дорожить этой силой, если не выше силы ума, то хоть наравнѣ съ нею.

А пока люди стыдятся этой силы, дорожа „змѣиной мудростью“ и краснѣя „голубиной простоты“, отсылая послѣднюю къ наивнымъ натурамъ, пока умственную высоту будутъ предпочитать нравственной, до тѣхъ поръ и достиженіе этой высоты немыслимо, слѣдовательно немыслимъ и истинный, прочный, человѣческій прогрессъ.

Послушать, такъ нужная степень нравственнаго развитія у всѣхъ уже есть, какъ будто каждый уже достигъ его и носитъ у себя въ карманѣ, какъ табакерку, что это „само собой разумѣется“, что объ этомъ и толковать нечего. Всѣ соглашаются, что общество существовать безъ этого не можетъ, что гуманность, честность, справедливость—суть основные законы, и частной, и общественной жизни, что „честность, честности, честностью“ и т. д.

— И все ложь! говорилъ Райскій.—Въ большинствѣ нѣтъ даже и почина нравственнаго развитія, не исключая иногда и высокоразвитые умы, а есть нѣсколько захваченныхъ, какъ будто на дорогу въ-обрѣзъ денегъ—правилъ (а не принциповъ) и внѣшнихъ приличій, для руководства, — такихъ правилъ, за несоблюденіе которыхъ выводятъ вонъ, или запираютъ куда-нибудь.

У большинства есть decorum принциповъ, а сами принципы шатки и рѣдки, и украшаютъ, какъ ордена, только привилегированныя, отдѣльныя личности. „У него есть правила!“ отзываются такимъ голосомъ о комъ-нибудь, какъ будто говорятъ: „у него есть шишка на лбу!“

И—пожалуй—засмѣялись бы надъ тѣмъ, кто вздумалъ бы серьезно настаивать на необходимости развитія и разлитія правилъ въ общественной массѣ и обращеніи ихъ въ принципы—такъ же настоятельно и неотложно, какъ напримѣръ, на необходимости неотложнаго построенія желѣзныхъ дорогъ. И тутъ же не простили бы ему малѣйшаго упущенія въ умственномъ развитіи: если бъ онъ осмѣлился не прочесть послѣдняго французскаго или англійскаго, надѣлавшаго шуму увража, не зналъ бы какой-нибудь новѣйшей политико-экономической аксіомы, послѣдняго фазиса въ политикѣ, или важнаго открытія въ физикѣ!

„Умѣнье жить“ ставятъ въ великую заслугу другъ другу, т. е. умѣнье „казаться“, съ правомъ въ дѣйствительности „не быть“ тѣмъ, чѣмъ надо быть. А умѣньемъ жить называютъ умѣнье—ладить со всѣми, чтобъ было хорошо и другимъ, и самому себѣ, умѣть таить дурное и выставлять что̀ годится — т. е. приводить въ данный моментъ нужныя для этого свойства въ движеніе, какъ трогать клавиши, большею частію—не обладая самой музыкой.

Тушинъ жилъ, не подозрѣвая, что умѣетъ жить, какъ Мольеровскій bourgeois-gentilhomme не подозрѣвалъ, что „говоритъ прозой“, и жилъ одинаково, бывало ли ему отъ того хорошо, или не хорошо. Онъ былъ „человѣкъ“, какъ коротко и вѣрно опредѣлила его умная и проницательная Вѣра.

Все это думалъ Райскій, ѣдучи съ Тушинымъ въ коляскѣ обратно домой, послѣ шестидневнаго пребыванія въ его лѣсной усадьбѣ. „Тушины—наша истинная „партія дѣй-

ствія". наше прочное „будущее", которое выступитъ въ данный моментъ, особенно, когда все это" —оглядываясь кругомъ на поля, на дальнія деревни, рѣшалъ Райскій— „когда все это будетъ *свободно*, когда всѣ миражи, лѣнь и баловство исчезнутъ, уступивъ мѣсто настоящему „дѣлу", множеству „дѣла" у всѣхъ, — когда съ миражами исчезнутъ и добровольные „мученики", тогда явятся на смѣну имъ, „работники", „Тушины" на всей лѣстницѣ общества..."

По впечатлительной натурѣ своей, онъ пристрастился къ этой новой, простой, мягкой, и вмѣстѣ сильной личности. Онъ располагалъ пробыть въ *Дымкѣ* и долѣе. Ему хотѣлось вникнуть въ порядокъ хозяйственнаго механизма Тушина. Онъ едва успѣлъ замѣтить только наружный порядокъ, видѣть бросающіеся въ глаза результаты этого хозяйства, не успѣвъ вникнуть въ самый процессъ его отправленія.

Въ деревнѣ онъ не замѣтилъ пока обыкновенныхъ и повсюдныхъ явленій: безпорядка, слѣдовъ бѣднаго крестьянскаго хозяйства, избъ на курьихъ ножкахъ, кучъ навоза, грязныхъ лужъ, стнившихъ колодцевъ и мостиковъ, нищихъ, больныхъ, пьяныхъ, никакой распущенности.

Когда Райскій выразилъ Тушину удивленіе и удовольствіе, что всѣ строенія глядятъ, какъ новыя, свѣжо, чисто, даже ни одной соломенной кровли нѣтъ, Тушинъ, въ свою очередь, удивился этому удивленію.

— И видно, что вы не деревенскій житель, не хозяинъ, замѣтилъ онъ: — лѣсная усадьба и село, а крыши соломенныя—это даже невыгодно! Лѣсъ свой, какъ же избамъ разваливаться!

Не-хозяйскій глазъ Райскаго не могъ оцѣнить вполнѣ всей хозяйственности, водворенной въ имѣніи Тушина. Онъ замѣтилъ мимоходомъ, что тамъ было что-то въ родѣ исправительной полиціи для разбора мелкихъ дѣлъ у мужиковъ, да заведенія въ родѣ банка, больницы, школы.

*

Тушинъ многое скрадывалъ, совѣстясь „докучать“ гостю своими дѣлами, и спѣшилъ показать ему, какъ артисту, лѣсъ, гордясь имъ, какъ любимымъ дѣломъ.

Видъ лѣса въ самомъ дѣлѣ поразилъ Райскаго. Онъ содержался, какъ паркъ, гдѣ на каждомъ шагу видны слѣды движенія, работъ, ухода и науки. Артель смотрѣла какой-то дружиной. Мужики походили сами на хозяевъ, какъ будто занимались своимъ хозяйствомъ.

— Вѣдь они у меня, и свои, и чужіе, на жалованьѣ, отвѣчалъ Тушинъ на вопросъ Райскаго: — Отчего это? Пильный заводъ показался Райскому чѣмъ-то небывалымъ, по обширности, почти по роскоши строеній, гдѣ удобство и изящество дѣлали его похожимъ на образцовое англійское заведеніе. Машины изъ блестящей стали и мѣди были въ своемъ родѣ образцовыми произведеніями.

Самъ Тушинъ тамъ показался первымъ работникомъ, когда вошелъ въ свою технику, во всѣ мелочи, подробности, лазилъ въ машину, осматривая ее, трогая рукой колеса.

Райскій съ удивленіемъ глядѣлъ, особенно когда они пришли въ контору на заводѣ и когда съ полсотни рабочихъ ввалились въ комнату, съ просьбами, объясненіями, обступили Тушина.

Онъ, пробившись съ ними около часа, вдругъ сконфузился, что бросилъ гостя, и вывелъ его изъ толпы, извиняясь за эти дрязги, и повезъ показывать красивыя мѣста.

Райскій такъ увлекся всей этой новостью дѣла, личностей, этимъ заводомъ, этими массами лѣсного матеріала, отправлявшагося по водамъ до Петербурга и за границу, что рѣшилъ остаться еще недѣлю, чтобы изучить и смыслъ, и механизмъ этого большого дѣла.

Однако ему не удалось остаться долѣе. Татьяна Мар-

ковна вызвала его письмомъ, въ которомъ звала немедленно пріѣхать, написавъ коротко, что „дѣло есть“.

Тушинъ напросился ѣхать съ нимъ, „проводить его“, какъ говорилъ онъ, а въ самомъ дѣлѣ узнать, зачѣмъ вызвала Татьяна Марковна Райскаго: не случилось ли чего-нибудь новаго съ Вѣрой и не нуженъ ли онъ ей опять? Онъ съ тревогой припоминалъ свиданіе свое съ Волоховымъ, и то, какъ тотъ невольно и неохотно далъ отвѣтъ, что уѣдетъ.

„Уѣхалъ ли? не написалъ ли опять къ ней? не встревожилъ ли?“ мучился Тушинъ, ѣдучи въ городъ.

Райскій, воротясь домой, прежде всего побѣжалъ къ Вѣрѣ, и, подъ вліяніемъ свѣжаго впечатлѣнія, яркими красками начертилъ ей портретъ Тушина во весь ростъ и значеніе его въ той сферѣ, гдѣ онъ живетъ и дѣйствуетъ, и вмѣстѣ свое удивленіе и рождающуюся симпатію.

Въ этой простой русской, практической натурѣ, исполняющей призваніе хозяина земли и лѣса, перваго, самаго дюжаго работника между своими работниками, и вмѣстѣ распорядителя и руководителя ихъ судебъ и благосостоянія, онъ видѣлъ какого-то заволжскаго Роберта Овена.

— А ты мнѣ такъ мало говорила о его дѣятельности!... заключилъ онъ.

Вѣра съ радостью слушала Райскаго: у ней появился даже румянецъ. Самая торопливость его передать ей счастливое впечатлѣніе, какое сдѣлалъ на него „медвѣдь“ и его берлога, теплый колоритъ, въ который Райскій окрасилъ фигуру Тушина, осмысливъ его своимъ мѣткимъ анализомъ, яркая картина быта, хозяйства, нравовъ лѣсного угла, всей мѣстности—все это почти увлекло и Вѣру.

Она не безъ гордости видѣла въ этомъ очеркѣ Райскаго косвенную похвалу и себѣ, за то, что тонко оцѣнила и умѣла полюбить въ Тушинѣ—правду простой натуры.

— Братъ, сказала она: — ты рисуешь мнѣ не Ивана

Ивановича: я знаю его давно, — а самого себя. Лучше всего то, что самъ не подозрѣваешь, что выходитъ недурно и твой собственный портретъ. И меня тутъ же хвалишь, что угадала въ Тушинѣ человѣка! Но это не трудно! Бабушка его тоже понимаетъ и любитъ, и всѣ здѣсь...

Она вздохнула, сокрушаясь, кажется, про себя, что не любитъ его больше, иначе...

Онъ хотѣлъ сказать что-то въ отвѣтъ, но за нимъ прислала бабушка и немедленно потребовала его къ себѣ.

— Скажи пожалуйста, Вѣра, спохватился вдругъ Райскій:—зачѣмъ она вызвала меня?...

— Не знаю, что-то есть. Она мнѣ не говоритъ, а я не спрашиваю, но вижу. Боюсь, не опять ли тамъ что-нибудь!... прибавила Вѣра, внезапно охлаждаясь и переходя отъ дружескаго тона къ своей грустной задумчивости.

Въ то время, какъ Райскій уходилъ отъ нея, Тушинъ прислалъ спросить, ее, можетъ ли онъ ее видѣть. Она велѣла просить.

## XIX.

Бабушка выслала Нашутку и заперла дверь кабинета, когда пришелъ Райскій. Сама она была очевидно разстроена. Райскій испугался.

— Не случилось ли чего-нибудь непріятнаго, бабушка? спросилъ онъ, садясь противъ нея.

— Что̀ должно было случиться, то и случилось, печально сказала она, глядя въ сторону.

— Скажите скорѣй, я—какъ на иголкахъ!

— Старый воръ Тычковъ отмстилъ намъ съ тобой! Даже и обо мнѣ гдѣ-то у помѣшанной женщины откопалъ исторію... Да ничего не вышло изъ того... Люди къ прошлому равнодушны—а я сама одной ногой въ гробу и о себѣ не забочусь. Но Вѣра...

Она вздохнула.

— Что̀ такое?

— Ея исторія перестаетъ быть тайной... Въ городѣ ходятъ слухи... шептала Татьяна Марковна съ горечью.- Я сначала не поняла, отчего въ воскресенье, въ церкви, вице-губернаторша два раза спросила у меня о Вѣрѣ— здорова ли она — и двѣ барыни сунулись слушать, что̀ я скажу. Я взглянула кругомъ—у всѣхъ на лицахъ одно: „что̀ Вѣра?“ Была, говорю, больна, теперь здорова. Пошли разспросы, что̀ съ ней? Каково мнѣ было отдѣлываться, заминать! Всѣ замѣтили...

— Ужели что̀-нибудь вышло наружу?

— Настоящая бѣда, слава Богу, скрыта. Я вчера черезъ Тита Никоныча узнала кое-что. Силетня попадаетъ не въ того...

Бабушка отвернулась.

— Въ кого же?

— Въ Ивана Ивановича—это хуже всего. Онъ тутъ ни сномъ, ни духомъ не виноватъ... Помнишь, въ день рожденія Марфиньки—онъ пріѣзжалъ, сидѣлъ тутъ молча, ни съ кѣмъ ни слова не сказалъ, какъ мертвый, и ожилъ, когда показалась Вѣра? Гости видѣли все это. И безъ того давно не тайна, что онъ любитъ Вѣру: онъ не мастеръ таиться. А тутъ замѣтили, что онъ ушелъ съ ней въ садъ, потомъ она скрылась къ себѣ, а онъ уѣхалъ... Знаешь ли, зачѣмъ онъ пріѣзжалъ?

Райскій сдѣлалъ утвердительный знакъ головой.

— Знаешь? Ну—вотъ теперь Вѣра, да Тушинъ у всѣхъ на языкѣ.

— Какъ же я тутъ попалъ? Вы говорите, что Тычковъ и меня припуталъ?

— А тебя приплела Полина Карповна! Въ тотъ вечеръ, какъ ты гулялъ поздно съ Вѣрой, она пошла искать тебя.

Ты что-то ей наговорилъ — должно-быть на-смѣхъ поднялъ — а она поняла по-своему и припутала и тебя! Говоритъ, что ты влюбленъ былъ въ Вѣру, а она будто отбила, „извлекла“ тебя изъ какой-то „пропасти“, изъ обрыва, что-ли! Только это и ладитъ. Что у васъ тамъ такое съ ней было и о чемъ ты секретничалъ съ Вѣрой? Ты, должно-быть, зналъ ея тайны и прежде, давно, а отъ бабушки прятал „ключи!“ Вотъ что и вышло отъ этой вашей „свободы!“

Она вздохнула на всю комнату.

Райскій сжалъ кулаки.

— Мало было этой старой чучелѣ! Завтра я ей дамъ такой сеансъ... сказалъ онъ съ угрозой.

— Нашелъ на комъ спрашивать! На нее нечего пенять, она смѣшна и ей не повѣрили. А тотъ старый сплетникъ узналъ, что Вѣра уходила, въ рожденье Марѳиньки, съ Тушинымъ въ аллею, долго говорила тамъ, а наканунѣ пропадала до ночи и послѣ слегла,—и передѣлалъ разсказъ Полины Карповны по-своему. „Не съ Райскимъ, говоритъ, она гуляла ночью и наканунѣ, а съ Тушинымъ!...“ Отъ него и пошло по городу! Да еще тамъ пьяная баба про меня наплела... Тычковъ все развѣдалъ...

Татьяна Марковна потупила взглядъ въ землю: у ней въ лицѣ показалась на минуту краска.

— А, это другое дѣло! серьезно сказалъ Райскій и началъ въ волненіи ходить по комнатѣ.—Вашъ урокъ не подѣйствовалъ на Тычкова, такъ я повторю его иначе...

— Что ты затѣваешь? Боже тебя сохрани! Лучше не трогай! Ты станешь доказывать, что это не правда и, пожалуй, докажешь. Оно и не мудрено, стоитъ только справиться, гдѣ былъ Иванъ Ивановичъ наканунѣ рожденья Марѳиньки. Если онъ былъ за Волгой, у себя, тогда люди спросятъ, гдѣ же правда?... съ кѣмъ она въ рощѣ была? Тебя Крицкая видѣла на горѣ одного, а Вѣра была...

Татьяна Марковна опустила голову.

Райскій бросился на кресло.

— Что же дѣлать? сказалъ онъ въ тоскѣ за Вѣру.

— Что Богъ дастъ! въ глубокой печали шептала Татьяна Марковна.—Богъ судитъ людей черезъ людей—и пренебрегать ихъ судомъ нельзя! Надо смириться! Видно мѣра еще не исполнилась!...

Опять глубокій вздохъ.

Райскій ходилъ по кабинету. Оба молчали, сознавая каждый про себя затруднительное положеніе дѣла. Общество замѣтило только внѣшніе признаки какой-то драмы въ одномъ углу. Отчужденіе Вѣры, постоянное поклоненіе Тушина, независимость ея отъ авторитета бабушки—оно знало все это и привыкло.

Но къ этому прибавилось какое-то туманное пятно: суетливость Райскаго около Вѣры замѣчена уже была давно, и даже дошла до слуха Ульяны Андреевны, которая и намекнула ему объ этомъ въ свиданіи. Крицкая тоже замѣтила и, конечно, не была скромна на этотъ счетъ. Почтительное поклоненіе Тушина замѣчали всѣ, и не одна Татьяна Марковна прочила его въ женихи Вѣрѣ.

Въ городѣ вообще ожидали двухъ событій: свадьбы Марѳиньки съ Викентьевымъ, что и сбылось — и въ перспективѣ свадьбы Вѣры съ Тушинымъ. А тутъ вдругъ, противъ ожиданія, произошло что-то непонятное. Вѣра явилась на минуту въ день рожденія сестры, не сказала ни съ кѣмъ почти слова и скрылась съ Тушинымъ въ садъ, откуда ушла къ себѣ, а онъ уѣхалъ, не повидавшись съ хозяйкой дома.

Отъ Крицкой узнали о продолжительной прогулкѣ Райскаго съ Вѣрой наканунѣ семейнаго праздника. Послѣ этого Вѣра объявлена была больною, заболѣла и сама Татьяна Марковна, домъ былъ на заперти, никого не принимали.

Райскій ходилъ, какъ угорѣлый, бѣгая отъ всѣхъ: доктора неопредѣленно говорили о болѣзни...

О свадьбѣ ни слуху, ни духу. Отчего Тушинъ не дѣлаетъ предложенія, или если сдѣлалъ, отчего оно не принято? Падало подозрѣніе на Райскаго, что онъ увлекъ Вѣру: тогда — отчего онъ не женится на ней? Общественное мнѣніе неумолимо требовало на судъ—кто правъ, кто виноватъ—чтобы произнести свой приговоръ.

И Татьяна Марковна, и Райскій—чувствовали тяжесть положенія и боялись этого суда—конечно за Вѣру. Вѣра не боялась, да и не знала ничего. Не до того ей было. Ее поглощала своя внутренняя тревога, ея язва—и она всѣ силы свои устремила на ея утоленіе, и пока напрасно.

— Бабушка! вдругъ сказалъ Райскій послѣ долгаго молчанія:—прежде всего надо вамъ самимъ все сказать Ивану Ивановичу. Какъ онъ приметъ эту сплетню: онъ ея герой—онъ и судья, какъ рѣшитъ—такъ и поступите. А его суда не бойтесь. Я теперь знаю его—онъ рѣшитъ правильно. Вѣрѣ онъ зла не пожелаетъ: онъ ее любитъ—я видѣлъ это, хотя мы о ней ни слова не сказали. Онъ мучается ея участью больше, нежели своей. Въ немъ разыгрывается двойная трагедія. Онъ и сюда пріѣхалъ со мной, потому что растревожился вашимъ письмомъ ко мнѣ... конечно за нее. А потомъ ужъ я побываю у Полины Карповны, а можетъ-быть, повидаюсь и съ Тычковымъ...

— Я не хочу, чтобъ ты видѣлся съ Тычковымъ!

— Бабушка, нельзя оставить!...

— Я не хочу, Борисъ! сказала она такъ рѣшительно и строго, что онъ наклонилъ голову и не возразилъ болѣе ни слова.—Ничего хорошаго изъ этого не выйдетъ. Ты сейчасъ придумалъ, что нужно сдѣлать: да, сказать прежде всего Ивану Ивановичу, а потомъ увидимъ, надо ли тебѣ идти къ Крицкой, чтобы узнать отъ нея объ этихъ слухахъ и дать

имъ другой толкъ, или... сказать правду! прибавила она со вздохомъ.—Посмотримъ, какъ приметъ это Иванъ Ивановичъ.—Попроси его ко мнѣ, а Вѣрѣ не говори ни слова. Она ничего не знаетъ—и дай Богъ, чтобъ не узнала!

Райскій ушелъ къ Вѣрѣ, а къ Татьянѣ Марковнѣ, на смѣну ему, явился Тушинъ.

## XX.

Татьяна Марковна внутренно смутилась, когда Тушинъ переступилъ порогъ ея комнаты. Онъ, молча, съ опущенными глазами, поздоровался съ ней, тоже перемогая свою тревогу—и оба въ первую минуту не глядѣли другъ на друга.

Имъ приходилось коснуться взаимной раны, о которой до сихъ поръ не было намека между ними, хотя они взаимно обмѣнивались знаменательными взглядами и понимали другъ друга изъ грустнаго молчанія. Теперь предстояло стать открыто лицомъ къ лицу и говорить.

Оба молчали. Она пока украдкой взглядывала на него и замѣчала перемѣны, какія произошли въ немъ въ эти двѣ-три недѣли: какъ осанка у него стала не такъ горда и бодра, какъ тускло смотритъ онъ въ иныя минуты, какъ стали медленны его движенія. И похудѣлъ онъ, и поблѣднѣлъ.

— Вы отъ Вѣры теперь? спросила она наконецъ. — Какъ вы нашли ее?

— Ничего... она, кажется, здорова... покойна...

Татьяна Марковна вздохнула.

— Какой покой! Ну, пусть ужъ она, а вамъ сколько безпокойства, Иванъ Ивановичъ! тихо проговорила она, стараясь не глядѣть на него.

— Что мои безпокойства! Надо успокоить Вѣру Васильевну.

— Богъ не даетъ, не судьба! Только стала оправляться

она, и я-было отдохнула отъ домашняго горя, пока оно крылось за стѣнами, а теперь перешло и за стѣны...

Тушинъ вдругъ навострилъ уши, какъ будто услышалъ выстрѣлъ.

— Иванъ Ивановичъ, рѣшительно заговорила Татьяна Марковна: —по городу сплетня ходитъ. Мы съ Борюшкой погорячились и сорвали маску съ лицемѣра Тычкова, вы знаете. Мнѣ бы и не подъ лѣта, да онъ ужъ очень зазнался. Терпѣнья не было! Теперь онъ срываетъ маску съ насъ...

— Съ васъ? Съ кого—съ васъ?

— Обо мнѣ онъ что-то мололъ — его не слушали, я мертвая... а о Вѣрѣ...

— О Вѣрѣ Васильевнѣ?

Тушинъ привсталъ.

— Садитесь, Иванъ Ивановичъ, сказала Татьяна Марковна: — да, о ней. Можетъ-быть, такъ и надо... можетъ-быть, это—возмездіе. Но тутъ припутали и васъ...

— Меня, рядомъ съ Вѣрой Васильевной?

— Да, Иванъ Ивановичъ —и вотъ гдѣ истинное наказаніе!

— Позвольте же узнать, что̀ говорятъ?

Татьяна Марковна передала ему слухъ.

— Въ городѣ замѣтили, что у меня въ домѣ неладно: видѣли, что вы ходили съ Вѣрой въ саду, уходили къ обрыву, сидѣли тамъ на скамьѣ, горячо говорили и уѣхали, а мы съ ней были больны, никого не принимали... вотъ откуда вышла сплетня!

Онъ, молча, слушалъ и хотѣлъ что-то сказать, она остановила его.

— Позвольте, Иванъ Ивановичъ, кончить, это не все. Борисъ Павлычъ... вечеромъ, наканунѣ дня рожденія Марѳиньки... пошелъ искать Вѣру...

Она остановилась.

— Что же дальше? спросилъ Тушинъ нетерпѣливо.

— За нимъ потащилась Крицкая: она замѣтила, что Борюшка взволнованъ... У него вырвались какія-то слова о Вѣрочкѣ... Полина Карповна приняла ихъ на свой счетъ. Ей, конечно, не повѣрили—знаютъ ее—и теперь добираются правды, съ кѣмъ была Вѣра, наканунѣ рожденія, въ рощѣ... Со дна этого проклятаго обрыва поднялась туча и покрыла всѣхъ насъ... и васъ тоже.

— Что̀ же про меня говорятъ?

— Что и въ тотъ вечеръ, наканунѣ, Вѣра была тамъ, въ рощѣ, внизу, съ кѣмъ-то... говорятъ, съ вами.

Она замолчала.

— Что же вамъ угодно, чтобъ я сдѣлалъ? спросилъ онъ покорно.

— Надо сказать, что̀ было: правду. Вамъ теперь, рѣшительно заключила Татьяна Марковна,—надо прежде всего выгородить себя: вы были чисты всю жизнь, такимъ должны и остаться... А мы съ Вѣрой, послѣ свадьбы Марѳиньки, тотчасъ уѣдемъ въ Новоселово, ко мнѣ, навсегда... Спѣшите же къ Тычкову и скажите, что васъ не было въ городѣ наканунѣ, и слѣдовательно вы и въ обрывѣ быть не могли...

Она замолчала и грустно задумалась. Тушинъ, сидя, согнулся корпусомъ впередъ и, наклонивъ голову, смотрѣлъ себѣ на ноги.

— А если бъ я не такъ сказалъ?.. вдругъ поднявъ голову, отозвался онъ.

— Какъ знаете, Иванъ Ивановичъ, такъ и рѣшайте. Что̀ другое могли бы вы сказать?

— Я сказалъ бы Тычкову,—да не ему, я съ нимъ и говорить не хочу, а другимъ — что я былъ въ городѣ, потому что это—правда: я не за Волгой былъ, а дня два

пробылъ у пріятеля здѣсь — и сказалъ бы, что я былъ наканунѣ... въ обрывѣ—хоть и это неправда,—съ Вѣрой Васильевной... Прибавилъ бы, что... дѣлалъ предложеніе и получилъ отказъ, что это огорчило меня и васъ, такъ какъ вы были — за меня, и что Вѣра Васильевна сама огорчилась, но что дружба наша отъ этого не разстроилась... Пожалуй, можно намекнуть на какую-нибудь отдаленную надежду... обѣщаніе подумать...

— То-есть, сказала Татьяна Марковна задумчиво:— сказать, что было сватовство, не сладилось... Да! если вы такъ добры... можно и такъ. Но вѣдь не отстанутъ послѣ, будутъ ждать, спрашивать: скоро ли, когда? Обѣщаніе не вѣкъ будетъ обѣщаніемъ...

— Забудутъ, Татьяна Марковна, особенно если вы уѣдете, какъ говорите... А если не забудутъ... и вы съ Вѣрой Васильевной будете все тревожиться... то и принять предложеніе... тихо досказалъ Тушинъ.

Татьяна Марковна измѣнилась въ лицѣ.

— Иванъ Ивановичъ! сказала она съ упрекомъ: — за кого вы насъ считаете съ Вѣрой? Чтобы заставить молчать злые языки, заглушить не сплетню, а горькую правду,— для этого воспользоваться вашей прежней слабостью къ ней и великодушіемъ? И потомъ, чтобъ всю жизнь—ни вамъ, ни ей, не было покоя! Я не ожидала этого отъ васъ!..

— Напрасно! никакого великодушія тутъ нѣтъ! А я думалъ, когда вы разсказывали эту сплетню, что вы за тѣмъ меня и позвали, чтобъ коротко и ясно сказать: „Иванъ Ивановичъ, и ты тутъ запутанъ: выгороди же и себя, и ее вмѣстѣ!“ Вотъ тогда я прямо, какъ Викентьевъ, назвалъ бы васъ бабушкой и сталъ бы на колѣни передъ вами. Да оно бы такъ и должно быть! сказалъ онъ уныло.— Простите, Татьяна Марковна, а у васъ дѣло обыкновенно начинается съ стараго обычая, съ старыхъ правилъ, да

съ справки о томъ, какъ было, да что скажутъ, а собственный умъ и сердце придутъ послѣ. Вотъ, если бъ съ нихъ начать, тогда бы у васъ этой печали не было, а у меня было бы меньше сѣдыхъ волосъ, и Вѣра Васильевна...

Онъ остановился, какъ будто опомнившись.

— Виноватъ! вдругъ понизивъ тонъ, перешедшій въ робость, сказалъ онъ. —Я взялся не за свое дѣло. Рѣшаю и за Вѣру Васильевну,—а вся сила въ ней!

— Вотъ видите, безъ моего „ума и сердца", сами договорились до правды, Иванъ Ивановичъ! Мой „умъ и сердце" говорили давно за васъ, да не судьба! Стало-быть, вы изъ жалости взяли бы ее теперь, а она вышла бы за васъ—опять скажу—ради вашего... великодушія... Того ли вы хотите? Честно ли и правильно ли это и способны ли мы съ ней на такой поступокъ? Вы знаете насъ...

— И честно, и правильно, если она чувствуетъ ко мнѣ, что говоритъ. Она любитъ меня, какъ „человѣка", какъ друга: это ея слова,—цѣнитъ конечно больше, нежели я стою... Это большое счастье! Это вѣдь значитъ, что со временемъ... полюбила бы—какъ добраго мужа...

— Иванъ Ивановичъ, вамъ-то что этотъ бракъ принесъ бы!.. сколько горя!.. Подумайте! Боже мой!

— Я не мѣшаюсь ни въ чьи дѣла, Татьяна Марковна, вижу, что вы убиваетесь горемъ—и не мѣшаю вамъ: зачѣмъ же вы хотите думать и чувствовать за меня? Позвольте мнѣ самому знать, что мнѣ принесетъ этотъ бракъ! вдругъ сказалъ Тушинъ рѣзко.—Счастье на всю жизнь—вотъ что онъ принесетъ! А я, можетъ-быть, проживу еще лѣтъ пятьдесятъ! Если не пятьдесятъ, хоть десять, двадцать лѣтъ счастья!

Онъ почесалъ голову почти съ отчаяніемъ, что эти двѣ женщины не понимаютъ его и не соглашаются отдать ему въ руки то счастье, которое ходитъ около него, усколь-

заетъ, не дается, и въ которое бы онъ вцѣпился своими медвѣжьими когтями и никогда бы не выпустилъ вонъ.

А онѣ не видятъ, не понимаютъ, все еще громоздятъ горы, которыя вдругъ выросли на его дорогѣ и пропали—ихъ нѣтъ больше, онъ одолѣлъ ихъ страшною силою любви и муки!

Ужели даромъ бился онъ въ этой битвѣ и устоялъ на ногахъ, не добывъ погибшаго счастья. Была одна только неодолимая гора: Вѣра любила другого, надѣялась быть счастлива съ этимъ другимъ—вотъ гдѣ настоящій обрывъ! Теперь надежда ея умерла, умираетъ, по словамъ ея („а она никогда не лжетъ и знаетъ себя", подумалъ онъ)—слѣдовательно ничего нѣтъ больше, никакихъ горъ! А онѣ не понимаютъ, выдумываютъ препятствія!

„А ихъ нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!" съ бѣшенствомъ про себя шепталъ Тушинъ—и почти злобно смотрѣлъ на Татьяну Марковну.

— Татьяна Марковна! заговорилъ онъ, вдругъ опять взявъ высокую ноту, горячо и сильно.—Вѣдь если лѣсъ мѣшаетъ идти впередъ, его вырубаютъ, море переплываютъ, а теперь вонъ прорываютъ и горы насквозь, и все идутъ смѣлые люди впередъ! А здѣсь ни лѣса, ни моря, ни горъ—ничего нѣтъ: были стѣны и упали, былъ обрывъ и нѣтъ его! Я бросаю мостъ черезъ него и иду, ноги у меня не трясутся... Дайте же мнѣ Вѣру Васильевну, дайте мнѣ ее! почти кричалъ онъ:—я перенесу ее черезъ этотъ обрывъ и мостъ—и никакой чортъ не помѣшаетъ моему счастью и ея покою—хоть живи она сто лѣтъ! Она будетъ моей царицей и укроется въ моихъ лѣсахъ, подъ моей защитой, отъ всякихъ грозъ и забудетъ всякіе обрывы, хоть бы ихъ были тысячи!! Что это вы не можете понять меня!

Онъ всталъ, вдругъ зажалъ глаза платкомъ, и въ отчаяніи началъ ходить по комнатѣ.

— Я-то понимаю, Иванъ Ивановичъ, тихо, сквозь слезы, сказала Татьяна Марковна, помолчавъ:—но дѣло не во мнѣ...

Онъ вдругъ остановился, отеръ глаза, провелъ рукой по своей густой гривѣ и взялъ обѣ руки Татьяны Марковны.

— Простите меня, Татьяна Марковна, я все забываю главное: ни горы, ни лѣса, ни пропасти не мѣшаютъ— есть одно препятствіе неодолимое: Вѣра Васильевна не хочетъ, стало-быть — видитъ впереди жизнь счастливѣе, нежели со мной...

Изумленная, тронутая Татьяна Марковна хотѣла что-то возразить, онъ остановилъ ее.

— Виноватъ опять! сказалъ онъ: — я не въ ту силу поворотилъ. Оставимъ рѣчь обо мнѣ, я удалился отъ предмета. Вы звали меня, чтобъ сообщить мнѣ о сплетнѣ, и думали, что это обезпокоитъ меня—такъ? Успокойтесь же и успокойте Вѣру Васильевну, увезите ее,—да чтобъ она не слыхала объ этихъ толкахъ! А меня это не обезпокоитъ!

Онъ усмѣхнулся.

— Эта нѣжность мнѣ не къ лицу. На сплетню я плюю, а въ городѣ мимоходомъ скажу, какъ мы говорили сейчасъ, что я сватался и получилъ отказъ, что это огорчило васъ, меня, и весь домъ... такъ какъ я давно надѣялся... *Тотъ* уѣзжаетъ завтра или послѣзавтра навсегда (я ужъ справился),—и все забудется. Я и прежде ничего не боялся, а теперь мнѣ нечѣмъ дорожить. Я все равно, что живу, что нѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ рѣшено, что Вѣра Васильевна не будетъ никогда моей женой...

— Будетъ вашей женой, Иванъ Ивановичъ, сказала Татьяна Марковна, блѣдная отъ волненія:—если... то забудется, отойдетъ... (Онъ сдѣлалъ нетерпѣливый, отчаян-

ный жестъ...) если этотъ обрывъ вы не считаете бездной... Я поняла теперь только, какъ вы ее любите...

Она еще боялась вѣрить слезамъ, стоявшимъ въ глазахъ Тушина, его этимъ простымъ словамъ, которыя возвращали ей всю будущность, спасали погибшую судьбу Вѣры.

— Будетъ? повторилъ и онъ, подступивъ къ ней широкими шагами, и чувствовалъ, что волосы у него поднимаются на головѣ и дрожь бѣжитъ по тѣлу.—Татьяна Марковна! Не маните меня напрасной надеждой, я не мальчикъ! Что̀ я говорю — то̀ вѣрно, но хочу, чтобъ и то, что̀ сказано мнѣ — было вѣрно, чтобы не отняли у меня потомъ! Кто мнѣ поручится, что это будетъ, что Вѣра Васильевна... когда-нибудь...

— Бабушка поручится: теперь — это все равно, что она сама...

Тушинъ блеснулъ на нее благодарнымъ взглядомъ и взялъ ее руку.

— Но погодите, Иванъ Ивановичъ! торопливо, почти съ испугомъ, прибавила она и отняла руку, видя, какъ Тушинъ вдругъ точно выросъ, помолодѣлъ, сталъ чѣмъ былъ прежде.—Теперь я—ужъ не какъ бабушка, а какъ женщина, скажу: погодите, рано, не до того ей! Она еще убита, дайте ей самой оправиться! Не тревожьте, оставьте ее на долго! Она разстроена, не перенесетъ. . Да и не пойметъ васъ, не повѣритъ теперь вамъ, подумаетъ, что вы въ горячкѣ, хотите не выпустить ее изъ рукъ, а потомъ одумаетесь. Дайте ей покой. Вы давича помянули про мой умъ и сердце; вотъ они мнѣ и говорятъ: погоди! Да, я бабушка ей, а не затрону теперь этого дѣла, а вы и подавно... Помните же, что̀ я вамъ говорю...

— Я буду помнить одно слово: „*будетъ*“, и имъ пока

буду жить. Видите ли, Татьяна Марковна, что̀ сдѣлало оно со мной, это ваше слово?...

— Вижу, Иванъ Ивановичъ, и вѣрю, что вы говорите не на вѣтеръ. Оттого и вырвалось у меня это слово; не принимайте его слишкомъ горячо къ сердцу— я сама боюсь...

— Я буду надѣяться... сказалъ онъ тише и смотрѣлъ на нее молящими глазами. — Ахъ, если бъ и я, какъ Викентьевъ, могъ когда-нибудь сказать: „бабушка!“

Она сдѣлала ему знакъ, чтобъ онъ оставилъ ее, и когда онъ вышелъ, она опустилась въ кресла, закрывъ лицо платкомъ.

## XXI.

На другой день Райскій утромъ рано предупредилъ Крицкую запиской, что онъ проситъ позволенія придти къ ней въ половинѣ перваго часа и получилъ въ отвѣтъ: „Charmée, j'attends“ и т. д.

Шторы у ней были опущены, комнаты накурены. Она въ бѣлой кисейной блузѣ, перехваченной поясомъ, съ широкими кружевными рукавами, съ желтой даліей на груди, слегка подрумяненная, встрѣтила его въ своемъ будуарѣ. Тамъ, у дивана, накрытъ былъ столъ, и рядомъ стояли два прибора.

— Мой прощальный визитъ! сказалъ онъ, кланяясь ей и останавливая не ней сладкій взглядъ.

— Какъ прощальный! съ испугомъ перебила она:—я слушать не хочу! Вы ѣдете теперь, когда мы... Не можетъ быть! Вы пошутили: жестокая шутка! Нѣтъ, нѣтъ, скорѣй засмѣйтесь, возьмите назадъ ужасныя слова!...

— Что̀ это у васъ? радостно произнесъ онъ, вдругъ уставивъ глаза на столъ:—свѣжая икра!

Она сунула свою руку ему подъ руку и подвела къ

столу, на которомъ стоялъ полный, обильный завтракъ. Онъ оглядывалъ одно блюдо за другимъ. Въ двухъ хрустальныхъ тарелкахъ была икра.

— Я знаю, что вы любите... да, любите...

— Икру? Даже затрясся весь, какъ увидалъ! А это что? съ новымъ удовольствіемъ заговорилъ онъ, приподнимая крышки серебряныхъ блюдъ, одну за другой.—Какая вы кокетка, Полина Карповна: даже котлетки безъ папильотокъ не можете кушать! Ахъ, и трюфли—*роскошь юныхъ лѣтъ!*—petit-fours, bouchées de dames! Ахъ! что вы хотите со мной дѣлать? обратился онъ къ ней, потирая отъ удовольствія руки.—Какіе замыслы у васъ?

— Вотъ, вотъ чего я жду: этой улыбки, шутки, смѣха—да! Не поминайте объ отъѣздѣ. Прочь печаль! Vive l'amour et la joie.

„Эге! какой „abandon!"—даже страшновато..." подумалъ онъ опасливо.

— Садитесь, сядемъ рядомъ, сюда! пригласила она, и взявъ его за руку, усадила рядомъ съ собой, шаловливо завѣсивъ его салфеткой, какъ дѣлаютъ съ дѣтьми и стариками.

Онъ машинально повиновался, съ вожделѣніемъ поглядывая на икру. Она подвинула ему тарелку, и онъ принялся удовлетворять утренній, свѣжій аппетитъ. Она сама положила ему котлетку и налила шампанскаго въ граненый стаканъ, а себѣ въ бокалъ, и кокетливо брала въ ротъ маленькіе кусочки пирожнаго, любуясь имъ.

Послѣ жареной дичи и двухъ стакановъ шампанскаго, при чемъ они чокались, глядя близко другъ другу въ глаза, — она лукаво и нѣжно, онъ — вопросительно, и отчасти боязливо, они наконецъ прервали молчаніе.

— Что вы скажете? спросила она выразительно, будто ожидая чего-то особеннаго.

— Ахъ, какая икра! Я еще опомниться не могу!

— Вижу... вижу, сказала она лукаво. — Снимите маску, полноте притворяться...

— Ахъ! вздохнулъ онъ, отпивая изъ стакана.

— Enfin la glace est rompue? На чьей сторонѣ побѣда? Кто предвидѣлъ, кто предсказывалъ? A votre santé!

— A la vôtre!

Они чокнулись.

— Помните... тотъ вечеръ, когда „природа, говорили вы, празднуетъ любовь...“

— Помню! шепнулъ онъ мрачно:—онъ рѣшилъ все!..

— Да, не правда ли? я знала! Могла ли удержать въ своихъ слабыхъ сѣтяхъ бѣдная дѣвочка... une nullité, cette pauvre petite fille, qui n'a que sa figure?.. Ни опытности, ни блеска, дикая!..

— Нѣтъ, не могла! Я вырвался...

— И нашли то... что̀ давно искали: признайтесь!

Онъ медлилъ.

— Buvez—et du courage!

Она придвинула ему стаканъ. Онъ допилъ его, она сейчасъ наполнила его опять.

— Признайтесь...

— Признаюсь.

— Что̀ тогда случилось тамъ... въ рощѣ?.. Вы были такъ взволнованы. Скажите... ударъ?..

— Да, ударъ и... разочарованіе.

— Могло ли быть иначе: вы—и она, деревенская дѣвочка!

Она гордо оправилась, взглянула на себя въ зеркало и выправила кружево на рукавахъ.

— Что же тамъ было? спросила она, стараясь придать небрежность тону.

— Это не моя тайна! сказалъ онъ, будто опомнившись.

— Oh, je respecte les secrets de famille... Пейте же!

Она придвинула стаканъ. Онъ отпилъ глотка два.

— Ахъ! вздохнулъ онъ на всю комнату.—Нельзя ли отворить форточку?.. Мнѣ тяжело, больно!

— Oh, je vous comprends! Она бросилась отворять форточку.—Voilà des sels, du vinaigre de toilette...

— Нѣтъ, благодарю! говорилъ онъ, махая платкомъ себѣ въ лицо.

— Какъ вы были тогда страшны? Я кстати подоспѣла, не правда ли! Можетъ-быть, безъ меня вы воротились бы въ пропасть, на дно обрыва! Что̀ тамъ было, въ рощѣ?... а?

— Ахъ, не спрашивайте!

— Buvez donc!

Онъ лѣниво-отпилъ глотокъ.

— Тамъ, гдѣ я думалъ... говорилъ онъ, будто про себя:—найти счастье... я услыхалъ...

— Что̀? шопотомъ спросила она, притаивъ дыханіе.

— Ахъ! шумно вздохнулъ онъ:—отворить бы двери!

— Тамъ былъ... Тушинъ—да?

Онъ, молча, кивнулъ головой и выпилъ глотокъ вина.

Злая радость наполнила черты ея лица.

— Dites tout.

— Она гуляла задумчиво одна... тихо говорилъ онъ, а Полина Карповна, играя цѣпочкой его часовъ, подставляла свое ухо къ его губамъ.—Я шелъ по ея слѣдамъ, хотѣлъ наконецъ допроситься у ней отвѣта... она сошла нѣсколько шаговъ съ обрыва, какъ вдругъ навстрѣчу ей вышелъ...

— Онъ?

— Онъ.

— Я это знала, оттого и пошла въ садъ... О, я знала, qu'il y a du louche! что же онъ?

— Здравствуйте, говоритъ, Вѣра Васильевна! здоровы-ли вы?...

— Лицемѣръ! сказала Крицкая.

— Она испугалась...

— Притворно!

— Нѣтъ, испугалась непритворно, а я спрятался—и слушаю. „Откуда вы? спрашиваетъ она: какъ сюда попали?“ „Я, говоритъ, сегодня пріѣхалъ на два дня, чтобы завтра, въ день рожденья вашей сестры... Я выбралъ этотъ день...

— Eh bien?

— Eh bien! „рѣшите, говоритъ, Вѣра Васильевна: жить мнѣ, или нѣтъ!“

— Ou le sentiment va-t-il se nicher!—въ этомъ дубѣ! замѣтила Полина Карповна.

— „Иванъ Ивановичъ!“ сказала Вѣра умоляющимъ голосомъ. „Вѣра Васильевна!“ перебилъ онъ: „рѣшите, идти мнѣ завтра къ Татьянѣ Марковнѣ и просить вашей руки, или кинуться въ Волгу?...“

— Такъ и сказалъ?

— Какъ напечаталъ!

— Mais il est ridicule! что же она: „ахъ, охъ?!“

— „Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, дайте мнѣ—(это она говоритъ)—самой рѣшить, могу ли я отвѣчать вамъ такимъ же полнымъ, глубокимъ чувствомъ, какое питаете вы ко мнѣ. Дайте полгода, годъ срока, и тогда я скажу—или *нѣтъ*, или то *да*, какое...“ Ахъ! какая духота у васъ здѣсь! нельзя ли сквозного вѣтра? („не будетъ-ли сочинять? кажется, довольно?“) подумалъ Райскій и взглянулъ на Полину Карповну.

На лицѣ у ней было полнѣйшее разочарованіе.

— C'est tout? спросила она.

— Oui! сказалъ онъ со свистомъ.—Тушинъ однако не потерялъ надежду, сказалъ, что на другой день, въ рожденье Марѳиньки, пріѣдетъ узнать ея послѣднее слово и пошелъ опять съ обрыва черезъ рощу, а она проводила его...

Кажется, на другой день надежды его подогрѣлись, а мои исчезли навсегда...

— И все! А тутъ, Богъ знаетъ, что̀ наговорили... и про нее, и про васъ! Не пощадили даже и Татьяну Марковну, эту почтенную, можно сказать, святую!... Какіе есть на свѣтѣ ядовитые языки!... Этотъ отвратительный Тычковъ...

— Что̀ такое про бабушку? спросилъ тихо Райскій, въ свою очередь, притаивъ дыханіе и навостривъ ухо.

Онъ слышалъ отъ Вѣры намекъ на любовь, слышалъ кое-что отъ Василисы, но у какой женщины не было своего романа? Что̀ могли воскресить изъ праха за сорокъ лѣтъ? какую-нибудь ложь, сплетню? Надо узнать— и такъ или иначе—зажать ротъ Тычкову.

— Что̀ такое про бабушку? тихо и вкрадчиво повторилъ онъ.

— Ah, c'est dégoutant. Никто не вѣритъ, всѣ смѣются надъ Тычковымъ, что онъ унизился разспрашивать помѣшавшуюся отъ пьянства нищую... Я не стану повторять...

— Я васъ прошу... нѣжно шепталъ онъ.

— Вы хотите? шептала и она, склонясь къ нему:—я все сдѣлаю—все...

— Ну, ну?... торопилъ онъ.

— Эта баба—вонъ она тутъ на паперти у Успенья всегда стоитъ—разсказывала, что будто Титъ Никонычъ любилъ Татьяну Марковну, а она его...

— Я это знаю, слышалъ... нетерпѣливо перебилъ онъ:—тутъ еще бѣды нѣтъ...

— А за нее сватался покойный графъ Сергѣй Иванычъ...

— Знаю и это, она не хотѣла—онъ женился на другой, а ей не позволили выйти за Тита Никоныча. Вотъ и вся исторія. Ее Василиса знаетъ...

— Mais non! не все тутъ... Конечно, я не вѣрю... это быть не можетъ! Татьяна Марковна!

— Что же пьяная баба еще разсказываетъ? допытывался Райскій.

— Что... въ одну ночь графъ подстерегъ rendez-vous Татьяны Марковны съ Ватутинымъ въ оранжереѣ... Но такое рѣшительное rendez-vous... Нѣтъ, нѣтъ... Она закатилась смѣхомъ.—Татьяна Марковна! Кто повѣритъ!

Райскій вдругъ сталъ серьезно слушать. У него проснулись какія-то соображенія въ головѣ и захватило духъ отъ этой сплетни.

— Дальше? тихо спросилъ онъ.

— Графъ далъ пощечину Титу Никонычу...

— Это ложь! вскочивъ съ мѣста, перебилъ Райскій:— Титъ Никонычъ джентльменъ... Онъ не вынесъ бы этого...

— И я говорю „ложь!“ проворно согласилась Крицкая.—Онъ и не вынесъ... продолжала она:—онъ сбилъ съ ногъ графа, душилъ его за горло, схватилъ откуда-то между цвѣтами кривой, садовничій ножъ, и чуть не зарѣзалъ его...

Райскій измѣнился въ лицѣ.

— Ну? спросилъ онъ, едва дыша отъ нетерпѣнія.

— Татьяна Марковна остановила его за руку: „ты, говоритъ, дворянинъ, а не разбойникъ — у тебя есть шпага!“ и развела ихъ. Драться было нельзя, чтобъ не огласить ее. Соперники дали другъ другу слово: графъ— молчать обо всемъ, а тотъ — не жениться... Вотъ отчего Татьяна Марковна осталась въ дѣвушкахъ... Не подло ли распускать такую... гнусную клевету!

Райскій отъ волненія вздохнулъ всей грудью.

— Видите, что это... ложь! сказалъ онъ: — кто могъ видѣть и слышать ихъ?

— Садовникъ спалъ тамъ гдѣ-то въ углу, и будто все

видѣлъ и слышалъ. Онъ молчалъ, боялся, былъ крѣпостной... А эта пьяная баба, его вдова, отъ него слышала—и болтаетъ... Разумѣется, вздоръ—кто повѣритъ! я первая говорю: ложь, ложь! эта святая, почтенная Татьяна Марковна!... Крицкая закатилась опять смѣхомъ и вдругъ сдержалась.—Но что съ вами? Allons donc, oubliez tout! Vive la joie! сказала она.—Что вы нахмурились? перестаньте. Я велю еще подать вина!

— Нѣтъ, нѣтъ, я боюсь...

— Чего, скажите!... томно спросила она.

— Дурно сдѣлается... я не привыкъ пить! — сказалъ онъ и всталъ съ мѣста. И она встала.

— Прощайте, навсегда...

— Куда! Нѣтъ, нѣтъ!

— Я бѣгу отъ этихъ опасныхъ мѣстъ, отъ обрывовъ, отъ пропастей!... Прощайте, прощайте!...

Онъ схватилъ шляпу и быстро ушелъ. Она осталась, какъ окаменѣлая, потомъ проворно позвонила.

— Коляску мнѣ! сказала она вошедшей дѣвушкѣ: —и одѣваться—я ѣду съ визитами!

Райскій вышелъ отъ нея, и все вылетѣло у него изъ головы: осталась—одна „сплетня!“ Онъ чувствовалъ въ разсказѣ пьяной бабы—въ этой сплетнѣ—истину...

У него въ рукахъ былъ ключъ отъ прошлаго, отъ всей жизни бабушки.

Ему ясно все: отчего она такая? откуда эта нравственная сила, практическая мудрость, знаніе жизни, сердца? отчего она такъ скоро овладѣла довѣріемъ Вѣры и успокоила ее, а сама такъ взволновалась? И Вѣра, должно-быть, знаетъ все...

Образъ старухи сталъ передъ нимъ во всей полнотѣ.

Думая только дать другое направленіе слухамъ о Вѣрѣ, о себѣ и о Тушинѣ, онъ нечаянно наткнулся на забытую,

но живую страницу своей фамильной хроники, другую драму, не опасную для ея героевъ—ей минула сорокалѣтняя давность, но глубоко поглотившую его самого.

Онъ понялъ теперь бабушку. Онъ вошелъ къ ней съ замирающимъ отъ волненія сердцемъ, забылъ отдать отчетъ о томъ, какъ онъ передалъ Крицкой разсказъ о прогулкѣ Вѣры въ обрывѣ, и впился въ нее жадными глазами.

— Борюшка! съ изумленіемъ сказала она, отступая отъ него:—что это, другой мой—отъ тебя, какъ изъ бочки, виномъ разитъ...

Она посмотрѣла на него съ минуту пристально, увидѣла этотъ его, вонзившійся въ нее, глубоко выразительный взглядъ, сама взглянула-было вопросительно—и вдругъ отвернулась къ нему спиной.

Она поняла, что онъ узналъ „сплетню“ о ней самой.

## XXII.

Наконецъ совершилась и свадьба Марѳиньки съ Викентьевымъ, противъ общаго ожиданія, очень скромно. Приглашено было на нее только высшее общество города и нѣсколько окрестныхъ помѣщиковъ, что̀, однако, составило человѣкъ пятьдесятъ.

Вѣнчали ихъ въ сельской церкви, послѣ обѣдни въ воскресенье, и потомъ гостямъ предложенъ былъ парадный завтракъ, въ большой залѣ стараго дома, которую передъ тѣмъ за недѣлю мыли, чистили, скребли, чтобъ отпировать въ ней въ послѣдній разъ.

Ни разливаннаго моря, ни разгоряченныхъ лицъ и развязныхъ языковъ, ни радостныхъ кликовъ не было. Пуще всего разочарована была дворня этой скромностью, хотя люди и успѣли напиться, но не до потери смысла, и по этой причинѣ признали свадьбу невеселою.

Барыня обнаружила тутъ свою обычную предусмотрительность, чтобы не перепились ни кучера, ни повара, ни лакеи. Всѣ они были нужны: одни готовить завтракъ, другіе служить при столѣ, а третьи—отвезти параднымъ поѣздомъ молодыхъ и всю свиту до переправы черезъ рѣку. Передъ тѣмъ тоже было работы не мало. Цѣлую недѣлю возили приданое за Волгу: гардеробъ, вещи, множество цѣнныхъ предметовъ изъ стараго дома—словомъ, цѣлое имущество.

Марѳинька сіяла какъ херувимъ — красотой, всей прелестью расцвѣтшей розы, и въ этотъ день явилась въ ней новая черта, новый смыслъ въ лицѣ, новое чувство, выражавшееся въ задумчивой улыбкѣ и въ висѣвшихъ иногда на рѣсницахъ слезахъ.

Сознаніе новой жизни, даль будущаго, строгость долга, моментъ торжества и счастья — все придавало лицу и красотѣ ея нѣжную, трогательную тѣнь. Женихъ былъ скроменъ, почти робокъ: пропала его рѣзвость, умолкли шутки, онъ былъ растроганъ. Бабушка задумчиво-счастлива. Вѣра непроницаема и блѣдна.

Райскій, съ умиленіемъ брата, смотрѣлъ на невѣсту, и когда она вышла изъ своей комнаты, совсѣмъ одѣтая, онъ сначала ахнулъ отъ восторга, потомъ испугался, замѣтивъ въ ея свадебномъ, померанцевомъ букетѣ нѣсколько сухихъ, увядшихъ цвѣтковъ.

— Что это? спросилъ онъ торопливо, самъ уже догадываясь.

— Это изъ Вѣрочкина букета, который она мнѣ подарила въ день моего рожденія, сказала она наивно.

Райскій уговорилъ ее вынуть ихъ, и самъ проворно помогалъ вытаскивать, сославшись на какую-то, тутъ же изобрѣтенную имъ, дурную примѣту.

Затѣмъ все прошло благополучно, включая и рыданія

молодой, которую буквально оторвали отъ груди бабушки— но это были тоже благополучныя рыданія.

И сама бабушка едва выдержала себя. Она была блѣдна: видно было, что ей стоило необычайныхъ усилій устоять на ногахъ, глядя съ берега на уплывающую буквально— отъ нея дочь, такъ долго покоившуюся на ея груди, рукахъ и колѣняхъ.

Она залилась только слезами дома, когда почувствовала, что объятія ея не опустѣли, что въ нихъ страстно бросилась Вѣра, и что вся ея любовь почти безраздѣльно принадлежитъ этой другой, сознательной, созрѣлой дочери—ставшей такою путемъ горькаго опыта.

Тушинъ не уѣхалъ къ себѣ послѣ свадьбы. Онъ остался у пріятеля въ городѣ. На другой же день онъ явился къ Татьянѣ Марковнѣ съ архитекторомъ. И всякій день они разсматривали планы, потомъ осматривали оба дома, садъ, всѣ службы, совѣщались, чертили, высчитывали, соображая радикальныя передѣлки на будущую весну.

Изъ стараго дома было вынесено все цѣнное, мебель, картины, даже болѣе уцѣлѣвшіе паркеты, и помѣщено, частью въ новомъ домѣ, частью въ обширныхъ кладовыхъ, и даже на чердакахъ.

Татьяна Марковна съ Вѣрой собирались уѣхать въ Новоселово, потомъ гостить къ Викентьевымъ. Весну и лѣто приглашалъ ихъ обѣихъ Тушинъ провести у Анны Ивановны, своей сестры, въ его „Дымкѣ“.

На это Татьяна Марковна со вздохомъ отвѣчала:—Не знаю, Иванъ Ивановичъ! Обѣщать навѣрное боюсь, но и не отказываю: что̀ Богъ дастъ! Какъ Вѣра!...

Тушинъ все-таки, на всякій случай, съ тѣмъ же архитекторомъ, немедленно занялся соображеніями объ отдѣлкѣ дома, для пріема и помѣщенія дорогихъ гостей,

Райскій перешелъ изъ стараго дома опять въ новый, въ свои комнаты. Козловъ переѣхалъ къ себѣ, съ тѣмъ, однако, чтобъ послѣ отъѣзда Татьяны Марковны съ Вѣрой, поселиться опять у нея въ домѣ. Тушинъ звалъ его къ себѣ, просвѣщать свою колонію, начиная съ него самого. Козловъ почесалъ голову, подумалъ и вздохнулъ, глядя—на московскую дорогу.

— Послѣ, зимой... говорилъ онъ:—а теперь я жду...

Онъ не договорилъ и задумался. А онъ ждалъ отвѣта на свое письмо къ женѣ. Ульяна Андреевна недавно написала къ хозяйкѣ квартиры, чтобы ей прислали... теплый салопъ, оставшійся дома, и дала свой адресъ, а о мужѣ не упомянула. Козловъ самъ отправилъ салопъ, и написалъ ей горячее письмо—съ призывомъ, говорилъ о своей дружбѣ, даже о любви...

Бѣдный! Отвѣта не было. Онъ началъ понемногу посѣщать гимназію, но на урокахъ впадалъ въ уныніе, былъ разсѣянъ, не замѣчалъ шутокъ, шалостей своихъ учениковъ, не знавшихъ жалости и пощады къ его горю и видѣвшихъ въ немъ только „смѣшного“.

За отсутствіемъ Татьяны Марковны, Тушинъ вызвался быть хозяиномъ Малиновки. Онъ называлъ ее своей зимней квартирой, предполагая ѣздить каждую недѣлю, завѣдывать домомъ, деревней и прислугой, изъ которой только Василиса, Егоръ, поваръ и кучеръ уѣзжали съ барыней въ Новоселово. Прочіе всѣ оставались на мѣстѣ, на своемъ положеніи. Якову и Савелью поручено было состоять въ распоряженіи Тушина.

Райскій докончилъ портретъ бабушки и Вѣры, а Крицкой, на неконченномъ портретѣ, придѣлалъ только желтую далію на груди. Черезъ недѣлю послѣ свадьбы онъ объявилъ, что ѣдетъ черезъ два дня.

— Егоръ, принеси чемоданъ съ чердака, готовь платье и бѣлье: я ѣду.

На этотъ разъ повѣрилъ и Егоръ. Собирая платье, бѣлье и обувь, онъ нашелъ, что три, четыре тонкихъ рубашки ужъ не очень новы, и потому конфисковалъ ихъ въ свою пользу, такъ же какъ и лишнія, по его мнѣнію, панталоны, жилетъ и пару ботинокъ, съ стоптаннымъ каблукомъ.

Всѣхъ печальнѣе былъ Титъ Никонычъ. Прежде онъ послѣдовалъ бы за Татьяной Марковной на край свѣта, но послѣ „сплетни", по крайней мѣрѣ вскорѣ, было бы не совсѣмъ ловко ѣхать съ нею. Это могло подтвердить старую исторію, хотя ей, частію не повѣрили, а частію забыли о ней, потому что живыхъ свидѣтелей, кромѣ полупомѣшанной бабы, никого не было.

Татьяна Марковна, однако, разрѣшила ему пріѣхать къ ней на праздникъ Рождества, и тамъ, смотря по обстоятельствамъ, пожалуй, и остаться. Онъ вздохнулъ немного отраднѣе и обрадовался предложенію Тушина погостить до тѣхъ поръ у него.

Сплетня о Вѣрѣ вдругъ смолкла, или перешла опять въ ожиданіе о томъ, что она будетъ объявлена невѣстой Тушина, на котораго все и обрушилось, послѣ завтрака Райскаго у Крицкой, между прочимъ и догадка о ея прогулкѣ съ нимъ на днѣ обрыва.

Но ни Тушинъ, ни Вѣра, ни сама Татьяна Марковна, послѣ ея разговора съ первымъ, не обмѣнялись ни однимъ словомъ объ этомъ. Туманное пятно оставалось пятномъ, не только для общества, но для самихъ дѣйствующихъ лицъ, т. е. для Тушина и бабушки.

Какъ ни велика была надежда Татьяны Марковны на дружбу Вѣры къ нему и на свое вліяніе на нее, но втайнѣ у ней возникли нѣкоторыя опасенія. Она разсчитывала на послушаніе Вѣры—это правда, но не на слѣпое повиновеніе своей воли. Этого она и не хотѣла, и не взялась бы дѣйствовать на волю.

Она разсчитывала на покорность самого сердца: ей казалось невозможнымъ, любя Ивана Ивановича, какъ человѣка, какъ друга, не полюбить его какъ мужа, но чтобъ полюбить такъ, надо прежде выйти замужъ, т. е. начать прямо съ цѣли.

Она угадывала состояніе Вѣры и рѣшила, что теперь рано, нельзя. Но придетъ ли когда-нибудь пора, что Вѣра успокоится? Она слишкомъ своеобразна, судить ее по другимъ нельзя.

Отъ этого Татьяна Марковна втайнѣ немного боялась и хмурилась, когда до нея доходили слишкомъ опредѣленные городскіе слухи и предположенія о бракѣ Вѣры съ Тушинымъ, какъ о дѣлѣ рѣшенномъ.

Одна Вѣра ничего этого не знала, не подозрѣвала и продолжала видѣть въ Тушинѣ прежняго друга, оцѣнивъ его еще больше съ тѣхъ поръ, какъ онъ явился во весь ростъ надъ обрывомъ, и мужественно перенесъ свое горе, съ прежнимъ уваженіемъ и симпатіей протянулъ ей руку, показавшись въ одинъ и тотъ же моментъ и добрымъ, и справедливымъ, и великодушнымъ—по своей природѣ, чего братъ Райскій, болѣе его развитой и образованный, достигалъ такимъ мучительнымъ путемъ.

## XXIII.

Наканунѣ отъѣзда, въ комнатѣ у Райскаго, развѣшено и разложено было платье, бѣлье, обувь и другія вещи, а столъ загроможденъ былъ портфёлями, рисунками, тетрадями, которые онъ готовился взять съ собой. Въ два-три послѣдніе дня передъ отъѣздомъ, онъ собралъ и пересмотрѣлъ опять всѣ свои литературные матеріалы, и между прочимъ отобранные имъ изъ программы романа тѣ листки, гдѣ набросаны были замѣтки о Вѣрѣ.

— Попробую, начну здѣсь, на мѣстѣ дѣйствія! сказалъ онъ себѣ ночью, которую въ послѣдній разъ проводилъ подъ роднымъ кровомъ—и сѣлъ за письменный столъ.—Хоть одну главу напишу! А потомъ, вдалекѣ, когда отодвинусь отъ этихъ лицъ, отъ своей страсти, отъ всѣхъ этихъ драмъ и комедій,—картина ихъ виднѣе будетъ издалека. Даль одѣнетъ ихъ въ лучи поэзіи; я буду видѣть одно чистое созданіе творчества, одну свою статую, безъ примѣси реальныхъ мелочей... Попробую!...

## *ВѢРА.*

*Романъ...*

Онъ остановился надъ вопросомъ: во сколькихъ частяхъ? „Одинъ томъ—это не романъ, а повѣсть", думалъ онъ. „Въ двухъ или трехъ: въ трехъ—пожалуй, года три пропишешь! Нѣтъ, довольно двухъ!" И онъ написалъ: „*Романъ въ двухъ частяхъ*".

— Теперь эпиграфъ: онъ давно готовъ! шепнулъ онъ и написалъ прямо изъ памяти слѣдующее стихотвореніе Гейне, и подъ нимъ переводъ, сдѣланный недавно:

Nun ist es Zeit, dass ich mit Verstand
Mich aller Thorheit entled'ge,
Ich hab' so lang, als ein Komödiant
Mit dir gespielt die Komödie.

Die prächt'gen Coulissen, sie waren bemalt
Im hoch romantischen Stile,
Mein Rittermantel hat goldig gestrahlt,
Ich fühlte die feinsten Gefühle.

Und nun ich mich gar säuberlich
Des tollen Tands entled'ge:
Noch immer elend fühle ich mich,
Als spielt' ich noch immer Komödie.

Ach, Gott! im Scherz und unbewusst
Sprach ich, was ich gefühlet:
Ich hab, mit dem Tod in der eignen Brust
Den sterbenden Fechter gespielet!

———

Довольно! Пора мнѣ забыть этотъ вздоръ!
Пора воротиться къ разсудку!
Довольно съ тобой, какъ искусный актеръ,
Я драму разыгрывалъ въ шутку.

Расписаны были кулисы пестро,
Я такъ декламировалъ страстно;
И мантіи блескъ, и на шляпѣ перо,
И чувство—все было прекрасно!

Теперь же, хоть бросилъ я это тряпье,
Хоть нѣтъ театральнаго хламу,
Все такъ же болитъ еще сердце мое,
Какъ будто играю я драму.

И что за поддѣльную боль я считалъ,
То боль оказалась живая—
О, Боже, я раненый на смерть—игралъ,
Гладіатора смерть представляя!

Онъ перечиталъ, потомъ вздохнулъ и, положивъ локти на столъ, подперъ руками щеки и смотрѣлъ на себя въ зеркало. Онъ съ грустью видѣлъ, что сильно похудѣлъ, что прежнихъ живыхъ красокъ, подвижности въ чертахъ, не было. Слѣды молодости и свѣжести стерлись до конца. Не даромъ ему обошлись эти полгода. Вонъ и сѣдые волосы сильно серебрятся. Онъ приподнялъ рукой густыя пряди черныхъ волосъ, и тоже не безъ грусти видѣлъ, что они рѣдѣютъ, что ихъ темный колоритъ мѣшается съ бѣлымъ.

— Да: *раненый на смерть — игралъ гладіатора смерть!*... шепнулъ онъ со вздохомъ и, взявъ перо, хотѣлъ писать.

Въ это время вошелъ Егоръ спросить, въ которомъ часу будить его. Райскій махнулъ ему рукой, чтобъ оставилъ

его, сказавъ, что будить не надо, что онъ встанетъ самъ, а можетъ-быть и вовсе не ляжетъ, потому что у него много „дѣла“.

Егоръ за ужиномъ пересказалъ это дѣвушкамъ, прибавивъ, что баринъ собирается, должно-быть, опять „чудить“ ночью, какъ бывало въ началѣ осени.

— Это очень занятно, заключилъ онъ: —жалко, а иной разъ и страшно станетъ!

Райскій написалъ подъ эпиграфомъ:

## *ПОСВЯЩЕНІЕ.*

Потомъ подумалъ, прошелся раза три по комнатѣ и вдругъ сѣлъ и началъ писать.

„Женщины! вами вдохновленъ этотъ трудъ“, проворно писалъ онъ: —„вамъ и посвящается! Примите благосклонно. Если его встрѣтитъ вражда, лукавые толки, недоразумѣнія—вы поймете и оцѣните, что̀ водило моими чувствами, моей фантазіей и перомъ! Отдаю, и свое созданіе, и себя самого, подъ вашу могущественную защиту и покровительство! Отъ васъ только и ожидаю... „наградъ“—написалъ онъ и, зачеркнувъ, поставилъ: „снисхожденія“.

„Долго ходилъ я, какъ юродивый, между вами, съ Діогеновскимъ фонаремъ“, писалъ онъ дальше—„отыскивая въ васъ черты нетлѣнной красоты для своего идеала, для своей статуи! Я одолѣвалъ всѣ преграды, переносилъ всѣ муки (вѣдь непремѣнно будутъ преграды и муки — безъ этого нельзя: „*въ болѣзняхъ имаши родити чадо*, сказано“ — подумалъ онъ)—и все шелъ своимъ путемъ, къ своему созданію. Рядомъ съ красотой—видѣлъ ваши заблужденія, страсти, паденія, падалъ самъ, увлекаясь вами, и вставалъ опять, и все звалъ васъ, на высокую гору, искушая—не дьявольской заманкой, не царствомъ

суеты, звалъ именемъ другой силы на путь совершенствованія самихъ себя, а съ собой и насъ: дѣтей, отцовъ, братьевъ, мужей и... друзей вашихъ!

„Вдохновляясь вашей лучшей красотой, вашей неодолимой силой—женской любовью—я слабой рукой писалъ женщину, съ надеждой, что вы узнаете въ ней хоть блѣдное отраженіе — не однихъ вашихъ взглядовъ, улыбокъ, красоты формъ, граціи, но и вашей души, ума, сердца—всей прелести вашихъ лучшихъ силъ!

„Не манилъ я васъ въ глубокую бездну учености, ни на грубый, не женскій трудъ, не входилъ съ вами въ споры о правахъ, отдавая вамъ первенство безъ спора. Мы не равны: вы выше насъ, вы сила, мы ваше орудіе. Не отнимайте у насъ, говорилъ я вамъ, ни сохи, ни заступа, ни меча изъ рукъ. Мы взроемъ вамъ землю, украсимъ ее, спустимся въ ея бездны, переплывемъ моря, пересчитаемъ звѣзды, — а вы, рождая насъ, берегите, какъ Провидѣніе, наше дѣтство и юность, воспитывайте насъ честными, учите труду, человѣчности, добру и той любви, какую Творецъ вложилъ въ ваши сердца—и мы твердо выпесемъ битвы жизни и пойдемъ за вами вслѣдъ туда, гдѣ все совершенно, гдѣ—вѣчная красота!

„Время сняло съ васъ много оковъ, наложенныхъ лукавой и грубой тираніей: сниметъ и остальныя, дастъ просторъ и свободу вашимъ великимъ, соединеннымъ силамъ ума и сердца—и вы открыто пойдете своимъ путемъ и употребите эту свободу лучше, нежели мы употребляемъ свою!

„Отбросьте же хитрость—это орудіе слабости—и всѣ ея темные, ползучіе ходы и цѣли...“

Онъ остановился, подумалъ, подумалъ—и зачеркнулъ послѣднія двѣ строки.—Кажется, я грубости началъ говорить! шепталъ онъ. — А Титъ Никонычъ учитъ дѣлать

дамамъ только однѣ „пріятности“. Послѣ посвященія онъ крупными буквами написалъ:

## *ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.*

### *Глава I.*

Онъ всталъ и, потирая руки, началъ скоро ходить по комнатѣ, вдумываясь въ первую главу, какъ, съ чего начать, что̀ въ ней сказать.

Походивъ полчаса, онъ умѣрилъ шагъ, будто боролся мысленно съ трудностями. Шагъ становился все тише, медленнѣе. Наконецъ онъ остановился посреди комнаты, какъ растерянный, точно наткнулся на какой-то камень и почувствовалъ толчокъ.

— Да, шепталъ онъ въ страхѣ:—чего добраго, пожалуй, вмѣсто „высокой горы“, да вдругъ... Что̀ это мнѣ пришло въ голову! Онъ глубоко задумался.

„Ну, какъ я напишу драму Вѣры, да не сумѣю обставить пропастями ея паденіе“, думалъ онъ:—„а русскія дѣвы примутъ ошибку за образецъ, да какъ козы—одна за другой—пойдутъ скакать съ обрывовъ!... А обрывовъ много въ русской землѣ! Что̀ скажутъ маменьки и папеньки!...“

Онъ минутъ пять постоялъ на мѣстѣ, потомъ вдругъ захохоталъ—и опять скорыми шагами заходилъ по комнатѣ.

„Какъ поблѣднѣли бы русскія Вѣры и какъ покраснѣли бы всѣ Марѳиньки, если бъ узнали, что я принялъ ихъ... за козъ!“

— Не это помѣшаетъ мнѣ писать романъ, сказалъ онъ, вздохнувъ печально,—а другое... напримѣръ... цензура! Да, цензура помѣшаетъ! почти съ радостью произнесъ онъ, какъ будто нашелъ счастливую находку.—А еще что?

И задумался... — Кажется, больше ничего, слѣдовательно остается писать...

Онъ умѣрилъ шагъ, вдумываясь въ ткань романа, въ фабулу, въ постановку характера Вѣры, въ психологическую, еще пока закрытую задачу... въ обстановку, въ аксессуары;—задумчиво сѣлъ и положилъ руки съ локтями на столъ и на нихъ голову. Потомъ поцарапалъ сухимъ перомъ по бумагѣ, лѣниво обмакнулъ его въ чернила и еще лѣнивѣе написалъ въ новую строку, послѣ словъ, Глава I:

„*Однажды*...“

Подумалъ, подумалъ и легъ головой на руки, обдумывая продолженіе. Прошло съ четверть часа, глаза у него стали мигать чаще. Его клонилъ сонъ.

Ему показалось неловко дремать, сидя, онъ перешелъ на диванъ, положилъ голову на мягкую обивку дивана, а ноги вытянулъ: — „Освѣжусь немного, потомъ примусь...“ рѣшилъ онъ... и вскорѣ заснулъ. Въ комнатѣ раздавалось ровное, мѣрное храпѣнье.

Когда онъ проснулся, уже разсвѣтало. Онъ вскочилъ и посмотрѣлъ вокругъ удивленными, почти испуганными глазами, какъ будто увидѣлъ во снѣ что-то новое, неожиданное, точно Америку открылъ.

— И во снѣ статуя! произнесъ онъ: — все статуя да статуя! Что это, намеки? указанія?

Онъ подошелъ къ столу, пристально поглядѣлъ въ листки, въ написанное имъ предисловіе, вздохнулъ, покачалъ головой и погрузился въ какое-то, должно-быть, тяжелое раздумье.—Что̀ я дѣлаю! На что̀ трачу время и силы? Еще годъ пропалъ! Романъ! шепталъ онъ съ озлобленіемъ.

Онъ отодвинулъ рукопись въ сторону, живо порылся въ ящикѣ между письмами, и досталъ оттуда полученное за мѣсяцъ письмо отъ художника Кирилова, пробѣжалъ его глазами, взялъ листъ почтовой бумаги и сѣлъ за столъ.

„Спѣшу—въ здравомъ умѣ и твердой памяти“—писалъ онъ—„увѣдомить васъ перваго, любезный Кириловъ, о но-

вой и неожиданной, только-что открывшейся для меня перспективѣ искусства и дѣятельности... Прежде всего торопліюсь кинуть вамъ эти двѣ строки, въ отвѣтъ на ваше письмо, гдѣ вы пишете, что собираетесь въ Италію, въ Римъ,— на случай, если я замедлю въ дорогѣ. Я самъ ѣду въ Петербургъ. Погодите—ради Бога—и я съ вами! Возьмите меня съ собой! Пожалѣйте слѣпца, безумца, только сегодня прозрѣвшаго, угадавшаго свое призваніе! Долго блуждалъ я въ темнотѣ, и чуть не сдѣлался самоубійцей, т. е. чуть не сгубилъ своего дарованія, ставши на ложный путь! Вы находили въ моихъ картинахъ признаки таланта: мнѣ держаться бы кисти, а я бросался къ музыкѣ, и наконецъ бросился къ литературѣ—и буквально разбросался! Затѣялъ писать романъ! И вы, и никто—не остановили меня, не сказали мнѣ, что я—пластикъ, язычникъ, древній грекъ въ искусствѣ! Выдумалъ какую-то „осмысленную и одухотворенную Венеру!“ Мое ли дѣло чертить картины нравовъ, быта, осмысливать и освѣщать основы жизни! Психологія, анализъ!

„Мое дѣло — формы, внѣшняя, ударяющая на нервы красота!

„Для романа—нужно... другое, а главное—годы времени! Я не пожалѣлъ бы трудовъ: и на время не поскупился бы, если бъ былъ увѣренъ, что моя сила—въ перѣ!

„Я сохраню впрочемъ эти листки: можетъ-быть... Нѣтъ, не хочу обольщать себя невѣрной надеждой! Творчество мое не ладитъ съ перомъ. Не по натурѣ мнѣ вдумываться въ сложный механизмъ жизни! Я пластикъ, повторяю: мое дѣло только видѣть красоту — и простодушно, „не мудрствуя лукаво“, отражать ее въ созданіи...

„Сохраню эти листки затѣмъ развѣ, чтобы когда-нибудь вспоминать, чему я былъ свидѣтелемъ, какъ жили другіе, какъ жилъ я самъ, что̀ чувствовалъ (или вѣрнѣе ощущалъ), что̀ перенесъ—и...

„И послѣ моей смерти—другой найдетъ мои бумаги:

«Засвѣтитъ онъ, какъ я, свою лампаду»—

„И—можетъ-быть—напишетъ...

„Теперь, хотите ли знать кто̀ я, что̀ я?... Скульпторъ!

„Да, скульпторъ—не ахайте и не бранитесь! Я только сейчасъ убѣдился въ этомъ, долго не понимая намековъ, призывовъ: отчего мнѣ и Вѣра, и Софья, и многія, многія—прежде всего являлись статуями! Теперь мнѣ ясно!

„Я пластикъ—вы знаете это, вы находите во мнѣ талантъ. Стало-быть нужно мнѣ только отыскать свое орудіе и пріемъ! У кого пальцы сложились, какъ орудіе фантазіи, въ пріемъ для кисти, у кого для струнъ или клавишей, у меня—какъ я теперь догадываюсь—для лѣпки, для рѣзца... Глазъ у меня есть, вкусъ тоже—и feu sacré—да? вы этого не отвергаете! Не спорьте же, не послушаю, а лучше спасите меня, увезите съ собой и помогите стать на новый путь, на путь Фидіасовъ, Праксителей, Кановы—и еще очень немногихъ!

„Никто не можетъ сказать—что я не буду одинъ изъ этихъ немногихъ... Во мнѣ слишкомъ богата фантазія. Искры ея, какъ вы сами говорите, разбросаны въ портретахъ, сверкаютъ даже въ моихъ скудныхъ музыкальныхъ опытахъ!... И если не сверкнули въ созданіи поэмы, романа, драмы или комедіи, такъ это потому..."

Онъ чихнулъ.

„Вотъ, значитъ—правда!" подумалъ онъ—„что я пластикъ—и только пластикъ. Я отрекаюсь отъ музыки—она далась мнѣ въ придачу къ прочему. Я кляну потраченное на нее и на романъ время и силы.—До свиданія, Кириловъ—не противорѣчьте: убьете меня, если будете разрушать мой новый идеалъ искусства и дѣятельности. Пожалуй, вы поколеблете меня вашими сомнѣніями—и тогда я утону без-

возвратно въ волнахъ миражей и неисходной скуки! Если скульптура измѣнитъ мнѣ (Боже сохрани! я не хочу вѣрить: слишкомъ много говоритъ *за*), я самъ казню себя, самъ отыщу того, гдѣ бы онъ ни былъ — кто первый усомнился въ успѣхѣ моего романа (это—Маркъ Волоховъ) и торжественно скажу ему: да, ты правъ: я—*неудачникъ*! А до тѣхъ поръ дайте жить и уповать!

„Въ Римъ! въ Римъ!—туда, гдѣ искусство—не роскошь, не забава — а трудъ, наслажденіе, сама жизнь! Прощайте! до скораго свиданія!“

Онъ съ живостью собралъ всѣ бумаги, кучей, въ безпорядкѣ сунулъ ихъ въ большой старый портфель—сдѣлалъ „ухъ“, какъ будто горбатый вдругъ сбросилъ горбъ, и весело потеръ рука объ руку.

## XXIV.

На другой день, съ ранняго утра, весь домъ поднялся на ноги—провожать гостя. Пріѣхалъ и Тушинъ, пріѣхали и молодые Викентьевы. Марѳинька была—чудо красоты, нѣги, стыдливости. На каждый взглядъ, на каждый вопросъ, обращенный къ ней, лицо ея вспыхивало и отвѣчало неуловимой, нервной игрой ощущеній, нѣжныхъ тоновъ, оттѣнковъ чуткихъ мыслей—всего, объяснившагося ей въ эту недѣлю смысла новой, полной жизни. Викентьевъ ходилъ за ней, какъ пажъ, глядя ей въ глаза, не нужно ли, не желаетъ ли она чего-нибудь, не безпокоитъ ли ее что-нибудь?

Счастье ихъ слишкомъ молодо и эгоистически захватывало все вокругъ. Они никого и ничего почти не замѣчали, кромѣ себя. А вокругъ были грустныя, или задумчивыя лица. Съ полудня наконецъ и молодая чета оглянулась на другихъ и отрезвилась отъ эгоизма. Марѳинька

хмурилась и все льнула къ брату. За завтракомъ никто ничего не ѣлъ, кромѣ Козлова, который задумчиво и грустно одинъ съѣлъ машинально блюдо маіонеза, вздыхая, глядя куда-то въ неопредѣленное пространство.

Татьяна Марковна пробовала заговаривать объ имѣніи, объ отчетѣ, до передачи Райскимъ усадьбы сестрамъ, но онъ взглянулъ на нее такими усталыми глазами, что она отложила счеты и отдала ему только хранившіеся у ней рублей шестьсотъ его денегъ. Онъ триста рублей при ней же отдалъ Василисѣ и Якову, чтобъ они роздали дворнѣ и поблагодарили ее за „дружбу, баловство и услужливость“.

— Много—уродъ! пропьютъ... шептала Татьяна Марковна.

— Пусть ихъ, бабушка, да отпустите ихъ на волю...

— Рада бы, хоть сейчасъ со двора!—Намъ съ Вѣрой теперь вдвоемъ нужно дѣвушку, да человѣка. Да не пойдутъ! Куда они дѣнутся? Избалованы, вѣкъ—на готовомъ хлѣбѣ!

Послѣ завтрака всѣ окружили Райскаго. Марѳинька заливалась слезами: она смочила три-четыре платка. Вѣра оперлась ему рукой на плечо и глядѣла на него съ томной улыбкой, Тушинъ серьёзно. У Викентьева лицо дружески улыбалось ему, а по носу изъ глазъ катилась слеза „съ вишню“, какъ замѣтила Марѳинька и стыдливо сняла ее своимъ платкомъ.

Бабушка хмурилась, но крѣпилась, боясь расчувствоваться.

— Оставайся съ нами! говорила она ему съ упрекомъ.— Куда ѣдешь? самъ не знаешь...

— Въ Римъ, бабушка...

— Зачѣмъ? Папы не видалъ?

— Лѣнитъ...

— Что?

Долго бы было объяснять ей новые планы — и онъ только махнулъ рукой.

— Останьтесь, останьтесь! пристала и Марѳинька, вцѣпившись ему въ плечо. Вѣра ничего не говорила, зная, что онъ не останется, и думала только, не безъ грусти, узнавъ его характеръ, о томъ, куда онъ теперь дѣнется и куда дѣнетъ свои досуги, „таланты“, которые вѣчно будетъ только чувствовать въ себѣ и не сумѣетъ ни угадать своего собственнаго таланта, ни остановиться на немъ и приспособить его къ дѣлу.

— Братъ! шепнула она: — если скука опять будетъ одолѣвать тебя, заглянешь ли ты сюда, въ этотъ уголокъ, гдѣ тебя теперь понимаютъ и любятъ?..

— Непремѣнно, Вѣра! Сердце мое пріютилось здѣсь: я люблю всѣхъ васъ—вы моя единственная, неизмѣнная семья, другой не будетъ! Бабушка, ты и Марѳинька—я унесу васъ вездѣ съ собой—а теперь не держите меня! Фантазія тянетъ меня туда, гдѣ... меня нѣтъ! У меня закипѣло въ головѣ... шепнулъ онъ ей:—черезъ какой-нибудь годъ, я сдѣлаю... твою статую—изъ мрамора...

У ней задрожалъ подбородокъ отъ улыбки.

— А романъ? спросила она.

Онъ махнулъ рукой.

— Какъ умру, пусть возится, кто хочетъ, съ моими бумагами: матеріала много... А мнѣ написано на роду создать твой бюстъ...

— Не пройдетъ и года, ты опять влюбишься, и не будешь знать, чью статую лѣпить...

— Можетъ-быть, и влюблюсь, но никогда никого не полюблю, кромѣ тебя, и изсѣку изъ мрамора твою статую... Вотъ она, какъ живая передо мной!..

Она все съ улыбкой глядѣла на него.

— Непремѣнно, непремѣнно! горячо увѣрялъ онъ ее.

— Опять ты — „непремѣнно!“ вмѣшалась Татьяна Марковна:—не знаю, что ты тамъ затѣваешь, а если сказалъ „непремѣнно“, то ничего и не выйдетъ!

Райскій подошелъ къ Тушину, задумчиво сидѣвшему въ углу, и молча наблюдавшему сцену прощанія.

— Если когда-нибудь исполнится... то, чего мы всѣ желаемъ, Иванъ Ивановичъ... шепнулъ онъ, наклонясь къ нему, и пристально взглянулъ ему въ глаза. Тушинъ понялъ его.

— Всѣ ли, Борисъ Павловичъ? И случится ли это?

— Я вѣрю, что случится, иначе быть не можетъ. Ужъ если бабушка и ея „судьба“ захотятъ...

— Надо, чтобъ захотѣла и другая,—моя „судьба“...

— Захочетъ! договорилъ Райскій съ увѣренностью:— и если это случится, дайте мнѣ слово, что вы увѣдомите меня по телеграфу, гдѣ бы я ни былъ: я хочу держать вѣнецъ надъ Вѣрой...

— Да, если случится... даю слово...

— А я даю слово пріѣхать.

Козловъ въ свою очередь отвелъ Райскаго въ сторону. Долго шепталъ онъ ему, прося отыскать жену, далъ письмо къ ней и адресъ ея, и успокоился, когда Райскій тщательно положилъ письмо въ бумажникъ.—Поговори ей... и напиши мнѣ... съ мольбой заключилъ онъ:—а если она соберется... сюда... ты по телеграфу дай мнѣ знать: я бы поѣхалъ до Москвы, навстрѣчу ей...

Райскій обѣщалъ все и съ тяжелымъ сердцемъ отвернулся отъ него, посовѣтовалъ ему пока отдохнуть, погостить зимніе каникулы у Тушина.

Тихо вышли всѣ на крыльцо, къ экипажу, въ грустномъ молчаніи. Марѳинька продолжала плакать. Викентьевъ подалъ ей уже пятый носовой платокъ.

Въ послѣднее мгновеніе, когда Райскій готовился сѣсть, онъ оборотился, взглянулъ еще разъ на провожавшую его группу. Онъ, Татьяна Марковна, Вѣра и Тушинъ обмѣнялись взглядомъ—и въ этомъ взглядѣ, въ одномъ мгновеніи, вдругъ мелькнулъ, какъ будто всѣмъ имъ приснившійся, тяжелый, полугодовой сонъ, всѣ вытерпѣнныя ими муки... Никто не сказалъ ни слова. Ни Марѳинька, ни мужъ ея, не поняли этого взгляда,— не замѣтила ничего и толпившаяся невдалекѣ дворня.

Съ этимъ взглядомъ и съ этимъ сномъ въ головѣ скрылся Райскій у нихъ изъ вида.

## XXV.

Въ Петербургѣ онъ прежде всего бросился къ Кирилову. Онъ чуть не ощупывалъ его, онъ ли это, тутъ ли, не уѣхалъ ли безъ него, и повторилъ ему свои новыя артистическія упованія на скульптуру. Кирриловъ сморщился, такъ что носъ ушелъ совсѣмъ въ бороду—и отвернулся съ неудовольствіемъ.

— Что это за новость! По вашему письму я подумалъ, не рехнулись ли вы? Вѣдь у васъ есть одинъ талантъ, отчего бросились опять въ сторону? Возьмите карандашъ, да опять въ академію — да вотъ купите это.—Онъ показалъ на толстую тетрадь литографированныхъ анатомическихъ рисунковъ.—Выдумали скульптуру! Поздно... Съ чего вы это взяли?...

— Да мнѣ кажется, у меня—вотъ въ пальцахъ (онъ сложилъ пять пальцевъ вмѣстѣ и потиралъ ими) есть именно этотъ пріемъ—для лѣпки...

— Когда вздумали! Если бъ и былъ пріемъ, такъ поздно!

— Что за поздно! у меня есть знакомый прапорщикъ— какъ лѣпитъ!..

— Прапорщикъ—такъ, а вы... съ сѣдыми волосами!

Онъ энергически потрясъ головой. Райскій не сталъ спорить съ нимъ, а пошелъ къ профессору скульптуры, познакомился съ его учениками и недѣли три ходилъ въ мастерскую. Дома у себя онъ натаскалъ глины, накупилъ моделей головъ, рукъ, ногъ, торсовъ, надѣлъ фартукъ и началъ лѣпить съ жаромъ, не спалъ, никуда не ходилъ, видясь только съ профессоромъ скульптуры, съ учениками, ходилъ съ ними въ Исаакіевскій Соборъ, замирая отъ удивленія передъ работами Витали, вглядываясь въ пріемы, въ детали, въ эту новую сферу новаго искусства. Словомъ, имъ овладѣла горячка: онъ ничего не видалъ нигдѣ, кромѣ статуй, не выходилъ изъ Эрмитажа, и все торопилъ Кирилова ѣхать скорѣй въ Италію, въ Римъ.

Онъ не забылъ порученія Козлова и пошелъ отыскивать по адресу его жену, гдѣ-то въ Гороховой, въ chambres garnies. Войдя въ корридоръ номера, онъ услыхалъ звуки вальса и—говоръ. Ему послышался говоръ Ульяны Андреевны. Онъ далъ отворившей ему дверь дѣвушкѣ карточку и письмо отъ Козлова. Немного погодя, дѣвушка воротилась, нѣсколько смущенная, и сказала, что Ульяны Андреевны нѣтъ, что она поѣхала въ Царское Село, къ знакомымъ, а оттуда отправится прямо въ Москву. Райскій вышелъ въ сѣни: навстрѣчу ему попалась женщина и спросила, кого ему надо. Онъ назвалъ жену Козлова.

— Онѣ больны, лежатъ въ постели, никого не принимаютъ! солгала и она.

Райскій ничего не написалъ къ Козлову.

Онъ едва повидался съ Аяновымъ, перетащилъ къ нему вещи съ своей квартиры, а послѣднюю сдалъ. Получивъ отъ опекуна—за заложенную землю—порядочный кушъ денегъ, онъ въ январѣ уѣхалъ съ Приловымъ, сначала

въ Дрезденъ, на поклонъ Сикстинской мадоннѣ. „Ночи“ Корреджіо, Тиціану, Поль Веронезу и прочимъ, и прочимъ.

Въ Дрезденѣ онъ съ Кириловымъ всѣ утра проводилъ въ галлереѣ—да изрѣдка бывалъ въ театрѣ. Райскій торопилъ Кирилова ѣхать дальше, въ Голландію, потомъ въ Англію и въ Парижъ. Но Кириловъ уперся и въ Англію не поѣхалъ.

— Зачѣмъ мнѣ въ Англію? Я туда не хочу, говорилъ онъ.—Тамъ всѣ чудеса въ частныхъ галлереяхъ: туда не пустятъ. А общественная галлерея—небогата. Изъ Голландіи вы поѣзжайте одни въ Англію, а я въ Парижъ, въ Лувръ. Тамъ я васъ подожду.

Такъ они и сдѣлали. Впрочемъ и Райскій пробылъ въ Англіи всего двѣ недѣли—и не успѣлъ даже ахнуть отъ изумленія,—подавленный грандіознымъ оборотомъ общественнаго механизма жизни—и поспѣшилъ въ веселый Парижъ. Онъ видѣлъ по утрамъ Лувръ, а вечеромъ мышиную бѣготню, веселые визги, вѣчную оргію, хмѣль крутящейся вихремъ жизни, и унесъ оттуда только чадъ этой оргіи, не давшей уложиться поглубже наскоро захваченнымъ изъ этого омута мыслямъ, наблюденіямъ и впечатлѣніямъ.

Едва первые лучи полуденной весны сверкнули изъ-за Альпъ, оба артиста бросились черезъ Швейцарію въ Италію.

Райскій, живо принимая впечатлѣнія, мѣняя одно на другое, бросаясь отъ искусства къ природѣ, къ новымъ людямъ, новымъ встрѣчамъ—чувствовалъ, что три самыя глубокія его впечатлѣнія, самыя дорогія воспоминанія, бабушка, Вѣра, Марѳинька—сопутствуютъ ему всюду, вторгаются во всякое новое ощущеніе, наполняютъ собой его досуги, что съ ними тремя—онъ связанъ и той крѣпкой

связью, отъ которой только человѣку и бываетъ хорошо—какъ ни отъ чего не бываетъ, и отъ нея же бываетъ иногда больно, какъ ни отъ чего, когда судьба неласково дотронется до такой связи.

Эти три фигуры являлись ему, и какъ артисту, всюду. Плеснетъ сѣдой валъ на морѣ, мелькнетъ снѣжная вершина на горы въ Альпахъ—ему видится въ нихъ сѣдая голова бабушки. Она выглядывала изъ портретовъ старухъ Веласкеза, Жераръ-Дова,—какъ Вѣра изъ фигуръ Мурильо, Марѳинька изъ головокъ Грёза, иногда Рафаэля...

На днѣ швейцарскихъ обрывовъ мелькалъ образъ Вѣры, надъ скалами снилась ему его отчаянная борьба съ ней... Далѣе—брошенный букетъ, ея страданіе, искупленіе... все!

Онъ вздрагивалъ и отрезвлялся, потомъ видѣлъ ихъ опять, съ улыбкой и любовью протягивающими руки къ нему.

Три фигуры слѣдовали за нимъ и по ту сторону Альпъ, когда передъ нимъ встали другія три величавыя фигуры: природа, искусство, исторія...

Онъ страстно отдался имъ, испытывая новыя ощущенія, почти болѣзненно потрясавшія его организмъ.

Въ Римѣ, устроивъ съ Кириловымъ мастерскую, онъ дѣлилъ время между музеями, дворцами, руинами, едва чувствуя красоту природы, запирался, работалъ, потомъ терялся въ новой толпѣ, казавшейся ему какой-то громадной, яркой, подвижной картиной, отражавшей въ себѣ тысячелѣтія—во всемъ блескѣ величія и въ поразительной наготѣ всей мерзости—отжившаго и живущаго человѣчества.

И вездѣ, среди этой горячей артистической жизни, онъ не измѣнялъ своей семьѣ, своей группѣ, не вросталъ въ чужую почву, все чувствовалъ себя гостемъ и пришель-

цемъ тамъ. Часто, въ часы досуга отъ работъ и отрезвленія отъ новыхъ и сильныхъ впечатлѣній раздражительныхъ красокъ юга—его тянуло назадъ, домой. Ему хотѣлось бы набраться этой вѣчной красоты природы и искусства, пропитаться насквозь духомъ окаменѣлыхъ преданій и унести все съ собой туда, въ свою Малиновку...

За нимъ все стояли и горячо звали къ себѣ— его три фигуры: его Вѣра, его Марѳинька, бабушка. А за ними стояла и сильнѣе ихъ влекла его къ себѣ—еще другая, исполинская фигура, другая великая „бабушка" — Россія.

PG
3337
G6
1912
t.5

Goncharov, Ivan Aleksandrovich
Polnoe sobranie sochinenii.
Izd. 4.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY